

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

III У III Ю III ИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ТРУДЫ ТРЕТЬЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ
ПУШКИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА - 1953 - ЛЕНИНГРАД

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Под редакцией
М. П. АЛЕКСЕЕВА.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1949 году, в ознаменование 150-летия со дня рождения величайшего русского поэта А. С. Пушкина, Президиум Академии Наук СССР постановил проводить ежегодно Всесоюзные Пушкинские конференции для подведения итогов изучения жизни и творчества Пушкина в советской науке, для координации работ советских пушкиноведов и обсуждения проблематики дальнейших исследований в этой области; конференции поручено было проводить Институту русской литературы (Пушкинскому Дому) Академии Наук СССР.

В 1949 году в Ленинграде состоялась первая, в 1950 — вторая, в 1951 году — третья Всесоюзные Пушкинские конференции. Большинство докладов, читанных на первой и второй конференциях (за исключением тех, которые были напечатаны в различных изданиях, посвященных 150-летию со дня рождения Пушкина), опубликовано отдельной книгой.

Настоящее издание, являясь продолжением „Трудов Первой и Второй Всесоюзных Пушкинских конференций. 25—26 апреля 1949 г. и 6—8 июня 1950 г.“ (Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1952), включает в себя доклады и сообщения, читанные на Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, состоявшейся 6—10 июня 1951 года в Ленинграде. В работах этой конференции приняли участие литературоведы, профессора и преподаватели вузов и средних школ Москвы, Ленинграда, Горького, Ташкента, Одессы, Кишинева, Чкалова и других городов. На конференции, кроме пленарных, состоялись заседания трех секций: педагогической (посвященной вопросам преподавания Пушкина в средней школе), переводческой (посвященной вопросам перевода произведений Пушкина на языки народов СССР и стран народной демократии) и секции по изучению жизни и творчества поэта.¹ В настоящее издание вошли важнейшие доклады и сообщения, читанные на этой конференции — как на ее пленарных, так и на секционных заседаниях.

¹ Подробное изложение работ конференции, обсуждения отдельных докладов см. в статьях „Третья Всесоюзная Пушкинская конференция“ („Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка“, 1951, т. X, вып. 5, стр. 516—523; „Вестник Академии Наук СССР“, 1951, № 9, стр. 89—92).

Некоторые из них воспроизводятся здесь в дополненном и переработанном виде, с приложением неопубликованных материалов, легших в их основу; другие, наоборот, изложены в сжатом, конспективном виде в обзорах работ отдельных секций, как уже напечатанные в других изданиях или требующие еще дополнительных изысканий. Институт нашел также возможным включить в состав данных „Трудов“ несколько статей, предназначавшихся в свое время к прочтению на третьей конференции, но не состоявшихся или читанных на заседаниях секторов Института в том же 1951 году.

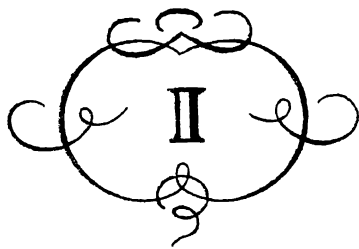
Настоящий том „Трудов“, как и предшествующий, включает в себя доклады, посвященные изучению отдельных сторон жизни и творчества Пушкина. Институт русской литературы благодаря Институту Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС получил возможность впервые опубликовать полностью „Словарные записи“ Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“, о которых до сих пор в пушкиноведении имелись лишь неполные и неточные данные. Записи Ф. Энгельса, представляющие огромный интерес и для исследователей языка Пушкина и как свидетельство его пристального внимания к замечательным созданиям великого русского поэта, хранятся в ИМЭЛС в Москве и публикуются здесь с комментариями, прочитанными в форме доклада на Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. Доклад „Пушкин и Горький“ сближает имена Пушкина — родоначальника новой русской литературы и Горького — родоначальника социалистического реализма.

Доклады, читанные на конференции в секции по изучению жизни и творчества Пушкина, посвящены разнообразным вопросам. Основываясь на неизданных или малоизученных материалах, они раскрывают не освещенные в литературоведении замыслы поэта в период его южной ссылки, дают новую интерпретацию таких важнейших произведений Пушкина, как „Полтава“, „История Пугачева“ и „Капитанская дочка“, продолжают обсуждение произведений, ему приписываемых, в пользу предположения о действительной принадлежности их Пушкину и приводят новые данные о значении Пушкина для современного ему русского искусства. Обзор „Скульптурные памятники Пушкину за рубежом“ основан на материалах, собранных Литературным музеем Института русской литературы и впервые продемонстрированных на небольшой выставке, открытой в дни Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. Статью иллюстрируют фотоснимки с памятников Пушкину в Болгарии, Румынии, Германской демократической республике и Китайской народной республике. Собранные здесь материалы неопровержимо свидетельствуют о росте популярности Пушкина за рубежом, о значении его творчества для современной передовой культуры во всех странах мира.

Работы педагогической и переводческой секций третьей конференции представлены в настоящем издании обзорными сообщениями о докла-

дах, читавшихся на этих секциях и не публикуемых здесь в полном виде.

В „Трудах Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции“ печатаются также доклады обзорного или итогового характера, в которых приведены соображения о важнейших коллективных трудах („Словарь языка Пушкина“, „Летопись жизни и творчества Пушкина“). Дальнейшее обсуждение этих работ разного характера и назначения, требующих координации сил всех советских ученых, изучающих Пушкина во всех многообразных аспектах и применениях, несомненно будет вестись и на последующих пушкинских конференциях, призванных к тому, чтобы подводить итоги всему сделанному ранее и намечать перспективы для будущих работ более углубленного характера и более широкого значения.



М. П. АЛЕКСЕЕВ

СЛОВАРНЫЕ ЗАПИСИ Ф. ЭНГЕЛЬСА К „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ“
И „МЕДНОМУ ВСАДНИКУ“

1

Долговременный и глубокий интерес К. Маркса и Ф. Энгельса к русскому языку общеизвестен: он многократно засвидетельствован был в их собственных письмах и высказываниях, в воспоминаниях их современников, в работах об их жизни и деятельности. В. И. Ленин еще вскоре после кончины Энгельса писал, что „Маркс и Энгельс, оба знавшие русский язык и читавшие русские книги, живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским революционным движением и поддерживали сношения с русскими революционерами“.¹ Известно также, что Энгельс, обладавший, как и Маркс, выдающимися лингвистическими способностями, изучил русский язык ранее своего друга — еще в начале 50-х годов — и что с этих пор, в течение более чем тридцати лет, он постоянно совершенствовал свои познания и навыки в русской книжной, письменной речи. Вслед за Энгельсом и Маркс изучил русский язык настолько, что мог свободно следить за новинками русской научной и художественной литературы, которые посылали ему его русские почитатели и корреспонденты. К сожалению, мы еще неполно и далеко не во всех важнейших подробностях знаем поучительную историю возникновения и развития интереса к русскому языку у великих основоположников научного коммунизма. Более того, некоторые весьма важные рукописные материалы, проливающие свет на методичку и технику овладения Марксом и Энгельсом русской речью, все еще остаются неопубликованными. О некоторых данных этого рода пойдет речь и в настоящей статье.

¹ В. И. Ленин. Фридрих Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 12 (впервые напечатано в женеvском сборнике „Работник“, 1896). Интересно отметить, что сведения о знакомстве Энгельса с русским языком проникли даже в русскую легальную печать того времени. Так, в некрологе Энгельса, включенном в статью А. К. „Из Германии“, говорится, что „он знал много языков, в том числе и русский“ („Русское богатство“, 1895, № 8, отд. II, стр. 129).

Первые упоминания о занятиях Энгельса русским языком встречаются в его переписке с Марксом в начале 1851 года, т. е. в тот период, когда после краха революции 1848 года Энгельс воспользовался временным затишьем, чтобы усиленными теоретическими и практическими занятиями в разных областях знания еще лучше подготовить себя к дальнейшей революционной деятельности. Поселившись в Манчестере (с ноября 1850 года) и первое время живя здесь довольно уединенно, среди избранных друзей, Энгельс посвящал свой досуг литературным трудам и в особенности изучению языков.¹ В письме от 29 января 1851 года Энгельс сообщил Марксу, что он „занимался русским языком“.² Ближайшие поводы к этим занятиям Энгельса нам, к сожалению, не известны, но нет никакого сомнения в том, что они не были случайными. Значение русского языка в эти годы отчетливо сознавалось в Западной Европе и неоднократно подчеркивалось в печати общественными деятелями, учеными, писателями различных стран, отмечавшими все возрастающие богатства русской научной и художественной литературы; однако людей, хорошо владевших русским языком, на Западе, особенно в Англии, было еще очень мало, и учебные пособия, которыми они располагали для своих занятий, были еще также крайне малочисленны.³

¹ Mick Jenkins. Frederic Engels in Manchester (Published by Lancashire and Cheshire Communist Party). Manchester-Leicester, 1952, стр. 9, 15.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, стр. 134.

³ Еще в 1865 году Ф. Гревс в своей книге „Развитие науки, искусства и литературы в России“ прямо ссылался на то, что „образование и характер русского языка настолько отличается от нашего, что немногие <из англичан> предприняли труды, чтобы ознакомиться с ним вне России“ (F. R. Grahame. The progress of science, art and literature in Russia. London, 1865, стр. 5—6). Тем не менее такие люди все же находились. Известно, например, что Вильям Рольстон (W. R. S. Ralston, 1828—1889), ставший впоследствии неутомимым популяризатором русского языка и литературы в Англии, начал изучать его около 1853 года, после того как поступил библиотекарем в Британский музей; немногочисленные русские книжные фонды этой библиотеки вызывали особые затруднения ее хранителей, „так как русский язык изучали тогда весьма немногие“ („Dictionary of National Biography“, vol. XLVII, 1896, стр. 224—225). Рольстон стал заниматься русским языком самоучкой, заставляя себя первоначально заучивать наизусть целые страницы русско-английского словаря. О другом случае, также относящемся к 50-м годам, рассказывает В. П. Боткин в статье „Две недели в Англии“ (1859). Речь идет об одном видном члене парламента, Шоу-Лефевре (J. G. Shaw-Lefevre, впоследствии Lord Eversleigh), к которому он имел письмо от И. С. Тургенева: „Этот Шоу-Лефевр замечателен для нас, русских, тем, что недавно, — ему уже лет шестьдесят, — один и без всякого учителя выучился по-русски и хотя говорить не может, но читает русские книги и понимает их; у него есть маленькая русская библиотечка“ (В. П. Боткин, Сочинения, т. I, СПб., 1890, стр. 299). Лишь в конце 70-х—начале 80-х годов русский язык привлек к себе в Англии большее внимание. В предисловии к изданной в 1878 году русской грамматике Henry Riola (How to learn Russian. A. Manual for students of Russian. London, 1878) тот же Рольстон не случайно писал, что эта книга должна удовлетворить „возрастающему интересу к русскому языку, который оставался до сих пор в трудно объяснимом небрежении“, но которому „политические события дали теперь новую важность“.

Занятия русским языком Энгельс не оставил и после 1851 года, и это подтверждает с полной ясностью, что он рассматривал их не как развлечение, а как реализацию вполне продуманной программы. Энгельс писал Марксу 18 марта 1852 года, следовательно, более чем через год после начала своих занятий: „Я две недели прилежно занимался русским языком и порядочно освоился теперь с грамматикой, еще два-три месяца дадут мне необходимый запас слов...“;¹ в письме от 16 апреля того же года Энгельс сообщал своему другу Иосифу Вейдемейеру, что он решил „отдавать все свое время русскому и санскритскому языкам“.²

Несомненно, что в 1851 и начале 1852 года Энгельс изучал русский язык книжным путем, без посторонней помощи. Однако, когда весной 1852 года Энгельс познакомился с молодым эмигрантом из России, поселившимся в Манчестере под именем Эдварда Пиндара, у него возникло естественное желание воспользоваться помощью Пиндара в качестве учителя русского языка: на чужбине Пиндар на некоторое время оказался в затруднительных материальных обстоятельствах, и Энгельс, получив в общем доброжелательную характеристику его от Маркса, принял в нем участие. В письме от 20 апреля 1852 года Энгельс пишет Марксу из Манчестера:

„Пиндар здесь, так как в Ливерпуле он не нашел никакого места. Он ищет должности или частных уроков, и я, разумеется, буду за него хлопотать. Желая доказать ему свое хорошее расположение, я стал брать у него уроки русского языка“.³

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, стр. 341.

² То же, т. XXV, стр. 151.

³ То же, т. XXI, стр. 349. — Личность этого молодого человека остается довольно загадочной. Из многочисленных упоминаний о нем в переписке Маркса и Энгельса за 1852 год можно вывести заключение, что Эдвард Пиндар (родившийся около 1831 года) происходил из петербургской (или кронштадтской) семьи; повидимому, живя в Англии, он интересовался „Союзом коммунистов“ и его программой, чем, вероятнее всего, и можно объяснить как личное знакомство его с Марксом в Лондоне, так и то обстоятельство, что Маркс рекомендовал его Энгельсу (там же, стр. 360).

К сожалению, до нас не дошли ответы Маркса на письма Энгельса к нему от 20 апреля и 4 мая 1852 года, в которых содержались, повидимому, некоторые биографические сведения о Пиндаре, а также данные о том, при каких обстоятельствах состоялось его знакомство с Марксом. Однако отъезд Пиндара из России в Англию в начале 50-х годов не был вызван политическими причинами или революционной деятельностью: к последней Пиндар был явно непричастен. Он покинул Россию в результате довольно заурядной любовной истории, немало позабавившей Энгельса, когда она стала ему известна во всех подробностях (там же, стр. 402—403, 406, 412, 417—418). Пиндар — едва ли псевдоним, под которым скрывалось неизвестное лицо, как предполагали некоторые исследователи (Ф. П. Шиллер. Энгельс как литературный критик. М., 1933, стр. 195); возможно, впрочем, что это была фамилия его матери; последнюю Энгельс называет „a very respectable old English lady“ — „весьма уважаемой английской дамой“ (там же, стр. 402). Петербургские Пиндары находились в родственных связях с другой известной петербургской английской семьей того времени — Бишопами. Мария Бишоп, рожденная Пиндар, умерла 16 марта 1850 года и похоронена на Смоленском евангелическом клад-

С Эдвардом Пиндаром Энгельс и занимался русским языком с весны и до осени 1852 года. Судя по письмам Энгельса, встречи его с Пиндаром были в то время довольно частыми. Однако уже в сентябре Пиндар уехал из Манчестера и вскоре перекочевал в Париж.

В письме от 7 сентября 1852 года Энгельс сообщает Марксу: „Бегство Пиндара сохраняет мне время, я занимаюсь теперь русским языком *con amore, sine ira et studio*,¹ и уже кой чему научился“.²

Нужно думать, что уроки Пиндара не принесли Энгельсу большой пользы. Оказалось, что Пиндар, по словам Энгельса, „совершенно необразованный и при этом педантичный субъект; он абсолютно ничего не знает, кроме нескольких языков...“.³ С этих пор имя Эдварда Пиндара навсегда исчезает из переписки Энгельса с Марксом и следы его вовсе теряются.

Характерно, что в своих предшествующих письмах, часто рассказывая о Пиндаре, его амурных делах и житейских невзгодах, Энгельс ничего не говорит о своих занятиях с ним русским языком, о методах, какими пользовался его преподаватель, рекомендованных им учебниках или пособиях и т. д. Памятником этих занятий является лишь одно русское слово, в русском, но ошибочном написании („краснавица“ вместо „красавица“), мелькнувшее в одном из писем Энгельса к Марксу того же времени.⁴ Не такой „ментор“ нужен был Энгельсу, с жадностью и глубокой заинтересованностью отдававшемуся изучению нового для него русского языка. Не удивительно, что, расставшись

бище (Петербургский Некрополь, т. I, СПб., 1912, стр. 223). Отец Эдварда Пиндара, как это видно из письма Энгельса к Марксу от 7 сентября 1852 года, нажил себе в Петербурге (или Кронштадте) довольно значительное состояние торговлей лесом и бисквитами и умер до отъезда его сына в Англию (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, стр. 403); не исключена возможность, что он был русским и носил русскую фамилию, так как в письме к Марксу от 4 октября 1852 года Энгельс называет Эдварда „славянином“ и человеком, в характере которого сочетаются английские и русские черты (там же, стр. 417).

¹ „*Con amore*“ — с любовью; „*sine ira et studio*“ — беспристрастно (буквально — „без гнева и рвения“, в смысле — никому не в угоду и не в ущерб).

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, стр. 403. — „Бегство“ Пиндара, т. е. его спешный отъезд в Лондон и Париж, и на этот раз вызвано было новыми осложнениями его сердечных дел.

³ Там же, стр. 417. В этом же письме от 4 октября 1852 года Энгельс довольно резкими штрихами дорисовывает набрасывавшийся им и в прежних письмах к Марксу портрет этого первого своего русского „учителя“ и собеседника, душевную скудость и дряблость которого он сумел разгадать весьма проникательно: „Он <Пиндар> не более, не менее как мелкий русский меццианин со страстишками русского дворянства, ленивый дилетант, мягкосердечный, пресыщенный и к тому же еще типичный школьный ментор. Я довольно долго пытался сохранить о нем хорошее мнение, но это невозможно“. И Энгельс прибавляет: „...он будет и впредь, как и до сих пор, проматывать материнское состояние, не делая ни малейшей попытки чем-нибудь заняться или что-нибудь изучать“ (там же, стр. 417—418).

⁴ Там же, стр. 402 (письмо от 7 сентября 1852 года); в письме к Марксу от 4 октября Энгельс употребил, впрочем, еще одно русское слово, но написал его на этот раз не русскими, а латинскими буквами: „*gospodin* Пиндар“ (там же, стр. 418).

с Пиндаром, Энгельс смог продолжать свои занятия хотя и без посторонней помощи, но „любовно“ (сop amore) и с полной основательностью.

Прошел еще год. Энгельс трудолюбиво изучал русский язык и, по собственной строгой оценке, „заметно усовершенствовал свои знания“; „к концу года буду более или менее понимать по-русски“, — признавался Энгельс Вейдемейеру в письме от 12 апреля 1853 года.¹ Только через три года после начала своих занятий русским языком Энгельс в письме к редактору английской газеты „Daily News“ решился, не без гордости и во всяком случае с чувством полного удовлетворения, отметить свое „хорошее знакомство с большинством европейских языков, включая русский“ (письмо от 30 марта 1854 года).²

Стоит обратить внимание на даты всех приведенных выше свидетельств Энгельса, существенные для нашей цели. Не трудно видеть, что ранний и особенно интенсивный период занятий его русским языком приходится на *первую половину 50-х годов* — с января 1851 по март 1854 года: именно в эти годы Энгельс приобрел первые и основательные познания в русском языке.³

Повидимому, именно к этому времени относится замысел Энгельса — изучить русский язык на широком славянском фоне, во всех его исторических родственных связях. В 1859 году в письме к Ф. Лассалю Энгельс уже в прошедшем времени сообщал о своих увлечениях славянским языкознанием и о своих научно-литературных замыслах в этой области: „...я некогда лелеял смелую мысль разработать сравнительную грамматику славянских языков...“.⁴ Всегда глубоко интересуясь научными проблемами языкознания, Энгельс, однако, при изучении отдельных языков, в том числе и славянских, исходил прежде всего из практических потребностей революционной борьбы. В уже цитированном выше письме его к Марксу от 18 марта 1852 года Энгельс объясняет, почему он принялся за изучение славянских языков, русского в первую очередь: „Со славянскими языками я должен в этом году покончить, и, в сущности, они совсем не так трудны... Собственно

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXV, стр. 183.

² Там же, стр. 197.

³ Отметим, что в нашей литературе по этому поводу встречаются неточные сведения. А. Нифонтов (Н. А. Добролюбов в оценке основоположников марксизма-ленинизма. „Литературное наследство“, кн. 25—26, М., 1936, стр. 3) утверждал, например, что „изучать русский язык Энгельс начал... в 1854—1856 гг. в связи с Крымской войной“. Ср.: М. Гляссер. О методах работы классиков марксизма-ленинизма над книгой. М., 1940, стр. 37—38. Подборку данных об интересе Маркса и Энгельса к русскому языку можно найти в книгах: Большевиетская печать. Сборник материалов, Политиздат при ЦК ВКП(б), М., 1940, стр. 416—417; Язык газеты. Под редакцией Н. И. Кондакова, М.—Л., 1941, стр. 41—42, 52—53.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXV, стр. 245; см. заметку: Hermann Wendel. Friedrich Engels und die Slavistik. „Slavia“, 1922, Ročník I. Sešit 1, стр. 188—189.

говоря, Бакунин достиг кой-чего только благодаря тому, что ни один человек не знал русского языка¹.

Однако владение всяким иностранным языком требует постоянной практики, тренировки и повторных усилий памяти; во всякой родной языковой среде чужая речь легко забывается, если приобретенные познания не совершенствуются и не закрепляются; в особенности отрицательное значение имеют продолжительные перерывы в обращении к иностранной речи: грамматические навыки тускнеют в сознании, лексический запас постепенно уменьшается. Подобные перерывы в пользовании русским языком бывали и у Энгельса, и они не могли не иметь последствий для объема его познаний в этой области. В тот период, когда Энгельс, идя на жертвы в помощь своему великому другу, принужден был связать себя томительной конторской службой, занятия его русским языком на некоторое время вовсе прекратились. Вернуться к ним Энгельс смог только через десять лет. „... Мне придется основательно подзаняться, прежде чем я снова овладею языком“, — писал Энгельс Марксу 17 февраля 1863 года,² чувствуя, что некогда приобретенные им познания значительно потускнели и требуют обновления.

Еще через несколько лет, отвечая на дружеские упреки Маркса, который в свою очередь „начал изучать *русский язык*“ (письмо Маркса к Л. Кугельману от 29 ноября 1869 года)³ и занялся этим „с пылом и жаром“,⁴ Энгельс писал:

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXI, стр. 341—342. „К мотивировке необходимости изучать славянские языки и в особенности русский язык у Энгельса присоединялась уверенность, что Бакунину удалось в значительной степени мистифицировать европейское общественное мнение именно потому, что русский язык очень плохо знали в Европе и верили на слово Бакунину, который превращал древнеславянскую общинную собственность в коммунизм“, — замечает по этому поводу Е. Ярославский. (Маркс и Энгельс о России. „Историк-марксист“, 1940, № 10, стр. 55).

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIII, стр. 136.

³ То же, т. XXVI, стр. 32.

⁴ Свидетельство жены Маркса, Женни Маркс, в ее письме к Энгельсу от середины января 1870 года (то же, т. XXIV, стр. 278); получив это сообщение, Энгельс тотчас же поздравил Маркса с первыми „успехами в русском языке“ (там же, стр. 280). Характерен ответ Маркса (письмо от 22 января 1870 года), считавшего, что поздравления преждевременны, поскольку он русский язык изучает лишь в течение нескольких недель:

„Неужели ты думаешь, что я... изучил русский язык настолько и знаю хотя бы не то, что ты забыл, но столько, сколько у тебя осталось бы, если бы ты позабыл в три раза больше. Я ведь только еще начинающий“ (там же, стр. 281).

Через год Маркс сам засвидетельствовал свои успехи; он писал Э. Мейеру (21 января 1871 года): „... с начала 1870 года мне самому пришлось заняться русским языком, на котором я теперь читаю довольно бегло“, и резюмировал: „Результат стоит усилий, которые должен потратить человек моих лет на овладение языком, так сильно отличающимся от классических, германских и романских языков“ (то же, т. XXVI, стр. 87). Изучение русского языка и русской литературы Маркс, как известно, продолжал до конца жизни.

„Ошибку в русском языке я действительно сделал. Я порядочно забыл русские склонения“.¹

Допущенный промах заставил Энгельса тотчас же принять решение „освежить свои знания русского языка“,² и он, несомненно, осуществил это намерение. Нечто подобное случалось с Энгельсом и позже. Периодически „освежать“ знания русской книжной речи Энгельсу помогали получаемые им новые русские издания. Так, в 1885 году, т. е. через *тридцать четыре года* после начала своих занятий русским языком, Энгельс вновь обновил „свои знания русского языка“, читая работы Плеханова. Характерное признание сделал Энгельс своей русской корреспондентке В. И. Засулич (письмо от 23 апреля 1885 года): „... я читаю по-русски довольно свободно, когда позаймусь им в течение недели...“.³

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что, обладая большими филологическими способностями и являясь великолепным знатоком ряда древних и новых языков, Энгельс основательно усвоил также и русский язык, на котором он свободно читал, а в случае необходимости и писал. О выдающихся лингвистических дарованиях Энгельса рассказывают многие близко знавшие его люди. Любопытно, что одно из наиболее полных свидетельств по этому поводу находится в письме П. Лафарга к его русскому корреспонденту Н. Ф. Даниэльсону, состоявшему в переписке также и с Энгельсом и имевшему не один повод удостовериться в основательности и широте познаний Энгельса в русской речи. Вот что писал Лафарг Даниэльсону об Энгельсе: „Он настоящий полиглот, он знает не только литературные языки, но и диалекты, например ирландский, и старые наречия, как провансальское, каталонское. И его знание языков далеко не поверхностное. В Испании и в Португалии я читал <его> письма к тамошним товарищам, которые находили, что они написаны на прекраснейшем испанском и португальском языках, и я знаю, что он пишет по итальянски. А между тем чрезвычайно трудно писать свободно на этих трех родственных языках, столь похожих один на другой“.⁴ Отметим, кстати, что из славянских языков, кроме русского, Энгельс знал также польский (на котором читал столь же регулярно, как и по-русски), чешский, болгарский и сербский. Таким образом, в своих сравнительных оценках языков Энгельс является очень компетентным судьей. Более чем кто-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, т. XXIV, стр. 168.

² Там же, стр. 240.

³ То же, т. XXVII, стр. 461. Отметим, что в том же письме Энгельс писал В. И. Засулич: „Если Вам удобнее, пишите мне по-русски, но будьте добры не забывать, что *писанные* русские буквы мне приходится читать не каждый день“ (там же, стр. 463).

⁴ Письма П. Лафарга к Николаю—ону. „Летопись марксизма“, 1927, № 2, стр. 115. — Лафарг замечает, между прочим, что у Энгельса была „мания переписываться всегда на языке того лица, которому он пишет“; можно сравнить с этим свидетельство Н. С. Русанова, рассказывающего, что Энгельс, передавая ему однажды небольшое письмо для П. Лаврова, конец его написал по-русски.

либо другой он был вполне подготовлен к тому, чтобы дать им отчетливые и точные характеристики. Тем интереснее для нас те итоговые оценки русского языка, к которым Энгельс пришел после длительного периода его изучения. В одной из своих статей, написанной в 70-х годах, Энгельс недаром назвал русский язык таким языком, "... который всемерно заслуживает изучения как сам по себе, ибо это один из самых сильных и самых богатых живых языков, так и ради раскрываемой им литературы..."¹ „Какой красивый русский язык, — писал Энгельс в 1884 году, — все преимущества немецкого без его ужасной грубости“.²

2

Вернемся, однако, несколько назад, к более ранним этапам изучения Энгельсом русского языка. Как шли его первоначальные занятия? Этот вопрос имеет для нас не только общий методический интерес (самая методика овладения Энгельсом русской речью представляется чрезвычайно поучительной), но и более специальное значение, поскольку эти занятия Энгельса теснейшим образом связаны с его работами над русскими текстами Пушкина.

В цитированном выше письме Энгельса к Марксу от 18 марта 1852 года содержится весьма ценное указание по этому поводу: „Я две недели прилежно занимался русским языком и порядочно освоился теперь с грамматикой, еще два-три месяца дадут мне необходимый запас слов, и потом я смогу приступить к чему-нибудь другому“.³

Итак, Энгельс начал с грамматики, а затем приступил к освоению словарного запаса. Для изучения русской лексики важнейшими пособиями для Энгельса (помимо словаря и небольшой устной практики с Э. Пиндаром) должны были служить русские печатные источники.

Было бы чрезвычайно интересно и существенно установить, какими именно пособиями пользовался Энгельс для своих занятий. Следует при этом иметь в виду, что учебников для изучения русского языка иностранцами, изданных в западноевропейских странах, а также русско-иноязычных словарей существовало в то время еще очень мало и что все они оставляли желать много лучшего; к началу 50-х годов в Англии, например, их не было вовсе;⁴ в Германии подобные книги только

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 239.

² То же, т. XXVII, стр. 362.

³ То же, т. XXI, стр. 341.

⁴ Тальфи (псевдоним Терезы Якоб) в своей книге о славянских наречиях и литературах, изданной в Нью-Йорке в 1850 году и переизданной в Лейпциге в 1852 году в немецком переводе, прямо утверждает, что англичане и американцы, желающие изучать русский язык, вынуждены пользоваться французскими и немецкими учебными пособиями из-за отсутствия подобных руководств для английских читателей (Talvj. Übersichtigliches Handbuch einer Geschichte der Slavischen Sprachen und Literaturen. Leipzig, 1852, стр. 84—85); отметим также, что известный справочно-библиографический труд — J. Severin-Vater. Litteratur der Grammatiken, Lexica und Wort-

начали появляться, но и они отличались вопиющими недостатками; что касается руководств, вышедших в свет в России, то они за редкими исключениями не попадали на европейский книжный рынок.

Повидимому, в руках Энгельса была первоначально какая-либо практическая грамматика русского языка, специально предназначенная для немцев, а также русско-немецкий словарь. Каковы бы ни были эти книги, названия которых остаются для нас неизвестными, они не могли служить ему надежными руководствами для изучения русского языка. Об этом можно судить хотя бы по следующему примеру.

В 1852 году, т. е. как раз в год усиленных занятий Энгельса русским языком, в Берлине вышла в двух томах солидная учебная книга Августа Больца „*Neuer Lehrgang der russischen Sprache*“, долго пользовавшаяся значительным распространением (2-е изд., 1853; 3-е изд., 1859; 4-е изд., 1871); это руководство содержало в себе и правила грамматики, и грамматические разборы русских литературных текстов, и фразеологические примеры, и небольшой русско-немецкий словарь. Интерес книги Больца, между прочим, заключался в том, что это был первый опыт приложения к преподаванию русского языка заслужившего в те годы всеобщее признание метода Робертсона, с помощью которого во всей Европе в середине прошлого века изучался английский язык. Учившиеся по методу Робертсона с самого первого урока читали какой-нибудь литературный текст (в основу первого издания своего учебника А. Больц положил „Тамань“ Лермонтова, а впоследствии перестроил его на основе произведений Пушкина, в частности „Метели“); этот текст переводился, заучивался наизусть в отрывках, из встречающихся в нем слов и фразеологических сочетаний строились новые фразы; каждое новое слово изучалось в различных грамматических изменениях, со стороны своего происхождения, соответствий в других родственных языках и т. д. Что касается перевода, то он давался сначала буквально, дословно, а затем в литературно обработанном виде. „Добросовестный и вполне достойный уважения опыт г. Больца“, как о нем отзывались в русской печати,¹ в первом издании изобиловал, однако, смешными ошибками в русском словопроизводстве и в пояснении трудных грамматических правил, что свидетельствовало о чрезвы-

сammlungen aller Sprachen der Erde. 2 Ausg. von B. Jülg. Berlin, 1847, стр. 314—319 — указывал лишь на одно пособие: „Российский с немецким и французским переводами словарь Ив. Нордстета (СПб., 1780), переизданный в Лондоне в том же году; на самом деле, к началу 50-х годов XIX века имелись уже кое-какие грамматика и словари русского языка для французов и немцев, но они были редки и не пользовались распространением. Далеко не полный список пособий по изучению русского языка иностранцами приводит библиографический указатель И. Балицкого: Материалы для истории славянского языкознания. Литература исследований о церковнославянском и русском языке на иностранных языках с XVI в. по 1872 г. Киев, 1876; к сожалению, особенно случайно подобраны здесь данные о практических руководствах для изучения русского языка.

¹ „Санктпетербургские ведомости“, 1853, № 119, стр. 489—490.

чайно низком уровне учебных руководств по русскому языку, распространенных в то время на Западе.¹ Трудно сказать с полной определенностью, находился ли он в руках Энгельса; подчеркнем, однако, что в обращении Энгельса к русскому литературному тексту для первоначальных занятий языком нельзя не усмотреть известного воздействия на него методической системы Робертсона, считавшейся в то время наилучшей при изучении любого иностранного языка.

С большей достоверностью можно утверждать, что пособиями для Энгельса служили издания Ф. Рейфа, наиболее распространенные в это время во всех странах Западной Европы, и прежде всего его четырехязычный (русско-французско-немецко-английский) словарь в одном из его первых изданий.²

¹ Ошибки, допущенные А. Больцем в первых изданиях его руководства, не только чрезвычайно типичны; они с особенной яркостью подчеркивают замечательные успехи Энгельса на первой же стадии изучения им русского языка: подобных ошибок не встречается у Энгельса даже в его черновых учебных записях, предназначенных им только для собственного употребления. А. Болц знает, например, что в русском языке имена существительные, оканчивающиеся на *a*, в винительном падеже изменяются на *y*; на основании этого правила он составляет для учащихся из слов, встречающихся в отрывке у Лермонтова, такую фразу: „Луна тихо смотрела на самую скверную городишку“. Ему известно, что имена существительные на *ой* оканчиваются в винительном падеже на *о*я или что деепричастия производятся из неопределенного наклонения путем изменения окончания *-ть* на *я*; поэтому он составляет следующие фразы: „Где десятник, спросил я часовая“ или „Захотая во все горло“. Особенно трудной представилось ему употребление прописительной частицы *ли*, и он пишет: „Когда ли показала себя фигура“, „К кому подошла ли она“. Болц знает также, как составляется в русском языке превосходная степень имен прилагательных, но вот поясняющие это правило примеры: „Глубокий, глубже, *глубжайший*. Богатый, богаче, *богачайший*. Далекий, дальше, *дальшайший*. Красный, краснее, *краснайший*. Краткий, кратче, *крашайший*“ и т. д. Не мало затрудняли его и жаргонные словечки. А. Болц понимает, что такое „квартира“, правильно объясняет его происхождение и переводит равносильным немецким словом *Quartier*, но он никак не может понять, что такое „фатера“ (в предложении: „Два десятника вышли из одной фатеры“); поэтому он объясняет: „Слово — неизвестного происхождения, до сих пор не находящее ни в одном из словарей“. Еще в конце 50-х годов в изданном им переводе „Записок охотника“ Тургенева Болц допустил не мало искажений русского текста (см.: „Московское обозрение“, 1859, кн. I, отд. II, стр. 76—85). Тем не менее *четвертое* издание учебника русского языка А. Болца, вышедшее в 1871 году, именно И. С. Тургенев смело рекомендовал „всем желающим приобрести в скором времени положительные познания в русском языке... А. Болц — один из немногих немцев, основательно и научно знающих русский язык — и его учебник, составленный по методу Робертсона... — без всякого сравнения лучшая книга, напечатанная по этой части за границей“ (И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, Л.—М., 1933, стр. 175).

² Новый карманный словарь русского, французского, немецкого и английского языков... составленный Филиппом Рейфом. Часть первая. Русские слова, объясненные по-французски, по-немецки и по-английски, СПб., 1845 (в дальнейшем примеры заимствуются из этого издания). Энгельсу могла быть известна также другая, более ранняя и пользовавшаяся значительной известностью книга Ф. Рейфа: Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или этимологический лексикон русского языка. СПб., 1835. Этот труд, пригодный для изучения русского языка иностранцами без помощи учителя, был удостоен

Что касается других пособий, изданных в России (как грамматик, так и словарей),¹ то они едва ли могли быть известны Энгельсу.

Все упомянутые издания могли иметь значение лишь потому, что их нельзя было заменить другими, лучшими; жалобы на отсутствие хороших пособий для изучения русского языка иностранцами в середине XIX века были частыми и обычными; это отмечали и переводчики-иностранцы, и критики выполненных ими переводов с русского языка, и русские путешественники.²

Занимаясь изучением русского языка без помощи наставника, Энгельс не мог ограничиться грамматиками и словарями, тем более, что он ставил своей задачей овладение не разговорным, а книжным, лите-

премии Академии Наук и обратил на себя внимание Пушкина, а также Гоголя, старательно его изучавшего (Н. С. Тихонравов, Сочинения, т. III, ч. 2, М., 1898, стр. 199—200). Эти словари Рейфа были в руках П. Мериме, когда он (в конце 40-х — начале 50-х годов) занимался переводами с русского языка. О распространенности словарей Рейфа в начале 50-х годов см. замечания П. А. Вяземского в письме к А. Я. Булгакову от 29 декабря 1853 года (П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. X, СПб., 1886, стр. 93—94). Не исключена возможность, что Энгельсу могли быть известны не только лексикографические труды, но и грамматические руководства Ф. Рейфа, например: „Deutsch-Russisch Sprachlehre, oder Grundsätze der Russischen Sprache zum Gebrauche für Deutsche“ (Карлерув, 1853; первая редакция этой книги издана была по-французски в Петербурге в 1821 году; дальнейшие французское и английское издания появились уже в 1860 году. В Петербурге же — еще в 1828 году — появилась изданная Рейфом „Grammaire raisonnée de la langue russe, précédée d'une introduction sur l'histoire de cet idiome, de son alphabet et de sa grammaire“; однако это был лишь перевод „Про странной русской грамматики“ Н. Греча, приспособленной к французскому языку).

¹ Ранние русско-иноязычные параллельные словари — И. Нордстета (1780—1782), Лангера (Ручной и Российский словарь с немецким и французским переводами. М., 1792), И. Гейма (Новый Российско-французско-немецкий словарь. М., 1799—1802, 3 тома) — перечислены у С. К. Булича (Очерк истории языкознания в России, т. I, СПб., 1904, стр. 352—353). Добавим, что второе издание словаря Гейма, дополненное Карлом Мессом, вышло в свет в Москве (в четырех томах) в 1826 году. Еще позднее появились: Шмидт. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский, I. Часть российско-немецкая. М., 1839; Н. Ульянов. Немецко-русский и русско-немецкий карманный словарь. СПб., 1841—1843. Из руководств в 50-х годах в России пользовались распространением „Практическая русская грамматика для немцев“ А. Серно-Соловьевича (1852), в 1868 году в Ревеле вышедшая четвертым изданием.

² Характерно, например, что подобные жалобы на плохие русско-немецкие словари 40-х годов И. П. Мятлев вложил в уста героине своей пародийно-сатирической поэмы „Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею дан л'этранже“ (1840, стр. 177). Путешествуя по Германии, Курдюкова сетовала, что жители этой страны не знакомы с французским языком и что ей приходилось прибегать к весьма несовершенным русско-немецким (или в крайнем случае к французско-немецким) словарям:

Здесь нельзя другим манером
Говорить, как с диксьонером,
Хорошо, как попадешь,
А как на беду напнешь!
Есть слова, где два значенья,
А ныне, из почтения,
В диксьонер не поместят,
А их нужно; рад не рад,
А сойдешь на пантомимы.

ратурным языком; поэтому ему необходимы были для занятий также русские печатные книги и другие источники, переводы русских печатных текстов и т. д. В Англии в 50-х годах русские книги были довольно редки; даже Британский музей в Лондоне не располагал ими в большом количестве;¹ тем более редки они были в Манчестере, где жил в это время Энгельс. Нужно думать, что именно ко времени первоначальных занятий Энгельса русским языком, т. е. к началу 50-х годов, относится его знакомство с „Российской антологией“ Джона Бауринга, этой книгой „образцов произведений русских поэтов“ в английских переводах, откуда он извлек данные о Ломоносове, недавно опубликованные,² а также о других русских поэтах конца XVIII—начала XIX века.

Стоит несколько остановиться на записях Энгельса, сделанных при чтении „Российской антологии“ Бауринга, так как публикация этих его заметок оставила в стороне ряд интересующих нас вопросов, как языковых, так и хронологических. „Дата записей Энгельса не установлена“, — сообщают нам комментаторы. Речь идет о тетради Энгельса, озаглавленной „Славистическое и филологическое“ (*Slavica und Philologica*), куда он занес заимствованные из книги Бауринга и частично переведенные им на немецкий язык сведения о Ломоносове, Державине, Сумарокове, Богдановиче, Хемницере, затем Хераскове, Кострове, Боброве, Капнисте, Карамзине, Жуковском и Крылове. Опубликованы пока только его записи о Ломоносове; остальные остаются еще в рукописи.

Книга Бауринга вышла в двух томах двумя изданиями, в Лондоне и Эдинбурге; второй ее том вышел там же в 1823 году.³ В руках Энгельса были несомненно оба тома „Российской антологии“, а не только первый; откуда он извлек сведения о Ломоносове. Задачи, которые ставил себе Энгельс, работая над антологией Бауринга, были не языкового порядка. Он обратился не к *текстам* произведений русской поэзии в английских переводах, а к историко-литературным и библиографическим сведениям о русских писателях, приведенным Баурингом частью во введении, частью в заключении к его книге („Био-

¹ До конца 50-х годов, когда подборами русских книг в Британском музее серьезно занялся В. Рольстон, их было здесь очень мало; характеристику русского фонда Британского музея см. в книге К. Пауловича „Замечания о Лондоне“ (Харьков, 1846, стр. 269).

² Ф. Энгельс. Заметки о Ломоносове. „Вопросы философии“, 1950, № 3 (11), стр. 117—123; то же (с незначительным сокращением комментария, составленного Б. М. Кедровым и Т. Н. Ченцовой) в книге: Ломоносов. Сборник статей и материалов, III, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 11—13.

³ Российская антология. *Specimens of the Russian poets. With preliminary Remarks and biographical Notices.* Translated by John Bowring, London, 1821, 12°, XXII + I нenum. + 242 стр. Второе издание этой книги вышло в 1821 г. в Эдинбурге (12°, XXXV + I нenum. + 239 стр.); хотя на титульном листе и указано, что это издание имеет „добавления“ (with additions), но оно буквально воспроизводит первое; несколько фраз добавлено лишь во введении. Второй том вышел в Лондоне в 1823 году (12°, XXII + I нenum. + 271 стр.).

графические и критические заметки¹); внимание его, следовательно, привлек справочный материал, помещенный в „Российской антологии“. Энгельс вписал в свою тетрадь в немецком переводе биографические сведения о Ломоносове, затем перечень русских заглавий важнейших произведений Ломоносова, приведя их, однако, в латинской транскрипции (латинскими буквами) и сопроводив их, в отдельных случаях, краткими пояснениями. Тем же способом извлечены Энгельсом из антологии Бауринга и вписаны в ту же тетрадь данные и о других русских писателях XVIII и начала XIX века. Таким образом, с помощью книги Бауринга Энгельс получил общее представление о ходе развития русской литературы почти за целое столетие.

Хотя „Российская антология“ Бауринга оказала действительное содействие распространению русской литературы не только в Англии, но и в других странах Западной Европы,¹ однако она не принадлежала к числу лучших книг этого рода и во всяком случае для начала 50-х годов была уже более чем архаической. Мнивший себя полиглотом, Бауринг, как известно, не отличался глубокими познаниями в русском языке, что отметила уже и современная ему русская критика. Достоинства и значение его книги объяснялись в первую очередь тем обстоятельством, что в составлении ее, по просьбе автора, приняли участие несколько русских ученых и литераторов.

Джон Бауринг (Bowring, 1792—1872) занялся коммерческой деятельностью тотчас по окончании школы и по торговым делам много путешествовал по Европе. Зимой 1819 года он совершил поездку в Петербург. „В Петербурге, — рассказывает он в своих воспоминаниях, — я приобрел знание русского языка, достаточное для того, чтобы представить публике первые образцы <русской поэзии, в переводах>, сделанные на английский язык“.² Как видно из тех же „Воспоминаний“ Бауринга, существенную помощь для „Российской антологии“ оказали ему два петербургских ученых, с которыми он свел наиболее близкое знакомство, — Ф. П. Аделунг (1768—1843), автор ряда трудов по истории и статистике, которого Бауринг, благодаря за доставление биографических сведений и критических замечаний о русских писателях, именует „своим знаменитым другом“, и экономист Генрих Шторх (1766—1835). Живя в Петербурге, Бауринг познакомился с Карамзиным³ и Крыловым (от последнего он даже получил текст басни „Осел и соловей“, тогда еще в России не напечатанной), но кругозор

¹ Известно письмо Гете к Н. Борхарду, напечатанное в „Московском вестнике“ 1828 года, в котором он с похвалой отзываясь о книге Бауринга, познакомившей Западную Европу с русскими поэтами (Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженка, М., 1902, стр. 181); хорошо знали „Российскую антологию“ также во Франции (V. M. Jovanovitch. La Guzla de Prosper Merimée. Etude d'histoire romantique, Paris, 1911, стр. 472—482).

² John Bowring. Autobiographical Recollections, ed. by L. B. Bowring, London, 1877, стр. 123.

³ Там же, стр. 280—281, 288—289.

его оказался в общем ограниченным, а познания его в русском языке и литературе весьма поверхностными. Характерно, что Бауринг ничего не знал о Пушкине и что имя Пушкина ни разу не упомянуто ни в первом (1821), ни во втором (1823) изданиях его антологии.

Энгельс не мог не знать Бауринга также и с другой стороны, не только как одного из первых популяризаторов в Англии русской поэзии, но прежде всего как виднейшего „бентамовца“, душеприказчика и издателя сочинений И. Бентама, этого духовного отца английских утилитаристов и классической буржуазной „манчестерской“ школы политико-экономов. Основанное Баурингом на средства Бентама для распространения его идей „Вестминстерское обозрение“ (Westminster Review), орган бентамистов-риккардианцев, в котором сотрудничали Джемс Милль и другие члены „Общества утилитаристов“, было одним из первых в Англии журналов, уделявших некоторое внимание новинкам русской литературы, а отчасти и других славянских литератур, но это были случайные отголоски языковых увлечений Бауринга как полиглот-дилетанта.¹ Кстати, в начале 50-х годов, в связи со своими занятиями славистикой, Энгельс безусловно должен был познакомиться также с другими славянскими антологиями Бауринга — польской (1827), сербской (1827), чешской (1832) и т. д.² Самого Бауринга в это время в Англию не было, но его стихотворные переводы пользовались известностью за неимением лучших.³

Есть все основания полагать, что выписки из „Российской антологии“ Бауринга сделаны Энгельсом в начале 50-х годов. Свидетельством того, что, штудировав эту книгу, Энгельс еще мало знал русский язык, может служить то, что он избегал букв русской азбуки в своих записях, все русские слова транскрибируя латинским алфавитом; с дру-

¹ П. Покровский. Бентам и его время. П., 1916, стр. 280—281, 288—289; G. L. Nesbitt, Benthamite Reviewing, N. Y., 1934, стр. 123.

² Arthur P. Coleman. John Bowring and the poetry of the Slavs. „Proceedings of American Philosophical Society“, 1941, vol. LXXXV, стр. 431—459.

³ Начиная с 30-х годов Бауринг получал ряд поручений от английского правительства по изучению финансов в различных странах Европы, был избран в парламент и вообще проявлял кипучую деятельность, далеко, впрочем, не с прогрессивных позиций. В поздние годы жизни Бауринг открыто стоял на стороне реакции. К. Маркс в одной из своих статей назвал его в числе „злейших врагов народа и самых бесстыдных лицемеров“ (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 447). Правительственную службу Бауринг закончил в должности полномочного представителя Англии в Кантоне (с 1847 года), а затем и губернатора в Гонконге (с 1854 года). Любопытно, что и в эти годы Бауринг не забыл еще о русских впечатлениях своих молодых лет. А. Вышеславцев (Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857—1860 годах, СПб., 1867, стр. 187—188), описавший свою встречу с Баурингом в Гонконге в 1859 году, рассказывает про него: „В молодости своей он был в Петербурге, занимался русским языком и перевел отрывки из наших поэтов на английский язык. . . Хозяин заговорил о России. Воспоминания его перенесли меня ко временам *Арзамасского общества*. Он рассказывал о *друге* своем Карамзине и говорил с восторгом о Державине. О новой литературе, начиная с Пушкина, он не имел понятия“.

гой стороны, Энгельс воспроизвел в своей тетради некоторые ошибки Бауринга. Так, он смешивал еще латинское р и русское р: ломоносовское „Слово о рождении металлов от трясения земли“ у Энгельса транскрибировано с той же ошибкой в слове „рождении“, как и у Бауринга, — *rozdenii*, и переведено — изменение; ломоносовская „Программа (при начале публичного чтения на русском языке изъяснения физики)“ у Бауринга также транскрибирована ошибочно: слово „чтения“ передано — *chenije*, а „изъяснение“ — *is jesenije*;¹ Энгельс воспроизвел это, однако, исправив ошибку Бауринга в слове „при“ (у Бауринга — *tri*).

„Российская антология“ Бауринга сообщила Энгельсу кое-какие данные о русских писателях, преимущественно XVIII и начала XIX века, и некоторыми сведениями, полученными из этой книги, он вскоре же начал пользоваться. Для нас существенно подчеркнуть, — поскольку это лишний раз подтверждает, что русскую поэзию, в связи с книгой Бауринга, Энгельс изучал именно в начале 50-х годов, — что в 1854 году в передовой статье написанной им совместно с Марксом для газеты „New York Daily Tribune“, встречается цитата из оды Державина.²

Несомненно, однако, что под руками у Энгельса находились в то время уже и русские книги, а не только переводы с русского языка, которые могли иметь для него лишь подсобное значение.

Существует известие, что одной из первых книг на русском языке, читанных Энгельсом, была „Тюрьма и ссылка“ Герцена (впоследствии „Былое и думы“). По этому свидетельству, когда в конце 1869 года К. Маркс принялся за изучение русского языка, он будто бы сознательно избрал именно эту книгу Герцена, так как имел под рукой экземпляр ее, принадлежавший Энгельсу, и хотел воспользоваться нанесенными в ней пометками Энгельса с переводом русских слов.³ Это свидетельство наталкивается, однако, на некоторые затруднения прежде всего хронологического характера. Известно, что эта книга Герцена (Тюрьма и ссылка. Из записок *Искандера*. Лондон, 1854) была одним из ранних изданий Вольной русской книгопечатни в Лондоне и что она вышла в свет в 1854 году,⁴ т. е. уже к тому времени, когда познания Энгельса в русском языке, после трехлетних занятий, были вполне „хорошими“; естественно, что эта книга не могла быть *первой* русской книгой, читанной Энгельсом, и что ей безусловно предшествовали иные печатные русские тексты. С другой стороны, при изучении русского языка Маркс пользовался своеобразными методами, не

¹ В автографе у Энгельса: *rozdeniju*, *čenije*, *iz jasenije* (см. факсимиле в книге: Ломоносов. Сборник статей и материалов, III, 1951, между страницами 12 и 13).

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. X, стр. 108. — Цитата заимствована из стихотворения Г. Р. Державина „На взятие Варшавы“ (1794). В обоих томах антологии Бауринга помещено было несколько произведений Державина, однако данная ода отсутствует.

³ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. IV, 1929, стр. 369.

⁴ Библиографическое описание изданий Вольной русской типографии в Лондоне, 1853—1865. Составил П. Н. Берков, М.—Л., 1935, стр. 17 (№ 12).

совпадающими с теми, которыми ранее его пользовался Энгельс. Сохранившиеся экземпляры первых русских книг, прочитанных Марксом, несут на себе следы этих своеобразных приемов. В. Зензинов, разбравший русские книги из библиотеки Маркса в 1900—1901 годах, пишет по этому поводу следующее: "...Маркс изучал русский язык — методом, который я встретил только здесь и который сам я по этому примеру позднее успешно применял при изучении иностранных языков. А именно: встречая незнакомое слово, Маркс ставил над ним цифру и значение этого слова выписывал здесь же на полях под соответствующими цифрами по-немецки. Этим соблюдалась экономия в выписывании слов в отдельную тетрадку, и, кроме того, при вторичном просмотре легче было из общей связи фразы догадаться и запомнить смысл каждого выписанного слова. Благодаря такому способу многие русские книги, которые читал Маркс, были испещрены на полях сплошной сеткой выписанных слов".¹ Энгельс, напротив, подходил к изучению любого языка прежде всего как лингвист; как увидим ниже, он выписывал незнакомые ему слова в тетрадь и тут же делал разнообразные пометы о значении этого слова, его происхождении, различных грамматических изменениях и т. д. Возможно, что Маркс читал „Тюрьму и ссылку“ Герцена по экземпляру, принадлежавшему Энгельсу, возможно, наконец, что на этом экземпляре существовали и некоторые пометы Энгельса, но едва ли решение Маркса читать ее в качестве первой русской книги могло быть вызвано именно этими пометами.

Не подлежит, однако, сомнению, что лондонские издания Герцена сильно способствовали интересу Энгельса к русскому языку и русской общественной жизни. С мая 1853 года зазвучало в Лондоне вольное русское слово, и с тех пор станок „Вольной русской типографии“, по словам Герцена, „работал не останавливаясь“.² В 1855 году вышли в свет из той же книгопечатни „Письма из Франции и Италии“ и „С того берега“ Искандера-Герцена, в том же году — первая книжка

¹ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. IV, стр. 357. См. также заметку Я. Ипполитова „Работа Карла Маркса над книгами русских писателей“ („Смена“, 1951, № 7, стр. 12); на приложенной к этой заметке иллюстрации („Фотокопии страниц книг русских писателей с пометками и замечаниями Карла Маркса“) воспроизведены две страницы „Былого и дум“ Герцена с подчеркиваниями в тексте и выписанными по-русски словами в верхних углах страниц. См. также замечания М. Гляссер (О методах работы классиков марксизма-ленинизма над книгой. М., 1940, стр. 15): „В тетрадях Маркса сохранилось много записей, показывающих, с каким упорством и прилежанием он занимался русским языком. Он записывал значение отдельных слов, таблицы склонений и спряжений и вложил очень много труда в усвоение всех особенностей русского языка, различных форм глаголов, падежей и т. п.“. Здесь же М. Гляссер утверждает: „Первой книгой, которую начал читать Маркс для практики, была книга Герцена: «Тюрьма и ссылка». Несомненно, что это утверждение основано на свидетельстве самого Маркса в письме к Энгельсу от 22 января 1870 года. Маркс сообщил здесь, что он только что закончил чтение главы из „Тюрьмы и ссылки“ Герцена (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 281).

² Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне. Лондон, 1863, стр. V.

„Полярной звезды“ с эпитафией из Пушкина „Да здравствует разум“ и т. д. Не от Герцена ли, не от его ли страстной пропаганды величайшего русского поэта, впервые открытого им Западной Европе во всем его общественном значении, пришел интерес к Пушкину и у Энгельса, заставивший углубиться в чтение и внимательное изучение его лучших (и, кстати сказать, труднейших для понимания иностранцем) поэтических текстов?

Широко известно, что для Герцена Пушкин был не только первым национальным поэтом, верно отразившим русскую действительность своей эпохи; он видел в нем, по словам исследователя, „залог новой, будущей России, прообраз, первое полное раскрытие тех колоссальных творческих сил, которые таятся в русском человеке и которые рано или поздно разобьют сдавливающие их оковы деспотического строя“.¹ В книге „О развитии революционных идей в России“ (1851), написанной для западноевропейских читателей с целью показать, какие огромные творческие силы таятся в русском народе (книге, безусловно известной Энгельсу), Герцен много говорит о Пушкине как о средоточии русской культуры и прямо ставит его в центр революционных событий 1825 года. Показательно, что в этой работе Герцен много внимания уделяет „Евгению Онегину“ как одному из самых значительных произведений Пушкина, „поглотившему половину его жизни“. „Пушкин — в руках каждого цивилизованного русского, который перечитывает его всю жизнь“, — пишет Герцен. Всякому, читавшему книгу Герцена, не могут не запомниться и его слова о „Евгении Онегине“: „...Онегин — это русский, он возможен только в России; в ней он нужен и его встречают на каждом шагу... Тип Онегина до такой степени национален, что встречается во всех романах и во всех поэмах, которые имели хоть некоторую популярность в России, и не потому, что ему хотели подражать, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом... Дело в том, что все мы — более или менее Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками... Цивилизация нас губит, сбивает с пути; это благодаря ей мы в тягость другим и самим себе, праздные, бесполезные, капризные; это благодаря ей мы переходим от эксцентричности к кутежу, без сожаления растрачивая наше состояние, наше сердце, нашу юность, в поисках занятий, ощущений, развлечений... Мы всем занимаемся: музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забиться от гнетущей нас огромной пустоты“.²

¹ Русские писатели XIX века о Пушкине. Редакция А. С. Долинина, Л., 1938, стр. 202—204, 454; ср. статью А. С. Долинина „Пушкин в жизни и творчестве Герцена“ [„Ученые записки Ленинградского Государственного университета, № 158 (Русские революционные демократы), Л., 1952, стр. 87—118].

² А. И. Герцен. О развитии революционных идей в России. Полное собрание сочинений и писем, т. VI, 1919, стр. 247, 249, 250; А. И. Герцен, Избранные сочинения, Гослитиздат, М., 1937, стр. 393, 394, 395.

3

Среди рукописей Энгельса сохранилось несколько тетрадей с упражнениями по русскому языку. Это выписки или словарные записи из произведений русских писателей с вокабулами к ним, грамматическими замечаниями, опытами дословных прозаических переводов и набросками реального комментария. Сохранились подобные записи к текстам Державина, Грибоедова, но на первом месте стоит Пушкин; из его произведений особо тщательно изучению подверглись „Евгений Онегин“ и „Медный всадник“.

Сведения об этих рукописях Энгельса уже давно проникли в литературу о Пушкине, но они были краткими и явно недостаточными. Еще в 1930 году П. Е. Щеголев в статье „Пушкин — экономист“ писал:

„Энгельс читал по-русски, и «Евгений Онегин» был книгой, по которой он и Маркс учились русскому языку... В хранящихся в Институте Маркса—Энгельса—Ленина тетрадях Маркса, записях и письмах попадают цитаты из Пушкина...“¹

В 1933 году о существовании тетрадей Энгельса со словарными материалами к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“ впервые сообщил Ф. Шиллер,² те же краткие сведения об этой тетради от времени до времени сообщались и в других изданиях,³ однако изучение этого интереснейшего документа еще не начиналось.

Институт Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС в Москве (ИМЭЛС), где хранится подлинник этих записей Энгельса, удовлетворил просьбу Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР о предоставлении ему возможности ознакомиться с этими материалами и не только передал в распоряжение Института фотоснимки с рукописей Энгельса и опыт их расшифровки, но дал также свое согласие на их опубликование. Настоящая работа, представляющая собой результат и первый итог изучения этих записей Энгельса, может служить также введением к их первой публикации, помещаемой в данном издании.

¹ П. Е. Щеголев. Пушкин — экономист. „Известия ЦИК“, 1930, № 17, 17 января.

² Ф. П. Шиллер. Энгельс, как литературный критик. М., 1933, стр. 195—196; здесь же между стр. 192 и 193 на вкладном листе воспроизведен снимок с первой страницы этой тетради Энгельса; та же первая страница воспроизведена была при статье А. Б. „Маркс, Энгельс и Пушкин“ в газете „Известия ЦИК“, 1937, № 36, 10 февраля, стр. 3, и в „Литературном наследстве“, кн. 3, 1932, стр. 333.

³ А. Гольдман. Маркс и Энгельс о великом поэте. „Смена“ (Москва), 1949, № 10, стр. 10 (при статье воспроизведена первая страница словарных записей Энгельса к „Евгению Онегину“); ср.: Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 63—64. В статье А. Гандкина „Маркс, Энгельс, Ленин о Пушкине“ (в сборнике „Литературный Ростов“, 1940, № 8, стр. 158—167) приводятся очень неточные данные об этой тетради. На стр. 163 мы, например, читаем: „В Институте Маркса—Энгельса—Ленина хранится фотокопия (?), показывающая, что Энгельс переписывал отдельные строки из «Евгения Онегина»“(!).

Первый вопрос, возникающий у исследователя при изучении указанных записей Энгельса, относится к их датировке. Приведенное выше мнение П. Е. Щеголева, что будто бы „Евгений Онегин“ был книгой, по которой Энгельс и Маркс учились русскому языку, может дать повод к лишнему недоразумению. Маркс, как мы уже видели, начал изучать русский язык в ноябре 1869 года, почти на двадцать лет позже, чем Энгельс, и хотя он безусловно имел русский текст Пушкина в своей библиотеке, но следует думать, что такая книга могла быть приобретена им не ранее 1870 года.¹ До этого времени Маркс по-русски не читал. Зигфриду Мейеру, в письме от 21 января 1871 года, Маркс сообщил, что его занятия русским языком были вызваны тем, что ему „прислали из Петербурга представляющее весьма значительный интерес сочинение Флеровского о «Положении рабочего класса (в особенности крестьян) в России» и что я хотел познакомиться также с экономическими (превосходными) работами Чернышевского...“.² До этого с русскими изданиями, „обычно в форме конспективных переводов“, Маркса знакомили Энгельс и отчасти Боркгейм;³ от их посредничества как своих референтов, знакомых с русским языком, Маркс отказался лишь в начале 70-х годов, т. е. с того времени, когда он сам стал читать по-русски, по его собственному признанию, „довольно бегло“.⁴

¹ Напомним известное свидетельство П. Лафарга в его „Воспоминаниях о Марксе“: „Когда Марксу было уже 50 лет, он принялся за изучение русского языка и, несмотря на трудность этого языка, овладел им через каких-нибудь шесть месяцев настолько, что мог с удовольствием читать русских поэтов и прозаиков, из которых особенно ценил Пушкина, Гоголя и Щедрина. За изучение русского языка Маркс принялся, чтобы иметь возможность читать документы официальных обследований, документы, опубликование которых, в виду содержащихся в них ужасных разоблачений, правительство запрещало. Преданные друзья доставляли их Марксу, и последний является, несомненно, единственным западно-европейским экономистом, который имел возможность ознакомиться с ними“ (К. Маркс, Избранные произведения, т. I, М., 1940, стр. 90).

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 87. Маркс, как известно, основательно изучил эту книгу В. В. Берви-Флеровского, испещрив принадлежавший ему экземпляр своими многочисленными замечаниями, выписками и различными пометами на полях. В письмах к Энгельсу (также весьма интересовавшемуся этим русским исследованием), давая в общем вполне положительную оценку книге Флеровского, К. Маркс указал, однако, на ряд заключающихся в ней ошибочных положений. Экземпляр этой книги, бывший в руках Маркса, с его собственноручными пометами „был преподнесен Центральным правлением Социалистической единой партии Германии И. В. Сталину в день его семидесятилетия“ (Г. Подоров. Экономические воззрения В. В. Берви-Флеровского, М., 1952, стр. 106—107).

³ „Литературное наследство“, кн. 25—26, 1936, стр. 4. Когда в конце 60-х годов Марксу потребовались, например, материалы о распаде прежних аграрных отношений в России, то ряд переводов из русских книг, по его поручению, произвел для него Боркгейм (см.: Письмо Маркса к Энгельсу от 7 ноября 1868 года, Сочинения, т. XXIV, стр. 126). Однако уже в 1870 году, узнав от Г. А. Лопатина, что Боркгейм имеет весьма сомнительные познания в русском языке, Маркс тотчас же сообщил об этом Энгельсу (там же, стр. 348).

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 87. В последующие годы Маркс уже настолько овладел русским языком, что читал русские книги, чаще

Таким образом, русскими книгами библиотека Маркса стала пополняться не ранее 70-х годов,¹ а между тем в одном из примечаний к его знаменитой книге „К критике политической экономии“, вышедшей в свет, как известно, в июне 1859 года,² встречается упоминание о Пушкине, предполагающее знакомство автора с VII строфой первой главы „Евгения Онегина“. Говоря, что у Рикардо „смехотворным образом“ обнаруживается „смещение денег и товара, а также денег и монеты“, Маркс писал (в разделе „Теории средств обращения и денег“): „В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги представляют собою товар, это русские поняли уже давно, что доказывается не только ввозом хлеба в Англию в 1838—1842 гг., но и всей историей их торговли.“³ Всякий помнит эти стихи, которые Маркс, несомненно, имеет в виду, об Онегине, который,

... читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

(Гл. I, строфа VII).

всею не прибегая к помощи словаря или пользуясь им в редких случаях, например, при чтении произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, действительно нередко бывших для него трудными по своей лексике и фразеологическим сочетаниям. На полях книг этого писателя (в библиотеке Маркса находилась в изданиях 70-х—начала 80-х годов „Господа Ташкентцы“, „Дневник провинциала в Петербурге“, „Убежище Монрепо“, „За рубежом“) еще встречаются переводы не понятых Марксом русских слов (например, „казовый“, „потрафил“, „голокоинный“, „острец“, „прогоны“ и т. д.), но в тексте многие места подчеркнуты, иногда даже обведены карандашом, как привлекавшие к себе особое внимание. О хорошем знании Марксом русского языка дают ясное представление опубликованные впервые по рукописям конспекты и выписки Маркса из русских книг и статей, сделанные им во второй половине 70-х годов (Чернышевского, Кошелева, Самарина, Кавелина, Скалдина, Янсона, Энгельгардта), — см. Архив Маркса и Энгельса, т. XI, 1948.

¹ С начала 70-х годов заметно усилились личные связи и переписка Маркса с русскими людьми (Г. А. Лопатиным, П. Л. Лавровым, Н. Ф. Даниэльсоном и др.), которые снабжали его и русскими книгами. Впоследствии у П. Л. Лаврова хранился ряд подобных книг, перешедших к нему из библиотеки Маркса. Отметим, что среди них была, например, известная статья П. В. Анненкова „Замечательное десятилетие“ (в ее первом издании в „Вестнике Европы“, 1880), читанная Марксом, о чем свидетельствуют его подчеркивания и собственноручные маргиналии (они кратко описаны в „Русской мысли“, 1903, кн. VII, стр. 61—63).

² Л. А. Левин. Библиография произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1948, стр. 37.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. 1, стр. 160. — Во избежание недоразумений, а также ввиду того, что указанное место в различных русских изданиях этой работы Маркса приводится в разных переводах, привожу его в оригинале по первому изданию: „Puschkin in seinem Heldengedicht läßt den Vater sei-

Напрашивается естественное предположение, что эта цитата из русского текста „Евгения Онегина“ была сообщена Марксу в немецком переводе Энгельсом, притом не позже 1857—1858 годов, т. е. не позже того времени, когда Маркс интенсивно работал над своей книгой, а может быть, и в более ранние годы. И это может служить, в свою очередь, косвенным подтверждением уже высказанной догадки, что тетрадь словарных записей Энгельса к „Евгению Онегину“ не относится к более позднему времени. Как увидим ниже, не только вокабулы к упомянутой VII строфе „Евгения Онегина“, откуда взята цитата Марксом в его книгу, но и полный прозаический перевод этой строфы с очень любопытными попутными комментариями находится как раз в интересующей нас рукописи Энгельса.

Энгельс навсегда запомнил эту строфу пушкинского романа, в которую он вчитывался столь тщательно. Так, он цитировал ее в написанной в Лондоне, в конце февраля 1890 года, статье „Внешняя политика русского царизма“: „Это было то время, когда пушкинский Евгений Онегин узнал из Адама Смита,

Как государство богатеет
... и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет, —

между тем как, с другой стороны,

Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

„Россия могла приобретать деньги лишь посредством морской торговли и путем вывоза своих сырых продуктов на тогдашний главный рынок, в Англию; а Россия была уже слишком европейской страной, чтобы обходиться без денег“.¹

Ту же цитату, притом в русском подлиннике, находим мы в письме Энгельса к Н. Ф. Даниельсону от 29—31 октября 1891 года, в строках, в которых Энгельс отдает дань экономической прозорливости Пушкина: „Когда мы изучаем таким образом реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века — хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принимал условия, господствовавшие в Эдинбурге и в окрестных шотландских графствах, за нормальные для целой вселенной. Впрочем, Пушкин уже знал это, как и то,

nes Helden nie begreifen, daß Waare Geld sei“ (K. Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlin, 1859, S. 159; я пользовался экземпляром Библиотеки Академии Наук СССР в Ленинграде, хранящимся в Отделе редких и ценных изданий под № 1627).

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 20.

... и почему
 Не нужно золота ему,
 Когда простой продукт имеет.
 Отец понять его не мог
 И земли отдавал в залог¹.

О том, как хорошо до конца жизни помнил Энгельс эти стихи Пушкина, мы имеем еще одно свидетельство — писателя-народовольца Н. С. Русанова. Весной 1892 года Русанов посетил Энгельса в Лондоне. По воспоминаниям Русанова, Энгельс в беседе с ним высказывался против „политического романтизма“ народовольцев, противопоставляя им марксистские воззрения группы „Освобождение труда“. „Шестерня капитализма, — говорил Энгельс, — уже крепко врезалась местами в русскую экономику... Но вы, в большинстве случаев, не отказались еще от архаических понятий“.

И, как рассказывает Русанов, Энгельс прошел с ним в соседнюю комнату, подошел здесь к одной из полок своей обширной библиотеки, достал с нее одну из стоявших здесь книг в старом переплете: это было, как оказалось, одно из первых изданий пушкинского „Евгения Онегина“.

Русанов догадался, какие именно строки хотел прочесть ему Энгельс, и, зная их, просил разрешения прочесть эти строки. Затем он продемонстрировал их наизусть, не раскрывая книги:

... читал Адама Смита
 И был глубокий эконо-
 м, То есть умел судить о том,
 Как государство богатеет,
 И отчего, и почему
 Не нужно золота ему,
 Когда простой продукт имеет и т. д.

„— Чорт возьми, вы угадали... Верно, верно: эту именно цитату я и хотел прочитать вам. Но что навело вас на это? — Ассоциация идей? — Какая? — Когда я увидел в ваших руках томик «Евгения Онегина», я тотчас же припомнил, что Маркс привел как раз эту цитату — и притом по-русски — в своей книге «Критика политической экономии» —

Его отец понять не мог
 И земли отдавал в залог, —

чтобы показать, что идеи буржуазной политической экономии не могут быть применимы к обществу, основанному на труде крепостных. На-

¹ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, изд. 2-е, 1951, стр. 147—148.

смешливое выражение глаз у Энгельса сменилось вполне дружелюбным“¹.

Эта живо описанная сцена, если отбросить несколько хвастливый тон мемуариста, заслуживает внимания: она лишний раз свидетельствует и об остроте памяти Энгельса, и о постоянном интересе его к „Евгению Онегину“ Пушкина (Русанов утверждает, что будто бы эта книга была удержана Энгельсом из библиотеки Маркса; выше мы отмечали уже другое свидетельство, по которому Маркс читал „Евгения Онегина“ по экземпляру, принадлежавшему ранее Энгельсу). В приведенном рассказе Н. С. Русанова для нас не менее интересно упоминание книги Маркса „К критике политической экономии“ 1859 года, которую так хорошо знали оба собеседника. Почему, однако, при упоминании об этой книге и о содержащейся в ней цитате из „Евгения Онегина“ „насмешливое выражение глаз у Энгельса, — как рассказывает Н. С. Русанов, — сменилось вполне дружелюбным“? Только ли потому, что Русанов оказался „внимательным читателем“, продемонстрировав Энгельсу хорошее знание классического труда его покойного друга и соратника? Трудно отделаться от впечатления, что за доброжелательной улыбкой Энгельса скрывалось и нечто другое, о чем он, впрочем, не нашел нужным сообщить своему русскому гостю: мы полагаем, что Маркс именно от Энгельса узнал упомянутую цитату из „Евгения Онегина“ в период работы над своей книгой в конце 50-х годов.

4

К такому же выводу приводит нас и непосредственное изучение интересующей нас рукописи Энгельса: тетрадь словарных записей к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“ едва ли может относиться ко времени более позднему, чем начало 50-х годов. Она, несомненно, писалась еще в то время, когда русский язык и в особенности русский стихотворный текст представляли для Энгельса значительные трудности. В записях Энгельса попадаются еще и смешение алфавитов (порой Энгельс в русских словах пишет l вместо л и d вместо д; русское *m* иногда графически сближается в его записях с латинским *t*), и ошибочные написания отдельных русских слов, и характерные, впрочем, вполне извинительные для иностранца, неправильности в опреде-

¹ См.: „Литературный Ростов“, 1940, кн. 8, стр. 162—163. Указание Русанова, что Маркс будто бы привел эту цитату из „Евгения Онегина“ в своей книге, притом в русском подлиннике, не соответствует действительности. Как мы уже видели (см. выше, стр. 28, примечание 3), Маркс привел не цитату из пушкинского текста, а лишь пересказ ее своими словами; к тому же он называет стихотворный роман Пушкина „Heldengedicht“ — „героической поэмой“ и не приводит его заглавия, что может служить свидетельством того, что он не был знаком в 1857—1858 годах с этим произведением Пушкина; не подлежит сомнению, что в эти годы Маркс знал „Евгения Онегина“ лишь с чужих слов. Известно, что еще в 1854 году Н. И. Сазонов переводил для Маркса стихотворение П. А. Бяземского „Русский бог“, впервые изданное Герденом отдельной листовкой.

лении их значений. Едва ли ошибки подобного рода Энгельс мог делать в начале 70-х годов, когда освежал свои ранее приобретенные навыки в чтении русских книг; по собственному признанию, он лишь позабыл „русские склонения“.¹ Уровень знаний языка, обнаруживаемый в интересующей нас тетради Энгельса, приблизительно соответствует той стадии его изучения русской книжной речи, которую он сам характеризовал в письме к Марксу от 18 марта 1852 года: „... порядочно освоился теперь с грамматикой, еще два-три месяца дадут мне необходимый запас слов...“.² Именно для пополнения этого запаса Энгельс и принялся, повидимому, за внимательное — слово за словом, стих за стихом — изучение „Евгения Онегина“.

В описываемой тетради Энгельса содержится пятнадцать листов, из которых четырнадцать заняты записями, относящимися к „Евгению Онегину“, а последний — пятнадцатый — к „Медному всаднику“.³ Каждый лист разделен на два столбца:⁴ в левом выписаны русские слова (на русском языке) в последовательном порядке пушкинского текста; против каждого русского слова проставлено соответствующее по значению немецкое (иногда также французское или английское), в одном или нескольких вариантах; здесь же отмечены грамматическая категория, к которой относится то или иное русское слово (например, падеж для имен существительных или прилагательных, вид, время, лицо, число для глаголов и т. д.), те или иные отклонения от грамматических правил, данные о происхождении или об орфографических особенностях того или иного слова и т. д. В правом столбце дан связанный немецкий перевод тех же стихов Пушкина (иногда с вариантами), дословный, но точный по смыслу и довольно близкий к подлиннику; правый столбец заполнялся позже, чем левый, так как при связанных переводах для отдельных русских слов выбраны не всегда те соответствующие им немецкие, которые отмечены в левом столбце, а новые, еще ближе соответствующие общему смыслу переводимого текста. Вверху первого листа по-русски написано: „Александр Пушкин. Евгений Онегин“. Перечень русских слов, вокабулы к ним и перевод начаты с „посвящения“ П. А. Плетневу. Затем (л. 2) идут в том же порядке перечни слов к первой главе „Евгения Онегина“ с вокабулами и переводы (в правом столбце), в точном последовании строф, отмечаемых арабскими цифрами. Лист 2 тоже имеет заглавие, написанное Энгельсом русскими буквами: „Евгений Онегин. Глава первая“.⁵ Связные переводы отдельных строф

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 168.

² То же, т. XXI, стр. 341.

³ Полное воспроизведение рукописи дается нами ниже (стр. 103—155), снабженное необходимыми пояснениями текстологического характера.

⁴ Ниже, при воспроизведении записей Энгельса (на стр. 103 и след.), левый столбец для удобства чтения разбит на две колонки.

⁵ То же заглавие — на листе 5. К заполнению этой тетради Энгельс приступал несколько раз. Первоначально работа начата была на листе 12, затем брошена и оставшийся чистым в своей значительной части лист, в перевернутом виде, был

идут до XI строфы включительно, затем обрываются; очевидно, первоначально медленный процесс чтения русского текста со словарем в руках шел все более убыстряющимся темпом.

Начиная с листа 8 тетради выписываются только русские слова с немецкими вокабулами, с листа 9 (строфа XVI и следующие) они заполняют оба столбца. Таким образом, листы 9—13 представляют собой немецкий „ключ“ к чтению „Евгения Онегина“ с XVI по XXXIII строфу первой главы включительно.

Лист 14 заполнен такими же вокабулами, однако не к основному стихотворному тексту поэмы, а к тому, что в изданиях „Евгения Онегина“ озаглавлено „Отрывки из путешествия Онегина“ (начало: „Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России“ и т. д.). Есть все основания для предположения, что к переводу этого прозаического стрывка Пушкина Энгельс обратился в поисках объяснения, почему в глоссированных им 33 строфах „Евгения Онегина“ дважды встретились „пропущенные строфы“, заполненные вместо текста рядами точек (таковы строфы IX и XIII—XIV). Последний лист (15-й) озаглавлен Энгельсом также по-русски „Медный всадник“: здесь записаны вокабулы к начальным стихам „Вступления“ пушкинской поэмы (объяснено немногим более пятидесяти слов).

Таким образом, описываемая рукопись Энгельса представляет собой записи, делавшиеся им при чтении главным образом первой главы „Евгения Онегина“ (посвящение, тридцать три строфы, „Отрывки из путешествия Онегина“). Несомненно, что в руках Энгельса было полное издание этого произведения Пушкина. Представляется, естественно, затруднительным определить, что это было за издание; для такой цели, однако, существенным является, во-первых, то, что оно открывалось „посвящением“ Плетневу, воспроизводившимся далеко не во всех изданиях,¹ и, во-вторых, то, что в нем находились „Отрывки из путешествия Онегина“, впервые появившиеся уже в первом полном отдельном изда-

вновь заполнен вокабулами к XXVIII строфе первой главы „Евгения Онегина“. Сначала на листе было написано: „Jewgenji Onegin, erstes Kapitel. Analyse. I. | самых честных <sic, вм. честных> правил gen. plur. von самое честное <sic> правило| занемог — мог praet. sing. v. мочь können“ и т. д. Энгельс бросил этот лист при начале работы, заметив, повидимому, свои ошибки как в написании русских слов, так и в определении их значений; эти ошибки отсутствуют на листе 2, где вновь перечислены те же слова из I строфы первой главы „Евгения Онегина“, но еще с большей подробностью.

¹ Это „посвящение“ („Не мысля гордый свет забавить...“), которое впоследствии сам П. А. Плетнев называл „никим неожиданным выражением тайного сочувствия между гением и простым человеком, симпатизирующим с ним“ (Переписка Н. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, СПб., 1896, стр. 332), впервые напечатано было (с пометой: 1827, 29 декабря) в отдельном издании четвертой и пятой глав „Евгения Онегина“ (СПб., 1828). См.: Пушкин в печати. 1814—1837. Составили Н. Синявский и М. Цявловский, изд. 2-е, М., 1938, стр. 50, №№ 335—338.

нии всех глав „Евгения Онегина“ 1833 года,¹ затем в издании 1837 года² и в первом томе посмертного издания сочинений Пушкина 1838 года.³ Одно из этих изданий и было, повидимому, у Энгельса. Напомним в связи с этим уже приводившееся выше свидетельство Н. С. Русянова, что в библиотеке Энгельса стояло на полке одно из первых изданий пушкинского „Евгения Онегина“ в старом переплете.

Хотя „Евгений Онегин“ едва ли был *первой* русской книгой, читанной Энгельсом для практики в русском языке, так как его запись свидетельствует об уже приобретенном умении пользоваться словарем и разбираться в грамматических вопросах, но нельзя не отметить, что это произведение великого русского поэта всегда представляло особые и почти непреодолимые трудности для понимания иностранцев — даже знатоков русского языка и профессиональных переводчиков. Не забудем при этом, что Энгельс не мог еще иметь никаких комментированных изданий „Евгения Онегина“, тем более таких, какие давали бы необходимые пояснения языкового характера; подобных изданий для зарубежных читателей Пушкина, с истолкованием трудных мест и грамматическим анализом, к сожалению, не существует и донныне.

Не существовало к тому времени и таких переводов „Евгения Онегина“ на иностранные языки, в частности на немецкий, которые могли бы служить читателям-иностранцам своего рода подспорьем при изучении его русского текста. Перевод Роберта Липперта (1840) — первый опыт передачи „Евгения Онегина“ на немецком языке — отличался вольностью и вопиющими бессмыслицами;⁴ следующий по времени немецкий перевод этого произведения — Ф. Боденштедта (1854) — выполнен гладкими, ровными, легкими стихами, но и он, в значительной части, представляет собой скорее пересказ, чем перевод.⁵

¹ Пушкин в печати. 1814—1837. Составили Н. Синявский и М. Цявловский, изд. 2-е, М., 1938, стр. 104, № 937.

² Там же, стр. 136, № 1183.

³ Сочинения А. Пушкина, т. I, СПб., 1838, стр. 237—238. В дальнейшем те стихи Пушкина из „Евгения Онегина“ и „Медного всадника“, которые были изучены Энгельсом и отражены в его записях, датируются по этому посмертному одиннадцатитомному изданию (СПб., 1838—1841), которое, вероятнее всего, как наиболее распространенное в 40-х и начале 50-х годов, и находилось в руках Энгельса. „Евгений Онегин“ напечатан здесь в первом томе (дополнительные черновые строфы в томах VIII и IX); текст оставался неисправленным вплоть до издания П. В. Анненкова (1855); в дальнейшем черновые наброски к „Евгению Онегину“ и пропущенные стихи публиковались крайне медленно. Только тридцать с лишним лет спустя текст исправлен и дополнен был по автографам в отдельном издании романа, выпущенном Обществом любителей российской словесности под редакцией В. Е. Якушкина (М., 1887). Историю постепенного „приращения“ печатного текста „Евгения Онегина“ в связи с изучением рукописей поэта см. в книге: Пушкин в печати за сто лет (1837—1937). Составила К. П. Богаевская. Под редакцией М. А. Цявловского, М., 1938, стр. 19—22.

⁴ Alexander Puschkin's Dichtungen. Aus dem Russischen übersetzt von Robert Lippert, 2 Bde, Leipzig, 1840 („Евгений Онегин“ помещен здесь во втором томе).

⁵ Известный знаток русского языка, много сделавший для популяризации творчества Пушкина в Германии, Фаригаген фон Энзе писал в своем дневнике (17 октября

История литературы знает ряд случаев изучения русского языка иностранцами со специальной целью — прочесть пушкинский роман в русском подлиннике. Так, например, венгерский писатель Кароль Берци (Karoly Berczy, 1823—1867) изучил русский язык для того, чтобы иметь возможность перевести „Евгения Онегина“ на венгерский язык непосредственно с русского текста. Берци знал это произведение Пушкина по немецкому переводу Ф. Боденштедта, который не удовлетворил его во всех отношениях; Берци отметил в этом переводе и ошибки, меняющие смысл, и ничем не оправданные добавления. „Я чувствовал, — пишет он, — что копия с копии бледно и бесцветно отразит действительность, и желание читать подлинный текст и переводить с него все сильнее и сильнее захватывало меня“.¹ Через шесть месяцев работы над русским языком со словарями и грамматиками (в чем Берци оказывал помощь профессор кафедры славяноведения в Будапештском университете, полиглот Иोजеф Ференц) Берци приступил к переводу „Евгения Онегина“, трудился над ним около трех лет и, наконец, издал отдельной книгой (Будапешт, 1866). Этот перевод считается классическим в венгерской поэзии.² Таким образом, для понимания „Евгения Онегина“ в подлиннике требовалось основательное знакомство с русским языком. Не только в середине XIX века, но и значительно позже существовавшие к тому времени опыты переводов романа на иностранные языки читателям-иностранцам, пытавшимся проникнуть в существо поэтического мастерства Пушкина, не могли принести действительной пользы.

Что касается Энгельса, то он едва ли пользовался какими-либо из этих переводов или интересовался ими. Если справедливо высказанное выше предположение, что его занятия относятся к началу 50-х годов, то из немецких переводов в поле его зрения мог попасть лишь один перевод Р. Липперта; перевод Боденштедта появился лишь в 1854 году; дальнейшие переводы, как немецкие, так и французские, английские и т. д., относятся к значительно более позднему времени.³ В интересующей нас рукописи Энгельса не имеется, впрочем, никаких следов пользования какими-либо переводами „Евгения Онегина“

1854 года): „Онегин Пушкина в переводе Боденштедта. Достойная удивления легкость! Однако перевод не дает и не может дать представления о том впечатлении, с каким это читается по-русски. Искусство и последовательность пушкинских картин и образов не допускает самых незначительных изменений без того, чтобы при этом не пропадали их сила и прелесть“ (Varnhagen von Ense. Tagebücher, Bd. XI, Hamburg, 1869, стр. 273).

¹ Г. Хаупт. Пушкин и венгерская литература XIX в. „Вестник Ленинградского Государственного университета“, 1949, № 6, стр. 111.

² Там же, стр. 110—112.

³ Из всех этих переводов, довольно многочисленных между 60-ми и 90-ми годами, лишь один имеет значительный интерес — прозаический перевод „Евгения Онегина“ на французский язык, выполненный И. С. Тургеневым и напечатанный им в парижском журнале „Revue Nationale“ (1863). О нем см. ниже на стр. 49—50, примечание 2.

как вспомогательным средством для его понимания: Энгельс изучал непосредственно *русский подлинник*, трудясь над ним последовательно и методически, с помощью словарей и грамматик; делавшиеся им в той же тетради собственные прозаические переводы отдельных строф „Евгения Онегина“ совершенно самостоятельны.

5

Русский текст „Евгения Онегина“, эта, по выражению Белинского, „энциклопедия русской жизни“, даже для русских читателей середины прошлого века нуждался уже в некоторых пояснениях, без которых он становился порой и темным и трудным для понимания; тем более это следует сказать относительно его иностранных читателей и переводчиков.

Трудности эти были разного рода. На важнейших из них следует остановиться хотя бы вкратце, для того чтобы представить себе весь сложный процесс усвоения „Евгения Онегина“ читателями, в распоряжении которых не было ни достаточных данных об истории возникновения этого произведения, ни запаса житейских впечатлений от реальной русской действительности, ни, наконец, удовлетворительных пособий справочного характера.

Прежде всего следует иметь в виду, что в середине прошлого века читатели не имели еще в руках *реального комментария* к „Евгению Онегину“ и, следовательно, пользуясь лишь весьма несовершенными словарями русского языка, не имели „ключей“ ко многим подробностям текста реально-бытового характера. Русский читатель любого классического произведения русской литературы нуждается в комментариях главным образом исторического порядка, если изучаемое им произведение создано в период, отдаленный от него по времени, и содержит в себе ряд таких подробностей, которых он не встречает более в окружающей его действительности; для читателя иностранного комментарий к тому же произведению требуется в более широком и полном объеме, поскольку в него должны быть включаемы пояснения и такого характера, которые для читателей русских являются лишними, как естественные, сами собой разумеющиеся, извлекаемые в большей своей части непосредственно из опыта жизни, с которой они соприкасаются. Помощь русско-иноязычного словаря в этом смысле крайне ограничена: словарь обиходного языка в нужных случаях не может дать никакой исторической справки реально-бытового характера о том или ином предмете или явлении, получившем в языке соответствующее наименование; словарь регистрирует эти наименования, да и то не всегда; он опускает их, если, например, соответствующие слова имели временное значение и в речи не удержались.

В „Евгении Онегине“ в настоящее время очень многое подлежит специальному объяснению с историко-бытовой или историко-литера-

турной точки зрения. В середине прошлого века русский читатель все это воспринимал в тексте романа проще, естественнее, непосредственнее, как, впрочем, и современный ему иностранный читатель. Тем не менее уже к 50-м годам в тексте „Евгения Онегина“ кое-что требовало особых пояснений, помимо тех, какие можно было извлечь из русско-иноязычного словаря.

Так, ни в каком словаре русского языка (тем более в словарях, специально предназначенных для иностранцев) в половине XIX века нельзя было найти, например, объяснения, что значит „вино кометы“ (в строфе XVI: „Вина кометы брызнул ток“), хотя любой словарь давал точное значение каждого из двух слов, входящих в это наименование и его составляющих; для правильности понимания указанного стиха следовало знать, что речь здесь идет о французских винах урожая 1811 года, известных во времена Пушкина под названием *vins de la comète* (т. е. того года, когда богатый урожай винограда на юге Франции совпал с появлением яркой кометы).¹ Равным образом, ни один словарь того времени не объяснял другого галлицизма, встречающегося трижды в „Евгении Онегине“ в различных словесных сочетаниях: „недремлющий брегет“ (глава первая, строфа XV), „звон брегета“ (глава первая, строфа XVII; слово встречается также в XXXVI строфе пятой главы: „Желудок — верный наш брегет“); между тем слово это довольно долго удерживалось в русском языке и встречалось впоследствии еще у И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого;² для понимания этого, давно исчезнувшего слова необходимо знать, что Пушкин имел в виду французские часы особой конструкции знаменитого часового мастера Bréguet (1747—1823), пользовавшиеся особой известностью именно в начале 20-х годов; эти часы заводились от движения, сообщаемого ходьбой, отбивали минуты, часы, показывали также секунды и числа месяца.³ В строфе XV первой главы „Евгения Онегина“ упомянут также „широкий боливар“, т. е. шляпа с широкими полями (по имени основателя республики Колумбии Боливара, 1783—1830), бывшая в моде во Франции

¹ Ср. у Пушкина („Послание Я. Н. Толстому“, 1822): „Налейте мне вина кометы“. Комментаторы Пушкина долгое время давали совершенно неправильные и произвольные объяснения тому, что значит „вино кометы“, настолько забылось значение этого наименования. См. заметку Н. Н. Кузнецова „Вино кометы“ (Пушкин и его современники, вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 71—75).

² „Брегетовы часы“ упоминает П. А. Вяземский в своей „Старой записной книжке“ (Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 241); ср. у В. Ф. Одоевского: „он... с чрезвычайным любопытством рассматривал свой брегет“ („Русские вочи“ — Сочинения, ч. I, 1848, стр. 1); у И. С. Тургенева: „... много часов у меня перебивало; я дошел даже до такого великолетия, что приобрел себе настоящего брегета с секундной стрелкой, обозначением числа и репетицией...“ („Часы“ — Сочинения, т. X, 1930, стр. 144); у Л. Н. Толстого: „Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть“ („Хаджи Мурат“ — Полное собрание художественных произведений, т. XIV, 1930, стр. 135).

³ Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии Наук, т. I, СПб., 1895, стб. 265.

в 1819 и 1820 годах;¹ это наименование у нас не привилось и удерживалось в русском языке недолгое время.² Следует, впрочем, отметить, что именно указанные слова иноземного происхождения не должны были представлять особые затруднения для иностранцев, знакомых с французским языком и начитанных во французской литературе 20-х годов. Энгельс, во всяком случае, понял их быстро и отчетливо.³

Однако для любого иностранного читателя, не знакомого непосредственно с русской жизнью, в тексте „Евгения Онегина“, несомненно, встречались и такие слова и фразеологические обороты, для которых словарные пояснения оказывались безусловно недостаточными. Таинственным должен был оставаться для них, например, смысл восклицания петербургских кучеров начала XIX века: „поди, поди!“ („Поди, поди! раздался крик“; строфа XVI) в значении „берегись“, о котором еще Л. Толстой писал: „Тогда... не было нынешней глупой манеры кричать «о!»“, как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «поди, берегись»“.⁴ Равным образом без непосредственных, лично пережитых ощущений едва ли можно было понять всю необычайную живописность того места в XXVII строфе первой главы, где Пушкин описывает улицы Петербурга в зимнюю морозную ночь как бы из окна кареты, мягко катящейся по снегу:

Перед померкшими домами,
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят...

Нельзя не вспомнить также стихи:

Усеян *плошками* кругом
Блестит великолепный дом,

где под *плошками* имеются в виду давно исчезнувшие из быта осветительные сосуды (Энгельс вполне точно переводит „*плошку*“ фран-

¹ P. Larousse. Grand Dictionnaire, t. II. Paris, s. a. стр. 898.

² Шляпами-„болливарами“ (т. е. à la Bolivar) назывались у нас впоследствии женские головные уборы. См.: Универсальная материально-техническая номенклатура. Под редакцией П. Н. Амосова, вып. VII, Пгр., 1921, стр. 10.

³ В вокабулах к XV строфе к слову „брегет“ Энгельс записал: „Breguet, der Genfer Uhrmacher, also die Uhr“ (Брегет, женеvский часовщик, следовательно — часы).

⁴ Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д. Н. Ушакова, т. III, М., 1939, стр. 388. Энгельсу слово „поди!“ действительно осталось непонятным; он записал в свою тетрадь изобретенный им глагол „подить“, но оставил его необъясненным, так как, разумеется, не мог его найти в словаре. Отметим также сопоставление русского извозчика и немецкого кучера у И. П. Мятлева (Сенсации и замечания госпожи Курдюковой, 1840, стр. 40):

Люди спереди и свади;
Не кричит он: пади, пади!
Лшь бичом на воздух бьет,
И расходится народ.

дузским словом *lampion*, которое находится и в четырехязычном словаре Рейфа 1845 года наряду с немецким *Illuminationslampe*).¹

Следует иметь в виду, что с трудностями текста подобного рода не справился почти ни один из переводчиков „Евгения Онегина“ в XIX веке. Никто из них не в состоянии был понять и удовлетворительно передать на своем языке и такие стихи, как

На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит

(Стр. XXXV),

где слово „биржа“ имеет в виду место стоянки, а под словом „охтенка“ подразумевается молочница с Охты, одного из окраинных кварталов Петербурга.² Не менее затруднений представили такие, например, стихи:

И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворяя свой *васисдас*

(Стр. XXXV),

¹ Слово „плошка“ в значении сосуда, наполненного маслом и имеющего фитиль, впрочем, было распространено у нас до начала XX века. В. М. Березин („Изучение лексики Пушкина“. Сборник „Стиль и язык Пушкина“, Учпедгиз, М., 1937, стр. 178) полагает, что „плошками освещались улицы во времена Пушкина“, что не совсем верно, поскольку улицы тогда освещались фонарями, а плошки представляли собой „праздничные огни“, добавляемые к обычному освещению во время иллюминации (ср.: П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 346 и 462); отдельные дома освещались с улицы плошками во время съезда гостей, что Пушкин и имеет в виду; в летнее время плошками в торжественных случаях освещались также сады. Ср. у В. Бенедиктова („При иллюминации“):

Плошки и шкалики — бедня сияния!
Целое море огня

(Стихотворения, т. III, 1884, стр. 55); у Н. Загоскина: „Тысячи шкаликов, плошек и цветных фонарей были расставлены и развешаны по саду“ („Тоска по родине“ — Собрание сочинений, т. X, 1901, стр. 82); у Григоровича: „Когда уже совершенно смеркалось и дом осветился несметным множеством плошек и шкаликов, из сада послышались неожиданно торжественные звуки оркестра“ („Проселочные дороги“ — Полное собрание сочинений, т. III, 1896, стр. 122); у Гоголя: „... всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад“ („Мертвые души“ — Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. Академии Наук СССР, 1951, стр. 120); „... кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация)... Пешеходы... теснились под домами, униженными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам...“ („Ночь перед Рождеством“ — то же, т. I, 1940, стр. 232) и др. Эти примеры заимствованы мною из карточки словаря русского языка Института языкознания Академии Наук СССР.

² Вспомним, кстати, сколько хлопот слово „охтенка“ доставило переводчикам гоголевской повести „Портрет“; упоминаемую здесь „торговку-охтенку“ переводчики называли то торговкой „в разнос“, то „плачущей торговкой“ (от слова „охать“) и т. д. Добавим, что перевод отдельных стихов „Евгения Онегина“ предполагал знакомство если не с топографией Петербурга, то во всяком случае с названиями его парков („И в Летний сад гулять водил“; строфа III) и улиц („Да дрожек отдаленный стук С Мильонной раздавался вдруг“; строфа XLVIII).

в которых почти каждое слово требовало особого реально-бытового комментария.¹

Для полного понимания „Евгения Онегина“ требовалось также довольно широкое знакомство с историей русской литературы, с именами часто второстепенных русских писателей или даже героями их отдельных произведений. Стих —

Мой брат двоюродный, Буяноз
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком)

(Гл. V, стр. XXVI) —

как справедливо отметил уже Л. А. Булаховский, „мог быть полностью понятен только для тех, кому он <Буянов> действительно был знаком из фривольного, не поступавшего тогда еще в печать произведения

¹ Слово „васисдас“, давно исчезнувшее у нас из обращения (в Словаре русского языка, составленном Вторым отделением Академии Наук, т. I, СПб., 1895, стр. 342, употребление этого слова иллюстрировано лишь одним примером из указанной строфы „Евгения Онегина“), означает „оконная форточка“. Хотя несомненно, что оно возникло из немецкой вопросительной фразы *was ist das?*, но остается не вполне ясным, вошло ли оно в русский язык непосредственно из немецкого языка или с помощью французского, в который оно введено было уже в конце XVIII века и где удержалось и доныне (E. Littré. *Dictionnaire de la langue française*, t. IV, Paris, 1885, стр. 2426, s. v. „*vasistas*“; A. Dausat. *Dictionnaire étymologique de la langue française*. Paris, 1938, стр. 741; E. Gamillscheg. *Etymol. Wörterbuch. d. franz. Sprache*. Heidelberg, 1928, стр. 880; L. Clédat. *Dict. étym. de la langue française*. Paris, s. a., стр. 660). По-французски оно звучит „*вазистас*“, но Пушкин возвратил ему его немецкую форму, хотя, как показывает рукопись данной строфы „Евгения Онегина“, колебался в его написании (Н. Л. Бродский. *Комментарий к „Евгению Онегину“*, М., 1938, стр. 38). В такой же, впрочем, форме мы встречаем это слово изредка в русском языке еще в 30—40-х годах. Мы находим его, например, в водевиле П. Каратыгина „Булочная, или Петербургский немец“ (СПб., 1843), где оно чередуется со словом „форточка“: „Театр представляет булочную, налево на первом месте окно с медной форточкой; направо дверь, в середине общий выход“ (стр. 5); в тексте водевиля: „*Клейстер*. Сюда никто не захаживает из порядочно одетого? — *Машенька*. Нет-с, все покупали с улицы. — *Клейстер*. Через васисдас? — *Машенька*. Да-с“ (стр. 18). Название переходило и на самого булочника: „Этот Васисдас еще ломается и приданого-то, пожалуй, отвалит булочки да сухарей“ (стр. 37). Уже в начале 60-х годов слово это стало неупотребительным. Ср. в петербургском очерке А. П. Милюкова: „...мой извозчик обернулся ко мне и показал на противоположный дом, где помещалась булочная... Из окна выглядывала там в форточку белокурая, слегка напудренная мукой голова булочника, очевидно немецкой породы“; описанный здесь далее „васисдас“ назван „окошком“ с „медным стеклом“ (А. Милюков. На улице и еще кое-где. Листки из памятной книжки. СПб., 1865, стр. 223—226). Таким образом, торговля в булочных шла как в помещениях, так и через специально оборудованную форточку, открывавшуюся прямо на улицу, — „васисдас“. А. Д. Бочагов [Наша торговля и промышленность в старину и ныне. (Исторические очерки), вып. I, Торговля предметами потребления, СПб., 1891, стр. 63] замечает: „...большинство торговало через окно, открывавшееся прямо с улицы в пекарню, которая часто служила и жилищем мелочника“. Пушкин описывает именно такой случай; бумажный колпак булочника, надевавшийся во время процесса хлебопечения, характеризует ранний час утра, как и все остальные подробности в соседних стихах.

дяди А. С. Пушкина — Василия Львовича «Опасный сосед» (1811); герой последнего Буянов, как литературный «сын» Василия Львовича, приходился таким образом автору «Евгения Онегина» двоюродным братом¹.

Академик В. В. Виноградов сделал важное для нас наблюдение, что в многопланной стилистической структуре «Евгения Онегина» в целом „прием насыщения литературного стиля явными, скрытыми или иронически приглушенными отголосками чужих литературных произведений играет совершенно исключительную роль“, и привел целый ряд очень интересных примеров, свидетельствующих, что весь роман Пушкина „пародически и иронически расцвечен пестрыми красками литературных намеков, цитат и ссылок“². Для иностранного читателя „Евгения Онегина“ требовался, однако, комментарий к этим самобытно претворенным и примененным в нем автором „скрытым цитатам“ или речевым образам и формулам, созданным русской действительностью и литературой начала века, в большинстве случаев даже не ощущающимся уже как цитаты, не распознаваемым современным нам читателем. Требовались и более простые пояснения ко многим прямо названным в тексте собственным именам.

Вчитываясь в XVII строфу первой главы, Энгельс обратил внимание на стихи, в которых дается описание петербургских театральных нравов начала 20-х годов:

Онегин полетел к театру,
Где каждый, критикой дыша,³
Готов оклопать *entrechat*,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать — для того,
Чтоб только слышали его.

Не говоря уже о чисто языковых трудностях, указанные стихи оставляли неясности потому, что почти за каждым из них чувствовался скрытый намек, предполагавший реальное знакомство читателя с петербургским театральным бытом того времени. Конечно, можно было предположить, что широко известные исторические имена Федры и Клеопатры и менее известное имя Моины представляют собой имена героинь каких-то театральных пьес; комментаторы „Евгения Онегина“ дознались, что в первом случае Пушкин имеет в виду, повидимому, героиню оперы Штейбельта (на сюжет трагедии Расина), шедшей

¹ Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века, т. I. Киев, 1941, стр. 50.

² В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, стр. 412—417.

³ Так напечатано в посмертном издании 1838 года и так этот стих читал Энгельс вместо „вольностью дыша“, как было в рукописи и как печатается ныне во всех изданиях; не трудно заметить, что это было неудачное исправление Жуковского, сделанное в цензурных целях, поскольку слова „вольностью дыша“ могли считаться „опасными“.

в петербургском театре в 1819 году, но не могли пока указать, какое драматургическое произведение предполагается во втором случае: „Клеопатра, — пишет Н. Л. Бродский, — имя героини из пьесы, до сих пор не установленной“.¹ Моина — героиня трагедии Озерова „Фингал“, но Пушкин говорил здесь безусловно об артистке А. М. Колосовой, которую он в 1820 году называл „Моиной нашей сцены“.² Любопытно, что и Энгельс отметил в своей записи по поводу Моины: „Name einer Schauspielerin“, „имя одной актрисы“, и это заставляет предположить, что и ему мог быть известен этот факт.

В следующей, XVIII строфе „Евгения Онегина“ Пушкин дал чрезвычайно сжатый, но довольно полный очерк развития русской драматургии с конца XVIII века до 20-х годов XIX века, сопроводив его рядом попутных данных из истории русского театрального и балетного искусства того же времени:

Волшебный край! Там в стары годы
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны данн
Народных слез, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой;
Там, там, под сению кулис
Младые дни мои неслись.

Не подлежит сомнению, что чрезвычайная меткость пушкинских определений может быть доступна только тому, кто посвящен в историю русской сцены или знаком с творчеством упомянутых здесь писателей-драматургов и театральных деятелей; в противном случае такие определения, как „друга свободы“ Фонвизина, „переимчивого“ Княжнина или „колкого“ Шаховского останутся интригующими, но плохо поддающимися переводу наименованиями, смысл которых бесполезно искать в словаре русского языка; тем труднее догадаться без специальных историко-литературных пояснений, как и где Катенин „воскресил Корнеля гений величавый“ и кто такой Дидло, дважды

¹ Н. Л. Бродский. Евгений Онегин, роман А. С. Пушкина. Изд. 3-е, М., 1950, стр. 71.

² Там же, стр. 71—72. — Напомним также строки Пушкина об актрисе Е. С. Семеновой из первоначальной редакции послания к членам „Зеленой Лампы“ (1821):

Она виновна, милый друг,
Пред Мельпоменой в Моиню

(Пушкин, Полное собрание сочинений, т. II, Изд. Академии Наук СССР, 1947, стр. 181).

упомянутый также в соседних строфах „Евгения Онегина“ (впрочем, о последнем идет речь в пятом авторском примечании к роману).

В. К. Кюхельбекер, читая „Евгения Онегина“, сделал однажды наблюдение, что „Александр Сергеевич родной племянник Василия Львовича Пушкина, великого любителя имен собственных“.¹ Хотя это наблюдение вызвано было чтением восьмой главы „Евгения Онегина“, но оно относится и ко всему роману в целом; очень много собственных имен писателей, поэтов, драматургов, ученых, исторических деятелей на разных поприщах, как русских, так и иностранных, встречается и в первой главе романа, даже в пределах тех тридцати трех строф, для которых Энгельс составил дошедший до нас глоссарий. Исключительная эрудиция Энгельса помогла ему легко справиться с затруднениями этого рода, увеличивавшимися благодаря непривычной для иностранца во многих случаях традиционной русской транскрипции собственных имен, например греко-римских или мифологических (Назон, Зевес и др.). Но и он, естественно, не мог иногда разгадать некоторые авторские загадки в тексте „Евгения Онегина“, включенные в его текст с сознательной художественной целью, то из лукавства, ради приближения читателя ко второму плану авторской мысли, то, наоборот, из желания скрыть, затушевать слишком явные автобиографические признания. „Нередко соответствующие намеки, — замечает Л. А. Булаховский, — предполагают прямое знание эпохи — событий, лиц, ее литературных явлений, и понимание «второго плана» оказывается поэтом потому возможным только благодаря хорошей осведомленности в этой «современности», иногда даже в ее забытых теперь «мелочах»“.²

Как и прочие читатели „Евгения Онегина“, Энгельс не мог не почувствовать глубокой личной авторской подкладки во многих строфах первой главы романа; рассыпанные здесь намеки на интимную или литературную биографию поэта остаются в значительной мере непонятными для тех, кто не знаком с историей жизни и творчеством Пушкина. Напомним в качестве примера обращение к читателю во II строфе:

Друзья Людмилы и Руслана!

там же — стихи о Петербурге („на берегах Невы“):

Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня —

с примечанием Пушкина: „Писано в Бессарабии“ (упоминание дурного климата маскирует намек поэта на преследования его правительством).

Напомним также строфу XVI, где говорится, что Онегин

К Талон помчался: он уверен
Что там уж ждет его ***... .

¹ В. К. Кюхельбекер. Дневник. Редакция В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого, Л., 1929, стр. 43—44.

² Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века, т. I. Киев, 1941, стр. 50.

Догадаться о том, что за этими тремя звездочками скрыто имя приятеля Пушкина, Каверина, можно было лишь с того времени, когда такое предположение было вполне обосновано комментаторами „Евгения Онегина“. Аналогичен случай в строфе XXV, где звездочки маскируют имя — Чадаев (П. Я. Чаадаев):

Второй***, мой Евгений. . .

В строфах XXIX и последующих общих лирический тон усиливается и автопризнания поэта становятся все более откровенными:

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума. . .¹

(Стр. XXIX).

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!

(Стр. XXX).

Ах, долго я забыть не мог
Две ножки!.. Грустный, охладельй,
Я всё их помню. . .

(Стр. XXX).

Далее, о тех же ножках:

Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов и заточенье?

(Стр. XXXI).

Любопытно, что слово „заточенье“ Энгельс перевел немецким *Verbannung* — изгнание — вместо более точных *Einkerkung* или *Gefangen-*

¹ Необычайная лаконичность пушкинских определений при максимальной их экспрессивности и сейчас еще дает иногда поводы к неправильному или неточному истолкованию отдельных стихов „Евгения Онегина“. Так, цитируя стихи из XXX строфы той же первой главы романа:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд —

один из недавних комментаторов замечал: „Что это как не самопризнание поэта, вынесенное им из зрительных и танцевальных зал? К «тесноте» партера и кресел так успел привыкнуть он за годы своей столично-театральной жизни“ (Н. Н. Арденс. Драматургия и театр А. С. Пушкина. М., 1939, стр. 11). Между тем Пушкин говорит здесь, конечно, не о „тесноте“ театрального партера, а о большом количестве танцующих пар в блестящем, нарядном и шумном балном зале. Напомним непосредственно относящееся к цитированным стихам свидетельство самого Пушкина, что он хотел здесь „Бал Петербургский описать“ („Евгений Онегин“, гл. V, строфа XL), и сравним с ними близкие стихотворные строки в главе VII, строфе LI, описывающие бал московский:

Ее привозят и в Собрание.
Там теснота, волнение, жар.
Музыки грохот, свеч блескание,
Мельканье, вихорь быстрых пар. . .

Пушкинский кабинет ИРЛИ

schaft, стоящих, например, в словаре Рейфа (1845), но явно не применимых в данном случае; едва ли, таким образом, можно сомневаться в том, что Энгельс знал и биографию Пушкина, и, в общих чертах, творческую историю „Евгения Онегина“. И всё же он, разумеется, не мог знать, кого Пушкин имел в виду, когда писал в начале XXXIII строфы:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!

Загадка приведенных строк стала ясной только со времени опубликования „Записок“ М. Н. Волконской (рожденной Раевской), оставившей признание, что эта строфа навеяна ею и воспоминанием, относящимся к 1820 году, когда Пушкин вместе с Раевскими, во время совместной поездки на Кавказ, увидели Черное море недалеко от Таганрога; впрочем, это признание М. Н. Волконской-Раевской все же не устраняет некоторых сомнений современных исследователей „Евгения Онегина“ относительно указанной строфы романа.¹

Дошедшие до нас записи Энгельса, делавшиеся им при чтении „Евгения Онегина“, не дают нам права судить о том, прочел ли он роман Пушкина целиком; однако сохранившиеся заметки его, относящиеся к тридцати трем строфам, позволяют все же признать, что отсутствие реального комментария к произведению, которое он изучал столь тщательно, не помешало ему вчитаться в него и добиться отчетливого понимания многих „трудных“ для иностранца мест: случайные наброски его собственного комментария к роману, включенные Энгельсом в ряды вокабул (брегет, имя актрисы и др.), а также ряд стихов, переведенных им с учетом биографии Пушкина и времени возникновения его произведения, свидетельствуют о том, что к изучению „Евгения Онегина“ Энгельс подошел во всеоружии своей эрудиции и филологического образования.

Указанные особенности текста „Евгения Онегина“ составляли, однако, лишь одну и притом наименьшую группу препятствий к полному и совершенному пониманию его иностранными читателями; основные трудности заключались, конечно, в языке и стиле романа. О трудностях этого рода, которые мог создавать пушкинский стихотворный текст, не всегда догадывается современный нам русский читатель, привыкший к „Евгению Онегину“ со школьных лет, усвоивший его меткие определения и эпитеты, удержавший в своей памяти многие его стихи и словесные формулы, давно уже вошедшие в бытовую, обиходную русскую речь. И это вполне понятно. Как отметил И. В. Сталин, „современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина... Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась

¹ См.: Б. Л. Недзельский. Пушкин в Крыму. Симферополь, 1929, стр. 85.

во всём существенном как основа современного русского языка¹. Не то было для современников „Евгения Онегина“ и даже для ближайших к нему поколений русских (и тем более иностранных) читателей: некоторое время язык этого произведения ощущался ими как новаторский, отличавшийся различными „поэтическими“ вольностями, непривычный во многих отношениях как в области лексики, так и в области синтаксиса и, следовательно, не всегда легкий для усвоения; многие слова, удержавшиеся в русском языке именно с теми оттенками значений, какие придал им Пушкин, в русско-иноязычные словари попали сравнительно поздно и понимались неправильно переводчиками „Евгения Онегина“, составляя естественную помеху для передачи его на любом языке.

Пушкинская языковая реформа и, в частности, роль, которую в этой реформе сыграл „Евгений Онегин“ как одно из центральных произведений Пушкина, создававшееся почти на всем протяжении его творческой деятельности, и как одно из величайших произведений русской художественной литературы, уже неоднократно подвергались многостороннему изучению. Установленным и общепризнанным в настоящее время можно считать то, что Пушкин продолжил и осуществил в „Евгении Онегине“ имевшую величайшее историческое значение перестройку русского литературного языка на народно-разговорной основе, начатую им ранее или одновременно с созданием этого романа во всех стихотворных жанрах. В „Евгении Онегине“ Пушкин дал яркие и совершенные образцы русской поэтической речи нового качества, близкой к разговорному языку и по своему словарю, и по особенностям своего синтаксического строя;² Пушкин не только сумел воспользоваться всеми возможностями, заложенными в динамической структуре живой, звучащей речи его времени, но с присущим ему гениальным тактом и чувством меры смог осуществить также синтез книжных и разговорных элементов в единстве поэтического языка необычайной художественной силы. Язык „Евгения Онегина“ „мог совмещать в себе самые разнообразные формы речи, прежде разобщённые и разделённые“, — замечает академик В. В. Виноградов. „В стиле «Евгения Онегина», — пишет он далее, — звучат отголоски разных социально-речевых стилей разго-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, М., 1950, стр. 9, 10.

² Уже современники Пушкина подчеркивали, что ему удалось в „Евгении Онегине“ претворить в поэтическую речь русский разговорный язык того времени во всей его полной житейской реальности. Один из ранних читателей романа замечал, что Пушкин „мог, если бы захотел, избежать тех ошибок, в которых его упрекают“ (да и из этих упреков, по его мнению, справедлива лишь одна десятая часть), и продолжал: „... у него именно «Пушкина», кажется, было целию оставить на этом произведении печать совершенной свободы и непринужденности. Он рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении «Онегин» есть феномен в истории русского языка и стихосложения“ („Московский вестник“, 1828, ч. VIII, № V, отд. „Смесь“, стр. 120—121).

ворно-бытового языка того времени (язык передовой дворянской интеллигенции, эпистолярный стиль девушки-дворянки и молодого дворянина, устная речь няни, помещицы разговоры, речевой стиль великосветской гостини, фольклорный язык и т. п.). Но тут же наряду с манифестом нового, реалистического стихотворного стиля и яркими образцами его нашли острое, иногда пародическое отражение разные стили современного Пушкину поэтического языка. В языке «Евгения Онегина» отразилась материальная и духовная культура России 20-х и 30-годов XIX века.¹ Пушкин, — писал В. В. Виноградов в другом месте, — „подводил итоги развитию разных статей поэтической речи, включая в себя — в неожиданных, семантически углубленных применениях и соединениях, — их характеристические обороты и выражения. Творчество нового национально-литературного стиля сопровождалось гениальной мозаической работой над объединением и сочетанием всех исторически-значительных и выразительных звеньев литературно-языковой традиции. Смысловая перспектива пушкинского стиля в «Евгении Онегине» не только уходила в будущее, открывая новый период национальной русской литературы и языка, но и была предельно раздвинута в глубь прошлой истории литературных стилей и в ширь современной Пушкину литературно-языковой жизни двадцатых годов“.²

Академик А. С. Орлов считал, что „Евгений Онегин“ — композиция национального языка во всем разнообразии речевых стилей. Основной фон языка в «Евгении Онегине» лишен характера книжности, весьма близок к разговорному. А так как повествовательная схема этого произведения включает обилие жизненных явлений при неодинаковом отношении к ним автора, то язык романа очень богат по составу и разнообразен по стилю“.³

О разнообразии и сложности лексического состава „Евгения Онегина“ говорят все его исследователи. „Евгений Онегин“ — это лексически почти необъятное море, — подчеркивает Л. А. Булаховский. — Амплитуда пушкинского словоупотребления здесь громадна... Ни до «Евгения Онегина», ни после него, кроме пушкинского же «Домика в Коломне»..., амплитуда словаря художественной стихотворной речи не была подобною, хотя иногда к ней и стремились... Роман явился под пером Пушкина исключительным сочетанием разнообразнейших стихий представлений и чувствований. В замечательной гармонической увязанности Пушкин сочетает картины высокого и низкого, прозаического и поэтического, глубокую трогательность и шутиливое

¹ В. В. Виноградов. А. С. Пушкин — основоположник русского литературного языка. М., 1949, стр. 8 и 19; ср. его же статью под тем же заглавием в „Известиях Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка“, 1949, т. VIII, вып. 3, стр. 187—215.

² В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, стр. 412.

³ А. С. Орлов. Пушкин — создатель русского литературного языка. „Временник Пушкинской комиссии“, вып. 3, М.—Л., 1937, стр. 33—34; вошло в его книгу: Язык русских писателей. М.—Л., 1948.

остроумие, иронические рассуждения и слова глубокой задушевности, высокие настроения и реалистические картины русской обыденщины, обыденщины повседневной и парадной... В романе — ряд разнообразных тональностей, и Пушкин поражает своим мастерством, присущим ему, как никому другому из русских поэтов, изумительным искусством сочетать в гармоническое целое эти разные тональности¹. Другие исследователи также отмечали, что „лексика «Евгения Онегина» обладает громадной текучестью. Все основные, опорные слова, на которых построены характеры Евгения и Татьяны, многосмысленны, многозначны. Отсюда сложность и противоречивость интонаций, пестрота романа и, как следствие, — пестрота словаря... В основе романа — реализм, но реализм в процессе становления. Мы наблюдаем автора в процессе создания этого нового стиля, и он в присутствии читателя на страницах романа пересматривает, взвешивает лексику прошлого, повторяя ее или пародируя; в центре романа — словарь современного поэту «модного лексикона» романтики, который тут же критикуется и опрокидывается языком писателя-реалиста..., мы наблюдаем перемещение слова из одного мировоззренческого комплекса в другой... Зная всю емкость лексических единиц, Пушкин на наших глазах смело и богато усложняет смысловые грани слов... Допуская смысловые и стилистические противоречия, Пушкин не противоречит основному, единому идейному устремлению образов. Пестрота и кипящая подвижность, многозвучие, легкая сменяемость тонов, сложность и причудливость психологического рисунка — это и есть основные стилистические признаки этого центрального... произведения Пушкина². Добавим к этому, что как раз первая глава романа, которую глоссировал Энгельс, отличалась, быть может, наибольшей трудностью по своему языку для лексико-грамматического и стилистического анализа. Многие слова употребляются здесь не в их обычных прямых словарных значениях, но имеют иной семантический план, создаваемый усложненностью

¹ Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века, т. I. Киев, 1941, стр. 89—90 (глава „Стихотворный роман «Евгений Онегин» Пушкина“); ср. также ряд работ, дающих либо общую характеристику языка романа Пушкина, либо останавливающихся на его отдельных особенностях: Г. Винокур. Слово и стих в „Евгении Онегине“. Пушкин. Сборник статей под редакцией проф. А. Еголина, М., 1941, стр. 203 и сл.; С. Д. Никифоров. Язык романа Пушкина. „Русский язык в школе“, 1949, № 3, стр. 9—17; В. М. Березин. Изучение лексики Пушкина. Сборник „Стиль и язык Пушкина“, Учпедгиз, М., 1937, стр. 171—172; Л. М. Сахаров. К вопросу о бессоюзных сочетаниях в синтаксисе Пушкина. По материалам романа „Евгений Онегин“. „Труды Горьковского Государственного педагогического института имени М. Горького“, т. II, г. Горький, 1939, стр. 61—77; О. К. Аврамова. Лексико-фразеологическая характеристика языка романа „Евгений Онегин“. „Труды Тбилисского Государственного педагогического института имени А. С. Пушкина“, вып. VII, 1949, стр. 135—146, и др.

² Л. Е. Случевская и М. А. Рыбникова. Лексика Евгения Онегина как отражение борьбы за реализм. Сборник „А. С. Пушкин“, Учпедгиз, М., 1937, стр. 147, 151, 167.

и многогранностью их фразеологических связей; светская фразеология, включающая в себя переосмысленные обиходные речения (ср., например, стихи, в которых упоминается о „скуке“, „тоскующей лени“, „блеске“ и „свете“), элементы „высокого“ стиля, но специфически сниженные, лишенные, например, некогда присущей им религиозной окраски („пирог нетленный“, „всевышней волею Зевеса“), фамильярно бытовая речь (например, в вводных словах), смысловые функции которых представляют особые затруднения для иностранных читателей, эпиграмматические меткие обороты в конце отдельных ритмико-смысловых периодов (например, в строфических окончаниях и т. д.), — всё это требовало от переводчика и читателя глубоких познаний в русском языке и хорошего знакомства с условиями русской жизни 20-х годов. Недаром уже первые русские читатели этой главы „Евгения Онегина“ ощущали в ней родную стихию, воплощенную, закрепленную навсегда в стихотворной речи: „мы видим свое, слышим свои родные поговорки, смотрим на свои причуды“, — писал о первой главе Н. Полевой в „Московском телеграфе“.¹

6

Нетрудно представить себе, какие затруднения должен был испытывать иностранный читатель „Евгения Онегина“ сто лет тому назад, недостаточно знавший еще русский язык или изучавший его с помощью этого произведения, читатель, в распоряжении которого были плохие грамматические руководства и еще более несовершенные русско-иноязычные словари. Естественно, что затруднения такого читателя, знавшего только русскую книжную речь и не владевшего всеми интонациями устной речи, были почти непреодолимыми. Эти трудности ощущались тем явственнее, чем сильнее было языковое чутье подобного читателя, чем сознательнее он отдавал себе отчет в этих трудностях.²

¹ „Московский телеграф“, 1825, ч. 2, № V, стр. 49. — Наиболее трудной для усвоения учащимися остается эта глава и в настоящее время. Рассказывая об изучении языка „Евгения Онегина“ в VIII классе средней школы, М. А. Шлыкова недаром предлагает раскрывать стилистические особенности этой главы „самоу учителю, как наиболее трудные и новые для учащихся“, а не предоставлять это их собственным усилиям: „Раскрывая внутренний мир Евгения Онегина в пору его петербургской светской жизни, Пушкин повествует о своем герое языком светского денди с его основной особенностью «без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка». В первой главе мы и находим лёгкость языка, несколько поверхностную иронию, свойственную легкомысленной светской молодежи по отношению ко всему высокому: к родственным чувствам, к глубоким переживаниям, к серьезным занятиям наукой...“ (М. А. Шлыкова. Опыт изучения языка романа А. С. Пушкина „Евгений Онегин“. В книге: Из опыта работы учителя литературы, М., 1951, стр. 285).

² Чрезвычайные трудности иноязычной передачи „Евгения Онегина“ хорошо понял И. С. Тургенев, осуществивший с помощью Л. Виадро и напечатанный

Возвратимся, однако, к Энгельсу и его записям.

Энгельс начал свое изучение „Евгения Онегина“ с тщательного лексического и грамматического разбора „Посвящения“ романа „Петру Алексеевичу Плетневу“:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты
и т. д.

в 1863 году, как уже указано было выше, полный *прозаический* перевод произведения Пушкина на французский язык. В одном из позднейших писем к П. В. Анненкову сам Тургенев называл его „необычайно верным“, полагая, что он только потому „остался незамеченным“, что был сделан прозой, а не стихами („Красный архив“, т. XXXII, 1929, стр. 198—199); впрочем, тот же Тургенев вспоминал, как однажды Мериме сказал ему, „что он не знает ни одного стихотворца, который осмелится бы попробовать на «Евгении Онегине» свои «переводческие» силы“ („Край Ильича“, вып. 3, Казань, 1929, стр. 48). Этот перевод Тургенева никогда не переиздавался, но заслуживает специального изучения не только как наиболее правильный и искусный, но и как опыт усвоения и своеобразного истолкования пушкинской стихотворной речи писателем следующего за Пушкиным поколения; „перевод-комментарий“ Тургенева дает интересные пояснения к отдельным стихам Пушкина, и эти пояснения, воплощенные в строчках иноязычной их передачи, могут оказаться полезными для стилистического анализа этих стихов и в настоящее время. Характерно, например, что очень немногие слова пушкинского текста могли быть переданы одним соответственным французским словом, а большинство требовало нескольких слов или целых предложений. Лаконизм, точность и необычайная выразительность каждого пушкинского слова очень рельефно выступают на фоне с трудом найденных для них французских соответствий, перифрастически усложненных, поставленных в совершенно иные и непривычные синтаксические связи. Повидимому, именно это заставило Л. Н. Толстого, по его собственному признанию, еще лучше оценить „всю силу поэтического гения Пушкина“, когда он прочел его „Цыган“ во французском прозаическом переводе Мериме (П. И. Бирюков в Биография Л. Н. Толстого, т. I. 1923, стр. 137). Богатства выразительных средств русского языка особенно ясно познаются при сопоставлениях с оригиналами иноязычных переводов произведений русской литературы. В. И. Ленин, как известно, высоко ценил качества языка произведений Тургенева. Любопытно, что он имел возможность здесь произвести наблюдения, аналогичные тем, какие Тургенев и Толстой производили над текстами Пушкина. Правда, эти наблюдения делались ради наилучшего изучения немецкого языка, но самый выбор текста и методика его занятий чрезвычайно поучительны, так как они способствовали его совершенствованию также и в образцовой русской речи. В 1899 году Н. К. Крупская по поручению Ленина в письме к его матери просила прислать им в Сибирь „Тургенева на немецком языке“; к этому письму В. И. Ленин сделал особую приписку „насчет немецкого перевода Тургенева“ (В. И. Ленин. Письма к родным. М., 1934, стр. 164). В позднейшем письме Н. К. Крупская писала сестре В. И. Ленина — Марии Ильиничне: „Раздобылись теперь Тургеневым на немецком языке и собираемся начать делать переводы с русского на немецкий. . .“ (там же, стр. 195). См. также статью Н. К. Крупской „Ленин об изучении иностранных языков“ („Правда“, 1937, № 245, 5 сентября).

В левом столбце страницы Энгельс выписал почти каждое русское слово, встречающееся в этом посвящении: мысль, гордый, свет, заба-вить, дружба, хотеть, тебе, представить, живой, ясный, душа, простота и т. д. Тем не менее уже два первых стиха оказались настолько труд-ными, что остались без перевода. Затруднения возникли уже из-за первых слов: что значит „не мысля“? Четырехязычный (русско-фран-цузско-немецко-английский) словарь Рейфа, повидимому бывший в руках Энгельса (я пользовался для сличения изданием 1845 года), как в дан-ном, так и во многих других случаях не мог подсказать ему правиль-ное решение задачи и направить на истинный путь. Для перевода пушкинских стихов этот словарь русского языка был не только недо-статочным по своей полноте, — „клавиатура“ его была во много раз беднее пушкинской поэтической речи, — но особенно неуклюжим и архаическим. Ближайшие его современники справедливо отмечали, что „русский язык, в руках Рейфа, был какой-то особенный, времен Греча и Российской Академии“.¹ Заглянув в этот словарь, Энгельс мог найти существительное „мысль“ с немецкими значениями: *Gedanke*, *Meinung*, *Absicht nach Wunsch*, но глагол „мыслить“ (в значении: думать, раз-мышлять и даже в необходимом в данном случае „предполагать“) хотя и отмечен тут же, но не мог оказать помощь в переводе, так как при нем находится сбивающее с толку указание, гласящее, что для первого лица настоящего времени в русском языке употребляется форма „мышлю“ (а не „мыслю“, как в тексте Пушкина). В настоящее время „мышлю“ звучит совершенно архаически, но в XVIII веке эта форма была обычной, а при Пушкине наблюдалась известная неустой-чивость при переходе от одной формы к другой. Н. И. Греч в „Чте-ниях о русском языке“ (ч. I, СПб., 1840, стр. 293) приводит известное положение Декарта в следующем виде: „мышлю, следовательно существую“. „Мышлю, следовательно существую“, — цитирует Декарта А. А. Бестужев-Марлинский в повести „Испытание“ (1830). Архаическое ныне, но некогда вполне закономерное „мышлю“ (как и „смышлю“, „помышлю“) встречается также у Пушкина, в песенке Гринева, вставленной в чет-вертую главу „Капитанской дочки“ (1834):

Мысль любовну истребляя,
Тшусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышля вольность получить!

См. также фразу в письме Пушкина к брату от 21 марта 1825 года: „Я Телеграфом очень доволен — и мышлю или мыслю поддержать его“.² Форму „мыслю“ мы находим у Пушкина и в стихотворении „Брожу ли я вдоль улиц шумных“, 1829:

¹ Д. Русская грамматика в Англии. „Вестник Европы“, 1878, № 7, стр. 398—399.

² Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. Академии Наук СССР, 1937, стр. 158.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный. . .¹

Поэтому Энгельс в левом столбце перевел „мыслить“ не *denken* или *überlegen*, а существительным *Gedanken*, т. е. „мысли“ (во множественном числе); отметим, впрочем, что к прилагательному „мысленный“ Рейф дает немецкое *Gedanken-, innerlich*. Следующее слово „гордый“ имелось в словаре с точным немецким значением: *stolz, hochmüthig*, но Энгельс почему-то перевел *stolz sein*, т. е. „быть гордым“, „гордиться“, и приписал (по-русски): „v. (т. е. *verbum* или *vide*): гордеть“. В живом русском языке такой формы нет, но в русско-иноязычных словарях она встречается: „гордеть, воз- *devenir orgueilleux, hochmüthig werden, to grow proud*“.²

Слово „свет“ оказалось еще более трудным для перевода по своей многозначности. Энгельс записал для памяти основные значения: *Licht, Glanz, Tag, Welt*; может быть, он сомневался, о чем должна идти речь: о свете ли дня, лучистой энергии солнца (*Licht des Tages, des Sonne*), о сиянии ли (*Glanz*), о свете ли в смысле земли, вселенной, общественной среды. И это, конечно, был результат справки в словаре, где давались все эти значения в той же самой последовательности: *das Licht* (франц. *la lumière, clarté*; англ. *light, shine*); *die Welt* (*le monde, univers*; англ. *the world*) и даже *mon ami, Freund* (т. е. „мой свет“, „светик“ как ласкательное обращение, употребительное в просторечии и народно-поэтическом языке). Естественно, что на основании первого стиха „Посвящения“ Энгельс не мог еще установить, что речь здесь идет не только о „свете“ в смысле общественной среды, но еще уже, в смысле: *die große, die Vornehme Welt*, т. е. о знати, об аристократическом круге: Пушкин заимствовал это слово из салонного жаргона того времени.³

Таким образом, перевод двух первых стихов „Посвящения“ „Евгения Онегина“ у Энгельса не состоялся вовсе, поскольку он не сумел тогда (не забудем, что речь идет о начальной стадии в изучении чужого языка) найти действительно правильные значения для основных, опорных слов в этих стихах: перевод (в правом столбце) начат был Энгельсом только с третьего стиха: „Хотел бы я тебе представить“. В дальнейшие стихи Энгельс вчитывался с таким же упорным трудом, с такой же настойчивостью; хотя они и поддавались истолкованию, но некоторые слова требовали особых усилий.

„Посвящение“ „Евгения Онегина“ П. А. Плетневу состоит из

¹ Ср.: В. Чернышев. Правильность и чистота русской речи, вып. II, изд. 2-е, 1915, стр. 291 (§ 341).

² Глагол „гордеть“ отсутствует у Рейфа в издании 1845 года, но он имеется, например, в изд. 4-м, на стр. 131.

³ А. И. Ефимов. Пушкин и язык салона. „Ученые записки Пермского Государственного педагогического института“, вып. 2, 1937, стр. 48.

17 стихотворных строк, в которые заключено 65 неповторяющихся, употребленных лишь по одному разу, слов (без союзов); во всех 17 строках лишь одно слово „достоинее“ употреблено дважды, притом с расчетом на его смысловое выделение и особую экспрессивность:

Залог достоинее тебя,
Достоинее души прекрасной.¹

(Эти стихи приводят на память известные строки из письма Пушкина к П. А. Катенину от 4 декабря 1825 года о „Цыганах“: „Это годится для публики, но тебе надеюсь я представить что-нибудь более достойное твоего внимания“; XIII, 247).

Из этих 65 слов Энгельс выписал в своей тетради 43 слова, сопроводив их немецкими значениями, и смог в правом столбце той же страницы дать связный перевод всего стихотворения в целом, хотя некоторые сомнения его так и остались неразрешенными.

Трудности должно было представить существительное „залог“, употребленное здесь в переносном смысле,² тогда как далее в тексте „Евгения Онегина“ оно употребляется и в прямом значении „заклада“:

И земли отдавал в залог.

(Гл. I, стр. VII).

Энгельс перевел в стихах „Посвящения“ „залог“ — Pfand и „достойный“ — würdig; в связном переводе: „ich wollte dir vorstellen (darbieten) ein Pfand deiner würdig, würdig der vortrefflichen Seele“, то же слово дер Pfand фигурирует и в вокабулах к VII строфе.

Стих 6 „Посвящения“ — „Святой исполненной мечты“ — был несомненно труден для перевода, так как в словарях русского языка 40—50-х годов слово „мечта“ чаще всего давалось еще в архаическом, до-пушкинском его значении. В XVIII веке это слово обычно обозначало „призрак, обманчивое видение“ (след такого понимания есть и у Пушкина: „Я видел страшные мечты“); впоследствии оно стало обозначать „создание воображения“, „что либо манящее, неотразимо привлекательное“, рисующееся воображению хотя и в ярких, но иногда и в не вполне еще материализовавшихся образах, наконец, и самое изображение (ср. у Пушкина в стихотворении „Воспоминание“, 1828: „Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток“).

¹ Л. М. Сахаров (К вопросу о бессоюзных сочетаниях в синтаксисе Пушкина. По материалам романа „Евгений Онегин“. „Труды Горьковского Государственного педагогического института“, т. II, 1939, стр. 65) отметил, что немногие повторяемые слова встречаются в „Евгении Онегине“ в лексически измененных словосочетаниях, „чаще всего — в интересах синонимического уточнения“.

² См. у Пушкина в стихотворении 1824 года („Пускай увенчанный любовью“): „Святой залог любви, утеха грусти нежной“. Академик В. В. Виноградов (Язык Пушкина. М., 1935, стр. 224) обращает внимание на „значение франц. gage и отсутствие переносного значения слова залог в «Акад. словаре», II, 634“. Рейф под словом „залог“ дает немецкие Pfand, Unterpfand; французское un gage; английские pled_е, pawn, m. rtgage.

Сам Пушкин употреблял это слово с разными смысловыми оттенками. Энгельс в своей записи (относящейся к шестому стиху „Посвящения“) отметил три возможных немецких значения слова „мечта“: *Pfantasie* (фантазия), *Trug* (обман, призрак), *Einbildung* (воображение, представление). Словарь Рейфа (1845) дает сходные примеры (к словам: „мечта“ и „мечтание“): *das Trugbild, der Phantom; die Einbildung, Grille* (к французским: *une vision, un fantôme, une illusion, une chimère* и английским: *phantom, vision; fancy, illusion, chimera*). Легко видеть, что ни одно из этих иностранных значений не могло передать пушкинское слово в указанном контексте.

Стоит отметить, что современники Пушкина изменение понятия „мечта“ связывали непосредственно с влиянием его поэтического словоупотребления на русский литературный язык. В конце 30-х годов это засвидетельствовал, например, О. И. Сенковский в одной из своих рецензий: „До Пушкина, — писал он, — мечты на Руси не было. Он употребил несколько раз это слово в неопределенном значении; подражатели подхватили пушкинское слово, и пошла потеха. В течение двадцати лет написали у нас сто сорок три миллиона стихов о мечте, и никто не спросил себя, что такое он или другие разумеют под словом «мечта». Ему придают теперь какой-то мистический смысл, которого я вовсе не понимаю. Напрасно искал я во всех известных мне языках слова, соответствующего нашей знаменитой мечте: ни один язык не представляет ничего подобного. Я отправился за объяснением в словарь императорской Российской Академии, и тут только решилось мое недоумение: я узнал с достоверностью, что мечта — *взор*. В этом нет ни малейшего сомнения. Вот, что пишет словарь: «*мечта*, пустое, ложное явление, тщетная мысль, пустое воображение». И в пример он приводит такую сентенцию: «*Все величие в свете сем есть не что иное, как мечта*». Далее: «*Мечтание*, пустое, тщетное, неосновательное, ни с чем несообразное воображение». Наконец: «*Мечтать*, воображать, мыслить пустое, несообразное с здравым рассудком». Так вот что делают почтенные поэты, когда они воспевают мечту! — они просто воспевают *пустое, неосновательное, ни с чем несообразное, несообразное с здравым рассудком*», — прибавляет Сенковский далее, прикидываясь простачком, чтобы придать своему рассуждению издевательский оттенок, и заключает: „Но если я стану когда-нибудь издавать словарь русского языка, то непременно прибавлю еще: «Мечта, нечто весьма пошлое, скучное и всем надоевшее; слово без всякого смысла, которое по этой причине, в недостатке наличных идей, принимается и выдается молодыми поэтами за идею; а, впрочем, очень полезное для легкого определения различия между истинными поэтами (те никогда слово «мечта» не употребляют) и безнадежными стихотворцами (те беспрерывно толкуют о мечте)...»“¹

¹ „Библиотека для чтения“, 1838, т. XXVIII, отд. „Литературная летопись“, стр. 40—41.

В приведенной цитате нас интересует, естественно, не звучащее в ней ироническое осуждение второстепенных подражателей Пушкина (косвенно относящееся, конечно, и к самому поэту: Сенковский принадлежал, как известно, к реакционному лагерю его хулителей и врагов), но лишь некоторые фактические и хронологические данные: распространённость, трафаретность слова „мечта“ в русском поэтическом словаре 20—30-х годов, действительно несколько зыбкий, отвлеченный характер его значения, в это время получавшего особый элегический нюанс и экспрессивную окраску, и, в особенности, словарные справки, подтверждающие, что и в конце 30-х годов, и позже новые смысловые его оттенки еще не были зарегистрированы в справочниках подобного рода. В „Словаре Академии Российской“ мы находим слово „мечта“ с объяснениями, цитируемыми Сенковским;¹ почти те же объяснения встречаются еще в словарях 40-х годов.² Между тем в „пушкинском“ понимании слово встречалось уже у Батюшкова и Державина, писавшего, например: „Почувствуй пламень сей мечты“ („Мечта“, 1794).³

В стихе 15 „Посвящения“:

Незрелых и увядших лет —

неясным могло показаться слово „лет“. Вдумываясь в этот стих, Энгельс, повидимому, первоначально не знал, идет ли здесь речь о годах, возрасте или о времени года: *Jahre* или *Sommer*, так как доступные ему грамматические или лексикологические пособия по русскому языку, разумеется, не объясняли, что существенно „лето“ в смысле теплого времени года уже и при Пушкине употреблялось только в единственном числе, а во множественном в поэтическом языке являлось уже и в ту пору редко употребляющимся архаизмом; с другой стороны, метафорическое в стихе Пушкина увядание, примененное здесь к годам жизни, с первого взгляда допускало как будто и прямое истолкование в смысле времени года (ср. в том же „Евгении Онегине“

¹ Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный, ч. IV, СПб., 1793, стб. 104—105: „мечта: 1) привидение, призрак; пустое, ложное явление, обмачливое видение, явление; 2) тщетная мысль, пустое воображение...“. См. также объяснения в Общем церковно-славяно-русском словаре, ч. I, СПб., 1834, стб. 1394.

² „Словарь русских синоним, или сослов, составленный редакциею нравственных сочинений Г. С. Крылова“ (ч. I, СПб., 1840) довольно подробно разъясняет слово „мечта“ в ряду других (например, в отделе: „Бред, грёзы, мечты“, стр. 193—194): „... *грезим* во сне, *мечтаем* и *бредим* на яву; *бредим* и *грезим* по неволе, *мечтаем* по произволу; *грезы* и *бред* суть естественные состояния, *мечты* искусственные... *Мечтам* предаются немногие удалцы“; „*бред* всегда нелеп, *мечты* и *грезы* невинны, но затеи иных *мечтателей* могут быть и преступны...“. В другом месте в словаре в качестве примера для слова „мечта“ хотя и приведена цитата из „Евгения Онегина“, но оно получает следующее толкование: „*Мечта* имеет какой-то неопределенный характер и говорится о всех представлениях пустых, неосновательных или ложных“; „*Мечта* вводит вас в обман“ (там же, стр. 294, 295).

³ Державин, Сочинения, т. I, Изд. Академии Наук, СПб., стр. 591.

„Весны моей златые дни“). Тем не менее Энгельс перевел вполне точно: „unreifer und verwelkter Jahre“ и поставил в скобках: Sommer, тогда как в вокабулах левого столбца у него стоит на первом месте „лето“ — der Sommer и на втором „годы“ — die Jahre, т. е. так, как и в словаре Рейфа.

Немалое затруднение представили также стихи 9—10:

Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собрание пестрых глав...

И в самом деле, в каком словаре и под каким словом Энгельс должен был искать перевод этого разговорного оборота речи — „так и быть“ в значении „пожалуй“ или „пусть будет так“? У Рейфа, во всяком случае, на этот счет нельзя было найти никаких объяснений. Тем не менее Энгельс, с его замечательным чувством языка, понял идиоматичность этого выражения и перевел по-французски малозначащим *que voulez vous* — что хотите, как вам будет угодно — и французским же междометием *eh bien* — ну что же.

Слова „рукой пристрастной“ в том же стихе („рукой пристрастной Прими собрание пестрых глав“) могли дать повод к явному искажению смысла. В нашей современной речи прилагательное „пристрастный“ употребляется не с тем оттенком, в каком оно употреблено Пушкиным в указанном стихе; для нас слово „пристрастный“ значит теперь чаще всего „несправедливый“. Но Пушкин вовсе не хотел сказать, что он передает свое творение в руки или на суд чрезмерно расположенного или враждебно настроенного к нему лица! Как раз наоборот! Слово „пристрастный“ близко у Пушкина к тому значению, которое имеет слово „пристраститься“ — увлечься чем-либо, предаться чему или кому-нибудь. Словарь Рейфа, впрочем, как и всякий другой словарь того времени, не мог в данном случае прийти Энгельсу на помощь. У Рейфа слово „пристрастный“ однозначно и переведено и на французский, и на немецкий, и на английский языки только одним словом: *partial* (*avec partialité*), *parteiisch*, *parteilich*, *partially*, *with partiality* (пристрастный — лицепрятный, лицемерный). Этот перевод, естественно, не мог удовлетворить Энгельса, и, отказавшись от него вовсе, он стал искать ему замену. В вокабулах после слова „пристрастный“ Энгельс отразил свои колебания, написав одно за другим три возможных его значения: *eifrig*, *zugethan*, *leidenschaftlich*. В этих трех словах, стоящих рядом, зафиксирован весьма сложный комплекс размышлений Энгельса над трудным словом пушкинского словаря, для правильного понимания которого, собственно говоря, следовало знать и историю личных взаимоотношений Пушкина и Плетнева, и возможное происхождение слова, и случаи его употребления в различных контекстах. Из указанных трех слов первое не годилось потому, что само оно многозначно и имеет ряд близких соответствий: *eifrig* значит и гневный, сердитый (близкое к *zornig*), и старательный (близкое к *fleißig*), и неутомимый (близкое

к unermüdet), и, наконец, усердный, ревностный, рачительный. Второе немецкое слово zugethan означает преданный, расположенный (близко по значению к ergeben); третье — leidenschaftlich — страстный, попало в перечень, очевидно, вследствие раздумий Энгельса о значении приставок в русском языке (при-страстный). Несмотря на всю эту действительно сложную подготовительную работу, Энгельс, давая связный перевод указанного места стихов Пушкина, не остановился ни на одном из ранее выбранных им значений для русского слова „пристрастный“ и употребил новое немецкое слово, притом, пожалуй, наиболее близкое по смыслу к пушкинскому: „mit freundlicher Hand nimm sie hin die Sammlung bunter Kapitel“, т. е. „дружеской рукой возьми себе (прими) собрание пестрых глав“. Столь удачный итог стоил затраченных усилий.

Окончив разбор посвячительных стихов, Энгельс обратился к чтению первой главы „Евгения Онегина“ и столь же терпеливо и методически изучал каждое русское слово текста во всех его возможных немецких значениях и применениях. Однако затруднения вызвал уже эпиграф: „И жить торопится, и чувствовать спешит“, заимствованный Пушкиным из стихотворения П. А. Вяземского „Первый снег“ (1819):

По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит.

Эпиграф переведен Энгельсом неточно („Sowohl eilen zu leben wie eilen zu erkennen“. Fürst Wjazemskij), благодаря смешению в глаголах „торопиться“, „чувствовать“ и „спешить“ неопределенного наклонения с третьим лицом единственного числа настоящего времени; кроме того, синонимические русские глаголы „торопиться“ и „спешить“ в русско-немецких словарях, например у Рейфа, передавались одним немецким eilen (sich eilen, sich beeilen; можно было бы прибавить сюда и sich sputen).

Первые строки первой же строфы еще более усилили затруднения Энгельса. И это вполне понятно. Дело в том, что столь знакомые нам начальные стихи романа Пушкин произносит не от себя, а от лица Онегина, который и в дальнейшем обрисован как язвительный остро слов; циническая обнаженность речи „молодого повесы“ резко противостоит задушевно-лирическому и очень интимному колориту посвячительных стихов и сразу же переводит стихотворный язык романа в совершенно другой регистр:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог. . .

Метод чтения и усвоения этих стихов, примененный Энгельсом, и на этот раз остался прежний: в левом столбце Энгельс последовательно

выписал себе все не знакомые ему русские слова и сопроводил их вероятными значениями: дядя — Onkel, самый — selbst, честный — gedlich, achtbar, teuer, правил — Richtschnur, Regel, Lineal и т. д., но перевода все же не получилось, потому что немецкие соответствия русским словам не везде были подобраны удачно. Прилагательное „самый“ превратилось в местоимение „сам“, тогда как в соединении со следующим словом „честный“ оно должно было выразить лишь превосходную степень этого качества. Почти с уверенностью можно сказать, что и на этот раз источником ошибки был четырехязычный словарь Рейфа, где для слова „самый“ даны сначала немецкие selbst, selbiger, eigen и где тут же приведены английские многозначные местоимения и местоименные прилагательные same, self same, self своим орфографическим сходством с искомым русским словом дававшие лишний повод к смешению.¹ В немецком языке местоимение „самый“ можно было перевести, только образовав суперлативную форму (der...-ste) связанного с ним прилагательного: на такую возможность, впрочем, указывал и словарь Рейфа, но лишь во втором ряду. Но что означало „честных“, в особенности в соединении со словом „правил“? Догадаться об этом было трудно, хотя Энгельс тут же выписал из словаря вероятные, как ему казалось, образования от существительного „чествование“ (das Ehren) и от глаголов „чествовать“ и „честить“ (Verehren, achten), а для „правил“ — много разнообразных значений слов „правило“ (с ударением на а) и „правило“ (с ударением на и); к последнему русскому слову, в частности, относится отмеченное Энгельсом в указанном месте рукописи техническое немецкое слово das Lineal, т. е. линейка, отвес. Естественно, что весь первый стих „Мой дядя самых честных правил“ в опыте связанного перевода (в правом столбце страницы) остался непереведенным вовсе. Да он и в самом деле труден для понимания. Лишь комментаторы установили, что Пушкин воспользовался здесь иронически примененным стихом из басни Крылова „Осел и мужик“ (1819):

Осел был самых честных правил,

который в стихах Пушкина мог звучать как преднамеренная реминисценция.²

¹ Хотя местоимение „самый“ как элемент аналитической формы превосходной степени прочно закрепилось в русском литературном языке уже в XVIII веке и употребление его сохранялось затем без существенных изменений (см. наблюдения А. Б. Шапиро в статье „Об употреблении местоимений сам и самый в русском языке“ в „Трудах Института русского языка“, т. II, М.—Л., 1950, стр. 9—10), но для переводчиков с русского языка оно всегда представляло значительные трудности. Прибавим, что в немецком языке частица selbst, отмеченная в записи Энгельса, также имеет два значения: „сам“ в постпозитивном и „даже“ в препозитивном употреблении.

² Н. Л. Бродский. Евгений Онегин, роман А. С. Пушкина. Изд. 3-е, М., 1950, стр. 31. — Л. А. Булаховский (Русский литературный язык первой половины XIX века, т. I. Киев, 1941, стр. 50) прямо утверждает, что „Пушкин, начиная своего «Евгения Онегина» словами: «Мой дядя самых честных правил...», несомненно для

Стоит вдуматься и в последующие стихи, чтобы понять, что и они, сказанные от лица Онегина, полны убийственной иронии, которая может быть понята лишь в условиях их произнесения вслух, при наличии соответствующих интонаций звучащей речи; в противном же случае они допускают различные и противоречивые истолкования:

Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог...

Слово „уважать“, лишенное язвительности или издевательского оттенка, в данном контексте вовсе лишается смысла.¹ Энгельс пытался найти ему точное соответствие и перевел: „Mein Onkel... wenn er krank war ohne Scherz, so ließ er sich gut bedienen und etwas Besseres konnte er nicht ersinnen“, т. е. „мой дядя... когда он серьезно (не на шутку) заболел, заставил хорошо ухаживать за собой и не мог придумать (изобрести) чего-либо лучшего“. Следует сказать, что ни один немецкий переводчик „Евгения Онегина“ в XIX веке не избежал здесь той или иной ошибки, передавая русский текст немецкими стихами с той или иной степенью приблизительности, но чаще всего очень вольно: первый переводчик, Роберт Липперт (1840) перевел эти стихи дословно, но бессмысленно:

Kaum wird er krank in's Bett gebracht,
So macht er, daß man ihn verehere.

В переводе Ф. Боденштедта (1854) одно пушкинское слово заменено тремя немецкими:

Er ließ sich ehren, hätscheln, pflegen.

В еще более позднем и более точном переводе Блаументаля (1878) Онегин все же говорит, что его дядя, заболев серьезно, полностью добился внимания или уважения только с его стороны (т. е. со стороны племянника):

Mein Oheim, bieder stets gesonnen,
Hat, seit im Ernste er erkrankt,
Sich meine Achtung ganz gewonnen
Und besseres kaum je erdacht.

слов «самых честных правил» имел шутливый «задний план» и был уверен, что читатели, на которых был рассчитан его стихотворный роман, помнят крыловскую басню «Осел и Мужик»... и благодаря этому своеобразно осмысляют для себя и нечто из психологии дяди Евгения».

¹ Понимание того, что Пушкин имел в виду, рассказывая об отношениях Евгения к родному дяде, может содействовать строфа XX четвертой главы романа, где Пушкин иронически разъясняет, „что значит именно родные“:

Родные люди вот какие:
Мы их обяваны ласкать,
Акбить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать,
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...

Действительно занимательной наукой, по словам Пушкина, является следить за мыслями великого человека; не менее занимательной наукой является также следить за ходом мыслей великого переводчика. Самые ошибки и неудачи его характерны, показательны и могут служить весьма поучительными примерами.

Энгельс был превосходным и тонким переводчиком; он не раз высказывался о том, каким требованиям должен удовлетворять перевод иноязычного текста, чтобы он смог сохранить экспрессивную силу оригинала. Многочисленные критические суждения Энгельса о переводческом искусстве и промахах ремесленных переводчиков заслуживают особого изучения и теоретического обобщения.¹ Напомним несколько мыслей и практических советов Энгельса по вопросам перевода, которые могут иллюстрировать его собственный метод, примененный им в описываемой рукописи, в опыте перевода пушкинского текста.

Многократно говоря о необходимости сохранять в переводах особенности подлинника, Энгельс считал, что переводчику, помимо знакомства с языком, с которого он переводит, необходимо также иметь представление об условиях жизни и особенностях той страны, которую изображает то или иное произведение. Указывая на желательность перевода на немецкий язык работы Карлейля „Положение Англии“, Энгельс замечал: „Но да не прикоснутся к нему руки ремесленных переводчиков! Карлейль пишет своеобразным английским языком, и переводчик, не знакомый основательно с английским языком и не понимающий его намеков на английскую жизнь, наделает самых уморительных ошибок“.² В известной статье „Как не следует переводить Маркса“ Энгельс также утверждал: „... чтобы понимать его, нужно действительно в совершенстве владеть немецким языком, разговорным и литературным, и кроме того нужно кое-что знать и из немецкой жизни“.³ С точки зрения Энгельса, при передаче иностранного текста на родной язык знакомство со словарями и грамматиками иностранного языка недостаточно и не может охранить переводчиков от промахов и упущений разного рода: при многозначности отдельных слов нужное значение может быть выбрано лишь в том случае, если переводчик ясно представляет себе тот предмет или явление, о котором

¹ Опыт систематизации высказываний основоположников марксизма по вопросам перевода дает статья: В. Нейштадт. Маркс и Энгельс о проблемах перевода. „Интернациональная литература“, 1941, № 3, стр. 140—159; см. также главу вторую „Классики марксизма-ленинизма о переводе“ в книге: А. Н. Соболев. Пособие по переводу с русского языка на французский. М., 1952, стр. 10—29.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. II, стр. 347.

³ То же, т. XVI, ч. 1, стр. 230. — О необходимости знать действительность той страны, которую имеет в виду то или иное переводимое произведение, неоднократно говорил также и Маркс. В одном из писем к Бракке 1877 года по поводу перевода на немецкий язык французской книги Лиссагаре „История коммуны 1871 г.“ Маркс писал: „... я мог бы заняться только исправлением всех неправильностей, неизбежных для любого иностранца, недостаточно знакомого с французскими условиями, но не исправлением простых ошибок переводчика“ (то же, т. XXVI, стр. 461).

идет речь, если он имеет действительное понятие о той культурно-исторической сфере, к которой относится данное словесное обозначение. Итальянскому переводчику своей книги „Происхождение семьи, частной собственности и государства“, Мартиньетти, Энгельс писал в 1885 году: „Удивляюсь тому, что Вы, никогда не живя в Германии и не изучая язык в этой стране, все же столь хорошо сумели передать мои мысли. Я нашел лишь несколько сокращенных и идиоматических выражений и поговорок, где имеются ошибки; притом эти выражения не может как следует понять тот, кто не знает обыденной речи, вплоть до диалектов страны, — это вещи, которых нет ни в грамматиках, ни в словарях“.¹ Итак, Энгельс утверждал, что переводчику необходимо знать живой иностранный язык в его полном объеме, „вплоть до диалектов“, уметь проникнуть в смысл всех идиоматических выражений, разобратся во всех оттенках слова и фразы и лишь тогда разрешить себе относительную свободу в передаче переводимого текста на родном языке: „... если Вы хорошо поняли текст, то, полагаю, можете действовать несколько более свободно и смело“.² Эта относительная свобода необходима для того, чтобы избежать буквализма в переводе, который может привести к самым плачевным результатам.³

Энгельс отчетливо, тонко, с огромным филологическим пониманием чувствовал различие и своеобразие языков,⁴ и потому к переводчикам он предъявлял максимальные требования; им накоплен был и собственный многолетний опыт по переводу не только на немецкий, но и на английский и на французский языки научной и публицистической литературы;⁵ поэтому такой огромный интерес представляют его многочисленные советы и замечания о технике перевода, например, его требование сохранить в переводе синтаксические особенности подлинника, давать фразы во всей широте их смысла, пользоваться лучшими ресурсами языка и т. д.⁶

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVII, стр. 519.

² Там же.

³ Замечания о нежелательности „буквальных“ переводов имеются в переписке Маркса и Энгельса, начиная с 50-х годов (см., например, письмо Энгельса к Марксу 1852 года, по поводу перевода на английский язык „18 брюмера“: т. XXI, стр. 408—409; ср. письмо Маркса к Зорге 1872 года по поводу французского перевода „Капитала“: т. XXVI, стр. 254).

⁴ Очень интересны, например, замечания Энгельса о неподатливости для переводов „каверзного“ французского языка (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 339), сравнительные оценки с точки зрения требований переводческой техники языков французского, английского и немецкого (то же, т. XXIV, стр. 423: замечания, в письме к Марксу, о переводе на французский язык главы из „Капитала“ о фабричном законодательстве).

⁵ См. замечания Энгельса о сделанных им переводах статей с португальского и испанского на французский (то же, т. XXVI, стр. 240—241, 291).

⁶ См. статью Энгельса „Как не следует переводить Маркса“ (то же, т. XVI, ч. 1, стр. 230—238) и замечания его (в письме к Э. Бернштейну от 5 февраля 1884 года) о своеобразном согласовании предложений у Маркса (то же, т. XXVII, стр. 350).

Все это подтверждает, что Энгельс более, чем кто-либо другой, подготовлен был к пониманию того, как надо переводить Пушкина. В этом смысле сделанные Энгельсом в анализируемой рукописи прозаические переводы начальных строф „Евгения Онегина“, — хотя это и были прежде всего упражнения учебного характера, не предназначенные для дальнейшей литературной обработки (и тем более для печати), — чрезвычайно поучительны и заслуживают особого внимания. Анализ этих переводов его из Пушкина может быть учтен при изучении взглядов Энгельса на проблему перевода и его собственного переводческого мастерства. Вдумываясь в записи Энгельса, сделанные в описываемой тетради, изучая его сомнения, колебания, недоумения или счастливые находки, мы не только присутствуем в сложной творческой лаборатории выдающегося переводчика, но и следим за начальным процессом освоения Энгельсом того языка, который он признал впоследствии одним „из самых сильных и самых богатых живых языков“.¹

Но записи Энгельса интересны также и для исследователя Пушкина, в частности, для анализа его поэтического языка: они изоцируют наше внимание ко всем тонкостям его словаря и стиля. Интересным и достойным специального разбора является почти каждое русское слово, выписанное Энгельсом и снабженное им пояснениями разного рода; в ряде случаев из этих пояснений может извлечь для себя не мало интересных и неожиданных наблюдений также и комментатор „Евгения Онегина“.

7

Работа Энгельса над текстом „Евгения Онегина“ потребовала от него огромного труда, терпения и настойчивости. По приблизительному подсчету, Энгельс вдумался в 900 с лишним слов пушкинского словаря, подобрав к ним около двух тысяч немецких (а частично также французских и английских) значений, толкований, аналогий.

В процессе чтения первых строф „Евгения Онегина“, шедшего медленно и с затруднениями, помощь русско-иноязычного словаря была необходимой поминутно; справки со словарем требовало еще почти каждое слово. В стихах первой строфы:

Его пример другим наука;
 Но, боже мой, какая скука
 С больным сидеть и день и ночь,
 Не отходя ни шагу прочь!
 Какое низкое коварство
 Полуживого забавлять,
 Ему подушки поправлять,
 Печально подносить лекарство,
 Вдыхать и думать про себя:
 Когда же чорт возьмет тебя! —

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 239.

соответственной справки в словаре потребовали 23 слова из 30 здесь употребленных (без союзов и местоимений). Это были такие слова, как: пример, наука, скука, больной, сидеть, отход, шаг, прочь, низкий, коварство, полуживой, забавлять, подушка, печальный, подносить, лекарство и т. д. И каждое из них сопровождается пояснениями: дано то одно значение, то несколько, когда смысл слова должен еще быть установлен по контексту и представляется пока не совсем ясным: иногда, впрочем, различные значения слова даются и потому, что их необходимо запомнить для дальнейшего; записи делаются не только для чтения пушкинского текста, но в порядке освоения русского языка, его словоупотребления, его грамматической структуры. Так, к слову „пример“ дано два немецких значения: *Uebermaß*, *Beispiel*, но тут же, имея в виду весь пушкинский стих („Его пример другим наука“), Энгельс над строкой выписывает слово „другим“ и отмечает: *ein Beispiel für andre*, т. е. догадывается о смысле всей строки, благодаря чему отпадает и неудачно подобранное к слову („пример“) первое значение *Uebermaß*. Не вполне ясно, почему это слово, означающее „излишек“, „избыток“, занесено Энгельсом в рукопись, к тому же на первом месте, перед правильным переводом: *das Beispiel* (*Exempel*); можно, однако, предположить, что слово *Uebermaß* возникло в памяти Энгельса в результате его желания разобраться в этимологии русского *при-мер*; поэтому он и образовал немецкое слово с приставкой от существительного „мера“ — *das Maß: Übermäßigkeit, übermäßig* — чрезмерность, чрезмерный.

При слове „наука“ обозначены: *Wissenschaft, Kunst, Lehre, Warnung*. Последнее значение достойно особого внимания, так как оно неопровержимо свидетельствует, что Энгельс вдумывался не только в отдельные слова, но и в мысли Пушкина. Слово *Warnung* означает „предостережение“, „предупреждение“ и могло возникнуть в сознании переводчика только после того, как для него прояснился смысл всего стиха в целом: „Его пример другим наука“. Подобного значения для слова „наука“, разумеется, не могло быть и в русско-иноязычных словарях, так как в смысле „урока, извлекаемого из жизненного опыта“ это слово употреблялось только в русской разговорной речи.

При слове „отход“ также отмечено много возможных немецких значений: *Abzug, Abreise, Rückzug, Abtritt*,¹ что заключало в себе двойкий

¹ Не вполне ясно, почему вместо глагола „отходить“ Энгельс записал значения для существительного „отход“; очевидно, при пользовании словарем Энгельс был смущен обилием даваемых этому глаголу значений (Рейф дает их в таком порядке: *weggehen, abgehen; meiden, vermeiden; nachstehen; verlassen; aufthauen; zu Ende gehen; sterben*) и воспользовался отлагательными существительными по естественной ассоциации мыслей (ведь Онегин говорит об умирающем дяде, а в словарях к слову „отход“ отмечаются и значения: конец, смерть; Рейф дает и значение слова „отходная“: *das Gebet für Sterbende*. Тем не менее связный перевод указанных стихов в правом столбце страницы показывает, что Энгельс в конце концов понял их вполне правильно: „*Sein Beispiel ist den Andern eine Lehre — aber (nein!) bei Gott, welche Langeweile, bei Kranken zu sitzen Tag und Nacht, ohne Rückzug und keinen Schritt fort!*“.

смысл: лучшее, наиболее совершенное истолкование пушкинского текста и более полное знакомство со словарем русского языка. Слово „забавлять“ (переписанное с ошибкой: вместо начального *з* написано *с*) включено в перечень, несмотря на то, что выше Энгельсом уже были отмечены родственные слова: глагол „забавить“ и существительное „забава“ (в „Посвящении“: „Небрежный плод моих забав“).

Столь же много усилий потребовала и II строфа первой главы, из которой выписано и проанализировано 31 слово. Приводим эту строфу, для наглядности отмечая курсивом каждое из выписанных слов:

1. Так думал молодой повеса,
2. Летя в пыли на почтовых,
3. Всевышней волею Зевеса
4. Наследник всех своих родных.
5. Друзья Людмилы и Руслана!
6. С героем моего романа,
7. Без предисловий, сей же час,
8. Позвольте познакомить вас:
9. Онегин, добрый мой приятель,
10. Родился на брегах Невы,
11. Где, может быть, родились вы,
12. Или блистали, мой читатель!
13. Там некогда гулял и я:
14. Но вреден север для меня.

И эта строфа еще представила для Энгельса ряд затруднений. Из записанного им на этой же странице связного перевода данной строфы видно, что сомнения Энгельса вызвал стих 3: „Всевышней волею Зевеса“¹ — в переводе у Энгельса он передан вполне правильно: Willen Zeus [?]. Вопросительный знак после имени „Зевес“ свидетельствует, что сомнения у Энгельса вызвала полногласная форма, вместо ожидаемой „Зевса“, далее стихи 10 (архаическое „брег“ вместо „берег“) и особенно 12 с его глаголом несовершенного вида „блистать“. Сомнения эти вполне естественны и закономерны. В словаре Рейфа есть глагол „блистать“, однозначный с глаголом „блестеть“; с тем же значением, что и „блестеть“, отмечены также: блистательно, блистание, блистательность, блистательный; Энгельс оставил это слово непереведенным и даже не дописал его в своей тетради; возможные немецкие значения (частично приводимые и у Рейфа): glänzen, schimmern, strahlen, funkeln, blitzen и т. д., очевидно, не могли его удовлетворить. Очевидно, Энгельс отчетливо почувствовал многозначность, семантическую многогранность пушкинского слова, тем более что оно употребляется и в следующих строфах с другими оттенками: в строфе V — „...воспитаньем... У нас немудрено блеснуть“; в строфе XVIII — „Там, в стары годы... Блистал Фонвизин, друг свободы“; в строфе XX есть

¹ Ср. у Пушкина в стихотворении „К портрету Чаадаева“:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службь царской...

стих о балерине Истоминой — „Блистательна, полувоздушна“ (ср. здесь же: „Театр уж полон; ложи блещут“); в строфе XXII — „Веаде блистают фонари“. Исследователи пушкинского языка уже отмечали, что если „в салонном языке термин *блеснуть* имел довольно ограниченное значение — роскошно провести время, выделиться“, то „у Пушкина значение этого слова так развито и многогранно, что даже трудно уловить все оттенки его... Чрезвычайно расширив значение этого слова, Пушкин варьирует его в различных сочетаниях, где оно приобретает новые оттенки значения“.¹ Сомнения и затруднения Энгельса становятся, таким образом, вполне объяснимыми.

Энгельс внимательно присматривался к каждому слову, запоминая его орфографию. При объяснении стиха „Летя в пыли на почтовых“, где, кстати сказать, сомнения могло вызвать ударение в слове „почтовых“,² Энгельс отметил для себя, несомненно по словарю, два различных слова „пыль“ (*Staub*) и „пыл“ (*Flamme, Zorn*), как и ниже, при переводе стиха „Там некогда гулял и я“, что слово „некогда“ (с „ягь“) означает *einmal, früher*, а некогда (с „е“) — *nicht Zeit*; ниже отмечено различие между словами „долг“ и „долго“.

Что на этой стадии своей работы Энгельс еще не вполне твердо усвоил русские глаголы и слишком доверялся словарю, видно из его записей к III строфе, при переводе которой он совершил досадный промах, из числа тех, от которых он сам предостерегал переводчиков. Впрочем, и на этот раз текст Пушкина наталкивал на ошибку, поскольку он и сам требует комментария.

Строфа III начинается всем памятными стихами:

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно,
И промотался наконец.

Первый стих этой строфы печатался различно даже в прижизненных изданиях „Евгения Онегина“. Н. О. Лернер в специальной заметке привел подробные данные по этому вопросу. В первом издании первой

¹ А. И. Ефимов. Пушкин и язык салона. „Ученые записки Пермского Государственного педагогического института“, вып. 2, 1937, стр. 43—45; о слове „блеск“ и его производных в русском литературном языке XVIII—XIX веков см. в статье того же автора „Фразеологический состав повести Карамзина «Наталья, боярская дочь»“ в „Материалах и исследованиях по истории русского литературного языка“ (т. I, М. — Л., 1949, стр. 78—79).

² О неустойчивом ударении в этом слове см.: Е. Ф. Будде. Опыт грамматики языка А. С. Пушкина, вып. II, СПб., 1904, стр. 77—78; у Рейфа отмечено ударение на последнем слоге; не ясно, почему выражение „ехать на почтовых“ переведено у него „mit Extrapost reisen“; у Энгельса прилагательное „почтовый“ объяснено „Post-, Postpferde, Extrapost“, последнее значение удержано и в переводе — „So dachte ein junger Taugenichts, im Staube seines Fluges mit Extrapostpferden“; не создавали ли слова „летя в пыли“, в связи со всем контекстом, представление о *быстроте* экстренной езды на перекладных? Ведь Онегин поспешал за наследством к умирающему дяде!

главы (1825) в первом стихе после второго слова запятой не было, но она появилась в изданиях 1833 и 1837 годов, и это меняет смысл стиха. Первый стих без запятой после слова „отлично“ должен быть истолкован: „служив *очень* благородно“, так как „слова «отлично», «отменно», «изрядно» в старину обыкновенно употреблялись в смысле «весьма», «очень», особенно в официальном языке“.¹ Запятая после слова „отлично“ меняет дело: это слово „приобретает смысл, не зависящий от слова «благородно», и относится уже не к нему, а прямо к слову «служив», которому и является равносильным пояснением, заменяя союз: отец Онегина служил, значит, отлично и благородно“. Проследив колебания издателей Пушкина по всем основным изданиям его сочинений, где указана запятая то появляется, то исчезает, Н. О. Лернер пришел к выводу, что она не нужна и что печатать ее не следует. „Несмотря на то, что разделившая слова «отлично» и «благородно» запятая появилась в двух изданиях, одно из которых вышло при жизни поэта, а другое также печаталось еще при нем..., есть основания считать эту запятую случайной, не Пушкину принадлежащею вставкой“, — замечает исследователь.² По его мнению, которое нам представляется вполне справедливым, „выражение «служив отлично» совсем не свойственно Пушкину. Иное дело — «служив *отлично-благородно*«. Здесь Пушкин воспользовался готовым термином бюрократического языка... и как бы цитировал иронически послужной список отца Онегина. Смысл интересующего нас места такой: отец Онегина жил долгами, так как служил «отлично благородно», т. е. вполне честно, без мздоимства и лихоимства, и служба не могла его обеспечивать со всеми его прихотями. Вот почему запятая в середине первого стиха III строфы первой главы «Евгения Онегина» представляется нам неуместной. Появление ее в изданиях 1833 и 1837 годов нельзя приписывать сознательному желанию автора. Это, вероятно, подозревали исключившие ее редакторы посмертного издания, а вслед за ними — Анненков и Геннади, и с ними нельзя не согласиться“.

Таким образом, даже не все современники Пушкина могли вполне правильно истолковать данный стих и произвольно давали ему другой смысл, искажающий или обедняющий мысль поэта. Затруднения Энгельса возникли, однако, по другому поводу. Наречие „отлично“ он счел

¹ Н. О. Лернер. Пушкинологические этюды. V. Заметки на полях „Евгения Онегина“. „Звенья“, сб. V, М.—Л., 1935, стр. 60—62. В доказательство Н. О. Лернер приводит пример из формулярного списка секунданта и друга Пушкина, К. К. Давыдова: на вопрос „каков в нравственности“ дан ответ: „отлично-благороден“. В дополнение приведем аналогичный пример: в 1817 году П. И. Рикорд в письме к В. И. Штейнгелю, давая характеристику штурману своего корабля, писал, что он „отлично благородного (истого), скромного поведения человек“ („Русская старина“, 1888, № 10, стр. 158); сочетание „отлично благородный“, следовательно, имело и синоним „истовый“.

² В посмертном издании сочинений Пушкина 1838 года указанная запятая отсутствует.

отдельным словом, не связанным со следующим, и перевел *vortrefflich* (у Рейфа: *vorzüglich*), т. е. „отменно“, „превосходно“; по поводу первого слова стиха „служив“ Энгельс заглянул в словарь и нашел здесь графически близкое к глагольной форме существительное мужского рода „служивый“ со значением: *der Soldat*, которое и выписано у него даже с пояснением: *Soldat, Invalid* (в словаре Рейфа 1845 года только *der Soldat*); к слову „благородно“, по справке в том же словаре, где нашлось прилагательное „благородный“, он отметил *Wohlgeboren* и прибавил: *Titel der letzten Rangklasse* т. е. титул последнего класса (в табели о рангах). Несомненно, что источником этой ошибки был именно словарь, где наречие, прилагательное и существительное стояли рядом. Вместо наречия (у Рейфа приведено только одно значение *adelig* в смысле франц. *noblement*, *avec noblesse* и англ. *nobly*, *gentlemanly*) он воспользовался значением прилагательного (у Рейфа: *adelig, Wohlgeboren [Titel]*), а во французском столбце указано прямо: *qui a un des rangs de la 9-e à la 14-e classe*; то же объяснение и с теми же значениями дано у Рейфа при существительном „благородие“: *der Adel; Wohlgeboren (Titel für Subalternen-Officiere)*. Когда же Энгельс приступил к переводу и захотел связать в одной фразе все столь далеко разошедшиеся друг от друга звенья предложения, получилось, естественно, нечто глубоко отличное от того, что хотел сказать Пушкин. Перевод указанных стихов явно не давался Энгельсу: он зачеркивал отдельные слова, выписывал их заново, снова устранил и заменял другими. Вот что получилось в итоге:

Ein Beamter, vortrefflich und von guter Aufführung [Soldat von ganz guter Geburt] [Stellung], lebte unter Schulden [lange] sein Vater; er gab drei Bälle jährlich und ruinierte sich zuletzt.

Привожу обратный дословный перевод с пояснениями в скобках курсивом:

„Чиновник (*должностной человек, служащий*) отличный (*превосходный чиновник*) и хорошего поведения (*далее зачеркнуто солдат* весьма хорошего рода, т. е. по происхождению; *далее зачеркнуто* по положению), отец его жил в долгах (*далее зачеркнуто долго*); он давал по три бала ежегодно и, в конце концов, разорился“.

Все это, разумеется, может у русского читателя вызвать невольную улыбку, но, по существу говоря, кто из этих самых читателей, на основании стиха „Служив отлично благородно“, ответит на вопрос, в чем заключалась служба отца Онегина, — был ли он достойным гражданским чиновником или блестящим офицером? На такой вопрос не дает ответа даже специальная справка о том, что словосочетание „отлично благородно“ есть обычный термин бюрократического языка 20-х годов, а не только лишь „уточняющий повтор синонимических наречий-обстоятельств“, ¹ поскольку нам не известно сейчас, где этот термин был

¹ Л. М. Сахаров. К вопросу о бессюзных сочетаниях в синтаксисе Пушкина. „Труды Горьковского Государственного педагогического института имени М. Горького“, т. II, 1939, стр. 66.

обычное — в служебных формулярах гражданской или военной службы; разумеется, только русскому читателю в этих пушкинских стихах послышится скрывающаяся серьезный намек ироническая интонация, вовсе неумолимая для тех, кто знает лишь словарное значение составляющих этот стих слов. И это еще резче подчеркивает достойные удивления и уважения настойчивость и упорство, с которыми Энгельс пытался до конца истолковать не дававшиеся его пониманию стихи Пушкина.

Гоголь писал однажды о стихах Пушкина, что в каждом их слове „бездна пространства“, что „каждое слово несомненно как поэт“ („Несколько слов о Пушкине“, 1832—1835). Именно эту „пространственную“ глубину каждого пушкинского слова во всей многозначности их смысловых оттенков и помогают лучше оценить словарные записи Энгельса. Характерный пример дают его записи, относящиеся к той же III строфе.

Переводя стихи:

Monsieur L'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя —

Энгельс добился очень интересных результатов, которые, может быть, стоит учесть и комментаторам „Евгения Онегина“. В словарях Энгельс мог найти глаголы „измучивать“, „измучиваться“; так, у Рейфа (1845) к „действительному глаголу“ (согласно грамматической терминологии того времени) „измучивать“ указаны следующие немецкие значения: *abmatten, ermüden, entkräften*, а к „возвратному глаголу“ „измучиваться“ — *sich entkräften*; однако Энгельс не воспользовался ни одним из этих значений и перевел его по-своему: *sich abüberarbeiten*?, — „чтобы ребенок не перерабатывал, не надрывался работой, т. е. ученьем“. Сомнения Энгельса, притом вполне естественные и закономерные, вызвало слово „убогий“. Рейф дает ему два немецких значения: *arm, dürftig* (в смысле: бедный, скудный, находящийся в нужде, неимущий); Энгельс в своей записи отмечает первое (*arm*) и добавляет к нему третье: *verküppelt* — изувеченный, изуродованный, уродливый, сомневаясь, однако, какое из них предпочесть.¹ Для того, чтобы принять такое решение и сделать выбор, необходимо было предварительно отчетливо представить себе образ этого наставника Онегина-отрока. И в самом деле, каким представляется читателю этот „француз убогой“? Как понимали его читатели пушкинского времени? Какие качества, физические или умственные, внушает ныне это зыбкое, но расширяемое по мере надобности понятие „убогости“, — душевной, умственной скудости или нуждаемости, бедности или всего лишь физического безобразия, инвалидности, наконец? Немецкие переводчики „Евгения Онегина“ (умалчиваем уже о французских) упражнялись по этому поводу без вся-

¹ Отметим, впрочем, что позже, при переводе „Вступления“ к „Медному всаднику“, записывая немецкие значения к стиху „Приют убогого чухонца“, Энгельс пропустил слово „убогий“, повидимому, как ему уже понятное и знакомое.

кого соображения не только насчет того, что именно хотел сказать Пушкин своим эпитетом „убогий“, но и без всяких исторических справок о том, какими должны были быть эти учителя-французы детей русских дворянских семей в первые десятилетия XIX века. Одни превращали Monsieur l'Abbé в претерпевшего несчастья в жизни французского аббата-эмигранта, находящегося в нужде, но умелого педагога, знающего, как обращаться с детьми, своего рода последователя руссоистских воспитательных идей; другие, наоборот, соответственно своим вкусам, делали Monsieur l'Abbé или уродом, или изувеченным инвалидом (очевидно, времен войны 1812 года), что уже вступало в противоречие с его духовным званием и заставляло превращать это звание в прозвище или фамилию; последнее, повидимому, вполне правильно, так как в русском дворянском быту воспитатели из презжих аббатов, несомненно, встречались редко.¹ Но в пушкинском эпитете „убогий“, примененном к французскому наставнику или просто к „французу“, мы усматриваем ту самую „бездну пространства“, о которой говорил Гоголь и которая делает этот эпитет непередаваемым ни на каком языке со столь же гениальным лаконизмом: в понятие „убогости“ в данном контексте Пушкин включает все то, что может быть доступно представлению его читателя, но с основным колоритом серости и посредственности.²

¹ Н. Л. Бродский (Евгений Онегин, роман Пушкина. Изд. 3-е, М., 1950, стр. 39), напротив, в этом стихе Пушкина видит „указание на то, что воспитателем Евгения было лицо духовного звания, один из тех иезуитов-аббатов, которые массой хлынули в дворянскую Россию после французской революции 1789—1793 гг.“, и в качестве примеров ссылается на „Лицейские записки“ Пушкина и на сатирическое послание Д. П. Горчакова к С. Н. Долгорукому („Там Вральман... а здесь учит Аббе...“), но эти примеры едва ли свидетельствуют „о степени распространенности этого рода воспитателей в дворянских семьях“.

² Отсюда, конечно, должны получить свое истолкование и все характеризованные Пушкиным педагогические приемы этого учителя-француза: перед нами встает образ ограниченного, нерадивого, ленивого наставника; он оправдывает свое бездействие и отсутствие каких-либо воспитательных намерений, фальшивой ссылкой на заботу о своем воспитаннике („чтоб не измучилось дитя“), которым на деле он мало занимается. Для „аббата из иезуитов“ едва ли могла быть характерной, по представлениям Пушкина, манера „не докучать моралью строгой“; нельзя не почувствовать иронии в описании всей этой воспитательной „системы“, которая заключалась в безразличии к целям и средствам; в стихе „учил его всему шутя“ характеризовано то же безразличие, а вовсе не сознательный педагогический прием. Интересно, что именно этот стих вызвал некоторые затруднения у Энгельса: слово „шутя“, которое он правильно произвел от глагола „шутить“ — scherzen, напомнило ему и существительное „шут“ — Spassmacher, и это вызвало колебания в переводе: „ein armer ([verküppelter?]) Franzose (раб) auf, daß das Kind sich nicht überarbeit (ете), lehrte im alles [Spassmachereien] auf lustige Weise...“, т. е. „бедный ([изувеченный?]) француз остергался, чтобы ребенок не надрывался ученьем, учил его всему [с шутками, с потехами] на веселый манер (лад)...“.

По поводу стихов „Слегка за шалости бранил, И в Летний сад гулять водил“ тонкое наблюдение сделал Г. О. Вивокур: „Здесь форма синтаксической связи и метрическое единство, заключающее внутреннее деление на симметричные части, как бы подсказывают понимание действий, выраженных словами «бранил» и «гулять

Несколько досадных промахов, вполне естественных для человека, только что приступившего к изучению русского языка, встречается и в дальнейших записях Энгельса, но несомненно, что и они, в большинстве случаев, объясняются несовершенствами словаря или словарей, бывших в его руках. Так, при разборе строфы XII, кстати сказать, безусловно трудной для понимания всякого, кто не в совершенстве владеет русским языком, Энгельс совершил несколько смысловых ошибок, затруднивших ее восприятие в целом. В стихах 1—2:

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!

Энгельса затруднило слово „записных“. Правильно объяснив, что прилагательное „записной“ происходит от „записывать“ — *registrieren*, Энгельс не понял второго значения слова „записной“, придаваемого ему в обиходном разговорном языке (рьяный, завзятый, отъявленный), отчего и „кокетки“, по видимому, в его представлении, должны были быть выведены из той сферы светского общества, где Пушкин заставлял встречаться с ними своего героя. Следует, впрочем, отметить, что Рейф указывает и второе значение прилагательного „записной“, но не в том смысле, который мог бы что-нибудь прояснить в стихе Пушкина: *weltbekannt* (?), франц. *bien connu*, англ. *well known*. (Подобный случай встретился Энгельсу и в 12 стихе XXV строфы: „Подобный ветреной Венере“, где слово „ветренный“ понято было им в смысле русского „ветряный“ — *windig*, а не в переносном — „легкомысленный“, „непостоянный“; поскольку, однако, слово это и в немецком *windig* имеет то же второе значение, ошибки в понимании стиха не произошло). Стих 7 строфы XII:

Но вы, блаженные мужа —

дал повод к более серьезному недоразумению, так как, не зная еще существенного различия в русском языке между словами „мужья“ и „мужи“ в именительном падеже множественного числа, Энгельс перевел слово „муж“ (в единственном числе) как *der Mann*, а не *der Ehe-mann*, т. е. как муж-человек, а не как муж-супруг. Отсюда, по видимому, ему осталась непонятной и та ироническая классификация обманутых Онегиным мужей опытных кокеток, которая дана в следующих строфах:

Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И роконосец величавый...

водил“, как действий одинакового качества, одного морально-психологического смысла. В действительности же параллелизм этих действий мотивирован в романе иронически“ (Г. Винокур. Слово и стих в „Евгении Онегине“. Пушкин. Сборник статей под редакцией проф. А. Еголина, М., 1941, стр. 207).

От Энгельса ускользнуло, — как это ускользает, повидимому, и от большинства современных читателей этой строфы, — что Пушкин дает здесь перечисление психологических типов мужей — стариков и рогносцев и их различного отношения к соблазнительям их жен для того, чтобы показать, что старые мужья всех этих типов оставались для Онегина неизменными друзьями, настолько преуспел он в „науке страсти нежной“. Энгельса смутил стих „недоверчивый старик“, к которому он записал: *der Alte (Vater?)*, заподозрив, что речь идет здесь об отце, а не о муже; между тем из трех вариантов характеризованных Пушкиным стариков-мужей, после „лукавого“ („давнего“ ученика Фобласа, т. е. старого ценителя романа Луве де Кувре), „недоверчивый“ старик являет собой лишь второй вариант „обманутого мужа“.

Отметим еще, что в стихах 10—11 строфы VI:

В хронологической пыли
Бытописания земли —

слово „бытописание“ неправильно было переведено Энгельсом *Kosmogonie* (вм. *Historie*) только потому, что слово „земля“ (*Erde*) он понял в „астрономическом“ смысле. (Ср. глоссы к слову „земля“ в строфе VII: *Grund und Boden, Ländereien*). Очень типичную ошибку Энгельс допустил при переводе V строфы. Характеризуя своего героя, Пушкин говорит здесь:

Онегин был, по мнению многих
(Судей решительных и строгих),
Ученый малый, но педант...

Энгельс перевел: „*Onegin war... ein kleiner Gelehrter, aber kein Pedant*“, т. е. „Онегин был маленький (в смысле незначительный, слабый) ученый, но не педант“, конечно, только потому, что он не знал употребленного здесь Пушкиным русского просторечного слова „малый“ в значении юноши, молодого мужчины; в словарь Рейфа оно включено, но с определенным социальным оттенком, как обращение к слуге (в издании 1845 года к слову „малый“ даются такие значения: франц. *un garçon*, нем. *ein Junge*, англ. *lad, boy*; в более поздних изданиях еще отчетливее: *le garçon, domestique, der Knabe, Diener, boy, servant*). Ошибка была допущена, вероятно, также и потому, что Энгельсу неясна была интонация, с которой этот стих должен был произноситься вслух: смысл зависел в значительной степени от того, на какое из двух первых слов приходится ударение:

Ученый малый, но педант

или

Ученый малый, но педант.

Приняв за основу своего перевода второй интонационный вариант и усмотрев в слове „малый“ не существительное мужского рода,

но прилагательное со значением *klein, gering, unbedeutend*, Энгельс, естественно, должен был перевести „маленький ученый“, тем более, что это вполне соответствовало представлению о герое, дававшемуся поэтом в предшествующих строфах: ироническое звучание слов „ученый малый“ ускользнуло от переводчика прежде всего потому, что оно опиралось на просторечное „малый“, им не понятое; ошибка, допущенная в понимании первой половины стиха, повлекла за собой и неверное истолкование его второй половины: слова „но педант“ как будто были поняты как „не педант“, т. е. не как противопоставление, а как отрицание; тем не менее, конечно, Энгельс не мог смешать союз с наречием и основания для данного им перевода были глубже — их нужно искать в его понимании слова „педант“, общего, кстати сказать, для словарей языков русского, немецкого, французского и английского. Очевидно, „педантизм“, в понимании Энгельса, свойствен лишь „маленьким ученым“, каким он представлял себе Онегина;¹ слова „но не педант“ и заключают в себе противопоставление; ход мысли Энгельса, следовательно, мог быть такой: хотя Онегин и был ученым слабеньким, не настоящим, второстепенным (да и при каких условиях он мог сформироваться в настоящего ученого мужа!), но он все же лишен был педантизма, свойственного порою таким ненастоящим ученым, подменяющим своим педантизмом подлинное знание. Хотя такой ход мыслей исходит из неправильного понимания пушкинского стиха, но он представляется вполне естественным, если мы знаем о неправильной посылке, и он вполне логичен. Однако дело заключается в том, что в языке Пушкина и в русском словоупотреблении в первые десятилетия XIX века слово „педант“ имело особый смысл, впоследствии им утраченный, о котором не мог знать Энгельс, которое не было зарегистрировано в словарях и о котором не всегда догадываются и читатели „Евгения Онегина“. Слову „педант“ обстоятельную и очень интересную справку посвятил Н. А. Бродский в его комментарии к произведению Пушкина.

„Слово *педант*, — говорится здесь, — имело в 20-х годах признаки, впоследствии выветрившиеся в обиходном языке, и применялось в дворянском кругу к людям, которые отличались своим взглядом на жизнь, своими привычками от обычной толпы «большого света». Завещанное традицией от XVIII века, „... прозвище педанта в 20-х годах несло с собой не только этическую, но и политическую примесь чего-то непокорного, враждебного господствующему кругу в дворянском обществе“.²

В подтверждение Н. А. Бродский ссылается на ряд литературных примеров: на комедию Шаховского „Урок кокеткам или Липецкие воды“ (1815), в которой высказывается мысль, что в пустом светском обще-

¹ Напомним о значении, вкладывавшемся Энгельсом в слова „педантизм“, „педантичный“ в данной им характеристике Э. Пиндара (см. выше, стр. 12).

² Н. А. Бродский. Евгений Онегин, роман А. С. Пушкина. Изд. 3-е, М., 1950, стр. 42, 44.

стве „дельное зовут педантством бесполезным“, на очерк В. Ф. Одоевского „Дни досад“ (1823), в котором еще ярче из речи героя и авторских к ней пояснений выясняется истинное значение оскорбительной клички „педант“, дававшейся в светском обществе, но имевшей и обратный, вполне положительный смысл: ведь и у Пушкина „педантизм“ Онегина характеризуется не от лица автора, а на основании мнения „многих судей решительных и строгих“.¹ В упомянутом очерке Одоевского герой с горьким чувством говорит, имея в виду великосветское общество: „О люди, люди модного света! вы засмеетесь, когда кто скажет вам... что и так называемые вами *знакомство, приятель* — провидение поставило средством к той высокой цели, к которой человек должен стремиться и свои мысли, и желания, и малейшие действия — к *совершенствованию!* — Вы не верите мне; рассуждать боитесь и отвечаете насмешливой улыбкой; называете меня именем — именем страшным, при произнесении которого, как от волшебства, трепещет самая истина, именем, которого, однако, вы значения не понимаете, одним словом — *педантом*...“.² И уже от себя В. Ф. Одоевский замечает по поводу этого „страшного слова“: „Горе тому молодому человеку, которого взрослые негодяи не называли педантом; лишь тот, кто юношею был педантом, будет честным человеком в своей будущей жизни (NB. Подьячие называют педантом, кто не берет взяток). Отсутствие педантизма в юноше показывает отсутствие характера, порочную холодность души, которая с ранних лет заражена расчетом и убийственным эгоизмом“.³

Таким образом, кличка „педанта“, данная Онегину представителями высшего света, только подчеркивает его существенные расхождения с этой чуждой ему во многих отношениях средой, его разлад с общепринятыми, традиционными воззрениями; для Пушкина это положительные качества его героя, черты, которые вызывают его сочувствие и которые он стремится внушить и своему читателю.

Энгельсу не могло быть известно специфическое значение слова „педант“, употребленное Пушкиным в V строфе, тем более, что то же слово встречается в „Евгении Онегине“ и в дальнейших строфах в значении более узком, более близком к современному,⁴ но он не мог не

¹ Энгельс, повидимому, не почувствовал иронической интонации в этом стихе, так как слово „строгих“ перевел *scharfer* вместо ожидаемых *strenger, ernster* или *harter*: „nach der Meinung vieler (entscheidender und scharfer Richter)“, т. е. в обратном переводе: „по мнению многих решительных и острых судей“.

² „Вестник Европы“, 1823, № 18, стр. 113—114.

³ П. Н. Сакулин. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель, т. I, ч. 1. М., 1913, стр. 550.

⁴ Ср. в той же первой главе „Евгения Онегина“ (в строфе XXV): Евгений „В своей одежде был педант“; в главе шестой (строфа XXVI): „В дуэлях классик и педант“; в главе восьмой (строфа XXIII): „Без вечных истин, без педантизма“. Напомним еще строки из „Рославлева“, относящиеся к характеристике Москвы 1811 года: „Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно... Любовь к отечеству казалась педантством“ (VIII, 152).

почувствовать симпатии автора к его герою, непрерывно нарастающей от строфы к строфе, вопреки всем, казалось бы, отрицательным элементам его полунасмешливой характеристики, и тем замечательнее, что, основываясь на случайной ошибке, отмеченной выше, и сознательно отступая от подлинника, Энгельс все же достигал истины: Онегин, разумеется, вовсе не был „педантом“ в общепринятом в европейских языках смысле, и поэтому Энгельс имел полное право перевести: aber kein Pedant.

На каждой странице записей Энгельса есть много тонких лексикологических замечаний, наблюдений, удачно найденных и определенных русско-немецких фразеологических соответствий и различий. И все эти записи интересны не только сами по себе, по своей технике и методике, как образец неутомимого филологического труда, но и потому, что их изучение содействует утонченному, изощренному пониманию пушкинского стихотворного текста, вскрывая в нем порой незамеченные стороны, ускользающие от привычного взора смысловые оттенки, стилистические детали. Стоит остановиться еще, в качестве дополнительного примера, на работе Энгельса над той строфой „Евгения Онегина“ (VII строфой первой главы), которая уже послужила для нас основанием датировать всю описываемую тетрадь в целом:

Высокой страсти не имея
 Для звуков жизни не щадить,
 Не мог он ямба от хорея,
 Как мы ни бились, отличить;
 Бранил Гомера, Феокрита,
 За то читал Адама Смита
 И был глубокий эконом... и т. д.

Нечего и говорить о том, какой животрепещущий интерес могла представить для Энгельса эта известная строфа, с ее характеристикой существа и практических применений экономической науки, с ее лаконичным изложением учения Адама Смита, с ее полным иронии, но исторически точным рассказом о том, как к этому насковью буржуазному учению могли относиться представители двух поколений русских помещиков-крепостников. Читая ряды предшествующих и последующих строф, Энгельс, может быть, кое-где скользил по книге менее внимательным взглядом, пропуская отдельные слова и временами ослабляя свое любопытство, в особенности там, где Пушкин признавался в своей пламенной любви к „ножкам Терпсихоры“ или описывал во всей подробности наряд и быт петербургского щеголя 20-х годов, меню его ужина у ресторатора Талона (вспомним по этому поводу раздражение Д. И. Писарева, удивлявшегося, например, тому, что трюфели „Пушкин называет почему-то роскошью юных лет“). Дойдя до VII строфы, Энгельс, однако, удвоил свое внимание и в своих записях не оставил необъясненным ни одного слова: каждое из них было тщательно обдуманно и проанализировано.

Трудности вновь представили два первых стиха, в которых Пушкиным применена инверсия и в которых, следовательно, пришлось при переводе менять порядок слов, чтобы добраться до смысла; но для того, чтобы понять, что значит предложение „не имея высокой страсти не щадить жизни для звуков“, следовало, конечно, знать, что имеет в виду Пушкин под условным наименованием „звуки“ — поэтическую форму, версификаторское мастерство или шире — поэзию, поэтическое творчество, искусство; контекст не давал достаточных оснований для решения подобного вопроса, а производить сравнительный анализ значений этого слова в словаре пушкинского стихотворного языка Энгельс, естественно, не имел никакой возможности; следует при этом сказать, что и в комментариях к „Евгению Онегину“ даются по этому поводу не одинаковые истолкования.¹

Энгельс тщательно выписал для себя возможные немецкие значения для каждого слова, например, „звук“ — Laut, Schall, Lärm, Getöse, „жизнь“ — Leben, Lebensart, Stand, Lebenslauf, „страсть“ — Leiden, Leidenschaft (позже приписано: Furcht vulg., т. е. простонародное — „страсть как...“); несмотря на все эти подготовительные наброски, в окончательном виде указанные стихи получили такой перевод: „не имея высокой страсти посвятить свою жизнь поэзии“ („Nicht habend die hohe Leidenschaft sein Leben der Poesie zu widmen“). Неясными показались далее слова „биться“ („Как мы ни бились“) и „бранить“ („Бранил Гомера, Феокрита“), но с ними Энгельс справился удовлетворительно. Для слова „биться“, употребленного Пушкиным в разговорном смысле, в значении „прилагать усилия“, „трудиться через силу“,

¹ Н. А. Бродский (Комментарий к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин“. М., 1932, стр. 13; в последнем, третьем издании этой книги, 1950 года, все это место почему-то исключено), на основании примеров, заимствованных им из того же „Евгения Онегина“, считает, что „под звуками Пушкин вообще разумел поэтическую форму“. Как это, так и другие предлагавшиеся комментаторами пояснения не столько неправильны, сколько недостаточны. Дело в том, что данное слово-символ, восходящее к одическому словарю XVIII века (как и слова „пение“, „песнь“, „воспел“), генетически связано с восходящим к античной поэзии отождествлением творческого акта с игрой на лире и сопровождающим эту игру пением. Отсюда и метафорическое наименование поэзии — лирой, в творчестве Пушкина удержавшееся до конца его жизни (см. в „Памятнике“, 1836: „душа в заветной лире Мой прах переживает“; „Что чувства добрые я лирой пробуждал“); отсюда и отождествление поэзии с „миром звучания“, со „звуком“. Родство обоих поэтических синонимов „поэзии“ — „лиры“ и „звука“ — засвидетельствовано Пушкиным в „Посвящении“ „Кавказского пленника“ Н. Н. Раевского в стихах:

Тебе я посвятил *изынанной лиры перце*

 Мои *задумчивые звуки*
 Напоминали мне Кавказ.

Тем самым слово „звуки“ могло обозначать у Пушкина не только „поэзию“, но и, например, „готовность к поэтическому творческому акту; поэзию, не воплощенную еще в законченную художественную форму“ („Поэт“, 1827):

Бежит он, дикий и суровый,
 И звуков, и смятенья полн. . .

„бесплодно добиваться“, Энгельс подобрал немецкие *sich schlagen* — бить себя, *sich bemühen* — стараться, добиваться, утруждать себя, но все же оставил без перевода стихи 3—4:

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить —

может быть потому, что затруднился передать греческие наименования стихотворных стоп, данные здесь в непривычном для него русском написании, немецкими *Jambus*, *Choräus*. Глагол „бранить“ из следующего стиха в записи Энгельса сопровождается два возможных, как ему казалось, немецких значения, но оба с вопросительными знаками: *schelten? Feind sein?* Подходящим из них, разумеется, было только первое (у Рейфа для глагола „бранить кого“ даны значения: *zanken, schelten, schimpfen*), но любопытно, что в своем переводе Энгельс не воспользовался ни тем, ни другим; стих „Бранил Гомера, Феокрита“ переведен им иначе: „*Er konnte den Homer und Theokrit nicht ausstehen*“, т. е. „он терпеть не мог (не выносил) Гомера и Феокрита“.

Что касается стихов с упоминанием Адама Смита, то они были переведены Энгельсом дословно, в нескольких вариантах и с максимальной точностью. Во всей этой чрезвычайно тщательно выполненной работе обращают на себя особое внимание настойчивые усилия Энгельса как можно отчетливее вдуматься во все оттенки слов „богатый“ и „богатеть“. Выписав первоначально слово „богатеть“ из стиха „Как государство богатеет“, Энгельс спрашивает себя, значит ли оно „становиться богатым“ или „делать богатым“? — „*reich werden oder machen?*“, затем вписывает в свой перечень слово „богатый“ — *reich*, как основу понятия. Вопрос, поставленный Энгельсом, очень уместен, так как глагол несовершенного вида „богатеть“ (аналогия к „разбогатеть“, форме совершенного вида) близок к другому — „богатить“ (к „обогащать“) в смысле „делать богатым, обогащать“. Вопрос Энгельса становится совершенно ясным: в поисках значения глагола „богатеть“ он натолкнулся на сходное по происхождению, но другое слово „богатить“ с совершенно иным значением. Перевод Энгельса совершенно точно передает смысл искомого слова: „...er <Онегин> konnte darüber urteilen, wie ein Staat sich bereichert“, как государство „богатеет“, т. е. делается богатым, обогащается. В особенности любопытны глоссы Энгельса к словам „простой продукт“ (из стиха „Когда простой продукт имеет“). Эта краткая и на первый взгляд случайная запись представляет значительный интерес, если ее подвергнуть расшифровке: простой *Rohproduktion* (написано сверху над густо зачеркнутой строкой, в которой, однако, читаются слова: *Zeit, überflüssig schömage*). В правом столбце листа (где давался связный перевод) слова „простой продукт“ переведены *das rohe Produkt*, т. е. „сырье“, „продукция сельского хозяйства“; откуда, однако, в приведенной записи взялось французское слово „*schömage*“ в значении „остановка, прогул“?. Не-

трудно догадаться, каким логическим путем шла мысль Энгельса от одного понятия к другому, столь, казалось бы, далеко от него отстоящему. Прочтя у Пушкина слово „простой“, впервые встретившееся ему в тексте „Евгения Онегина“, и не объединив еще в своем понимании со следующим, хорошо знакомым ему международным словом „продукт“ (понятие Rohproduktion, Rohprodukt было надписано им позже), Энгельс обратился к словарю и нашел здесь два рядом стоящих слова с одинаковым ударением: прилагательное „простой“ в его различных немецких значениях: einfach, gemein, dumm, einfältig (у Рейфа, повидимому вследствие ошибки, в этом ряду фигурирует даже leer, франц. vide; англ. empty, т. е. „пустой“!) и существительное „простой“ (в современном значении вынужденного бездействия рабочей силы или непредвиденной остановки в работе). У Рейфа это понятие выражено еще очень туманно на всех трех языках, из которых им подбирались значения для русских слов: „простой“ у него соответствует нем. das Stehenbleiben, англ. standing, франц. le stationnement (d'une voiture). И именно для того, чтобы это очень неясно объясненное слово стало более ясным и отчетливым, Энгельс тут же записал пришедшее ему на память французское слово chômage, взятое из рабочего, производственного языка, — остановка, прогул — как ближе всего соответствующее по значению к русскому существительному „простой“ в его современном нам употреблении; само собой разумеется, что слова „chômage“ у Рейфа нет и что в русские словари слово „простой“ в этом смысле попало только после того, как оно было отмечено в словаре Даля.¹ Заметив, что этот ход мысли уводит его от пушкинского текста, Энгельс зачеркнул всю свою запись и против оставшегося незачеркнутым слова „простой“, связавшегося теперь с последующим (продукт), написал: Rohproduktion — сырье.

В результате все упомянутые стихи были переведены Энгельсом с полной точностью. Стоит лишний раз сопоставить оба текста, русский и немецкий, чтобы вполне оценить эту точность, тем более, что по уже высказанному выше предположению именно этот немецкий перевод VII строфы был Энгельсом переслан Марксу и послужил последнему основанием для упоминания Пушкина в труде „К критике политической экономии“.

Бранил Гомера, Феокрита;
За то читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему

Er konnte den Homer und Theokrit nicht ausstehen; dafür las er den Adam Smith und war ein tiefer Oekonom, das heißt er konnte darüber urteilen wie ein Staat sich bereichert und wodurch er lebt und

¹ В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II. Изд. 2-е, СПб., 1882, стр. 531: „простой“ — ожидание работы, потеря времени и т. д.

Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог,
И земли отдавал в залог.

[зачеркнуто: weswegen] weshalb
das Gold ihm nicht nötig ist, wenn
er [зачеркнуто: Ueberfluß an] das
rohe Produkt besitzt. Sein Vater
konnte das [ihm] nicht begreifen,
und mußte seine Ländereien ver-
pfänden.

Приведенный выше пример со словами „простой“ и „chômage“ иллюстрирует прежде всего глубокую заинтересованность Энгельса русским языком, которая при занятиях его „Евгением Онегиным“ уводила его порой далеко за пределы пушкинского текста: изучая записки Энгельса, не следует забывать, что роман Пушкина служил Энгельсу лишь подсобным источником для изучения русского языка, а не единственной целью лексико-грамматического анализа. Поэтому в публикуемых вокабулах можно найти и много других случаев пояснений к отдельным русским словам, не относящихся непосредственно к особенностям словоупотребления у Пушкина, но имеющих в виду практику живой русской речи вообще: Энгельс изучал русские слова по их происхождению, в их родственных связях, в различных оттенках их смысла, в их сочетаниях, по отношению к управляющим ими грамматическим правилам и т. д. Любопытна при этом настойчивость, с которой Энгельс интересовался формами народной речи, например просторечными оборотами, социальной терминологией, лексикой трудовых процессов сельскохозяйственных и фабричных рабочих. В попутных записях Энгельса к строфам „Евгения Онегина“ проглядывают то занятия его русской историей, то его интерес к экономическому положению России в середине XIX века и ее торговым отношениям с другими странами; мы находим здесь множество свидетельств широты научных интересов Энгельса, энциклопедичности его познаний.

Любопытны, например несколько записей Энгельса, относящихся к XXX строфе. Дойдя до стиха 5 — „Люблю я бешеную младость“, — он обратил внимание на слово „бешеный“. Интерес к исторической этимологизации подсказал ему догадку о происхождении этого слова в русском языке, — безусловно вполне самостоятельную, так как словарные источники, которыми он пользовался, такого рода сведений не сообщали. Энгельс вполне правильно произвел слово „бешеный“ от „бес“, о чем именно и свидетельствует сделанная им запись: „бешеный gasend, бес Teufel“.¹ Ниже (стих 12) Энгельс заинтересовался при-

¹ Ср.: А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, вып. II. М., 1910, стр. 60. — В глоссе к первому стиху XXXI строфы мы находим объяснение слова „пустыня“ — Einöde от „пустой“ — leer. Отметим, однако, случай неудачного перевода слова у Энгельса, перевода, возникшего из его собственной этимологической догадки; правда, этот случай относится к самой начальной стадии его работы над текстом „Евгения Онегина“. Встретив в „Посвящении“ романа слово „бессонница“ в родительном падеже множественного числа, Энгельс перевел его

лагательным „охладелой“ (образованным от глагольной основы с суффиксом -л и восходящим к действительным причастиям прошедшего времени) и записал: „охладелый abgekühlt, хлад Kälte“. Прилагательное „стройный“ в той же строфе (стих 10) вызвало краткую, но любопытную запись: „стройный wohlgestaltet v. строй Reihe, Glied (Soldat)“. Энгельс был, конечно, вполне прав, возводя прилагательное „стройный“ к существительному „строй“, как закономерно образованное посредством суффикса -н-ый от существительного, но он ошибся, понимая слово „строй“ в его прямом, а не в переносном смысле, т. е. как „ряд“, „солдатскую шеренгу“, а не как „согласованность“, „слаженность частей“, „пропорциональность“. Вина падает, повидимому, и на этот раз на словарный источник Энгельса; так, Рейф под словом „строй“ не только приводит лишь одни военные термины — „die Reihe, Fronte“, но и особо оговаривает здесь выражение „пройти сквозь строй“ — Spießruthen laufen, обозначавшее тот позорный акт воинского наказания в армии Николая I, которое в то время находилось еще в полной силе; приписка Энгельса (в скобках) к словам „Reihe, Glied“ — „Soldat“ получает, таким образом, вполне удовлетворительное объяснение. Военная муштра николаевской поры наложила свой отпечаток на столь многие стороны русской жизни того времени, что его не избежал и русско-иноязычный словарь Рейфа, где вся военная терминология представлена с большой полнотой и, может быть, даже в ущерб многим другим сторонам общественной практики и культурной деятельности. Это сказалось еще в одном случае, когда, вчитываясь в последний стих той же лирической и весьма экспрессивной XXX строфы пушкинского романа, Энгельс еще раз, силою вещей, принужден был сосредоточить сьюю мысль на военных предметах, вовсе отклонившись от восприятия интимных автобиографических признаний Пушкина и всего их логического хода.

Ах, долго я забыть не мог
 Две ножки!.. Грустный, охладелой,
 Я все их помню, и во сне
 Оне тревожат сердце мне.

Если „стройные“ ножки неожиданно привели Энгельса к мысли о солдатских шеренгах, то нас не должно удивить, что и глагол „тревожить“ заставил его вспомнить о солдатской лагерной жизни. Слово „тревожат“ Энгельс затруднился передать по-немецки, а передал французским *troubler*, вероятно, потому, что в словарях основным значением

Traumlos вместо необходимого здесь *Schlaflosigkeit* (которое мы находим и у Рейфа к русскому „бессонница или бессонье“), так как Пушкин имеет в виду бессонницу в смысле „состояния человека, когда он по причине душевного беспокойства или болезни спать не может“, как это слово объясняет „Общий церковно-славяно-русский словарь“ (ч. I, СПб., 1834, стр. 74), и корневое „сон“ в смысле немецкого *Schlaf* (франц. *le sommeil*, англ. *sleep, slumber*), а не *der Traum* (франц. *un songe* или англ. *dream*), как ошибочно предположил Энгельс. Однако в стихе 13 строфы XXX слово „сон“ переведено Энгельсом уже вполне правильно.

слова „тревога“ было значение военное, — сигнала о наступающей опасности. У Рейфа, например, первым значением слова „тревога“ поставлено: *der Lärm* (франц. *l'alarme*) и в соседней строчке объяснено, что значит „бить тревогу“ — *Lärm schlagen, sonner l'alarme*. По естественной ассоциации мыслей Энгельс и записал в объяснение слова „тревога“ — *Zapfenstreich*, специальный военный термин, означающий „трубить зорю“ (у Рейфа на этот раз отсутствующий). Трудно сказать с уверенностью, связалось ли у Энгельса такое понимание глагола „тревожить“ со словом „сон“ предшествующего стиха, которое он перевел вполне правильно „*Traum*“, или же различные значения слова „тревога“ записывались им исключительно для пополнения и закрепления познаний в русском словаре, но, во всяком случае, французское слово *troubler*, стоявшее в его записи первым, вполне точно объяснило ему, что хотел сказать Пушкин своим „тревожить“, — „нарушать покой“, „волновать“ (ср. в том же „Евгении Онегине“: „Британской музы небылицы *Тревожат сон* отроковицы“).

Характерна далее запись Энгельса к первому стиху XXXIII строфы: „Я помню море пред грозю“. В этом стихе справки в словаре потребовало только одно, дотоле неизвестное ему русское слово „гроза“. Значение его, разумеется, отыскалось быстро, и Энгельс записал точно соответствующее русскому немецкое *Gewitter*, в смысле „непогода с молнией и громом“; любопытен, однако, не этот простой, почти механический акт наведения словарной справки, а дальнейший ход мыслей Энгельса по поводу встретившегося ему русского слова и производных от него; мы можем догадаться об этом, обратив внимание на сделанную тут же Энгельсом приписку: „Ян Грозный“. Заинтересовавшись не только русским существительным „гроза“, но и происшедшим от него прилагательным „грозный“, стоявшим в том же словаре в близком с ним соседстве, Энгельс по ассоциации вспомнил знаменитое имя и прозвание московского государя XVI века; несомненно при этом, что данное прозвание пришло Энгельсу на память в его *русской*, а не в иностранной форме,¹ так как в немецких источниках Иван Грозный именуется *Iwan der Schreckliche*, во французском *Ivan le Terrible*, т. е. с помощью других слов („страшный“, „ужасный“), не являющихся переносными по отношению к слову „гроза“. Едва ли при этом Энгельс не обратил должного внимания на то, что образная сила слова „грозный“ (в частности, и в таком словосочетании, как „грозный дар“) неизмеримо значительнее, чем в тех лишенных наглядной выразительности немецких словах, которыми можно перевести данное русское прилагательное: *schrecklich, furchtbar, grausam*.

¹ Имя Ян (вместо Иван) также свидетельствует, что Энгельс привел его по памяти, без сверки с каким-либо книжным источником: очевидно, вместо немецкого *Johann* Энгельс вспоминал его западославянские аналоги (чешское, польское *Jan*) или церковнославянское *Иованн* (может быть в неясном, „стяженном“ устном произношении).

Если при чтении XXXIII строфы „Евгения Онегина“ слово „гроза“ привело Энгельсу на память имена и события из русской средневековой истории, то в строфе XXIII он нашел некоторые сведения экономического характера о всегда интересовавшей его истории русской торговли с государствами Западной Европы, в частности с Англией. Характеризуя кабинет Онегина как приют типичного петербургского щеголя 20-х годов, „примерного воспитанника моды“, Пушкин мимоходом коснулся здесь предметов товарообмена между Россией и Англией в ту пору, а также между Россией и Францией, характеризуя краткими, но верными чертами экспортную и импортную торговлю этих стран. Кабинет Онегина украшало

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильной,
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам. . .

Относящиеся к этой строфе записи Энгельса показывают, что он вдумывался в каждое слово пушкинского текста, стараясь передать его возможно более точным образом по-немецки (а иногда, для еще лучших результатов, по-французски или по-английски); трудности, которые он испытал при этой работе, однако, вполне очевидны. Так, в приведенных стихах Пушкина, где дана отчетливая картина вывоза из России „сырья“ (вспомним также строфу VII) и ввоза туда взамен из Англии предметов роскоши („для прихоти обильной“),¹ едва ли легкой задачей было вполне точно передать по-немецки характеристику торгующего Лондона: приданный ему в стихе архаический эпитет („торгует Лондон *щепетильный*“) и у современного нам русского читателя может вызвать смутные, неотчетливые представления, благодаря неясности и пересмысленности в данное время самого слова „щепетильный“, употребляемого ныне только в переносных значениях. Повидимому, слово это не было вполне ясным и утрачивало свой первоначальный смысл уже в середине XIX века. Комментаторы Пушкина, однако, предполагают, что в его время и в его употреблении слово „щепетильный“ „не потеряло еще того оттенка, которое ныне связывается с понятием «галантерейный»“,² т. е. значения, непосредственно связанного с торговлей

¹ Характерно, что слово „прихоть“ в данном стихе (в значении „причуды“, „каприза“, „надуманного желания“) Энгельс передал не только лишь словом *Laune* (которое единственно и отмечено, например, в словаре Рейфа и которое может означать также „расположение духа“), но и словом *Fantasia*.

² Б. В. Томашевский. Заметки о Пушкине. „Пушкин и его современники“, вып. XXXVI, 1923, стр. 84. — Н. Л. Бродский (Евгений Онегин, роман Пушкина. Изд. 3-е, М., 1950, стр. 80) напомнил, что Пушкин в письме к С. А. Соболевскому (от 1 декабря 1826 года) назвал мелких литературных торгашей „щепетильными литературщиками“ и что А. А. Бестужев писал в том же 1826 году: „У нас мещане кочуют, как цыгане, занимаясь щепетильною перепродажей“. „Щепетильный“ значило «мелочный» и «чопорный», — замечает Л. А. Булаховский, говоря о словаре первой половины XIX века (Русский литературный язык первой половины XIX века, т. I. Киев, 1941, стр. 22).

галантерейными и парфюмерными товарами, и что Пушкин, следовательно, говорит здесь о Лондоне, производящем и экспортирующем изделия своей галантерейной промышленности. Возможно, что так именно прилагательное „щепетильный“ понял и Энгельс, передав его немецким „krämerisch“.¹

Неясности встретились, конечно, и во второй половине этой строфы, в частности, в тех стихах, где говорится о торгующей изделиями своей „галантерейной“ промышленности французской столице:

Все, что в Париже вкус голодной,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной. . .

И в самом деле, что, собственно, значит „вкус голодный“? Энгельс точно определил и записал себе для памяти каждое из этих двух слов: „вкус“ — *Geschmack*, „голодный“ — *hungrig*, но в заметках его, к сожалению, не осталось следов, по которым можно было бы судить, как истолковал он это словосочетание, в котором, при всей его краткости, заключена целая экономическая характеристика страны, производящей на экспорт изысканнейшие и удовлетворяющие самому взыскательному вкусу предметы роскоши и нуждающейся в то же время в самых простых продуктах потребления. Впрочем, некоторый свет на то, как указанные стихи в целом понимал Энгельс, может быть, проливает его перевод слова „промысел“; вместо ожидаемых в данном случае немецких слов, вроде *Gewerbe* или *Erwerbszweig* (которые мы находим у Рейфа параллельно с французскими *un métier, une profession, branche d'industrie* и английскими *profession, trade, branch of industry*), Энгельс слово „промысел“ перевел „*Handwerk*“ — „ремесло“, „предмет ручного труда“, что в известной степени ближе и к пушкинскому пониманию и к удержавшемуся и доныне основному значению этого престолического русского слова (ср. параллельное просторечное „рукомесло“), — „производства, как источника для добывания средств существования“.² Не толковал ли Энгельс, в таком случае, указанные слова Пушкина („вкус голодной, Полезный промысел избрав“) как характеристику парижских кустарей, поневоле занявшихся изготовлением таких предметов роскоши, сбыт которых среди паразитирующих классов и в самой Франции, и за рубежом обеспечивал бы им полуголодное существование? И не случайно, повидимому, следующие два русские слова, выписанные Энгельсом из указанных стихов, получили французские объяснения: „избрать“ — *choisir*, „нега“ — *mollesse*. И для того и для другого слова Энгельс, разумеется, без всяких затруднений мог найти и немецкие значения

¹ В словаре Рейфа (1845) слово „щепетильный“ объяснено „*von geringem Werthe, kleinlich*“, а „щепетильный товар“ — „*Kurzwaare, Krämerwaare*“.

² Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д. Н. Ушакова, т. III, М., 1939, стр. 967.

(например, вместо choisir — wählen, вместо mollesse — Wonne, Verzärtelung), но французские слова появились на этот раз в его записях прежде всего потому, что его мысль направлена была к Франции, о которой говорилось в переводимых стихах, а стихи эти неминуемо должны были вызвать в памяти целый комплекс представлений об общественной жизни в этой стране, социальных противоречиях и конфликтах, экономике и производственных отношениях.

Естественно, что и вся последующая XXIV строфа „Евгения Онегина“, — с ее „каталогом“ вещей, находившихся в модном кабинете героя, перечень которых предоставляет читателю догадываться об их происхождении, в связи с указаниями предшествующих стихов на Лондон и Париж как на главных экспортеров подобных изделий, — была Энгельсом переведена самым тщательным образом; точные значения были подобраны им к большому количеству слов этой строфы не только потому, что они встретились ему впервые, но и потому, что он хотел неотступно следовать за ходом мысли русского поэта.

Напомним этот перечень изделий, предназначенных „для роскоши, для неги модной“, подчеркнув все слова, выписанные и объясненные Энгельсом:

*Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств измененных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов,
И для ногтей, и для зубов.*

Нетрудно видеть, что в данном случае не потребовали объяснений лишь слова, общие всем европейским языкам (например „бронза“) или уже хорошо усвоенные прежде. Любопытно, что здесь, как и при чтении предшествующих строф, Энгельс не забывал о пополнении своего русского словарного запаса и тем самым непрерывно выходил за пределы разбираемого текста; так, он отметил, например, различие между табачной трубкой (Pfeife), трубой-инструментом и трубой на крыше дома (Röhre, Schornstein), далее занес в свою тетрадь данные о происхождении и составе заинтересовавшего его слова „сумасброд“ (со-умбродить, wegwandern), для которого он также нашел — не вполне, впрочем, удачное — соответствие в международном слове „маньяк“.¹

¹ У Энгельса это слово приведено в английской форме: maniac (ср. франц. maniaque, в немецком мало употребительно при наличии слова Manie). Во всех языках, где оно привилось, оно означает не „сумасброда“, а „человека, страдающего какой-нибудь манией“, „одержимого неотвязной, навязчивой мыслью“; характерно, однако, что слову „сумасброд“ (означающему в русском языке человека „безрассудного“, „лишенного здравого смысла“; „действующего по случайной прихоти“, „совершающего странные, нелепые поступки без видимой для них причины“, наконец, просто „чудака“) у Рейфа (1845) дано совершенно неточное немецкое истолкование: ein verrückter Mensch — сумасшедший, при более близких к русскому франц.

Достоинство любопытства, на какой широкой международной языковой основе Энгельс предпринял изучение русского языка. Выше мы имели уже не один повод для того, чтобы показать, какие трудности ощущал он, пытаясь передать то или иное русское слово, заимствованное из первой главы „Евгения Онегина“, соответствующим немецким. Отчетливо ощущая во многих случаях неточности передачи, непригодность объяснений, предлагаемых словарями, наконец, отсутствие необходимого слова в немецком языке, Энгельс свободно и смело заменял его в своих записях более соответствующими французскими или английскими. В этом сложном процессе осмысления каждого слова в отдельности, не оторванного, однако, от контекста, от живой его связи с мыслью целого стиха или строфы, не превращенного в безжизненную словарную единицу, Энгельсу и оказало действительную помощь его свободное владение всеми европейскими языками; очевидно, что соответствующие французские или английские аналогии к русским словам возникали в памяти Энгельса во время чтения им строф „Евгения Онегина“ произвольно, без справок в словарях (это можно, в частности, подтвердить тем, что даваемые им примеры чаще всего не совпадают с параллельными рядами в словаре Рейфа); Энгельс заносил их в свою тетрадь то в качестве подсобных, ожидающих в последующей работе соответствующей замены немецкими, то в качестве единственно возможных для лучшего понимания пушкинского текста во всем богатстве его лексических ресурсов и стилистического своеобразия.

Приводимая нами сводная таблица (стр. 85) может дать некоторое представление о том, насколько часто Энгельс, при чтении Пушкина, в поисках нужного ему слова прибегал к помощи французского и английского языков.

Все приведенные в данной таблице примеры могли бы послужить предметом отдельного рассмотрения, так как многие найденные Энгельсом лексические соответствия в разных языках удачны, остроумны, порой даже неожиданны и дают дополнительные сведения относительно того, насколько хорошо понял он подлинный пушкинский текст. Показательно, например, обращение Энгельса к французскому и английскому языкам в поисках дополнительных оттенков значений отдельных русских слов при разборе XXIV строфы. Его внимание обратили на себя стихи:

Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним. . .

Энгельс хорошо знал исторических лиц, здесь упомянутых, а может быть, заглянул в то из авторских „Примечаний к «Евгению Онегину»“ (шестое по счету), где Пушкин привел во французском подлиннике

un insensé, extravagant и англ. an extravagant man. Отметим также, что Пушкин называет „красноречивым сумасбродом“ Ж.-Ж. Руссо.

Строфа, стих,
к которым от-
носится выпи-
санное Эн-
гельсом слово

Пояснения Энгельса (в скобках добавлено, из
какого языка взят пример)

„Евгений Онегин“

Посвящение, 9	так и быть	que voulez vous, eh bien (франц.)
VII, 12	простой	chômage (франц.)
XII, 12	рогоносец	cosu (франц.)
XV, 2	записка, -исочка	billet (франц.)
XV, 9	покамест	bis, solange, während (нем.), en attendant (франц.)
XVI, 7	потолок	ceiling (англ.)
XX, 2	кресла	fauteuil (франц.)
XX, 13	стан	taille (франц.), Gestalt (нем.)
XX, 13	развивать	déployer (франц.)
XXI, 3	наводить	diriger (франц.)
XXI, 14	надоедать	to become a bore to one (англ.)
XXII, 9	биться	se débattre (франц.)
XXIII, 5	обильный	abondant (франц.), reich (нем.)
XXIII, 6	торговать	handeln (нем.), to trade (англ.)
XXIII, 10	избрать	choisir (франц.)
XXIII, 12	нега	mollesse (франц.)
XXIV, 4	духи	parfums (франц.)
XXIV, 10	важный	feierlich (нем.), consequential (англ.)
XXIV, 12	сумасброд	maniac (англ.)
XXIV, 13	вольность	licence (франц., англ.)
XXV, 1	быть можно	possible (франц., англ.)
XXV, 10	проводить	passer (франц.)
XXV, 11	уборная	boudoir (франц.)
XXVI, 9	виниться	accuser (франц.), bekennen (нем.)
XXVII, 10	плошки	lampion (франц., англ.)
XXVIII, 11	пленительный	reizend (нем.), captivating (англ.)
XXIX, 3	признание	confession (франц., англ.)
XXIX, 8	предостерегать	warnen (нем.), to guard (англ.)
XXX, 1	увы!	hélas (франц.)
XXX, 14	тревожить	troubler (франц.)
XXXI, 11	похвала	louange (франц.)
XXXII, 10	скатерть	Tuch (нем.), table cloth (англ.), Nappe (нем.)
XXXII, 11	мурава	Rasen (нем.), gazon (франц.)
XXXIII, 7	пыльный	fougeux (франц.)
XXXIII, 14	терзать	quâlen (нем.), déchirer (франц.)

„Медный всадник“

„Вступление“, 13	отсель	künftig (нем.), à l'avenir (франц.), désormais (франц.)
„Вступление“, 23	полнощный	septentrional (франц.)

то место „Исповеди“ Руссо, на котором основаны приведенные стихотворные строки. Как перевести тот эпитет, которым Пушкин наделил

собеседника Руссо и друга энциклопедистов Фредерика-Мельхиора Гримма? Энгельс не воспользовался прямыми значениями прилагательного „важный“ — значительный, серьезный, строгий, дававшимися в словарях (Рейф приводит только два немецких значения слова „важный“ — *ernsthaft, wichtig*), вероятно, потому, что в пушкинском контексте он почувствовал иронический оттенок в этом слове; „важный“ Энгельс перевел в данном случае *feierlich* — торжественный¹ и прибавил к нему английское *consequential*, „важничающий, полный самомнения“, усиливающее иронию, т. е. добился передачи присущего пушкинскому слову разговорно-иронического смысла.

Однако не везде словарные ресурсы французского и английского языков оказали Энгельсу необходимую поддержку и привели его к благоприятному результату. В той же XXIV строфе, в эмоциональной характеристике Руссо, „защитника вольности и прав“, противопоставленной лаконичному определению спокойного и надменно-величавого Гримма, Энгельс неудачно передал слово „вольность“ французским *licence* вместо *liberté, Freiheit*, поскольку Пушкин говорит о Руссо как о борце за политическую свободу, а вовсе не как о приверженце „политической вольности“ (*licence poétique*) и не как о человеке, допускавшем отклонение от строгих ригористических правил морали.² В дополнение к уже проанализированным выше случаям укажем, на основании приведенной таблицы, что в стихе „Быть можно дельным человеком“ (XXV, 1) глагольная форма с инфинитивом ошибочно принята была Энгельсом за вводное „быть может“ и передана французским *possible*, что в стихе „Еще прозябнув бьются кони“ (XXII, 9) живописное пушкинское слово неверно передано французским *se débattre* — отбиваться, тогда как речь здесь идет лишь о застоявшихся на морозе упряжных конях, нетерпеливо бьющих копытами о покрытую снегом мостовую, что в стихе „Отсель грозить мы будем шведу“ („Медный всадник“) наречие места неправильно истолковано как наречие времени (что подтверждено и немецким и французскими примерами: *künftig, à l'avenir, désormais*) и т. д. В других случаях не всегда ясны мотивы, по которым выбраны те или другие французские слова при наличии вполне соответствующих им немецких; так, в стихе „Вошел, и пробка в потолок“ (XVI, 7) последнее слово поясняется почему-то английским *ceiling* вместо немецких *die Decke* или *Zimmerdecke*; в стихе „Партер и кресла, все кипит“ (XX, 2) „кресла“ переведены французским *fauteuil*, несмотря на немецкое *die Lehnstuhle*; в стихе „Верней нет места для

¹ Любопытно, что и „Словарь русских синоним, или сословов“ (ч. I, СПб., 1840, стр. 228) толкует прилагательное „важный“ как синонимическое к слову „торжественный“, опираясь при этом на примеры из Пушкина и Жуковского.

² О смысловом комплексе в таких словах, как „вольность“ и „вольнолюбие“, у Пушкина см. в статье академика В. В. Виноградова „Из истории русской литературной лексики“ в „Ученых записках Московского Государственного педагогического института имени В. И. Ленина“ (т. XLII, 1947, стр. 6—7).

признаний“ (XXIX, 3) последнее слово, объясненное с помощью французского confession, с таким же успехом могло быть истолковано немецкими Bekenntniß или Geständniß; в стихе „Но и Дидло мне надоел“ (XXI, 14) заключительный глагол пояснен с помощью специфического английского выражения: to become a bore to one, вопреки существующим французским ennuyer, importuner и немецкому zum Überdruß werden. Зато в дублированных иноязычных пояснениях, — немецком и французском, немецком и английском и т. д., — иногда очень явственно проглядывают основания, по которым Энгельс прибегал к помощи второго языка; яркий пример дают двуязычные глоссы к стиху „По их пленительным следам“ (XXVIII, 11). Характерное пушкинское прилагательное „пленительный“ Энгельс сначала перевел близким немецким reizend — прелестный (синонимичным словам: höchst, anmuthig, einnehmend, hinreißend), но, вдумываясь в него глубже и верный своему обыкновению задумываться и над процессом словопроизводства, Энгельс тут же прибавил в своей записи еще более близкое к русскому английское captivating (от captive — пленник): в немецком словаре более точной параллели к русскому „пленительный“ не нашлось.

Энгельс не мог не обратить внимания на несколько иностранных слов, включенных в текст „Евгения Онегина“ в их оригинальной форме: французских (monsieur, madame, entrechat), английских (dandy, roast-beef; в посмертном издании романа напечатано с ошибкой rost-beef), даже латинских (vale), хотя никаких записей по этому поводу в его рукописи мы не находим. Не находим мы здесь также пояснений и к тем словам, которые, являясь в русском языке варваризмами, присущи большинству западноевропейских языков и, следовательно, были Энгельсу известны сразу из нескольких источников (например: бульвар, талаант, бронза, кабинет, туалет, партер, эконом, продукт, трюфли, комета, театр, комедия, деспот, кокетка и др.); он легко распознавал все эти слова, несмотря на их русское орфографическое обличье (например, русское „лорнетка“ при французском и английском lorgnette, lorgnon; „кокетка“ при французском coquette. Об этом последнем слове Пушкин в „Отрывках из писем, мыслях и замечаниях“ заметил, что оно вполне обрусело; XI, 56), и даже не записал соответствующих наблюдений об их происхождении, первоисточниках и аналогиях. Однако, как видно из его же рукописи, Энгельс очень внимательно вчитался в XXVI строфу „Евгения Онегина“, где Пушкин делает несколько лексикографических наблюдений и высказывает общее суждение и о словарном составе русского языка и о поэтическом слове своего произведения:

Но панталоны, фрак, жилет,
 Всех этих слов на русском нет.
 А вижу я, винюсь пред вами,
 Что уж и так мой бедный слог
 Пестреть гораздо меньше б мог
 Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

Естественно, что в глоссах к соответствующему стиху Энгельс пропустил эти написанные по-русски слова французского происхождения (*pantalons, frac, gilet*) как вполне ему понятные и не требующие записи для усвоения. Но Энгельс едва ли мог почувствовать особый иронический смысл в данном свидетельстве и автопризнании Пушкина, так как до недавнего времени этот смысл исчезал даже для комментаторов „Евгения Онегина“ и исследователей его языка. Ранние исследователи к этому свидетельству Пушкина относились с полной серьезностью и толковали его в прямом смысле. Так, Е. Ф. Карский привел вышеприведенную цитату в доказательство того, что „Евгений Онегин“ „представляет несколько случаев, когда наш поэт не в состоянии справиться с иноземщиной“.¹ Е. Будде, в свою очередь, находил эти признания Пушкина чрезвычайно характерными в том же смысле.² „Они свидетельствуют о том, — писал Г. Миловидов, — что поэт наш, проникнувшись идеею создать *бытовой* роман из русской жизни, не менее глубоко был проникнут и сознанием необходимости для него чисто бытовой, народной русской речи, и что поэтому он не мог не тяготиться этими неизбежными для него на первых порах *боливарами, брегетами, Флорами, Дианами, Терсихорами* и т. п. «иноплеменной пестротой», имевшею либо местное, петербургское, либо устарелое «пиитическое» значение. И вот он принимает меры *обрусения* русского языка, прибегает «встарь» к Академическому словарю и там ищет спасения от традиционных волн иноязычного стиля“.³

На самом деле, стихи Пушкина имели сугубо иронический, язви-

¹ Е. Ф. Карский. О влиянии поэтической деятельности А. С. Пушкина на развитие русского литературного языка. „Русский филологический вестник“, 1899, т. XLII, стр. 211.

² Е. Будде. О поэтическом языке Пушкина. В издании: Сочинения Пушкина. Под редакцией С. А. Венгерова, т. V, 1911, стр. 229—245.

³ Г. Миловидов. Язык Пушкина в его произведениях. Воронеж, 1887, стр. 11—12. Автор приводит здесь же не лишние в наше время исторического значения наблюдения относительно таких словосочетаний в „Евгении Онегине“, которые уже в 80-е годы представлялись искусственными, преднамеренными, экспериментальными; в частности, он приводит ряд „выдающихся примеров“ (стр. 12—13), из которых, по его мнению, „видно, что борьба с иноязычием в названной главе проявилась у Александра Сергеевича, как предвзятое правило, в силу, так сказать, принципа“. Далеко не все эти примеры удачны: так, ему кажется, например, предвзятым сочетание просторечного и иностранного слов в стихе „Вина *кометы* брызнул *ток*“, потому что он не догадывался о самостоятельном значении термина „вино кометы“, о котором у нас уже шла речь выше; в стихе „Вот наш герой подъехал к *сеням*“ его слух резнуло последнее слово, так как Онегин „ехал на бал“; в стихе „лицами, убором Ужасно недоволен он“ слово „ужасно“ показалось ему чрезмерно „прозвучным“, и т. д. Тем не менее Г. Миловидов почувствовал отчетливо лексическую пестроту и неоднородность в первых главах „Евгения Онегина“, равнообразии тех элементов, которые сплавлены были поэтом в сложный состав чеканного стиха.

тельный смысл. Подчеркнутые Пушкиным слова „панталоны, фрак, жилет“ вошли в русскую речь задолго до „Евгения Онегина“.¹ Однако „ирония заключалась в том, — как устанавливает Н. Л. Бродский, — что ревнители отечественного языка употребляли названные слова на французском диалекте и находили их непристойными при разговоре на русском языке. Эти важные судьи-пуристы походили на институток, которые были в восторге, когда преподаватель Плетнев читал им «Евгения Онегина», но когда он сказал: «Панталоны, фрак, жилет», они решили: «Какой, однако, Пушкин индеса» (от французского слова *indécent* — непристойный).² В том же источнике, из которого взят анекдотический пример, есть и другое свидетельство по этому же поводу: „Д. Е. Цицианов говорил, что французский язык — это вертопрашный язык. Только, — говорил он, — наши барыни любят болтать всякий вздор по-французски. Скажи им по-французски: *pantalons*, так и растают, а скажи им штаны — чуть в обморок не падают“.³ Речь здесь идет, таким образом, об эвфемистической замене русского слова иностранным. Ирония Пушкина также направлена не против иностранных слов вообще, так как он, несомненно, „стоял за обогащение языка, за расширение «иноплеменными» словами разговорной и книжной речи, если не было соответственных слов в коренном русском языке“, ⁴ а про-

¹ Хотя этих слов действительно нет в „Словаре Академии Российской“ (СПб., 1789—1794), но они уже включены в составленный Яновским „Новый слово-толкователь, расположенный по алфавиту“ (СПб., 1803—1804, 1806). Ср. в шуточном стихотворении И. И. Дмитриева, имевшем в виду Б. Л. Пушкина, „Путешествие NN в Париж и Лондон“ (1808):

Какие фракы, панталоны!
Всему новейшие фасоны.

Г. Винокур уже обратил внимание на то, что с таким же „намеренным задором“ Пушкин в предшествующей строфе употребил слово „франт“, говоря, что Евгений

В своей одежде был педант
И то, что мы называли франт.

„Слово «франт» здесь выдвинуто в его собственно номинативном качестве, но так же как известный факт в истории русской лексики“, притом в явно ироническом смысле (Г. Винокур. Слово и стих в „Евгении Онегине“. Пушкин. Сборник статей под редакцией проф. А. Еголина, М., 1941, стр. 201).

² Н. Л. Бродский. „Евгений Онегин“, роман А. С. Пушкина. Изд. 3-е, М., 1950, стр. 90. — А. О. Смирнова-Россет (Автобиография, М., 1931, стр. 120), вспоминая об этом замечании институток при чтении им вслух „Евгения Онегина“, свидетельствует, что она сама рассказала об этом Пушкину: „Он разразился громким, веселым смехом“.

³ А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. М., 1931, стр. 121.

⁴ Н. Л. Бродский. „Евгений Онегин“, роман А. С. Пушкина. М., 1950, стр. 90. — Это положение можно считать в настоящее время общепризнанным. Стихи Пушкина об отсутствии в русском языке упомянутых иностранных слов Б. А. Гофман приводил в доказательство того, что Пушкин „признает заимствования для названия предметов и отвлеченных понятий, если для них нет слова в русской речи“ („Язык Пушкина“ — в сборнике „Язык и стиль А. С. Пушкина“, М., 1937, стр. 63), а С. Д. Никифоров, в свою очередь, цитировал их в подтверждение того, что Пушкин, „в отличие от многих современных ему поэтов“, „считал допустимым

тив салонного жаргона, против эвфемистического пользования иностранными речениями, за прямую, откровенную, сильную русскую речь.

Если от Энгельса ускользали порой некоторые оттенки тех слов в лексике „Евгения Онегина“, которые он считал для себя более знакомыми и привычными на общеевропейском языковом фоне, то еще естественнее было его изощренное внимание ко всем особенностям коренных русских слов, во всем своеобразии их орфографии и даже орфоэпии. Здесь именно сосредоточены были для него главные трудности и поэтому сюда направлял он свои особые усилия.

Составляя вокабулы к строфе VIII, Энгельс допустил характерную опisku. Переводя стих „Что было для него измлада“, Энгельс сначала написал „нево“, но затем зачеркнул и написал „него“. Трудно сказать с полной определенностью, не является ли эта описка свидетельством того, что, по крайней мере, при начале работы над чтением „Евгения Онегина“ Энгельс пользовался помощью русского учителя, от которого он мог знать правила произношения, слышать слова в их устном произнесении, или же он нашел эти правила в каком-либо учебном руководстве. Невозможно было, однако, разбирать поэтический текст, не скандируя предварительно составляющие его стихи, не учась произносить их вслух для понимания его метрического строя и размещенных в словах ударений. И, кстати сказать, ударения, особенно при начале работы, Энгельс размещал в своих перечнях русских слов аккуратно и методически, что и неудивительно, поскольку русская акцентология всегда представляла особые трудности для иностранцев. В этом смысле нельзя не признать удачным выбор для первоначального изучения русского языка *поэтического*, а не *прозаического* текста. В связи с этим отметим также, что некоторые написания Энгельсом русских слов интересны не только для характеристики его русской орфоэпии, но, может быть, также и для определения учебных руководств, которыми он пользовался, или особенностей устного произношения русского языка, которое он должен был слышать. Известно, например, что именительный падеж единственного числа прилагательных мужского рода в первой половине XIX века произносился у нас в большинстве случаев с русской рефлексацией неударяемого гласного на *-ой*, а не с книжной, восходящей к церковнославянскому языку рефлексацией на *-ый*, о чем, как указывает Л. А. Булаховский, „определенно свидетельствуют и рифмы, и орфография, хотя и неустойчивая, но достаточно широко представленная формами на *-ой*“.¹ С. П. Обнорский в специальном исследовании также показал, что „живой нормой имен прилагательных... в им. ед. ч. мужского рода для Пушкина служили

употребление лишь таких «иноплеменных слов», которые обозначали предметы и понятия, не имеющие обозначения в самом русском языке» („Русский язык в школе“, 1949, № 3, стр. 14).

¹ Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века, т. II. Киев, 1948, стр. 100—101.

формы на *-ой*"; немногие же случаи употребления Пушкиным форм прилагательных не на *-ой*, а на *-ый* (притом рифменно чередующихся со словами на *-ой*) привели его к заключению „об известной нарочитости“, обусловившей их употребление в определенных контекстах: „Большое число форм на *-ый* падает, действительно, на причастные образования, этот заведомо книжный по происхождению слой в нашем языке...“¹ Между тем, выписывая из текста „Евгения Онегина“ (II, 1) прилагательное „молодой“, Энгельс ставит его в своей записи в форме „молодой“. У Пушкина стоит: „грустный, охладелой“ (XXX, 12), у Энгельса, может быть, обратившего внимание на эту непоследовательность, находим: „грустный“, „охладелый“. В записях к строфе VI Энгельс пишет „минувший“ (у Пушкина „минувших“), к строфе XXXI — „вешный“ (у Пушкина „вешние“), к „Посвящению“ — „живой“, „живый“ (у Пушкина „живой“). Характерно, что во всех этих случаях орфография Энгельса отличается от той, которую мы в соответствующих словах находим в словаре Рейфа. Может быть, приведенные примеры свидетельствуют, с одной стороны, о том, что практическое знакомство с русским языком Энгельс начал после того, как он познакомился с церковнославянским (интересно, что церковно-славянизмы в языке Пушкина, повидимому, не представили для него особых затруднений); с другой стороны, указанные написания Энгельса могли возникнуть в результате воздействия на его графику устной произносительной нормы того „русского учителя“, у которого он брал первоначальные уроки русского языка. Отметим, кстати, что, встретив у Пушкина наречие „покамест“ (XV, 9), Энгельс записал его с мягким знаком, переправив его затем на твердый: „покамест“; написания эти, как известно, колебались: „в живом языке и у авторов, приблизительно до второй половины XIX века, <„покаместь“> преобладает над книжной формой *покамест*“.² У Рейфа (где немецкие значения слова совпадают с теми, которые даны у Энгельса) слово приведено в „книжной форме“, т. е. без мягкого знака. Нельзя ли и в этом примере увидеть след воздействия на записи Энгельса чьих-либо устных пояснений?

На первых порах изучения русского языка Энгельса, повидимому, затрудняла также и русская графика, отличие написаний в рукописи и книге; в ряде записей, например, он еще путал буквы *ѣ* и *я* („блестять“ вместо „блестѣть“), *ѣ* и *ѥ*; во многих случаях написанная им буква *л* напоминает латинское *l* и в особенности твердое польское (перечеркнутое) *l*, русское *т* порой графически близко к латинскому *t*. Но даже на сохранившихся записях всего лишь пятнадцать листов публикуемой

¹ С. П. Обнорский. Пушкин и нормы русского литературного языка. „Труды юбилейной научной сессии Ленинградского Государственного университета. Секция филологических наук“, Л., 1946, стр. 90—91.

² В. Чернышев. Правильность и чистота русской речи, ч. II. Изд. 2-е, 1915, стр. 348. Ср.: И. С. Ильинская. Из наблюдений над лексикой Пушкина. „Труды Института русского языка“, т. II, М.—Л., 1950, стр. 92.

ниже рукописи Энгельса видно, как быстро и хорошо он усваивал русский язык. Неизбежные в начале ошибки в написаниях или объяснениях становятся редкими, вполне естественными, закономерными, объяснимыми; ударения ставятся реже; грамматический анализ упрощается, слова объясняются менее подробно. Может быть, даже отсутствие прозаического связного немецкого перевода пушкинских строф, который Энгельс прекратил записывать после XI строфы, свидетельствует о том, что он более не нуждался в нем как в подсобном средстве истолкования русского текста и делал этот перевод в уме, не фиксируя его. Естественно, далее, что и количество объясняемых и записываемых русских слов уменьшалось от строфы к строфе.

Внимательно разобрав 33 строфы первой главы „Евгения Онегина“ и записав результаты чтения „Отрывка из путешествия Онегина“, — собственно прозаического предисловия к нему, — Энгельс прекратил свою работу над чтением этого произведения или записывал ее в какой-либо другой тетради, нам в настоящее время не известной. Работа Энгельса над Пушкиным, однако, на этом не прекратилась.

8

Последняя страница описываемой рукописи занята записями, сделанными Энгельсом при чтении „Медного всадника“. Эта страница с двумя столбцами русских слов и немецкими к ним пояснениями осталась недописанной (второй столбец заполнен только до половины): очевидно, чтение и лексико-грамматический разбор этой поэмы Пушкина были прерваны в самом начале. Энгельс успел записать результаты своего разбора всего лишь 42 стихов из „Вступления“ к „Медному всаднику“; отсюда им выбраны были для объяснения 55 слов.

Составленные Энгельсом перечни этих слов, последовательность их записи, а также некоторые их орфографические особенности позволяют с большой долей вероятности определить, какое именно издание „Медного всадника“ было в руках у Энгельса в тот момент, когда он заносил свои заметки в указанную тетрадь. Выясняя вопрос, каким изданием пользовался Энгельс при чтении „Евгения Онегина“, мы уже имели случай высказать предположение, что таким изданием скорее всего мог быть открывавшийся „Евгением Онегиным“ первый том так называемого первого посмертного Собрания сочинений Пушкина (выпущенного в Петербурге в одиннадцати томах между 1838 и 1841 годами); до середины 50-х годов это издание являлось наиболее популярным и о распространении его в то же время в странах Западной Европы, кстати сказать, сохранилось наибольшее количество сведений; этим изданием чаще всего пользовались переводчики произведений Пушкина вплоть до 60-х годов. Относительно записей Энгельса к „Медному всаднику“ можно с еще большей определенностью утверждать, что они

сделаны по тому же посмертному изданию, в котором эта поэма напечатана в девятом томе.

Известно, что при жизни Пушкина из „Медного всадника“ напечатан был только „Отрывок“, а именно „Вступление“ под заглавием „Петербург“ (в „Библиотеке для чтения“, 1834, т. VII, № 12) с изъятием стихов 39—42, замененных четырьмя строками точек. В полном виде „Медный всадник“ появился в первом томе „Современника“ за 1837 год, уже после смерти поэта, по тексту, еще в 1836 году приспособленному самим Пушкиным к требованиям цензуры и с дополнительными цензурными же переделками Жуковского. Именно этот искаженный текст поэмы перепечатан был в девятом томе посмертного издания; впервые некоторые исправления в текст „Медного всадника“ по рукописям поэта и с подновлением пунктуации внес П. В. Анненков, напечатавший поэму в третьем томе своего издания „Сочинений“ Пушкина (СПб., 1855).

Внимательно взглядываясь в ряды выписанных Энгельсом слов из „Вступления“ к „Медному всаднику“ и особенно в порядок их следования друг за другом, мы легко можем заметить, что в начале перечня (в первом столбце) отсутствуют слова, находящиеся в так называемом „Предисловии“ к поэме, печатаемом ныне обычно после заглавия и перед „Вступлением“.¹

В перечне, составленном Энгельсом, стоят такие слова:

повесть	бедный
вступление	челн
пустынный	несться (sic, вм. нестись)
вдаль	одинокий
глядеть	

Эти слова свидетельствуют, что Энгельс имел перед глазами такое издание „Медного всадника“, в котором „Предисловие“ или отсутствует, или помещено в другом месте, так как, прочтя заглавие поэмы „Медный всадник. Петербургская повесть“, Энгельс непосредственно вслед за этим начал читать:

Вступление

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чѣли
По ней стремился одиноко.

Именно таким изданием и было посмертное издание Сочинений Пушкина, в котором приведенное выше „Предисловие“ напечатано не перед „вступлением“ и не в виде предуведомления от автора, но составляет лишь примечание под текстом, внизу страницы, в виде сноски к подзаголовку

¹ „Проществие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Бержом“.

„Петербургская повесть“; в издании П. В. Анненкова слова „Происшествие, описанное в сей повести“ и т. д., с заглавием „Предисловие“, введены уже в основной текст и напечатаны перед „Вступлением“.

В конце перечня, составленного Энгельсом, слова, выписанные для объяснения, стоят в таком порядке:

оживленный	пристань
громада	повиснуть
стройный	покрывать
тесниться	склоняться.
башня	

Нетрудно видеть, что эти слова выписаны Энгельсом из следующих стихов „Вступления“ к „Медному всаднику“, на которых и закончилась его работа над ними, по крайней мере, в описываемой рукописи:

... ныне там
 По оживленным берегам
 Громады стройные теснятся
 Дворцов и башен; корабли
 Толпой со всех концов земли
 К богатым пристаням стремятся;
 В гранит оделася Нева;
 Мосты повисли над водами;
 Темнозелеными садами
 Ее покрылись острова —
 И перед младшею столицей
 Главой склонилася Москва,
 Как перед новою царицей
 Порфироносная вдова.

Наше внимание обращает на себя последнее слово, стоящее в приведенном ряду: „склоняться“. Оно заимствовано из стиха 40: „Главой склонилася Москва“. Интересно, однако, что именно этот стих отсутствует в „каноническом“, обычно публикуемом ныне тексте „Медного всадника“, где вместо него теперь стоит начальное пушкинское „Померкла старая Москва“.

Как видно из черновой рукописи поэмы, долго не дававшиеся Пушкину стихи 39—40, получив окончательный вид:

И перед младшею столицей
 Померкла старая Москва,

вызвали опасения Пушкина в тот момент, когда он готовил поэму к печати, и, переделывая текст применительно к цензурным требованиям, он заменил их другими:

И перед младшею столицей
 Главой склонилася Москва.¹

¹ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. Академии Наук СССР, 1948, стр. 136 и 499. Вариант указанных стихов мы находим уже в так называемой „первой белой редакции“ (там же, стр. 488):

И перед юною столицей
 Главой [поныкнула] склонилася Москва.

Эти стихи, без сомнения, и были перед глазами Энгельса. Именно этот первопечатный текст мы находим в девятом томе посмертного издания и в некоторых более поздних изданиях поэмы, пока он не устранен был из ее текста окончательно на основании изучения рукописей и установления сложной текстологической истории „Медного всадника“: „цензурный“ вариант 40 стиха мы находим, например, еще в издании П. В. Анненкова.

В пользу высказанного предположения, что Энгельс читал „Медный всадник“ именно по тексту, напечатанному в девятом томе посмертного издания, мы можем привести еще одно основание, на этот раз решающее. Дело в том, что в стихе 23 „Вступления“:

Из тмы лесов, из топи блат —

в этом издании слово „тма“ было напечатано без мягкого знака (тма), с которым это слово написал Пушкин в черновом автографе;¹ то же напи-

¹ См.: Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг., М., 1939, Фототипии, стр. 17, Транскрипции, стр. 27. Во всех рукописях „Медного всадника“, включая писарскую рукопись с собственноручными исправлениями Пушкина, по которой поэма печаталась в „Современнике“ (она находится в Рукописном отделе Института русской литературы Академии Наук СССР, ф. 244, оп. 1, № 934), в этом стихе ясно написано: „из тмы лесов“ (л. 11). См. то же написанное в перебеленной авторской рукописи поэмы (там же, ф. 244, оп. 1, № 933, л. 3 об.) и в беловом автографе с карандашными пометами Николая I (там же, ф. 244, оп. 1, № 935, л. 23 об.). Вопрос о том, следует ли слово „тма“ в „Медном всаднике“ и в других произведениях Пушкина печатать с мягким знаком или без него, послужил предметом полемики при обсуждении текстологических достижений нового академического издания его сочинений. В. И. Чернышев, указывая, что во времена Пушкина мягкий знак не ставился между согласными, привел ряд случаев употребления слова „тма“ в прижизненных изданиях сочинений Пушкина 1830 и 1837 годов, исправленных якобы в академическом издании согласно существующей в настоящее время орфографической норме (О языке и правописании Пушкина. „Временник Пушкинской комиссии“, вып. 6, Л., 1941, стр. 447). В своем возражении В. И. Чернышеву Г. О. Винокур, отметив, что „написание тма было, действительно, тогда очень широко распространено“, указал, однако, на то, что „в рукописях Пушкина мы находим то тма, то тма“, и в качестве примера неустойчивости его орфографии сослался на стих 55 „Вступления“ к „Медному всаднику“ („И не пуская тму nocturnu“), который в двух беловых рукописях имеет оба орфографических варианта интересующего нас слова (там же, стр. 471—472, 483). После указаний Г. О. Винокура можно считать установленным, что исправления пушкинских написаний с мягким знаком на написания без мягкого знака есть результат правки П. А. Плетнева во всех изданиях, которыми он распоряжался (там же, стр. 472). Отметим, что в русском языке узаконены были обе формы, так как они имели смысловое различие, к 20 годам уже стиравшееся: 1) „тма“, идущая от церковнославянского языка, в значении „десять тысяч“ и „неопределенное множество“, а затем также и „темнота“, „мрак“ и 2) „тма“ с преимущественно последним значением (см. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии Наук, т. III, СПб., 1847, стр. 282—283); именно для смыслового их различия и сохранялись иногда написания с мягким знаком и без него (см.: В. Д а л ь. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV, СПб., 1882, стр. 407).

сание слова (тма) имеем мы в первопечатном издании „Вступления“ в „Библиотеке для чтения“ (1834, т. VII, отд. I, стр. 118) и в первом полном издании поэмы в „Современнике“ (1837, т. V, № 1, стр. 2). Во всех последующих изданиях поэмы, начиная с издания П. В. Анненкова (Сочинения Пушкина, т. III, СПб., 1855, стр. 366), печаталось „тьма“.

В относящейся к этому стиху записи Энгельса мы находим то же написание, получающее, таким образом, объяснение своего происхождения. Вот эта запись:

тма Finsterniß, Dunkel.
болото, блато Morast.

Не подлежит сомнению, что „Медный всадник“ читался Энгельсом после „Евгения Онегина“: в этом убеждает нас не только местоположение относящихся к нему записей в описываемой рукописи. Как видно уже и из нескольких вышеприведенных цитат из поэмы и сопоставления с ними относящихся к ним слов перечня, чтение поэмы шло быстрее и увереннее, чем чтение „Евгения Онегина“; обращение за помощью к словарю не было столь частым, как раньше, следовательно, запас усвоенных русских слов сильно пополнился, несмотря на то, что в лексике и стилистических особенностях „Медного всадника“, поэме, которая по праву считается одним из высших достижений зрелого повзрелого мастерства Пушкина, Энгельсу не могли не броситься в глаза многие новые, по сравнению с первой главой „Евгения Онегина“, черты (например, сравнительное обилие архаизмов). Характерными чертами этой чистой, почти без пометок написанной рукописи Энгельса является то, что в своем перечне русских слов он выписывает их не в той грамматической форме, в какой стоят они в пушкинском тексте, — как нередко делал он прежде, — а в той, в какой он находил их в словаре или какую образовывал он сам для наведения словарной справки: глаголы в инфинитиве, существительные в именительном падеже и т. д. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о достигнутом уже знакомстве с русским языком; ошибки Энгельса при этом случайны и большей частью восходят к соответствующим неточностям в словарях и грамматиках (см., например, указанную им в записях неупотребительную форму „несться“ вместо „несться“ к пушкинскому стиху „Река неслася“); русская орфография Энгельса здесь также устойчивее, чем в перечнях слов, выписанных из „Евгения Онегина“. Немецкие значения русских слов, наконец, в большинстве случаев указаны Энгельсом верно, с отчетливым пониманием их оттенков.

В лексике „Вступления“ к „Медному всаднику“ внимание Энгельса должны были обратить на себя играющие здесь определенную стилистическую функцию архаизмы; они придают поэме возвышенность, патетический колорит, соответственный достоинству и важности излагаемых исторических событий („юный град“, „полнощный“, „из топи блат“, „неколебимо“ и т. д.). Энгельс отметил в своей записи парал-

лельное употребление полногласных и неполногласных лексических вариантов, например, в словах „брег“, „берег“, „град“.¹

Первый стих „Вступления“ к поэме — „На берегу пустынных волн“ — был понят и переведен Энгельсом вполне точно и отчетливо; стоит, однако, отметить несколько подробностей относительно того, как шел этот процесс усвоения и раскрытия им пушкинского текста. Прилагательное „пустынный“ было, повидимому, уже известно Энгельсу, по связи этого эпитета со словом „пустыня“, о котором он сделал запись в глоссе к первому стиху XXXI строфы „Евгения Онегина“. Уже и тогда слово „пустыня“ было переведено им не *Wüste*, а *Einöde*, что означает и „необитаемый, безлюдный край“, но прежде всего „уединение“. Связь прилагательного „пустынный“ с „пустыней“ была настолько очевидной, что явилась даже причиной ошибки пропуска суффиксального -н: Энгельс занес в свою запись „пустынный“ (с одним н) и перевел *einsam*, т. е. „уединенный“. Энгельс поступил совершенно правильно, давая именно такой перевод, поскольку, как это уже давно отметили исследователи языка Пушкина, излюбленные и часто встречающиеся в его стихах слова „пустынный“ и „уединенный“ употребляются им „почти без всякого различия, иногда в их обычном, иногда в более своеобразном значении“.² Источником этого перевода был, повидимому, словарь Рейфа, который дает перевод *einsam* к словам „пустынный“ и „уединенный“ (к последнему прибавлено и другое немецкое — *abgesondert*; ср. уединение — *die Einsamkeit, die Einöde*). Ниже, однако, Энгельсу встретилось наречие „одинок“:

... бедный челн

По ней стремился одиноко...

Не найдя его в словаре (у Рейфа наречия нет, есть только прилагательное), Энгельс записал „одинокий“, с тем же значением *einsam* (ср. у Рейфа: одиночество — *Einsamkeit*), но прибавил к нему и другое значение слова „одинокий“: неженатый, холостой — *unverheiratet*. Последнее нельзя считать „ошибкой“ Энгельса: и на этот раз, как и во многих выше отмеченных случаях, это было лишь стремлением изучить каждое слово, встретившееся ему у Пушкина, во всех его разнообразных значениях и применениях.

¹ Г. Винокур в статье „Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина“ (сборник „Пушкин родоначальник новой русской литературы“, М., 1941, стр. 526) отмечает, что в „Медном всаднике“ форма „берег“ употреблена в шести случаях и только один раз встречается „брег“; полногласная форма „город“ здесь же употреблена четырежды, а „град“ — дважды, „блат“ вместо „болот“ — один раз. Ср. также: В. Чернышев. Правильность и чистота русской речи, вып. II. Пгр., 1915, стр. 30, § 141.

² В. О. Саводник. К вопросу о пушкинском словаре. „Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук“, 1904, т. IX, кн. 1, стр. 160—161. — Г. Винокур (цит. статья, стр. 531—532) считает его модным словом „взлещического словаря“, до Пушкина в том же значении употреблявшимся Батюшковым.

В неправильности передачи наречия „отсель“ (в стихе „Отсель грозить мы будем шведу“) вина ложится, однако, не на Энгельса, а на словарь Рейфа. Это наречие, употреблявшееся Пушкиным, как и в русской литературе его времени, в двух вариантах: „отсель“ и „отселе“ (ср. в стихотворении „Кавказ“, 1829: „Отселе я вижу потоков рождение“),¹ Энгельс принял за наречие времени, а не места, и перевел (*künftig*, à l'avenir, désormais) в смысле „отныне“, а не „отсюда“. У Рейфа мы находим следующие пояснения: „отселе и отсель, *adr. d'ici; dès ce moment; von hier an; von nun an; hence; henceforth*“. Порядок, в котором расположены все эти пояснения, французские, немецкие и английские, мог дать повод к догадке, что наречия „отселе“ и „отсель“ различаются не только по своему окончанию, но и по своему значению, т. е. что „отселе“ значит „отсюда“, *von hier an, hence*, а „отсель“ — „отныне“ — *dès ce moment, von nun an, henceforth*. Поскольку в данном стихе у Пушкина стоит „отсель“, а не „отселе“, — к нему и должны относиться пояснения второго ряда. Так можно было бы объяснить указанное недоразумение; характерно, однако, что Энгельс воспользовался для перевода немецким словом *künftig* — „впредь“, у Рейфа отсутствующим; следовательно, ошибка могла быть и в каком-либо другом слове или грамматическом руководстве. Характерен также ход мысли Энгельса при анализе стиха „Природой здесь нам суждено“. Незнакомым для Энгельса оказалось, повидимому, последнее слово, причастие страдательное прошедшего времени от „судить“, в значении „предназначено“. В словаре Рейфа данное причастие не отмечено, но Энгельс мог обратить здесь внимание на сходное просторечное, народно-поэтическое слово „суженый“, со значением „предназначенного“ жениха; поэтому он произвел слово „сужденый“, стоящее в его записи, и объяснил его: *vom Schicksal bestimmt, prädestiniert*. (Это оказавшееся совершенно правильным объяснение к причастию „суждено“ дано с помощью словаря Рейфа, где к существительному „суженый“ приведены объяснения: нем. *bestimmt* и франц. *destine, prédestiné*). Прочие неточности в глоссах Энгельса к „Медному всаднику“ настолько несущественны и незначительны, что не заслуживают специального разбора (к слову „прорубить“, например, Энгельс дает не *durchhauen*, а *einbrechen*, что значит скорее „выламывать“, „проламывать“).

Перечень объясненных русских слов к „Медному всаднику“ показывает, что „Вступление“ к поэме Энгельс проштудировал очень внимательно. Было бы крайне важно установить, продолжалась ли далее его работа по изучению текста поэмы и, в связи с этим, чем вызвано было его обращение к ней. Для того, чтобы ответить на эти вопросы,

¹ В. Чернышев. Правильность и чистота русской речи, вып. II, стр. 348—349, § 392.

мы не располагаем еще необходимыми данными. Законно, однако, предположить, что „Медный всадник“ интересовал Энгельса не только как текст, пригодный для лексико-грамматического разбора: он не мог не знать, что в его руках находилось одно из глубочайших по своим философским и общественно-историческим обобщениям произведений Пушкина.

Энгельс изучал русский язык не только ради одного Пушкина. Его упорные, более чем тридцатилетние занятия этим языком могли ему пригодиться и, действительно, пригодились впоследствии для более широкого ознакомления с другими классическими произведениями русской литературы и общественной мысли. Одной из самых ранних читанных Энгельсом русских книг, как мы предположили выше, были „Сочинения“ Пушкина. За Пушкиным, однако, шли книги Герцена, Огарева, Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Плеханова и много других.¹

Энгельс всегда деятельно интересовался политической жизнью и культурой страны, выдвинувшей „двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов“.² Отзывы Энгельса о Добролюбове и Чернышевском как виднейших представителях исторической школы в русской литературе³ свидетельствуют о его прекрасном знакомстве с их сочинениями, в том числе, конечно, и с их работами по истории русской литературы, раскрывавшими идейные богатства этой литературы, ее великолепное художественное мастерство, ее глубокое социально-историческое значение. До конца своей жизни Энгельс внимательно следил за русским печатным словом, за русскими журналами и газетами (в том числе и за эмигрантскими изданиями П. Л. Лаврова, Г. В. Плеханова и др.), за многочисленными русскими книгами, которые посылали ему его русские почитатели и корреспонденты. Хотя в числе этих книг были преимущественно работы по экономическим и статистическим вопросам,⁴ но не может быть сомнения в том, что из орбиты его внимания не исключалась

¹ Для истории знакомства Энгельса с русской литературой и русскими книгами много дает его переписка (см. Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, изд. 2-е, М., 1952), а также материалы, опубликованные в „Архиве Маркса и Энгельса“ (т. XI, М., 1948). Здесь (на стр. 157—167), между прочим, опубликован составленный Энгельсом конспект статьи А. З. Попельницкого („Значение переоценки повинностей в крестьянском деле“, 1881); русские слова, встречающиеся в тексте, дают возможность ясно представить себе полноту овладения Энгельсом русским языком в конце его жизни.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 235.

³ Письмо Ф. Энгельса к Е. Паприц-Линевой. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 389.

⁴ Отметим, что в письме к Н. Ф. Даниельсону в Петербург от 5 марта 1895 года, говоря о себе в третьем лице, Энгельс упоминает, что им сделаны „... чрезвычайно многочисленные выписки из русских источников, статистических и вообще экономических“ (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, изд. 2-е, Госполитиздат, 1951, стр. 184).

также и русская литература; об этом свидетельствует, например, тот живейший интерес, который вызвали у него „Сказки“ М. Е. Салтыкова-Щедрина, присланные ему в 1887 году.¹

Уделяя большое внимание изучению истории России, тщательно следя за ростом русского революционного движения, лично общаясь со многими его передовыми деятелями, Энгельс вместе с Марксом признал огромное значение русского народа в решении исторических судеб народов Европы и сделал очень многое для истолкования русского исторического процесса.² Вот почему тщательное изучение наследия Энгельса, относящегося к его занятиям памятниками русской мысли, культуры и языка, представляет столь значительный научный интерес. Об этом не следует забывать также, внимательно вчитываясь в тетрадь его глоссариев к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“.

¹ См. письмо Ф. Энгельса к Н. Ф. Даниельсону от 19 февраля 1887 года. Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, 1951, стр. 131.

² См.: Ем. Ярославский. Маркс и Энгельс о России. „Историк-марксист“, 1940, № 10, стр. 54—80; А. Ф. Смирнов. Ф. Энгельс о революционном движении в России. „Известия Академии Наук Белорусской ССР“, 1951, № 1, стр. 3—15.

СЛОВАРНЫЕ ЗАПИСИ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

К „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ“ И „МЕДНОМУ ВСАДНИКУ“
А. С. ПУШКИНА

Словарные записи Ф. Энгельса, делавшиеся им при чтении „Евгения Онегина“ и „Медного всадника“ А. С. Пушкина, публикуются по фотокопиям с подлинной рукописи, хранящейся в Институте Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС, и ее расшифровке, предоставленным Институту русской литературы Академии Наук СССР, с разрешением на публикацию, дирекцией ИМЭЛС.

Ввиду того, что публикуемые записи представляют многосторонний лингвистический интерес, они печатаются здесь с воспроизведением всех орфографических особенностей подлинной рукописи Ф. Энгельса. Все опуски и случайные написания слов, отклоняющиеся от орфографии их в пушкинском тексте, бывшем перед глазами Энгельса в момент составления им записей (например, замета вместо замѣта, наследникъ вместо наслѣдникъ, сабавлять вместо забавлять, чагъ вместо шагъ, служибъ вместо служивъ и т. д.; смещение русских и латинских букв: л и I, д и d и др.), оговорены в особых пояснениях, помещаемых под текстом на каждой странице; под текст вынесены также некоторые другие пояснения текстологического характера, необходимые для лучшего понимания публикуемой рукописи (так, здесь отмечены русские слова, оставшиеся необъясненными, даны некоторые указания по поводу процесса составления записей: последовательность занесения в тетрадь, особенности исправлений, добавлений, замен и т. д.). Зачеркнутые в публикуемой рукописи слова и фразы, если они поддаются прочтению, публикуются в тексте в квадратных скобках; если чтение их затруднительно, они отмечены рядами точек в ломаных скобках < . . >. В ломаных скобках даются также условно или предположительно прочтенные слова и окончания недописанных слов.

Для удобства изучения публикуемой рукописи параллельно с ее текстом (на четных страницах данного издания) печатается также русский текст тех произведений Пушкина, который имели в виду записи Энгельса. Текст „Евгения Онегина“ и „Медного всадника“ точно воспроизведен (с сохранением всех особенностей орфографии и пунктуации) по первому посмертному изданию сочинений А. Пушкина (тт. I и IX, СПб., 1838, 1841), которое, повидимому, было в руках Энгельса во время составления им публикуемой рукописи (см. выше, стр. 34).

ПЕТРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПЛЕТНЕВУ

Не мысля гордый свѣтъ забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотѣлъ бы я тебѣ представить
Залогъ достойнѣ тебя,
Достойнѣ души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзи живой и ясной,
Высокихъ думъ и простоты;
Но такъ и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрыхъ главъ,

Александръ Пушкинъ: Евгенийъ Онѣгинъ

л. 1

An Peter Alexandrowitsch Pletneff

Dedication

Мысль	Gedanken	
гѳрдый v. гор-	stolz sein	
дѣтъ		
свѣтъ	Licht, Glanz, Tag, Welt	
забавить	ergѳtzen, die Zeit vertreiben	
дружба	Freundschaft	
хотѣтъ	wollen ¹ verlangen	
тебѣ	dir	
представить	vorstellen, vorfћhren	
Залогъ	Pfand	
достойный	wћrdig	
душа	die Seele	
прекрасный	schѳn, vortrefflich	
исполненный	vollzogen, erfћllt	
Мечтá	Phantasie, Einbildung, Trugbild	
Живой, живы́й	lebend, lebhaft	
ясный	hell, heiter, deutlich	
дума	Gedanke, Idee	
Простотá	Einfachheit, Einfalt, Aufrichtig- keit	
но	aber, sondern (s. oben не) но—и	
такъ	so, ebenso	
пристрáстный	eifrig, zugethan, leidenschaftlich	
приня́тъ	zertreten, <u>принять</u> ² nehmen	
собрáнье	Versammlung, Sammlung	
пѣстрый	bunt	
глава	Haupt, Kuppel, Oberhaupt, Ka- pitel	
		ich wollte dir vorstel- len (darbieten) ein Pfand deiner wћrdig, wћrdig der vortreff- lichen Seele, der von heiligen Phantasien angefћllten, von leben- diger und heitrer Poe- sie, von hohen Gedan- ken und von Einfach- heit; mais que vou- lez vous, eh bien ³ mit freundlicher Hand nimm sie hin, die Sámmung bunter Ka- pitel der halblácherli- chen und halbtragi- schen, der platten und der idealen, die trage <spáte?> Frucht mei- ner [Launen] Bescháft- tigung, ⁴

^{1,2} Подчеркнуто в подлиннике. ³ Слова eh bien вписаны над строкой. ⁴ Точки в рукописи.

*Полусмѣшныхъ, полупечальныхъ,
Простонародныхъ, идеальныхъ,
Небрежный плодъ моихъ забавъ,
Безсонницъ, легкихъ вдохновеній,
Незрѣлыхъ и увядшихъ лѣтъ,
Ума холодныхъ наблюдений
И сердца горестныхъ замѣтъ.*

ЕВГЕНІЙ ОНЪГИНЪ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится, и чувствовать спешить.

К. Вяземский.

I

„Мой дядя самыхъ честныхъ правилъ,
„Когда не вшутку занемогу;

полусмешный	halb lächerlich	mer), der kaltblütigen Beobachtungen
полупечальный	halb traurig, tragisch	des Verstandes und
простонародный	gemein, pöbelhaft	der bittern Erfahrungen
Небрежный	faul, träge	des Herzens.
плодъ	Frucht	
забава	Zeitvertreib	
бессонницъ	traumlos	
Лёгкій	leicht, gewandt	
вдохновеніе ¹		
незрѣлый	unreif	
увядшій	Part. praes. увядать, verwelken	
Лѣто	Sommer, Jahr	
умъ	Verstand	
холодный ²	kalt, kaltsinnig	
наблюдѣніе ³	Vollziehung Beobachtung	
сѣрдце	d. Herz	
горестный	kümmertlich, bitterlich	
замета ⁴	Kennzeichen, Zeichnung, Erkenntnis, Erfahrung	

Евгеній Онѣгинъ. Глава первая. Erstes Kapitel.

л. 2.

„Sowohl eilen zu leben wie eilen zu erkennen“

Fürst Wjasemskij

торопится	eilen
Чувствовать	fühlen erkennen
Спѣшить	eilen

I

дядя	Onkel	Mein Onkel ⁶
самый	selbst	... wenn er krank war
честный	redlich, achtbar, teuer	ohne Scherz, so ließ
Правило	Richtschnur, Regel, Lineal	er sich gut bedienen,
Шутка ⁵	Spaß, Scherz	und etwas Besseres
Занемочь	krank werden	konnte er nicht ersin

¹ Осталось необъясненным. ² Так в подлиннике (вм. „холодный“). ³ Так в подлиннике (вм. „наблюдение“). ⁴ Так в подлиннике (вм. „замѣта“). ⁵ Вписано позднее между строк. ⁶ Точки (пропуск) в подлиннике.

„Онъ уважать себя заставиль,
„И лучше выдумать не могъ:
„Его примѣръ другимъ наука;
„Но, Боже мой, какая скука
„Съ больнымъ сидѣть и день и ночь,
„Не отходя ни шагу прочь!
„Какое низкое коварство
„Полуживаго забавлять,
„Ему подушки поправлять,
„Печально подносить лекарство,
„Вздыхать и думать про себя:
„Когда же чортъ возьметъ тебя!“

уважать	in Betracht ziehn, schätzen, achten, geschätzt werden ¹	nen. Sein Beispiel ist den Andern eine Lehre — aber (nein!) bei Gott, welche Langeweile, bei Kranken zu sitzen Tag und Nacht, ohne Rückzug und keinen Schritt fort! Welcher schlechte Streich, einen Halblebenden zu unterhalten, ihn die Kissen wieder zurecht zu legen, und ihm [die] traurig[e] die ⁹ Medizin darzureichen, zu seufzen und bei sich zu denken: wenn Dich doch der Teufel holte!
Заставить	vorsetzen, versperren, veranlassen, anstellen	
лучше выдумать ² примѣръ	Uebermaß, Beispiel другимъ ein Beispiel für andre. ³	
наука	Wissenschaft, Kunst, Lehre, Warnung.	
но скука больной сидѣть	aber, sondern Langeweile krank sitzen съ, со (gen.) mit (Instr.) weg, von.	
отходъ	Abzug, Abreise, Rückzug Abtritt weder, noch	
чагъ ⁴ прочь низкій коварство полуживый сабавлять ⁵ , кого, подушка ⁶	Schritt fort! hinweg! ab, weg. niedrig, schlecht, gemein Hinterlist Halb lebendig einem die Zeit vertreiben	
печальный подносить лекарство вдыхать ⁷ думать про же чортъ, чёртъ возьметъ ⁸	Küssen <Kissen> поправлять) verbessern, ausbiegen traurig, kummervoll herbringen, präsentieren Arznei denken, gesonnen sein, meinen von (de lat.) hier wohl bei? auch, eben, aber der Teufel	

¹ Два последних слова вписаны над строкой. ² Осталось необъясненным.

³ Два последних слова вписаны над строкой. ⁴ Так в подлиннике (см. „шаг“).

⁵ Так в подлиннике (см. „забавлять“). ⁶ Вписано позднее между строк.

^{7,8} Остались необъясненными. ⁹ Слово вписано позднее при исправлении.

II

Такъ думалъ молодой повѣса,
Летя в пыли на почтовыхъ,
Всевышней волею Зевеса
Наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ.
Друзья Людмилы и Руслана!
Съ героемъ моего романа,
Безъ предисловій, сей же часъ,
Позвольте познакомить васъ:
Онѣгинъ, добрый мой пріятель,
Родился на берегахъ Невы,
Где, можетъ быть, родились вы,
Или блистали, мой читатель!
Тамъ нѣкогда гулялъ и я:
Но вреденъ сѣверъ для меня.

II

такъ
 Думать
 молодой
 повѣса
 летъ
 въ¹
 Пыль
 почтовый
 на
 всевышней
 воле(ю)²
 Зевеса³
 наследникъ⁴
 родной
 Друзья
 предисловіе
 сей, сія, сіе
 Часъ
 посвѣлить⁵
 познакомить
 васъ
 пріятель
 родить
 брег..⁶ берегъ
 гдѣ
 Можетъ быть
 блист(ать)⁷
 читатель
 нѣкогда
 гулять
 вредень⁸
 сѣверъ
 для

ainsi
 denken s. oben
 jung
 Taugenichts
 Flug
 Flamme, Zorn Пыль Staub
 Post-, Postpferde, Extrapost
 mit
 Der Allerhöchte, Gott
 Erbe, Nachfolger
 verwandt, pl. die Verwandten
 pl. v. другъ, Freund
 Vorrede
 dieser
 Stunde, Zeit
 erlauben
 erkennen, bekannt machen
 euch
 Freund
 gebären
 Ufer?
 wo
 vielleicht
 Leser
 einmal, früher некогда nicht
 Zeit
 sich ergötzen, müssig gehn, spa-
 zieren gehn, ausschweifen
 Norden
 wegen

II

So dachte ein junger
 Taugenichts, im Stau-
 be seines Fluges
 mit Extrapostpferden,
 durch den allerhöchs-
 ten Willen Zeus[?] ein-
 ziger Erbe aller seiner
 Verwandten. Freunde
 der Liudmila und des
 Russlan! Mit dem Hel-
 den meines Romans,
 ohne Vorrede für
 diesmal, erlaubt Euch
 bekannt zu machen:
 Onegin, mein guter
 Freund, war geboren
 an den Ufern der
 Newa, wo vielleicht
 auch ihr geboren seid
 oder.....meine Le-
 ser. Dort trieb [götz-
 te] ich mich auch
 früher einmal herum,
 aber der Norden ist
 für mich schädlich.

л. 3

^{1,2,3} Остались необъясненными. ⁴ Так в подлиннике (вм. „наследникъ“).
⁵ Так в подлиннике (вм. „позволить“). ⁶ Так в подлиннике (вм. „брегъ“); две
 точки также в подлиннике. ^{7,8} Остались необъясненными.

III

Служивъ отлично благородно,
Долгами жилъ его отецъ,
Давалъ три бала ежегодно,
И промотался наконецъ.
Судьба Евгенія хранила:
Сперва *madame* за нимъ ходила,
Потомъ *monsieur* ее смѣнилъ.
Ребенокъ былъ рѣзовъ, но милъ.
Monsieur l'Abbé, Французъ убогой,
Чтобъ не измучилось дитя,
Училъ его всему шутя,
Не докучалъ моралью строгой,
Слегка за шалости бранилъ,
И въ Лѣтній-садъ гулять водилъ.

3

Служибъ ¹	Soldat, Invalid	Ein Beamter, vortref-
отлично	vortrefflich	flich und von guter
благородный	Wohlgeboren (Titel der letzten	Aufführung [Soldat
	Rangklasse)	von ganz guter Geb-
долгий	lang долгъ die Schulden	urt] [Stellung], lebte
давать, дать	geben	unter Schulden [lange]
баль	Ball	sein Vater; er gab drei
ежегодный	jährlich	Bälle jährlich und rui-
промотать	verbringen, verschwenden ся sich	nierte sich zuletzt.
	zu Grunde richten	Das Schicksal nahm
наконецъ	am Ende	sich Eugen's an; zuerst
Судьба	Schicksal	pflegte Madame fr.
Хранить	schützen, hüten, in Obacht nehmen	Gouvernante seiner,
Сперва	зuerst, zuvor	dann löste Monsieur
за	für, anstatt, wegen, bei, nach,	(fr. Hauslehrer) sie
	hinten, jenseits	ab. Er war ein mut-
нимъ	ohne Präp. имъ, Instr. mit ihm	williges Kind, aber
ходить	besuchen, — за кѣмъ Jemand	artig [liebenswertig]:
	pflegen, warten	Monsieur l'abbé ein
потомъ	dann	armer ([verkrüppel-
смѣнять	ablösen	ter?]) Franzose <паб-
её	Acc. v. она, sie	те> auf daß das Kind
ребёнокъ	Kleines Kind	sich nicht überarbei-
рѣзвый, рѣзовъ	mutwillig	t<ete>, lehrte ihm alles
милый	angenehm, liebendwürdig	[Spasmachereien] auf
убогой	arm, verkrüppelt	lustige Weise und
чтобъ, чтобы	damit	fiel ihm nicht mit har-
измучить	abarbeiten ся, sich ab<überar-	ter Moral beschwer-
	beiten>?	lich; er tadelte ihn
учить	lehren Gerund<ium>	leicht für seinen Mut-
Шутя	v. [шутъ Spasmacher] v. шу-	willen und führte ihn
	тить scherzen	in den Sommergarten
докучать	beschwerlich fallen	sich amüsieren (he-
Моралья ²	Moral	rumzutreiben.)
строгий	hart, scharf	
слегка	leicht oberflächlich	
шалость	Mutwille	
бранить ³		
Летный ⁴	Sommer	
Садъ	Garten	
водить ⁵		

¹ Так в подлиннике (вм. „служибъ, „служивый“). „мораль“, „моралью“). ³ Осталось необъясненным. „Лѣтній“). ⁵ Осталось необъясненным.

² Так в подлиннике (вм. „мораль“, „моралью“). ⁴ Так в подлиннике (вм. „Лѣтній“).

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надеждъ и грусти нѣжной,
Monsieur прогнали со двора.
Вотъ мой Онѣгинъ на свободѣ;
Остриженъ по послѣдней модѣ;
Какъ *dandy* Лондонскій одѣтъ,
И наконецъ увидѣлъ свѣтъ.
Онъ пофранцузски совершенно
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцовалъ,
И кланялся непринужденно:
Чего жъ вамъ больше? свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ уменъ и очень милъ.

V

Мы всѣ учились понемногу,
Чемунибудь и какънибудь:
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,
У насъ немудрено блеснуть.
Онѣгинъ былъ, по мнѣнью многихъ
(Судей рѣшительныхъ и строгихъ),

4

юность	Jugend	Als das Alter Eugen's	л. 4
мятежный	unruhig, rebellisch	bei der rebellischen	
пришлый	angekommen	Jugendperiode ange-	
пора	Zeit, Zeitpunkt, gelegene Zeit	kommen war, dem	
надежда	Hoffnung	Alter der Hoffnungen	
грусть	Kummer, Schwermut	und der zärtlichen	
нѣжный	zart, zärtlich	Schwermut, wurde	
прогнать	vertreiben	Monsieur zum Hause	
дворъ	Haus, Hof	herausgejagt. Voilà	
вотъ ¹		mein Eugen in der	
свобода	Freiheit	Freiheit, sein Haar ge-	
остриженный	beschnitten, beschoren	schnitten nach der let-	
последный ²	[Mode] letzte	zten Mode, angetan	
Мода	Mode	wie ein Londoner Dan-	
одѣть, одѣвать	anziehen	dy und endlich sah	
увидѣть	sehen	er die Welt. Vollkom-	
свѣтъ	die Welt	men im französischen,	
совершенный	vollendet, vollkommen	konnte er sich ausdrü-	
изъяснять	erklären -ся s. ausdrücken	cken und schreiben,	
кляняться	sich verbeugen	tanzte er leicht die	
непринужден-	ungezwungen	Masurka und verbeug-	
ный		te sich mit Anstand.	
больше	comp. v. великой mehr, größer	Was wollt ihr mehr?	
решить	entscheiden, urteilen	Die Welt urtheilte,	
умѣн, ³ умный	klug, gebildet	daß er gebildet und	
		aimabel sei.	

5

понемногу	v. по und немного, wenig	Wir alle haben ein we-
нибудъ ⁴		nig gelernt, wozu und
воспитаніе	Erziehung [питаніе Ernährung]	wie es auch sein
немудрѣн ⁵	nicht schwer zu machen, leicht	mag.
блеснуть	glänzen	
мнѣнья	Meinung	
судей	Gen. pl. судья, der Richter	
рѣшительный	entscheidend	Onegin war, nach der

¹ Осталось необъясненным. ² Так в подлиннике (вм. „последній“). ³ Так в подлиннике (вм. „умень“). ⁴ Осталось необъясненным. ⁵ Одно н вычеркнуто (вм. „немудрено“).

Ученый малый, но педантъ:
Имѣлъ онъ счастливый талантъ
Безъ принужденья въ разговорѣ
Коснуться до всего слегка,
Съ ученымъ видомъ знатока
Хранить молчанье въ важномъ спорѣ,
И возбуждать улыбку дамъ
Огнемъ неожиданныхъ эпиграмъ.

VI

Латынь изъ моды вышла нынѣ:
Такъ, если правду вамъ сказать,
Онъ зналъ довольно полатынѣ,
Чтобъ эпиграфы разбирать,
Потолковать объ Ювеналѣ,
Въ концѣ письма поставить *vale*,
Да помнилъ, хоть не безъ грѣха,
Изъ Энеиды два стиха.

счастливый	glücklich	Meinung vieler (entscheidender und scharfer Richter) ein [geringer] kleiner ² Gelehrter, aber kein Pedant. Er hatte das glückliche Talent ohne Zwang in der Unterhaltung bei allem [etwas Weniger] leicht oberflächlich sich aufzuhalten (zu verweilen), mit dem gelehrten Gesicht des Kenners das Stillschweigen zu bewahren bei wichtigen Debatten.
принуждение	Zwang	
разговоръ	Unterhaltung, Gespräch	
Коснуться	sich aufhalten	
до	(Gen) bis, zu	
учёный	gelehrt	
видъ	aussehen	
знатокъ	Kenner	
молчаніе	Stillschweigen	
важный	wichtig	
Споръ	Wortwechsel, Streit, Disput	
возбуждать	erregen	
улыбка	Lächeln	
нежданный ¹	unerwartet	

Пушкина Евгений Онѣгинъ, глава I

л. 5

6

изъ	aus, von	Das Lateinische [war] [steht jetzt durch die Mode am höchsten], ist aus der Mode gekommen; und so, wenn ich die Wahrheit sagen soll, wusste er Latein genug un Inschriften zu verstehen, und den Juvenal zu lesen (verstehen), am [ans?] Ende eines Briefes hinzusetzen: <i>vale</i> ; auch konnte er auswendig, obwohl nicht ohne Fehler, 2 Verse aus der Aeneide. Er hatte keine Gelüste im chro-
вышла	praet. von вытти herausgehn	
нынѣ	Heutzutage	
если	wenn	
правда	Recht, Gesetz, Wahrheit, Eid	
сказать	sagen, erzählen, erklären	
довольный	genug	
чтобы	damit, um	
разбирать	zerlegen, verstehen <...> ³	
потолковать	erklären, leicht besprechen	
объ	an, um	
конецъ	Ende, Schluß, Ziel	
письмо	Brief	
поставить	hinsetzen	
да	auch	
помнить	sich erinnern	
хоть	obgleich	
грѣхъ	Sünde, Schuld, Unglück	

¹ Так в подлиннике (вм. „нежданный“).² Слово вписано над строкой.³ Неразобранное слово вписано над строкой.

Онъ рыться не имѣлъ охоты
Въ хронологической пыли
Бытописанія земли;
Но дней минувшихъ анекдоты,
Отъ Ромула до нашихъ дней,
Хранилъ онъ въ памяти своей.

VII

Высокой страсти не имѣя
Для звуковъ жизни не щадить,
Не могъ онъ ямба отъ хорея,
Какъ мы ни бились, отличить;
Бранилъ Гомера, Эсокрита;
За то читалъ Адама Смита,
И былъ глубокой экономъ,
То есть, умѣлъ судить о томъ,
Какъ государство богатѣетъ,
И чѣмъ живетъ, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продуктъ имѣетъ.
Отецъ понять его не могъ,
И земли отдавалъ въ залогъ.

рыть	graben, wühlen -ся herumwühlen	nologischen Staub
охота	Lust, Neigung	der..... ⁵ Länder
бытописание	Kosmogonie	herumzuwühlen. Aber
минувший ¹	vergangen	die Anekdoten ver-
отъ	von — — an	gangner Tage, von
память	Gedächtnis, Erinnerung	Romulus bis auf unsre
		Tage, bewahrte er in
		seiner Erinnerung.

7

для	für, um, wegen (с. gen.)	Nicht habend die hohe
страсть	Leiden, Leidenschaft, Furcht	Leidenschaft sein Le-
	vulg.	ben der Poesie zu
звукъ	Laut, Schall, Lärm, Getöse	widmen.
Жизнь	Leben, Lebensart, Stand, Lebens-	
	lauf	
щадить ²	schonen, nachsichtig sein, be-	
	dauern	
отъ	(с. gen.) von, vor, wieder	Er konnte den Homer
битись, <...>	s<ich> schlag<en>, s<ich> be-	und Theokrit nicht
биться	müh<en>	ausstehen; dafür las
отличать, -чить	unterscheiden	er den Adam Smith
бранить	schelten? Feind sein?	und war ein tiefer
за	(с. acc. und instr.) für, wegen,	Oekonom, das heißt
	bei, nach, an	er konnte darüber
глубокий	tief	urteilen wie ein Staat
судить	urteilen, meinen	sich bereichert und
умѣть	können, wissen, verstehen	wodurch er lebt und
богатѣть	reich werden oder machen?	<weswegen> weshalb
богатый	reich ³	das Gold ihm nicht
чѣмъ	instr. von что was	nötig ist, wenn er
по	(dat. acc. präp.) auf, zu, in, we-	[Ueberfluß an] das
	gen, an	rohe Produkt besitzt.
нужный	nöthig	Sein Vater könnte das
простой	Rohproduktion ⁴ [Zeit, überflüs-	[ihm] nicht begreifen,
	sig, chômage]	und mußte seine Län-
нонять	begreifen, einsehen	dereien verpfänden.
земля	Grund und Boden, Ländereien	
отдавать	überlassen, abgeben залогъ	
	Pfand	

¹ Так в подлиннике (см. „минувший“). ² Так в подлиннике (см. „щадить“).

³ Вся строка вписана позже. ⁴ Слово вписано над строкой. ⁵ Точки в подлиннике.

VIII

Всего, что зналъ еще Евгений,
 Пересказать мнѣ недосугъ;
 Но въ чемъ онъ истинный былъ гений,
 Что зналъ онъ тверже всѣхъ наукъ,
 Что было для него измлада
 И трудъ, и мука, и отрада,
 Что занимало цѣлый день
 Его тоскующую лѣнь,
 Была наука страсти нѣжной,
 Которую воспѣлъ Назонъ,
 За что страдальцемъ кончилъ онъ
 Свой вѣкъ блестящій и мятежной
 Въ Молдавіи, въ глуши степей,
 Вдали Итали своей.

IX

.

X

Какъ рано могъ онъ лицемѣрить,
 Таить надежду, ревновать,

8

A. 6

пересказать	wiederzähl(en), nachsagen	Alles [zu wieder] wieder aufzuzählen was Eugen noch wußte dazu fehlt mir die Zeit; aber darin war er ein wahres Genie, dass er besser wusste als alle Wissenschaften [daß] das, was für [seine] ihn seit seiner Jugend Schmerz und Marter und Lust war, und was den ganzen Tag seine <...> beklommene schwärmerische unruhige Faulheit beschäftigt hielt: das war die Wissenschaft der zärtlichen Leidenschaft welche Nason besungen und für welche er als Märtyrer seinen glänzenden und unstäten Lebenslauf beendete in der Moldau, in der Einöde der Steppen, und fern von seinem Italien.
недосугъ	Mangel an Zeit	
тверже	comp. v. твердый fest, stark	
[нев(о)] него	für ero nach e(iner) Proposition	
измлада ¹	seit seiner ² Jugend?	
трудъ	Mühe, Arbeit, Aufgabe, ³ Beschwerlichkeit	
мука	Plage, Marter, Schmerz	
отрада	Linderung, Erquickung	
занимать	Borgen, einen Raum einnehmen	
цѣлый	ganz, völlig	
тоскующій	von тоска Angst? part praes. fem. acc. тосковать	
лѣнь	Faulheit	
который	welcher	
воспѣть	v. пѣть singen, besingen	
страдалецъ	Märtyrer	
кончить, кон- чать	endigen, beschliessen	
вѣкъ	Lebenszeit, Zeitalter, Jahrhundert	
блестящій	v. блестять ⁴ glänzen	
глушь	Dickicht, abgelegne, Gegend	
степь ⁵	Steppe	
въ дали	in der Ferne	

9—10⁶

рано	früh	Wie früh konnte er sich verstellen, seine Erwartungen verbergen, nachahmen, etwas versichern und glauben machen, finster scheinen, matt werden,
лицемѣрить	heucheln, sich verstellen, scheinheilig tun	
таить	verhehlen, verbergen, verschweigen	
ревновать	nachstreben (sl. s(ich) erbittern) eifersüchtig sein ⁷	

¹ Сначала, повидимому, было написано измлада, но затем ъ исправлен на а.

² Слова seit seiner вписаны позже над строкой. ³ Слово Aufgabe вписано позже над строкой. ⁴ Так в подлиннике (вм. „блестѣть“). ⁵ Так в подлиннике (вм. „степь“).

⁶ Вокабулы относятся к строфе X, так как IX, как и ниже XIII и XIV, являются „пропущенными строфами“, в тексте Пушкина заменены рядами точек. ⁷ Подчеркнуто в подлиннике.

Разувѣрять, заставить вѣрять,
Казаться мрачнымъ, изнывать,
Являться гордымъ и послушнымъ,
Внимательнымъ, иль равнодушнымъ!
Какъ томно былъ онъ молчаливъ,
Какъ пламенно краснорѣчивъ,
Въ сердечныхъ письмахъ какъ небреженъ!
Однимъ дыша, одно любя,
Какъ онъ умѣлъ забыть себя!
Какъ взоръ его былъ быстръ и нѣженъ,
Стыдливъ и дерзокъ, а порой
Блесталъ послушною слезой!

XI

Какъ онъ умѣлъ казаться новымъ,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньемъ готовымъ,

разувѣрять	versichern (einem etwas) ¹ einem etwas, ausreden	stolz und demüthig, aufmerksam oder gleichgültig aussehn! Wie schmachkend war er wenn er schwieg, wie flammend wenn er beredt sein wollte, wie sich gehn lassend in innigen Briefen! Für Eins atmend, und Eins liebend(?) wie konnte er sich vergessen! Wie war sein Blick rasch... und zärtlich, verschämt und kühn und zur rechten Zeit, und er glänzte mit einer gehorsamen Träne!
вѣрить	glauben	
казать	zeigen -ся дѣнken, gefallen mit dem adj. in ымъ	
мрачный	dunkel, finster	
изнывать	vertrocknen, von Kräften kommen	
являть	bekannt machen -ся erscheinen, sichtbar werden	
послушный	gehorsam	
внимательный	aufmerksam	
равнодушный	gleichgültig von gleich	
томно	schwach, müde, schmachkend	
молчаливый	schweigend	
пламенный	flammend	
Краснорѣчивый	beredt	
сердечный	innig, herzlich, aufrichtig	
письма	Briefe	
небрежный	faul, träge	
дыша	Athem? von дышать, [дыхать von душа Seele] part. praes. любя, part. praes. любить	
умѣть	verstehen, können, wissen	
забыть	vergessen	
взоръ	Auge, Blick(?)	
быстръ ²		
стыдливый	verschämt	
дерзкій	kühn	
порой v. пора	zur rechten Zeit (instr. statt по-рою)	
слезой	st. слезою instr. v. слеза, Thränen	

11

невинность	Unschuld	Wie verstand er neu(...) ³ v(on) e(iner) neuen Seite ⁴ zu erscheinen, scherzend die Unschuld zu ver-
изумлять	bestürzen — verwirren	
пугать	erschrecken	
отчаяніе	Verzweiflung, Kleinmuth	
готовый	fertig	

¹ Следующие слова вписаны позже над строкой и читаются с трудом.

² Осталось необъясненным. ³ Густо зачеркнуто одно слово (modern? recent?)..

⁴ Слова v(on) e(iner) neuen Seite вписаны над строкой.

Пріятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинныхъ лѣтъ предубѣжденья
Умомъ и страстью побѣждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звукъ,
Преслѣдовать любовь — и вдругъ
Добиться тайнаго свиданья,
И послѣ ей наединѣ
Давать уроки въ тишинѣ!

XII

Какъ рано могъ ужъ онъ тревожить
Сердца кокетокъ записныхъ!
Когда жъ хотѣлось уничтожить

приятный	angenehm, lieblich	wirren, sie zu erschrecken durch fertige (gemachte?) Verzweiflung, durch eine angenehme Schmeichelei (Lüge) zu unterhalten, die Rührung des Augenblicks zu ergreifen (benutzen), die Vorurteile der unschuldigen Jahre mit dem Verstand und der Leidenschaft zu besiegen, eine [zurückgehaltene] unwillkürliche ³ Liebkosung abzuwarten, ein Geständnis zu erflehen und zu fordern, des Herzens ersten Laut zu behorchen, der Liebe nachzujagen und auf einmal eine Heimliche Zusammenkunft zu [erstreben] ergreifen ³ und ihr nachher, [allein, in aller Ruhe in der Stille<.....>] en tête à tête ihr in aller Ruhe Unterricht zu geben.
лесть	lieblosen, Schmeichelei, Falschheit	
ловить	fangen, auffangen минута Augenblick	
умилёніе	Rührung	
невинный	unschuldig	
лѣтъ	gen. plur. v. лѣто, Sommer — Jahre pl.	
предубѣжденіе	Vorurteil	
умъ	Verstand	
побѣждать	besiegen, überwinden	
невольный	unfreiwillig, gezwungene unwillkürlich	
ласка	Liebkosung	
ожидать	erwarten	
молить	inständigst bitten	
требовать	fordern	
признаніе	Geständnis	
подслушать	horchen, behorchen	
звукъ	Laut	
преслѣдовать	verfolgen, nachsetzen	
добиться	streben etwas zu erhalten c. gen.	
тайный	heimlich	
свиданіе	Zusammenkunft	
послѣ	nach, nachher	
наединѣ	allein, jeder für sich, apart	
урокъ ¹		
тишина	Ruhe, Stille	

12

уже	schon
тревожить	erschrecken, beunruhigen
кокетокъ	gen. plur. кокетка Kokette
записный v. записать	registrier(en)
хотѣть	wollen хотѣлось, es verlangte ihn
уничтожить	abschaffen, vernichten

¹ Осталось необъясненным. ² Слово unwillkürliche вписано над строкой.

³ Слово ergreifen вписано над строкой.

Ему соперниковъ своихъ,
 Какъ онъ язвительно злословилъ!
 Какія сѣти имъ готовилъ!
 Но вы, блаженные мужья,
 Съ нимъ оставались вы друзья:
 Его ласкалъ супругъ лукавый,
 Фобласа давній ученикъ,
 И недовѣрчивый старикъ,
 И рогоносецъ величавый,
 Всегда довольный самъ собой,
 Своимъ обѣдомъ и женой.

XIII. XIV

.

XV

Бывало, онъ еще въ постелѣ,
 Къ нему записочки несутъ.
 Что? приглашенья? Въ самомъ дѣлѣ,
 Три дома на вечеръ зовутъ:
 Тамъ будетъ балъ, тамъ дѣтскій праздникъ.
 Куда жъ поскачетъ мой проказникъ?

соперникъ	Nebenbuhler, Gegner
язвительный	verletzend, bitter
злослѳвить	verleumden, verlästern
сѣть	Netz, Fallstrick
готовить	zubereiten
блаженный ¹	
мужъ	der Mann
оставаться	bleiben, übrigbleiben
ласкать	schmeicheln, liebkosen
супругъ	Ehegatte, Gemahl
лукавый	arglistig, tückisch
давній	alt, ehemalig
ученикъ	Schüler
недовѣрчивый	misstrauisch
старикъ	der Alte (Vater?)
рогоносецъ	cocu
величавый	majestätisch
всегда	immerdar
собой v. себя	mit sich selbst
самъ	
обѣдъ	Mittagessen

13—14—15²

бывало	[v. seiner stäunen] es war zu Zeiten
постель	Bett
[Записочка]	
<черновик>, чек?	
Записка-исочка	Billet
несутъ, v. нести	3 plur. präs. bringen, führen man bringt
Ко	zu
приглашеніе	Einladung
дѣло	Geschäft, Sache
въ самомъ дѣлѣ	in der Tat
звать, зову́	einladen
дѣтскій	Kinder
праздникъ	Fest
куда	wohin
поскакать, по- скачу́	springen, laufen hupfen, fahren
проказникъ	Spasmacher, lustiger Geselle

¹ Осталось необъясненнымъ.² Вокабулы относятся к XV строфе; строфы XIII—XIV — „пропущенные“.

Съ кого начнетъ онъ? Все равно,
Вездѣ поспѣтъ немудрено.
Покамѣстъ, въ утреннемъ уборѣ,
Надѣвъ широкій боливаръ,
Онѣгинъ ѣдетъ на бульваръ,
И такъ гуляетъ на просторѣ,
Пока недремлющій брегетъ
Не прозвонитъ ему обѣдъ.

XVI

Ужъ темно; въ санки онъ садится;
„Поди! поди!“ раздался крикъ;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротникъ.
Къ Talon помчался: онъ увѣренъ,
Что тамъ ужъ ждетъ его ***;
Вошелъ, и пробка въ потолокъ,
Вина кометы брызнулъ токъ,

начнетъ в. на-	anfangen
чинать	
равно́	gleich, einerlei
вездѣ	überall
поспѣтъ	reifen, ankommen, [beend] beendigen to be in time
неумдрѣный	leicht, nicht schwar
покамѣсть	bis, solange, während en attendant
утренний ¹	früh, Morgen
уборъ	Putz, Anzug
надѣвъ	gerund. praet. v. надѣтъ, anziehen: nachdem er aufgesetzt hatte
широкій	breit, weit
ѣхать, ѣду	fahren, reisen
просторъ	Geräumigkeit, Mangel an Leuten
пока	bis
недремлющій	unverdrossen
брегетъ	Breguet, der Genfer Uhrmacher, also die Uhr
звонить	läuten
обѣдъ	Mittagessen
	16
ужѣ	schon
темный	dunkel
санки	Schlitten, diminutiv v. сани
подить ²	
раздать ³	herausgehen -ся, erschallen
крикъ	Schrei
морозный	kalt
серебрить	versilbern
бобровый	biberpelzen
воротникъ	Kragen
помчаться	schnell davon laufen, ausziehen
увѣренный	überzeugt, gewiß
ждать ⁴	erwarten
потолокъ	ceiling
брызнуть ⁵	spritzen
брызгать	
токъ	Bach

¹ Так в подлиннике (вм. „утренний“). ² Осталось необъясненным.

в подлиннике (вм. „раздать“).

⁴ Так в подлиннике (вм. „ждать“).

в подлиннике (вм. „брызнуть“).

³ Так

⁵ Так

Предъ нимъ *rost-beef* окровавленный,
 И трюфли, роскошь юныхъ лѣтъ,
 Французской кухни лучший цвѣтъ,
 И Стразбурга пирогъ нетлѣнный
 Межъ сыромъ Лимбургскимъ живымъ
 И ананасомъ золотымъ.

XVII

Еще бокаловъ жажда просить
 Залить горячій жиръ котлетъ;
 Но звонъ брегета имъ доносить,
 Что новый начался балетъ.
 Театра злой законодатель,
 Непостоянный обожатель
 Очаровательныхъ актрисъ,
 Почетный гражданинъ кулисъ,
 Онѣгинъ полетѣлъ къ театру,
 Гдѣ каждый, критикой дыша,
 Готовъ охлопать *entrechat*,
 Обшикать Федру, Клеопатру,
 Моину вызвать — для того,
 Чтобъ только слышали его.

XVIII

Волшебный край! Тамъ, въ стары годы,
 Сатиры смѣлой властелинъ,
 Блесталъ Фонвизинъ, другъ свободы,
 И переимчивый Княжнинъ;

окровавленный	blutig
роскошь	Luxus
цвѣтъ	Blume, Blüte
пирогъ	Pastete
нетлѣнный	unvergängliche
между, межъ	zwischen, unter
сыръ	Käse
живый	lebendig

17

жажда ¹	Durst, Begierde
просить	verlangen — чего, etwas
залить	begießen
горячій	heiß, glühend
жиръ	Fett
звонъ	Schall, Klang
доносить	anzeigen, anklagen
начать	anfangen
злой	bös, boshaft
непостоянный	leichtsinnig, unbeständig
обожатель	Anbeter, Verehrer
очарователь- ный	bezaubernd
почётный	Ehren (Ehrenbürger)
полетѣть ²	ein wenig fliegen
дышá	pt. praes. дышáть atmen
готовый	fertig
охлопать	abreiben, abklopfen
обшикать	auszischen
Моина	(Name eines Schauspielers)
вызвать	herausrufen
только	nur, so eben, eben
слышать	hören, verstehen

18

волшебный	zauberisch
смѣлый	kühn, dreist, verwegen
властелинъ	Beherrscher
переимчивый	gelehrig, leichfassend

¹ Так в подлиннике (вм. „жажда“). ² Так в подлиннике (вм. „полетѣть“).

Тамъ Озеровъ невольны дани
 Народныхъ слезъ, рукоплесканій
 Съ молодой Семеновой дѣлилъ;
 Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ
 Корнеля геній величавой;
 Тамъ вывелъ колкій Шаховской
 Своихъ комедій шумный рой;
 Тамъ и Дидло вѣнчался славой;
 Тамъ, тамъ, подъ сѣнію кулисъ,
 Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! Что вы? где вы?
 Внемлите мой печальный гласъ:
 Всѣ тѣже ль вы? другія ль дѣвы,
 Смѣнивъ, не замѣнили васъ?
 Услышу ль вновь я ваши хоры?
 Узрю ли Русской Терпсихоры
 Душой исполненный полетъ?
 Иль взоръ унылый не найдетъ
 Знакомыхъ лицъ на сценѣ скучной,
 И, устремивъ на чуждый свѣтъ
 Разочарованный лорнетъ,

дань	Tribut, Steuer
слезы	Träne
рукоплесканія	Händeklatschen
дѣлать	teilen
вывести	vorführen, vorstellen
колкій	beißend, spitzig
шумный	lärmend, geräuschvoll
рой	Bienenschwarm
сѣнія (?) pl. сѣ- ни	Hausflur
[неслась] нести	tragen, bringen
вѣнчать	krönen

19

внемл[ить]ю ¹	plur. praes. внимать vernehmen, merken
гласъ	Stimme
тѣже ²	
другій	d. andere
дѣва	d. Jungfrau
сменивъ ³ v. смѣ- нять	ablösen, abwechseln
замѣнить	ersetzen
услѣшать	hören, erhören
вновь	aufs neue
узр[ю]... ⁴	
исполненный ⁵	vollstreckt, erfüllt
полѣтъ	Flug
взоръ	Blick, Gesicht
унылый	verzagt, mutlos
знакомый	bekannt
скучный	langweilig
устремилъ	sich richtend
свѣтъ	Welt
чуждый	nicht Teil habend, frei seiend v. etwas
разочарован- ный, чаро- вать	zaubern

¹ Буква ю описана над строкой. ² Осталось необъясненным. ³ Так в подлиннике (см. „сменивъ“). ⁴ Точки в подлиннике; осталось необъясненным. ⁵ Так в подлиннике (см. „исполненный“).

Веселья зритель равнодушной,
 Безмолвно буду я зѣвать
 И о быломъ вспоминать?

XX

Театръ ужъ полонъ; ложи блещутъ;
 Партеръ и кресла, все кипитъ;
 В райкѣ нетерпѣливо плещутъ,
 И, взвившись, занавѣсь шумить.
 Блистательна, полувоздушна,
 Смычку волшебному послушна,
 Толпою нимфъ окружена,
 Стоитъ Истомина; она,
 Одной ногой касаясь пола,
 Другую медленно кружить,
 И вдругъ прыжокъ, и вдругъ летить,
 Летить, какъ пухъ отъ устъ зола;
 То стань советъ, то разовѣть,
 И быстрой ножкой ножку бѣть.

XXI

Все хлопаеть. Онѣгинъ входитъ;
 Идетъ межъ кресель по ногамъ;

весёлый	vergnügt, fröhlig -лье, Vergnügen
зритель	Zuschauer
равнодушный	gelassig, gleichmütig
безмóльный	still, schweigend, ruhig
зѣвать	gähnen
былóй	geschehene Sache
вспоминáть	erinnern

20

полный	voll
блестѣть	glänzen
кресла	pl. fauteuil
кипѣть	sieden
раѣкъ	Paradies
нетерпѣливый	ungeduldig
плескать	klatschen
взвиться	sich aufrollen
занавѣсъ	Vorhang
шумѣть	rasseln
полувоздушный	halb luftig (воздухъ Luft)
смычѣкъ	Fidelbogen
волшебный	zauberisch
послушный	gehorsam
толпа	Haufen
окружѣнный	umgeben — кругъ, Kreis
касаться	berühren
поль	berühren ¹
медленный	langsam
вдругъ	auf einmal
прыжокъ	Sprung
летѣть	fliegen
пухъ	Daune
уста	Mund
станъ	Taille, Gestalt
свивать	f. falten, biegen
развивать	déployer
быстрый	rasch
бить	schlagen

л. 10

21

входить	eintreten
---------	-----------

¹ Повидимому, ошибочно повторено значение предшествующего слова (в.м. „Fußboden“).

Двойной лорнетъ скосясь наводитъ
На ложи незнакомыхъ дамъ;
Всѣ ярусы окинулъ взоромъ,
Все видѣлъ: лицами, уборомъ
Ужасно недоволенъ онъ;
Съ мужчинами со всѣхъ сторонъ
Раскланяся; потомъ на сцену
Въ большомъ разсѣяннѣ взглянулъ,
Отворотился и зѣвнулъ
И молвилъ: „всѣхъ пора насмѣну;
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надоѣлъ“.

XXII

Еще амуры, черти, змѣи
На сценѣ скачутъ и шумятъ;
Еще усталые лакеи
На шубахъ у подъязда спятъ;
Еще не перестали топтать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Вездѣ блистаютъ фонари;
Еще прозябнувъ бьются кони,
Наскуча упряжью своей,

двойной	doppelt
скосясь в. ко-	Augen zuklemmen
ситься	
навѣдитъ	diriger
незнакомый	unbekannt
ярусъ	Reihe
окинуть	umwerfen
уборъ	Putz
недовольный ¹	unzufrieden
мужчина	Mannsperson
сторона	Seite
раскланяться	s. begrüßen
большой	gross
разсыянье	Zerstreuung
взглянуть	hinblicken
отворотиться	s. umdrehen
зѣвнуть	einmal gähnen, s. v. 19.
молвить	sagen
насмѣну в. смѣ-	Ablösung
на	
терпѣть	dulden
надоѣсть	to become a bore to one

22

скакать, я скачѹ	hüpfen
шумѣть	lärmern
усталый	ermüdet
шуба	Pelz
подъѣздъ	Einfahrt
перестать	aufhören
топать	stampfen
кашлять	husten
шикать	pfeifen, zischen
снаружи	draussen
внутри	drinnen
вездѣ	überall
фонарь	Laterne
прозябнуть	durchfrieren
биться	se débattre
наскуча в. ску-	s. langweilen
чать	
упряжь	Geschirr

¹ Так в подлиннике (вм. „недовольный“).

И кучера вокругъ огней
 Бранять господъ и бьютъ въ ладони:
 А ужъ Онѣгинъ вышелъ вонъ;
 Домой одѣться ѣдетъ онъ.

XXIII

Изобразу ль въ картинѣ вѣрной
 Уединенный кабинетъ,
 Гдѣ модъ воспитанникъ примѣрной
 Одѣтъ, раздѣтъ и вновь одѣтъ?
 Все, чѣмъ для прихоти обильной
 Торгуетъ Лондонъ щепетильной
 И по Балтическимъ волнамъ
 За лѣсъ и сало возитъ намъ,
 Все, что въ Парижѣ вкусъ голодной,
 Полезный промыселъ избравъ,
 Изобрѣтаетъ для забавъ,
 Для роскоши, для нѣги модной,
 Все украшало кабинетъ
 Философа въ осьмнадцать лѣтъ.

XXIV

Янтарь на трубкахъ Цареграда,
 Фарфоръ и бронза на столѣ,
 И, чувствъ извѣженныхъ отрада,
 Духи въ граненомъ хрусталѣ;
 Гребенки, пилочки стальные,

ладонь	d. flache Hand
вонь	fort, heraus
одѣться	s. ankleiden
ѣхать	fahren

23

изображать	darstellen -жу fut.
картина	Bild
вѣрный	getreu, wahr
уединѣнный	einsam
воспитанникъ	Zögling
одѣть	anziehen, одѣваю, präs. ind.
одѣтый	angezogen werdend
прихоть	Laune, Fantasie
обильный	abondant, reich
торговать	handeln, to trade
щепетильный	krämerisch
по	längs, über
волна́	Welle
за	für, лѣсъ Holz
сало	Talg
вози́ть	zuführen
вкусъ	Geschmak
голодный	hungrig
полезный	nützlich
промысль	Handwerk
избрать, избирать	choisir
нѣга	mollesse
украшать	zieren

24

янтарь	Bernstein
тру́бка	Pfeife, труба Röhre, Schornstein
фарфоръ	Porzellan
чувство	Empfindung
изнѣженный	verzärtet
духи́	parfums
гранѣнный	geschnitten
гребѣнка	Kamm, гребень Kamm
пилочка, пила	Feile
сталной ¹	stählern

л. II

¹ Так в подлиннике (вм. „сталной“).

Прямая ножницы, кривья,
 И щетки тридцати родовъ,
 И для ногтей, и для зубовъ.
 Руссо (замѣчу мимоходомъ)
 Не могъ понять, какъ важный Гримъ
 Смѣлъ чистить ногти передъ нимъ,
 Краснорѣчивымъ сумасбродомъ?
 Защитникъ вольности и правъ
 Въ семъ случаѣ совсѣмъ неправъ.

XXV

Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ
 И думать о красѣ ногтей:
 Къ чему бесплодно спорить съ вѣкомъ?
 Обычай деспотъ межъ людей.
 Второй***, мой Евгенийъ,
 Боясь ревнивыхъ осужденій,
 Въ своей одеждѣ былъ педантъ
 И то, что мы назвали франтъ.
 Онъ три часа по крайней мѣрѣ
 Предъ зеркалами проводилъ,
 И изъ уборной выходилъ
 Подобный вѣтренной Венерѣ,
 Когда, надѣвъ мужской нарядъ,
 Богиня ѣдетъ въ маскарадъ.

прямый	gerade
но́жницы	Scheere
кривой	krumm
щётка	Bürste
родъ	Art Geschlecht
ноготь	Nagel
зубъ	Zahn
замѣтить	bemerken (futur.)
мимоходомъ	im Vorbeigehen
понять, пони- мать	begreifen
важный	feierlich, consequential
смѣть	unterstehen
чистить	reinigen
сумасбродъ	maniac, со-умъ-бродить wegwandern
защитникъ	Verteidiger
вольность	licence
случай	Gelegenheit
совѣмъ	ganz
неправъ	unrecht

25

можно	possible
дѣльный	tüchtig
къ чему	wozu
безплодно	fruchtlos
спорить	streiten
вѣкъ	Zeitalter
бояться	schüchtern
ревнивый	eifersüchtig
осуждение	Urteil, судъ, Gericht
назвать, назы- вать	nennen
крайний ¹	äusserst, geringst
мѣра	Maß
зеркала	Spiegel
проводить	[passer] passer
уборная (комна- та)	boudoir
уворный ²	zur Kleidung gehörig
подобный	gleich
вѣтреный	windig, ветръ Wind
надѣть	anziehen
нарядъ	Kleidung

¹ Так в подлиннике (см. „крайний“).² Так в подлиннике.

XXVI

Въ послѣднемъ вкусѣ туалетомъ
 Занявъ вашъ любопытный взглядъ,
 Я могъ бы предъ ученымъ свѣтомъ
 Здѣсь описать его нарядъ;
 Конечно бѣ это было смѣло,
 Описывать мое же дѣло:
 Но *панталоны, фракъ, жилетъ,*
 Всѣхъ этихъ словъ на Русскомъ нѣтъ.
 А вижу я, винюся предъ вами,
 Что ужъ и такъ мой бѣдный слогъ
 Пестрѣтъ гораздо меньше бѣ могъ
 Иноплеменными словами,
 Хоть и заглядывалъ я встарь
 В Академическій Словарь.

XXVII

У насъ теперь не то въ предметъ.
 Мы лучше поспѣшимъ на балъ,
 Куда стремглавъ въ ямской каретѣ
 Ужъ мой Онѣгинъ поскакалъ.
 Передъ померкшими домами
 Вдоль сонной улицы рядами
 Двойные фонари каретъ
 Веселый изливаютъ свѣтъ
 И радуги на снѣгъ наводятъ;
 Усвѣянъ площадками кругомъ,

26

вкусъ	Geschmack
занять	beschäftig
любопытный	neugierig
конечно	natürlich, gewiss
смѣлый	dreist
дѣло	Geschäft
винить	accuser, виниться, bekennen
вина	Schuld
а такъ	auch so
бѣдный	arm
слогъ	Styl
пестрѣть	bunt sein, пестрый, bunt
гораздо	viel
иноплемѣнный	ausländisch, племя, Race
иной	anders
хоть	wenn
заглядывать ¹	hineinsehen

27

теперь	jetzt
предметъ	Gegenstand
поспѣшить	eilen
стремглавъ	Hals über Kopf, стремить(ся), ² eil(en)
ямской	gemietet, ящик, Mietkutscher
поскакать	hingallopieren
померкнуть	düster werden, -еркший, part. prät.
вдоль ³	längs (долгий)
сонный	schläfrig
рядъ	Reihe
веселый	heiter
изливать	ausgießen, лить, gießen
свѣтъ ⁴	Licht
радуга	Regenbogen
наводить	ausführen
усѣять	herumstreuen, bestreuen
плошка	lampion
кругомъ	im Kreise

¹ Так в подлиннике (вм. „заглядывать“).
³ Так в подлиннике (вм. „вдоль“).

² Так в подлиннике (вм. „стремить(ся)“).
⁴ Так в подлиннике (вм. „свѣтъ“).

Блестить великолѣпный домъ;
 По цѣльнымъ окнамъ тѣни ходятъ,
 Мелькаютъ профили головъ,
 И дамъ, и модныхъ чудаковъ.

XXVIII

Вотъ нашъ герой подъѣхалъ къ сѣнямъ;
 Швейцара мимо онъ стрѣлой
 Взлетѣлъ по мраморнымъ ступенямъ,
 Расправилъ волоса рукой,
 Вошелъ. Полна народу зала;
 Музыка ужъ гремятъ устала;
 Толпа мазуркой занята;
 Кругомъ и шумъ и тѣснота;
 Бренчатъ кавалергарда шпоры;
 Летаютъ ножки милыхъ дамъ;
 По ихъ плѣнительнымъ слѣдамъ
 Летаютъ пламенные взоры,
 И ревомъ скрипокъ заглушенъ
 Ревнивый шопотъ модныхъ женъ.

XXIX

Во дни веселій и желаній
 Я былъ отъ баловъ безъ ума:
 Вѣрнѣй нѣтъ мѣста для признаній
 И для врученія письма.
 О вы, почтенные супруги!
 Вамъ предложу свои услуги;

великольпный	prächtig
цѣльный	ganz — окно Fenster mit bloß einer Scheibe
тѣнь	Schatten
мелькать	vorbeischiimmern
чудакъ	Sonderling

28

л. 12

подѣхать	heranfahen
мимо	vorbei
стрѣлой	wie ein Pfeil
взлетѣть	herauffliegen, летѣть fliegen
ступень	Stufe
устать	aufhören, müdwerden
гремѣть	brüll(en), tosen
толпа	Haufe
занять	sich beschäftigen
шумъ	Lärm
тѣснота	Gedränge
бренчать	klirren
пленительный ¹	reizend, captivating
плень ²	Gefangenschaft
слѣдъ	Spur
рѣвъ	Lärm, Brüllen
скрипка ³	Saiteninstrument
заглушать	betäuben
ревнивый	eifersüchtig
шопотъ	Flüstern

29

веселіе	Vergnügen
желаніе	Begierde, Wunsch
вѣрный	sicher (compar.)
признание	confession, Liebeserklärung
вряченіе ⁴	Üeberreichung, вричать, ⁵ рука, Hand
почтенный	ehrbar, почитать, achten
предложить	anbieten
услуга	Dienst

¹ Так в подлиннике (вм. „пленительный“). ² Так в подлиннике (вм. „плѣнь“).³ Первоначально было написано скрипка, но затем б исправлено на п. ⁴ Так в подлиннике (вм. „врученіе“). ⁵ Так в подлиннике (вм. „вручать“).

Прошу мою замѣтить рѣчь:
 Я васъ хочу предостеречь.
 Вы также, маменьки, построже
 За дочерьми смотрите вслѣдъ,
 Держите прямо свой лорнетъ;
 Не то... не то, избави, Боже!
 Я это потому пишу,
 Что ужъ давно я не грѣшу.

XXX

Увы, на разныя забавы
 Я много жизни погубилъ!
 Но если бъ не страдали нравы,
 Я балы бъ до сихъ поръ любилъ.
 Люблю я бѣшеную младость,
 И тѣсноту, и блескъ, и радость,
 И дамъ обдуманнй нарядъ;
 Люблю ихъ ножки: только врядъ
 Найдете вы въ Россіи цѣлой
 Три пары стройныхъ женскихъ ногъ.
 Ахъ, долго я забыть не могъ
 Двѣ ножки!... Грустный, охладѣлой,
 Я все ихъ помню, и во снѣ
 Онѣ тревожатъ сердце мнѣ.

просить	bitten
замѣтить	bemerken, achthaben
рѣчь	Rede
предостерѣчь ¹	warnen
стерѣчь ²	to guard
построже	comp. строгій, streng
смотреть	sehen — слѣдь Spur seht schärfer nach der Spur Eurer Töchter ⁴
держать	halten
прямо	grade
избави	rette — wo nicht, wo nicht, so rette auch Gott
потому	deswegen
давно	lange
грѣшить	sündigen ⁵

30

л. 13

увы	hélas
разный	verschieden
погубить	vergeuden ruinieren
бѣшенный	rasend бѣсъ Teufel
блескъ	Glanz
обдуманый	ausgesucht
врядъ	schwerlich
стройный	wohlgestaltet v. строй Reihe, Glied (Soldat)
грустный	traurig, bekümmert
охлаждѣлый	abgekühlt, хладъ Kälte
сонъ	Traum
тревожать ³	troubler, тревога Zapfenstreich

¹ Так в подлиннике (вм. „предостеречь“ благодаря неправильному словопроизводству от „рѣчь“). ² То же, что в предшествующей строке. ³ Так в подлиннике (вм. „тревожить“). ⁴ Запись относится к стихам: „построже За дочерьми смотрите вслѣдь“.⁵ Записи со слова подѣхать и до слова грѣшить сделаны не на чистой странице, а на странице, которая имела уже следующую запись: Jewgenji Onegin, erstes Kapitel. Analyse.

I. самых честных (sic! вм. честных) правилъ — gen. plur. von самое честное правило | valamogъ — mogъ praet. sing. von мочь können | болным instr. adj. v. больный Krank | шару dat sing. v. шаръ | отходя plur. nom. od(er) v. отходъ statt отходить Rückzüge <...>

Этот текст, очевидно, относился к самой начальной стадии работы над чтением „Евгения Онегина“, но дальнейшая запись была прекращена. Поэтому новую запись со слова подѣхать и до слова грѣшить, чтобы она не сливалась с первоначальным текстом и не казалась его продолжением, пришлось сделать на этой же, но перевернутой верхом вниз странице. Последняя же строка первоначального текста, вклинивающаяся в новую запись, была жирно зачеркнута.

XXXI

Когда жъ, и гдѣ, въ какой пустынѣ,
 Безумецъ, ихъ забудешь ты?
 Ахъ, ножки, ножки! гдѣ вы нынѣ?
 Гдѣ мнете вешніе цвѣты?
 Взлелѣяны въ восточной нѣгѣ,
 На сѣверномъ, печальномъ снѣгѣ
 Вы не оставили слѣдовъ:
 Любили мягкихъ вы ковровъ
 Роскошное прикосновенье.
 Давно ль для васъ я забывалъ
 И жажду славы и похвалъ,
 И край отцевъ и заточенье?
 Исчезло счастье юныхъ лѣтъ,
 Какъ на лугахъ вашъ легкій слѣдъ.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
 Прелестны, милые друзья!
 Однако ножка Терпсихоры
 Прелестнѣй чѣм-то для меня.
 Она, пророчествуя взгляду
 Неоцѣненную награду,
 Влечетъ условною красой
 Желаній своевольный рой.
 Люблю ее, мой другъ Эльвина,
 Подъ длинной скатертью столовъ,
 Весной на муравѣ луговъ,
 Зимой на чугуна камина,
 На зеркальномъ паркетѣ заль,
 У моря на гранитѣ скаль.

XXXIII

Я помню море предъ грозю:
 Какъ я завидовалъ волнамъ,

31

пустына ¹	Einöde (пустой leer)
⟨мет...⟩ мять	pressen
вешный ²	v. vesná Frühling
взлелѣянный ³	verzärtelt
восточный	orientalisch, востокъ Orient
мягкій	weich
ковёръ	Teppich
прикосновение	Berührung косаться ⁴ Berühren
похвала	louange
заточение	Verbannung
исчезнуть ⁵	verschwinden
счастье	Glück
лугъ	Wiese

32

грудь	Busen
ланиа	Wange
прелестный	reizend прелестъ ⁶ Reiz
однако	dennoch
чѣмъ-то	durch irg⟨end⟩ etwas
пророчество- вать	prophezeihen пророк Prophet
неоцѣненный	unschätzbar, цѣна Preis
награда	Belohnung
влечь	führen
условный	entsprechend
своевольный	muthwillig
длинный	lang
скатерть	Tuch, table-cloth, Nappe
мурава	Rasen, gazon
зимá	Winter
чугунъ	Gußbeisen
скалá	Fels

33

гроза	Gewitter Янъ Грозный Ivan der Schreckliche
завидывать	beneiden

¹ Так в подлиннике (вм. „пустыня“).² Так в подлиннике (вм. „вешний“).³ Так в подлиннике (вм. „взлелѣянный“).⁴ Так в подлиннике (вм. „касаться“).⁵ Так в подлиннике (вм. „исчезнуть“).⁶ Так в подлиннике (вм. „прелестъ“).

Бѣгушимъ бурной чередою
 Съ любовью лечь къ ея ногамъ!
 Какъ я желалъ тогда съ волнами
 Коснуться милыхъ ногъ устами!
 Нѣтъ, никогда средь пылкихъ дней
 Кипящей младости моей
 Я не желалъ съ такимъ мученьемъ
 Лобзать уста младыхъ Армидъ,
 Иль розы пламенныхъ ланитъ,
 Иль перси, полныя томленьемъ,
 Нѣтъ, никогда порывъ страстей
 Такъ не терзалъ души моей!

ОТРЫВКИ ИЗЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ОНЕГИНА

Послѣдняя глава Евгенія Онѣгина издана была особо, съ слѣдующимъ предисловіемъ:

„Пропущенныя строфы подавали неоднократно поводъ къ порицанію и насмѣшкамъ (впрочемъ весьма справедливымъ и остроумнымъ). Авторъ чистосердечно признается, что онъ выпустилъ изъ своего романа цѣлую главу, в которой описано было путешествіе Онѣгина по Россіи. Отъ него зависѣло означить сію выпущенную главу точками или цифромъ; но, въ избѣжаніе соблазна, рѣшился онъ лучше выста-

бѣгать	laufen
бурный	stürmisch
череда ¹	Reihe
лечь	legen od⟨er⟩ ложиться
коснуться	berühren
уста	pl. die Lippen
среди	zwischen
пылкій	fougueux
кипящій	siedend v. кипѣть
мучение	Qual мука idem
лобзать	liebkosen
перси	pl. Brüste
томление	Schmachten
порывъ	Aufstoß
терзать	quälen, déchirer

⟨Отрывки изъ путешествія Онѣгина⟩

отрыбокъ ²	Stück, Fragment
путешествіе	Reise, Reisebeschreibung
последній ³	letztbar
слѣдить ⁴	folgen
пропущенный	ausgelassen
подать	übergeben
неоднократно	mehrmals
поводъ	Gelegenheit, Nachsicht
прицаніе	Tadel
насмѣшка	Spott
впрочемъ	übrigens
весьма	sehr
остроумный	scharfsinnig
чистосердеч- ный	aufrichtig
признаться	gestehen
выпустить	weglassen
зависѣть	abhängen
означить	merken, bezeichnen
точка	Punkt
избѣжаніе	Vermeidung
соблазнъ	Aergärniß, Anstoß

¹ Так в подлиннике (вм. „череда“).

² Так в подлиннике (вм. „отрывок“).

³ Так в подлиннике (вм. „последній“).

⁴ Так в подлиннике (вм. „слѣдить“).

вить, вмѣсто девятого нумера, осмой надъ послѣдней Главою Евгенія Онѣгина, и пожертвовать одною изъ окончательныхъ строфъ:

Пора: перо покоя просить;
 Я девять пѣсень написалъ;
 На берегъ радостный выносить
 Мою ладью девятый валь.
 Хвала вамъ, девяти Каменамъ, и проч.“

П. А. Катенинъ (кoему прекрасный поэтический талантъ не мѣшаетъ быть и тонкимъ критикомъ) замѣтилъ намъ, что сіе исключеніе, можетъ быть и выгодное для читателей, вредитъ однако жъ плану цѣлаго сочиненія; ибо чрезъ то переходъ отъ Татьяны, уѣздной барышни, къ Татьянѣ, знатной дамѣ, становится слишкомъ неожиданнымъ и необъясненнымъ: замѣчаніе, обличающее опытнаго художника. Авторъ самъ чувствовалъ справедливость онаго, но рѣшился выпустить эту главу по причинамъ, важнымъ для него, а не для публики. Нѣкоторые отрывки были напечатаны; мы здѣсь ихъ помѣщаемъ, присовокупивъ къ нимъ еще нѣсколько строфъ.

рѣчь	sagen (urtheilen)
выставить	herausnehmen, herausstellen
пожертвовать	opfern
перо	Feder
просить	bitten, verlangen
пѣснь	Gesang
ладья, ладея	Schiff
валъ	Welle
хвалá	Lob, Ruhm
мѣшать	mischen -кому, einem hindern
тонкій	fein
замѣтить	bemerken, merken
исключеніе ¹	Ausschließung
выгодный	vorteilhaft, bequem
вредить ²	schaden ¹
ибо	denn, weil
уѣздный	Provinzial
барышня	Fräulein
знáтный	vornehm
остановиться	werden
необъясненный	unerklärt
замѣчаніе ³	Bemerkung
обличать	überführen, überzeugen
опытный ⁴	erfahren
художникъ	Künstler
оный	jener
чувствовать	fühlen
причина	Ursache
нѣкоторый	e. gewisser, plur. einige
присовокупить	Hinzufügung
нѣсколькый ⁵	einiger, etwas.

¹ Так в подлиннике (вм. „исключеніе“).

³ Так в подлиннике (вм. „замѣчаніе“).

⁵ Так в подлиннике (вм. „нѣсколько“).

² Так в подлиннике (вм. „вредить“).

⁴ Ошибочно поставлено ударение.

МѢДНЫЙ ВОАДНИКЪ

Петербургская повѣсть*

ВСТУПЛЕНІЕ

На берегу пустынныхъ волнъ
Стояль Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдалъ глядѣль. Предъ Нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ,
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Приютъ убогаго Чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣль.

И думалъ Онъ:
„Отсель грозить мы будемъ Шведу;
Здѣсь будетъ городъ заложень,
На-зло надменному сосѣду;
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Всѣ флаги въ-гости будутъ къ намъ —
И запируемъ на просторѣ“.
Прошло сто лѣтъ — и юный градъ,
Полнощныхъ странъ краса и диво,
Изъ тмы¹ лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:

* Происшествіе, описанное въ сей повѣсти, основано на истинѣ. Подробности наводненія заимствованы изъ тогдашнихъ журналовъ. Любопытные могутъ справиться съ извѣстіемъ, составленнымъ В. Н. Веркомъ.

¹ Такъ в подлиннике.

Медный всадник

повороты Египта, Кавказа
всемулице Евразии
русской восточной
взавь и в восток и в запад
византизм
цет
Годичий arm land
Кельт в Кельт
косточка
основкой
мимикрия
мохрих
притоме
Кельтский
Мур в
мурманск
спиритический
музыка
отсель
притоме
заключенный
на
всадник
сосед
природа
судебный
окна
проживаю
запрет
просто
проходит
молниеносный
старая
краса
дуб
милл
белото
вознесение
миллион
горде
прежде
решает

настойчивость
кельтский
просто
восточный
свет
Федеральный
Учреждение
Старинный
Самый
притоме
новостное
поддержка
Склонность

Автограф записей Ф. Энгельса к „Медному всаднику“, л. 15.
Институт Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина при ЦК КПСС.

МѢДНЫЙ ВСАДНИКЪ

л. 15.

повѣсть	Erzählung, Novelle
вступленіе	Einleitung
пустынный ¹	einsam
вдаль	in der Ferne, in d. Länge
глядѣть	sehen
бѣдный	arm, elend, unglücklich
челнѣ	Kahn
несться	getragen, gebracht werden
одинокій	unverheiratet, einsam
мшистый	bemoost
топкій	sumpfig
пріють	Zufluchtsort
невѣдомый	unbekannt
лучь	Strahl
туманъ	Nebel
спрятанный	versteckt
шумѣть	brausen, rauschen
отсѣль	künftig, à l'avenir, désormais
грѣзить	drohen
заложенный	angefangen zu bauen
на зло	zum Verdruß
надменный	anmaßend
сосѣдъ	Nachbar
природа	Natur
сужденый ²	vom Schicksal bestimmt, prädestiniert
окно	Fenster
прорубить	einbrechen
запировать	anfangen zu schmaussen
просторъ	Geräumigkeit, Menschenleere
проходить	verfließen
полнощный	septentrional
странá	Seite, Gegend
красá	Zierde
диво	Wunder, Erstaunen
тма ³	Finsterniß, Dunkel
болѣто, блáто	Morast
вознесться	sich emporschwingen, erstehen
пышный	üppig, prächtig
горделивый	stolz

¹ Так в подлиннике (вм. „пустынный“). ² Так в подлиннике (вм. причастия: „суждено“). ³ Так в подлиннике (вм. „тьма“).

Гдѣ прежде Финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ, нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башень; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова —
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфиноносная вдова.

прежде	ehedem
рыболовъ	Fischer
пасынокъ	Stiefsohn
низкій	niedrig
бросать	werfen
ветхій	alt, abgetragen, baufällig
неводъ	Fischernetz
оживлённый	aufgeweckt, wieder belebt
громáда	Haufen, Menge, großes Gebäude
стройный	wohlgebaut
тѣсниться	sich durchdrängen
башня	Thurm
пристань	Hafen, Landungsplatz
повиснуть, по- висли	schweben, hängen
покрывать	bedecken
склонятся ¹	sich beugen

¹ Так в подлиннике (см. „склоняться“).

Алфавитный указатель русских слов, выписанных Ф. Энгельсом

В настоящий указатель вошли все русские слова, извлеченные Энгельсом из „Евгения Онегина“ и „Медного всадника“, а также родственные им, заимствованные Энгельсом из словарей и грамматик, если эти слова были занесены им в его рукопись, опубликованную выше (стр. 103—155). Здесь эти слова расположены в алфавитном порядке. Слова приводятся в том виде, в каком они стоят в рукописи Энгельса; простейшие пояснения к ним (например, поправки к написанию) заключены в круглые скобки. Стоящие за ними цифры, набранные курсивом, обозначают страницу опубликованной в настоящем издании рукописи; цифры, набранные прямым, обозначают страницы вступительной статьи, на которых можно найти дальнейшие пояснения к выписанным Энгельсом русским словам или к соответствующим им переводам.

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| а 141 | брызнуть (брызнуть) 127 | взлететь 143 |
| балъ 111 | бурный 149 | взоръ 121, 131 |
| барышня 151 | бывало 125 | видъ 115 |
| башня 94, 155 | былой 133 | вина 141 |
| безмолвный 133 | быстръ 121 | винить 141 |
| бесплодно 139 | быстрый 133 | виниться 85, 141 |
| бессонницъ 78, 105 | бытописание 71, 117 | вкусъ 82, 137, 141 |
| берегъ 64, 97, 109 | быть 56, 85, 109 | властелинъ 129 |
| битись 117 | бѣгать 149 | влечь 147 |
| бить 133 | бѣдный 91, 141, 153 | внемлютъ (внемлитель) 131 |
| биться 75, 76, 85, 117, 135 | бѣсъ 78 | внимательный 121 |
| благородный 66, 67, 111 | бѣшенный 145 | внимать 131 |
| блаженный 125 | важный 85, 86, 115, 139 | вновь 131 |
| блато 96, 97, 153 | валь 151 | внутри 135 |
| блескъ 145 | вась 109 | водить 111 |
| блеснуть 65, 113 | вдалъ 93, 153 | возбуждать 115 |
| блестеть 133 | вдоль 141 | воздухъ 133 |
| блестять (блестѣть) 91, 119 | вдохновение 105 | возить 137 |
| блестящій 119 | вдругъ 133 | вознестися 153 |
| блистать 64, 109 | вездѣ 127, 135 | возьметъ 107 |
| бобровый 127 | великой 113 | волею 64, 109 |
| богатый 76, 117 | великолѣпный 143 | волна 137 |
| богатѣть 76, 117 | величавый 125 | волшебный 129, 133 |
| болным (больнымъ) 145 | веселіе 143 | вольность 41, 85, 86, 139 |
| болото 153 | весѣлый, -лье 133, 141 | воиъ 137 |
| больный 63, 107 | весна 147 | воротникъ 127 |
| больше 113 | весьма 149 | воспитаніе 113 |
| большой 135 | ветренный 70, 139 | воспитанникъ 137 |
| бояться 139 | ветръ (вѣтеръ) 139 | вспоминать 133 |
| бранить 69, 75, 76, 111, 117 | ветхій 155 | воспѣть 119 |
| брегъ 64, 97, 109 | вешный (вешній) 91, 147 | востокоъ 147 |
| брегетъ 37, 38, 127 | взвиться 133 | восточный 147 |
| бренчать 143 | взглянуть 135 | вотъ 113 |
| бродить 139 | вздыхать 107 | впрочемъ 149 |
| бросать 155 | взлелѣянный (взлелѣянный) | вреденъ 109 |
| брызгать 127 | 147 | вредить 151 |
| | | вричать (вручать) 143 |

вручение (вручение) 143
 врядь 145
 всевышней 64, 109
 всегда 125
 вступление 93, 153
 входить 133
 въ 109, 125
 въ дали 119
 вывести 131
 выгодный 151
 выдумать 107
 вызвать 129
 выпустить 149
 выставить 151
 выгги (выйти) 115
 вышла 115
 вѣкъ 119, 139
 вѣнчать 131
 вѣрить 121
 вѣрный 137, 143
 гдѣ 109
 глава 103, 105
 гласъ 131
 глубокий 117
 глушь 119
 глядѣть 93, 153
 голодный 82, 137
 гораздо 141
 горделивый 153
 гордый 51, 52, 103
 гордѣть 52, 103
 горестный 105
 горячий 129
 готовить 125
 готовый 121, 129
 гранѣнный 137
 гребѣнка 137
 гребень 137
 гремѣть 143
 гроза 80, 81, 147
 грозить 153
 громада 94, 155
 грудь 147
 грустный 91, 145
 грусть 113
 грѣхъ 115
 грѣшить 145
 гулять 69, 109
 да 115
 давать 111
 давній 125
 давно 145
 дань 131
 дать 111
 двойной 135

дворъ 113
 держать 145
 дерзкій 121
 диво 153
 длинный 147
 для 109, 117
 до 115
 добиться 123
 довольный 115
 докучать 111
 долгий 111, 141
 долгъ 65, 111
 доносить 129
 достойный 53, 103
 другимъ 63, 107
 другій 131
 другъ 109
 дружба 51, 103
 друзья 109
 дума 103, 107
 думать 109
 души 85, 137
 душа 51, 103
 дышать 121
 дыша 41, 121, 129
 дышать 121, 129
 дѣва 131
 дѣлить 131
 дѣло 125, 141
 дѣльный 139
 дѣлѣ 125
 дѣтскій 125
 дядя 58, 105
 его 119
 ее 111
 ежегодный 111
 если 115
 жажда 129
 ждѣть 127
 же 107
 желаніе 143
 живой 51, 91, 103
 живый 91, 103, 129
 жизнь 75, 117
 жиръ 129
 за 111, 117, 137
 забава 64, 105
 забавить 51, 64, 103
 забыть 121
 завидывать 147
 зависѣть 149
 заглядывать (заглядывать)
 141

заглушать 143
 залить 129
 залогъ 53, 103, 117
 заложный 153
 замета 101, 105
 замещаніе (замечаніе) 151
 замѣнить 131, 151
 замѣтить 139, 145
 занавѣсь 133
 занемогъ 33, 145
 занемочь 105
 занимать 119
 занять 141, 143
 записать 123
 записка 85, 125
 записный 70, 123
 записочка 85, 125
 заставить 107
 заточеніе 44, 147
 защитникъ 139
 звать 125
 звонить 127
 звать 37, 129
 звукъ 75, 117, 123
 Зевеса 64, 109
 земля 71, 117
 зеркала 139
 зима 147
 злой 129
 злословить 125
 знакомый 131
 знатный 151
 знатокъ 115
 зову 125
 зритель 131
 зубъ 139
 зѣвать 133
 зѣвнуть 135
 ж 57, 85, 103
 ибо 151
 избави 145
 избежаніе 149
 избирать 137
 избрать 85, 137
 изливать 141
 измлада 119
 измучить 68, 111
 изнывать 121
 изнѣженный 137
 изображать, -жу 137
 исполненный (исполнен-
 ный) 131
 изумлять 121
 исчезнуть (исчезнуть) 147

- изъ 115
 изъяснять 113
 имъ 111
 иной 141
 иноплемённый 141
 исключение (исключеніе) 151
 исполненный 103

 казать, -ся 121
 картина 137
 касаться 133
 кашлять 135
 кипѣть 133, 149
 кипящій 149
 кланяться 113
 ко 125
 коварство 63, 107
 коверъ 147
 кого 107
 кокетка 123
 кокетокъ 123
 колкій 131
 комната 139
 кому 151
 конецъ 115
 конечно 141
 кончать 119
 кончить 119
 косаться (касаться) 147
 коситься 135
 коснуться 115, 149
 который 119
 крайній (краиній) 139
 краса 153
 краснорѣчивый 121
 кресла 85, 86, 133
 кривый 139
 крикъ 127
 кругомъ 141
 кругъ 133
 куда 125
 къ 139
 къмъ 111

 ладея 151
 ладошь 137
 ладья 151
 лавита 147
 ласка 123
 ласкать 125
 лёгкій 105
 лекарство 63, 107
 лесть 123
 летный (лѣтній) 39, 111
 летъ 109

 летѣть 133, 143
 лечь 149
 лить 141
 лицомъ врить 119
 лобзать 149
 ловить 123
 ложиться 149
 лугъ 147
 лукавый 125
 лучше 107
 лучъ 153
 льнь 119
 льсь 137
 лѣто 55, 56, 105, 123
 лѣтъ 55, 123
 любить 121
 любопытный 141
 любя 121

 медленный 133
 между 129
 межъ 129
 мелькать 143
 мечта 53—55, 103
 милый 111
 мимо 143
 мимоходомъ 139
 минувшій (минувшій) 91, 117
 минута 123
 мнѣнья 113
 могъ 33, 145
 мода 113
 моветъ 109
 можно 85, 139
 Монна 42, 129
 молвить 135
 молить 123
 молодой 91, 109
 молчаливый 121
 молчаніе 115
 моралья (мораль) 111
 морозный 127
 ночь 33, 145
 мрачный 121
 мужчина 135
 мужъ 70, 125
 мука 119, 149
 мурава 85, 147
 мученіе 149
 мшистый 153
 мысль 51, 52, 103
 мѣра 139
 мѣшать 151
 мягкій 147
 мятежный 113
 мять 147

 на 109
 наблюдение 105
 наводить 85, 135, 141
 награда 147
 надежда 113
 надменный 153
 надобсть 85, 135
 надѣвъ 127
 надѣтъ 127, 139
 наединѣ 123
 назвать 139
 на зло 153
 называть 139
 наконецъ 111
 нарядъ 139
 наскуча 135
 наследникъ 101, 109
 насмѣну 135
 насмѣшка 149
 начать 129
 начинать 127
 начнеть 127
 наука 107
 не 51, 103
 небрежный 105, 121
 невинность 121
 невинный 123
 нево (него) 90
 неводъ 155
 невольный 123
 невѣдомый 153
 него 119
 недовольный 135
 недовѣрчивый 125
 недосугъ 119
 недремающій 37, 127
 нежданный 115
 незнакомый 135
 незрѣлый 105
 некогда 109
 немного 113
 немудрёный (немудрено) 113
 немудрёный 127
 необъясненный 151
 неоднократно 149
 неопъенный 147
 непостоянный 129
 неправъ 139
 непринужденный 113
 неслись 131
 нести 125, 131
 несться 93, 96, 153
 несутъ 125
 нетерпѣливый 133
 нетленный 129
 нибудь 113

- низкій 63, 107, 155
 нимъ 111
 но 103, 107
 ноготь 139
 ножицы 139
 нужный 117
 нынѣ 115
 нѣга 85, 137
 нѣжный 113
 нѣкогда 65, 109
 нѣкоторый 151
 нѣсколькый (несколькый) 151
- обдуманый 145
 обильный 85, 137
 обличать 151
 обожатель 129
 обшаривать 129
 объ 115
 объѣдъ 125, 127
 одинокій 93, 97, 153
 однако 147
 одѣвать 113
 одѣваю 137
 одѣтый 137
 одѣтъ 113, 137
 одѣться 137
 оживленный 94, 155
 ожидать 123
 означить 149
 окинуть 135
 окно 143, 153
 окровавленный 129
 окруженный 133
 она 111
 оный 151
 опытный 151
 оставаться 125
 остановиться 151
 остриженный 113
 остроумный 149
 осужденіе 139
 отворотиться 135
 отдавать 117
 отдавать, -чить 117
 отлично 66, 111
 отрада 119
 отрывокъ (отрывокъ) 149
 отсель 85, 98, 153
 отходить 145
 отходъ 63, 107, 145
 отходя 145
 отчаяніе 121
 отъ 117
 охладѣлый 79, 91, 145
 охлопать 129
 охота 117
- очаровательный 129
 память 117
 пасынокъ 155
 первая 105
 преимчивый 129
 пересказать 119
 перестать 135
 перо 151
 перси 149
 пестрый 103, 141
 пестрѣть 141
 печальный 63, 107
 пила 137
 пилочка 137
 пирогъ 129
 письма 121
 письмо 115
 питаніе 113
 пламенный 121
 племя 141
 пленительный 85, 87, 143
 пленъ 143
 плескаться 133
 плодъ 105
 плашка 38, 39, 85, 141
 по 113, 117, 137
 побѣждать 123
 повисли 155
 повиснуть 94, 155
 поводъ 149
 повѣса 109
 повѣсть 93, 153
 погубить 145
 подать 149
 подить 38, 127
 подносить 63, 107
 подобный 139
 подслушать 123
 подушка 63, 107
 подѣзды 135
 подѣхаты 143
 пожертвовать 151
 познакомить 109
 пока 127
 покамѣсть 85, 91, 127
 покрывать 94, 155
 полезный 137
 полететь 129
 полѣтъ 131
 полный 85, 96, 153
 полный 133
 полувоздушный 133
 полуживый 63, 107
 полупечальный 105
 полусмешный 105
 поль 133
 померкнуть, -еркшій 141
- помнить 115
 помчаться 127
 понемногу 113
 понимать 139
 понять 117, 139
 поправлять 107
 пора 113, 121
 порицаніе 149
 порою 121
 порою 121
 порывъ 149
 позволить (позволить) 109
 поскакать 125, 141
 поскачу 125
 послушный 121, 133
 послѣ 123
 послѣдний (послѣдній) 113, 149
 поспѣть 127
 поспѣшить 141
 поставить 115
 постель 125
 постороже 145
 потолковать 115
 потолокъ 85, 86, 127
 потому 145
 потому 111
 похвала 85, 147
 почётный 129
 почитать 143
 почтенный 143
 почтовый 65, 109
 правда 115
 правило 33, 105, 145
 правилъ 33, 58, 145
 праздникъ 125
 предисловіе 109
 предложить 143
 предметъ 141
 предостерѣчь (предостеречь) 85, 145
 представить 51, 103
 предубѣжденіе 123
 прежде 155
 прекрасный 103
 прелестный 147
 прелесть (прелестъ) 147
 преслѣдовать 123
 приглашеніе 125
 признаніе 85, 87, 123, 143
 признаться 149
 прикосновеніе 147
 примѣръ 63, 107
 привужденіе 115
 принять 103
 природа 153
 присвокупить 151

- пристаян 94, 155
 пристрастный 56, 57, 103
 прихоть 81, 137
 причина 151
 пришлый 113
 приютъ 153
 приятель 109
 приятный 123
 про 107
 проводить 85, 139
 прогнать 113
 прозябнуть 135
 проказникъ 125
 промотать 111
 промысел 82, 137
 пропущенный 149
 пророк 147
 пророчествовать 147
 прорубить 98, 153
 просить 129, 145, 151
 простой 76, 77, 78, 85, 117
 престонародный 105
 просторъ 127, 153
 простота 51, 103
 проходитъ 153
 прочь 63, 107
 прыжокъ 133
 прямо 145
 прямой 139
 пугать 121
 пустой 78, 147
 пустына (пустыня) 78, 147
 пустынный (пустынный) 93, 97, 153
 путешествие 149
 пухъ 133
 пылкй 85, 149
 пылъ 65, 109
 пыль 65, 109
 пышный 153
 пѣснь 151
 пѣть 119
 равно 127
 равнодушный 121, 133
 радуга 141
 раекъ 133
 разбирать 115
 развивать 85, 133
 разговоръ 115
 раздать, -ся 127
 равный 145
 разочарованный 131
 разсѣянье 135
 разувѣрять 121
 рано 119
 раскланяться 135
 ребенокъ 111
 ровниный 139, 143
 ревновать 119
 рѣвъ 143
 решить 113
 роконосецъ 85, 125
 родить 109
 родный 109
 родъ 139
 рой 131
 роскошь 129
 рука 56, 143
 рукоплесканія 131
 рыболовъ 155
 рыть 117
 рѣзвый 111
 рѣзовъ 111
 рѣчь 145, 151
 рѣшительный 113
 рядъ 141
 сабавлять (забавлять) 63, 64, 101, 107
 садъ 39, 111
 сало 137
 самое 33, 145
 самом 125
 самый 58, 105
 самых 33, 145
 самъ 58, 125
 сани 127
 санки 127
 свивать 133
 свиданіе 123
 свобода 113
 своевольный 147
 свѣтъ 51, 52, 103, 113, 131
 свѣтъ (свѣтъ) 141
 себя 125
 сей 109
 сердечный 121
 сердце 105
 серебрить 127
 сидѣть 63, 107
 сіе 109
 сія 109
 сказать 115
 скакать 135
 скала 147
 скатерть 85, 147
 скачу 135
 склоняться 94, 155
 скосясь 135
 скрипка 143
 скука 63, 107
 скучать 135
 скучный 131
 слегда 111
 слеза 121
 слезой 121
 слезою 121
 слезы 131
 слогъ 141
 служибъ (служивъ) 66, 67, 101, 111
 случай 139
 слышать 129
 слѣдить 149
 слѣдъ 143, 145
 сменивъ 131
 смотрѣть 145
 смычекъ 133
 смѣлый 129, 141
 смѣна 135
 смѣнять 111, 131
 смѣть 139
 снаружи 135
 со 139
 соблазнъ 149
 собой 125
 собранье 103
 совершенный 113
 совсѣмъ 139
 сонный 141
 сонъ 79, 80, 145
 соперникъ 125
 сосѣдъ 153
 сперва 111
 спорить 139
 споръ 115
 спрятанный 153
 спѣшить 57, 105
 средь 149
 стремиться (стремиться) 141
 стальной (стальной) 137
 станъ 85, 133
 старикъ 125
 степь 119
 стерѣчь (стеречь) 145
 сторона 135
 страдалецъ 119
 страна 153
 страсть 75, 117
 стремглавъ 141
 строгій 73, 111, 145
 строй 79, 145
 стройный 79, 94, 145, 155
 стрѣлой 143
 ступень 143
 стыдливый 121
 судей 113

- судить 98, 117
судь 139
судьба 111
судья 113
сужденый (суждено) 98, 153
сумасбродъ 83, 85, 139
супругъ 125
счастливый 115
счастье 147
сыръ 129
сѣверъ 109
сѣнія (см. сѣни) 131
сѣть 125
- таить 119
тайный 123
такъ 57, 85, 103, 109, 141
твердый 119
тверже 119
тебѣ 51, 103
темный 127
теперь 141
терзать 85, 149
терпѣть 135
тишина 123
тма (тьма) 95, 96, 153
токъ 127
толпа 133, 143
только 129
томленіе 149
томно 121
тонкій 151
топать 135
топкій 153
торговать 85, 137
торопится 57, 105
тоска 119
тосковать 119
тоскующей 119
точка 149
требовать 123
тревога 145
тревожать (тревожить) 79,
80, 123, 145
тревожить 85
труба 137
трубка 137
трудъ 119
туманъ 153
тѣже 131
тѣнь 143
тѣсниться 94, 155
тѣснота 143
- убогой 68, 69, 111
уборная 85, 139
- уборъ 127, 135
уважать 59, 107
увидѣть 113
уворный (sic) 139
увы 85, 145
увѣренный 127
увядать 105
увядшій 105
уединённый 137
уже 123, 127
узрю 131
украшать 137
улыбка 115
умён 113
умиленіе 123
умный 113
умъ 105, 123, 139
умѣть 117, 121
уничтожить 123
унылый 131
упряжь 135
урокъ 123
условный 147
услуга 143
услышать 131
уста 133, 149
усталый 135
устать 143
устремилъ 131
устья 141
утренний (утренній) 127
ученикъ 125
учёный 71, 72, 115
учить 111
уѣздный 151
- Фарфоръ 137
фонарь 135
- хвала 151
хладь 145
ходить 111
холодный 105
хоть 115, 141
хотьлосъ 123
хотѣть 51, 103, 123
хранить 111
художникъ 151
- цѣвъъ 129
цѣлый 119
цѣльный 143
цѣна 147
- чагъ (шагъ) 101, 107
чаровать 131
- часть 109
чего 129
челнъ 93, 153
чему 139
череда 149
черновик, -чек 125
чёрт 107
честное (честное) 33, 145
чествых (честных) 33, 145
честный 58, 105
чистить 139
чистосердечный 149
читатель 109
что 117
чтобъ 111
чтобы 111, 115
чувство 137
чувствовать 57, 105, 151
чугунъ 147
чудака 143
чуждый 131
чѣмъ 117
чѣмъ-то 147
- шагу 145
шагъ 63, 145
шалость 111
шикать 135
широкій 127
шопотъ 143
шуба 135
шумный 131
шумъ 143
шумѣть 133, 135, 153
шутить 69, 111
шутка 105
шуть 69, 111
шутя 69, 111
- щадить 117
щепетильный 81, 82, 137
щётка 139
- ѣду 127
ѣхать 127, 137
- юность 113
- я 135
являть, -ся 121
язвительный 125
ямской 141
ямщик 141
янтарь 137
Янъ Грозный 80, 147
ярусъ 135
ясный 51, 103

Н. К. ПИКСАНОВ

ПУШКИН и ГОРЬКИЙ

Перед нашим историческим, теоретическим, эстетическим сознанием неотступно, повседневно стоят Пушкин и Горький. Пушкин и Горький как основоположники двух великих эпох в истории литературы: один — как родоначальник новой русской литературы, другой — как родоначальник социалистического реализма. Творчество того и другого взаимно дополняется и взаимно освещается. Изучить это было бы обязанностью советских литературоведов, если бы даже Горький никогда и никак не высказывался о Пушкине. Но мы имеем не только высказывания Горького о Пушкине, а целое учение о Пушкине в системе воззрений Горького.¹

Первая и глубоко знаменательная встреча Горького с Пушкиным произошла, когда Алеше Пешкову было всего двенадцать лет, в 1880 году, т. е. в год торжеств в Москве по случаю открытия памятника Пушкину.

В том бескультурье, каким тогда был окружен мальчик, он, вероятно, и не слышал о пушкинских празднествах. Но он по-своему отпраздновал пушкинские торжества. В десятой главе своей чудесной автобиографической повести „В людях“ Горький об этом вспоминает так (ему тогда попались поэмы Пушкина в нарядном томике):

„Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место...“

¹ Из специальной литературы вопроса см.: С. Д. Балухатый. А. М. Горький о Пушкине. „Вестник Академии Наук СССР“, 1937, № 2—3; Н. К. Пиксанов. Горький — историк русской литературы. Сб. „Вопросы истории отечественной науки“, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1949; С. М. Брейтбург. Горький о Пушкине-драматурге. „Театр“, 1949, № 5; Д. Д. Благой. Пушкин в оценке Горького. „Горьковские чтения, 1947—1948, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1949; Н. Ф. Бельчиков. Пушкин и Горький. „Ленинградская правда“, 1951, № 131, 6 июня.

„Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну... Полнозвучные строки стихов запомнились удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!“ (т. 13, стр. 348—349).¹

Если мы припомним те „свинцовые мерзости“, в тисках которых жил тогда мальчик, все эти обиды, побои, прямые истязания, злобные гонения на книгу, — первая встреча Горького с Пушкиным станет для нас еще значительнее.

Было что-то глубоко личное, интимное в этом страстном, энтузиастическом восприятии отроком Горьким поэзии Пушкина.

В повести „В людях“ мы читаем дальше:

„Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну“ (т. 13, стр. 349).

Каким-то исконным запросам и силам будущего великого пролетарского писателя ответило творчество Пушкина в этой ранней встрече.

У нас нет прямых данных о том, как шло дальнейшее освоение Горьким наследия Пушкина. Но несомненно, что и подростком, в Нижнем, вращаясь среди школьников-гимназистов, и позднее, в Казани, работая в нелегальных кружках и выступая там с докладами, и позже, опять в Нижнем, и в Тифлисе, и снова в Нижнем — Горький читал и перечитывал Пушкина. Когда он стал газетным работником и сотрудничал в „Самарской газете“, его фельетоны, очерки и рассказы уже пестрят упоминаниями и ссылками на Пушкина.

Особым этапом в освоении Пушкина следует признать период 1907—1908 годов, когда, готовясь к каприйскому курсу по истории русской литературы, Горький перечитывал русских классиков, в том числе, несомненно, и Пушкина.

Общение с Пушкиным усиливалось около того же времени и через общение с русскими пушкинистами: С. А. Венгеровым, Д. Н. Овсяннико-Куликовским, с которым тогда Горький усердно переписывался. Горький уже владел большим запасом данных, накопленных к тому времени русским пушкиноведением.

Так, например, он хорошо знал и правильно ценил труды старого пушкиниста П. В. Анненкова, о чем упоминает в своих высказываниях о Пушкине.

Такова была история знакомства Горького с Пушкиным.

¹ Здесь и в дальнейшем цитирую по изданию: М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, Гослитиздат, 1950 и сл.

Следует сказать также о том, как Горький пропагандировал Пушкина. Пропаганда Пушкина Горьким началась немедленно вслед за первым чтением Пушкина, в отрочестве. Горький пишет в той же повести „В людях“:

„Нередко я пересказывал эти сказки денщикам (жившим во дворе того же дома, где жил Горький,—*Н. П.*); они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

„— Вот славно, а? Ах, господи...“

„Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

„— Зачитался, пострел, а самовар четвертый день не чищен! Как возьму скалку...“ (т. 13, стр. 349).

Конечно, и позднее многократно Горький пропагандировал Пушкина в той трудовой среде, в которой вращался. Мы помним прекрасные страницы автобиографической повести, где Горький рассказывал, как он прочитал дермонтовского „Демона“ иконописцам, и можем предполагать, что Алеша им читал, может быть наизусть, также сказки и поэмы Пушкина.

Гораздо позднее Горький пропагандировал Пушкина среди слушателей каприйской школы, русских рабочих, приехавших со всех концов России на Капри, и мы увидим дальше, насколько эта пропаганда была значительна.

Горький не устал энтузиастически восхвалять творчество Пушкина. В 1917 году он пишет: „Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России“. В 1919 году: „Пушкин и он <Толстой>—нет ничего величественнее и дороже нам“. В 1925: Пушкин—„величайший в мире художник“.¹ В 1929: „несравнимый ни с кем..., человек совершенно изумительного таланта“. В 1931: „колоссальный и универсальный талант Пушкина—талант психически здоровый и оздоровляющий“. И близко к смерти, в 1934 году: „колоссальнейший поэт наш“, „гигант“.²

Советскому читателю и писателю Горький завещал:

„Читайте почаще Пушкина, это—основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел,—не верьте,—стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетлен“.³

Советской социалистической культуре Горький стремился передать славное наследие Пушкина. Знаменательно, что Горький стремился истолковать это наследие Пушкина и для зарубежных стран. В 1925 году для одного американского издательства, выпускавшего однотомник прозы Пушкина в английском переводе, Горький написал

¹ М. Горький. О Пушкине. 1937, стр. 75, 76.

² М. Горький. О литературе. 1937, стр. 339, 54, 467.

³ Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи. 1940, стр. 22—23.

предисловие. Это было высоко принципиальное, глубоко продуманное выступление. Ведь Горький издавна был врагом американской долларовой культуры, врагом капитализма, империализма. Он стал потом беспощадным изобличителем фашизма. Но Горький никогда не смешивал воедино двух Америк. Он знал, что существует Америка простых людей, рабочих, Америка демократическая. К этой второй, иной, лучшей Америке обратился Горький с призывом читать Пушкина. То, что написал Горький в 1925 году, — не предисловие, это декларация, это лирическое воззвание.

„Пушкин — автор изумительных по силе и страстной нежности чувства лирических стихов, создатель таких эпических и мудрых поэм, каковы «Медный всадник», «Полтава», чудесных по изяществу сказок «Руслан и Людмила», «Русалка»; он изумительно с блестящим юмором изложил гибким, звонким стихом мудрые сказки русского народа — «Золотой петушок», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике Балде»; он создал лучшую в русской литературе и до сего дня непревзойденную историческую драму «Борис Годунов», вероятно известную Америке по знаменитой опере Мусоргского“. Дальше Горький говорит о повествовательной прозе Пушкина, что его „Пиковая дама“, „Дубровский“, „Станционный смотритель“ и другие „положили основание новой русской прозе, смело ввели в литературу новизну тем и, освободив русский язык от влияний французского, немецкого, освободили и литературу от слащавого сентиментализма, которым болели предшественники Пушкина“.

„Роман в стихах «Евгений Онегин», — пишет дальше Горький, — навсегда останется одним из замечательнейших достижений русского искусства...“.

Для читателей-иностранцев, для иностранцев-друзей Горький выдвигает общепонятные, обобщающие образы и темы творчества Пушкина:

„Такие его произведения, как «Скупой рыцарь», «Египетские ночи», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», обнаруживают в Пушкине редкую даже и для гениальных художников слова способность таинственно проникать в дух и быт чужих стран, отдаленных эпох. На этих произведениях Пушкина особенно ярко сверкает печать неувыдаемости, бессмертия, гениальной прозорливости“.

В конце статьи, напоминая американским читателям, в какой тяжелой политической обстановке творил Пушкин, Горький пишет:

„Творчество Пушкина — широкий, ослепительный поток стихов и прозы, Пушкин как бы зажег новое солнце над холодной, хмурой страной, и лучи этого солнца сразу оплодотворили ее...“.

„Для историка литературы нет темы, более значительной и сказочной, чем жизнь и творчество «Пушкина»“.¹

¹ Архив А. М. Горького, т. III, Гослитиздат, М., 1951, стр. 224, 225.

Итак, самоочевидно: Пушкин был „вечным спутником“ Горького в его чтениях, размышлениях и литературно-пропагандистской деятельности. Пушкин был близок Горькому интимно, он был ему кровно родственным.

Учился ли Горький у Пушкина как художник — так, как учились у Пушкина Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Толстой? После всего того, что уже сказано выше, ответ может быть только положительным. Но этот важный вопрос не был еще предметом специального исследования, и такой пробел одинаково лежит на ответственности как горьковистов, так и пушкинистов.

Не смог бы и я ответить на вопрос полностью. Но для меня ясно и бесспорно, что в исследовании художественно-творческих воздействий Пушкина на Горького не следует применять буквалистских приемов, этой погони за параллелями, за мелкими совпадениями в языке, образах, сюжетах и пр.

Как исследователь поэтического, стихотворного наследия Горького, я уже отмечал, что Горький учился, не мог не учиться у Пушкина „музыке стиха“.

Мне приходилось указывать, в частности, на сближение Горького с Пушкиным в лиризме и в описаниях в его крымских и бесарабских очерках и рассказах. Горький высоко ценил „Бориса Годунова“ Пушкина и много раз говорил об этом. Горький не мог не испытать в своих собственных драматических произведениях того или иного воздействия высокого драматургического мастерства Пушкина. Но самое существенное, что воспринимал Горький-писатель из творчества Пушкина, — это не частности, а общее, глубокое: реализм, гуманизм, народность, свободолюбие. Это живо, пластически ощущается, когда знакомишься с историко-литературными оценками Пушкина, данными Горьким.

Был этап в жизни и творчестве Горького, когда великий пролетарский писатель-художник, ведущий критик, публицист-трибун стал *научным работником*, включился в ученый цех. Это было в 1907—1908 годах, когда Горький готовил курс русской литературы и потом читал его в рабочей каприйской школе.

Рукопись каприйских лекций Горького на долгие годы, на десятки лет, была скрыта от читателя. Она была открыта и оценена только в 1936 году С. Д. Балухатым, нашим покойным сотоварищем по Пушкинскому Дому, и в этом открытии огромная заслуга покойного Сергея Дмитриевича. Когда в наше время, т. е. через сорок с лишком лет, перечитываешь этот текст, то поражаешься свежести, прозорливости многих мыслей Горького, словно он многое в этой черновой рукописи писал в наши дни. Замечу, что многое, что Горький, очевидно, уже тогда думал о Пушкине, он раскрыл в позднейших статьях, либо в письмах и в беседах с друзьями.

Замечательны суждения Горького о языке литературном и народном и о языке Пушкина. В наши дни, когда впервые всесторонне и глубоко рассматривается проблема национального языка, важно вспомнить, что писал Горький о языке Пушкина:

„Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как «добно обрабатывать его“.¹

Горький напоминал, что Пушкин учился русскому языку „у Крылова, еще больше у своей няньки и всегда у ямщиков, торговков, в трактирах, на постоянных дворах, у солдат“.

Ценно то, что говорил Горький относительно связи Пушкина с народным творчеством. Горький писал:

„... Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу... Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу.

„Возьмите сказку «О попе и работнике Балде», «О золотом Петушке», «О царе Салтане» и т. д. Во всех этих сказках насмешливое, отрицательное отношение народа к попам и царям Пушкин не скрыл, не затушевал, а, напротив, оттенил еще более резко“.²

Пушкин перевел с сербского несколько народных сказаний, записывал во время путешествий сказки и песни, собирал песни о Степане Разине, образцы народной речи, описал жизнь деревни в „Истории села Горюхина“.

В своем „Курсе“ и в других произведениях Горький многократно говорит о том, как Пушкин неотрывно, постоянно думал о народе, о его исторической судьбе, об особенностях его характера, о его будущем.

Горький чувствовал и видел, что в старой русской литературе о русском крестьянстве, о русском народе говорилось не всё то, что следовало. Старая русская литература, как отмечает Горький, предпочитала говорить о покорности судьбе, о смирении русского мужика. Тем выше Горький ценил Пушкина в его стремлении воссоздать свободолюбивые движения русского народа. Это стремление Горький отмечает в излюбленной им драме „Борис Годунов“. Горький сам готовился писать повесть из эпохи Степана Разина; тем выше ценил он то, что Пушкин создал „Капитанскую дочку“. Горький писал: „Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где, с проникательностью историка, дал живой образ казака Емельяна

¹ М. Горький. О литературе. 1937, стр. 220.

² М. Горький. История русской литературы. 1939, стр. 101, 98—99.

Пугачева, организатора одного из наиболее грандиозных восстаний русских крестьян“.¹

Изучая политическую биографию Пушкина и кратко излагая ее в каприйском курсе, Горький хорошо понимал весь трагизм положения Пушкина в годы мертвящего режима николаевского времени и чутко это охарактеризовал. Он отмечал, что Пушкин, горячо любивший свою родину, в то же время называл Русь „проклятой“. Горький говорит о сетованиях Пушкина на условия современной жизни:

„Даже гибкий, как меч каленой стали, Пушкин, один из славнейших великомучеников русских, и тот восплакал с тоски и обиды:

«И дернул черт меня родиться в России с талантом и душою!»“
(„О русской интеллигенции и национальных вопросах“, 1912).²

И что замечательно—Горький тотчас же спешит отметить, что Пушкин не впал в пессимизм; наоборот, Пушкин,—пишет Горький,—знает прошлое своей страны, но не отравлен им (т. 24, стр. 149).

Исторически правильно Горький устанавливает тесные связи Пушкина с революционным движением его времени, с декабристским движением, и вновь здесь выдвигает политический и исторический оптимизм Пушкина, находя объяснение ему в том, что Пушкин верил в народ.

Горький был далек от идеализации Пушкина, от того, что именуется „лакировкой“ классиков. Он твердо говорит о тех неизбежных исторических ограничениях, какие время и социальная борьба накладывали на Пушкина. Но Горький уже в 1908 году умел осмыслить положение Пушкина в социальной и идеологической борьбе его времени, осмыслить диалектически. Горький пишет: „... на примере его творчества мы видим, что писатель, богатый знанием жизни..., в своих художественных обобщениях выходит из рамок классовой психики, возвышается над тенденциями класса — и объективно рисует нам этот класс с внешней стороны как неудачную и нестройную организацию части исторического опыта, с внутренней — как психику своекорыстную, полную непримиримых противоречий“.

„Несомненно,—пишет далее Горький,—что Пушкин—дворянин, он сам одно время кичился этим, но нам важно знать, что уже в юности своей он почувствовал тесноту и духоту дворянских традиций, понял интеллектуальную нищету своего класса, его культурную слабость и отразил всё это, всю жизнь дворянства, все его пороки и слабости с поразительной верностью...

„Его произведения—драгоценное свидетельство умного, знающего и правдивого человека о нравах, обычаях, понятиях известной эпохи; все они суть гениальные иллюстрации к русской истории“.³

¹ Архив А. М. Горького, т. III, стр. 224.

² М. Горький. Материалы и исследования, т. I, Л., 1934, стр. 66.

³ М. Горький. История русской литературы, стр. 103, 104.

Приведу еще одну цитату о Пушкине из того же источника:

„Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными, унаследованными качествами, — всё дворянское, всё временное — это не наше, это чуждо и не нужно нам...“

„Но именно тогда, когда мы откинем всё это в сторону, — именно тогда пред нами и встанет великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», автор лучшей нашей исторической драмы «Борис Годунов», поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы“.¹

Однажды, перечислив передовых писателей мировой литературы, назвав среди них Грибоедова, Гоголя, Толстого, Салтыкова-Щедрин и определив их как безукоризненно правдивых и суровых обличителей „пороков командующего класса“, — Горький немедленно добавил: „и несравнимый ни с кем Александр Пушкин, человек совершенно изумительного таланта“.²

Горький высоко ставил и выдвигал гуманизм Пушкина. Историко-литературная чуткость Горького ярко проявилась в вопросе о Пушкине и Гоголе. Горький писал:

„Достоевский, говоря о сострадании, как основной ноте русской литературы, сказал: «вся русская литература вышла из „Шинели“, рассказа Гоголя““.

Горький возражает:

„Это несомненное преувеличение, мы с большим правом можем сказать, что реализм в русской литературе начал Пушкиным, именно его «Станционным смотрителем» и вообще им...“.³

Эту же мысль Горький повторил и в своих замечаниях „К «Проекту программы для литкружков»“ (1935): „Реализму нашей литературы гораздо более Гоголя послужили «Повести Белкина»...“.⁴ Современное советское литературоведение, и пушкиноведение, и гоголеведение, принимают эту существенную поправку Горького к вопросу о соотношении между Пушкиным и Гоголем. Характеризуя Гоголя, Горький писал, что он, „руководимый Пушкиным, встал однажды на верный путь, и на этом пути он был крепок и силен и пока он был на нем — он создал лучшие свои произведения, они — наши, ибо они здоровы, правдивы, революционны...“.⁵

В особую заслугу Горькому следует вменить то, что Горький сам понимал литературу как великое национальное дело и о Пушкине

¹ Там же, стр. 103.

² М. Горький. О литературе. 1937, стр. 339.

³ М. Горький. История русской литературы, стр. 127.

⁴ Архив А. М. Горького, т. III, стр. 241.

⁵ М. Горький. История русской литературы, стр. 136.

думал, что таково было и его мнение. До Пушкина литература расценивалась обществом как светская забава, а литератор — как мелкий чиновник или, в лучшем случае, как придворный, но Пушкин первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности, что она выше работы в канцеляриях и службы во дворце, он первый поднял звание литератора на высоту, до него не достигаемую: в его глазах поэт — выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни.

Горький не создал отдельной книги о Пушкине. К величайшему нашему огорчению, он даже не обработал к печати своего каприйского курса, где говорил о Пушкине. Но и того, что сказано в этой черновой рукописи, достаточно; если бы курс этот был напечатан около 1925 года, это остерегло бы нас от грубых ошибок вульгарного социологизма.

То, что написал Горький о Пушкине, — это наше дорогое научное наследство. Горький высоко ценил нравственную личность Пушкина, гордую независимость его от предрассудков властей. Горький с величайшим энтузиазмом отзывался о художественном мастерстве Пушкина, он указывал на неисчерпаемое богатство форм и жанров его творчества. В этом культе Пушкина-художника Горький сближается с Л. Н. Толстым. Горький подчеркивал, что Пушкин был передовым мыслителем своей эпохи. Он выдвигал его связи с революционным движением, он раскрывал перед нами те мощные усилия, с какими Пушкин преодолевал классовые ограничения и предрассудки. Горький показал нам движение Пушкина, в его творчестве и в его мышлении, к народу. Горький раскрыл великое национальное и мировое значение Пушкина.

Когда подводишь итоги тому, что сказано Горьким о Пушкине, то со всей остротой ощущаешь глубину восприятия им классического наследия. Овладение наследием Пушкина помогло самому Горькому в дальнейшем движении его к социалистическому реализму. Горький всеми своими высказываниями о Пушкине учит нас, что в эпоху победившего социализма, во времена строящегося коммунизма, изучение наследия Пушкина поможет нам в дальнейшем строительстве социалистической культуры.



Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КИШИНЕВСКИЕ ЗАМЫСЛЫ ПУШКИНА

1

Сообщая А. Дельвигу об окончании „Кавказского пленника“, Пушкин писал (23 марта 1821 года): „... еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу. Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости — как не воспоминаниями?“ (XIII, 26).¹

Действительно, к 1821—1822 годам относятся несколько замыслов незавершенных поэм, оставленных Пушкиным в разных стадиях работы. Сюда относятся замысел „Вадима“, план поэмы о разбойниках, поэмы о гетеристах, „Актеон“, „Бова“, „Мстислав“. Темы разнообразны, и каждая поэма, если бы они все были окончены, представляла бы нечто совершенно особое, не сходное с другими. В этих замыслах представлены и исторические и сказочные темы, и современные события, и античный миф. К крупным замыслам этого времени следует отнести и неосуществленную комедию об игроке.

Имя новгородца Вадима встречается в сравнительно поздних источниках. В Никоновской летописи (XVI в.) под годом 6372 (864) сказано: „Того же лета оскорбишася новгородцы глаголюще, яко быти нам рабом и многа зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима храброго и иных многих изби новгородцев советников его“.² В „Истории российской“ В. Н. Татищева, пользовавшегося летописями, ныне неизвестными, под 869 годом сказано: „Славяне бежали от Рюрика из Новгорода в Киев, зане убил Вадима храброго, князя славенского, иже не хотеша яко рабом быти варягом“.³

¹ Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

² Полное собрание летописей, т. IX, СПб., 1862, стр. 9.

³ В. Н. Татищев. История российская, кн. II. М., 1773, стр. 13.

Карамзин довольно скептически отнесся к преданию о Вадиме, но сопроводил известие о нем любопытными размышлениями: „...не знаем, благословил ли народ перемену своих гражданских уставов? наслаждался ли счастливо тишиною, редко известною в обществах народных? или пожалел о древней вольности? Хотя новейшие летописцы говорят, что славяне скоро вознегодовали на рабство, и какой-то Вадим, именуемый *храбрым*, пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в Новгороде — случай вероятный: люди, привыкшие к вольности, от ужасов безначалия могли пожелать властителей, но могли и раскаяться, ежели варяги, единоземцы и друзья рюриковы, утесняли их — однако ж сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкою и вымыслом“¹.

Вадим вошел в литературу как борец за гражданскую свободу. Писатели XVIII и начала XIX века рассматривали его, на основании летописных данных, как защитника исконной славянской вольности, восставшего против самодержавия Рюрика, представителя иноземной самодержавной власти. Писатели не входили в критику летописных известий и их интерпретации у Татищева. Самая скудость известий открывала широкое поле для вымысла. В зависимости от своего политического направления писатель давал то или иное освещение столкновению Вадима и Рюрика. Екатерина II в „Историческом представлении... из жизни Рюрика“ (1786) стала на сторону Рюрика, Я. Княжнин в трагедии „Вадим Новгородский“ дал иное освещение его деятельности; зато и трагедия эта была под запретом.

Декабристы часто обращались к новгородской вольности как исторической картине исконной, присущей русским гражданской свободы, идеализируя прошлое и окружая имя Вадима ореолом революционного героя. Так, В. Ф. Раевский в послании „Певец в темнице“, вспоминая свободный Новгород, говорил о героях, защищавших вольность:

Но там бессмертных имена
Златыми буквами сияли;
Богородная жена,
Борецкая, Вадим, — вы пали!
С тех пор исчез, как тень, народ,
И глас его не раздавался
Пред вестью бранных непогод.
На площади он не сбирался
Сменять вельмож, смирать князей,
Слагать неправые налоги,
Внимать послам, встречать гостей,
Стыдить, наказывать пороки,
Войну и мир определять.
Он пал на край своей могилы,

¹ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. I. Изд. 2-е, СПб., 1818, стр. 115.

Но рано ль, поздно ли, опять
Восстанет он с ударом силы!¹

В неоконченной думе Рылеева Вадим произносит такую речь:

Грозен князь самовластительный!..
И настанет час решительный,
Час для граждан роковой...²

(„Вадим“).

Эти стихи достаточно показывают, в каком смысле вспоминали имя Вадима. Он был символом славянской свободы, вдохновлявшей декабристов в сегодняшней борьбе. Варяг Рюрик с его самодержавием и славянин Вадим с его вольнолюбивой мятежностью означали два лагеря, ясно определившиеся в современной декабристам обстановке: с одной стороны самодержавная бюрократия, насыщенная иностранными выходцами, преимущественно немцами, с другой — русский народ с вольнолюбивыми патриотами во главе. Конечно, к современной обстановке применялись стихи Рылеева:

До какого нас бесславия
Довели вражды граждан!
Насылает Скандинавия
Властелинов для славян!...³

Поэта не заботила историческая точность или достоверность фактов, взятых из исторических преданий. Важна была их правдивость на сегодняшний день, их действие на свободолобивые умы, воспаленные любовью к народу.

Пушкин задумал обработку сюжета о Вадиме в дни тесного общения с Владимиром Федосеевичем Раевским.

Майор Раевский, адъютант Михаила Орлова, был наиболее яркой фигурой в той ячейке декабристов, которая группировалась в Кишиневе вокруг дивизионного командира М. Орлова. Трудно установить, существовала ли тайная организация в Кишиневе после роспуска Союза благоденствия. Как известно, официально Орлов вышел из тайного общества. Члены этого общества, находившиеся в Кишиневе, могли и не считать себя после ликвидации Союза объединенными в конспиративной организации. Но они продолжали действовать так же, как они действовали бы и при существовании подобной организации. Они вели пропаганду в войсках через солдатские школы, организованные по программе М. Орлова. Во главе этих школ стоял В. Ф. Раевский.

¹ В. Раевский, Стихотворения, изд. 2-е, изд. „Советский писатель“, 1952, стр. 153—154.

² К. Рылеев, Полное собрание стихотворений, Изд. писателей в Ленинграде, 1934, стр. 185.

³ Там же.

Начальник штаба второй армии П. Д. Киселев, который был достаточно осведомлен в том, что делалось в армии, в официальной записке 1822 года дает характеристику лиц, связанных с М. Орловым. По его словам, Орлов „окружил себя людьми, коих правила и поведение всем были известны с невыгодной стороны. *Раевский* — разрушитель дисциплины в 32-м Егерском полку, был назначен начальником всех учебных заведений. Раевский в том же полку говорил всем и всей роте своей, что требуемое начальством есть вздор, — командовал учебною командою. *Липранди* при лице дивизионном командире не скрывал свободомышления своего. *Охотников* — мечтатель политический, имел управление ланкастерской школой. Другим лицам провозглашали мнение Орлова и новое для подчиненных существование; говорили, что противники системы и просвещения будут уничтожены“.¹

Именно среди этих лиц, к которым можно присоединить еще несколько имен, постоянно находился Пушкин. Все они состояли членами масонской ложи „Овидий“. Может быть, именно отсутствие тайной организации в еще большей степени разрушало грань между Пушкиным и бывшими членами Союза благоденствия в их политической деятельности. В донесениях тайных полицейских агентов имя Пушкина не отделялось от имен тех, кто был связан с декабристскими организациями. Вот донесение одного секретного агента (В. Базанов предполагает — Сущова), начало которого привожу без пропусков, чтобы ясна была связь имен и их выбор:

„В Ланкастерской школе говорят, что кроме грамоты учат их и толкуют о каком-то просвещении.

„Нижние чины говорят: дивизионный командир наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют орловщиной.

„Майор *Патарак* познакомился с агентом начальника главного штаба Аршштейном. *Пушкин* ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство.

„*Охотников* поехал в Киев, просить дивизионного командира, чтобы он приехал скорее.

„*Липранди* (Ив. Петрович) говорит часовым, у него стоящим: «Не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник...»“.²

Так объединялись имена деятелей тайного общества и Пушкина.

Между тем кишиневские декабристы, если и не организовывали новой ячейки, не порывали сношений с другими членами тайной организации. Известно, что перед арестом В. Ф. Раевский, предупрежденный Пушкиным, уничтожил документы, свидетельствующие о таких сношениях. Приезды Пестеля, повидимому, связаны были с конспиративными переговорами.

¹ В. Г. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. Изд. Академии Наук СССР, 1939, стр. 39.

² „Русская старина“, 1883, т. XL, декабрь, стр. 657—658.

В. Ф. Раевский был образованный человек, поклонник „просвещения“. Особенно привлекали его исторические и географические (т. е. преимущественно политические) знания. Записанный им „Вечер в Кишиневе“,¹ эпизод из его бесед с Пушкиным, характеризует его отношение к поэту. Сам будучи поэтом, он живо интересовался творчеством Пушкина. Пушкин, конечно, прислушивался к мнениям В. Ф. Раевского. В своих обширных замечаниях на работу П. Бартенева „Пушкин в Южной России“ И. П. Липранди говорит, что Пушкин, „яро самопризнающий свой поэтический дар и всегдашнюю готовность стать лицом со смертью, смирялся, когда шел разговор о каких-либо науках, в особенности географии и истории, и легким, ловким спором как бы вызывал противника на обогащение себя сведениями; этому не раз был также свидетелем. В таких беседах, особенно с В. Ф. Раевским, Пушкин хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходы со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя сведениями, продолжал обсуждение предмета. Очень правильно замечено в статье, что «беседы у Орлова и пр. заставили Пушкина пристальней глядеть на самого себя и в то же время вообще направляли его мысли к занятиям умственным». По моему мнению, беседы его, независимо от Орлова, но с Вельтманом, Раевским, Охотниковым и некоторыми другими, много тому содействовали; они, так сказать, дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина по предметам серьезных наук“.²

В. Ф. Раевский представлял собой тип сурового республиканца, верившего в неизбежность революции и в ее победу. Его показания во время следствия по его делу — образец искусной диалектики: после ареста он никого не выдал, никого не запутал в дело, ни в чем не признался.

Уже из крепости он пересылал свои стихотворные послания друзьям в Кишинев. В них он обращался и к Пушкину:

Тебе сей лавр, певец Кавказа...
 Воспой простые предков нравы,
 Отчины нашей век златой,
 Природы дикой и святой
 И прав естественных уставы.³

(„К друзьям в Кишинев“).

Восстание Вадима против самодержавия Рюрика, избранное темой поэмы, воспринималось Пушкиным в том характерном преломлении исторических сюжетов, какое господствовало в декабристской среде.

¹ „Литературное наследство“, кн. 16—18, 1934, стр. 660—662. Ср.: В. Раевский и И. Стихотворения, изд. 2-е, 1952, стр. 208—212.

² „Русский архив“, 1866, № 10, стб. 1446—1447.

³ Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 6, 1941, стр. 42, 43.

Прежде всего в событиях древности стремились найти созвучие настроениям современным. Историческое изображение заменялось публицистическими размышлениями по поводу событий минувшего для оценки современности. Деяния людей минувших веков представлялись в художественных образах, воплощавших чаяния нового времени. В прошлом искали оправдания своих вольнолюбивых устремлений. Обращение к славянской древности поддерживалось еще представлением о суровых и близких к природе нравах предков. Образ „славянина“ соответствовал идеалу революционного деятеля, не лишенному романтической окраски. Недаром в стихах В. Раевского, обращенных к Пушкину, упоминается имя Байрона:

Коснись струнам, и Аполлон,
Оставя берег Альбиона,
Тебя, о юный Амфион,
Украсит лаврами Бейрона.¹

(„К друзьям в Кишинев“).

Имя Амфиона, сдвигавшего камни звуками своей лиры, тоже не только ради рифмы попало в эти стихи: Раевский требовал поэзии, побуждающей к действию, к подвигу, поэзии деятельной.

Обработка сюжета о Вадиме дошла до нас в двух отрывках: один из них является первой песней поэмы, другой — небольшой фрагмент трагедии. Из поэмы Пушкин напечатал лишь небольшой кусок. Другой кусок был опубликован при жизни поэта Б. Федоровым, получившим его, вероятно, от А. И. Тургенева („Памятник отечественных муз“ на 1827 год). Полностью эта песня стала известна только в 1941 году.

Поэма описывает прибытие Вадима к русским берегам. Его привозит на ладье старик-рыбак (повидимому, финн). Суровый пейзаж морского берега выдержан в традиционных тонах „северной“ поэзии, но с некоторыми конкретными деталями, оживляющими описание и удаляющими его от шаблона, типичного в сентиментальной поэзии. Сохранив привычное настроение, Пушкин воссоздает реальный пейзаж:

Суровый край! Громады скал
На берегу стоят угрюмом;
Об них мятежный бьется вал
И пена плещет; сосны с шумом
Качают старые главы
Над зыбкой пеленой пучины;
Кругом ни двета, ни травы,
Песок да мох; скалы, стремнины,
Везде хранят клеймо громов
И след потоков истощенных,
И тлеют кости — пир волков
В расселинах окровавленных.

¹ В. Раевский, Стихотворения, изд. 2-е, 1952, стр. 149.

Начальные эпитеты — суровый и мятежный — направляют мысль читателя и готовят характеристику героя.

Но кто же тот? Блестит младость
В его лице; как вешний цвет
Прекрасен он; но, мнится, радость
Его не знала с детских лет;
В глазах потупленных кручина;
На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч.

Вадим садится у костра и принимает романтическую позу:

Но юноша, на перси руки
Задумчиво сложив крестом,
Сидит с нахмуренным челом. . .
Уста невнятные шепчут звуки. —
Предмет великий, роковой
Немые чувства в нем объемлет,
Он в мыслях видит край иной,
Он тайному призыву внемлет. . .¹

Далее следуют воспоминания о его боевой юности, напоминающие соответственные места из рассказа Финна в „Руслане и Людмиле“. Но затем во сне возникают перед Вадимом картины разоренного Новгорода:

Он видит Новгород великий,
Знакомый терем с давних пор;
Но тын оброс крапивой дикой,
Оббиты окна повиликой, —
В траве заглох широкий двор.

Описание это еще точнее, чем пейзаж морского берега. Пушкин уже достигает большой простоты в выборе изобразительных средств и слов. Это постоянное смешение простоты и точности с романтической условностью характерно для произведений этого периода.

Во сне Вадима мы уже находим и признаки ожидающего его подвига и намеки на обязательный в подобных поэмах романтический узел.

Первая песня кончается прощанием с рыбаком. Сохранившиеся планы немногим дополняют текст поэмы. В планах отведено больше места „эпизодам“, чем мыслям и намерениям героя.

В ином плане написан отрывок из одноименной трагедии. Он написан в чисто классических формах. Александровский стих только свежестью языка отличается от стиха Княжнина и Озерова. Такие же „применения“, какие мы встречаем в трагедиях позднего классицизма и от которых Пушкин решительно отказался в позднейших драматических

¹ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, Изд. Академии Наук СССР, 1950, стр. 159, 533.

опытах, здесь в „Вадиме“ господствуют. Об исторической правде Пушкин мало заботится.

Первые же слова отрывка говорят о „славянской свободе“ и „иноплеменном“ тиранстве. Наперсник Вадима Рогдай выражается совершенно современным Пушкину политическим языком:

Вражду к правительству я зрел на каждой встрече...
Уныние везде, торговли глас утих,
Встревожены умы, таится пламя в них.
Младые граждане кипят и негодуют...

Всё это применимо в гораздо большей степени к 1821 году, чем ко времени Рюрика и Вадима. Модернизация исторических фактов здесь присутствует больше, чем в рассуждениях Карамзина о самодержавии Рюрика.

В ответной реплике Вадима намечается тема о непостоянстве граждан:

Неверна их вражда, неверна их любовь.

Видимо, это непостоянство должно было явиться источником драматического конфликта.

Вот всё, что осталось от трагедии, не считая плана, недостаточно разработанного. К истории этого замысла можно присоединить только еще один любопытный факт: обработку этого сюжета стихом народной песни „Уж как пал туман седой на синее море“:

Гостомыслову могилу грозную вижу...
Есть надежда! верь, Вадим, народ натерпелся.

Этим опытам предшествует строка народной песни с разметкой ударных и неударных слогов в форме метрической схемы. Запись эта свидетельствует об интересе Пушкина к русской песне, а в частности к стихотворным размерам в народной поэзии. В эти годы вопрос о народном стихосложении подымался в печати. В 1817 году вышла в свет книжка А. Востокова „Опыт о русском стихосложении“. Позднее об этом труде Востокова Пушкин писал: „Много говорили о настоящем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию“ (XI, 263). Говоря о мере русских стихов, Востоков определял ее так: „В них считаются не стопы, не слоги, а *прозодические периоды*, т. е. ударения, по коим и должно размерять стихи старинных русских песен“ (стр. 105—106). С возражениями Востокову выступил Н. А. Цертелев, поместивший по данному поводу две статьи в „Сыне отечества“ (1818, ч. 49; 1820, ч. 62). Цертелев доказывал, что „старинные русские песни имеют стихосложение, основанное на числе стоп, а не на числе ударений“. Нарушения литературной правильности в чередовании ударных и неударных слогов Цертелев объяснял порчей известных нам текстов в устной передаче. Он ставил себе задачей выправлять тексты народных песен, выравни-

вая расположение ударений. Стих, записанный Пушкиным, он приводил в такой „правильной“ форме:

Уж как пал туман на синё море.

Из своего рассуждения Цертелев делал вывод: „...в русских песнях находим мы совершенно правильные разного рода метрические стихи, которых гармония весьма непротивна слуху и может быть употреблена поэтами нашими с успехом“.¹ Из записи Пушкина можно заключить, что он приближался к тому пониманию стиха, какое дал Востоков, и не разделял мнения Цертелева. Вообще к деятельности этого критика, ярого противника нового направления в поэзии, посвящавшего свои труды А. С. Шишкову и печатавшего злобные статьи против романтиков, Пушкин относился отрицательно.

2

К июню 1821 года относится и другой драматический замысел Пушкина — комедия об игроке.

До нас дошел краткий план всей пьесы, наброски отдельных сцен и черновой текст первого явления. К сожалению, рабочие планы настолько кратки, что точной расшифровке не поддаются. Из этих планов можно лишь определить расстановку действующих лиц и центральное положение, определяющее развязку. Главный персонаж — игрок (он обозначен именем актера Сосницкого). У него — старый крепостной слуга (Величкин). Затем группа игроков, из которых наибольшее участие в действии должен принимать означенный именем Брянского. Этот игрок влюблен в сестру Сосницкого, вдову (Вальберхова). Короткий план этого произведения имеет одну особенность: действующие лица обозначены именами актеров петербургской драматической труппы. По характеру ролей, исполнявшихся этими актерами, можно представить, какого типа и жанра произведение задумал Пушкин. При этом в первую очередь следует иметь в виду трех актеров, именами которых означены главные роли и которые исполняли основные роли драматического репертуара.

Главную роль игрока Пушкин отводил Сосницкому. Этот актер, по отзывам критики, был „превосходен в ролях жеманных волокит“. Пушкин был знаком с Сосницким и ценил его игру. О Брянском, именем которого назван один из важнейших персонажей пьесы, Пушкин сам писал: „Брянской в трагедии никогда никого не тронул, а в комедии не рассмешил. Несмотря на это, как комический актер, он имеет преимущество и даже истинное достоинство“ (XI, 12—13). Пушкин отмечал сдержанный, холодный характер игры Брянского.

Роль молодой вдовы обозначена именем Вальберховой. М. И. Вальберхова считалась первой комической актрисой на роли героинь в „вы-

¹ „Сын отечества“, 1820, ч. 63, № XXVII, июль, стр. 3, 13.

соких“ и „благородных“ комедиях. Рецензенты отмечали в ее игре „какую-то томность“, которая мешала ей передавать „живые и резвые характеры“, но уместна была в более „меланхолических“ ролях.

И Вальберхова, и Сосницкий, и Брянский выступали и в трагедии и в комедии, но чаще в комедии. При этом для их репертуара характерна комедия „высокая“, приближающаяся к драме. К этому же жанру, повидимому, должна была принадлежать и пьеса Пушкина.

Центральная сцена — игра. Об обстоятельствах этой игры говорит краткая запись: „Рамазанов узнает Брянского. Изъяснения. Пополам. Начинается игра“. В одном из дополнительных планов к этому же месту относится запись: „*Вальберхова*. Что за шум? *Величкин*. Играют. *Вальберхова*. А Брянский? *Величкин*. Там же. *Вальберхова*. Поди за Брянским. *Брянский* и *Вальберхова*. Я пополам — ему урок — он проигрывает“ (VII, 366). Из этого диалога можно заключить, что проигрыш Сосницкого должен послужить ему уроком и выигрывающий у него игрок Брянский действует с ведома сестры Сосницкого, участливо относящейся к брату и думающей о его исправлении. Поэтому можно предвидеть счастливую развязку, впрочем, не меняющую трагической ситуации перед самым концом. Эта ситуация явствует из слов основного плана: „Начинается игра. Сосницкий всё проигрывает, гнет Величкина на карту. Отчаянье его“. К этому месту несколько подробнее во вспомогательном плане: „*Величкин* уговаривает — тот его ставит на карту — проигрывает. *Величкин* плачет. *Сосницкий* также“ (VII, 366).

Следует обратить внимание на один рабочий план, вносящий зловещую ноту в комедию, хотя это место и не поддается толкованию в общем ходе действия: „Пора в театр: наш друг дает последний завтрак, он застрелится“ (VII, 367).

Содержание комедии, как оно явствует из планов, было изложено Анненковым, впервые опубликовавшим планы этой пьесы: „По нашему мнению, дело должно было заключаться в том, что аристократическая вдова (*Вальберхова*), имеющая любимого ею брата, желает спасти его от несчастной страсти к игре. Она советуется с своим любовником, тоже из высшего света и тоже игроком, но уже опытным и знакомым с проделками шулеров. Любовник обещает ей содействие, и на первом же игорном вечере у Сосницкого встречает полного шулера, Рамазанова, узнает его и принуждает обыграть хозяина пополам с собою, но в шутку. Так и делается. Под конец сеанса они застаивают Сосницкого поставить на карту старого дядьку Величкина. Происходит раздирающая сцена, кончающаяся наставлениями и поучениями и проч.“¹

Изложение Анненкова достаточно объективно вскрывает смысл плана и не нуждается в дополнениях и поправках. Однако в интер-

¹ П. В. Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, стр. 162—163.

претации пьесы мнения разошлись. Установилось два противоположных истолкования замысла Пушкина, и это разногласие существует вплоть до наших дней.

П. В. Анненков не только пересказал сюжет пьесы, но дал и свое истолкование ее: „...Пушкин хотел написать еще комедию или драму потрясающего содержания, которые могли бы выставить в позорном свете безобразие крепостничества, а вместе с тем показать и темные стороны самого образованного общества нашего“.¹ Это истолкование встретило возражения со стороны Н. О. Лернера: „...Анненков, довольно правдоподобно истолковав предполагаемое содержание пьесы, без достаточных оснований придал ей своеобразное политическое истолкование, решив, что Пушкин имел в виду обличение. Между тем мы имеем дело, повидимому, с комедией нравов“. Н. О. Лернер дал и то истолкование характера главного героя, которое безоговорочно было принято всеми позднейшими исследователями:

„В комедии есть бытовые и политические черты. Главный герой пьесы Сосницкий, типичный представитель тогдашней передовой молодежи, о которой Пушкин писал впоследствии («Отрывки из романа в письмах»): «В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпэг: нам неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами». Евгений Онегин отдал дань этому духу времени“ и т. д.²

Между тем это истолкование прямо противоречит тексту плана и самой пьесы. В плане мы читаем краткую формулировку упреков сестры, обращенных к брату: „Добро либералы — да ты-то что?“. Ясно, что либералы и Сосницкий не одно и то же. Ясно, что и слово „либерал“ употреблено здесь в значении, свойственном этому слову в 20-х годах XIX века, т. е. деятеля свободы, участника революционного движения.³ В дошедшем до нас начальном диалоге Вальберховой и Сосницкого мотивы, по которым Сосницкий избегает общества, совсем не те, что в „Романе в письмах“.

Вальберхова.

Ну, я прощаю тем,
Которые, пусться в пятнадцать лет на волю,
Привыкли нехотя лишь к пороку да к полю.
Казармы нравятся им больше наших зал.
Но ты, который в век в биваках не жывал,
Который не видал походной пыли сроду —
Зачем перенимать у них пустую жолу?
Какая нужда в том?

¹ П. В. Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. 1874, стр. 160.

² Пушкин, Сочинения. Под редакцией С. А. Венгерова, т. II, СПб., 1908, стр. 587.

³ О значении слова „либеральный“ в языке русского общества начала XIX века см.: В. В. Виноградов. Из истории русской литературной лексики. „Ученые записки Московского Государственного педагогического института им. В. И. Ленина“, т. XLII, 1947, стр. 6—7.

Сосницкий.

В кругу своем они
О дельном говорят, читают Жюмини.

Вальберхова.

Да ты не читывал с тех пор, как ты родился.
Ты шафроком одним да трубкою пленился.
Ты жить не можешь там, где должен быть одет,
Где вечно не курят, где только банка нет.

Вряд ли этот диалог рисует Сосницкого товарищем тех, о ком говорится в „Романе в письмах“. Еще меньше сходства у него с Евгением Онегиным или с тем обликом самого Пушкина, какой рисуется в послании к А. М. Горчакову, также цитируемом Н. О. Лернером как параллель к комедии.

Между тем с легкой руки Н. О. Лернера Сосницкий данной комедии у всех одинаково именуется „либералистом“ (термин из письма Карамзина И. И. Дмитриеву о высылке Пушкина из Петербурга). И среда военной молодежи, где проводит время герой, еще не свидетельствует о вольнолюбии, так как чтение Жюмини, кроме интереса к вопросам истории войн, ничего не доказывает. А Сосницкий, который и этого не читал и говорит: „скучно, то ли дело ночь играть“, страдает не тем видом „сплина“, который свойствен был молодежи, разочарованной в обществе. Равно не составляют сущности „либералистов“ „трубки и халаты“. Между тем такое истолкование образа мыслей главного героя и мешало согласиться с интерпретацией Анненкова.¹ Однако этот аргумент явно не состоятелен. П. Анненков правильно связывал замысел комедии с историческими и публицистическими заметками Пушкина тех же лет, рисуящими его как решительного противника крепостного права. Мы теперь располагаем таким документом, как дневник П. И. Долгорукова, где записаны разговоры Пушкина. Так, под датой 30 апреля 1822 года П. И. Долгоруков записал: „Пушкин и он <Эйсмонт> спорили за столом на счет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, и всякого, владеющего крестьянами почитает бесчестным...“. Под 20 июля приводятся еще более резкие слова Пушкина: „Штатские чиновники поделцы и воры, генералы скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли“.²

¹ А. Л. Слонимский в комментариях к комедии (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии Наук СССР, 1935, стр. 667 — первый вариант издания) называет Сосницкого „светским либералом“ и примыкает к мнению Н. О. Лернера. В. Закруткин, хотя и стоит на противоположной точке зрения, однако пишет: „А. Л. Слонимский правильно характеризует образ Сосницкого в пушкинском наброске“ (В. Закруткин. Пушкин и Лермонтов. Ростов н/Д, 1941, стр. 116).

² „Звенья“, т. IX, 1951, стр. 78, 99—100.

Надо думать, что при такой горячности в вопросе о рабстве крестьян Пушкин не сделал бы веселым в веселой комедии эпизод проигрыша крепостного человека.

3

К числу не дошедших до нас замыслов Пушкина относится и поэма о разбойниках, из которой автор выделил и напечатал отрывок под названием „Братья разбойники“.

Черновые тетради Пушкина сохранили план поэмы. Этот план (в двух вариантах) содержит историю двух любовниц разбойничьего атамана. Первая его наложница означена в плане как „дева“ (в другом — „девица“). Разбойники разбивают купеческий корабль, и атаману в добычу достается дочь купца. Первая его наложница ревнует, сходит с ума. Вторая не любит его и умирает. Атаман пускается во все злодейства. Есаул (который играет и в предыдущих событиях какую-то неясную роль) предает атамана. Всему предшествует история двух разбойников. От той части поэмы, которая не вошла в состав „Братьев разбойников“, сохранился лишь небольшой стихотворный отрывок:

На Волге, в темноте ночной,
Ветрило бледное белеет,
Бразда сверкает за кормой,
Попутный ветер тихо веет.
Недвижны веслы, руль заснул,
Плывут ребята удалые...

Дальше черновик обрывается, но по отдельным словам его можно сопоставить с началом одного из двух планов: „есаул — где-то наш атаман — Они плывут и поют...“ (IV, 372). Повидимому, это начало первого варианта поэмы. По другому варианту на первом месте история двух братьев, т. е. часть, соответствующая „Братьям разбойникам“. В этом варианте начало имеется в черновой редакции, не похожей на форму поэмы:

Молдавская песня

Нас было два брата — мы вместе росли —
И жалкую младость в нужде провели...
Но алчная страсть овладела душой,
И вместе мы вышли на первый разбой...

Размер стиха и название сближают данный отрывок с „Черной шалью“. Повидимому, история двух братьев была задумана как баллада. Подобным размером, кроме указанных стихов, Пушкин написал еще „Узника“. Все эти произведения относятся к промежутку времени от конца 1820 по 1821 год. Их балладный размер уже применялся в русской поэзии Жуковским. Таким размером и с подобными рифмами написаны баллады „Лесной царь“ (1818), „Мечта“ (1818) и „Мще-

ние" (1820). Повидимому, Пушкин хорошо помнил эти баллады. Один стих из дальнейшего текста песни читается:

Купец обробелый скакал на коне.

Первоначально стих этот читался:

Ездок одинокий скакал на коне.

Повидимому, исправление понадобилось для того, чтобы не вызывать в памяти у читателя первые стихи „Лесного царя“.

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.¹

Подобно „Мщению“ Жуковского все названные здесь произведения Пушкина так или иначе связаны с темой преступления. „Узник“, рисующий заключенного в темницу, относится к тому же ряду тем.

Точно установить последовательность всех этих планов и замыслов вряд ли возможно. По положению в тетрадах их датируют концом июня—июлем 1821 года. Можно предполагать, что первоначально было два замысла: поэма о разбойниках и баллада о двух братьях, затем Пушкин включил рассказ о братьях в состав поэмы, поставив этот рассказ на первое место. Написана ли была поэма далее этой части, на основании черновиков решить нельзя, так как все сохранившиеся черновые наброски, кроме приведенного, относятся к той части, которая составила известный нам текст „Братьев разбойников“. Но, с другой стороны, до нас не дошли черновики „Вадима“, хотя известен окончательный текст первой песни. Отсутствие черников не дает достаточного основания для решительного отрицания того факта, что поэма могла быть написана, но до известной степени это отсутствие внушает некоторые сомнения в полном завершении замысла. Конец работы над „Братьями разбойниками“ относят по положению черников в тетради к апрелю 1822 года. В списке стихотворений, написанных в 1822 году, Пушкин поместил на первом месте „Братья разбойники“ (список составлен в 1822 году).

О дальнейшей судьбе поэмы мы узнаем из писем Пушкина. В черновике письма Н. И. Гнедичу 29 апреля 1822 года есть фраза: „Есть у меня еще отрывок стихов 200“. В белой текст письма эта фраза не вошла, и только через год в письме ему же 13 мая 1823 года мы читаем: „есть у меня готовая поэмка, да NB цензура“ (XIII, 373, 62).² Между тем к этому времени „Братья разбойники“ уже были

¹ Ср.: „Ездок обробелый не скачет, летит“.

² Вряд ли можно согласиться с мнением В. Закруткина, что речь шла в черновом письме о „Гаврииладе“ (Пушкин и Лермонтов, стр. 70, сноска 69). В черновике говорится о присылке этого отрывка для заполнения книги, чего не мог писать Пушкин о „Гаврииладе“. Но возможно, что Пушкин думал о „Вадиме“ (в первой песне „Вадима“ 197 стихов; в „Братьях разбойниках“ 235 стихов).

известны друзьям Пушкина. Думают, что о „Братьях разбойниках“ говорится в письме Ек. Ник. Орловой брату Александру Раевскому 8 декабря 1822 года: „Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, оты вающийся, как мне кажется, чтением Байрона. — Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе“.¹ Однако в равной мере это могло относиться и к „Вадиму“. Когда в 1827 году отрывок из „Вадима“ появился в печати, А. Н. Муравьев писал М. Погодину: „В предпоследнем нумере Вестника я читал прекраснейший отрывок Пушкина из *Вадима*; хотя я его и прежде знал, но здесь прочел снова с большим удовольствием...“.² Но уже в мае 1823 года поэма упоминается в переписке А. И. Тургенева с П. А. Вяземским. 9 мая Тургенев писал: „Есть ли у тебя отрывок Пушкина «Братья-разбойники»? Я вчера только достал его“. Затем 22 мая он же прибавлял: „Пошлю отрывок Пушкина сегодня, если возвратит Греч, коему отдал для прочтения сегодня в собрании“.³ Вяземский по получении поэмы написал свои впечатления Пушкину (письмо нам не известно), на что Пушкин отвечал 14 октября 1823 года:

„Замечания твои на счет моих разбойников несправедливы; как сюжет: *c'est un tour de force*,⁴ это не похвала, напротив; но, как слог, я ничего лучшего не написал“ (XIII, 70).

Беловой текст поэмы уже для печати Пушкин послал Вяземскому 11 ноября 1823 года. Вскоре А. Бестужев обратился к Пушкину с просьбой дать поэму для „Полярной звезды“. На это Пушкин отвечал (29 июня 1824 года): „Если согласие мое, не шутя, тебе нужно для напечатания Разбойников, то я никак его не дам, если не пропустят *жид* и *харчевни* (скоты! скоты! скоты!), а *попа* — к чорту его“ (XIII, 101).

Переговоры с Бестужевым велись уже год. Так, в письме 13 июня 1823 года Пушкин ему писал: „Разбойников я сжег — и поделбм. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского, если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной Звезды, то напечатай его“ (XIII, 64). Это письмо является свидетельством того, что Пушкин как будто написал больше, чем известный нам отрывок.

Прежде чем поэма появилась в „Полярной звезде“, первые 35 стихов поэмы А. Воейков напечатал в „Новостях литературы“ (июль 1824 года, номер вышел в свет в конце августа) в качестве цитаты

¹ М. О. Гершензон. История молодой России. М., 1908, стр. 28.

² „Литературное наследство“, кн. 16—18, 1934, стр. 696.

³ Остафьевский архив князей Вяземских, т. II, СПб., 1899, стр. 322, 324, 325, 327. В бумагах Вольного общества любителей российской словесности об этом чтении нет никаких данных. На заседании 22 мая читалось А. Бестужевым стихотворение Пушкина „Прощание“. Что это за стихотворение, мы не знаем.

⁴ Это подвиг, *ф. хус* (франц.).

в своем очерке „Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая, бывшей столицы ханов Золотой орды“. А. Бестужева возмущил поступок Воейкова. В письме сестрам 8 сентября он писал: „Вы спрашиваете о Полярной?—она весьма в худом положении до сих пор, Пушкин в ссылке—Воейков подлец (что мы ему и написали) перепечатал начало Разбойников, другие заняты своим интересом“.¹ Очень резкий протест был послан Воейкову за подписью А. Бестужева и К. Рылеева.²

„Братья разбойники“ с подзаголовком „Отрывок из поэмы“ появились на страницах „Полярной звезды“ на 1825 год в марте этого года.³

На рукописи „Братьев разбойников“, посланной П. А. Вяземскому 11 ноября 1823 года, имеется такая приписка Пушкина:

„Вот тебе и Разбойники. Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на острове, потопление одного из стражей мною не выдуманы. Некоторые стихи напоминают *Шилонского Узника*. Это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 821 года“ (XIII, 74).

Приблизительно то же писал Пушкин осенью 1830 года в „Опровержении на критики“:

„Не помню кто заметил мне, что невероятно, чтоб скованные вместе разбойники могли переплыть реку. Всё это происшествие справедливо и случилось в 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле“ (XI, 145).

Действительно, Пушкин был свидетелем бегства из тюрьмы разбойников, братьев Засориных.⁴

Что касается указанной в письме даты, то она не сходится с другой датой, поставленной Пушкиным в издании 1827 года: „Писано в 1822 году“. Впрочем, обе даты не противоречат той датировке, какая устанавливается на основании черновых тетрадей Пушкина. Поэма начата в июне—июле 1821 года и окончена в апреле 1822 года.

Не только бегство разбойников из Екатеринославской тюрьмы послужило материалом для поэмы Пушкина. Самая тема разбойников подсказана ему многочисленными фактами разбоев, происходивших в Бессарабии, Новороссии и на Дону. Описанный им разноплеменный состав разбойничьей шайки более всего соответствует бессарабским

¹ Памяти декабристов. Сборник материалов, I, Л., 1926, стр. 47.

² Литературный архив, т. I, Изд. Академии Наук СССР, 1938, стр. 422. Здесь текст протеста дан по копии с датой: 15 сентября 1824. Текст комментировал Н. И. Мордовченко.

³ Альманах вышел с запозданием, так как отпечатанные экземпляры погибли при наводнении в ноябре 1824 года.

⁴ См.: А. Ляпин. А. С. Пушкин на Дону. Ростов н/Д, 1941, стр. 58—60.

шайкам. В эти годы разбой усилился как результат крестьянского обнищания; те же причины вызывали крестьянские движения на юге России. Шайки пополнялись беглыми крестьянами. Эта связь между деревенским обнищанием и разбоями отмечена и в тексте поэмы:

Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас...

Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной:
В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темную ночь;
Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.

Это отражение в поэме реальных фактов разбоя придало особую красочность начальным стихам поэмы и некоторым эпизодам рассказа разбойника.¹ Выразительность этих мест усилена еще обращением Пушкина к народной поэзии. С первых строк поэмы в строе речи присутствуют явные приметы песенного слога. Отрицательное сравнение, с которого начинается поэма, обилие народнопесенных эпитетов (булатный нож, темная ночь, красные девушки, чистое поле и др.) своеобразно окрашивают рассказ Пушкина. К этому присоединяется подбор слов, выходящих за пределы сентиментально-романтической литературы. Об этом писал Пушкин А. Бестужеву. Просторечие, проникающее в стихи Пушкина, именно начиная с „Братьев разбойников“ становится органической особенностью его поэтического стиля. Н. Н. Раевский писал Пушкину в 1825 году: „Ты довершишь у нас водворение простой и естественной речи, к пониманию которой наши читатели еще не готовы, несмотря на прекрасные образцы «Цыган» и «Разбойников». Ты окончательно сведешь поэзию с ее ходуль“ (XIII, 172; оригинал на французском языке). Простоте словарного состава соответствует и простота в построении предложений. Вся поэма написана короткими фразами, непрерывно двигающимися в действие. Очень редко подчиненное сочетание предложений, равно избегает Пушкин деепричастных и причастных оборотов. Каждое предложение самостоятельно, связь между предложениями более определяется смыслом, чем союзами или подчинением:

¹ Большой материал по крестьянским волнениям и по деятельности разбойничьих шайк собран в работе В. А. Закруткина „Братья-разбойники Пушкина“ (в его книге „Пушкин и Лермонтов“, 1941) и в книге А. Линяна „Пушкин на Дону“ (1941, стр. 26—37 и 58—60). Еще А. Ф. Вельтман, живший в Кишиневе одновременно с Пушкиным, высказал мнение, что „поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгара Урсула“ (см.: Л. Н. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 127). Об этом разбойнике Урсуле рассказывают в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель и И. П. Липранди. Еще в Кишиневе внимание Пушкина привлек разбойник Кирджали.

Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились,
Болезнь ужасная прошла,
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильней
Взяла тоска по прежней доле;
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.

Однако речь в поэме не выдержана единообразно, и еще сильно представлена „возвышенная“ речь со всеми ее книжными оборотами. На это обратили внимание первые критики поэмы. Критик „Сына отечества“ в своих „Письмах на Кавказ“ писал вскоре после выхода в свет поэмы: „Прислушиваясь к различным толкам о нашей поэзии, я слышал довольно резкие приговоры отрывку из поэмы *Братья разбойники*. Главнейшее из обвинения есть то, что рассказывающий разбойник не везде говорит свойственным ему языком, часто сбивается на возвышенную поэзию, употребляет слова, разрушающие очарование правдоподобия и, так сказать, показывающие своего суфлера“. С своей стороны критик к этому прибавлял: „Отчасти замечание это справедливо, но несколько несвойственных простоте рассказа выражений нисколько не ослабляют достоинства пьесы. Чувствования, положения, зверские забавы и ужасы списаны с натуры. Какая быстрота действия и рассказа, какое картинное описание разбойничьего притона, какие ужасные местности!“¹

В самом деле, не трудно обнаружить книжные элементы в языке „Братьев разбойников“:

Прошел все степени злодейства...
Жар ядовитого недуга...
Влачусь угрюмый, одинокий,
Окаменел мой дух жестокий,
И в сердце жалость умерла.

Таких примеров в словаре и фразеологии достаточно. За речью разбойника действительно чувствуется романтический „суфлер“ — собственный голос поэта. Впрочем, Пушкин чуждался стилизации в прямой речи героев не только в 20-е годы, но и позднее. Он ограничивался тем, что вводил в речь определенные приметы, свойственные языку изображаемого лица, а в остальном сохранял свой собственный язык. Его больше заботило сохранение в речи выведенного лица свойственного ему строя мысли, чем словаря, фразеологии, синтаксиса и пр. Здесь он ограничивался отдельными характерными фразами на фоне собственного своего языка. Но, конечно, в позднейших произведениях чувствуется более строгий *отрицательный* отбор: устра-

¹ „Сын отечества“, 1825, ч. 101, № X, стр. 196—197.

нение противоречащей персонажу фразеологии. В романтический период это соблюдалось в меньшей степени.¹

Характерно всё построение поэмы. Уже в „Кавказском пленнике“ определелась подобная манера построения: центральная часть принадлежала там диалогу героев. Здесь основная часть является монологом разбойника. Если бы „Братья разбойники“ являлись не отрывком, а более развитой поэмой, такой монолог был бы существенным эпизодом всего построения. Но так как Пушкин выделил именно эту часть, то монолог собственно и является самой поэмой. К рассказу разбойника присоединено только относительно короткое — в сорок стихов — введение. Рассказ уже перерастает размеры отдельного эпизода. Во всяком случае прямая речь является способом драматизации рассказа. Эта драматизация проходит через все южные поэмы, всё возрастаая. Встречается она и в небольших стихотворных произведениях Пушкина с эпической основой, при этом как до романтического периода, так и в романтические годы (ср. монологи в „Наполеоне на Эльбе“, 1815, и в „Клеопатре“, 1824).

В посмертном издании рассказ Разбойника замкнут заключением от автора в шестнадцать стихов, перекликающимся с введением. Рукопись Пушкина, с которой, по свидетельству Плетнева, печаталось это окончание, до нас не дошла, а потому эти заключительные стихи вызвали всяческие сомнения, вплоть до того, что подозревали Жуковского в их сочинении. Однако следует признать стихи эти, несмотря на некоторые противоречия в свидетельстве Плетнева, принадлежащими Пушкину. Всё же вводить их в основной текст не следует, как их не вводил и Пушкин при переизданиях поэмы.²

Рассказ Разбойника, составляющий ядро поэмы, построен по эпическому принципу: это последовательное изложение событий прошлого. Этим данная поэма отличается от всех южных поэм, где господствует лирический элемент и действие дается отрывочными эпизодами-картинами на фоне преимущественно лирических тирад. Весь рассказ делится на четыре части: описание разбойничьей жизни, тюремное заключение и болезнь брата, бегство из тюрьмы, смерть брата. Эти четыре части построены различно: иногда преобладает то, что можно назвать „картинностью“, где большое место отводится общему описанию прошлого, в других частях преобладает действие, когда события последовательно и непрерывно сменяют одно другое. Самое изображение действия дается или в формах строгого изложения минувших

¹ Сопоставление поэмы с народными песнями (особенно по отношению к плану всей поэмы) сделано в работе В. А. Закруткина „Пушкин и Лермонтов“ (стр. 62—68) и в статье Н. К. Гудая „Братья-разбойники“ Пушкина“ („Известия Академии Наук СССР. Отделение общественных наук“, 1937, № 2—3, стр. 654—657). О языке поэмы см.: В. В. Виноградов. Язык Пушкина. 1935, стр. 417—419; его же. Стиль Пушкина. 1941, стр. 227, 364 и 368.

² См.: Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. 1929, стр. 204—205.

событий, или приобретает характер как бы развертывающегося непосредственно перед нашими глазами. Эти различные формы рассказа отличаются употреблением разных грамматических времен. В первой части доминируют формы прошедшего несовершенного:

Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.

Только рассказ о решении пойти на разбой изложен в форме прошедшего совершенного. Эта форма глагола драматизирует действие: она выражает отдельные события, как бы цепляющиеся одно за другое. Вместо суммарного рассказа мы чувствуем движение:

Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной. . .

Далее, через переход к прошедшему несовершенному, Пушкин приступает к картине былой разбойничьей жизни, которая дается в форме настоящего времени. Это настоящее время (настоящее историческое) оживляет рассказ, придавая ему картинность:

Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.

Если перевести эти глаголы настоящего времени в прошедшее, то пришлось бы обратиться к прошедшему несовершенному. Данная часть рассказа не является „сценой“ непрерывного действия, а сообщает то, что бывало не раз в ту пору жизни разбойников.

Эпизод болезни и бреда выдержан в глагольной форме прошедшего несовершенного. Это рассказ о длительном страдании, а не один какой-нибудь случай из времени болезни брата. И поэтому речи брата являются передачей постоянного, повторявшегося бреда. Слова: „Мне душно здесь. . . я в лес хочу. . .“ — это выражение его постоянной тоски о свободе.

Через прошедшее совершенное приходит рассказ к эпизоду бегства. Это уже определенная сцена действия. В кульминации рассказа прошедшее совершенное переходит в настоящее, и тем самым действие соединяется с картинностью. Мы как бы присутствуем при сцене бегства. Это настоящее время соответствует (при перенесении действия в прошлое) совершенному виду (в отличие от аналогичного времени в первой части). Затем напряженность действия ослабевает, и рассказчик снова возвращается к прошедшему совершенному. Рассказ со смертью брата окончен. Снова появляется настоящее время, но на этот раз в своем грамматическом значении. Заключительные стихи рисуют состояние рассказчика в минуту самого рассказа.

Такое четкое употребление различных грамматических времен в их выразительной и композиционной функции в поэмах Пушкина встречается впервые в „Братях разбойниках“. В других поэмах мы видим преобладание настоящего времени, а иногда и неупорядоченное смешение времен. Только здесь степень напряженности действия получила полное выражение. Отсюда и впечатление подвижности рассказа, строгой гармонии между выразительными средствами и развитием действия. Из всех поэм южного периода эта поэма наиболее обладает эпическими качествами, несмотря на ее краткость. Эта стройность рассказа создает впечатление единства, скрадывающее некоторую пестроту словаря, еще не освободившегося от „высоких“ форм привычной поэтической речи.

Какова была судьба неосуществленной части замысла? Еще П. О. Морозов в комментарии к поэме в старом Академическом издании ставил в зависимость от планов поэмы сюжетную схему „Бахчисарайского фонтана“. Легко установить соответствие между действующими лицами: атаман — Гирей, первая любовница — Зарема, купеческая дочь — Мария. Поведение и судьба героев „Бахчисарайского фонтана“ соответствуют в общих чертах поведению, намеченному в плане поэмы о разбойничьем атамане. Правда, против мнения П. О. Морозова были возражения в том смысле, что нельзя отрывать схему взаимоотношения персонажей от заполняющего эту схему реального изображаемого материала, что трудно положить предел „чудесным превращениям“ персонажей и т. п. Однако не следует забывать, что замысел Пушкина включал в себя ситуацию, показывающую взаимоотношение характеров. А психологическая ситуация легко переносима из одной среды в другую. Страстность и кротость могли встречаться в любой обстановке. Замысел „Бахчисарайского фонтана“ хронологически близок к работе над поэмой о разбойниках. Если бы эта поэма была полностью написана и напечатана, вряд ли бы Пушкин написал „Бахчисарайский фонтан“, так как это было бы воспринято, как вариант уже сказанного.

Между „Братями разбойниками“ и „Шильонским узником“ трудно найти точки соприкосновения. Но Пушкин их почувствовал и вовсе этому не радовался. В данном случае речь идет, конечно, не об абстрактной схеме, а о сочетании определенных характеров в определенной ситуации. Таким образом, легко допустить, что с уничтожением поэмы Пушкин стал искать новой обстановки для похожего конфликта. Эту обстановку он нашел в Крымской теме.

Выход в свет поэмы „Братья разбойники“ не вызвал сколько-нибудь существенных замечаний критиков. Статьи о поэме появляются только после того, как она была издана отдельной книжкой. Эти статьи, в общем хвалебные, не заключали в себе чего-нибудь значительного. До нас дошли некоторые отзывы друзей Пушкина. Отзыв Н. Н. Раевского мы уже знаем. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу (31 мая

1823 года): „В его «Разбойниках» чего-то недостает; кажется, что недостает обычной очаровательности стихов его. Более всего понравилось мне: бред больного брата и сцепление увещаний в отношении старика с состраданием оставшегося брата к старикам. Я благодарил его и за то, что он не отнимет у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах. Я пробую, сколько могу, но всё что-то ныряю ко дну. Дело в том, что их было двое, а мне достается одному уплывать на островок рассудка, вопреки погоне Красовских с товарищами“.¹ Повидимому, что-то подобное Вяземский написал и Пушкину. Ответ Пушкина мы знаем. А. И. Тургенев сообщает и о том, как отозвался об этой поэме К. Батюшков. Несмотря на вполне определенную свою болезнь, Батюшков, находившийся уже под врачебным присмотром, еще имел минуты просветления, дававшие надежду на выздоровление. В письме Вяземскому 11 мая 1823 года А. И. Тургенев сообщает о вечере, проведенном накануне с Батюшковым. Он пишет: „Батюшков вчера был очень хорош“. И далее (в оригинале по-французски): „Мы читали новые стихи Пушкина, и он их критиковал, касаясь *палача и кнута*, очень остро“.² Повидимому, такие правоверные карамзинисты, как Вяземский и Батюшков, не могли примириться с просторечным стилем поэмы.

Вяземский нашел в поэме материал для политических намеков. В письме Тургеневу это сделано в обычной манере привычных для Вяземского каламбуров. Однако в эти годы, когда внимание приковывалось к вопросам политическим, когда протест против произвола царизма объединял все передовые круги, политическое восприятие „Братьев разбойников“ было вовсе не редким, хотя Пушкин и не вложил в поэму политического содержания. Отнюдь не делает он из своего разбойника романтического героя, вроде разбойников Шиллера или Нодье. Пушкин не прикрывает и не оправдывает „злодейства“ разбойников. Этими злодействами он не склонен любоваться. Но тем не менее и критика тех лет признавала, что Пушкину удалось в какой-то степени привлечь сочувствие читателя к герою поэмы. Отсюда у читателей возникало противоречие в понимании поэмы. И одни осуждали ее как произведение безнравственное, другие пытались найти моральный смысл произведения. Так, в рецензии на поэму, помещенную в „Сыне отечества“, говорилось о поэзии, которая „возбуждает в нас иногда соучастие к лицам и предметам, кои, в обыкновенном о них понятии, более способны внушать нам негодование, даже отвращение, нежели какое-либо чувство доброжелательства...“, а сочувствие, вызываемое разбойником, приписывалось „любви братской“.³ Между тем сочувствие к разбойникам вызывалось в первую очередь их стремлением к свободе в самом общем смысле этого слова. Читатель

¹ Остафьевский архив, т. II, 1899, стр. 327.

² Там же, стр. 322.

³ „Сын отечества“, 1827, ч. 114, № 16, стр. 399, 401.

20-х годов не задумывался над причинами, погнавшими братьев на разбой, поэтому связь темы с крестьянскими движениями, охватившими несколько областей, оставалась вне поля зрения. Но чувство свободы, стремление убежать из тюрьмы вызвало совершенно определенные настроения политического порядка. Поэтому естественно заявление декабриста В. И. Штейнгеля, удивлявшегося близорукости придирчивой цензуры: „Непостижимо, каким образом в то самое время, как строжайшая цензура внимательно привязывалась к словам, ничего не значащим... пропускались статьи, подобные Вольтеру, Исповеди Наливайки, Разбойникам братьям“.¹

Переводчик Пушкина Ж.-М. Шопен поместил в парижском журнале „Revue Encyclopédique“ в 1830 году рецензию, в которой подчеркивал политический смысл поэмы. Он мог сказать то, о чем должны были молчать русские журналисты: „Где причина того, что автор вызывает участие к падшему существу? Неужели одна братская любовь может прикрыть такие чудовищные злодеяния?.. Не та ли живая любовь к независимости, которая наложила своеобразную печать на стихи Пушкина, привлекает сочувствие читателя? Пушкина любят всей любовью, питаемой к свободе; и в двух разбойниках это влияние, возможно, достаточно, чтобы скрыть безнравственность предмета. Несомненно глубокое политическое чувство вложено в стих: Мне душно здесь... я в лес хочу!“.²

Эти слова надо принимать не как отзыв критика, а как свидетельство современника. Шопен жил в России и знал, с каким чувством русские читатели относились к поэме Пушкина.

Поэма Пушкина, пронизанная народными мотивами, в свою очередь проникла в народное творчество. Отдельные эпизоды этой поэмы в переделанном виде вошли в состав народной драмы „Лодка“.³

4

К числу других замыслов, получивших еще меньшее завершение, следует отнести дошедшие до нас планы поэм о гетеристах, об Актеоне, о Бове, о Мстиславе.

Поэма о гетеристах связана с собственными наблюдениями и встречами Пушкина. В Кишиневе Пушкин знал братьев Ипсиланти и был свидетелем подготовки к греческому восстанию в дунайских княжествах. Александр Ипсиланти, являющийся одним из героев поэмы, перешел Прут с отрядами повстанцев 22 февраля (6 марта) 1821 года

¹ Из писем и показаний декабристов. Под редакцией А. К. Бороздина, СПб., 1906, стр. 67.

² Цитирую по книге: В. А. Закруткин, Пушкин и Лермонтов. 1941, стр. 93.

³ Н. П. Андреев, Пушкин и народное творчество. „Ученые записки Ленинградского Государственного педагогического института имени А. И. Герцена“, т. XIV, 1938, стр. 63—65.

и скоро добился значительных успехов. Однако он скоро оказался в затруднительном положении, так как национальные интересы местного населения не совпадали с целями греческих вожаков. В разношерстном войске Ипсиланти возникли разногласия. Сам Ипсиланти оказался не на высоте положения в таких трудных обстоятельствах. Турки начали наносить поражения. Он бежал в Австрию (27 июня н. с.), где был интернирован, а оставшиеся отряды под предводительством других вождей продолжали сопротивляться туркам. Часть заперлась в монастыре Секу, но турки взяли монастырь и истребили повстанцев; другая часть под огнем турок переправилась у Скулян на русский берег 29 июня 1821 года. Пушкин видел в Кишиневе участников Скулянского сражения. Он записал их рассказы в ряде заметок. Позднее в повести „Кирджали“ он воспользовался этими записями. Вообще события греческого восстания получили широкое отражение в письмах и заметках Пушкина.

Вот весь план поэмы:

„Два арнаута хотят убить Александра Ипсиланти. Иордаки убивает их. По утру Иордаки объявляет арнаутам его бегство. Он принимает начальство и идет в горы, преследуемый турками. *Секу*“.

От поэмы остались лишь мало разборчивые строки:

Поля и горы ночь объемлет.
В лесу, в толпе своих...
Под темной сению небес
... Ипсиланти дремлет.

Мы видим, что главным героем поэмы должен был явиться Иордаки. Чтобы раскрыть содержание этого плана, обратимся к позднейшей повести Пушкина „Кирджали“, где кратко излагаются события, положенные в основу данного плана:

„Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимпоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи, большею частью, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего“ (VIII, 255).

Приблизительно то же рассказывает Пушкин о восстании Ипсиланти в своих французских заметках, сделанных в Кишиневе в 1821 году: „Иордаки-Олимпоти был в армии Ипсиланти. Они вместе отступили к венгерской границе. Александр Ипсиланти, угрожаемый убийством, бежал по его совету и издал свою грозную прокламацию. Иордаки

во главе 800 человек пять раз разбил турецкое войско; наконец заперся в монастыре (Секу). Преданный евреями, окруженный турками, он поджег свой пороховой склад и взорвался" (XII, 190, 481).

Решительное сражение, о котором пишет Пушкин, произошло 19 июня 1821 года при Драгошанах. После этого сражения Ипсиланти бежал, а Георгаки Олимпиот (Иордаки Олимбиоти) отступил со своим отрядом в город Пятры, а оттуда в расположенный в сорока километрах от города на реке Быстрице монастырь Секу. Именно здесь 24 сентября 1821 года и погиб Георгаки со всем своим отрядом. В заметках Пушкина упоминается и его товарищ Фармаки (Формаки), отступавший вместе с ним. Фармаки был отрезан от главного отряда, взят в плен и казнен в Константинополе.

Прокламация Ипсиланти, о которой пишет Пушкин, начиналась следующим образом: „Солдаты. . . , нет я не оскверню этого прекрасного и почетного имени, применяя его к вам. Подлое стадо рабов, измены и козни, вами подстроенные, принудили меня оставить вас. Отныне всякая связь между нами порвана. Я скрою в глубине души стыд при воспоминании, что был вашим предводителем. Вы изменили своим клятвам, вы предали бога и родину; вы предали меня тогда, когда я надеялся победить или умереть вместе с вами“¹.

Необходимо отметить и те стороны похода Ипсиланти, о которых умолчал Пушкин в своем плане. Как говорилось, главной причиной неудачи Ипсиланти было противоречие между целями его похода и интересами местного населения. Ипсиланти преследовал задачи освобождения Греции от турецкого владычества. Сам он, как и главные его сотрудники (князь Кантакузен и другие), принадлежал к греческой аристократии, ему были чужды широкие народные интересы. Между тем в Молдавии и Валахии местное население знало греков преимущественно в качестве помещиков или чиновников турецкой службы (фанариоты). В придрунайских княжествах в это же время развивалось местное национальное крестьянское движение, цели которого были во многом противоположны целям Ипсиланти. Для молдавских и валахских крестьян победа Ипсиланти сводилась в лучшем случае к смене господ и к укреплению помещичьей власти фанариотов. Общий враг — турки — создавал иллюзию возможности объединить отряды восставших крестьян с отрядами Ипсиланти. Во главе местных отрядов находился Тудор Владимиреску. Вот как писал о нем Пушкин в письме из Кишинева, адресованном, вероятно, В. Давыдову (март 1821 года): „Теодор Владимиреску, служивший некогда в войске покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что они решились

¹ Pouqueville. Histoire de la régénération de la Grèce. 2-me ed., т. II, 1825, стр. 474.

освободить родину от ига незаконного, что намерены платить только подати, наложенные правительством. Сия прокламация встревожила всю Молдавию. Князь Суццо и русский консул напрасно хотели удержать распространение бунта — пандуры и арнауцы отовсюду бежали к смелому Владимиреску — и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска“ (XIII, 22). Сведения Пушкина были не точны: Владимиреску предводительствовал не греками, а валахами (румынами), хотя в его отрядах находились и греки. Вообще в повстанческих отрядах национальный состав был весьма пестрым. В том же письме Пушкин пишет: „Ипсиланти идет на соединение с Владимиреску. Он называется Главнокомандующим северных греческих войск — и уполномоченным Тайного Правительства“ (XIII, 23). Встреча Ипсиланти и Владимиреску состоялась в конце марта в Бухаресте. Сразу определилось различие целей обоих предводителей. Сначала дело не дошло до открытого разрыва, но и соединения не произошло. Пушкин получал сведения, шедшие с греческой стороны. В своем дневнике 2 апреля он записал: „С крайним сожалением узнал я, что Владимиреску не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной — храбрости достанет и у Ипсиланти“ (XII, 303).

Запись эта свидетельствует, что о разногласиях знали уже в Кишиневе. В мае Ипсиланти велел арестовать Владимиреску по обвинению в сношении с турецкими властями. После двухдневного разбирательства Владимиреску был казнен в Терговиште. Войско его распалось; часть отрядов присоединилась к Ипсиланти.

Ипсиланти чувствовал, что в такой обстановке у него нет надежд на победу над турками, но весь его расчет строился на том предположении, что Россия выступит против Турции на стороне греков. Действительно, слухи о том, что Россия объявит войну Порте, усиленно поддерживались. Поездка Ермолова в Любляны рассматривалась как подготовка к этой войне. На самом деле Александр, испуганный волнениями Семеновского полка и революциями на юге Европы, вполне подпал под влияние Меттерниха. В любом революционном движении он видел „гений сатаны“ и приписывал все восстания козням какого-то мифического парижского комитета. Меттерних цинически писал: „Не Россия нас ведет, а мы ведем императора Александра, и по очень простым причинам. Он нуждается в советах, а всех своих советников он растерял. Он рассматривает Каподистрию как карбонарского вожака. Он не доверяет ни своей армии, ни своим министрам, ни своим дворянам, ни своему народу. В таком положении вести невозможно“¹. Об отношении Александра к греческому восстанию лучше всего говорит его письмо А. Н. Голицыну из Лайбаха 10 марта 1821 года. Извещая его о полученных сведениях, касающихся похода Ипсиланти, он писается

¹ Н. К. Шильдер. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование, V. СПб., 1898, стр. 471, примечание 246.

в такие рассуждения: „Это безумец, который, вероятно, и сам погибнет и вовлечет в свою гибель много жертв: у них нет ни пушек, ни средств, и турки, вероятно, их раздавят. Нет сомнения, что толчок этому повстанческому движению был дан тем же центральным управляющим комитетом в Париже, с намерением сделать диверсию в пользу Неаполя и помешать нам в уничтожении одной из этих сатанинских синагог, созданных единственно для пропаганды и распространения антихристианских учений. Ипсиланти в письме ко мне открыто заявляет, что он принадлежит к *тайному обществу*, основанному с целью освобождения и возрождения Греции. Но все тайные общества в конечном счете приводят к парижскому центральному комитету. Такова же и единственная цель пьемонтской революции. Это создание еще одного очага для проповеди того же учения в надежде парализовать результаты христианских начал, исповедуемых Священным союзом“.¹ Александр в мистически-контрреволюционном азарте не только не помог Ипсиланти, но и заверил Порту в том, что он не окажет никакой поддержки повстанцам. Ипсилантѣ был исключен из списков русской армии, ему было объявлено, что никакой помощи от России он не получит, а Витгенштейн, командовавший второй армией, расположенной на южной границе Европейской России, получил приказ о строжайшем нейтралитете.

Пушкин с восторгом принял известие о греческом восстании. Ему казалось, что революционная волна подкатилась к границам России и что страна накануне великих событий. К этому времени относится его стихотворение „Война“:

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вокруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждающей души моей!

Стихи оканчивались:

Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

Распространился слух, что Пушкин бежал к грекам.

Более близкое соприкосновение с греческими коммерсантами в Одессе несколько охладило пыл Пушкина. В ряде писем (см., например, письмо Вяземскому 24—25 июня 1824 года) он дает нелестную характеристику „соотечественникам Мильтиада“. Это, впрочем, не отразилось на его отношении к греческой революции в целом, тем более, что главные события происходили в Морее, на подлинной родине греков.

¹ Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I. т. I. СПб., 1912, стр. 558. (Оригинал по-французски).

О событиях, связанных с походом Ипсиланти, Пушкин знал от участников этого похода. „Не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скуляя и Секу, сподвижниками Иордаки“, — писал он П. Вяземскому 5 апреля 1823 года (XIII, 61).

Именно Иордаки и должен был стать героем задуманной поэмы. Об этом деятеле восстания до нас дошли противоречивые сведения. О нем говорили либо с восторгом, либо с явным недоброжелательством. То его изображали как античного героя, то как разбойника, известного своим вероломством.¹ Такое противоречие оценок можно уловить и в отзывах Пушкина о сподвижниках Иордаки. Но в плане поэмы, повидимому, преобладало восторженное отношение к герою. Участие в его отрядах разбойников не могло особенно смущать автора „Братьев разбойников“, тем более, что самое понятие „разбойник“, в применении к событиям того времени на Балканском полуострове, не совпадало с нашими представлениями о грабителях на большой дороге. Греческие клефты тоже рассматривались как разбойники; на самом деле это были партизанские повстанческие отряды. Гибель Иордаки в монастыре окружала жизнь его ореолом* героизма. Так и хотел изобразить его Пушкин. Скептические ноты в характеристике участников восстания Ипсиланти появились у Пушкина позднее.

От поэмы остались только приведенные отрывки. Судя по первым стихам, поэма должна была строиться по романтическому образцу: об этом говорит начало, где прежде всего дается пейзажное описание, соответствующее настроению событий. Такое описание придавало изложению оттенок лиризма, характерный для романтической поэмы. О том, что мы имеем дело с замыслом относительно крупных размеров, свидетельствует наличие плана. Вместить такое количество событий в небольшое стихотворение было невозможно. Восстановить общий ход поэмы нельзя, так как для этого нет данных.

С замыслом поэмы о гетеристах связан и постоянный интерес Пушкина к освободительным движениям на Балканах. Не только греки, но и южные славяне вели борьбу с турецкой властью. В Кишиневе и на юге России Пушкин имел возможность неоднократно встречаться с представителями южного славянства, так или иначе связанными с национальным движением. И среди участников похода Ипсиланти были славяне. Пушкин записывал их рассказы и песни. В своих воспоминаниях о Пушкине Липранди говорит о „двух современных исторических, народом сложенных песнях, которые... в особенности занимали Александра Сергеевича. Первая, из Валахии, достигла Кишинева в августе 1821 года; вторая, в конце того же года. Куплеты из этих песен беспрерывно слышны были на всех улицах, а равно исполнялись и хорами цыганских музыкантов. Кто из бывших тогда в Бессарабии

¹ См.: Н. В. Измайлов. Поэма Пушкина о гетеристах. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, вып. 3, 1937, стр. 339—348.

и особенно в Кишиневе не помнит непрерывных повторений: «Пом, пом, пом, помирами, пом» и «Фронзе верде шалала, Савва Бим-баша!». Первая из них сложена аллегорически на предательское умерщвление главы пандурского восстания Тодора Владимирески по распоряжению князя Ипсиланти в окрестностях Тырговиста. Вторая — на такую же предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баша Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться. . . Александр Сергеевич имел перевод этих песен; он приносил их ко мне, с тем, чтобы проверить со слов моего арнаута Георгия¹.

Наряду с участниками похода Ипсиланти и другие славяне, деятели славянского движения на Балканах, привлекали внимание Пушкина. Идея освобождения славян близка была и русским, одушевленным идеями свободы и революции. Именно на юге эта славянская идея послужила основанием к организации тайного революционного общества Объединенных славян. Возможно, что Пушкин и не был посвящен в политические планы этого общества и не знал о проекте славянской федерации, но трудно допустить, что до него не доходили разговоры на подобные темы. По рассказам Липранди, Пушкин мог получать сведения о славянском движении от своего приятеля Николая Степановича Алексеева, который занимался выпиской из архива дипломатических сношений с Сербией по поручению Киселева. „Главное же, Пушкин очень часто встречался у меня с сербскими воеводами, поселившимися в Кишиневе, Вучичем, Ненадовичем, Живковичем, двумя братьями Македонскими и пр., доставлявшими мне материалы. Чуть ли некоторые записки Александр Сергеевич не брал от меня, положительно не помню. . . От помянутых же воевод он собирал песни и часто при мне спрашивал о значении тех или других слов для перевода“². Липранди рассказывает, как во время совместной поездки по Бессарабии Пушкин встретился с семейством Славича, жившего в Измаиле, и „свояченица хозяйина продиктовала ему какую-то славянскую песню; но беда в том, что в ней есть слова иллирийского наречия, которых он не понимает, а она, кроме своего родного и итальянского языка, других не знает, но. . . завтра кого-то найдут и растолкуют“³.

Из подобных песен и рассказов возникло стихотворение „Дочери Карагеоргия“, написанное еще в первое время кишиневской жизни, 5 октября 1820 года. Карагеоргий сам одно время был в Хотине, там жила его семья. Портрет Георгия Черного, нарисованный Пушкиным, является во всех отношениях вообразимым. Он выдержан в строго романтической манере:

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,

¹ „Русский архив“, 1866, стб. 1407—1408.

² Там же, стб. 1266—1267.

³ Там же, стб. 1279.

Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей и славы был достоин.

Таков был: сумрачный, ужасный до конца.

Эти намеки на реальные факты биографии Георгия (убийство отца) приобретают здесь весьма нереальную окраску. Они еще очень далеки от того образа Георгия Черного, какой позднее мы встретим в „Песнях западных славян“.

Здесь же в Кишиневе Пушкин заинтересовался судьбой болгарина Георгия Кирджали, история которого позднее явилась сюжетом его повести. Кирджали был в отрядах Ипсиланти, вместе с разбитыми остатками отрядов перешел Прут у Скулян и некоторое время жил в Кишиневе. Одако, как известный своими разбоями, он не мог пользоваться правом убежища и по требованию турецких властей был им выдан. Эта выдача произошла в дни пребывания Пушкина в Кишиневе. Подробности истории Кирджали Пушкин узнал от чиновника канцелярии Инзова — Лекса. Еще в Кишиневе Пушкин начал стихотворение, посвященное этой выдаче Кирджали турецким властям. Стихотворение осталось незаконченным. Оно было озаглавлено Пушкиным „Чиновник и поэт“ и представляет собой любопытный автопортрет Пушкина.

„Куда вы? за город конечно,
Зефиром утренним дышать
И с вашей Музою мечтать
Уединенно и беспечно?“

— Нет, я собираюсь на базар,
Люблю базарное волнение,
Скуфы жидов, усы болгар
И спор и крик, и торга жар,
Нарядов пестрое стеснение.

Люблю толпу, лохмотья, шум —
И жадной черни дай свободный.

„Так — наблюдаете — ваш ум
И здесь вникает в дух народный...“

Так, „вникая в народный дух“, Пушкин ловил впечатления от пестрой толпы, обогащая живыми наблюдениями рассказы о народных волнениях.

К этому же времени относятся и не дошедшие до нас повести Пушкина из того же цикла тем. Мы знаем о них из рассказа Липранди: „Каравия, Пендадека и Дука были отвержены кишиневским греческим обществом; но я не находил нужным делать того же, напротив, как говорится, приголубил их, особенно Дуку, и в частных беседах с ним извлекал из него то, что мне было нужно. Пушкин часто встречал их у меня и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними. От них он заимствовал два предания, в несколько приемов записывал их, и всегда на особенных бумажках. Он уехал

Пушкинский кабинет ИРЛИ

в Одессу. Через некоторое время я приехал туда же на несколько дней и, как всегда, остановился в клубном доме у Отона, где основался и Пушкин. Он показал мне составленные повести; но некоторые места в них казались ему неясными, ибо он просто потерял какой-то документ и просил меня, чтобы я вновь переспросил Дуку и Пендадеку и выставил бы года лицам, точно ли они находились тогда в Молдавии. Рассказчики времени не знают. «С прозой — беда! — присовокупил он, захохотав. — Хочу попробовать этот первый опыт». Я это исполнил, с дополнением еще от случайно в это время ко мне вошедшего Скуфо, также одного из проклятых Ипсилантием, и вскоре передал Пушкину". Липранди утверждает, что у него были копии законченных рассказов Пушкина, и сообщает их названия: „Дука, молдавское предание XVII века" и „Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года".¹

До нас эти повести Пушкина не дошли.

Однако есть возможность восстановить содержание повестей Пушкина. В „Сыне отечества и Северном архиве" 1838 года (т. I, февраль, стр. 230—239) была напечатана молдавская повесть „Дабижа" (за подписью Болеслав Хиждеу). Она и передает содержание предания, рассказанного Пушкиным: Истрат Дабижа был молдавским господарем. У него была прекрасная дочь Домница Дафна. Поддельваясь под тон молдавских преданий, Хиждеу пишет: „Богат и велик господарь Истрат Дабижа: но он богат не золотом венгерским и не серебром ляхским, как Василий Лупула, а богат дочерью Домницею Дафною...". Точно так же, следуя стилю предания, описывается красота Дафны: „И прекрасна была дочь его Домница Дафна, прекраснее брындуши, развивающейся раннею весною, прекраснее яблока домнианского, созревающего позднею осенью. Стан ее был так строен, как одоবেшская лоза или как византийская тополь, возвышающаяся над берегами Днестра. Глаза у ней были голубые, словно лицо неба, а брови черные, словно крыло ворона. Светлые русые волосы, словно золото, носимое на волнах реки золотой Быстрицы, вились узорчатыми локонами около шеи ее, белой как грудь дунайского лебедя". При дворе Истрата служил молодой арнаут Василий Дука. Он любил Дафну, но Дафна не любила его. Дука известен был своим умом, но душа его была мрачна и коварна. Однажды во дворце Дабижи было празднество. Дафна решила расстаться с миром и уйти в монастырь. Василий Дука был мрачен и суров. По поручению Истрата он вышел с пира, и здесь у него родился план овладеть Дафной против ее воли. Он поджег дворец и во время пожара вывел из дворца Истрата и Дафну. На следующий же день Истрат, благодарный за спасение дочери и не подозревая коварства, выдал Дафну замуж за Дуку, а вместе с тем произвел его в чин великого вистерника. По летописям это произошло в 1663 году. После смерти Дабижи (1666) Дука стал господарем. Рассказ заканчи-

¹ „Русский архив", 1866, стб. 1409—1410, 1411.

вается словами: „Не долго княжна знала радости брака! говорит летописец Нестор Уреке. Дука, получив господарство, завел у себя гарем и держал шестерых наложниц. От брака с Дафною он имел только одного сына, Константина, который был господарем с 1693 по 1696 и с 1701 по 1704 год“.

Совпадение имен и даты не оставляет никакого сомнения, что рассказ Б. Хиждеу передает то самое предание, которое положил в основу своего рассказа и Пушкин.

Другое предание — Дука — изложено А. Хиждеу на страницах последнего номера „Вестника Европы“ Каченовского (1830, № 23 и 24, декабрь, стр. 181—197). В журнале повесть называется „Дука. Молдавское предание“. Речь идет о том же Василии Дуке. Начинается рассказ с пятого года господарства Дуки. Под тираническим правлением Дуки Молдавия бедствует. Дуку народ ненавидит за его злодеяния. И пока князь находится с войском под стенами Вены, его противники обдумывают, как прекратить жестокости тирана и вернуть стране свободу и счастье. И вот, в старом замке в Формосе собрались заговорщики, съехавшиеся со всех сторон. Здесь решено было свергнуть Дуку и избрать господарем Стефана Петричейко. Дука вернулся домой с небольшим отрядом. Войско его полегло в бессмысленном походе. Зато Дука привез пленницу из серала великого визиря и ее провозгласил княгиней. На пиру у Дуки собрались его бояре. Но когда провозглашали здравие великого господаря князя Стефана Петричейки!“. Замок был окружен заговорщиками. Явившийся Стефан схватил Дуку и заключил его в тюрьму, наложив на него колодки. Предание кончается сценой смерти Дуки. Его в разорванном плаще везут на телеге. Увидев проходящую старуху с ковшом молока, он властно требует этого молока. Старуха сперва отказывает, так как дети ее голодают: „Ты верно и сам слышал о сребролюбии господаря Дуки. Он разорил богатую Молдавию“. Но решив, что колодник сам жертва Дуки, она сжалилась над ним: „Подкрепи себя молоком; но если в сие самое время злой губитель пирует, то да превратится сладкий напиток в отраву для него!“. Дука выпил молоко и здесь же начал исходить кровью. Таков был конец тирана.¹

Две эти повести представляют внутреннее единство: это рассказ о возвышении и гибели тирана. Коварный захват власти, восстание недовольных, жалкая смерть — воздаяние за разорение страны, — всё это представляло несомненный интерес для Пушкина, тем больший, что услышал он эти предания от участников революционного похода, героев Скулянской битвы, собственная судьба которых так привлекала Пушкина.

¹ Опыт подробной реконструкции обеих молдавских повестей см. в настоящем сборнике в статье Г. Ф. Богача.

5

Не совсем понятно, что заставило Пушкина обратиться в 1821 или 1822 году к мифу об Актеоне. В сохранившихся планах этот миф соединен с мифом об Эндимионе и о Диане, которая, очевидно, и должна была явиться основной героиней поэмы. Упоминание Дианы и Эндимиона мы находим еще в „Руслане и Людмиле“, и возможно, что уже тогда Пушкин думал о поэтической обработке этого сюжета:

В молчаньи дева перед ним
Стоит недвижно, бездыханна,
Как лицемерная Диана
Пред милым пастырем своим. . .

(Песнь четвертая, эпизод Ратмира
и двенадцати дев).

Повидимому, Пушкин собирался обработать этот миф пародически. Во французском плане мы встречаем такие выражения: „Актеон — фат“, „скандалезная история Дианы“. Сохранившийся стихотворный отрывок поэмы („В лесах Гаргафии счастливой“) не достаточно велик, чтобы уловить тон повествования.

Гораздо понятнее обращение Пушкина к сюжету сказки о Бове. Эта сказка была известна Пушкину с раннего детства. В стихотворении „Сон“ (1816) он вспоминал рассказы мамушки „о подвигах Бовы“. В 1814 году он, следуя примеру Радищева, начал „русским размером“ вольное повествование о Бове. Теперь он решил пересказать эту сказку в форме поэмы.

Сказка о Бове, получившая широкое распространение в рукописных списках, в устной передаче, в лубочных картинках, представляет собой сложное повествование о судьбе героя и его многочисленных приключениях. Запомнить ее содержание можно только неоднократно прослушивая ее. Повидимому, в наивном пересказе няни эта авантюрная история запечатлелась в юной памяти Пушкина и прочно сохранилась на всю жизнь.

Действие сказки переносится с места на место, и везде выступают новые персонажи. Начинается она с событий в городе Антоне. Милитриса, выданная замуж за немилого и уже немолодого Гвидона, не может забыть своего возлюбленного короля Дадона. Коварством она добивается того, что Дадон изменнически убивает Гвидона и воцаряется в городе Антоне. Но он страшится мести Бовы — еще юного сына Гвидона и Милитрисы. Мать заключает королевича в темницу в угоду мужу. Девушка, служанка Милитрисы,¹ освобождает Бову и за это сама ввергается в подземелье. Эта начальная часть сказки является основой свободного пересказа лицейского времени. При этом Пушкин переименовал Гвидона в Бендокира Слабоумного, вывел на сцену его

¹ В некоторых вариантах сказки она названа Чернавкой. Это имя находится в списке имен действующих лиц поэмы, составленном Пушкиным в 1822 году.

тедь, уделил особое внимание второстепенному персонажу — служанке и назвал ее Зоиной. Кроме того, в повествование введены сатирические сцены царского совета в духе „Трумфа“ И. А. Крылова.

Но всё это является, собственно, прологом к самым приключениям Бовы. Спасенный из тюрьмы, скрывая свое происхождение, Бова начинает свои скитания. Подобранный корабельщиками (по плану сказки 1822 года, взятый разбойниками), Бова прибывает в Армянское царство к Зензевею. Царь Зензевей, плененный красотой юноши, покупает его. Дочь Зензевея Дружневна влюбляется в Бову, и здесь узел всей сказки. Между тем являются претенденты на руку Дружневны: Маркобрун и сын задонского царя Салтана Лукопер великан. В плане поэмы Пушкин отождествил Салтана с Маркобруном: по его плану Лукопер — сын Маркобруна. Бова совершает ряд подвигов, признается Дружневне в своем происхождении и затем убивает Лукопера. С этого признания Пушкин и собирался начать поэму, а предшествующие события изложить в рассказах Бовы. Здесь он до известной степени воспроизводит построение „Бовы“ Радищева. В дальнейшем завистники Бовы, обманно пользуясь именем Зензевея, отправляют Бову в Задонское царство к отцу убитого Лукопера. Тот хочет его казнить, но в Бову влюбляется дочь царя Мельчигрея. Бова не разделяет ее склонности, верный Дружневне, и ввергается в тюрьму, но при помощи меча-кладенца освобождается, переживает ряд приключений, совершает подвиги, соединяется с Дружневной, снова теряет ее и снова находит. Кончается сказка мезтью врагам: Бова убивает Дадона, заключает в тюрьму Милитрису (по другому варианту заковывает ее в дубовую бочку), освобождает из тюрьмы служанку Милитрисы и расправляется с врагами. Во время этих путаных приключений с ним происходят различные эпизоды, отчасти отразившиеся в плане поэмы Пушкина. Так, во время его поездки в Задонское царство его обкрадывает некий „пилигрим“. В дальнейшем Бова разыскивает этого пилигрима, отнимает украденное и в качестве вознаграждения забирает три зелья: одно сонное, другое черное и третье белое; если умыться черным, то становишься как уголь, белое возвращает белизну. Эти три зелья помогают Бове в его приключениях. Другой эпизод, попавший в план Пушкина, — встреча с богатырем Полканом: у него по пояс песьи ноги, а от пояса до головы он человек. Полкан был послан в погоню за Бовой после одного из его бегств. Но после боя Полкан и Бова заключают союз и вместе побеждают врагов.

Первый план поэмы близко следует сказке (с указанным упрощением: царь Салтан назван Маркобруном, вследствие чего выпадают некоторые приключения). Второй план представляет более свободную обработку начальных эпизодов сказки. Эта обработка принадлежит собственно Пушкину, а не является передачей какого-либо ходившего варианта сказки. Об этом говорят последние слова плана; дойдя до эпизода с тремя зельями, Пушкин прекращает изложение и пишет:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

„По сказке“, т. е. делает указание, что в дальнейшем он собирается следовать сказочным событиям без изменений. Главные отступления от сказки в этом втором плане следующие. Зензевей (или, по сказке, завистник от имени Зензевей) не посылает Бову к Салтану, а, узнав, что Бова провел ночь у Дружневны, изгоняет его из своего царства. Бова, странствуя после своего изгнания, освобождает разбойника, и тот в благодарность обязуется сослужить ему три службы. В Задонское царство Бову приводят воины задонского царя (по Пушкину Маркобруна). Мельчигрея оказывается чародейкой, а старец-пилигрим, обокравший Бову и усыпивший его, был ею подосланный дух. „Службы“ разбойника освобождают Бову.

Если эпизод с разбойником вполне в духе русских сказок и, помимо того, приближал Пушкина к занимавшим его темам, то превращение Мельчигреи в чародейку направляло повествование по традиционным путям рыцарских романов и поэм. Мельчигрее приписывались свойства не то Наяны, не то Армиды или героинь Ариосто. Это свидетельствует о том, что у Пушкина еще не определилось его отношение к сказочным темам. Обработка сказки о Бове была пробой. Чувствуя себя неуверенным, Пушкин и не пошел далее планов и набросков начала поэмы.

Этих набросков три: два первых относятся к одному замыслу. Они написаны одинаковым стихотворным размером.

Кого союзником и другом
Себе ты выбрал, Зензевей,
Кто будет счастливым супругом
Царевны дочери твоей?
Она мила как ландыш мая,
Резва как лань Кавказских гор.

Эти стихи являются зачином поэмы и говорят о том времени, когда к Зензевею стали являться женихи Дружневны. Другой набросок относится ко времени, когда началась война за обладание Дружневной:

Зачем раздался гром войны
Во славном царстве Зензевей,
Поля и села зажжены...

Другое начало поэмы написано более длинным стихом — пятистопным ямбом. Этим размером Пушкин уже написал „Гавриладиу“, но отсюда еще нельзя заключить, что и новая поэма задумывалась в том же тоне иронии: данный размер обладает возможностью передавать весьма разнообразные оттенки настроения. Но звучит он медленнее четырехстопного ямба, а потому описания приобретают больше торжественности и пышности:

Народ кипит, гремят надобны клики,
Пред теремом грузинского владыки,
Съезжаются могучие цари,
Царевичи, князья, богатыри.

Как видим, и здесь речь идет о женихах Дружневны.

В этих стихах действие перенесено из Армянского царства в Грузию. Пушкин, видимо, заботился о колорите в обстановке действия. Возможно, что и сравнение героини с ланью Кавказских гор в первом варианте не случайно: Пушкин хотел внести в поэму свои впечатления от посещения Кавказа.

К сожалению, планы поэмы дают представление лишь о внешней сюжетной стороне задуманного произведения. Мы не имеем права гадать о внутренней его структуре: слишком незначительны по объему и охвату темы сохранившиеся стихотворные наброски, едва намечающие развитие действия. Во всяком случае, эта разработка сказочного сюжета еще очень далека от позднейших сказок Пушкина. В этом отношении и дошедших стихов достаточно, чтобы убедиться в отсутствии того колоритно-народного сказа, которым с первых же строк окрашены пушкинские сказки 30-х годов. Здесь сказочный сюжет — лишь авантюрная основа для поэмы богатырских подвигов и романических приключений.¹

В эпилоге „Кавказского пленника“ Пушкин дал обещание, что его муза

Расскажет повесть дальних стран,
Мстислава древний поединок...

К этому месту он сделал примечание: „Мстислав, сын св. Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. *Ист. Гос. Росс. Том II*“ (IV, 117).

Бой Мстислава с Редедей, поминаемый в „Слове о полку Игореве“, привлек внимание Пушкина потому, что произошел на севере Кавказа, в местах, которые посетил он в 1820 году. Критика приветствовала обещание Пушкина, так как не отказывалась от надежды прочитать

¹ В те же дни, когда Пушкин обдумывал план поэмы о Бове (последние числа июня 1822 года), он сделал большую выписку — конспект из „Histoire littéraire d'Italie“ П. Л. Женгене (т. IV, 1812, стр. 176—183), содержащую краткий пересказ старой итальянской поэмы в октавах „Viuvo d'Antona“, относящейся к первой половине XIV века. Сюжет поэмы в первой своей части совпадает со сказкой о Бове. В этой части Пушкин выписал только начало пересказа, опустив дальнейшее и отметив только: „остальное как в русской сказке“. Пересказ продолжения поэмы после воцарения Бовы в Антоне Пушкин полностью проконспектировал, равно как вкратце изложил исторические сведения об этой поэме. Женгене называет данную поэму „древнейшим эпическим романом“ (в конспекте Пушкина „древнейшая романтическая поэма“). В этом же смысле Пушкин называет эту поэму в приписке к письму Вяземскому 25 мая 1825 года, говоря об исторических ошибках Полевого. Здесь она приводится как доказательство возникновения романтизма в Италии. Конспект Пушкина полностью напечатан в книге: Руюю Пушкина. Подготовил к печати М. А. Цыяловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер, изд. „Academia“, 1935, стр. 486 и сл.

когда-нибудь настоящую эпическую поэму на русскую историческую тему. Ждали подобной поэмы представители разных литературных направлений. Особый смысл в свои ожидания вкладывали писатели декабристского лагеря. Об этом уже говорилось в связи с темой о Вадиме.

В 1822 году Пушкин приступил к осуществлению своего обещания. Сделав несколько конспективных исторических записей, он приступил к составлению плана поэмы. С первых же слов плана мы видим, что Пушкин не слишком стремился следовать истории. Его более привлекали сказочные предания о богатырях и их подвигах. Поэтому он соединил исторический сюжет о Мстиславе и его распре с косогами с былинной повестью об Илье Муромце, осложнив повествование всякими волшебными приключениями.

В сказке о Бове говорится о Задонском царстве, где исповедуют какую-то латынскую веру в бога Ахмета. Не трудно было вообразить, что Задонское царство расположено в области косогов: Это же самое Задонское царство Пушкин нашел в сборнике Кириши Данилова „Древние российские стихотворения“. Вот краткое содержание былины, названной в сборнике „Илья ездил с Добрынею“. Из Киева отправляются на подвиги два могучие богатыря Илья Муромец и его названный брат Добрыня Никитич.¹

Говорит Илья Муромец Иванович:
„Гой еси ты, мой названой брат,
Молодой Добрынюшка Никитич млад!
Поезжай ты за горы высокие,
А и я, дескать, поеду подле Сафат реки“.

Добрыня поехал в горы и повстречал бабу Горынинку, с которой и сразился. Тем временем Илья Муромец ездил подле Сафат реки и здесь наехал на молодого богатыря Збута Бориса королевича.

И наехал Збут королевич млад,
Напускается он на старого,
На стара козака Илью Муромца,
И стреляет Илью во белы груди,
Во белы груди из туга лука;
Угодил Илье он во белу грудь.

Однако могучему Илье легко достается победа над молодым Збутом:

Не стреляет он Збута Бориса королевича —
Его только охватил во белы руки
И бросает выше дерева стоячего.

¹ Цитирую по изданию К. Калайдовича 1818 года, которым, вероятно, пользовался Пушкин. С незначительными пропусками былина напечатана и в издании 1804 года.

Побежденного Збута Илья допрашивает:

Ты скажись мне, молодец, свою дядину, отчину.

После невежливого ответа избитый Збут принужден дать просимый ответ:

„Я того короля Задонского“.

А втапору Илья Муромец Иванович

Гляючи на свое чадо милое —

И заплакал Илья Муромец Иванович:

„Поезжай ты Збут Борис королевич млад,

Поезжай ты ко своей, ты ко своей сударыне матушке...“.

Приехав к матери, Збут рассказал о встрече с Ильей. На этот рассказ мать Збута

Разилася о сыру землю

И не может во слезах слово молвити:

„Гой еси ты, Збут Борис королевич млад!

Почто ты напущался на старого?

Не надо бы тебе с ним драться,

Надо бы съехаться в чистом поле,

И надо бы тебе ему поклониться

О праву руку до сырой земли;

Он по роду тебе батюшка, старой козак

Илья Муромец, сын Иванович“.

Былина оканчивается описанием боя с Горынишкой, которую Добрыня одолел только с помощью Ильи Муромца. Горынишка ведет богатырей к погребцу, где много золота, серебра и цветного платья, награбленного на Руси. Горынишке отсекают голову.

Место действия — горная страна, Задонское царство, время действия — при князе Владимире, — всё это позволило сблизить исторические предания о Мстиславе с содержанием былины про бой Ильи с сыном. Не исключена возможность, что былину эту Пушкин знал не только по „Древним российским стихотворениям“, но и в других вариантах, и в устной передаче, например, в форме сказки. В стихотворении „Сон“ (1816) Пушкин, говоря о рассказах мамушки, соединяет сказочные и былинные мотивы:

Терялся я в порыве сладких дум;

В глуши лесной, средь муромских пустыней

Встречал лихих Полканов и Добрыней,

И в вымыслах носился юный ум...

Пушкинский план поэмы „Мстислав“ начинается с исторической обстановки: „Владмир, разделив на уделы Россию, остается в Киеве“. Далее следуют былинные события: „молодые богатыри со скуки разъезжаются; с ними Илья Муромец и Добрыня“. То, что этот эпизод связан с былинной, показывает дальнейшее: „Илья едет далее, встречает своего сына, сражается с ним“. К этой же теме Пушкин возвра-

щается в отдельных приписках к плану. В одной из них говорится: „Илья хочет представить сына Владимиру, вместе едут“. Повидимому, это принадлежит собственной фантазии Пушкина. Но другая приписка свидетельствует о том, что ему известен был и другой вариант былины. Говоря о татарской царевне, у которой родился сын от Ильи, Пушкин продолжает: „она вышла замуж, объявила сыну, сын едет отыскивать отца“ (V, 157). Такой вариант былины о сражении Ильи Муромца с сыном существует.

В плане поэмы поездка в горы мотивирована тем, что на Киев нападают печенеги и Владимир посылает гонцов за сыновьями. Илья едет в горы за Мстиславом, находит его и везет в Киев.

Пребывание Мстислава осложнено романическим эпизодом в духе рыцарских романов и поэм Ариосто и Тассо. „Царевна косоого влюбляется в Мстислава. Ее мать волшебница: старается заманить Мстислава. Мстислав упорствует ее прелестям. Она в сражении его увлекает под видом косога, убившего его друга; превращается вновь <т. е., повидимому, принимает свой женский облик>. Мстислав на острове наслаждений“. К тому же относится и эпизод, находившийся в первом плане: „Мстислав влюбляется в их <т. е. косоожскую> царевну (Амазонку — Армиду)“. Имя Армиды показывает на литературные ассоциации Пушкина. „Остров наслаждений“ — традиционный и обязательный эпизод рыцарских поэм, повторяющихся в разных вариантах историю Цирцеи из „Одиссеи“. Чародейка увлекает на этот волшебный остров героя. Таков волшебный остров Альчины, куда попадает Руджери в поэме Ариосто (песнь VI), таковы волшебные сады Армиды. Отражение подобного эпизода имеется и в „Руслане и Людмиле“.¹ Этот эпизод являлся общим местом сказочных авантурных поэм.

Не новым изобретением являются языческие боги, изгнанные крещением и одушевляющие в борьбе против русских соединенные народы, нападающие на Киев. Так же во „Владимире“ Хераскова Перун и другие языческие боги вмешиваются в события, чтобы воспрепятствовать крещению Руси. Точно так же эпизод, в котором пустынный пророк Илье будущее России, является общим местом почти всех эпических поэм.

Эти эпизоды, которыми Пушкин хотел придать своему замыслу „эпический“ характер, наименее оригинальны в его планах. Повидимому, Пушкин и создавал это. В одном месте плана он ограничи-

¹ В. А. Закруткин в своей работе „План поэмы о Мстиславе Удавом (1822)“ придает, как мне кажется, излишнее значение этому упоминанию Армиды и ставит план Пушкина в зависимость от „Освобожденного Иерусалима“ Тассо (см.: Пушкин и Лермонтов, стр. 130—136). Имя Армиды было нарицательным. Пушкин часто упоминал Армиду в значении обольстительной красавицы и в то же время „решительно не любил Тасса“ (письмо М. П. Погодина С. П. Шевыреву 11 мая 1831 года. „Русский архив“, 1882, кн. III, № 6, стр. 185).

вается простой цитатой из „Орлеанской девственницы“ Вольтера: „Царевна за ними едет—она пристает к печенегам—Сражение— de grands combats et des combats encore“.

Это—цитата из XV песни поэмы Вольтера, где говорится о военных эпизодах как обязательном украшении эпических поэм:

Où que ne puis-je en grands vers magnifiques
Écrire au long tant de faits héroïques!
Homère seul a le droit de conter
Tous les exploits, toutes les aventures,
De les étendre et de les répéter,
De supputer les coups et les blessures,
Et d'ajouter aux grands combats d'Hector
De grands combats et des combats encor:
C'est là sans doute un sûr moyen de plaire.¹

Это место напоминает строфы о Гомере из первого издания пятой главы „Евгения Онегина“ (строфа XXXVIII):

Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго;
Сражение будет. Не солгу,
Честное слово дать могу.

Только этим ироническим отношением к обязательным атрибутам эпических поэм, как волшебства, пророчества, сражения, можно объяснить цитату из пародической поэмы Вольтера.

Гораздо свободнее пользуется Пушкин былинно-сказочными эпизодами. В первом плане поэмы мы, например, находим зачеркнутую фразу: „Меч Еруслана об двух ударах“. Еруслан введен сюда не случайно: сказку о Еруслане сближает с былинной об Илье наличие в ней эпизода боя отца с сыном, причем в сказке, как и в плане поэмы Пушкина, сын едет разыскивать отца, но не узнает его при встрече. Кроме того, в сказке упоминается Задонское царство (откуда родом богатырь, чью голову встречает Еруслан). Меч об двух ударах—это тот меч, который отдает Еруслану богатырь (единственный эпизод из сказки, перешедший в „Руслана и Людмилу“). Первым ударом меч поражает врага, второй удар имеет обратное действие. Этим мечом в поэме Пушкина Мстислав поражает колдуна. Всё это нельзя назвать общими местами: со сказочными эпизодами Пушкин обращается с большей свободой, с большей творческой самостоятельностью и поэтическим произволом выбора.

¹ „Ах! отчего мне не дано воспевать пышными стихами по порядку столько геройских подвигов! Только Гомер вправе повествовать о всех этих деяниях и приключениях, входить в подробности и повторять, подсчитывать удары и раны и прибавлять к великим битвам Гектора великие битвы и еще битвы: в этом, несомненно, заключается верное средство нравиться“.

Былинно-сказочные и эпические эпизоды соединены с некоторыми историческими фактами, введенными в план поэмы. Пушкин конспектирует по Карамзину обстоятельства, при которых должно развертываться действие. Из первого тома „Истории государства Российского“ Пушкин выписал перечень детей Владимира и разделение страны на уделы (изд. 2-е, 1818, стр. 202—203 и 220). От всего этого в плане поэмы только начальная фраза: „Владимир, разделив на уделы Россию, остается в Киеве“.

В исторической выписке имеется запись: „1000 года XI век“. Смысл этой записи не совсем понятен. Но возможно, что Пушкин хотел приурочить события поэмы к 1000 году. О событиях этого года Карамзин пишет в примечании 483 первого тома:

„Здесь открылось *Никонов. Летописцу* свободное поле для вымыслов. Желая наполнить пустоту в древней летописи, он сказывает, что в 1000 году Володарь, забыв благодеяния великого князя, шел осадить Киев с *половцами* (которых имя в сие время было еще неизвестно в России); что Владимир находился тогда в Дунайском Переяславце; что богатырь его Александр Попович умертвил Володаря и разбил половцев; что Владимир за такую храбрость надел на Поповича золотую гривну и сделал его *вельможею в палате своей*; что в тот же год умер Рахдай *Удалой*, разливались воды и были у Владимира послы от папы, от королей Богемского и Венгерского; что в 1001 году Александр Попович и Ян *Усмошвеу*, убивший некогда великана печенежского, разогнали множество печенегов и привели в Киев князя их Родмана; что обрадованный Владимир дал *светлый* праздник народу“ и т. д. События эти не отразились в плане; так, например, нет упоминания половцев (если не предполагать, что Пушкин имел их в виду в фразе плана: „На Россию нападают с разных сторон все враги ее“; в другом месте — „соединенные народы“). Вообще же история мало отразилась в планах поэмы.¹

Повидимому, Пушкина мало смущали и хронологические пределы действия поэмы: разделение на уделы отнесено у Карамзина к 988—990 годам (в летописи к 6496, т. е. к 988 году), а битва Мстислава с Редедей относится к 1022 году, уже после смерти Владимира. Хотя эта битва и не упоминается в планах поэмы, но она является, несомненно, отправным событием в приключениях Мстислава в стране косоогов. Таким образом, Пушкин уклонился от выполнения того, чего ожидали от него критики, обрадованные обещанием в эпилоге „Кавказского пленника“; он вовсе не собирался писать эпическую поэму в классическом понимании этого жанра: он не хотел изображать исторические события, хотя бы и с примесью фантастики, допускавшей законами жанра. Исторические события явно отведены на второй

¹ Исторические источники „Мстислава“ подвергнуты были анализу в упомянутой работе В. А. Закруткина (Пушкин и Лермонтов, стр. 124—129).

план, а прежде всего выступают сказочно-былинные эпизоды с соединением нескольких обязательных положений, привычных в эпических поэмах, а особенно в рыцарских.

Сказать что-нибудь окончательное и точное о жанре, в котором предполагал Пушкин разработку данного сюжета, мы не можем. От поэмы до нас не дошло ни одного стиха. Канва событий под пером Пушкина могла принять самый неожиданный характер. Связь с поэмой типа „Руслан и Людмила“ несомненна. Но этот жанр для Пушкина был уже в прошлом.

Единственно, что явствует из поэмы,—это интерес Пушкина к народному творчеству, к былинам и сказкам, который в „Мстиславе“ проявляется в большей степени, чем в „Руслане и Людмиле“, но попрежнему в переплетении со сказочными мотивами, чуждыми русскому народному творчеству. Быть может, это и было одной из причин, почему Пушкин не написал данной поэмы, несмотря на то, что ее ожидали от него представители разных литературных направлений.

Обзор неоконченных произведений и неосуществленных замыслов Пушкина кишиневского периода показывает, куда направлялись интересы Пушкина и какие события получали отражения в его замыслах. Прежде всего следует отметить тесную связь части этих произведений с народными движениями: крестьянские волнения отразились в „Братьях разбойниках“, национально-освободительная революция на Балканах—в поэме о гетеристах, а наброски трагедии и поэмы о Вадиме, перенося нас в далекое прошлое, по существу изображали революционное движение декабристов.

Самое понимание революционного движения в эти годы не укладывалось для Пушкина в представление о дворянском перевороте без участия народа. Наоборот, именно демократические формы народных движений получали отражение в его замыслах.

В связи с этим особое значение получает то внимание, которое в этих замыслах обращено на народное творчество: песни, сказки, былины. В них Пушкин искал, повидимому, не только сюжетного материала, но и выражения народного сознания.

Однако, связанный еще романтической системой и литературной традицией, Пушкин не нашел художественных форм для воплощения этих замыслов. Только в дальнейшем, при победе реалистического начала в его творчестве, сюжеты, почерпнутые из народной поэзии, нашли подлинное и полное выражение в „Сказках“ Пушкина, в его „Песнях западных славян“, „Русалке“ и других произведениях.

Г. Ф. БОГАЧ

МОЛДАВСКИЕ ПРЕДАНИЯ, ЗАПИСАННЫЕ ПУШКИНЫМ

В 60-х годах прошлого столетия в русской печати появилось сообщение, что Пушкиным были написаны две повести, оставшиеся неопубликованными, которые он „составил из молдавских преданий“. Это известие принадлежит кишиневскому знакомцу Пушкина и автору воспоминаний о нем И. П. Липранди. Изложив обстоятельства, при которых Пушкин записывал эти предания в Кишиневе, Липранди сообщил и заглавия этих повестей: „Дука, молдавское предание XVII века“ и „Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года“.¹ Содержание этих „повестей“ еще не было раскрыто в достаточной мере в литературе о Пушкине. Настоящая статья и ставит своей задачей восполнить этот пробел.

Подвергать сомнению действительное существование этих, неизвестных в печати, повестей Пушкина не приходится. По всей вероятности, их видел и читал (в 1866 году?) редактор „Русского архива“ П. И. Бартевев, напечатавший воспоминания И. П. Липранди в своем журнале. На такое предположение наталкивает, между прочим, его примечание к тому месту в тексте этих воспоминаний, где идет речь об этих исторических повестях Пушкина. П. И. Бартевев заметил по этому поводу: „От себя Пушкин ничего не прибавил тут“.² Высказывалась догадка, что Бартевев, познакомившись с рукописями этих повестей по копиям, которые хранил у себя Липранди, своим примечанием хотел удостоверить „полное их соответствие исторической действительности“.³ Иными словами, Бартевев как будто утверждал, что хранившиеся у Липранди тексты не являются художественными произведениями Пушкина, его „повестями“ в собственном смысле этого слова, как отзывался о них чуждый вопросам художественной

¹ Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. „Русский архив“, 1866, № 10, стб. 1408, 1411.

² Там же, стб. 1411.

³ М. и Т. Цявловски е. Дневник Долгорукова, „Звенья“, т. IX, М., 1951, стр. 18.

литературы военный историк; Бартенев видел в них лишь точные записи молдавских преданий, — он не находил здесь элементов поэтического творчества. Если принять эту точку зрения, то становится понятным, как могло случиться, что такой страстный собиратель и публикатор материалов, связанных с Пушкиным, каким был П. И. Бартенев, печатавший даже отдельные варианты его стихов, упустил возможность опубликовать две неизвестные повести великого поэта.¹ Бартенев не считал эти тексты собственно „повестями“ Пушкина. Для публикации же фольклорных записей поэта в 60-е годы время еще не настало. Не исключено, конечно, что, добившись в своей записи близости текста к рассказанному ему устным преданиям, Пушкин и задумывал написать на их основании повести. Но так или иначе, в бумагах Бартенева текстов этих повестей ни в копиях, ни в оригиналах не оказалось и до сих пор они нигде обнаружены не были.

Не зная подлинного текста пушкинских молдавских преданий, мы лишены в настоящее время возможности высказаться по вопросу о том, были ли это записи Пушкина или плоды его собственного творчества. Тем не менее, обстоятельства работы Пушкина над текстом преданий, изложенные Липранди, утверждают нас во мнении, что поэт заботился о точнейшей передаче исторических данных, для проверки которых он и обращался неоднократно к лицам, познакомившим его с этими преданиями.

Тем важнее задача определить, что именно привлекло такое пристальное внимание Пушкина к истории Молдавии.

1

Напомним текст воспоминаний И. П. Липранди, единственный источник, из которого мы знаем о работе Пушкина над молдавскими преданиями:

„Вместе с тем не вижу в собрании его <Пушкина> сочинений даже и намека о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трех главнейших гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки, преданных Ипсилантием, в числе других, народному проклятию за действие и побег из-под Драгошан, где впрочем и сам Ипсиланти преступно не находился.

¹ Впрочем, М. и Т. Цявловские в цитированной выше вступительной статье к „Дневнику“ Долгорукова выдвигали и другое предположение относительно того, почему П. И. Бартенев не опубликовал эти повести; по их мнению, это могло произойти благодаря их содержанию, из-за цензурных опасений: „И повести эти, бывшие в руках Бартенева, страстного поклонника Пушкина, печатавшего каждую найденную им строчку поэта, остались неопубликованными. Это, конечно, не случайно. Их нельзя было печатать по цензурным условиям. Конечно, в этих повестях должно было говориться о борьбе молдавского народа с его господами, имена которых, очевидно, узнаются в заглавиях...“ (стр. 18—19).

„Василий Каравия был нежинский грек, очень не глупый и с некоторым образованием; он попал в особенную милость к князю Ипсиланти, за варварское убийство мирных турок в Галацах, при самом начале гетерийских действий. Пендадека, тоже родом из Нежина, не лишенный ума и очень хитрый. Он был эфором в сброде (sic!) Ипсиланти, имея чин полковника гетеристов; одно время правил Молдавией (до прибытия князя Георгия Кантакузина, из Тырговист). Дука, родом албанец, человек, в высшей степени замечательный; он был поверенным в делах Али-паши-Янинского, любимец его, владел независимо от греческого, албанского, валахского языков — итальянским (в Албании довольно распространенным) и французским. Долго было бы говорить здесь о его похождениях и о том, как он попал в гетерию. Каравия, Пендадека и Дука были отвержены кишиневским греческим обществом; но я не находил нужным делать того же, напротив, как говорится, приголубил их, особенно Дуку, и в частых беседах с ним извлекал из него то, что мне было нужно. Пушкин часто встречал их у меня и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними. От них он заимствовал два предания, в несколько приемов записывал их, и всегда на особенных бумажках. Он уехал в Одессу. Через некоторое время я приехал туда же на несколько дней и, как всегда, остановился в клубном доме у Отона, где основался и Пушкин. Он показал мне составленные повести; но некоторые места в них казались ему неясными, ибо он просто потерял какой-либо лоскуток, и просил меня, чтобы я вновь переспросил Дуку и Пендадеку и выставил бы года лицам, точно ли они находились тогда в Молдавии. Рассказчики времени не знают. «С прозой — беда! — присовокупил он, захохотав. — Хочу попробовать этот первый опыт». Я это исполнил, с дополнением еще, от случайно в это время ко мне вошедшего Скуфо, также одного из проклятых Ипсилантием, и вскоре передал Пушкину. Месяца через два потом, когда я был в Одессе, Пушкин поспешил мне сказать, что он все сказания привел в порядок, но, не будучи совершенно доволен, отдал прочитать одному доброму приятелю (кажется, Василью Ивановичу Туманскому) и обещал взять от него и показать мне. Он это исполнил на другой день, прочитал сам, прося, если он в чем сбился, и я помню рассказ, то ему заметить. Сколько я помнил, то поправлять слышанное мною было нечего, тем более, что я не постоянно находился, когда ему передавали рассказ. Я нашел, разумеется, что всё очень хорошо. Предмет повестей вовсе не занимал меня: он не входил в круг моего сборника; но, чтобы польстить Пушкину, — я просил позволения переписать и тотчас послал за писарем; на другой день это было окончено. В рукописи Пушкина было уже много переделок другой рукой, и он мне сказал, что в этот же вечер опять отдаст оную на пересмотр, что ему самому как-то не нравится. Что сделалось потом, я не знаю, но у меня остались помянутые копии, одна, под заглавием: «Дука, молдавское пре-

дание XVII века»; вторая: «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года».¹

Располагая этими подробными данными, сообщенными современным поэтом, прежде всего надо всё же выяснить вопрос: входили ли интересы Пушкина к истории молдавского народа в круг тем, занимавших его в 1820—1824 годах. Бесспорно, Пушкин интересовался историей Молдавии, историей края и народа, среди которого он жил в период своей ссылки.

„Бессарабия, известная в самой глубокой древности, должна быть особенно любопытна для нас:

*Она Державиным воспета,
И славою русскою полна“,—*

писал Пушкин в „Примечаниях к «Цыганам»“ (XI, 22).² Он читал, как нам сообщают воспоминания того же И. П. Липранди, труд молдавского историка Димитрия Кантемира „Историческое, географическое и политическое описание Молдавии“.³

„Начало рассветать, когда я ему показал, чрез Прут, молдавский городок Фальчи. Не отвечая, он задумался.. и потом сказал, что он где-то читал о Фальчи, но теперь не может вспомнить; когда же я ему назвал Кантемира, он вдруг припомнил всё...“.⁴ Его занимали курганы, обильно рассыпанные по Бессарабии, и крепости — памятники беспокойного прошлого страны.⁵

Об осведомленности Пушкина в истории молдавского края говорят стихи о „войнственных могилах“ в окрестностях Бендер в эпилоге „Полтавы“; о решающей роли русского народа в освобождении Молдавии от иноземных поработителей напоминают стихи в эпилоге „Цыган“:

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал...

¹ Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. „Русский архив“, 1866, № 10, стб. 1408—1411. Эти свидетельства Липранди многократно перепечатывались, последний раз в книге „Пушкин в воспоминаниях современников“ (Гослитиздат, 1950, стр. 269—270), без комментариев, в которых содержались бы какие-либо новые соображения; об интересующих нас повестях здесь сказано только: „Никаких следов этих произведений Пушкина не осталось“ (стр. 545).

² Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

³ Произведение Димитрия Кантемира „Историческое, географическое и политическое описание Молдавии“ вышло в русском переводе (с оригинала, писанного на латинском языке) в Москве в 1789 году. В указанном месте своих воспоминаний И. П. Липранди говорит именно об этой работе Кантемира-отца, ученостью и образованностью которого так восхищался в 1845 году В. Г. Белинский (см.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, 1910, стр. 184—185).

⁴ „Русский архив“, 1866, № 8—9, стб. 1282.

⁵ Об интересе Пушкина к Бессарабии см. там же, стб. 1271, 1272, 1279, 1280, 1282.

Ссылного поэта привлекали также молдавские предания, указывавшие место изгнания Овидия якобы в южной Бессарабии (вместо Добруджи, на правом берегу Дуная, на черноморском побережье):

Еще твоей молвой наполнен сей предел . . .

(„К Овидию“).

Пушкин сопоставлял свою судьбу с судьбой римского поэта. Об этом, в частности, идет речь в целом ряде его посланий 1821 года: Гнедичу, Чаадаеву, в стихотворении „К Овидию“.

Не меньше истории интересовала Пушкина окружающая его действительность. Страстного певца свободы, ненавистника крепостного права восхищало якобы „свободное“ состояние крестьян в Бессарабии. Он отмечал это в так называемых „Примечаниях к «Цыганам»“:

„В Молдавии цыгане составляют большую часть народонаселения, но всего замечательнее то, что в Бессарабии и Молдавии крепостное состояние есть (?) только между сих смиренных приверженцев первобытной свободы“ (XI, 22).

Ту же мысль — о независимости молдавских крестьян (царан) — угадываем мы в его стихотворении „К Овидию“. Рисуя благодатную южную природу, поразившую ссылного поэта, вместо ожидавшихся им печальных картин, внушенных чтением Овидия, Пушкин, с подъемом, вызванным глубоким внутренним чувством, противопоставляет русской зиме южное солнце и „свободу“ земледельцев:

Зима дышала там — а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младую зеленку пестрел увядший луг;
Свободные¹ поля взрывал уж равный плуг.

Однако представление Пушкина о „свободе“ крестьян Молдавии было иллюзорным. Такую точку зрения на положение вещей могли сообщить Пушкину только молдавские бояре. Уже в XIX веке русские исследователи молдавского крестьянства высказались по этому вопросу в совершенно противоположном смысле. „Действительный анализ практического социально-экономического положения царан (крестьян), — пишет советский историк, — убеждает нас в том, что личная свобода царан была, в основном, формальной, фактически же чрезвычайно ограниченной и условной. Не имея собственной земли, царане вынуждены были за тяжелые повинности пользоваться помещичьей землей, тем самым становились экономически зависимыми от помещиков, на землях которых они были поселены“.² Что же касается

¹ Курсив мой, — Г. Б.

² Я. С. Гросул. Крестьянская реформа 1868 г. в Бессарабии и ее особенности. „Ученые записки Института истории, языка и литературы Молдавской научно-исследовательской базы Академии Наук СССР“, т. II, Кишинев, 1949, стр. 82.

крепостного состояния цыган, называвшихся в грамотах „холопами“, то другой советский исследователь пишет, что они „находились в Молдавии на положении рабов. Так их и называют документы, написанные на молдавском языке... Начавшись в XV веке, торговля холопами достигла значительных размеров в XVI—XVII веках. Феодалы продавали детей холопов, их жен, отрывая их самих от семей. Холопов меняли, закладывали, передавали по наследству, давали в приданое. Феодалы смотрели на холопа, как на какую-то вещь“.¹

С восторгом следил Пушкин за протекавшей у него на глазах национально-освободительной борьбой греческого, молдавского и других балканских народов против турецкого гнета. В известном письме к приятелю (В. Л. Давыдову?) поэт пишет про „прекрасные минуты Надежды и Свободы“, наступившие для греческого народа (XIII, 23). „Два великие народа, — писал Пушкин, — давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха — и, возобновленные, являются на политическом поприще мира“ (XIII, 24). Эпитету „великие“ народы в черновике предшествовал другой не менее выразительный: „Два благородных народа“ (XIII, 370). В этих восхищенных оценках восставших греков и их союзников — молдаван содержатся намеки на отдаленную историю этих народов.

Еще не раскрыта конкретная основа очень значительных стихов, говорящих о беспокойстве, в которое приводила вольнолюбивая поэзия Пушкина косных молдавских бояр:

Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.

(„В стране, где Юлией венчаный“).

В сопоставлении с приведенными свидетельствами об интересе Пушкина, общавшегося с представителями молдавской интеллигенции, к истории края мы видим, насколько закономерными и естественными могли быть его занятия молдавскими преданиями прошлого. И это представляется тем более правдоподобным, что в молдавской среде, как увидим, названные предания XVII века должны были во время пребывания Пушкина в Кишиневе восприниматься как весьма актуальные и, более того, злободневные.

2

При гипотетическом раскрытии содержания утерянных молдавских повестей Пушкина следует исходить из содержащихся в их заглавиях

¹ Е. М. Руссев. Развитие феодально-крепостнических отношений в Молдавии в XVI—XVII вв. „Феодальные отношения в Молдавии в период XIV—XVIII веков“. Сборник статей. Под редакцией чл.-корр. АН СССР А. Д. Удальцова и проф. Л. В. Черепнина, Кишинев, 1950, стр. 79—80.

собственных имен, а также из указаний на время, к которому относилось действие.

Дабижа и Дука, предания о которых записал Пушкин, были молдавскими господарями XVII века. Господарь Истрат (Евстратий) Дабижа княжил в 1662—1665 годах; Георгий Дука трижды находился на молдавском престоле: в 1665—1666 (шесть месяцев); в 1669—1672 и в 1678—1684 годах. Дафна (иначе — Дафина), судя по молдавским источникам (летописи, местный актовый материал), была женой Дабижи. На дочери Дафны (летописцы именуют ее Анастасией) женился иноземец Дука. Благодаря этому браку с падчерицей Дабижи Дука сумел впоследствии добиться княжения в Молдавии.

Эпоха княжения Дабижи и Дуки, а отчасти и личности самих господарей отражены в нескольких молдавских летописях. Достоверные сведения об этих господарях оставил в своей летописи выдающийся молдавский писатель-хронист Ион Некулче (1672—1746). Он описал события Молдавии периода 1662—1744 годов.¹ Интересующий нас период этот летописец изложил частично со слов стариков-современников. Красочно повествует о событиях примерно этого же периода (1662—1711) другой молдавский летописец Николай Костин (1660—1712).² Имеется еще и третья (компильтивная) летопись, автором которой предположительно является Николай Мусте, описавший период 1662—1726 годов.³ Известен также и сокращенный ее вариант.⁴ Существует, наконец, и перевод на молдавский язык (выполненный Александром Амирас) летописи, писанной в Молдавии первоначально на греческом языке. Летопись эта также охватывает интересующий нас период (1662—1733).⁵

Основные сведения, сообщаемые в указанных летописях, подтверждаются и в трудах выдающегося молдавского историка Димитрия Кантемира (1663—1723).⁶

Перечисленные труды молдавских летописцев, являвшихся почти современниками интересующих нас событий, составляют первый и наиболее достоверный источник для изучения деятельности Дабижи и Дуки. Ценные, но отрывочные дополнительные сведения об интере-

¹ *Letopiseşele Moldaviei...*, т. II, стр. 177—421. Все приводимые ниже в переводе выдержки из летописи Некулче взяты нами из этой книги, где они напечатаны на стр. 192—195 (период княжения Дабижи) и на стр. 195—196, 197—201 и 214—223 (княжение Дуки).

² Там же, стр. 3—117. О Дабиже см. стр. 3—5; о Дуке — стр. 5—6, 7—8 и 17—30.

³ То же, т. III, стр. 3—5 (Дабижа) и стр. 5—6, 6—9, 19—22 (Дука).

⁴ Там же, стр. 77—95.

⁵ Там же, стр. 99—180; о Дабиже см. стр. 99; о Дуке — стр. 99—103, 105—108.

⁶ О Дабиже и Дуке Димитрий Кантемир упоминает в двух своих основных исторических работах: в уже упомянутом „Историческом, географическом и политическом описании Молдавии“ (русский перевод 1789 года) и в „Истории оттоманской империи“ (русского перевода не имеется).

сующих нас лицах имеются в многочисленных документах господарских канцелярий, в мемуарах и переписке иностранных путешественников и дипломатов. Однако и иностранцы, и дьяки господарских канцелярий, как и упомянутые выше летописцы, принадлежали исключительно к классу феодалов. Изложение и освещение событий внутренней и внешней политики страны велось ими с позиций господствующего класса того времени. Так, например, все названные молдавские летописцы выступали в своих работах как ревностные поборники боярских привилегий. Деятельность Дабижи и Дуки они рассматривали с точки зрения ярых противников сильной центральной власти. Следовательно, для интересующих нас целей те данные, которые сообщаются в летописях и официальных документах, нас удовлетворить не могут. Едва ли эти данные соответствовали тому представлению о господарях, которое складывалось о них в народе и которое через полтораста лет могло сложиться о них у Пушкина.

Для характеристики личности Дуки мы еще располагаем очень выразительной молдавской народной песней. Однако для раскрытия содержания повестей Пушкина — или даже одной из них — и этот материал недостаточен, поскольку народная песня дает лишь характеристику, образ действующего лица и не говорит о событиях, с этим лицом связанных. Нам нужна канва этих событий, на изложении которых можно было бы построить повествование. Обратимся поэтому к последней группе источников, которые следует привлечь к изучению утраченных повестей Пушкина, — к молдавской литературе XIX века.

В этой литературе, до появления в 1852 году в печати первого издания молдавских летописей, которые могли возродить интерес читателей к господарям XVII века, имена Дабижи и Дуки встречаются у четырех писателей. Если у Костакия Конаки (1777—1849), Костакия Негруци (1800—1868) и Александра Руссо (1819—1859) Дабижа и Дука упоминаются лишь вскользь, то произведения братьев Александра Хыждэу (1811—1872) и Болеслава Хыждэу сразу привлекают к себе наше внимание.

„Дука. Молдавское предание“ — под таким заглавием (совпадающим с пушкинским) была напечатана на русском языке, в „Вестнике Европы“ 1830 года,¹ легенда в записи Александра Фаддеевича Хыждэу (Хиждеу), в то время девятнадцатилетнего студента Харьковского университета, впоследствии выдающегося деятеля молдавской культуры. Позднее Александр Хыждэу включил текст легенды о Дукe, уже на молдавском языке, в свою историческую повесть „Домния Арнеутулуй“ (т. е. „Государство албанца“), вышедшую в свет впервые лишь

¹ Александр Хыждеу. Дука. Молдавское предание. „Вестник Европы“, 1830, № 23—24, декабрь, стр. 181—207.

в 1872 году.¹ В этом же молдавском варианте преданию о Дуке предшествует как бы пролог, заключающий в себе предание о „Дафне и Дабиже“.

Болеславом Хыждэу, братом Александра, в 1834 году записаны были два другие эпизода тех же преданий; в печати они появились в 1838 году.² Легенда о Дабиже в записи Александра Хыждэу совпадает с прологом молдавского варианта преданий, изложенных им же. Во второй легенде Болеслав записал эпизод борьбы молдавского боярства, под предводительством Гинкула, против Дуки.

Как видим, братья Хыждэу интерпретировали в литературе легенды именно о тех же людях, предания о которых до них записывал Пушкин.

Может быть, в таком случае, для ознакомления с тематикой утерянных пушкинских вариантов преданий достаточно ограничиться одноименным произведением Александра Хыждэу?

На этот вопрос также ответим отрицательно, и вот почему. Братья Александр и Болеслав Хыждэу были потомками сменившего Дуку господаря Штефана Петричейку Хыждэу. Александр Хыждэу утверждает (в своей повести, в издании 1872 года), что его текст соответствует преданиям и историческим источникам. Свой русский вариант преданий Александр Хыждэу снабдил многочисленными ссылками и цитатами из молдавских и валахских летописных списков.

Так же поступил и Болеслав, опиравшийся якобы на высказывания некоего молдавского летописца Нестора Уреке. Между тем ни одна из приведенных Александром цитат из „списков“ летописей не обнаружена нами в критических изданиях текстов молдавских летописей. Все эти цитаты и ссылки на них являются, таким образом, вымышленными полностью. Следуя, в общем, исторической правде, братья Хыждэу, однако, выводят на сцену и таких героев, существование которых не подтверждается ни летописями, ни актовым материалом.³

В повести Александра обращает на себя внимание и слишком положительный (по сравнению с характеристиками летописцев) образ господаря Штефана Петричейку, потомками которого были авторы повестей.

Имя Дафна (по летописи — Дафина) дано братьями Хыждэу не жене Дабижи (как она значится в летописях и в молдавском актовом материале), а героине повести, его дочери, будущей жене Дуки.

¹ Alexandru Hâs dău. *Domnia Arnăutului. Nuvelă istorică*, București, 1872.

² Болеслав Хыждэу. Молдавские легенды (Дабижа. Молдавская быль XVII века. Гинкул. Молдавское предание XVII века). „Сын отечества и Северный архив“, 1838, т. I, отд. I, стр. 230—249. Впервые эти молдавские легенды в записи Б. Хыждэу были привлечены к исследованиям пушкинского наследия Б. В. Томашевским, которому мы обязаны указанием на эти источники.

³ Укажем здесь лишь на следующее: армянин Ованес Паскал и его дочь Ханка не фигурируют ни в летописях, ни в молдавском актовом материале. Нет в молдавских источниках и подтверждений реального существования капитана Рошкци или Минорашко (из летописей нам известен лишь палач Рошка, казненный Дою, сына Хынкула).

Тирана Дуку Александр Хыждэу называет Дмитрием, а Боле-слав — Василием, тогда как его звали Георгием. Укажем, наконец, и на то, что Дука умер в Польше, а не в Молдавии, как об этом говорится в повести Хыждэу.

Всё это при обилии элементов романтики дает нам основание считать произведения Хыждэу не записью реально сохранившихся в народе преданий об этих лицах, а их художественной интерпретацией.

Таким образом, ни летописи, ни актовый материал, ни донесения дипломатов, ни произведения братьев Хыждэу, ни даже народная песня, в которой дана характеристика Дуки, отдельно взятые, нас удовлетворить не могут. Повидимому, для восстановления вероятного содержания утерянных пушкинских повестей необходимо прежде всего, сопоставив все указанные источники друг с другом, выделить из них всё то, что в них совпадает, что является для них общим. Именно эти общие элементы преданий, их устойчивые, повторяющиеся во всех случаях черты, независимо от жанровых признаков отдельных источников и времени их возникновения, и должны были составлять сюжетную основу этих преданий; ею-то и должен был воспользоваться Пушкин в своих записях.

Обратимся к историческим образам интересующих нас правителей Молдавии и к реконструкции сюжетного хода в преданиях о них.

3

Четырехлетнее княжение молдавского господаря Истрата Дабижи (1661—1665) оценивается положительно всеми молдавскими боярами-летописцами. Выходец из местного боярства, Дабижа и не помышляя возвыситься до звания господаря (Мусте).¹ „Никто из бояр не состоял на подозрении у него, и страна не была обременена податями“ (Мусте, Некулче, Амирас). Летопись Некулче указывает и на внимание Дабижи к простым людям.

Летописцы, актовый материал и переписка иностранных дипломатов отмечают участие Дабижи во главе молдавского войска в двух походах турок против австрийцев. Второй поход закончился полной неудачей. Сбежавшему с поля боя господарю грозило свержение с престола. Однако визирь простил Дабиже его поступок. Этому обстоятельству способствовали „добрые советы“, полученные господарем от приближенных, либо от боярина Кантакузина (Н. Костин), либо от боярина Стамати (Некулче, Мусте). Умер Дабижа, по сведениям всех источников, стариком и был похоронен с большими почестями (летописи).

¹ Здесь и далее имена молдавских летописцев, приводимые нами в скобках, означают, что цитаты или необходимые данные взяты у соответствующих авторов по изданиям, указанным выше.

Еще при жизни Дабижи его жена Дафина выдала замуж свою дочь от первого мужа за Дуку. Этот Дука, грек по происхождению, был родом из Албании. Он попал в Молдавию еще в детстве. Вначале он служил продавцом, затем прислужником в господарском дворе, после чего и был произведен в боярство. Уже будучи государственным казначеем, он женился на падчерице господаря Дабижи (летописцы называют ее Анастасией). После смерти господаря Дафина добилась в Константинополе назначения своего зятя на княжеский престол в Молдавии.

Некулче и Мусте указывают, что Дука оказался на молдавском престоле по ходатайству своей тещи и некоторых бояр-греков, имевших вес при султানে. Димитрий Кантемир также говорит, что Дука не был „избран“, а добился престола с помощью денег и друзей.¹

Венецианский дипломатический деятель Балларино в корреспонденции от 6 декабря 1665 года из Константинополя также утверждает, что на молдавский престол Дука попал, подкупив вначале некоего Панайоти, пользовавшегося в Константинополе большим авторитетом.² Рода Дука был незнатного, и родился он, по сведению другого иностранца, путешественника, где-то на Балканах.³

Несколько иначе представлено возвышение Дуки на княжеский престол молдавским писателем Александром Хыждэу и его братом Болеславом.

Красавица Дафна, выступающая в повести Хыждэу как дочь Дабижи, решила поступить в монастырь. В нее влюблен Дука, пришедший из Албании, находившийся с детства в Молдавии и дослужившийся здесь до боярского чина. Дафна не любит никого. Перед поступлением Дафны в монастырь ее отец Дабижа устраивает прощальный обед. К концу пиря господарь посылает Дуку за митрополитом и епископом для последнего благословения дочери. Выйдя во двор, Дука поджигает дворец, а потом в общем смятении, преодолевая и некоторую опасность, „спасает“ от смерти и Дабижу, и Дафну. Вскоре пожар был потушен. „Таково предание, — пишет Александр Хыждэу, — о началах величия арнауца Димитрия Дуки“.

¹ См. румынский перевод работы Д. Кантемира по истории османской империи: D. Cantemir. Istoria imperiului ottoman. Traducere de Dr. Jos. Hodosiu, vol. I, Bucuresti, 1876, стр. 406—407.

² Сведения из переписки иностранных дипломатов заимствуются нами из многочисленного собрания иностранных документов, относящихся к истории Молдавии и Валахии: „Documente privitoare la Istoria Românilor“, изданного в Бухаресте в начале XX века. Приводим в переводе текст этого свидетельства: „Два веских доказательства своего авторитета, — писал Балларино, — показал он «Панайоти» в короткое время... Второе в том, что он выдвинул господарем для молдавского княжества грека Дуку, который добился его покровительства ценою золота“ (Documente privitoare la Istoria Românilor, т. V, ч. 2, стр. 108).

³ N. Jorga. Istoria Românilor prin călători, vol. II, ed. II, Bucuresti, 1929, стр. 69.

Сходными словами передана легенда и Болеславом Хыждэу: „Таково предание молдавского народа о начале величия арнаута Василия Дуки! Зажегши дворец и спасши во время пожара князя и княжну, он получил в благодарность руку последней и тем проложил себе путь к престолу, на который взошел по смерти своего тестя, господаря Истрата Дабижи“.

Братья Хыждэу точно определяют направленность тематики легенды о Дафне и Дабиже: в этом предании отмечаются первые шаги Дуки и хитрость, приведшая его к возвышению.

Как это легко заметить, извлеченные из разных источников сведения о Дафне и Дабиже совпадают в самых общих чертах. Дабижа, действительно, как раз в указанное в заглавии повести Пушкина время (1663) находился на молдавском престоле. Период княжения Дабижи, ранее не претендовавшего на престол, освещается положительно и летописцами-боярами, и в художественной интерпретации А. Хыждэу. На падчерице (или дочери) Дабижи женился пришлец-грек незнатного рода — Дука. Затем, после смерти Дабижи, всевозможными хитростями или „ценою золота“ Дука захватил престол молдавского княжества.

Итак, повидимому, содержанием той легенды, которую записывал Пушкин, являлось описание сравнительного „благополучия“ страны во время княжения молдаванина Дабижи и женитьба пришлеца Дуки на дочери господаря. Сведения летописцев, местного актового материала и повести XIX века о женитьбе Дуки на падчерице (или дочери) господаря совпадают. Не отмечен лишь ни молдавскими летописями, ни актовым материалом пожар, случившийся во дворце во время пира (между тем другие пожары княжеского дворца летописцы отмечают). Не совпадают в источниках и в повестях также имена Дуки и его жены.

Может быть, этот эпизод (пожар) относится уже к области вымысла, как и решение Дафны идти в монастырь, и прощальный пир у ее отца, и спасение поджигателем Дабижи и Дафны.

Кульминационным пунктом легенды можно признать эпизод, послуживший причиной восхождения пришлеца на престол. Дука добывается его благодаря знакомым грекам, „ценою золота“ или „ложным героизмом“, после того как „спасает“ господаря и его дочь (или падчерицу), свою будущую жену, из подоженного им самим дворца. Возможно, что 1663 год, указанный в записи Пушкина, как раз и есть год женитьбы исторического Дуки на дочери жены Дабижи. Однако принятые нами поиски данных для установления года свадьбы Дуки не дали пока никаких результатов.

Другую основу интересующего нас предания о Дафне и Дабиже, на основании имеющихся в нашем распоряжении источников, предположить невозможно. Следует считать, что данная легенда является как бы прологом ко второму преданию о Дуке, более занимательному и с легче восстанавливаемой последовательностью изложенных в нем событий.

4

Основные сведения, сообщенные известными уже нам четырьмя молдавскими летописцами и Д. Кантемиром о личности и деятельности господаря Георгия Дуки, совпадают почти полностью. Эти основные сведения подтверждают и остальные источники: народные песни, актывый материал и переписка иностранцев. Как увидим ниже, со всеми этими данными совпадает и художественная интерпретация их у Александра Хыждэу.

В Молдавии Дука княжил трижды. Первому его княжению (1665—1666), продолжавшемуся всего шесть месяцев, летописцы-бояре единогласно дают лучшую характеристику. Время же второго и третьего княжения Дуки (1669—1672 и 1678—1684) все летописцы характеризуют как наиболее беспокойные и тяжелые периоды истории Молдавии.

Тяжелые подати, наложенные господарем как на трудовой народ, так и на бояр, а также и то, что иноземец Дука „не приближал ко дворцу и не возвышал в чинах часть боярства“ (Н. Костин), вызвали вооруженную борьбу части бояр (под предводительством Михалчи Хынкула) с господарем. Наряду с этим против боярства поднимались вооруженные восстания крестьян, которыми пытались воспользоваться в своих интересах отдельные группировки боярства.

Однако летом 1672 года Дука был смнен султаном. В третий раз он получил престол через шесть лет (1678—1684). В это время он вновь обременял народ тяжелыми податями и подвергал его жестоким наказаниям.

Для краткости приведем лишь высказывания, приписываемые тому же летописцу Н. Костину: „Господарь накладывал огромные денежные притеснения на всех, и на бояр, и на торговцев, и на всю страну, мучая и подвергая всех разным казням. Одних он сажал в тюрьму, других калечил побоями и булатом, доводя их до смерти, как об этом уже писалось выше. Он не щадил ни боярина, ни бедняка, ни крестьянина, ни женщину...“. От всех этих жестокостей страна начала опустошаться и беднеть.

По распоряжениям господаря были заточены в темницы вдовы некоторых видных бояр (среди них и жена боярина Стамати). Жестоко отомстил Дука и предводителю мятежа Хынкулу, память о котором сохранилась и по сей день в молдавском фольклоре: по его повелению был схвачен и казнен ни в чем неповинный сын Хынкула, Доня.

Подробно изложив тиранство господаря, тот же Костин добавлял: „Многие из читателей, узнав об описанных здесь ужасных проявлениях тиранства, могут этому и не поверить. Может быть, кто-нибудь подумает, что писавший всё это завидовал господарю... Но я беру себе в свидетели бога и ссылаюсь на подтверждение всей Молдавии, от великого до малого, пусть все они подтвердят, верно ли всё это (однако тяжело не писать об этом, так как говорится же в священном писании, что если будут молчать люди, даже и сами камни заговорят).

И не только местные пострадавшие люди, но и чужие люди из окружающих стран, албанцы, венгры и другие, жившие в те времена и видевшие страдания молдаван, проклинали Дуку, а все в целом они сочувствовали жителям Молдавии⁴.

Выслужившись перед турками, Дука получает, правда, на короткое время, одновременно со званием господаря Молдавии, и титул гетмана Украины. После поражения турок под Веной (1683), в осаде которой участвовал и Дука, в Молдавии снова вспыхнули волнения. Ими воспользовался молдавский боярин Петричейку Хыждэу, занявший престол после победы над княжескими войсками и изгнания Дуки в Польшу. В это время восстали и казаки против ставленника Дуки на Украине. Они избрали нового предводителя, Куницкого, который вместе с Петричейку участвовал в ликвидации войск Дуки и совершил мстительный набег на буджакских татар.¹ Изгнанный Дука умер в Польше.

Летописец Некулче повествует, что пойманного Дуку везли в ссылку в Польшу „на саях, в которые были впряжены всего две лошади, одна белая, другая гнедая, в простой упряжке, к его стыду и позору. И сыпалась на него ругань и брань, так что и он сам слышал. Доехав до Сучавы, в одном селе захотел он выпить молока. Хозяйка ответила ему тогда: «Нет у нас молока для раздачи, съел же господарь Дука всех коров страны: съели бы его никогда не насыпающие черви ада». Ведь не знала женщина, что это был сам Дука. Услышав ее слова, Дука стал стонать и горько плакать. Он ведь стремился... стать царем венгерской земли, сына же хотел сделать господарем в Молдавии, другого в Валахии, а зятя гетманом на Украине. На всё он смотрел свысока. Дворец свой, стол свой он содержал, как настоящий царь. И когда он выходил к народу, его взгляд был пасмурный, для устрашения людей. И вот как теперь отвезли Дуку в Польшу, где он и умер. Вот чего он добился по его же жадности к деньгам».

Таковы вкратце сведения, оставленные молдавскими летописцами о господаре Дуке. Не расходится с мнением летописцев об этом господаре и характеристика, данная ему в первой половине XVIII века молдавским ученым Д. Кантемиром, известным союзником Петра I во время русско-турецкой войны 1711 года. Сведения, почерпнутые из перечисленных выше других источников, также говорят об огромных бедствиях, которым подвергалась Молдавия в период княжения Дуки, о разорении и опустошении страны. Наконец, глубоко запечатлелся Дука и в памяти народа. Он обложил всю страну чрезвычайным налогом: жители должны были платить в казну даже за дымоходы, отчего крестьяне перешли жить в землянки, либо принуждены были строить дома без труб. Полна гнева и горечи характеристика Дуки, сохранившаяся в молдавской народной песне:

Лист зеленый, лист терновый,
Правды нет у нас в Молдове.

¹ D. Cantemir. Istoria imperiului ottoman, v. I, стр. 406, своска 16.

Разоренье нам принес
 Лютый зверь, кровавый пес,
 Лиходей, палач народа,
 Ненавистный Дука Вода.
 Он для сильных друг и брат
 А для слабых — супостат.
 Стал я бедным, стал я нищим,
 Нет ни хлеба, ни жилища,
 У меня, у сиротины —
 Лишь горшок пустой из глины,
 А земли — ни для скотины. . .
 Нет ни печки, ни огня,
 Пожалей ты, бог, меня.
 Убери подалше Воду,
 Чтоб вольней жилось народу.
 Пусть хоть чорт возьмет, хоть бог,
 Чтоб легко вздохнуть я мог.¹

Таков образ молдавского господаря Дуки. От летописцев-бояр до трудового молдавского народа, от иностранных дипломатов до рядовых жителей сопредельных стран, — все в один голос осуждают Дуку как тирана, узурпатора, пришлеца, авантюриста, как лютого и ненасытного зверя.

Выведенная характеристика и сами события, связанные с Дукой, подтверждаются и литературной интерпретацией Александра Хыждэу и, частично, Болеслава Хыждэу. А содержание второй части исторической повести Александра Хыждэу таково.

После смерти Дабижи господарем Молдавии становится Дука. Используя женитьбу лишь для достижения своих целей, Дука сразу же изменяет жене, заводит при дворце гарем. „Он был жаден, как все тираны, и, подобно всем тиранам, он был развратным“. В частности, он преследовал армян, находившихся в Молдавии. Колонию армян в Яссах возглавлял некий Ованес Паскал. Преследуя армян, Дука вел себя, однако, обходительно по отношению к Паскалу. Причина тому — красавица Ханка, дочь последнего. Но Ханку любит военный начальник Хынкул. Однажды, удалив из столицы сердаря Хынкула, после ряда неудачных попыток овладеть Ханкой, Дука решает захватить ее силой. Но ворвавшихся в дом Паскала арнаутов (наемных солдат) встречает Хынкул. Не выполнив приказа господаря, арнауты отступили в страхе. В ту же ночь, убегая от мести господаря, старик Паскал и его дочь отправились в лагерь Хынкула. На следующий день господарь, при участии митрополита, начинает преследовать Хынкула как православного боярина, сблизившегося с еретичкой (католичкой). В стране распространяется слух о мнимом восстании боярина Хынкула. В своем лагере, вблизи Кишинева, Хынкул женится на Ханке и готовится к от-

¹ Песня „Фрунзе верде фой ускате“ („Лист зеленый, лист терновый“) записана в 1913 году: Tudor Pamfile. Cântec de țară București, 1913, стр. 272. Помещаемый здесь перевод принадлежит С. Г. Перову (Кишинев).

пору господарским войскам. В его лагерь сбежались и молдаване, и армяне. И для первых, и для вторых, — пишет А. Хыждэу, — эта война была одновременно „национальной и демократической“ войной против тирана. Через восемь дней у лагеря появилось войско господаря Дуки, собранное поспешно и подгоняемое кнутом исправников. Это была толпа наемных греков и арнаутов. Хынкул всё откладывал выступление своих войск против господарского ополчения. В лагере находился предатель, капитан Рошка, который умертвил Хынкула. Войско Хынкула разбежалось. Сбежал в Галицию и Ованес с дочерью. С еще большей свирепостью стал княжить тиран и пришлец Дука.¹ „Пусть Дука веселится и торжествует, но и Молдавия не будет вечно страдать... Молчание неба страшно, как мертвая тишь на океане, как палящий зной солнца пред грозой. Вскоре должна решиться ужасная распря несчастного народа с счастливым злодеем. Еще немного — и судьба властителя-албанца решится... Еще немного — и он увидит, что иноземцы и деспоты не могут долго властвовать у устьев Дуная“.

На исходе пятого года жестокого княжения Дуки в отдаленную пещеру монастыря Нямцу в рождественский сочельник к отшельнику Дионисию пришел неизвестный. „Святой муж! — обратился к Дионисию незнакомец, высокий ростом, с черной густой бородой, с лицом мрачным, в лясшской брзуе, но с отличиями господарей молдавских. — Отечество в третий раз страдает от жестокостей Дуки. Скоро ли настанет время свободы и счастья, предсказанное Стефаном Великим?“ Дионисий взглянул на незнакомца, о котором дальше узнаем, что это был боярин Петричейку Хыждэу, перекрестился, раскрыл лежащую перед ним библию и медленно произнес: „Завтра день господень“. — „И это всё?“ — „Всё“. После этого разговора незнакомец удалился.

Несколько дней спустя Дука и его приближенные готовятся встретить новый год. За столом они получают известие, что супруга Дуки Дафна умирает. Это известие Дука принимает очень хладнокровно, и пир продолжается. К концу пира один из бояр поднимает бокал и в присутствии Дуки выпивает... за здоровье нового господаря. Тут же появляется и сам Петричейку, выдвинутый руководителем мятежа против пришлеца. Дука был схвачен и отправлен в Польшу. Его везли на маленькой бричке. „В ней на полугнилой соломе лежал колодник в изодранном арнаутском плаще. На лице его отражалось сильное бечение страстей: месть и раскаяние, гордость и стыд. Он велел поднять себя, сел, бросил кругом дикий взгляд и громким, властительским голосом кликнул старуху, проходившую мимо с малым ковшом молока. «Дай мне молока утолить жажду!» — «Рада бы и сердцем и душою, бедный несчастливцу! но клянусь совестью, что мои дети умирают с голоду, а я не смею разделить между ними сего молока. Ты, верно, и сам слышал о сребролюбии господаря Дуки. Он разорил бо-

¹ Alexandru Hâs dău. *Domnia Arnăutului*. București, 1872.

гатую Молдавию...». Старуха пристально поглядела на колодника и покачала головою. «Верно жертва клеветов Дукиных! Тебя сильно мучает жажда: лицо твое так изменилось. Боюсь греха отказать тебе. Подкрепи себя молоком; но если в сие самое время злой губитель пирует, то да превратится сладкий напиток в отраву для него!» — Колодник угрюмо молчал, принял дрожащею рукою ковш с молоком, выпил... и начал исходить кровию⁴.

„Злопамятное предание хранит в Молдавии имя Дуки, и волох начинает и заключает рассказ о нем пословицею: *«мы не забываем добра, но помним и зло»*“.¹

Таково содержание исторической повести „Домния Арнэутулуй“, построенной, по уверениям автора, на основании устных преданий и летописи. Однако, как сказано было выше, повесть А. Хыждэу, бесспорно, является лишь интерпретацией народных и семейных преданий, сделанной писателем, почитавшим своих предков.

На литературную обработку указывают следующие романтические эпизоды, содержащиеся в этой второй части повести Хыждэу: таинственность монаха и мистицизм Петричейку, неожиданность свержения с престола тирана во время пира, неожиданное появление Петричейку, общая направленность повести против иноземных династий и вообще ее националистический дух, наличие в повести вымышленных лиц (Ованес Паскал, Ханка), любовная интрига и другое.

На элемент семейных воспоминаний в повести указывает, в первую очередь, выведенный слишком положительно образ Петричейку, выступающего здесь в качестве небесного посланника и спасителя отечества. Преждевременная смерть Хынкула, умерщвленного рукой предателя Рошки, также основана, повидимому, на семейных воспоминаниях, искаженных с течением времени. Молдавские документы и летописи дают сведения о пребывании в Молдавии в указанное время другого Рошки, имя которого, однако, вовсе не связано с Хынкулом-отцом. Возможно, что в преданиях, передававшихся в семье Хыждэу из поколения в поколение, эпизод о казни мало известного Дони постепенно исказился: его стали осмыслять как умерщвление самого Хынкула, того политического деятеля, с которым не ладил и прадед писателя, господарь Петричейку. И всё же, несмотря на указанные особенности и интерпретации автора, общее развитие повести совпадает со всеми общими местами указанных выше источников. Совпадает также и эпизод встречи сверженного тирана с крестьянкой, отказывающей ему в подавании.

Всё это дает нам возможность, исчерпав основные источники, приступить к изложению гипотетического содержания легенды о Дуке в записи Пушкина.

Грек по происхождению, человек незнатного рода, Дука проявил себя на молдавском престоле гордым, жадным и жестоким господарем —

¹ „Вестник Европы“, 1830, № 22—23, стр. 183, 184—185, 192—193, 194, с дополнениями по указанному выше изданию 1872 года.

тираном, приведшим страну к полному упадку. Большими податями и беспрекословным подчинением страны турецким властителям Дука тяжело обременяет все классы общества. Жестокости господаря-пришлеца принуждают народ к бегству за границу, массовым вступлениям в ряды гайдуков. В конце 1671 года вспыхивает народное восстание, одновременно с противокняжеским выступлением боярина Хынкула. Повстанцы, в рядах которых намечались две линии политической ориентации (на Польшу и на Москву), принудили господаря покинуть Молдавию.

Однако, вернувшись в страну с войсками турок и татар, Дука жестоко расправляется с восставшими. Хитростью и бессердечностью Дука угрожает туркам, которые ввергли ему то престол соседнего валашского княжества, то правобережную Украину и, наконец, трижды молдавский престол. И бояре и крестьянство ненавидели его. Общему ухудшению положения в Молдавии способствовали также неурожай, зимование татар в Молдавии и транзитное положение страны.

Но тиранству Дуки пришел конец. Сторонник польской ориентации, молдавский боярин Штефан Петричейку (бывший союзник Хынкула в борьбе против Дуки), воспользовавшись победой над турками под Веной, вторгается из Польши в Молдавию, схватывает Дуку и отправляет его в Польшу. Общим в летописях и в повести XIX века является выразительный эпизод встречи изгнанного господаря-тирана с крестьянкой. Новым господарем Молдавии становится местный боярин, как и до княжения пришлеца, — Штефан Петричейку.

Таким образом, можно полагать, что главными эпизодами легенды являлись: притеснения со стороны Дуки, народные восстания, действия гайдуков, мятежи Хынкула, мстительная расправа тирана с восставшими, пленение Дуки Штефаном Петричейку, занятие престола местным молдавским боярином, изгнание господаря-тирана, встреча с крестьянкой.

Именно на такое содержание предания о Дуке указывают общие места изложенных выше источников.

Глубоко знаменательная сцена между поверженным господарем и крестьянкой является ярким воплощением мечты угнетенного народа о возмездии тирану. Сила впечатления достигается здесь тем, что бесчеловечный по жестокости тиран получает отмщение главным образом в психологическом плане. Довершает остроту сцены жалость женщины к бедному неузнанному колоднику, вчерашнему врагу народа. Именно этот полный драматизма эпизод, надо думать, и привлек в первую очередь творческое внимание Пушкина к этому молдавскому преданию.

5

Изложенная выше на основании молдавских источников возможная фабула обоих преданий представится правдоподобной и в том случае,

если подойти к ней с точки зрения творческих интересов Пушкина. Своей резкой направленностью против господаря-самодержца легенда о Дуке созвучна теме борьбы с „самовластительными злодеями“, пропозывающей всё предыдущее творчество поэта. Пример молдавского господаря-тирана лишний раз подтверждал мысль о том, что тиранов, подобно другим „увенчанным злодеям“ (Калигуле, Людовику, Наполеону и Павлу), ожидает бесславная гибель. Тема мощного народного восстания, вспыхнувшего в Молдавии в 1671 году в ответ на жестокую эксплуатацию крестьянства, также созвучна произведениям поэта, осуждавшим крепостничество. И действительно, от „Вольности“ и „Деревни“ до „Узника“, „Братьев разбойников“, „Кинжала“ и других произведений, до посланий, до неосуществленных замыслов и записанных современниками устных высказываний Пушкина — тема борьбы против самодержавия и крепостничества постоянно занимала вольнолюбивого поэта. В интересе Пушкина к данным молдавским преданиям выразилось одновременно и отрицательное отношение поэта к деспотизму, и его обличительные тенденции.

Чем именно определялась актуальность этих исторических преданий в молдавской среде в первые десятилетия XIX века? Одной из причин следует считать усилившуюся борьбу подневольного молдавского народа против своих поработителей. В 20-х годах XIX века, — в то время, когда восточная часть Молдавии, названная Бессарабией, уже была освобождена от турецкого ига и присоединена к России, — разгоравшаяся освободительная борьба в другой ее части находила выражение в литературе, восхвалявшей подвиги героев в тяжелой и неравной борьбе молдавского народа против турок и разоблачавшей господарей-тиранов. Всё это усугублялось и тем обстоятельством, что в Молдавии господствовали и свыше ста лет находились на престоле турецкие ставленники, греки-фанариоты. Советский историк характеризует господство фанариотов в Молдавии следующими словами:

„Фанариоты были орудием порабощения и эксплуатации народов, покоренных турками... Это было время окончательного политического упадка Молдавии, усиления крепостнического гнета и обнищания трудящихся масс. Главной задачей господарей-фанариотов и их администрации был сбор дани для турок и доходов для себя. Господари-фанариоты были по существу крупными откупщиками, которым за определенную сумму денег Порты отдавала княжество со всеми его доходами. Они в свою очередь раздавали отдельные статьи доходов на откуп более мелким откупщикам, частью тоже фанариотам, которые также наживались за счет усиленных поборов с населения.

„Господарь был окружен придворными, которые всё свое внимание обращали на удовлетворение его прихотей и увеличение своих доходов. Личный штат господаря и его приближенных был столь велик, что на него тратились суммы, подчас достигавшие половины доходов княжества.

„Фанариоты не были связаны с молдавским народом и были чужды ему. Большинство из них даже не знало молдавского языка“.¹

Молдаво-греческий антагонизм среди верхушечных слоев кишиневского общества особенно усилился после полного провала гетерии. Движение гетеристов воспринималось передовой Россией и Пушкиным не только как движение национально-освободительное, но и как начало всеобщего движения за раскрепощение крестьян, за упразднение привилегий и т. д. Что это действительно так, доказывают хорошо известные Пушкину намерения Ипсиланти до начала развертывания антитурецких военных действий, — намерения, о которых писал впоследствии и кишиневский знакомый Пушкина, фанариот Яковаки Ризо Нерулу.² Дело в том, что, по прибытии из Кишинева в Яссы, Ипсиланти в первую же ночь сообщил другому предводителю гетерии, Яковаки, свое твердое намерение возвестить прокламацией упразднение всех классовых привилегий в молдавском княжестве. Именно с такими мыслями выезжал Ипсиланти из Кишинева. Однако в Яссах, в среде бояр (фанариотов и молдаван), он вынужден был уступить их нажиму. Здесь через два-три дня после своего приезда, т. е. уже после 22 февраля 1821 года, Ипсиланти принимает решение отказаться от борьбы за социальные преобразования и ограничивает задачи гетерии национально-освободительной борьбой против турецких угнетателей.

По молдавским источникам, в запрутской Молдавии к греческому национально-освободительному движению примкнуло сначала подавляющее большинство населения и даже многие молдаване из Бессарабии. Один из отрядов гетеристов, сражавшийся затем в Скулянах, возглавлялся непосредственно бессарабским боярином князем Георгием Кантакузиным. (Вспомним, кстати, что последний, как это явствует из воспоминаний того же Липранди, был лично знаком с Пушкиным).

Горожане и крестьяне на первом этапе присоединялись к отрядам гетеристов неорганизованно. И первые и вторые рассчитывали, что свержение турецкого гнета положит конец их страданиям и улучшит их положение. В этот первый непродолжительный период движение молдавского крестьянства было использовано как крупным, стоявшим у власти боярством, так и оппозиционным боярством, мелким и средним (лишенным в княжестве политических прав). Именно боярство в целом возглавило формирование ополчений, сбор средств и т. д., которые только и составляли материальную основу движения, так как средства греков-гетеристов, как и количество их, были в итоге незначительными.

Однако по мере развития движения молдавские крестьяне ополчаются

¹ Н. В. Березняков. Турецко-фанариотский гнет в Молдавии. Сб. „Феодальные отношения в Молдавии в период XIV—XVIII веков“, Кишинев, 1950, стр. 135.

² Jacovaky Rizo Néroulos. Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de l'empire de l'Orient. Genève, 1828, стр. 289.

против своих угнетателей — бояр. И когда стало общеизвестно, что царское правительство осудило гетерию, когда Александр I объявил греков бунтовщиками против „законного государя“, турецкого султана, — крупное молдавское боярство первым отказалось от гетеристов и, опасаясь мести турецких карательных отрядов, бежало в соседние прирубежные страны, главным образом в Бессарабию. Это известие и всё более угрожающие действия крестьян привели к решительному размежеванию классовых сил.

Вслед за бегством из княжества высших государственных сановников от гетеристов отмежевывается и среднее и мелкое боярство. Предводители их предпринимают даже предательские действия, призывая тайком турок „в помощь стране“ и обещая через своих представителей всенародную помощь против греков.

После ряда вооруженных столкновений с гетеристами и это второстепенное боярство отказывается от руководства многочисленными отрядами крестьян. Один только вид поднявшихся крестьян, собравшихся вокруг своих красных знамен, „знаков войны и смерти“, возбуждал у бояр страх, превосходивший их страх перед гетеристами и турками, — страх перед собственными крепостными.

Лишившись союзников, отряды гетеристов всё же продолжали мужественно сопротивляться карательным турецким войскам. Однако численное превосходство турецких регулярных войск заставило патриотов отступить. А затем греческое необученное войско было полностью уничтожено.

Спасшиеся от мести турок гетеристы на протяжении долгого времени взваливали вину за срыв движения исключительно на своих прежних союзников — на молдаван и валахов. Это было тем более естественно, что напряженные молдаво-греческие отношения среди верхушечных слоев этих народов имели уже тогда известную давность.¹

В доказательство указанных отношений можно было бы привести множество выдержек из молдавской летописной и художественной литературы.² Остановимся, однако, лишь на крупном произведении молдавского писателя Александра Белдимана „Трагедия, или, лучше

¹ Так, в середине XVIII века Ион Некулче посвящает грекам, находящимся в Молдавии, обличительную тираду (*Letopiseşele Moldaviei...*, т. II, стр. 229), созвучную высказываниям о греках и других молдавских книжниках XVIII века.

² Несдержанно издается над греками консервативный поэт и драматург Василий Александри (1818—1890). Вот некоторые из драматических произведений В. Александри, в которых греки выведены всегда с отрицательной стороны: „Литориале сатулуй“, „Боерь ши чокой“, „Деспот Водэ“, „Йоргу дела Садагура“, „Друмул де фер“ и др. Критикой системы образования при фанариотах заполняет свою комедию известный Константин Стамати (1786—1869), пьеса которого озаглавлена „Мать, барчук и учитель или как обучались молдавские барчуки при фанариотах“. Фарс Стамати включен в одноименник, изданный при жизни автора: *Muza Românească*, Iaşi, 1868.

сказать, печальные происшествия Молдавии после греческого восстания 1821 г.¹ В своей летописи Белдиман, с позиций крупного молдавского боярства, до мельчайших подробностей зафиксировал действия гетеристов в Молдавии и отношение к восстанию со стороны молдавского боярства.

В Скулянах, находясь в карантине, предводители гетеристов „ходили из дома в дом и, с пеной у рта, обрушивались на молдаван, рисуя их в самых темных красках и всячески позоря их. И за то, что молдаване не хотели объединиться с ними, они их проклинали от души... Ведь если бы молдаване присоединились к ним и не восставали, Царьград и Эллада уже давно были бы освобождены... От своего собственного счастья, от освобождения, они удирают, они, привыкшие терпеть рабство, тяжелое турецкое иго. Пусть же будет по их воле, если это животное состояние их удовлетворяет, но если нам попадется в руки крестьянин ли, думский ли боярин — на одном костре положим и турка и молдаванина“.²

Как видим, писатель-молдаванин сообщает в приведенной цитате антимодавские высказывания греков. Многочисленнее и куда суровее его личные высказывания о всех гетеристах в целом и, в частности, о трех их предводителях — Каравии,³ о Дуке⁴ и о Пендадеке, на которых, как помним, Липранди указывал как на лиц, рассказывавших Пушкину молдавские предания. Наиболее интересны сведения, приведенные Белдиманом о Пендадеке, т. е. о наместнике Ипсиланти в Яссах. Описывая время, когда оставшиеся в стране молдавские бояре уже предприняли переговоры с турками и определилась четко их оппозиция к гетеристам, и говоря о Пендадеке, перехватившем секретную почту молдавских бояр, Белдиман приписывает ему обвинительную речь перед собравшимися боярами следующего содержания: „Что означают ваши вражеские выступления? Какие после этого вы христиане и какого вы вероисповедания? Непонятно ли вам, что мы за веру поднялись, что в помощь нам стоит наиболее православный из императоров? Мы не можем допустить, чтобы Эллада находилась во вражеских руках, чтобы христиане томилась под турецким гнетом. Вы же лишены человечности, и если вы преследуете христиан, включившихся с рвением в движение, то вы — враги православия“.⁵

На эту речь, по словам Белдимана, молдавские бояре, после некоторой растерянности, ответили, что освобождать Грецию надобно не в Молдавии, в которой грабежи и бесчинства не прекращаются, что

¹ Текст стихотворной летописи Белдимана включен в то же трехтомное издание летописей: *Letopiseþele Moldaviei...*, т. III, стр. 336—433.

² Там же, стр. 384—385.

³ Там же, стр. 341.

⁴ Там же, стр. 347.

⁵ Там же, стр. 354.

царь вовсе не стоит за повстанцев, которым следовало бы вообще покинуть Молдавию. Белдиман отмечает далее, что решение Пендадеки о замене молдавских должностных лиц гетеристами было им тотчас осуществлено. При этом из изложения Белдимана явствует, что гетеристы ополчились исключительно против бояр, а не против всего населения.

О несогласии Пендадеки с молдавскими боярами, впрочем, было известно и Пушкину. В своей „Заметке о Пендадеке“ поэт писал, что Пендадека был послан Ипсиланти в Яссы с тем, чтобы „успокоить беспорядки“, и что там „он нашел греков, притесняемых боярами; его находчивость и твердость спасли их. Он запасся снаряжением на 1500 человек, тогда как на самом деле у него было только 300. В течение двух месяцев он господствовал над Молдавией“ (XII, 191).

Если учесть и то обстоятельство, что в Кишиневе находились беженцы не только из Молдавского княжества, но и из Валахии, из княжества, где валахо-греческие напряженные взаимоотношения получили трагическую развязку в виде умерщвления руководителя пандуров Тудора Владимиреску, едва ли можно будет ставить под сомнение наличие антагонизма между представителями эксплуататорских классов молдаван и греков, бежавшими в Кишинев. О молдаво-греческом антагонизме говорят и русские свидетели этих лет — Вигель, Вельтман.¹

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в Кишиневе, городе, в котором в это время находился Пушкин и куда бежали наиболее крупные и реакционные бояре княжества, верноподданные и царю и султану, магнаты осуждали зачинщиков „бунта“, который принудил их к бегству и лишениям. Не оставаясь в долгу, греки, участники гетерии, в свою очередь обвиняли молдавское боярство в предательстве по отношению к делу, общему для всех народов, подневольных Турции.

В такой обстановке бытование в молдавской кишиневской среде легенд, указывавших на борьбу молдавского народа против иноземного гнета, и особенно против греков-фанариотов, было вполне естественным. Ссылка на исторические выступления против господарей-греков поддерживала пламя антигреческой настроенности молдавского боярства и даже усиливала его.

¹ Так, характеризуя Александра Стурдзу, Вигель писал: „... молдаван по отцу, он искренно любил соотечественников и всегда горячо за них вступался, забывая, что они враги его любезным грекам“ (Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. VI. М., 1892, стр. 130). О вражде молдаван к пришлым грекам говорит и А. Ф. Вельтман в своих „Воспоминаниях о Бессарабии“: „... <в Кишиневе> одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фанариоты там резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих“ (цитируется по изданию: Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, стр. 118).

Это обстоятельство делает возможным любопытный вывод по поводу достоверности сведений Липранди. Если верить Липранди, „молдавские предания“, невыгодно освещавшие греков, пришельцев в Молдавию, были сообщены Пушкину греками-гетеристами. Повидимому, такое положение немыслимо и нуждается в пересмотре.

6

Несмотря на общепризнанную точность воспоминаний Липранди в целом, мы полагаем, что сведения его о тех, кто сообщил Пушкину молдавские предания, не верны. Антигреческая направленность обеих легенд, и в особенности второй легенды, категорически опровергает утверждение Липранди о том, что эти лица были греками. Не могли же, в самом деле, греки-гетеристы воскрешать перед Пушкиным образ соотечественника, получившего проклятие от народа, над которым ему удалось властвовать. И греки-гетеристы 1820-х годов не могли этого делать, тем более из-за молдаво-греческого антагонизма, принявшего самые резкие формы именно после гетерии.

Однако дело еще и в том, что названные Липранди гетеристы — Каравия, Дука и Пендадека — были людьми, только что (во время гетерии или немного раньше) прибывшими в Молдавию. Об этом говорит и сам Липранди, утверждая, что Каравия и Пендадека были из Нежина, а Дука, о котором и молдавский писатель Белдиман говорит, что он „странствующий бродяга“, был родом из Албании. Впрочем, в „Заметке о Пендадеке“ и сам Пушкин писал, что в 1817 году Пендадека находился в Москве. Откуда же у них такая осведомленность в истории Молдавии? И какую радость доставляло Дуке так поносить свою фамилию?

Не греки, а, повидимому, сами молдаване сообщили Пушкину содержание молдавских преданий. В таком случае возникает вопрос: зачем понадобилось Липранди скрывать факт информирования Пушкина его современниками-молдаванами? Ключ к этому вопросу дают „Воспоминания“ Липранди, чья отрицательная роль в русском общественном движении всё более вскрывается советскими исследователями.¹

Дело в том, что Липранди едва ли особенно сочувствовал современному ему молдаванскому (да, впрочем, и греческому) передовому обществу Кишинева. А в этом обществе, как известно, находились не только реакционно настроенные Янку Руссу, Тодор Балш и другие,

¹ См., например, работу В. Г. Базанова „Владимир Федосеевич Раевский“ (М.—Л., 1949), в которой ставится под сомнение достоверность сведений И. П. Липранди, заметавшего следы увлечений своей юности. Исследователь пишет: „Всячески скрывая революционное прошлое 16-й дивизии и ее командира генерала Орлова, Липранди уверяет, что в Кишиневе не было «малейшей искры негодования на правительство». Но можно ли в данном случае верить Липранди?“ (стр. 51).

но и такие, лично знакомые и самому Пушкину, передовые люди, как писатели Стамати и Негруди, как масон князь Суццо. Молдавская молодежь, — писал, проговариваясь, тот же И. П. Липранди, — „увидалась“ за Пушкиным.¹ В 1824 году Воронцов доносил, что Пушкина следует убрать из Одессы и из Тирасполя, потому что его „почитатели“, „молодые бояре“, т. е. молдаване, и там смогут добраться до него и создать таким образом вместе с Пушкиным „скверное общество“.²

Об этом же свидетельствуют и воспоминания А. Ф. Вельтмана: „... живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покорила и внимание молдавского общества“.³

Из воспоминаний Липранди явствует далее, что именно он лично был не расположен к писателю Стамати. Известен отрывок, в котором он приписывает Пушкину злую насмешку над молдавским языком. Припомним здесь же этот отрывок, в котором содержится явный анахронизм, разоблачающий его автора. Однажды, — пишет И. П. Липранди, — Пушкин прервал чтение молдавским поэтом перевода французской пьесы на молдавский язык хохотом, по поводу отсутствия какой-либо гармонии в языке переводчика: „... Пушкин и слышать не хотел о гармонии языка и, обратясь к Стамати, сказал ему, что он очень хорошо делает, занимаясь литературой и в особенности не придерживаясь <того>, как это делают теперь запрутские, вводящие латинские и французские слова и вытесняющие из языка славянские...“.⁴

Действительность и само творчество поэта разоблачают и эти вымыслы Липранди.

Дело в том, что в 1821—1823 годах никакой ориентации на Запад в молдавском языке еще не было. Такая ориентация началась в Молдавии значительно позже, через добрых десять лет после пребывания Пушкина на юге.

Однако наиболее наглядным доказательством того, что Липранди в данном случае приписал поэту собственный отрицательный отзыв о молдавском языке, являются его высказывания по вопросам молдав-

¹ См. публикацию и комментарии М. Цявловского: Из воспоминаний И. П. Липранди о Пушкине. „Летописи Государственного литературного музея“, кн. 1, Пушкин, М., 1936, стр. 556.

² В своем донесении к Нессельроде от 28 марта 1824 года М. С. Воронцов писал:

„Удаление его <Пушкина> отсюда будет лучшая услуга для него. Я не думаю, что служба при генерале Инзове поведет к чему-нибудь, потому что хотя он и не будет в Одессе, но Кишинев так близок отсюда, что ничто не помешает его почтителям поехать туда; да и, наконец, в самом Кишиневе он найдет в молодых боярах и молодых греках скверное общество“ („Русская старина“, 1879, октябрь, стр. 292).

³ Л. Майков. Пушкин. 1899, стр. 121.

⁴ Летописи Государственного литературного музея, кн. 1, Пушкин, 1936, стр. 557.

ского языка в целом. Оказывается, сам Липранди занимался вопросом об ориентации молдавского языка на Запад, но значительно позже 1821—1823 годов.

Липранди писал в 1866 году: „Не с большим тридцать лет тому назад, как молдо-валахи, начав сближаться с Западом, стали производить себя от римлян и переделывать как изображения букв, так и носившиеся с незапамятных времен названия славянские и начали писать ныне, вместо остров — инзула, вместо любовник — амурезу; гура — монтина и т. п.; но к народу это еще туго прививается, и он сохраняет прежние названия“.¹ Это свое замечание Липранди дополнил сноской: „Я мог бы сказать многое по сему предмету, но здесь было бы это неуместно. Нескольким лет тому назад у меня были приготовлены статьи, под заглавием «Об усилении молдо-валахов произвести себя от римлян», но я оставил их не напечатанными“. В недавно напечатанных дополнениях к тем же воспоминаниям Липранди указывает периоды политической и культурной ориентации Молдавии. И это его (впрочем, верное) указание говорит о том, что в 1823 году Пушкин не мог ни хвалить, ни хулить молдаванина Стамати за его, самим Липранди выдуманное, отношение к французским словам в молдавском языке. „В то время <т. е. в 1823 году>, — пишет Липранди, — Париж не был еще так знаком молдаванам, как это ныне <т. е. в 1866 году>. До Букарестского мира «Киблой» <идеалом> их была Россия; потом, благодаря нашей дипломатии . . . , Вена сделалась их предметом; а с 1830 года — Париж“.²

Следовательно, именно Липранди осуждал ориентацию молдавского языка на Запад, но мог делать это, по собственному признанию, во всяком случае, после 1830 года.

Если Липранди решился приписать это свое более позднее мнение Пушкину, то можно ли верить ему, когда он в том же абзаце воспроизводит, как подлинное мнение Пушкина, мнение о неблагозвучности молдавского языка, что, как мы знаем, не соответствует действительности?

Лживость сведений Липранди о взаимоотношениях Пушкина с передовым молдавским обществом Кишинева обнаруживается в том месте его воспоминаний, в котором он объясняет, что свое отрицательное отношение к молдавскому народу гуманный поэт заимствовал именно

¹ „Русский архив“, 1866, № 10, стб. 1482. — Заметим, кстати, что здесь, как, впрочем, и в других своих лингвистических наблюдениях над молдавским языком, мемуарист допускает ошибки: по-румынски и молдавски писалось и пишется *insula*, *инсула* — не *инзула*; *монтина* является, конечно, вымыслом самого Липранди.

² Летопись Государственного литературного музея, кн. 1, 1936, стр. 555. — К приведенному тексту И. П. Липранди опять напрашивается поправка: если слово „кибла“ правильно прочтено в рукописи Липранди, то этим существительным, иронически взятым в кавычки, мемуарист хотел посмеяться над молдавским словом „пйлда“ (пример), произношение которого успел забыть.

от него, Липранди. Не без гордости пишет и П. И. Бартенев, со слов Липранди, что именно под влиянием последнего „в отношении к молдаванам-боярам, первым лицам местного населения, Пушкин не умел иногда скрывать чувств своего превосходства и не в силах бывал также удержаться от врожденной ему русской насмешливости“. ¹ А вот и слова самого Липранди: „Можно почти утвердительно сказать, — писал Липранди, — что после сего (после отрицательного отзыва мемуаристов о молдаванах, — Г. Б.) Пушкин начал смотреть на них с более верной точки зрения и так сообразовать свой образ обращения с ними“. ²

Эта ненависть Липранди ко всему молдавскому могла выразиться не только в подтасовке, не только в приписывании Пушкину своих же собственных взглядов, но и в форме тенденциозного замалчивания. Повидимому, именно эта его антимодавская великодержавная настроенность является причиной того, что он скрыл от потомства факт информирования Пушкина молдавскими культурными деятелями.

Кто же из числа знакомых Пушкину молдаван в Кишиневе мог в то время сообщить ему эти сведения из истории Молдавии — о народном выступлении против господаря, тирана и пришлеца? Можно предположить, что такими лицами были, во-первых, известный молдавский писатель Константин Стамати (1786—1869) и, во-вторых, кто-либо из семьи Кантакузиных (может быть, Георгий Кантакузин?) или из родственников Александра Хыждэу, рассказы которых могли послужить источниками и для повести молдавского писателя.

Наше предположение основывается на том, что отдаленные предки именно этих трех лиц были в некоторой мере участниками событий, сохранившихся в преданиях. По летописям известно, что именно боярин Стамати или Кантакузин были приближенными господаря Дабижи и что с молдавского престола сместил Дуку Штефан Петричейку Хыждэу. В обоих случаях деятельность этих предков, в передавшихся семейных воспоминаниях, выглядела крайне положительно по сравнению с Дукой.

Можно, конечно, допустить, что Пушкину эти легенды были рассказаны и другими его знакомыми из числа молдаван, имена которых пока не установлены (может быть, кто-либо из потомков боярина Хынкула, память о котором в начале XIX века прочно сохранялась в народе, как сохраняется и по сей день). ³ Можно также допустить, что

¹ „Русский архив“, 1866, № 8—9, стб. 1156.

² То же, № 10, стр. 1423.

³ „Имя Хынкуловых осталось в памяти людей с тех пор <1671> и по сей день“, — писал в первой половине XVIII века молдавский летописец И. Некулче; в 1820 году в одной из своих деловых бумаг управляющий монастыря Хынку уверял, что „собственноручно Михалча Хынкул никогда не подписывался. Он поступал по обычаю господарей, так как и сам он являлся для Лапушнянской волости настоящим господарем, как об этом, впрочем, все знают“ (A. V. Sava. Documente pivate la târgul și tinutul Lăpușnei, București, 1937, стр. 142).

легенды могли быть сообщены Пушкину и жившими в Кишиневе армянами; на это предположение нам дает право наличие образов Паскала и его дочери в повестях братьев Хыждэу.

Как бы то ни было, если предложенное выше гипотетическое содержание молдавских легенд соответствует записям Пушкина, то великому поэту, нашедшему и в истории молдавского народа примеры борьбы против господаря-тирана, против иноземной династии и пример мощного народного восстания, эти легенды сообщили, конечно, не греки, на которых указывал Липранди, а безусловно либо армяне, либо — и это более достоверно — сами молдаване.



Д. Д. БЛАГОЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭМА ПУШКИНА

(„Полтава“)

1

Впервые Пушкин упоминает о Петре в своих „Заметках по русской истории XVIII века“, набросанных им еще в Кишиневе. В характеристике и оценке Пушкиным Петра могли найти свое отражение взгляды Радищева, высказанные им в связи с открытием знаменитого фальконетовского памятника Петру, беседы поэта на историко-политические темы с декабристски настроенными кишиневскими его знакомцами — М. Ф. Орловым, К. А. Охотниковым, И. П. Липранди, В. Ф. Раевским и другими.

В эту пору Пушкин признает Петра замечательной личностью, „сильным человеком“ „северным исполином“, но наряду с этим он, как, кстати, и Грибоедов в своих замечаниях на историю Петра, всячески подчеркивает его безграничное самовластие, произвол его самодержавной, всё и всех крушившей „дубинки“:

„По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, всё еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны на веки; воспоминания старины мало по малу исчезали“. И дальше: „Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество может быть более, чем Наполеон“. К этому примечательному сопоставлению с Наполеоном Пушкин делает следующую характерную сноску: „История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё дрожало, всё безмолвно повиновалось“ (XI, 14)¹.

¹ Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

Как видим, самовластие Петра особенно резко подчеркивается здесь Пушкиным и выдвигается им явно на первый план.

Имя Петра два-три раза мелькает в статьях и письмах Пушкина первой половины 20-х годов, но все эти упоминания существенного значения не имеют.

Образ Петра снова, и впервые в художественном творчестве Пушкина, возникает в его программном стихотворении, являвшемся вместе с тем призывом „милости к падшим“, гласным заступничеством за сосланных на каторгу декабристов, — в написанных вскоре после возвращения из ссылки „Стансах“ 1826 года. Но здесь облик Петра существенным образом отличается от характеристики кишиневских заметок.

Если раньше Пушкиным особенно подчеркивалось „безграничное самовластие“ Петра, то теперь на первый план он выдвигает положительные, созидательно-героические и вместе с тем человеческие, гуманные черты в „необыкновенной душе самовластного государя“.

Если поэт и упоминает в „Стансах“ о „самодержавной руке“ Петра, то не для того, чтобы сказать, что она вооружена дубинкой, а чтобы подчеркнуть, что

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение. . .

В „Стансах“ образ Петра дан в основном в русле героической традиции Ломоносова. Снимая с лика Петра тот ореол божественности, которым он бывал традиционно окружен в одописи XVIII века, Пушкин вместе с тем развивает представление о Петре как о царе-просветителе, властно двинувшем вперед Россию, „вечном работнике“ на пользу своей страны, царе-плотнике — демократический образ большой политической смелости.

Выбор Пушкиным Петра I в качестве олицетворения политической программы, выдвигаемой поэтом в тягчайшие дни, наступившие после крушения восстания декабристов, был вполне естествен и закономерен.

Провести необходимые преобразования в стране путем декабристского переворота не удалось. „Средства“ оказались слишком „ничтожны“ по сравнению с „необъятной силой правительства“ (XI, 43). Но вот сама эта „необъятная сила“, устами нового царя во время длительной аудиенции, данной им привезенному из Михайловского Пушкину, стала уверять поэта, как сумела до этого уверить некоторых декабристов, что она будет направлена на те же преобразовательные цели. Пушкин мог допустить такую возможность, поскольку ему и раньше была не чужда идея „просвещенного монарха“, столь распространенная в просветительской философии XVIII века и нашедшая отражение в ряде его „вольных стихов“ (концовки „Вольности“, „Деревни“). И поэт ставит своей задачей толкать царя по пути преобразований, побуждать его претворить слова в дела.

Высшим историческим воплощением царя-преобразователя был в сознании представителей передовых общественных кругов того времени, в том числе и многих декабристов, как позднее и революционных демократов — Белинского, Чернышевского, — именно Петр.

Призывая Николая следовать Петру: „Во всем будь пращурю подобен“, Пушкин как бы давал „урок“ политического поведения новому царю, „урок“ на примере царя-преобразователя — „вечного работника“ „на троне“, смело сеявшего просвещение, „неминуемым следствием“ которого, по давней мысли поэта, должна была стать „народная Свобода“ — раскрепощение страны.

Не удивительно, что образ Петра, который, как сказано, совсем отсутствовал в поэзии Пушкина до 1826 года, с этого времени начинает привлекать к себе самое пристальное творческое внимание поэта и ставится им на одно из основных мест в двух начатых в следующие же два года крупных его произведениях — историческом романе „Арап Петра Великого“ и исторической поэме „Полтава“.

2

За несколько месяцев до восстания 14 декабря в разгаре полемики между Пушкиным и декабристами по поводу первой главы „Евгения Онегина“ А. Бестужев замечал в одном из писем к Пушкину: „что может быть поэтичнее *Петра*? И кто написал его сносно?“. Несколько ниже в том же письме, подчеркивая, что Пушкин ничего не должен создавать, кроме поэм, Бестужев прибавлял: „Только избави боже от эпопей. Это богатый памятник словесности — но надгробный. *Мы не греки и не римляне, и для нас другие сказки надобны*“ (письмо от 9 марта 1825 года; XIII, 149).

Белинский прямо считал, что известная творческая неудача, которая, по его мнению, постигла Пушкина в „Полтаве“, вызвана тем, что поэт задался невыполнимой целью написать именно эпопею, вместе с тем сочетав ее с новым жанром романтической поэмы.

В самом деле, создание эпической поэмы о Петре не переставало, начиная с „Петриды“ Кантемира, служить предметом творческих усилий целого ряда русских поэтов XVIII — начала XIX века. И действительно, никому, в том числе даже и Ломоносову, не удалось написать ее „сносно“.

Пушкин в своей „Полтаве“ осуществил вековое задание, но он не только не создал новой эпопей, но и не стремился к этому, хотя и воспользовался многими из длительного опыта не только своих больших, но и малых предшественников.¹

¹ См. об этом статью А. Н. Соколова: „Полтава“ Пушкина и „Петриды“. Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, 1939, стр. 57—90.

В пору создания „Полтавы“ Пушкин — автор не только романтических поэм, в частности „Цыган“, но и исторической трагедии „Борис Годунов“ и романов — большей части глав „Евгения Онегина“, глав „Арапа Петра Великого“, о которых Белинский даже в 1846 году писал, что этот не конченный исторический роман „неизмеримо выше и лучше всякого исторического русского романа, порознь взятого, и всех их, вместе взятых“¹ — находился в поре своей полной творческой зрелости.

И в своей „Полтаве“ Пушкин создал произведение огромного охвата, включающее и синтетически сочетающее в себе элементы не только эпоса и романтической поэмы, но и трагедии, и исторического романа.

Основным признаком старой историко-героической поэмы считался эпически бесстрастный тон повествования. Пушкинская „Полтава“ исполнена высокого лиризма и жгучей драматичности.

В эпической поэме описываемое историческое событие всегда ставилось в условные мифологические рамки. Обязательным элементом ее было „чудесное“. Наряду с реальными историческими героями в ней действовали существа сверхъестественные — античные боги или христианские ангелы, олицетворения добродетелей, пороков и т. п. Но, даже независимо от этого, авторы эпосов принципиально отказывались от соответствия их произведений исторической действительности, считали возможным обращаться с последней по своему произволу. Херасков в предисловии к своей „Россияде“ — каноническому образцу русской эпопеи XVIII века — прямо напоминал читателям, что в эпической поэме „верности исторической... искать не возможно“ и что поэтому он „многое отметал..., переносил из одного времени в другое, изобретал, украшал, творил и созидал!“.

В прямую противоположность этому, Пушкин не только выбрасывает за борт весь безнадежно устаревший и условно-театральный мифологический реквизит, но и настойчиво подчеркивает, что действительность, изображенная в его поэме, полностью соответствует исторической правде.

В этом отношении Пушкин противопоставлял свою „Полтаву“ не только старинной эпопее, но и некоторым произведениям русской и западноевропейской литературы, ему современным.

Определяя несколько позднее жанр исторического романа, утвердившийся в европейских литературах со времени Вальтера Скотта, Пушкин писал:

„В наше время под словом *роман* разумею историческую эпоху, развитую на вымышленном повествовании“ (XI, 92).

Любовь Мазепы и Марии — исторический факт, но в описании истории этой любви Пушкин в значительной степени пошел по пути „вы-

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 216.

мысленного повествования": сознательно в ряде подробностей, начиная с самого имени героини (Мария вместо реального Матрена, точнее, Матрона), отступил от известных нам фактических данных и, главное, весьма сильно дополнил их. Здесь Пушкин — не летописец, а гениальный творец-психолог, создающий из сочетания реальных фактов и восполняющего их творческого вымысла большое художественное обобщение — трагическую историю необыкновенной и преступной любви.

Но только в этом одном Пушкин и позволил себе в какой-то мере отойти от известной ему исторической действительности, тщательно изученной им по всем доступным тогда историческим источникам и материалам. Во всем остальном он старался строго ей следовать. Особенно, как сам он подчеркивал, Пушкин добивался этого в отношении центрального героя поэмы, именем которого первоначально он и предполагал ее назвать.

Незаурядная личность Мазепы неоднократно привлекала к себе внимание современников Пушкина. За девять лет до „Полтавы“, в 1819 году, появилась поэма Байрона „Мазепа“, эпиграф из которой Пушкин прямо и предпослал своей „Полтаве“. В 1824—1825 годах была написана обратившая на себя общее внимание и очень сочувственно встреченная самим Пушкиным поэма Рылеева „Войнаровский“. Наконец, меньше чем за год до „Полтавы“ была опубликована повесть одного второстепенного писателя, издателя „Невского альманаха“, Е. Аладьина „Кочубей“ (поступила в продажу 22 декабря 1827 года).

Сам Пушкин подчеркнуто указывал на резкое отличие „Полтавы“ от байроновского „Мазепы“. Действительно, Мазепа изображен Байроном вне всякого отношения к его политической деятельности и исторической эпохе: содержание поэмы исчерпывается необыкновенным романтическим эпизодом из юности Мазепы. В своем Мазепе Байрон еще раз показывает излюбленный им романтический образ человека „бестрепетной души“, „бесстрашно взирающего в лицо смерти“, „не знающего меры в добре и зле“. Изображение Мазепы, привязанного к спине коня и дико мчащегося по безлюдной степи, было сделано в таких тонах, что напоминало критикам прикованного к скале Прометея.

Пушкин готов был восхищаться художественной картинностью поэмы Байрона: „...какое пламенное создание, какая широкая и быстрая кисть!“ (XI, 160). Но никакого отношения к исторической правде такой образ Мазепы не имел.

Слабо связана с историей и повесть Е. Аладьина,¹ сюжет которой, однако, почти полностью соответствует романтической части фабулы „Полтавы“, т. е. истории любовных отношений Мазепы и Марии (как героиня, кстати, здесь тоже называется).

¹ „Кочубей“. „Невский альманах“ на 1828 год, кн. 4, стр. 228—305.

В противоположность этому, в „Войнаровском“ Мазепа взят вне всякой романической фабулы, в качестве исторического деятеля. Но зато самый образ его резко антиисторичен. Мазепа, изображаемый в поэме Рылеева со слов его горячего приверженца Войнаровского, в основном дан как патриот и „прямой гражданин“, действующий единственно во имя „свободы родины своей“. Мятеж Мазепы, отпадение его от Петра трактуется как „борьба свободы с самовластьем“. И этот мотив борьбы за свободу звучит лейтмотивом всей поэмы Рылеева. Возьмем хотя бы характерное уподобление мятежа Мазепы весеннему разливу „освобожденной из плена“, „разрушающей все преграды“ реки:

И мы, порвав подданства цепи,
На глас отчизны и вождей
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих степей.¹

Поэма Рылеева, исполненная свободолобивого гражданского пафоса, имела большое агитационное звучание, получив широкую популярность среди декабристов и в близких им общественных кругах, но историческая оценка роли Мазепы была в ней совершенно извращена.

Образ Мазепы издавна занимал и Пушкина. Еще во время своей южной ссылки в 1824 году Пушкин специально побывал в Бендерах, разыскивая там могилу Мазепы. Там же он посетил старика Миколу Искру, который рассказывал ему о Карле XII.

Поэма Рылеева и повесть Аладина снова — после поэмы Байрона — поставили образ Мазепы перед творческим сознанием Пушкина и вместе с тем, видимо, и послужили одним из непосредственных толчков к его собственной и совершенно противоположной — даже явно противопоставленной — и им обоим, и Байрону разработке этого образа. Сам Пушкин прямо свидетельствует об этом в предисловии к своей поэме:

„Мазепа есть одно из самых замечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победой, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церкви анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества.

„Некто в романтической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим пред вооруженной женщиною, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме и пр. Лучше было бы раз-

¹ К. Ф. Рылеев, Полное собрание сочинений, изд. „Academia“, 1934, стр. 216.

вить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица" (V, 335).

Развить и объяснить настоящий характер Мазепы, не искажая его исторического лица, а показав его таким, каким представляет его история, — это и сделал Пушкин одной из основных задач своей поэмы.

Когда „Полтава“ вышла в свет, многие критики стали упрекать поэта в несоответствии его Мазепы историческому прототипу. Пушкин категорически возражал против этого. „Мазепа действует в моей поэме точь в точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер“, — решительно заявлял поэт (XI, 164).

И Пушкин был прав. Уже один из критиков — современников Пушкина, сам украинец, знаток украинской древности, собиратель украинских песен, М. Максимович, в опубликованной им в журнале „Атеней“ специальной статье „О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении“, полностью поддерживал это заявление поэта. „Пушкин, — писал он о знаменитой авторской характеристике Мазепы, — понял совершенно и объяснил сей характер, представив оный в следующих стихах: «Кто снидет в глубину морскую» (и т. д., кончая стихом: «Что нет отчины для него»). Портрет сей, принадлежащий к лучшим местам поэмы, так верен, что почти на каждый стих (если б было нужно) можно привести подтверждающие события“. ¹ Это заявление современника Пушкина полностью подтверждается и новейшими изысканиями. „...Каждый эпизод, даже почти каждый стих в исторической части поэмы может быть объяснен точно ссылкой на источник...“ — свидетельствует один из советских литературоведов и новейших исследователей „Полтавы“ Н. В. Измайлов, проделавший немалую работу по выяснению тех многочисленных исторических источников, которые имел в своем распоряжении Пушкин, и по сравнению с ними текста поэмы. ²

В то же время своего рода психологическим ключом к пониманию и объяснению действительного „исторического характера“ Мазепы послужил для Пушкина тот ужасный эпизод, который и в самом деле рисует этот характер во всей его отвратительности: Мазепа соблазнил дочь Кочубея и вместе с тем добивается его казни.

В позднейшей заметке о „Полтаве“, набросанной в 1830 году, Пушкин писал:

„Прочитав в первый раз в Войнаровском сии стихи:

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную им дочь

¹ „Атеней“, 1829, ч. II, июнь, стр. 503—504.

² А. С. Пушкин. Поэмы. Сказки, т. II. Изд. „Советский писатель“, 1939, стр. 393 (примечание Н. В. Измайлова); см. также его статью „К вопросу об исторических источниках «Полтавы»“ (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, 1939, стр. 435—452).

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства.

„Обременять вымышленными ужасами исторические характеры, и не мудро и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальной. Но в описании Мазепы, пропустить столь разительную историческую черту, было еще непростительнее. Однако ж какой отвратительный предмет!.. ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня“ (XI, 160).

Рылеев коснулся в своей поэме эпизода с Кочубеем и его дочью совсем мелко, всего какими-нибудь двумя строчками. Гениальный поэт-психолог, умеющий проникать и постигать самые глубины трагического, Пушкин делает этот эпизод, эту „столь разительную историческую черту“ основной фабулой поэмы. Именно эта-то разительная черта и дает ему возможность показать „сильные характеры“ действующих лиц — „гордых сих мужей, столь полных волею страстей“ — во всей их трагической полноте.

Пушкин не обременяет характера своего Мазепы „вымышленными ужасами“, но вместе с тем он прямо и резко подчеркивает злодейскую, „змеиную“ природу этого характера. „Коварный“, „злой“, „бесчестный“, „предатель“, „преступный“, „злодей“ — таковы эпитеты, которыми щедро наделяет он Мазепу.

Образы „злодеев“ были излюблены и в драматургии классицизма XVIII века. Однако драматурги XVIII века разрабатывали их чрезвычайно наивно. Каноническим образцом подобных злодеев был Дмитрий Самозванец из одноименной трагедии Сумарокова. В драматическом произведении автору не полагается быть среди присутствующих лиц и прямо высказывать свое к ним отношение. Зато Сумароков заставляет самого Дмитрия настойчиво на протяжении всей пьесы именовать себя злодеем: „Я к ужасу привик, злодейством разъярен, Наполнен варварством и кровью обгарен“, — заявляет он сам о себе. Заканчивается же пьеса знаменитыми в свое время словами убивающего себя Дмитрия, которые в юные годы Пушкина его лицейские учителя ставили ему в образец „высокого порочных чувствований“:

Ступай душа во ад и буди вечно пленна!
Ах, естли бы со мной погибла вся вселенна!

В результате, в Димитрии Сумарокова перед нами — не живой человек, а, так сказать, химическая формула злодейства.

Поскольку „Полтава“ Пушкина — поэма, автор имеет полную возможность не скрывать своего отношения к тому, что он изображает, и, действительно, как уже сказано, полностью пользуется этой возмож-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ностью, всячески подчеркивая свое не только резко отрицательное, но и просто непримиримое отношение к Мазепе. Но зато самый характер Мазепы он подвергает подлинной драматической разработке.

Мазепа ужасен и отвратителен, но он — не отвлеченный злодей, а живой человек из плоти и крови, способный испытывать всё, что свойственно природе человека, все человеческие чувства — и жалость, и угрызения совести, и страшную, опустошающую тоску.

Вспомним, как рисует Мазепу Пушкин после казни Кочубея:

Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.

Как всегда, Пушкин и здесь не многословен. Но как сильно и выразительно то немногое, что здесь им сказано: „Никто к нему не приближался“ — не приближался потому, что „грозен“ был его вид и „страшен“ облик.

Вспомним горестные размышления Мазепы у ложа спящей Марии о том, что станет с нею, когда она узнает о казни отца:

В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
„Умрет безумный Кочубей. . .“
.
А завтра, завтра... содрогаясь
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.

„Тихо пробираясь“, чтобы оставить Марию подольше в забытьи, чтобы не ускорить страшного пробуждения.

Пушкин и здесь для описания душевных терзаний Мазепы ограничивается, в сущности, одним только словом „содрогаясь“, но зато он дает изображение этих душевных терзаний Мазепы другим и необычайно выразительным образом. Поэт рисует мирную картину чудесной украинской ночи. Но под влиянием того, что происходит в душе Мазепы, всё как бы испытывает внезапное и страшное для него превращение:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны страшные мечты

В душе Мазепы: звезды ночи,
 Как обвинительные очи,
 За ним насмешливо глядят.
 И тополи, стеснившись в ряд,
 Качая тихо головою,
 Как судьи, шепчут меж собою.
 И летней, теплой ночи тьма
 Душна как черная тюрьма.

Такого потрясающего своей психологической правдой и вместе с тем высоко поэтического описания терзаний и мук совести мало найдется в мировой литературе.

Эта своеобразная психологизация внешней действительности, окрашенность предметов и явлений душевным состоянием и восприятием действующих лиц вообще является одним из приемов, неоднократно применяемых Пушкиным в поэме. Благодаря этому поэт сообщает изображаемым им явлениям действительности не только разнообразие, многогранность, но и особую психологическую глубину.

Так, казалось бы, что тишина есть такое явление, которое всегда равно само себе: тишина и есть тишина! Однако, помню только что приведенной картины *тихой* украинской ночи, в поэме есть еще по меньшей мере *три тишины*:

Ты помнишь: в *страшной* тишине,
 В ту ночь, как стала я твоею —

напоминает Мария Мазепе. Тишина страшна здесь не только от девичьего страха, а и потому, что Мария, бежав из родительского дома, отдаваясь крестному отцу, совершает по понятиям того времени преступление не только против людей, но и против бога — почти кровосмешительство.

Еще одна тишина описывается в картине казни Кочубея и Искры. Народ собрался, ждет. Воздух полон самых разнообразных звуков:

В гремучий говор всё слилось:
 Крик женский, брань, и смех, и ропот.
 Вдруг восклицанье раздалось
 И смолкло всё. Лишь конский топот
 Был слышен в *грозной* тишине.

И перед самым ударом топора:

Как будто в гробе, тьмы людей
 Молчат.

Гробовое молчание!

С такой же правдой и силой, как внутренний мир Мазепы, раскрыт и показан Пушкиным и характер Марии.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Многие современные поэту критики указывали на неправдоподобие и противоестественность страстной влюбленности Марии в глубокого старика. Пушкин отвечал ссылкой на исторический факт, лежавший в основе его фабулы. Припоминал он скептикам и знаменитую любовь Дездемоны к „старому негру“ Отелло.

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу? —

спрашивал Пушкин в одном из своих позднейших произведений 30-х годов и отвечал:

Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
(„Езерский“).

Однако в образе Марии он не ограничивается только подобным утверждением, а гениально раскрывает самую причину такой возможности, коренящуюся в нравственной природе Марии, в ее душевном складе и характере. Женственная и прекрасная Мария, „краса черкасских дочерей“, обаятельную наружность которой Пушкин описывает с таким поэтическим одушевлением, обладает неженской душой, она не удовлетворяется обычной женской долей; ее неудержимо влечет к героическому:

... с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр и клики
Пред бунчуком и булавою
Малороссийского владыки...

Строгий и суровый гетман с его бурной жизнью, с ее следами — глубокими морщинами — „рубцами чела“, с его увлекательными рассказами о походах и сражениях предстал юному воображению Марии именно таким героем.

И Мария пренебрегает молвой, запретом церкви (Мазепа был ее крестным отцом и связь ее с ним, как уже сказано, приравнивалась к кровосмешению), покидает дом родителей и полностью на всю жизнь предается своему возлюбленному:

Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава...

Когда Мазепа в ответ на ревнивые допросы Марии вынужден раскрыть ей свои замыслы, она — в совершенном восторге. Ее неясные мечты, ее смутная жажда героического обретают полное осуществле-

ние. Мазепа — тот, кто уже давно стал безраздельным царем ее души, — может и в самом деле стать царем:

Мария

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим сединам как пристанет
Корона царская!

Здесь, в этом непосредственном восклицании, прорывается женская природа Марии, которая заранее любит своим милым. Но дальше сейчас же проявляется и неженская ее душа. Когда Мазепа тут же высказывает ей свои сомнения и опасения, это она теперь ободряет и одушевляет его:

Мазепа

Постой.
Не всё свершилось. Буря грядет;
Кто может знать, что ждет меня?

Мария

Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

Мазепа

А если плаха?..

Мария

С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.

Но Мазепе мало готовности Марии отдать за него свою жизнь. Ему нужна еще большая жертва. Ведь участь отца Марии уже решена, „любовник“ должен уступить „гетману“, политика должна торжествовать над любовью: завтра на рассвете свершится казнь. И вот Мазепа требует от Марии ответа, кто ей дороже — он, гетман, или отец? Ничего не подозревая, Мария чувствует какую-то смутную тревогу. Ведь уже тем, что она бежала от отца к Мазепе, она ответила на этот вопрос. Зачем же он еще ее спрашивает? В то же время Марии мучительно мысль о семье, которую он ей напомнил, ужасно сознание, что она, быть может, проклята своим отцом. Тогда Мазепа ставит вопрос прямо: если бы или ему, или ее отцу предстояла неизбежная гибель и от нее зависел бы выбор, кого бы она предпочла?

Мария

Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.

Мазепа
Отвечай!

Мария

Ты бледен; речь твоя сурова. . .
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

Мария и теперь не дает прямого ответа, не говорит, что пожертвовала бы отцом, но весь смысл ее слов именно таков. И потому, как зловещий и неотвратимый приговор судьбы, звучат заключающие эту самую драматическую во всей поэме сцену слова удовлетворенного гетмана:

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

Этот диалог между Мазепой и Марией — полностью плод творческого вымысла Пушкина. Таковы же и сцена явления к Марии ее матери, и эпизод опоздания матери и дочери, бегущих на место казни в безумной надежде остановить ее, и финальная встреча сошедшей с ума Марии с разбитым и бегущим на чужбину гетманом

Но именно в этих сценах, которые вымышлены в своих подробностях, но в которых действующие лица полностью верны своим характеристам, проявляется с необычайной силой не только поэтическое дарование Пушкина, но и дарование его как драматурга. Пушкину удается до предела сгустить в них „глубокую трагическую тень“, которая так привлекла к истории Мазепы, Марии и Кочубея — истории обольщенной дочери и казненного отца — его творческое внимание.

Однако эта история — только одно из двух слагаемых поэмы.

3

Параллельно Мазепе-любовнику и всё время подавляя в нем любовника, действует Мазепа — политический заговорщик, Мазепа — честолюбед, интриган и предатель.

И вот после казни Кочубея и исчезновения Марии из дома Мазепы эта вторая линия повествования выходит на первый план, на некоторое время целиком занимая собой всё пространство поэмы.

Третья песня начинается с краткого изложения исторических событий, непосредственно предшествовавших Полтавской битве (поход Карла XII на Украину, измена Мазепы); затем следует знаменитое развернутое описание самой этой битвы.

Рядом с Мазепой и его союзником, шведским королем, вырастает другой, новый образ — могучая фигура Петра.

Многие современные критики (к ним до известной степени присоединился в своих позднейших пушкинских статьях и Белинский) упрекали Пушкина за нарушение им единства действия, за соединение в одном произведении любовной интриги и важнейших исторических событий.

„...Из «Полтавы» Пушкина, — писал Белинский, — эпическая поэма не могла выйти по причине невозможности эпической поэмы в наше время, а романтическая поэма, в роде байроновской, тоже не могла выйти по причине желания поэта слить ее с невозможною эпическою поэмою“.¹

Однако Белинский подходит в данном случае к оценке „Полтавы“ с меркой традиционного деления поэзии на роды и виды. Между тем Пушкин во всем своем творчестве непрерывно эти рамки ломает. И в своей „Полтаве“ — можно с полной уверенностью утверждать это — он ни в какой мере не собирался создавать не только традиционной эпической поэмы, но и новой романтической, а вслед за своей же исторической трагедией о царе Борисе создал дотоле отсутствовавший синтетический вид *исторической* поэмы, причем сама, на первый взгляд, странная и совершенно необычная композиция этой поэмы — сочетание узко личной любовной драмы Мазелы и Марии с героической патетикой Полтавской битвы — явно не случайна, соответствует глубокому идейному смыслу произведения Пушкина и даже прямо несет в себе и раскрывает собой этот внутренний его смысл.

Пушкин, так всегда ценивший в художественном произведении его план, его композиционный чертеж, был и сам исключительным, можно сказать, непревзойденным мастером композиции. Это проявляется с полной силой в его „Полтаве“. Поэт отнюдь не бросает здесь, как это может показаться, любовного сюжета, полностью переходя к моментам героическим. Реализация любовной фабулы „Полтавы“ доводится им до самого конца и отличается той же стройностью и почти математической симметрией, которая вообще так ему свойственна.

Поэма открывается описанием богатства и довольства Кочубея, в том числе и его главного сокровища — красавицы дочери. И дальше следует яркий портрет прекрасной Марии: „в Полтаве нет Красавицы, Марии равной“.

Заканчивается поэма тем же, чем началась, — перед читателями снова хутор Кочубея, снова — Мария. Но всё кругом являет картину полного разорения и гибели („запустелый двор“, „дом и сад уединенный“, „в поле отпертая дверь“), завершающуюся появлением перед спящим Мазелой его безумной и одичавшей возлюбленной:

Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впальми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена. . .

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 52.

Узнав Марию, внезапно проснувшийся гетман „вдрогнул, как под топором“, — еще одна замечательная деталь, еще один яркий просвет во внутренний мир Мазепы: страшное воспоминание о казни им отца Марии, Кочубея, и тем самым своего рода возмездие за нее.

В результате, в самом конце поэмы перед читателями как бы снова проносится в сжатом, сконцентрированном виде всё ее основное фабульно-романическое содержание.

В этом кольцевом и вместе с тем резко контрастным построении поэмы не только мастерски замыкается ее романтическая фабула, но и наглядно выступает роль Мазепы как „губителя“ и „злодея“. Устами Марии произносится и суровый ему приговор. И вместе с тем, не нарушая стройности этой композиции, в третьей песни — описание Полтавской битвы — происходит не только переключение поэмы в новый, героический план, но и как бы перенос ее в новое измерение.

Вначале, как уже сказано, Пушкин хотел было назвать свою поэму „Мазепа“, однако затем он изменил это намерение и назвал ее „Полтава“. И это тоже глубоко не случайно. Несмотря на то, что большую часть пространства „Полтавы“ заполняет любовная история Мазепы и Марии, что описание самой Полтавской битвы композиционно сдвинуто почти в конец поэмы, именно эта последняя является не только высшей кульминацией, но и внутренним идейным стержнем всего произведения Пушкина.

Авторы „Петриад“, начиная с Ломоносова, стремились развернуть в своих грандиозных по объему произведениях чуть ли не всю жизнь Петра, в частности, показать всю Северную войну. Пушкин берет для своей поэмы всего лишь одно, но центральное событие из истории Петра, в котором, как в ярко светящемся фокусе, сошлись все основные лучи эпохи.

Уже Белинский отмечал художественный такт Пушкина, выбравшего из всех событий петровского царствования предметом своей поэмы именно Полтавскую битву. Однако это свидетельствует не только о художественном такте поэта, а и об его замечательной исторической прозорливости. Пушкин понимал колоссальное значение Полтавской победы, явившейся решающим моментом в истории всего петровского времени.

„Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения на севере, и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем“, — писал Пушкин в специальном предисловии, которое он предпослал первому изданию своей поэмы (V, 335).

А то, сколь опасен был этот враг, лучше всего показывает следующая красноречивая заметка, составленная позднее Пушкиным по историческим источникам и приводимая им в выписках и материалах к исто-

рии Петра Великого. То, о чем говорится в этой заметке, относится к 1707 году, т. е. ко времени незадолго перед Полтавской битвой. Пушкин записывает:

„Петр, желая мира, предлагал оный Карлу через бывшего при саксонском дворе французского министра Безенваля; на условиях оставить царю Ингрию с городами Кроншлотом, Шлиссельбургом и П. Б.— На сие Карл отвечал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 милльонов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить Россию на малые княжества. Генерал Шпар был назначен уже московским губернатором и хвалился, что они русскую *чернь* (canaille) не только из России, но со света плетью выгонят“ (X, 112—113).

Расчленение русского государства, отделение от него Украины имел в виду и договор, заключенный между Карлом и Мазепой.

Таким образом, в момент генерального сражения русских со шведами, в момент Полтавской битвы, на одной чаше весов лежала возможность существования России как великой нации, на другой — ее расчленение и полное порабощение. Дело шло не о том, чтобы выиграть или проиграть войну, а о свободе, чести и национальной независимости русского народа. Так это и осмыслил Пушкин. Отсюда даваемое им в поэме сопоставление предполагавшегося похода Карла на Москву с действительным походом на Москву Наполеона. Перед лицом этого еще гнуснее выступала продиктованная личными, корыстно-эгоистическими целями измена Мазепы.

И вот этому „честолюбцу, закоренелому в коварстве и злодеяниях“, этому историческому лжегерою, не любящему своей родины и готовому предать и продать свой народ, противопоставлена в третьей песни поэмы контрастная фигура Петра.

Мазепа в своей измене и антинароден, да и безнароден: украинские народные массы его не поддержали, остались верны братской связи с русским народом. За Мазепой пошла только небольшая кучка его приверженцев. „Слава богу, что в замысле его и пяти человек нет“, — записал позднее Пушкин о Мазепе слова самого Петра (X, 123). В самой поэме это символизировано образом „младого казака“, который „на гетмана стремился Сквозь битву с саблею в руках, С безумной яростью в очах“, видя в Мазепе не только погубителя глубоко и страстно любимой им самим Марии, но и „врага России“ („казак Уж умирал. Потухший зрак Еще грозил врагу России“).

Петр, как он дан в „Полтаве“, наоборот, делает свое дело во имя народа и вместе со всей страной:

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

И дальше:

Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

С темой Петра, как видим, неразрывно связана в историческом и поэтическом сознании поэта тема мужжающей, крепнущей, превращающейся под тяжким млатом истории в булатную сталь — России.

И именно эта закаленная „в искушеньях долгой кары“, возмужавшая Русь предстает перед нами на поле Полтавской битвы:

И злясь видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных
И ряд незыблемый штыков.

„Нарвские бегледы“ смогли в конечном счете победить прославленного европейского полководца, шведского короля, потому, что опирались на растущую, „молодую“, полную сил страну, отстаивавшую свое законное право на достойное историческое существование. Могучий Карл, подобно Наполеону сто лет спустя (не случайно, как сказано, Пушкин вспоминает о нем в своей поэме), был разбит вдребезги и его воинственные дружины развеяны впрах потому, что этот „любовник бранной славы“, помышлявший уничтожить и Россию и весь русский народ, в существе своем был не историческим героем, а авантюристом.

„Воинственный бродяга“, избалованный „беглым счастьем побед“, Карл мнил, что сможет произвольно нарушить в свою пользу пути и законы исторического развития. То, что Мазепа связал именно с ним свою судьбу, лишний раз подчеркивает и неисторичность замыслов Мазепы, и готовность ради их осуществления неразборчиво схватиться за любое средство.

Сам Мазепа в позднем и бесполезном прозрении горько сетует об этом в канун Полтавской битвы.

Замечательны последние слова, которые вкладывает Пушкин в уста Мазепы:

„...воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастьем побед,
Как дева робкая“.

Ослепленный отвагой Карла, Мазепа увлекся им, как самим Мазепой увлеклась ослепленная им Мария. Эта параллель подчеркивается и лексическим сходством; вспомним соответствующие слова Пушкина об отношении Марии к Мазепе: „Ты на него с благоговеньем Возво-

дишь *ослепленный* взор“. Здесь перед нами Пушкин — не поэт-историк, а гениальный творец-художник. Слепленность Мазепы Карлом — словно бы трагическая Немезида за погубленную Мазепой Марию. Но эта гениальная художественная находка поэта-трагедиографа не мешает Пушкину во всем остальном, о чем говорится в горьком самопризнании Мазепы, полностью быть верным истории. Каждый из эпизодов военной биографии Карла, на который ссылается Мазепа в своей характеристике, Пушкин подкрепляет соответственными историческими примечаниями, данными им в конце своей поэмы. Так, например, к словам: „Свалить как нынче казака И обменять на рану рану“ Пушкин делает следующее примечание: „Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу“ (V, 67).

В этом эпизоде проявляются все те черты, которыми характеризует Карла Мазепа: его слепая, безрассудная и ненужная отвага, его легкомыслие, кичливость и т. д. В то же время этот исторический факт дает Пушкину возможность прибегнуть к замечательному художественному эффекту: подчеркнуть противоположность подлинного исторического героя лжегерою, авантюристу, „воинственному бродяге“, в резко контрастном изображении облика обоих в самый решительный момент — перед началом боя.

Полную противоположность всему этому являет облик Петра. Бледности, смущению и растерянности одного из противников противопоставлена абсолютная уверенность и прекрасная мощь другого; „недоумению“ Карла — „вдохновенность свыше“ Петра:

... Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордись могущим седоком.

Конь и всадник — традиционная символика народа и царя (ср. образы в пушкинском „Борисе Годунове“, в последнем разговоре царя Бориса с Басмановым).

В связи с этим и противопоставление Петра *на верном коне* Карлу *в качалке* приобретает в данной сцене почти символический характер. Вместе с тем противопоставление это полностью основано на историческом факте. Раненного в ногу Карла, действительно, во время боя носили на носилках, причем последние в то время назывались именно

„качалкой“.¹ В то же время само это слово особенно подчеркивало нетвердость, шаткость положения шведского короля в самый решающий момент. Исход боя этим противопоставлением двух противников-полководцев как бы уже предопределен. Противопоставление это сразу показывает, за кем будет победа.

В противоположность свирепому, коварному и злому Мазепе и холодно-эффектному „любовнику бранной славы“, кинувшему „для шлема венец“, легкомысленно бросившему на карту судьбы армии и страны, Карлу — Пушкин наделяет в „Полтаве“ своего Петра чертами истинного великодушия, большим человеческим сердцем. „Оставь герою сердце! Что же Он будет без него? Тиран...“, — скажет Пушкин несколько позже в программном своем стихотворении „Герой“. И вот в „Полтаве“ Петр широким, щедрым жестом подымает заздравный кубок за своих побежденных „учителей“.

Из душного и мрачного мира мелких интересов, эгоистических целей и узко личных страстей — „отвратительного“ мира Мазепы, в котором, по уже приводившимся мною словам Пушкина, нет „ничего утешительного“, поэт выводит нас в третьей песни поэмы на широкие просторы большого национально-исторического и народного дела. В этом смысл и всего, столь поразившего многих критиков, необычного построения пушкинской поэмы. С полной отчетливостью раскрывается этот смысл и в знаменательном эпилоге „Полтавы“:

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколение миновалось —
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Всё, что движимо узко личными, эгоистическими целями, хищническими и корыстными страстями, — всё это преходит, теряется без остатка. Только большими патриотическими делами во благо родины и народа исторический деятель может создать себе нерушимый памятник, — вот что говорит нам Пушкин не только сюжетами, образами, но и самой композицией своей поэмы, заключавшей в себе, подобно „Стансам“ 1826 года, новый, весьма выразительный урок Николаю.

Смысленный Кюхельбекер, прочтя „Полтаву“, записал в своем дневнике, что он не только любит, но и уважает Пушкина за его поэму. И действительно, „огромный памятник“ — высокое свидетельство глубокого патриотизма и истинной народности — создал себе своей „Полтавой“ и сам Пушкин.

¹ См. Словарь Академии Российской, ч. III, СПб., 1814, стб. 94.

4

В своей позднейшей заметке о „Полтаве“ Пушкин писал:

„Habent sua fata libelli.¹ Полтава не имела успеха. Вероятно она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж, это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся“ (XI, 164).

И в самом деле, в развитии жанра поэмы у Пушкина „Полтава“ явилась в высшей степени оригинальным произведением. Если в „Руслане и Людмиле“ Пушкин отталкивается от „небесного“, „мистического“ романтизма Жуковского, то в „Полтаве“ он отталкивается от всех остальных основных типов западноевропейского и отечественного романтизма: от „одностороннего“ титанического индивидуализма Байрона, от антиисторического романтизма рылеевской поэмы о Войнаровском, наконец, от той смеси эпигонского сентиментализма в духе Карамзина и неистовой романтики французской мелодрамы, с которой мы сталкиваемся в повести Аладьина. Всё это были различные виды искажения истории. Наоборот, в своей „Полтаве“ Пушкин создает произведение подлинно историческое, в жанре поэмы равносильное его народной исторической трагедии о царе Борисе. „Народность в выражении“ считал Белинский новым элементом в творчестве Пушкина, проявившимся именно в „Полтаве“, не зная, что она написана позднее „Бориса Годунова“. Но из всех прежних поэм Пушкина „Полтава“, действительно, является наиболее народной.

Эта „народность в выражении“ сразу бросилась в глаза критикам — современникам поэта, — как хулителям „Полтавы“ (их оказалось очень много), так и тем, кто давал высокую оценку поэме.

Надеждин писал о языке „Полтавы“:

„Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский палладин.“

Эта аллегория в прозаическом переводе значит, что Карл XII не один раз *секал Россию до крови*. Может быть, поэт совсем не думал шутить, употребив сие слишком памятное для молодых людей сравнение...

Проснулся Карл. «Oго! Пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает».

Надобно же иметь богатый запас веселости, чтобы заставить Карла в столь роковые минуты, так бурлацки покрикивать над ухом несчастного гетмана!..

И с диким смехом завизжала... .

Фай!.. этак говорят только об обваренных собаках!..²

¹ Книги имеют свою судьбу (лат.).

² „Вестник Европы“, 1829, № 9, май, стр. 34, 35, 36.

„Какова покажется вам, — продолжал он же, — эта апофегма, коею Мазепа приправляет свой патетический монолог:

В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лавь.

Лзя ли *вульгарнее* выразиться о блаженном состоянии супружеской жизни?.. Жаль лишь, что всю силу этой слишком *народной* поговорки вполне может чувствовать не вся русская чернь, а только — архангелогородская!¹

Последнее слово иронически употреблено Надеждиным, поскольку слово „лавь“ в то время значило „самка оленя“.²

Наоборот, критик „Московского телеграфа“ Ксенофонт Полевой с величайшей похвалой отмечает „народность“ „Полтавы“: „В *Полтаве*, с начала до конца, везде русская душа, русский ум, чего, кажется, не было в такой полноте ни в одной из поэм Пушкина“.³

„Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто-русское в тоне рассказа, в духе и обороте выражений!“ — говорит позднее Белинский о „Полтаве“ в статье седьмой своего знаменитого цикла статей о Пушкине.⁴

Действительно, из всех пушкинских поэм „Полтава“ является наиболее „чисто русской“. Это замечательно сказывается в самом языке поэмы.

„Простонародное наречие необходимо должно отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и *такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей*“, — писал Пушкин в период работы над „Борисом Годуновым“, в статье „О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова“ (XI, 31). Как ни в одном произведении, включая „Бориса Годунова“, именно в „Полтаве“ сближение, сочетание воедино „простонародного наречия“ и „наречия книжного“ было осуществлено Пушкиным особенно смело и ярко. „...Если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной Звезды, то напечатай его“, — писал Пушкин А. Бестужеву об отрывке „Братья разбойники“ (XIII, 64). Эти „отечественные звуки“ еще сильнее зазвучали в „Полтаве“. В то же время наряду с „простонародной“ речевой стихией в языке „Полтавы“ не менее ярко выражена и высокая книжная „славяно-русская“ стихия.

Я вынужден ограничиться этим замечанием, не имея возможности специально останавливаться в данной статье на увлекательнейшем анализе языка „Полтавы“, что составляет предмет особого исследования.

Вопрос о собственно исторических источниках „Полтавы“ после

¹ „Вестник Европы“, 1829, № 9, стр. 44.

² Словарь Академии Российской, ч. III, 1814, стб. 521.

³ „Московский телеграф“, 1829, ч. 26, № 7, стр. 337.

⁴ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 68.

разысканий Н. В. Измайлова¹ и некоторых других исследователей можно считать более или менее решенным, но почти совсем не изучена связь „Полтавы“ с источниками художественно-историческими, а она тоже, бесспорно, имеется. В поэме есть несомненные соответствия памятникам и народно-художественного творчества, и книжной силлабической поэзии петровского времени. Так, в силлабическом канте Стефана Яворского Мазепа приравнивается „лукавому змию“ — традиционно-библейскому образу дьявола:

Изми мя, боже, — вопиет Россия —
От ядовита и лукава змия. . .

Этому близко пушкинское уподобление „изменника“ и „предателя“ Мазепы змию, причем это делается поэтом не в порядке какого-то отдельного сравнения, а с бесподобно точным художественным мастерством кладется им в основу всей характеристики образа Мазепы.

Характер Мазепы с самого начала определяется эпитетами: „коварный“, „злой“, „хитрый“. Эти эпитеты снова и снова настойчиво повторяются в поэме. Через некоторое время к этим эпитетам присоединяется еще один и также весьма выразительный: „холодный“. „В холодной дерзости своей“, „Но холодно сердца своего“; несколько ранее „коварная душа“ Мазепы сравнивалась с морской глубиной, покрытой льдом. Сам Мазепа назывался „губителем“, об его подосланных слугах говорилось, что они „Повсюду тайно сеют яд“. Всем этим было исподволь подготовлено уже прямое название Мазепы „змием“:

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.

Вслед за тем этот раз названный образ прочно удерживается в сознании читателей. Прямым развитием его являются строки:

Своими чудными очами
Тебя старик заморозил. . .

Помимо уже упомянутых и снова повторяемых эпитетов и обозначений: „хладная суровость“, „коварные седины“, „святой невинности губитель“, поэт применяет новые всё из того же „змеиною ряда“: „лукавый разговор“, „черные помышления“; прямо говорит о „змеиной совести“ Мазепы, о том, что он носит в груди „кипучий яд“. Даже дорогу к месту казни жертв Мазепы — Кочубея и Искры, перепол-

¹ Н. В. Измайлов. К истории создания „Полтавы“ Пушкина. „Ученые записки Чкаловского Государственного педагогического института имени В. П. Чкалова. Серия филологических наук“, вып. 3, 1949.

ненную толпами людей, Пушкин в высшей степени картинно сравнивает с шевелящимся „змеиным хвостом“. В образе Мазепы-„змея“ традиционное церковное представление о змии-искусителе как бы переводится Пушкиным в народный план: „Не знаешь ты, какого змия Ласкаешь на груди своей“ — связано с чисто народным выражением: „пригреть змею на груди“. И пушкинское сравнение „Мазепа — змей“ воспринимается не как отвлеченная церковная аллегория, а как живой и притом глубоко народный образ. Недаром так часто встречается нас этот образ в баснях Крылова.

Вообще, наряду с лирическим, драматическим, героическим стилями в „Полтаве“ есть еще один слой — народно-национальный крыловский басенный стиль.

Почти с такой же настойчивостью, с какой уподобляет Пушкин образ Мазепы змию, он уподобляет образ Марии — лани. С ланью, кстати, Пушкин сопоставлял и еще одну любимую свою героиню — Татьяну „Евгения Онегина“. Сопоставление это делается дважды на протяжении романа. Помимо „Полтавы“ и „Евгения Онегина“, других сопоставлений этого рода в творчестве Пушкина нет.

В начале поэмы о Марии читаем:

...Ее движения
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.

К тому же кругу образов относится последующее сравнение Марии с серной:

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкой лёт;
Одна в сених невеста бродит —

причем характерно, что сперва здесь был другой и, казалось бы, более народный образ: „Не голубь жалобно воркует, Услышав сокола полет“ (V, 189). Однако в окончательном тексте Пушкин вводит образ серны. Образ серны повторяется и в конце поэмы:

И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.

В черновиках образы „лани“ и „серны“ употребляются как однотипные. Так, сперва было наоборот: „То *серны* дикие стремленья“, „И легче *лани* молодой“.

Сопоставлениями Марии с ланью и серной явно подготавливается и та „слишком народная поговорка“, о которой так презрительно-иронически пишет Надеждин:

В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.

Строки эти прямо как бы являются своего рода басней, сжатой всего в два стиха. Однако замечательно, что Пушкин-художник этим не ограничивается и через некоторое время развертывает эту „апофегму“ в яркую образную картину. Мазепа произносит слова о коне и лани в ночь перед казнью. А в описании самой казни они как бы наглядно реализуются:

И смолкло всё. Лишь конской топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге
Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней. . .
Тогда чрез пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили, полные боязни.

Здесь все элементы „апофегмы“ — „конь“, „телега“, наконец, спешащая к месту казни, „полная боязни“ „трепетная лань“ — Мария.

Если в „Братьях разбойниках“ Пушкин тщетно пытался создать поэму на народной основе, то в „Полтаве“ он осуществляет этот замысел.

„Полтава“ народна не только по своему лексическому составу (недаром снова, как во времена „Руслана и Людмилы“, критики упрекали Пушкина за наличие в „Полтаве“ „низких, бурлацких“ выражений); народна не только по целому ряду стилистических ходов и приемов (знаменитые слова Кочубея о „трех кладах“; не менее знаменитое место о гонце, который „при звездах и при луне“ „на север держит путь“), характерных для народного творчества отрицательных сравнений, народных — крестьянско-трудовых образов: „как пахарь, битва отдыхает“, „в одну телегу впрячь не можно“; в одном из черновых вариантов убитые „в ров валяются как снопы“. „Полтава“ народна и по всему своему духу.

Несомненна народность героического характера главного женского образа поэмы — Марии. Показательно в этом отношении, что вначале Пушкин хотел назвать свою героиню Натальей, т. е. именем героини его же „простонародной сказки“ 1825 года „Жених“. Явные реминисценции из „Жениха“ содержатся и в ряде мест „Полтавы“.

Отчетливо звучит в „Полтаве“ и „мнение народное“.

Когда Пушкин спрашивает: „Но где же Гетман, где злодей?“ — это не просто лирически окрашенное отступление, не просто оценка Мазепы самим поэтом. Пушкин судит и осуждает здесь Мазепу созна-

нием и нравственным чувством самого народа. И этот народный суд — „мнение народное“ — чувствуется нами и в отношении почти ко всем остальным лицам и событиям поэмы.

В самом характере изображения Петра в „Полтаве“ радищевская традиция ранней исторической статьи Пушкина была оттеснена видоизмененной и существенно развитой ломоносовской традицией.

Синтезом этих двух традиций — изображением Петра не только в качестве „чудотворного строителя“ гражданства „Северной державы“, но и в качестве „самовластного помещика“, некоторые указы которого „писаны кнутом“, — явится вторая поэма Пушкина о Петре, в которой историзм поэта подымется на еще более высокую ступень, — „Медный всадник“.



Н. В. ИЗМАЙЛОВ

ОРЕНБУРГСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПУШКИНА ДЛЯ „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА“ И „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“

1

В мировоззрении и творчестве Пушкина 30-х годов, в силу ряда глубоких причин объективно-политического и субъективно-идеологического порядка, крестьянский вопрос, т. е. вопрос о положении крепостного крестьянства, об его борьбе против помещиков и дворянско-бюрократической монархии, о путях к его освобождению становится одним из важнейших, если не самым важным и основным. Крестьянская проблема, проблема народа, глубоко волнует и непрестанно занимает поэта, требуя выражения и разрешения; она творчески выявляется в формах лирической и эпической поэзии, в художественной прозе — романе и повести, в драматургии, научно-исторической прозе и публицистике; она ставится на широком материале, как современном, так и ушедшем в область истории, как русском, так и западноевропейском и славянском („Сцены из рыцарских времен“, „Песни западных славян“).

Центральное место занимает здесь тема крестьянской войны нового времени — восстания под руководством Емельяна Пугачева 1773—1775 годов.

Тема эта, уже давно — с 1826 года — являвшаяся творческому сознанию Пушкина, фактически входит в его творческую жизнь в начале 1833 года. 31 января этого года датирован, как известно, самый ранний план повести о Пугачевском восстании, о дворянине-пугачевце — будущей „Капитанской дочки“; 7 февраля помечено письмо к Пушкину от военного министра графа А. И. Чернышева в ответ, очевидно, на устное обращение поэта, которым начинается документальная история работы Пушкина над собиранием и изданием материалов о Пугачевском восстании.

В процессе работ над романом из эпохи „пугачевщины“ и над историческим трудом о восстании, шедших одновременно, то переплетаясь,

то вытесняя одна другую (причем, как известно, к выполнению замысла романа Пушкин обратился всецело лишь после окончания издания „Истории Пугачева“), поэт скоро убедился в недостаточности и одно-сторонности материалов, бывших в его распоряжении. Официозная, дворянская историография либо замалчивала ненавистную, полузапрещенную правительством и проклятую церковью тему, либо заведомо искажала ее: восстание изображалось несчастной случайностью, следствием дурных страстей отдельных зачинщиков, увлекших покорную до того „толпу“, его вождь — извергом, в котором нет ничего человеческого, его деятели — кровожадными разбойниками, злодеями, преступным сбродом; еще более искажали картину восстания, дополняя тенденциозно изложенные факты своей фантазией, иностранные авторы — как политики, дипломаты и историки, так и беллетристы.¹

Не могли вполне удовлетворить Пушкина и бывшие в его распоряжении в 1833—1834 годах архивные материалы: в них он находил изображение восстания, освещенное лишь с одной стороны — с точки зрения агентов екатерининского правительства, администраторов, следователей и усмирителей. Притом важнейшие материалы — следственные дела, т. е. протоколы допросов самого Пугачева и его ближайших соратников — оставались ему недоступными, очевидно, по распоряжению подозрительно и враждебно настроенных властей, — вероятно, самого Николая I.

Изучение методов использования Пушкиным архивных документов показывает, что он уделял большое внимание записям показаний при допросах, т. е. наиболее живым свидетельствам современников-очевидцев восстания, его участников или случайных попутчиков. Эти показания выписывались им из дел с особой тщательностью и столь же тщательно, при условии необходимой критики, использовались в „Истории Пугачева“ и в „Капитанской дочке“.² Но даже наличие таких живых показаний не могло дать поэту всего, что он хотел, — а хотел он видеть освещение восстания с другой, народной стороны. Показания, даваемые в большинстве случаев под страхом пытки, нередко прямо под кнутом и часто с желанием угодить допросчикам и выгородить себя, — требовали величайшей осторожности в их использовании и не вскрывали подлинных чувств и мыслей народа. Пушкин хорошо сознавал это, когда в своих „Объяснениях“³ на критику его исторического труда В. Б. Броневским писал о трудностях, связанных с использованием „показаний казаков, беглых крестьян, и тому подобного, — по-

¹ Научная и художественная ничтожность иностранных писаний о Пугачеве убедительно показана Г. П. Блоком в исследовании: Пушкин в работе над историческими источниками. Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1949.

² Анализ этих материалов и методов их использования Пушкиным не может, однако, входить в задачу настоящей статьи.

³ „Об „Истории Пугачевского бунта“ (Разбор статьи, напечатанной в «Сыне отчества» в январе 1835 года)“.

казаний, часто друг другу противоречащих, преувеличенных, иногда совершенно ложных" (IX, кн. 1, 389).¹ И единственным способом для Пушкина увидеть восстание не с правительственной, а с другой, народной стороны, глазами народа, было, помимо его гениальной интуиции художника-историка, непосредственное обращение к самому народу, некогда участвовавшему в восстании.

Этим стремлением к полноте исторической и жизненной правды определяется общая задача путешествия, предпринятого поэтом в августе—сентябре 1833 года в Поволжье и в Оренбургский край. Великий художник-реалист и точнейший глубокий исследователь исторического прошлого, Пушкин хотел увидеть своими глазами места боев, казачьи станицы, степные крепости и уметы, представить себе расположение войск во время Оренбургской осады и при взятии Казани. Но еще более он, отправляясь в Оренбургский край, хотел ознакомиться с населением той области, где началось и разгорелось восстание, увидеть еще живых стариков—свидетелей его, услышать подлинный голос народа, узнать его отношение к восстанию и к его вождю, отсюда—яснее и глубже понять расстановку классовых сил той эпохи, социальные противоречия, вызвавшие восстание, элементы, составлявшие его, степень участия в нем разных слоев населения. Только овладев этим, он мог считать свои труды вполне подготовленными.

Своему обращению к рассказам стариков, свидетелей восстания, и к преданиям, сохранившимся в памяти потомков, участников его, Пушкин придавал исключительно большое значение. В „Предисловии“ к „Истории Пугачева“ он особо упомянул о том, что имел случай „пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых“, а в „Объяснениях“ на критику Броневского писал: „Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую память историческую критику“.

И далее он замечал: „Что касается до преданий, то если оные, с одной стороны, драгоценны и незаменимы, то, с другой, я по опыту знаю, сколь много требуют они строгой проверки и осмотрительности“ (IX, 1, 389, 390).² Строгая добросовестность и осмотрительность

¹ Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

² В другом месте „Объяснений“, говоря об источнике знаний историка Оренбуржья П. И. Рычкова о существовании „полу-баснословной Гугнихи“, предание о которой, со слов Рычкова, приведено в начале первой главы „Истории Пугачева“, Пушкин замечает: „Г. Левшин, опровергая Рычкова, спрашивает: как могла она (Гугниха) помнить происшествия, которые были почти за сто лет до ее рождения? Отвечаю: так же, как и мы помним происшествия времен императрицы Анны Иоанновны, — по преданию“ (IX, 1, 380). Самое „опровержение“ Левшиным Рычкова помещено в примечании 1 к первой главе „Истории Пугачева“ (там же, стр. 86—88).

Пушкина при использовании преданий, конечно, вне сомнения. Но тем важнее то внимание, которое он им уделял, их место в историческом исследовании, то значение, которое он придавал собранным в путешествии и вне его преданиям и рассказам современников крестьянской войны.

Путешествие Пушкина, продолжавшееся, вместе с последующим пребыванием в Болдине, немногим более трех месяцев (с 17 августа по конец ноября 1833 года), в его главных чертах достаточно известно. Воспроизводить все его детали было бы теперь излишне. Важно отметить только, что везде по пути, в Поволжье — в Нижнем-Новгороде, Васильсурске и Чебоксарах, в Казани и Симбирске — он разыскивал и расспрашивал стариков, очевидцев восстания, записывая их показания. Особенно настойчиво и тщательно стал он это делать тогда, когда, 16 сентября переправившись у Самары на левый (степной) берег Волги, въехал в пределы Оренбургского края.

Путь его по Оренбуржью шел через лежавшие на почтовом тракте старые крепости, известные в летописях Пугачевского восстания и ставшие с тех пор станицами и городами: Бузулук—Топскую—Сорочинскую—Новосергиевскую—Переволоцкую; от Переволоцкой тракт сворачивал на юго-восток, к берегу Урала, в Татищеву, бывшую узлом дорог, шедших к Оренбургу с запада и с юга, потом правым (нагорным) берегом Урала вел через Чернореченскую на Оренбург,¹ главную цель путешествия Пушкина, куда он прибыл 18 сентября.

В этом административном центре степного края, игравшем такую важную роль в первый период крестьянской войны, Пушкин пробыл неполных три дня; осмотрев город и прежде всего то, что было связано с обороной его от войск Пугачева, поэт побывал в подгородной казачьей станице Бёрде (или Бёрдах), служившей Пугачеву ставкой и главной военной базой в течение осады Оренбурга зимой 1773—1774 года. Затем, 20 сентября, он выехал по дороге, шедшей вниз по правому берегу Урала, через ряд крепостей и бывших форпостов (Чернореченскую, Татищеву, Нижне-Озерную, Рассыпную, Илецкий городок), в другой важнейший центр — Уральск, бывший Яицкий городок, откуда началось восстание Пугачева. Здесь он пробыл неполных два дня и, выехав 23 сентября, к 1 октября приехал в Болдино, где, после месяца усиленных трудов, в которых перемежались „Пугачев“, „Медный всадник“ и многое другое, закончил работу над основным текстом „Истории Пугачева“.

Главной целью поездки Пушкина было, как сказано, непосредственное общение с участниками и современниками восстания. Пушкин отыскивал и расспрашивал стариков везде, где бывал: в Переволоцкой или Сорочинской, Татищевой, Бёрдах, Нижне-Озерной, Уральске.

¹ Другая дорога шла из Переволоцкой степью напрямик в Оренбург; не исключена возможность, что Пушкин ехал именно так, а Татищеву посетил после Оренбурга.

О некоторых из этих встреч и бесед, особенно о посещении старухи-казачки Бунтовой в Бёрдах, известен ряд рассказов, современных и позднейших, начиная с сообщений самого Пушкина в письмах к жене от 19 сентября и 2 октября 1833 года (XV, 81, 83).¹ Результатом бесед явился ряд данных и эпизодов, вошедших в „Историю Пугачева“ и в примечания к ней, а также и в „Капитанскую дочку“ и основанных на записях, сделанных Пушкиным. Эти-то записи и их творческие переработки и отражения, а также другие следы устных рассказов, не сохранившихся в записях Пушкина, составляют предмет рассмотрения в настоящей статье.

2

Записи Пушкина, сделанные во время поездки или после нее, сохранились в двух рукописях: во-первых, в черновом, первоначальном виде в его записной книжке;² во-вторых, обработанные и переписанные на трех отдельных листах.³

Маленькой записной книжкой Пушкин пользовался во всё продолжение своего путешествия в сентябре 1833 года. Записи в ней сделаны карандашом, очень небрежным, местами неразборчивым почерком, отрывочно и кратко, буквально „на ходу“. В книжке всего восемь листков и настолько мало записей, что, возможно, часть листков с записями была потом, при обработке, вырвана и не дошла до нас. Что касается текстов на отдельных листах, то, как установил В. Л. Комарович, они хотя и писаны карандашом, но представляют собой, несомненно, не первоначальные записи, сделанные во время посещения Сорочинской, Бёрд, Татищевой и т. д., но обработку, выполненную уже, вероятно, в дороге, а может быть, в Болдине, на основании кратких путевых заметок и с помощью исключительно острой памяти поэта-историка.

¹ Укажу рассказы и воспоминания В. И. Даля, Е. Э. Ворониной, К. А. Буха, Н. А. Кайдалова, А. И. Макшеева, А. Т. Бляновой (в записях С. Н. Севастьянова и Н. Г. Иванова) и др.

² Бывшее собрание Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрин в Ленинграде. См.: Рукописи Пушкина. Краткое описание. Под редакцией Н. В. Измайлова и Ю. Г. Оксмана, вып. 1, Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. Составил Л. Б. Модзалевский, изд. „Academia“, Л., 1929, стр. 26—27, № 44; Рукою Пушкина, изд. „Academia“, Л., 1935, стр. 338—342, тексты №№ 84—90, публикация Л. Б. Модзалевского с комментариями М. А. Цявловского; Акад. изд., т. IX, кн. 2, 1940, стр. 492—493, со снимком двух страниц.

³ Собрание Л. Н. Майкова в Академии Наук СССР. См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1937, стр. 137—138, № 371; Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, 1936, стр. 434—435, и вып. 4—5, 1939, стр. 21—24, публикация В. Л. Комаровича; Акад. изд., т. IX, кн. 2, 1940, стр. 495—497.

Ряд заметок в записной книжке сделан в пути и не относится к Оренбургскому краю — этому главному центру пушкинских наблюдений. Таковы записи преданий о Пугачеве, сделанные еще на правом берегу Волги; в Васильсурске — о казни Пугачевым Курмышского коменданта Юрлова и о спасении его жены (с пометой: „Слышал от старухи, сестры ее, живущей милостыней“); на какой-то станции за Чебоксарами „от зрителя“ — о двух барышнях, спрятавшихся от Пугачева в копне сена и выданных собачкой. Рассказ сестры жены Юрлова был точно воспроизведен Пушкиным в восьмой главе „Истории Пугачева“ (IX, кн. 1, 70). Предание о двух барышнях осталось неиспользованным, очевидно, как слишком частный случай, а также и потому, что Пушкин, в противовес прежним дворянским историкам, не считал характерными для Пугачева проявления бесцельной жестокости. Не использованы были и сделанные где-то по дороге, вероятно, под Самарой, записи народных поговорок („слова Мордвина“, помеченные „16 сентября“, и другие),¹ а также записанное Пушкиным название какого-то племенного (калмыцкого?) бога и заметка о доме Пустынникова в селе Смышляевке, в 20 верстах к северо-востоку от Самары, в котором, повидимому, останавливался командующий правительственными войсками, действовавшими против Пугачева в последний период восстания, гр. П. И. Панин (IX, кн. 2, 493).² Где-то, возможно также в Самаре или под Самарой, Пушкин сделал краткую запись о казни Пугачевым астронома-академика Ловица в Камышине (IX, кн. 2, 493);³ это сообщение вошло в восьмую главу „Истории“ с некоторыми подробностями. Не очень ясны по смыслу и не были использованы заметки о „благородном собрании“ в Казани и Саратове, о городе Лаишеве.⁴ К обратному пути относится вычисление длины пути из Пензы на Арзамас,⁵ которое Пушкин делал, повидимому, соображая свой маршрут.

Остаются лишь очень немногие и очень краткие записи, непосредственно сделанные в оренбургских местах. Записи эти таковы:

„В Берде Пугачев жил в доме Кондратия Ситникова, в Озерной у Полежаева.

„Харлова расстреляна“ (IX, кн. 2, 493).⁶

Эта запись, очевидно, могла быть сделана в Бёрдах, во время разговора Пушкина с современницей Пугачева, старухой-казачкой Бунтовой, от которой он и получил эти сведения; Бунтова до прихода войск Пугачева жила в крепости Нижне-Озёрной („Озерной“) и, вероятно, сохраняла с ней связь и потом, так как там жила ее мать — „Бунтиха“. Она же рассказывала Е. З. Ворониной и о приездах Пугачева из Бёрд

¹ Рукою Пушкина, стр. 341, № 89.

² См. также: Рукою Пушкина, стр. 338, № 84.

³ См. (также: Рукою Пушкина, стр. 338, № 84.)

⁴ (Рукою Пушкина,) стр. 339, № 86.

⁵ Там же, стр. 342, № 90.

⁶ См. также: Рукою Пушкина, стр. 339, № 85.

*put me
at Stara me?*

в Озерную, и о житье его там, и о расстреле Харловой (вдовы коменданта Нижне-Озерной).¹

Другая заметка в записной книжке сделана, очевидно, в Уральске:

„Василий Плотников. Пугачев у него работником“ (IX, кн. 2, 493).²

Эта заметка не была использована прямо в „Истории Пугачева“. Плотников должен был быть в числе тех „хозяев“, о которых в начале второй главы говорится: „В смутное сие время, по казацким дворам шатался неизвестный бродяга,³ нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла“ (IX, кн. 1, 13). Но имя В. Плотникова значится в „Сентенции 1775 года января 10. О наказании... Пугачева и его сообщников“, в четвертом разделе осужденных (IX, кн. 1, 189).⁴

Еще одна запись относится, вероятно, ко времени поездки Пушкина из Оренбурга в Уральск:

„Карницкий. Илецкий городок“ (IX, кн. 2, 493).⁵

Запись сделана не Пушкиным, а внесена в его книжку неизвестной рукой, может быть, рукой того, с кем беседовал поэт в Нижне-Озерной и кто, вероятно, рассказывал ему о судьбе Дмитрия Карницкого (Кальминского). Краткая запись была развернута в болдинских заметках, о которых будем говорить дальше.

Наконец, в той же записной книжке находится текст единственной записанной Пушкиным песни, связанной с пугачевским движением. Запись дает такое чтение:

Из Гурьева городка
Протекла кровью река.
Из крепости из Зерной⁶
На подмогу Рассыпной
Выслан капитан Сурин
Со командою один.
Он нечаянно⁷ в крепость въехал,
Начальников перевешал,
Атаманов до пяти,
Рядовых сот до шести.

Уральски казаки
Были дураки,
Генерала убили
Госуд...⁸

¹ См.: Л. Н. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 427—429; „Русский архив“, 1902, кн. II, № 8, стр. 658—660.

² См. также: Рукою Пушкина, стр. 341, № 88.

³ Т. е. Е. И. Пугачев.

⁴ См. также: изд. „Academia“, т. IV, 1936, стр. 558—559.

⁵ См. также: Рукою Пушкина, стр. 341, — не совсем точно.

⁶ Сначала Пушкин написал: Из крепости Озерной.

⁷ Очевидно, нужно читать: нечаяно.

⁸ Запись не окончена. См.: Рукою Пушкина, стр. 457 и 460—461. Акад. изд., т. IX, кн. 2, стр. 493.

Что это за песня? Пушкин привел из нее четыре строчки в „Истории Пугачева“, поместив их в примечание 9 к главе второй (IX, кн. 1, 18 и 100) по поводу начальных движений войск Пугачева, в конце сентября 1773 года: „Из Рассыпной, — говорится здесь, — Пугачев пошел на Нижне-Озерную. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Веловскому¹ комендантом Нижне-Озерной, майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам“. К этому-то месту и сделано примечание: „Нижне-Озерная находится в 19 верстах от Рассыпной и в 82 от Оренбурга. Она выстроена на высоком берегу Яика. — Память капитана Сурина сохранилась в солдатской песне:

Из крепости из Зерной,
На подмогу Рассыпной,
Вышел капитан Сурин
Со командою один, и проч.“²

Итак, песня „солдатская“, а не казачья. Ее антипугачевский, правительственный характер довольно ясен и еще яснее выступает в более полном и точном тексте, записанном известным бытописателем и историком уральского казачества Иоасафом Железновым. Железнову спел эту песню в 1858 году старик-казак Красноярского форпоста И. М. Бакиров, отец которого лично знал Пугачева.³ Песня довольно длинна, и не стоит приводить ее полностью. В ней говорится о восстании яицких казаков 1771 года, предшествующем Пугачевскому,⁴ о том, что

*Яицкие казаки⁵
Бунтовщики были, дураки. . .
Генерала⁶ они убили,
В том не мало их судили;
Государыня простила —
Жить по старому пустила.*

Но

*Они, сердце свое разъяря,
Пошли искать царя. . .
Нашли себе царя —
Донского казака.
Донского казака —
Емельяна Пугача!*

¹ Веловский — комендант крепости Рассыпной, взятой войсками Пугачева 24 сентября.

² См. также: изд. „Academia“, т. IV, стр. 442 и 512.

³ И. И. Железнов. Уральцы. Очерки быта уральских казаков. Полное собрание сочинений, т. III, изд. 3-е, СПб., 1910, стр. 166—168. Ср. статью Н. О. Лернера „Песенный элемент в «История Пугачевского бунта»“ (сборник „Пушкин. 1834 год“, изд. „Пушкинское общество“, Л., 1934, стр. 12—16).

⁴ Железнов напрасно исправил здесь хронологическую „ошибку“ Бакирова, предложив ему петь не „В семьдесят первым году“, а „В семьдесят третьем“.

⁵ Подчеркиваем стихи, соответствующие пушкинской записи.

⁶ Очевидно, Траубенберга; см. „Историю Пугачева“, гл. I.

ском, когда (например, по сведениям, собранным секретным полицейским агентом Бошняком, посланным в июле 1826 года проверить поведение поэта и узнать, не возмущает ли он крестьян) он бывал „на ярмонке Святогорского Успенского монастыря“ „в рубашке, подпоясан розовой лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железною тростью в руке“, причем „дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними“; он — „отлично добрый господин, который... ведет себя весьма просто и никого не обижает“, а его люди „не могут нахвалиться своим барином“.¹ Из воспоминаний жены очень близкого к Пушкину человека, П. В. Нащокина, мы знаем о том, как любил и умел поэт беседовать с крестьянами: „...Пушкин в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем“.²

Наконец, умение Пушкина собирать фольклорные материалы доказывается лучше всего теми многочисленными песнями, которые он записал в Михайловском в 1824—1826 годах (конечно, со слов не одной только Арины Родионовны), в Болдине и в других местах.³ Глубокий интерес Пушкина к песенному и сказочному фольклору хорошо известен и не требует подтверждений.

Но пугачевский фольклор был материалом особого рода и собиране его, безусловно, представляло большие трудности, а опубликование — трудности, пожалуй, непреодолимые. Н. О. Лернер справедливо замечает, что Пушкин „едва ли имел возможность дать в своей «Истории» место песням, выражавшим сочувствие восстанию и его вождю и исходившим из подлинно народных, в частности казачьих, кругов“.⁴ Действительно, если в 1827 году ему было „высочайше“ запрещено печатать песни о Ст. Разине, причем замечено, что „церковь проклинает Разина, ровно как и Пугачева“, то едва ли можно было рассчитывать и в 1833 году на разрешение гораздо более острых, повидимому, песен о Пугачеве. Притом помещение их в историческом труде, конечно, со ссылками на их источники, могло, возможно, повредить самим исполнителям этих бунтарских, противоправительствен-

¹ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е, Л., 1925, стр. 23—28.

² В. А. Нащокина. Воспоминания. „Новое время“, 1898, № 8122; В. Вересаев. Пушкин в жизни, т. II, изд. 6-е, М., 1936, стр. 283. — Рассказ Нащокиной и относится как раз к поездке Пушкина из Москвы в Петербург в ноябре 1833 года при возвращении из путешествия в Оренбург, когда Пушкина сопровождал брат Нащокиной — Л. А. Нарский.

³ Ружою Пушкина, стр. 414—462.

⁴ Сборник „Пушкин. 1834“, стр. 19.

ных песен. Пушкин, если их и записывал, не стал вводить в „Историю“, но тем не менее иными путями ввел в нее немало фольклорных элементов, народных преданий и мнений. А в „Капитанской дочке“, где песни о Пугачеве были бы хронологически невозможны, — ведь рассказ ведется о времени самого восстания, даже первых его месяцев, — в одной из важнейших сцен романа — за ужином в Белогорской крепости, вечером в день ее взятия, где присутствует полупленником, полугостом Гринев, — Пугачев и его товарищи поют одну из самых поэтических и значительных разбойничьих песен — „Не шуми, мати зеленая дубравушка“.¹

„Невозможно рассказать, — замечает Гринев, — какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — всё потрясло меня каким-то пиитическим ужасом“ (гл. VIII).

Так, через образы фольклора Пушкин осуществляет одну из главных задач своего романа — поэтическую героизацию руководителей крестьянской войны. С несравненно большим „пиитическим ужасом“, чем Петруша Гринев, должен был воспринимать сам Пушкин трагические или мрачно-сатирические песни о Пугачевском восстании.²

3

Обратимся теперь к материалам, обработанным Пушкиным, как было указано выше, на основании его заметок и по памяти.

Эти материалы представляют собой или развитие заметок, сделанных в записной книжке и большей частью, вероятно, не дошедших до нас, или запись по памяти, или, вернее, сочетание того и другого. В расположении материалов нет строгого порядка, и в некоторых случаях трудно сказать, где и от кого записан тот или иной рассказ, где кончается показание одного лица и начинается показание другого. В общем (но только в общем) сохранившиеся три листа содержат сведения, собранные на пути в Оренбург — в Сорочинской (от Папкова) и, вероятно, в Татищевой (от Матрены); рассказы Бунтовой („старухи

¹ Песня заимствована Пушкиным из сборника М. Д. Чулкова, в издании Н. И. Новикова — „Новое и полное собрание российских песен“, ч. I, 1780, № 131, стр. 147 (см. Акад. изд., т. VIII, кн. 2, стр. 882 и 923); из того же сборника заимствованы в „Капитанской дочке“ песенные эпиграфы к главам II, V, VI и VII, а также песенка Гринева „Мысль любовну истребляя...“. Ср. статью академика А. С. Орлова „Народные песни в «Капитанской дочке» Пушкина“ („Художественный фольклор“, т. II—III, М., 1928, стр. 80—95).

² Г. П. Блок, в устном сообщении, справедливо отметил то, что Пушкин, устами Гринева, называет песню „Не шуми ты, мати зеленая дубравушка“, не разбойничьей, а „бурлацкой“, т. е. сложившей в широких кругах трудового крестьянства, занятого на отхожих заработках, — соответственно значению слова „бурлак“ в XVIII веке и определению этой песни во многих песенниках. Тем самым подчеркивается связь с крестьянской массой самого Пугачева — не разбойника, а вождя угнетенного народа.

в Бёрде“) о событиях в Озерной (Нижне-Озерной) и в Бёрдах; рассказ неизвестного современника — но не Бунтовой — о взятии Пугачевым Озерной и о судьбе Карницкого; несколько мелких данных (о Федулеве, о Творогове), записанных также от неизвестных рассказчиков.

При рассмотрении этих записей необходимо помнить огромные трудности, представлявшиеся Пушкину в процессе собирания. Пугачевское восстание было для уральского казачества запретной темой, и нелегко было заставить стариков и старух о нем говорить: нужно было уметь заслужить их доверие и уметь их расспрашивать. Характерно, например, что Бунтова, повторяя Е. З. Ворониной и ее спутникам то, что она говорила Пушкину (через два месяца после его посещения), старалась, очевидно, понравиться „господам“ и подчеркивала жестокость Пугачева и свое собственное сочувствие казненным офицерам. Пушкин не мог быть этим обманут, как обманулась Воронина: он любил и умел говорить с народом. Но расспрашивать о Пугачеве было трудно и ему, так страшила эта запретная тема, даже и через шестьдесят лет после восстания, людей, в глубине души целиком преданных Пугачеву и продолжавших верить в него. Жестокие правительственные репрессии были у всех в памяти, и возможность новой кары за воспоминания о восстании, за разговоры о нем и о его вожде была слишком реальна, чтобы располагать к откровенности, да еще с незнакомым человеком, имеющим, по убеждению бёрдских старух, какие-то признаки „антихриста“. Пушкин хорошо понимал настроение своих собеседников и, как видно по его записям, по их использованию, а более всего по изображению Пугачева в „Капитанской дочке“, умел извлечь из их рассказов правильные суждения. Но в конце четвертой главы „Истории Пугачева“, сказав о запрете, долго лежавшем на имени Пугачева, он кратко отметил: „Доныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных“ (IX, кн. 1, 42).

Мы будем рассматривать пушкинские записи в порядке их расположения в рукописи, сопоставляя каждую запись или каждый эпизод, каждый смысловой отрезок записи (если в нее входят разные, не связанные между собой факты) с текстами „Истории Пугачева“ и „Капитанской дочки“. Такое сопоставление позволит, как кажется, сделать и некоторые выводы.

„Папков в Сорочинской“¹ — очевидно, старик-казак из оренбургских казаков, враждебно относившихся к движению, начатому яицкими казаками, и соперничавших с ними, — рассказывал Пушкину о „бунте“ яицких казаков, предшествующем восстанию Пугачева:

„Бунтовщики 1771 года посажены были в лавки Менowego двора.² Около Сергиева дня, когда наступил сенокос, их отпустили на Яик. — Садясь в телеги, они говорили при всем торжище: То ли еще будет?

¹ В автографе написано сначала „в Переволоцкой“, затем исправлено. Очевидно, Пушкин не помнил твердо, в какой из этих станиц-крепостей он слышал рассказ.

² Под Оренбургом, на левом берегу Яика (Урала).

так ли мы тряхнем Москву? — Молчать, курвины дети, говорили им Оренбургские казаки, их сопровождавшие, но они не унимались“ (IX, кн. 2, 495).

События 1771 года, показавшие всё недовольство населения окраины правительственной политикой, угнетением и поборами властей и бывшие прямым предвестием Пугачевского восстания, составляют содержание последних страниц первой главы „Истории Пугачева“. В заключении главы использован и рассказ Папкова: „...строгие и необходимые меры восстановили наружный порядок; но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет!» говорили прощенные мятежники: «так ли мы тряхнем Москву». — Казаки всё еще были разделены на две стороны: согласную и несогласную (или, как весьма точно переводила слова сии Военная коллегия, на послушную и непослушную). Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Всё предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался“ (IX, кн. 1, 12).

Этот великолепный по своей сжатости и выразительности, чисто пушкинский конец первой главы приводит читателя к появлению, в начале следующей главы, Пугачева как вождя, выдвинутого самим народом из своей массы, и вместе с тем показывает, насколько закономерно и неизбежно было возглавленное им восстание, насколько глубоки были породившие его причины.

Следует отметить, что те же слова мятежников 1771 года, приводимые Папковым, Пушкин позднее, в „Капитанской дочке“, вложил в уста Пугачева (гл. XI): „Дай срок, — говорит он Гриневу, — то ли еще будет, как пойду на Москву“.

Следующая краткая запись со слов, очевидно, того же старика Папкова относится к более позднему моменту восстания: „Он (Папков, — Н. И.) привел кн. Голицына к Сорочинской крепости, но она уже была выжжена. Голицын насыпал ему рукавицу полную денег“ (IX, кн. 2, 495).

Этого рассказа Пушкин в „Истории“ не использовал. Занятие генералом князем Голицыным крепости Сорочинской, происшедшее в середине марта 1774 года при движении Голицына к Оренбургу, не было значительным событием, требовавшим подробностей. Упоминание о нем в пятой главе „Истории Пугачева“ очень коротко и сделано мимоходом (IX, кн. 1, 47).

Следующие пушкинские заметки излагают рассказы „Матрены в Татищевой“ и касаются этой последней крепости.

„В Татищевой Пугачев пришел вторично спрашивал у атамана, есть ли в крепости провиант. — Атаман, по предварительной просьбе старых казаков, опасавшихся голода, отвечал; что нет. — Пугачев пошел сам освидетельствовать магазины, и нашед их полными, повесил атамана на заставах“ (IX, кн. 2, 495).

Эта запись не была использована Пушкиным, может быть, в силу неясности ее хронологического приурочения. Та же Матрена сообщила поэту краткие сведения о коменданте Татищевой полковнике Елагине

и о его дочери, бывшей замужем за комендантом Нижне-Озерной, майором Харловым. Сведения эти записаны так: „Елагину взрезали грудь, и кожу задрали на лицо“. В тексте „Истории Пугачева“ (гл. II) смерть Елагина описана несколько иначе и с большими даже подробностями: Пушкин не скрывал жестокостей, совершавшихся пугачевцами; расправа с Елагиным находит себе объяснение в том, что он, уже раненый, с другим офицером, Биловым, „оборонялись отчаянно“ и, очевидно, нанесли нападавшим немалый урон и этим их раздражили. О Харловой, дочери Елагина, со слов „Матрены в Татищевой“ Пушкин записал так:

„Лиз(авета)¹ Федоровна Елагина выдана была в Озерную за Харлова весною. — Она была красавица, круглолица и невысока ростом“ (IX, кн. 2, 495).

Описание внешности молодой Харловой не вошло прямо в „Историю Пугачева“ („Пугачев поражен был ее красотой“, — сказано кратко во второй главе, в описании взятия Татищевой); но оно отразилось в „Капитанской дочке“, и притом двояко: портрет Марии Ивановны, при первом ее появлении — „девушка лет осмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши“, — напоминает портрет молодой Харловой, также „круглолицей“; правда, Мария Ивановна не красавица и „с первого взгляда... не очень понравилась“ Гриневу (гл. III). В другом месте, где говорится о взятии Пугачевым Нижне-Озерной, Гринеv замечает:

„Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузьмича“ (гл. VI).

А в черновой рукописи далее добавлено: „Помню даже, что Марья Ивановна была недовольна мною за то, что я слишком разговорился с прекрасною гостей, и во весь день не сказала мне ни слова...“ (VIII, кн. 2, 878). Историческая точность не могла быть выдержана Пушкиным во всех деталях, но красота Харловой („прекрасной гостии“) и здесь подчеркивается. О привлекательной внешности молодой Харловой говорят, впрочем, и другие документальные и книжные материалы, бывшие в руках Пушкина.

Дальнейшие сведения, записанные Пушкиным, относятся к взятию Озерной (Нижне-Озерной) и сообщены, повидимому, в этой самой крепости каким-то не известным нам по имени и нигде не упомянутым рассказчиком — современником Пугачева. На это указывают и помета в конце длинной записи: „В Озерной“, и вводная фраза в мужском роде: „не видал я сам, а говорили другие...“. Всё ли, записанное в Озерной, принадлежит этому современнику восстания, или Пушкин внес сюда же и рассказы других лиц, например бердской старухи

¹ Или, может быть, Лид(ия).

Бунтовой, — сказать трудно. Записи лишь частично использованы Пушкиным в его „Истории“, частью же не были введены туда, но, конечно, учитывались при ее обработке. Приведем эти записи по отдельным эпизодам, сопоставляя их с соответствующими местами „Истории Пугачева“.

Запись: „Из Озерной Харлов выслал жену свою 4 дня перед Пугачевым, а пожитки свои и всё добро спрятал в подвале у Киселева“ (IX, кн. 2, 495).

„История Пугачева“ (в дальнейшем сокращенно — „История“): „Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижне-Озерную... Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне“ (IX, кн. 1, 18). Рассказ об имуществе, спрятанном Харловым у казака (?) Киселева, продолжен в записи далее.

Запись: „Пугачева пошли казаки встречать за 10 верст. Харлов (хмельной) остался с малым числом гарнизонных солдат“ (IX, кн. 2, 495).

„История“: „Казаки его (т. е. Харлова, — *Н. И.*) изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат“ (IX, кн. 1, 18). В „Замечаниях о бунте“, представленных Николаю I в письменном виде, как приложение к напечатанной „Истории“, где он частью дополнял и пояснял ее, а частью писал то, о чем не мог или не хотел писать в своей книге, Пушкин к этому месту (замечание 4-е) сделал такое добавление: „Бедный Харлов, накануне взятия крепости, был пьян; но я не решился того сказать, из уважения его храбрости и прекрасной смерти“ (IX, кн. 1, 371). Это замечание, как видно, основано на устном рассказе старика — современника восстания: так внимательно прислушивался Пушкин к свидетельствам очевидцев, даже когда и не мог или не хотел их прямо использовать.

Запись: „Он (Харлов, — *Н. И.*) с вечера начал палить из пушек. — Билов услышал пальбу из Чесноковки (15 верст) и воротился, полагая, что Пугачев уже крепость взял“ (IX, кн. 2, 495).

„История“: „Ночью на 26 сентября вздумал он (Харлов, — *Н. И.*), для их (солдат, — *Н. И.*) ободрения, палить из двух своих пушек, и сии-то выстрелы испугали Билова и заставили его отступить“ (IX, кн. 1, 18). Бригадир барон Билов, один из многочисленных офицеров-немцев в правительственных войсках, был послан из Оренбурга на помощь крепостям, переходившим уже одна за другой в руки Пугачева. Выступив из Татищевой на Озерную, он, — говорит Пушкин несколькими строками выше, — „услышав ночью пушечные выстрелы, оробел и отступил“. Пушкин здесь, как и везде, подчеркивает нерешительность и трусость оренбургских начальников, особенно из немцев, следуя опять-таки устному рассказу, так как в официальных или

официозных материалах поведение Билова было затушевано и его трусость не так заметна. В тех же замечаниях, писанных для царя, он указывал, что „все немцы, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело... Но все те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия“, — и в числе последних называет Рейнсдорпа, оренбургского губернатора, и Билова (IX, кн. 1, 375).

Запись: „Поутру Пугачев пришел. Казак стал остерегать его. — Ваше царское величество, не подъезжайте, неравно из пушки убьют. — Старый ты человек, отвечал ему Пугачев, разве на царей льются пушки“ (IX, кн. 2, 495).

„История“: „Утром Пугачев показался перед крепостью (Нижне-Озерной, — Н. И.). Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь», сказал ему старый казак: «неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек», отвечал самозванец: «разве пушки льются на царей?»“ (IX, кн. 1, 18). Характерный эпизод чисто народного, фольклорного стиля целиком, дословно введен Пушкиным в „Историю“, потому что он прекрасно рисовал глубокую веру рядовых участников восстания в своего вождя, отливавшуюся в формы, свойственные тому времени: веру в „народного царя“. „...Говоря о Разине и Пугачёве, — указывает И. В. Сталин, — никогда не надо забывать, что они были царистами: они выступали против помещиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был их лозунг“¹.

Запись: „Харлов приказывал стрелять — никто его не слушал. Он сам схватил фитиль и выстрелил по неприятелю. — Потом подбежал и к другой пушке — но в сие время бунтовщики ворвались. — Харлова поймали и изранили. Вышибленный ударом копья глаз у него висел на щеке“ (IX, кн. 2, 495).

„История“: „Харлов бегал от одного солдата к другому, и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника, и изранили его“ (IX, кн. 1, 18). В этом описании Пушкин, как видно, следует во всем записанному им рассказу очевидца; упоминание о вышибленном глазе Харлова помещено дальше.

Запись: „Он (Харлов, — Н. И.) думал откупиться, и повел казаков к избе Киселева. — Кум дай мне 40 рублей, сказал он. — Хозяйка всё у меня увезла в Оренбург. Киселев смутился. — Казаки разграбили имущество Харлова. Дочь Киселева упала к ним в ноги, говоря: Государь, я невеста, это сундук мой. Казаки его не тронули“ (IX, кн. 2, 495).

¹ И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Сочинения, т. 13, стр. 113.

„История“: „Полумертвый, он думал от них откупиться, и повел их к избе, где было спрятано его имущество“ (IX, кн. 1, 18). Подробный рассказ о Киселеве и его дочери опущен Пушкиным, вероятно, как слишком частная и незначительная деталь.

Запись: „Потом повели Харлова и с ним 6 человек вешать в степь. Пугачев сидел перед релями — принимал присягу. Гарнизон стал просить за Харлова, но Пугачев был неумолим. Татарин Бикбай, осужденный за шпионство,¹ взошел на лестницу спросил равнодушно: какую петлю надевать? — Надевай какую хочешь, отвечали казаки — (не видал я сам, а говорили другие, будто бы тут он перекрестился)“ (IX, кн. 2, 495—496).

„История“: „Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить, и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; но ящичке казаки, предводители мятежа, были неумолимы... Магометанин Бикбай, взошел на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю. На другой день Пугачев выступил, и пошел в Татищеву“ (IX, кн. 1, 18—19). Некоторые дополнительные сведения, вошедшие в этот текст „Истории“ (о казненных, кроме Харлова, офицерах), Пушкин взял из официальных материалов; но основные моменты воспроизводит записанный им устный рассказ современника-очевидца, не известного нам по имени. Сопоставляя официальный, архивный или книжный материал, касающийся взятия Пугачевым Нижне-Озерной,² с записью устных рассказов и с изображением этого события в „Истории Пугачева“, мы совершенно ясно видим, что Пушкин в „Истории“ следует всё время и ближе всего рассказу очевидца, а не официальным, неточным и скудным сведениям, которыми пользуется лишь изредка для дополнений там, где устных свидетельств недостаточно. Тем более отбрасывал Пушкин материал иностранных источников, в которых факты, почерпнутые из официальных сообщений и агентурных сведений дипломатов, перемежались с фантастическими выдумками, сообщавшими всему воспитанию характер авантюрного романа, а Пугачева делавшими условным

¹ Бикбай Усманов, казачий капрал, очевидно, был осужден пугачевцами за шпионство среди них в пользу правительственных войск.

² Осада Оренбурга (Летопись Рычкова), разделы 17 и 23 (Акад. изд., т. IX, кн. 1, стр. 214 и 217); Журнал Рейнсдорпа, §§ 9 и 10 (там же, кн. 2, стр. 514); Прибавление из дневных записок 1773 года... священника Ивана Осипова, разделы 4 и 5 (там же, стр. 553); Известие о самозванце Пугачеве (там же, стр. 584—586); последний документ интересен тем, что основан, по видимому, на живых рассказах очевидцев.

романическим „злодеем“ или „благородным разбойником“. Так, приведенный в примечании 10-м к главе второй рассказ о смерти Харлова из „краткой исторической записки“ неизвестного автора „Histoire de la révolte de Pougatschef“ квалифицируется Пушкиным как „болтовня“, хотя, замечает он, „... вообще вся записка замечательна и, вероятно, составлена дипломатическим агентом, находившимся в то время в Петербурге“ (IX, кн. 1, 101).

Повидимому, от того же неназванного рассказчика в Озерной записаны Пушкиным следующие краткие замечания: „Пугачев был так легок, что когда он шел по улице к магазинам,¹ то народ не успевал за ним бегом. — Он, проезжая по Озерной к жене в Яицк,² останавливался обыкновенно у казака Полежаева, коего любил за звучный голос, большой рост и проворство“ (IX, кн. 2, 496). В „Истории“ эти записи исползованы не были. Имя Полежаева мы видели в записной книжке, представляющей, быть может, как было указано, самый первоначальный слой записей поэта.

Последним эпизодом, записанным, очевидно, от того же старика в Озерной, является рассказ о Карницком, кратко отмеченный, как уже было сказано, чужой рукой в записной книжке Пушкина. Сопоставим и его с текстом „Истории Пугачева“.

Запись: „Под Илецким городком хотел он (Пугачев, — Н. И.) повесить Дмитрия Карницкого, пойманного с письмами от Симанова³ к Рейнсдорпу. На лестнице Карницкий, обратясь к нему, сказал: Государь, не вели казнить, вели слово молвить. — Говори, сказал Пугачев. — Государь, я человек подлый,⁴ что прикажут, то и делаю; я не знал, что написано в письме, которое нёс. Прикажи себе служить, и буду тебе верный раб. — Пустить его, сказал Пугачев, умеешь ли ты писать? — Умею, государь, но теперь рука дрожит. — Дать ему стакан вина, сказал Пугачев. — Пиши указ в Рассыпную. Карницкий остался при нем писарем и вскоре стал его любимцем. Уральские⁵ казаки из ревности в Татищевой посадили его в куль да бросили в воду. — Где Карницкий, спросил Пугачев. — Пошел к матери по Яику, отвечали они. Пугачев махнул рукою и ничего не сказал. — Такова была воля яицким казакам! — В Озерной“ (IX, кн. 2, 496).

¹ К провиантским складам в крепости Нижне-Озерной.

² Ко второй своей жене, Устинье Кузнецовой, о которой см. ниже.

³ Подполковник И. Д. Симонов (Симанов) — комендант Яицкой крепости (в Яицком городке — Уральске).

⁴ Т. е. подчиненный, принадлежащий к низшему классу.

⁵ Следует сказать: яицкие; они были переименованы в уральские лишь по приказу Екатерины II, после подавления восстания.

„История“: „Пугачев, в начале своего бунта, взял к себе в писаря сержанта Кармицкого,¹ простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой“ (IX, кн. 1, 27). Пушкин, как видно, и здесь точно воспроизводит устный рассказ современника, лишь немного сжимая его. Между тем в одном из документов, исходивших из правительственного лагеря и бывших в распоряжении Пушкина, — в „Записке полковника Пекарского о бунтах Яицких, что ныне Уральские, казаков и о самозванце Емельке донском казаке Пугачеве“, — потопление Кальминского (Кармицкого) мотивировано совершенно иначе, точнее — в противоположном смысле. Здесь сказано, что „сержант... Калминский, захваченный с открытым ордером, бывший у самозванца письмоводителем, начал в крепости Татищевой взятые с Биловым войска уговаривать поймать Пугачева и отвести в Оренбург, о чем на него сделан донос самозванцу и по приказанию его живой зашит в куль и брошен в воду“ (IX, кн. 2, 602). Пушкин отверг правительственную версию о верности Кармицкого военной присяге и принял устную версию — о его верности своему классу, классу „подлых“ людей. Поэт использовал притом этот устный рассказ для иллюстрации утверждения о том, что „Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной“ (IX, кн. 1, 27). Военные познания — вернее, дарования — Пугачева, неизмеримо большие, чем способности многих его противников, екатерининских генералов, Пушкин подчеркивает неоднократно и очень убедительно; то, что Пугачевым руководила не одна „дерзость необыкновенная“ (как пишет Пушкин, очевидно, по цензурным соображениям), а и большой политический ум и острое классовое чутье, доказывается множеством фактов в „Истории“ и всем образом предводителя восставшего „черного народа“ в „Капитанской дочке“. Пушкину важно было показать, что яицкие казаки, первые выдвинувшие Пугачева и думавшие использовать его лишь в своих узко местных, казачьих интересах, стесняли его деятельность и не давали ему возможности развернуть все его богатые дарования: они вызывали соперничество, классовые расхождения и разногласия в рядах восставших, ослаблявшие их и ставшие в конце концов причиной поражения восстания; те же яицкие казаки явились и предателями Пугачева. Эту мысль Пушкин доказывает свидетельствами, исходящими как из правительственного, так и из пугачевского лагеря: к первым принадлежит показание корнета Пустовалова, приведенное в „Летописи“ Рычкова (§ 92, в примечании;

¹ Кармицкий или Карницкий, как пишет Пушкин, или правильнее Кальминский Д. Н., как он пишется в официальных документах.

IX, кн. 1, 324); оно выписано Пушкиным при конспектировании Рычкова и отчеркнуто по полю конспекта; в „Истории“ соответствующее место из рассказа Пустовалова изложено так: „Яицкие казаки... оказывали ему (Пугачеву, — Н. И.) наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом; но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубашках и распевая бурлацкие песни“ (IX, кн. 1, 27). Это показание легло и в основу описания ужина в ставке Пугачева, на котором присутствует Гринев вечером после взятия Белогорской крепости, в восьмой главе „Капитанской дочки“: „...за столом... Пугачев и человек десять казачьих старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином... Все обходились между собою как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю...“. И далее: „Сосед мой затынул... заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором: «Не шуми, мати зеленая дубравушка...»“ (VIII, кн. 1, 330).

Свое утверждение об ограниченности власти Пугачева волею яицких казаков Пушкин иллюстрирует далее и рассказом о судьбе „молодой Харловой“, к которому обратимся ниже, и словами самого Пугачева, услышанными в Уральске от старика-казака Д. Д. Пьянова. Самая запись (если она была) до нас не дошла; в „Истории“ же, непосредственно после приведенного выше места, взятого из показаний Пустовалова, о поведении яицких казаков в отношении Пугачева говорится: „Пугачев скучал их опекою. *Улица моя тесна*, говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына“ (IX, кн. 1, 27). В примечании к этим словам (примечание 14-е к главе третьей) говорится: „Слышано мною от самого Дмитрия Денисовича Пьянова, донские здравствующего в Уральске“ (IX, кн. 1, 102). А в написанных позднее „Замечаниях о бунте“ Пушкин приводит слова того же Д. Д. Пьянова, показывая ими, что „уральские казаки (особливо старые люди) донские привязаны к памяти Пугачева“: „Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович“ (IX, кн. 1, 373). Эта реплика старого казака дословно совпадает с приведенным у И. И. Железнова отзывом другого старика-казака Бакирова по поводу солдатской песни о „Пугаче“: „А по нашему он был не Пугач, а настоящий Петр Федорович“.¹ Этим же именем задушенного в Ропше императора называла Пугачева, по словам Макшеева, и бердская старуха Бунтова.

Слова Пугачева, сказанные им отцу собеседника Пушкина, Денису Пьянову („Улица моя тесна“), введены Пушкиным в разговор Пугачева

¹ См. выше, стр. 274. Не является ли, однако, эта фраза реминисценцией Железнова из „Замечаний“ Пушкина, уже опубликованных, когда он писал свою клягу?

с Гриневым во время их поездки из Бёрд в Белогорскую крепость („Капитанская дочка“, гл. XI):

„Доселе оружие мое было счастливо (говорит здесь Пугачев, — Н. И.). Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.¹

„— А ты полагаешь идти на Москву?

„Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса. «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо остро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» (VIII, кн. 1, 352).

И вслед затем он „с каким-то диким вдохновением“ рассказывает Гриневу „калмыцкую сказку“ об орле и вбóрне — этот великолепный образец народной поэзии и вместе выражение глубоких народных мыслей и настроений, против которого кажется такой жалкой умеренно-добродетельная мораль честного, но недалекого офицера Гринева. Так вплетаются устные рассказы современников восстания и мотивы фольклора, — весь тот материал, который воспринял Пушкин непосредственно из народной среды, — в исторический его труд и в роман, посвященные крестьянской войне.

Возвратимся к записям, обработанным Пушкиным в Болдине, продолжая сопоставлять их с „Историей Пугачева“.

Вслед за рассказом о судьбе Кармыцкого идут записи бёрдских бесед с Бунтовой. Они относятся к разным моментам восстания, осады Оренбурга, пребывания Пугачева в Бёрдах, а потому использованы в „Истории“ кусками в разных местах. Три последних заметки сделаны Пушкиным, вероятно, уже не со слов Бунтовой, а от каких-то других рассказчиков. Проследим записи в порядке рукописи.

Запись: „В Берде Пугачев был любим; его казаки никого не обижали. Когда прибежал он из Татищевой,² то велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, дабы драки не учинилось. Вино хлынуло по улице рекою. Оренбурцы после него ограбили жителей. — *Старуха в Берде*“ (IX, кн. 2, 496).

¹ Ср. угрозы „прощенных“ яицких казаков-мятежников в 1772 году, записанные Пушкиным от Папкова в Сорочинской: „То ли еще будет? так ли мы тряхнем Москву?“ (IX, кн. 2, 495). Вообще из бесед с населением в местах, где развевалось восстание, Пушкин мог убедиться, как сильно обаяние его погибшего руководителя и как велика уверенность в том, что он подлинный император Петр III. Об этом говорит, например, К. И. Савостьянов, рассказывая о своей встрече с Пушкиным, очевидно, в конце сентября 1833 года, „на одной станции, по пути от Арзамаса до Лукоянова, в селе Шатках“. Пушкин „с большим интересом рассказывал свежие впечатления о путешествии своем по Оренбургской губернии, только что возвратившись оттуда, где он собирал исторические памятники, устные рассказы многих свидетелей того времени стариков и старух о Пугачеве. Доверие, произведенное к себе этим историческим злодеем во многих невеждах, говорил Пушкин, до такой степени было сильно, что некоторые самовидцы говорили ему лично с полным убеждением, что Пугачев был не бродяга, а законный царь Петр III, и что он только напрасно потерпел наказание от злобы и зависти людей“ (Пушкин и его современники, вып. XXXVII, 1928, стр. 149).

² После поражения, нанесенного ему войсками князя Голицына 22 марта 1774 года.

В „Истории“ использован лишь эпизод с бочками вина. В пятой главе, после описания поражения пугачевцев под Татищевой, говорится: „Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице“ (IX, кн. 1, 48). Об ограблении жителей Бёрд освобожденными „оренбурдцами“, т. е. гарнизоном и обывателями города, Пушкин в „Истории“ ничего не говорит, ограничиваясь лишь указанием на найденные в Бёрдах „жизненные запасы“, пушки и деньги, т. е. войсковое, а не частное имущество. Сделано это, вероятно, из цензурных соображений, хотя, с другой стороны, Пушкин в „Летописи“ Рычкова (§ 94) мог найти подтверждение, правда, в виде слуха, тому, что говорила Бунтова: „Между тем, — сообщает Рычков, — носился в городе слух, что в Берде городскими людьми учинены были великие грабительства и хищения, и якобы многие пожитки, в руках злодеев находившиеся, разными людьми вывезены в город“ (IX, кн. 1, 327).¹ Как бы то ни было, Пушкин не счел нужным или возможным говорить об этом эпизоде в „Истории“. Не включил он в нее и слов старой казачки о том, что „в Берде Пугачев был любим“ и „его казаки никого не обижали“; он использовал и развернул их не в тексте „Истории“, а лишь в „Замечаниях“ к ней, представленных Николаю I, там же, где приводятся слова Д. Пьянова о Пугачеве: „Уральские казаки (особливо старые люди) донные привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-тилетняя казачка,² на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал“ (IX, кн. 1, 373).

Запись: „Пугачев на Дону таскался в длинной рубахе (турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды у казачки — и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал он одну дончиху, и дал ей горсть золота. Она не узнала его“ (IX, кн. 2, 496).

В „Истории“ рассказ использован лишь частично, в самой интересной его части, носящей чисто фольклорный характер, — о вырытых Пугачевым четырех могилах. В примечании 1-м к главе второй, к словам о „неизвестном бродяге“, который в 1771—1772 годах „штался“ по казачьим дворам, „нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому“, Пушкин писал:

„Пугачев на хуторе Шелудякова косил сено. В Уральске жива еще старая казачка, носившая черевички его работы. Однажды, нанявшись покопать гряды в огороде, вырыл он четыре могилы. Сие обстоятельство истолковано было после, как предзнаменование его участи“ (IX, кн. 1, 98).

Происшествие, таким образом, отнесено Пушкиным к пребыванию Пугачева на Яике, тогда как устный рассказ относит его к Дону, где

¹ См. также: изд. „Academia“, т. IV, стр. 653.

² Очевидно, та же Бунтова в Бёрдах.

Пугачев бродяжил, скрываясь от преследований, лишь очень недолго зимой 1770—1771 года; разумеется, отнесение предания к Яику гораздо вероятнее.

Запись: „По наговору яицких казаков, велел он (Пугачев, — *Н. И.*) расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее. — Перед смертью они сползлись и обнялись — так и умерли, и долго лежали в кустах“ (IX, кн. 2, 496).

„История“: „Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца... Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении“ (IX, кн. 1, 27, 28). Обстоятельства смерти Харловой были широко известны, и Пушкин, помимо рассказа Бунтовой, мог знать их из других источников, в особенности из „Летописи“ Рычкова, где в разделах 23 и 39 даны сведения о пребывании Харловой у Пугачева, а в примечании к разделу 23 — сведения о ее смерти, причем сказано, что „тело ее видели в кустарнике брошенное в таком положении, что малолетний ее брат лежал у нее на руке“.¹ Пушкин, однако, здесь, как и везде, предпочел устную версию Бунтовой, сохраняя ее формулировку („сползлись друг с другом“). В письме Е. З. Ворониной, приведенном выше, рассказ Бунтовой о смерти Харловой, очевидно, более всего обративший внимание Ворониной своим трагизмом, дан с подробностями, которых нет у Пушкина, но всё существенное в обеих версиях совпадает.

Запись: „Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги... — К Пугачеву привозили ребят. — Он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву. — У Пугачева рука лежала на пелене² — подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его руку“ (IX, кн. 2, 496, 497).

„История“: „Когда ездил он (Пугачев, — *Н. И.*) по базару или по Бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в креслах перед своей избою. По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю, и перекрестясь, целовали его руку“ (IX, кн. 1, 26—27). Правда, почти те же данные Пушкин мог почерпнуть из других источников, в особенности из показаний писаря

¹ „Летопись“ Рычкова — Акад. изд., т. IX, кн. 1, 217—218, 234; конспект Пушкина из „Летописи“ Рычкова — т. IX, кн. 2, стр. 761 и 763; ср. там же, стр. 586, в „Известии о самозванце Пугачеве“.

² Так в автографе. В печатных текстах (Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, стр. 435; Акад. изд.) ошибочно — „на колене“.

Полуворотова, приведенных в разделе 39 „Летописи“ Рычкова и вошедших в конспект, составленный поэтом (IX, кн. 1, 234—235; кн. 2, 763).¹ Но, как видно, ближе всего, почти дословно, Пушкиным включен в „Историю“ именно рассказ Бунтовой. И тот же рассказ, с несколько большими подробностями, приведен, видимо, очень точно в письме Ворониной, из которого мы можем судить о том, что и как — в живых словах — говорила Бунтова своему собеседнику-историку.

Запись: „Когда под Татищевой разбили Пугачева, то яицких при- скакало в Озерную израненных — кто без руки, кто с разрубленной головою, — человек 12, кинулись в избу Бунтихи.² — Давай, старуха, рубашек, полотенец, тряпья — и стали драть, да перевязывать друг у друга раны. — Старики выгнали их дубьем. А гусары голицынские и Корфа (?)³ так и ржут по улицам, да мясничат их“ (IX, кн. 2, 496—497).

„История“: „Илецкий городок и крепости Озерная и Рассыпная... были уже оставлены мятежниками. Начальники их... бежали в Яицкий городок. Весть о поражении самозванца под Татищевой в тот же день до них достигла. Беглецы, преследуемые гусарами Хорвата, проскакали через крепости, крича: спасайтесь, детушки! всё пропало! — Они наскоро перевязывали свои раны и спешили к Яицкому городку“ (IX, кн. 1, 50—51). Таким образом, Пушкин в „Истории Пугачева“ близко воспроизвел сущность рассказа Бунтовой, отбросив мелкие частности (об ее матери — „Бунтихе“) и, что характерно, не вводя подчеркнутые им в записи выражения („так и ржут по улицам, да мясничат их“), как, очевидно, нецензурные. Кое-что им и прибавлено, — и, нужно думать, из тех же устных рассказов, не отраженных целиком в записях (крик бегущих казаков: „спасайтесь, детушки! всё пропало!“ — которого нет в других материалах к „Истории“).

Запись: „Когда разлился Яик, тела⁴ поплыли вниз. Казачка Разина, каждый день прибревши к берегу, пригребала палкою⁵ к себе мимо

¹ См. также: изд. „Academia“, т. IV, стр. 589.

² Очевидно, речь идет о матери собеседницы Пушкина („старуха“), жившей в Озерной.

³ Так в автографе, с вопросительным знаком; в публикациях В. Л. Комаровича (Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, стр. 22; Акад. изд.) „Хорвата“, что соответствует исторической точности: в бою под Татищевой войска бригадира Корфа, бывшие в Оренбурге, не участвовали; разбитых пугачевцев преследовали кавалеристы из правительственных войск князя Голицына, бывшие под начальством полковника Г. И. Хорвата.

⁴ Тела казаков и других пугачевцев, погибших в бою под Татищевой 22 марта 1774 года.

⁵ В подлиннике неясно: может быть, не „палкою“, а „пешкою“.

плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая: — Ты ли, Степушка, ты ли мое детище? Не твои ли черны кудри свежа вода моет? — Но видя, что не он, тихо отталкивала тело и плакала“ (IX, кн. 2, 497).

„История“: „Вскоре настала весенняя оттепель; реки вскрылись, и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей. Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать между ними своих мужьев и сыновей. В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: Не ты ли, мое детище? не ты ли, мой Степушка? не твои ли черные кудри свежа вода моет? и видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп“ (IX, кн. 1, 51).

Прекрасный и трогательный, чисто эпический образ горюющей о сыне матери, с удивительной глубиной и силой выражающий и народное горе о поражении войск Пугачева, и — косвенно — собственное отношение Пушкина к героической и неравной борьбе восставших, которой он не мог не восторгаться, не только целиком сохранен Пушкиным и перенесен в „Историю“, но краткая запись художественно им обработана, и ей сообщена полнота и законченность. Опущено было в рукописи „Истории“ лишь одно слово — фамилия старой казачки — *Разина*. Эта многозначительная фамилия была сначала приписана Пушкиным сбоку, на поле тетради, а затем перенесена в примечание к словам „старая казачка“ (17-е к пятой главе), где дана с выразительной лаконичностью и без всяких комментариев: „*Разина*“. Разумеется, эта фамилия, да еще рядом с именем „Степушка“, не случайно явилась в рассказе Бунтовой: крестьянская война XVII века под предводительством Степана Разина, разразившаяся ровно за сто лет до Пугачева, была хорошо памятна уральским казакам, и народная мысль, объединяя два великих движения, делала Степана Разина, обратив его в молодого казака Степушку, участником восстания Пугачева. Подозрительной цензуре царя такое сближение имен показалось — и недаром — опасным. Николай I, просматривая рукопись „Истории Пугачева“, отчеркнул всё это место от слов: „В Озерной“ до конца абзаца, написав сбоку на поле: „Лучше выпустить, ибо связи нет с делом“. Пушкин, обойдя не вполне категорически выраженное желание царя, перенес рассказ о старой казачке в примечание 17 к главе, выпустив, однако, фамилию „*Разина*“, что „обезвреживало“ текст. Так был напечатан этот эпизод в 1834 году, так печатался он во всех изданиях „Истории Пугачева“ до Октябрьской революции — и лишь советские редакторы восстановили подлинный пушкинский текст (IX, кн. 1, стр. 471 и 472).¹

¹ См. также статью Т. Зенгер „Николай I — редактор Пушкина“ („Литературное наследство“, кн. 16—18, 1934, стр. 528, 531—532, со снимком с рукописи). — Значение этого рассказа, сближающего два крестьянских восстания, не ослабляется сделанным Пушкиным в другом месте „Истории Пугачева“ (может быть, из цензурных соображений) замечанием о том, что „нынешние Уральские казаки не терпят имени его (*Разина*, — *Н. И.*), и слова *Разина порода* почитаются у них за жесточайшую брань“ (IX, кн. 1, 89).

Запись: „Пугачев в Яицке сватался за¹, но она за него не пошла. — Устинью Кузнецову взял он насильно, отец и мать не хотели ее выдать: она-де простая казачка, не королевна, как ей быть за государем. (В Берде от старухи)“ (IX, кн. 2, 497).

„История“: „Пугачев в Яицком городке увидел молодую казачку, Устинью Кузнецову, и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «помилуй, государь! Дочь наша не княжна, не королевна; как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка государыня² еще здравствует?»“ (IX, кн. 1, 45). Пушкин, кроме устного рассказа Бунтовой, имел сведения о женитьбе Пугачева еще из других источников: довольно подробный рассказ о ней содержится в „Летописи“ Рычкова (§ 90), выраженный с обычным для этого мемуариста-историка злобным и презрительным отношением к Пугачеву (IX, кн. 1, 319);³ еще детальнее это событие изложено в анонимной статье „Оборона крепости Яика от партии мятежников (описанная самовидцем)“, напечатанной еще в „Отечественных записках“ П. П. Свиньина в 1824 году (IX, кн. 2, 540). Пушкин широко ею пользовался при описании осады Яицкой крепости в пятой главе „Истории Пугачева“; об этом он сам говорит в 18-м примечании к этой главе, а также в своем разборе статьи Броневского (IX, кн. 1, 112 и 387).⁴ В примечании он называет „Оборону Яицкой крепости“ „весьма замечательной статьей“, которая, как „воспоминания старика“, „неизвестного очевидца“, „носит драгоценную печать истины, неукрашенной и простодушной“ (IX, кн. 1, 112). И тем не менее как Рычкову, так и этой статье Пушкин предпочитает рассказ Бунтовой, дополняя свою запись, вероятно по памяти, подробностями, придающими всему эпизоду художественную законченность.⁵

Три следующие записи, которыми заканчивается рукопись Пушкина, сделаны, вероятно, со слов уже не Бунтовой („Старухи в Берде“), но другого или других, неизвестных рассказчиков. Эти тексты таковы:

Запись: „Федулев, недавно умерший, вез однажды Пугачева пьяного — и ночью въехал было в Оренбург“ (IX, кн. 2, 497).

„История“: К рассказу о том, как Пугачев под Оренбургом, „хвастая молодечеством“, однажды, пьяный, „едва не попался в плен“,

¹ Далее оставлен пропуск для имени, но оно не вписано.

² Т. е. Екатерина II.

³ См. также: изд. „Academia“, т. IV, стр. 647.

⁴ См. также: изд. „Academia“, т. IV, стр. 521—522 и 701.

⁵ „Положившись на воспоминания Бунтовой, — говорит Г. П. Блок (IX, кн. 2, 868), — Пушкин ошибочно ввел жену П. Кузнецова в свой рассказ о сватовстве Устиньи: к этому времени Кузнецовой-матери уж не было в живых“. Важно отметить здесь безусловное доверие Пушкина к рассказу современницы.

сделано примечание 13-е к главе третьей, где читаем: „В другой раз Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, во время бури сбился с дороги и въехал в оренбургские ворота. Часовые его окликали. Казак Федулев, правивший лошадьми, молча поворотил и успел ускакать. Федулев, недавно умерший, был один из казаков, предавших самозванца в руки правительства“ (IX, кн. 1, 27, 102). Устный рассказ, в записи, дополненной памятью, служит и здесь основой изложения Пушкина.

Запись: „Когда казаки решились выдать Пугачева, то он подозвал Творогова, велел ему связать себе руки, но не назад, а вперед. — Разве я разбойник, говорил Пугачев“ (IX, кн. 2, 497).

„История“: В подробный рассказ о предательстве и аресте Пугачева его товарищами-казаками Пушкин включил и эту чрезвычайно яркую деталь, как всегда, дополнив ее и обработав: „Я давно видел вашу измену, сказал Пугачев, и, подозвав своего любимца, илецкого казака Творогова, протянул ему свои руки и сказал: *вяжи!* Творогов хотел ему скрутить локти назад. Пугачев не дался. *Разве я разбойник?* говорил он гневно“ (IX, кн. 1, 77). Арест Пугачева его бывшими товарищами произошел далеко в степи, верстах в двухстах от Яицкого городка. Но рассказ о нем Пушкин мог слышать в Уральске (бывшем Яицком городке), хотя бы от того же Д. Д. Пянова.¹

Запись: „В Татищевой Пугачев за пьянство повесил Яицкого казака“ (IX, кн. 2, 497). Эта краткая заметка, отражающая рассказ „Матрены в Татищевой“ или какого-либо другого лица, не была использована Пушкиным в „Истории Пугачева“.

Этой записью оканчивается рукопись, в которой Пушкин обработал сведения, полученные в оренбургских местах.

4

Рассмотренные записи, конечно, не исчерпывают всего народного, устного материала, почерпнутого Пушкиным от современников — очевидцев восстания и их потомков: оба труда Пушкина, посвященные крестьянской войне XVIII века, — и „История Пугачева“, и „Капитанская дочка“, — пропитаны элементами пугачевского казачьего и крестьянского фольклора, народных рассказов и устных мемуаров, в записях Пушкина не сохранившихся.² Так, из сообщений Даля и Блиновой мы

¹ В „прибавлении втором“ к „Летописи“ Рычкова содержатся довольно подробные сведения об аресте Пугачева, вошедшие и в конспект, составленный Пушкиным (IX, кн. 1, 353—354; кн. 2, 771; изд. „Academia“, т. IV, стр. 671—672), но таких эпических деталей в них, разумеется, нет.

² Известно, что „Капитанская дочка“ содержит до тридцати пословиц и поговорок, в большинстве бытующих в южном Приуралье и в Оренбургском крае. Многие народные песни, приведенные в тексте или в качестве эпиграфа к роману,

знаем, что Пушкину в Бёрдах показывали, „где стояла изба, обращенная в золотой дворец“ „«золотые» палаты Пугачева, то есть обитая медною латуною изба“ (Даль), что „дом, где жил Пугачев“, „Бунтова повела их (Пушкина и Далья, — Н. И.) показывать. Дом этот стоял на большой улице, на углу, на красной стороне. Он был на шесть окон“ (Блинова в записи Севастьянова). В заметках Пушкина указаний на „золотые палаты“ Пугачева нет, и в „Истории Пугачева“ он о них не упоминает, но в „Капитанской дочке“ (глава XI — „Мятежная слобода“) Гринев рассказывает о Бёрдской ставке Пугачева: „Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки... Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотом бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — всё было как в обыкновенной избе“ (VIII, кн. 1, 346—347). Личные наблюдения и рассказы Бунтовой лежат, как видно, в основе этого описания, так же как личные наблюдения при поездке в Бёрды дали материал для пейзажа: „Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы“, — рассказывает Гринев: так подъезжал к Бёрдам и Пушкин утром 19 сентября 1833 года. Вид меловых гор на берегу Урала, который Пушкин наблюдал по дороге из Оренбурга в Уральск, дал название Белогорской крепости в „Капитанской дочке“, исторически не известной, но соответствующей, по положению, Татищевой.

Безусловно к устному рассказу, источник которого нам не известен, восходит замечательное описание первой встречи плененного вождя восстания с главным и самым свирепым его усмирителем — Петром Паниным — в восьмой главе „Истории Пугачева“. На вопрос Панина — „Как смел ты, вор, назваться государем?“ — связанный Пугачев дает иронический и вместе многозначительный ответ: „Я не ворон..., я вороненок, а ворон-то еще летает“, — и этот ответ звучит такой грозной, пророческой силой, что екатерининский вельможа не находил иного способа ослабить его действие на стоящий кругом народ, как ударить по лицу своего пленника и вырвать у него клоч бороды! Мысль, высказанная в ответе Пугачева, — что подавленное с таким трудом восстание есть не конец, а только начало крестьянской борьбы, — была нестерпимо страшна, но и неотвратима для правителей дворянской монархии.

также известны в местах, где развивалось движение Пугачева. Легенда об орле и бóрое, рассказанная Гриневу Пугачевым, была записана в недавнее время в одном из южноуральских заводских поселений; не ясно, впрочем, ее происхождение — не из книги ли Пушкина возникла эта устная версия? См. интересную работу Е. М. Блиновой „Устное народное творчество в произведениях Пушкина о Пугачеве и фольклор южного Урала“ в издании: А. С. Пушкин и н. Капитанская дочка. История Пугачева. Челябинское обл. изд., Челябинск, 1937, стр. 312—320.

Итак, известная часть устного, народного материала, вложенного в произведение Пушкина, не содержится непосредственно в его записях. Поэтому в иных случаях, когда нет документа, трудно, даже невозможно установить происхождение того или иного эпизода в „Истории“ или в романе.

С другой стороны, иные заведомо известные Пушкину рассказы, шедшие не из народной, а из враждебной Пугачеву дворянской среды, были им отвергнуты и не были использованы. Таков „анекдот“, рассказанный Пушкину Далем во время поездки в Бёрды: „Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступался в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!»“¹

„Анекдот“, рассказанный Далем, не был использован Пушкиным в „Истории Пугачева“. Здесь, в третьей главе, описывая пребывание Пугачева в Бёрдах, поэт лишь кратко отметил, что „Пугачев, будучи раскольников, в церковь никогда не ходил“. Очевидно, и самый рассказ, подчеркивающий невежество и примитивность мышления Пугачева, и пренебрежительный тон Даля по отношению к „Пугачу“ не соответствовали представлениям Пушкина о вожде крестьянского восстания.

Кроме того, и в документальном материале, бывшем в руках у Пушкина, например, в той же „Летописи“ Рычкова, в записках об обороне Яицкой крепости и об Оренбургской осаде, есть немало живого,

¹ Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 417. — Тот же рассказ, в сокращенном виде, приведен в воспоминаниях Даля, записанных для Бартенева; см.: Рассказы о Пушкине, записанные... П. И. Бартевым. Под редакцией М. Цявловского, М., 1925, стр. 21. Независимо от Даля и задолго до публикации его воспоминаний, тот же рассказ о Пугачеве, очевидно, распространен в Оренбурге предание, был напечатан А. И. М-вым «Макшеевым» в „Русской старине“ (1870, т. II, октябрь, стр. 418): „В Оренбурге в конце 1849 года, — сообщает Макшеев, — я слышал от одного престарелого помещика Скрыбина... следующий рассказ: Пугачев при вступлении в Берды был встречен колокольным звоном. Священник вышел к нему в облачении с крестом. Пугачев с благоговением приложился к кресту и вошел в церковь. Царские двери в алтарь были растворены. Пугачев прямо вошел в алтарь, сел на престол, подбоченился и сказал: «Давно я не сидел на престоле!»“. Впервые, как кажется, этот эпизод приведен еще в показаниях офицера-пугачевца М. А. Швановича (Шванвича), данных после пленения его правительственными войсками, 17 мая 1774 года, и в которых Шванович явно старается ослабить свое участие в пугачевском движении и выказать отрицательное отношение к его вождю. Показания Швановича находятся в деле бывшего Государственного архива, разряд VI, № 506, лл. 342—349, хранящемся теперь в Государственном Центральном архиве древних актов в Москве. Они напечатаны в издании Централархива: Пугачевщина, т. III, 1931, № 103, стр. 207—215 (данный эпизод на стр. 214). Пушкину во время работы над „Историей Пугачева“ этот документ, повидимому, известен не был. Иной рассказ о таком же эпизоде, связанный со взятием Пугачевым города Алатыря 23 июля 1774 года, приведен в воспоминаниях академика А. Н. Крылова (Воспоминания и очерки, Воениздат, М., 1949, стр. 77), где эпизод получил другое и, повидимому, более верное осмысление.

мемуарного элемента, воспоминаний очевидцев, отмечающих не только факты, но и легенды и разговоры. Особенно нужно отметить такой источник, как „показания“ И. А. Крылова, очень близко напоминающие бёрдские и уральские записи поэта, и — для более позднего момента — рассказ И. И. Дмитриева, почти дословно вошедший в „Историю“. Ценными были для Пушкина и официальные записи словесных показаний очевидцев, побывавших у Пугачева в том или ином качестве, — показания Пустовалова и Полуворотова, вошедшие в „Летопись“ Рычкова, очень живое и важное показание крестьянина Алексея Кириллова от 6 октября 1773 года о вступлении Пугачева в Сакмарский городок, вошедшее, в литературно обработанных извлечениях, в конце второй и в третью главу „Истории“; оно послужило и для соответствующих эпизодов „Капитанской дочки“;¹ показания И. И. Панова и других лиц о взятии Пугачевым Ильинской крепости, использованные Пушкиным в четвертой главе „Истории Пугачева“ (IX, кн. 2, 695—700); они замечательны тем, что здесь, у Панова, поэт нашел сведения об одном из офицеров, невольно попавшем в число пугачевцев, капитане Башарине, послужившие для второго варианта плана романа и легшие в основу сцены взятия Пугачевым Белогорской крепости, повешения ее офицеров и помилования Гринева (в седьмой главе „Капитанской дочки“). Эти примеры можно было бы продолжить, но и приведенные данные показывают, какое важное место занимают в творческой работе Пушкина записи устных рассказов участников и очевидцев восстания.²

¹ Собственноручная пушкинская полукопия, полуизложение текста показания Кириллова (IX, кн. 2, 622—623).

² Некоторые рассказы современников, записанные Пушкиным, остались неизвестными в его трудах о Пугачеве. Таков замечательный рассказ (записанный неизвестно от кого, но, возможно, от И. И. Дмитриева) о пребывании пленного Пугачева в Москве, на Монетном дворе, куда заезжали „праздные москвичи“ „на него поглядеть“ и „подхватить какое-нибудь от него слово“. Перед этими москвичами — и, очевидно, издеваясь над ними, — Пугачев рассказывал легенду о посещении Петром I, во время персидского похода, могилы Степана Разина. Петр „велел разметать курган, дабы увидеть хоть кости славного бунтовщика! — Вот какова наша слава!“ „Сказка замечательна, особенно в устах Пугачева“, — прибавляет Пушкин. Замечательна она, конечно, сближением, которое проводит Пугачев между собой и Степаном Разным. Далее передается саркастическая реплика Пугачева одному безобразному лицом дворянину, который прежде бежал от него, а теперь, „видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами“: „Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не выдывал“, — заметил, посмотрев на него, Пугачев. Рассказ не был использован — потому ли, что было уже поздно, когда Пушкин его узнал, или по цензурным соображениям, или, вернее, потому, что для сжатой и скупой композиции „Истории Пугачева“ представлял собой излишнюю, хотя и интересную деталь. Рассказ, в числе других „Table-Talk“, был напечатан уже после смерти Пушкина в „Современнике“, 1837, т. VIII; см. Акад. изд., т. XII, стр. 161, где ошибочно напечатано „на Меновом дворе“ вместо „на Монетном дворе“, вследствие неразобранной поправки в автографе.

Какие же выводы можно сделать из рассмотренных нами устных материалов Пушкина в их сопоставлении с официальными архивными материалами, бывшими у него, и с использованием тех и других в его произведениях?

Во-первых, Пушкин чрезвычайно тщательно и полно использовал как свои записи, так и иной всевозможный материал устных рассказов, опуская из них лишь то, что казалось ему слишком частным и незначительным, или было неприемлемо для цензуры, или противоречило его взглядам и придавало событиям и лицам ложное освещение; во-вторых, устным рассказам он придавал первостепенное значение и вполне доверял, исправляя их другими, официальными или мемуарными материалами правительственного лагеря лишь в очень редких случаях, там, где считал, что рассказчик заведомо ошибается или знает обстоятельства меньше, чем другие источники; в-третьих, при наличии двух источников сведений об одном и том же предмете — устного рассказа и правительственного документа — Пушкин всегда отдает предпочтение первому, т. е. устному рассказу; в-четвертых, подбирая и вводя в текст „Истории“ устные рассказы, он не старается затушевать в них суровых, жестоких сторон восстания, справедливо считая, что народные рассказы, так сказать, говорят сами за себя и никогда не содержат по отношению к восстанию и его вождю той лживой, реакционной тенденциозности, какую проявляют, например, книга Левшина, „Летопись“ Рычкова и другие документы правительственного лагеря.¹

На этом-то материале, идущем из народных глубин, носящем в значительной степени фольклорный характер, строится Пушкиным картина движения, охватывающего широкие массы народа, глубоко закономерного по своему происхождению и отражающего самые характерные стороны народного сознания; строится и образ вождя восстания, человека из народа и кровно связанного с народом, крупного деятеля, чья яркая и героическая личность занимала в течение многих лет мысль и воображение поэта, — Емельяна Пугачева, ставшего последним героем творческой жизни Пушкина.



¹ См. сопоставление исторических трудов Пушкина с их официальными материалами и критику Пушкиным этих материалов в интересной статье А. Грушкина „Пушкин 30-х годов в борьбе с официальной историографией («История Пугачева»)“ (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, 1939, стр. 212—256).

В. В. ДАНИЛОВ

СТИХОТВОРЕНИЕ „ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ“, ПРИПИСЫВАЕМОЕ ПУШКИНУ

В седьмом, дополнительном томе „Сочинений“ Пушкина П. В. Анненков говорит: „Мы приняли смелость исключить из дополнительного тома нашего несколько... ученических упражнений Пушкина, еще ходящих по рукам и ему приписываемых, как например, стихотворения: «Гаральд и Гальвина», «Песнь черкеса», торжественное и пустословное: «Цель нашей жизни» и прочие, сколько потому, что они представляют один риторический набор фраз, без всякого проблеска поэзии, столько и потому, что принадлежность их Пушкину ничем не может быть доказана“.¹

Мнение Анненкова противоречиво. Называя поименованные стихотворения „ученическими упражнениями“ Пушкина, он в то же время утверждает, что „принадлежность их Пушкину ничем не может быть доказана“. Во всяком случае, это только мнение, не подтверждаемое доказательствами.

Тем не менее, Н. В. Гербель в берлинском издании „Стихотворений А. С. Пушкина, не вошедших в последнее собрание его сочинений“, писал: „... Анненковым положительно доказано, что стихотворения: «Цель нашей жизни», «Гаральд и Гальвина», «Не помнишь ли ты, ваше благородье» и «Песнь черкеса» («Седлайся вновь, конь верный мой!..») — также не принадлежат Пушкину...“.²

Но П. А. Вяземский на экземпляре второго Гербелевского издания против этого места написал: „Решительно Пушкина. Он мне их читал“.³

Впоследствии Гербель изменил свое мнение об авторстве Пушкина. В 1876 году в „Русском архиве“ он поместил среди других стихотворений, не входивших до того в издания сочинений Пушкина, также

¹ Сочинения Пушкина, седьмой, дополнительный том, изд. П. В. Анненков, СПб., 1857, стр. 9.

² Изд. 2-е, Берлин, 1870, стр. X.

³ „Старина и новизна“. Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей русского исторического просвещения, кн. 8, М., 1904, стр. 33.

стихотворение „Цель нашей жизни“, предпослав ему и балладе „Гараль и Гальвина“ следующее замечание: „... одни говорят, что стихотворения эти не принадлежат Пушкину, тогда как другие, весьма компетентные люди утверждают напротив, что они, несомненно, писаны им, основываясь на том, что они очень напоминают юношескую манеру нашего великого поэта... Придерживаясь последнего мнения, мы нашли нужным поместить их в числе стихотворений Пушкина, предоставляя критике сказать о том свое последнее слово“.¹

К стихотворению „Цель нашей жизни“ Гербель сделал еще особое примечание: „Есть свидетельство, что стихотворение это, в первый раз здесь появляющееся, написано Пушкиным в 1814 году, в Царском-сельском Лицее; оно заслуживает внимания, как один из первых стихотворческих опытов великого поэта“.²

Из названных выше стихотворений, принадлежность которых Пушкину, начиная с Анненкова, была взята под сомнение, стихотворение „Не помнишь ли ты, ваше благородье“, под заглавием „Рефутация г-на Беранжера“, вошло в издание Академии Наук СССР 1937—1949 годов на основании автографа, баллада „Гараль и Гальвина“ отнесена к Dubia, „Песнь черкеса“ и „Цель нашей жизни“ остались вне пушкинского наследия.

Остановлюсь на соображениях о возможности отнести стихотворение „Цель нашей жизни“ к лицейскому творчеству Пушкина.

В Рукописном отделе Института русской литературы это стихотворение с именем Пушкина встречается в пяти рукописных сборниках.

1. Сборник in folio, без переплета, представляющий копию, снятую приблизительно в 50—60-е годы с одной из несохранившихся тетрадей князя Н. А. Долгорукова, составленных в 30-е годы, с карандашными поправками и дополнениями П. А. Ефремова. Копия малограмотная, сделанная лицом, вероятно, служившим во флоте, потому что слово „Вах“ он всюду переделывает в „вахту“. Здесь имеется безграмотный, искаженный список „Цели нашей жизни“ (ф. 244, оп. 8, № 4, лл. 40 об.—41).

2. Разрозненные листы рукописного сборника стихотворений из материалов В. П. Гаевского, вошедших впоследствии в архив В. Е. Якушкина, содержащие исправный текст „Цели нашей жизни“ (ф. 244, оп. 8, № 12, лл. 11 об.—12 об.).

3. Сборник копий стихотворений Пушкина середины XIX века с большим числом псевдопушкинских стихотворений. Сборник написан двумя почерками; поправки и библиографические примечания сделаны красными чернилами третьей рукой. Стихи фривольные и однозвучные в политическом смысле (для первой половины XIX века) густо зачеркнуты (ф. 244, оп. 8, № 63, лл. 25 об.—27).

¹ Н. В. Гербель. Для будущего полного собрания сочинений А. С. Пушкина. „Русский архив“, 1876, № 10, стр. 206.

² Там же, стр. 208.

4. Сборник на синей бумаге, в коленкоровом переплете, под названием „Сочинения А. Пушкина, не вошедшие в Собрания его сочинений: Посмертное и П. Анненкова; с приложением некоторых Материалов для его Биографии. 1857. Москва“. На форзаце дарственная надпись: „П. А. Александрову“ (ф. 244, оп. 8, № 92, л. 79).

5. Сборник под названием „А. С. Пушкин. Стихотворения (нецензурные)“, в переплете, писанный писарским почерком в 90-е годы прошлого века, с приписками, сделанными другой рукой. Сборник из собрания П. Я. Дашкова (ф. 244, оп. 8, № 34, лл. 87—88).

Под всеми пятью списками стихотворения стоит дата: 1814 г. Списки дают очень незначительные разночтения и мало отличны от текста, опубликованного Гербелем. Ниже печатается текст стихотворения по списку В. П. Гаевского.

Цель нашей жизни

Любимец божества, природы старший сын,
 Вещай, о человек! почто¹ ты в свет родился?
 На то ль, чтоб царь земли и света властелин
 К постыдной цели век² стремился?
 На то ль, чтоб, огонь и меч прияв в строптиву длань,
 Он землю обагрят кровавою рекою,
 С весельем адским нес народам смерть и брань
 И царства попирает ногою?
 На то ль, чтоб в роскоши без пользы дни влачил
 И, в неге зарубев, сучая в пресыщеньи,
 Собою землю он напрасно тяготил,
 В холодном мучась упоеньи?
 На то ль во глубине сибирских снежных гор
 И золото, и серебро рождаются покрыты,
 Чтоб ими услаждал таинственный свой взор
 Скупец, богатствами не сытый?
 Восстань, о сын небес! и, правдой озарен,
 Порочное свое восчувствуй униженье;
 Дерзай на небесах, восторгом окрылен,
 Свое прочесть предназначенье!
 Возри: для мирных стад разостлан в поле дерн,
 Орлам развернуты небесные равнины,
 Воздвиглись скалы для быстроногих серн,
 Для рыб изрылись вод пучины.
 Но ты—природа вся тебе приносит дань:
 И суша, и моря, и огонь тебе послушны,
 Ты отражаешь гром, ты движешь океан,
 Летаяшь в пропасти воздушны.
 Возри: то солнца луч румянит небеса,
 То в легких облаках плывет луна золотая,
 Рождаются в полях весенняя краса,
 Алеет роза молодая;

¹ В сборнике П. А. Александрова: на что.

² В тексте Гербея: всех.

Таится под травой прохлада ручейка,
 И в кистях виноград на холмах золотится,
 И тихо зыблемый дыханьем ветерка
 По нивам желтый клас струится.
 Всё для тебя! Срывай блаженством жизни цвет,
 Дарами вышнего спокойно наслаждаясь;
 Сей мир не есть юдоль злосчастия и бед,
 Счастливым будь, не заблуждаясь.¹
 Всех благ источника вовек не забывай,
 Чти правду и закон, содействуй благу света, —
 Тогда без трепета оставишь тленья край
 И в мгле померкнешь для рассвета!

Кроме устойчивой в рукописных сборниках даты, относящей стихотворение ко времени пребывания Пушкина в Лицее, и свидетельства об этом Гербеля, ряд других фактов связывает «Цель нашей жизни» с лицейской учебной жизнью.

Профессор «российского и латинского классов» Н. Ф. Кошанский в отчете о занятиях воспитанников Лицея за вторую половину 1813 года указывал, что они «делали опыты в сочинении небольших рассуждений».² Сохранилась тетрадь таких сочинений, написанных товарищем Пушкина по Лицею М. А. Корфом, на темы: «Мысли, по случаю взятия Парижа», сочинение, датированное 4 июля 1814 года; «О причинах, содействующих патриотизму», с датой: 17 ноября 1814 года; «Исполнение должности доставляет истинное удовольствие» и «О цели жизни человеческой»; оба последние сочинения — без дат, но, очевидно, того же года.

В рассуждении Корфа «О цели жизни человеческой» слышится идейная параллель ко второй и третьей строкам стихотворения «Цель нашей жизни»: «Тиран, посреди увеселений и всех для него изобретенных забав, не может чувствовать того спокойствия, которым наслаждается добродетельный; он наполняет огромные палаты свои ожидающими одного мановения грозной руки его, чтоб поразить тысящу несчастных, коих имели потребно к удовлетворению его сластолюбия. Счастлив ли он? Конечно, нет, ибо, взирая на людей, потерявших свою волюность, на окружающих его сынов, матерей, исторгнутых из рук рыдающих семейств, единственно для того, чтоб служить пищею его жестокости, он чувствует, что причину всеобщего несчастья один он... Гордый властелин вселенной, богач, окруженный своими сокровищами, сластолюбец, утопающий в неге, не счастливее его, ибо они всякий день видят жертвы своего властолюбия и ненасытимости в удовольствиях». Оканчивается сочинение заключением: «Исполнение правил нравствен-

¹ У Гербеля повелительное наклонение: «наслаждайся» — «не заблуждайся».

² Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР (в дальнейшем сокращенно: ИРЛИ), ф. 244, оп. 25, № 36, л. 1.

ности и достижение высочайшей добродетели составляет главнейшую цель человеческой природы“¹

Сочинение „О цели жизни человеческой“ было вынесено на публичный экзамен. Об этом в письме от 25 февраля 1815 года А. Д. Илличевский сообщал своему бывшему товарищу по петербургской гимназии П. Н. Фуссу: „Были читаны у нас и сочинения. Хотелось мне прочесть стихотворение «Весенний вечер», но приказано — прозаическое рассуждение о цели человеческой жизни, которого теперь нет у меня“²

Я. К. Грот вспоминал о Кошанском: „По временам он поощрял нас пробовать свои силы в стихотворстве и потом читал наши опыты вслух перед всем классом“³ Еще более это должно было иметь место в годы первого лицейского выпуска, от которого сохранились морализирующие стихотворения воспитанников на темы, данные Кошанским, и среди них В. К. Кюхельбекера „Бессмертие есть цель жизни человеческой“. Подобно автору стихотворения „Цель нашей жизни“, Кюхельбекер бичует тиранию с очевидным намеком на Наполеона, идейно-героического культа которого тогда еще не было среди дворянской молодежи:

Какое море зла волнуется повсюду!
Венцов и скипетров на груди
Воздвигнул изверг свой престол, —
И кровью наводнил и град, и лес, и дол,
И области покрыл отчаянья туманом.⁴

Таким образом, во время прохождения Пушкиным лицейского курса вопрос о цели жизни как тема для сочинений в прозе и стихах ставился Кошанским на занятиях русским языком, причем вопросу придавалось широко гуманистическое и общественно-политическое направление в духе прогрессивных идей XVIII и начала XIX века. Социальная идея, выраженная в стихотворении „Цель нашей жизни“ —

Чти правду и закон, содействуй благу света, —

была внушена лицейским преподаванием. Ту же идею и те же слова находим у А. Д. Илличевского в идилии „Ирин“ 1814 года, где есть стих:

Трудом и ревностью содействуй благу света!⁵

¹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 207, лл. 26—27 об., 30—30 об.

² Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, стр. 84.

³ Там же, стр. 57—58. Другое свидетельство Я. К. Грота о том же читаем в книге К. Я. Грота „Пушкинский лицей“ (СПб., 1911, стр. 417): „Способ преподавания Кошанского и собственное притом одушевление не могли не возбуждать в молодых людях любви к поэзии и литературе вообще... Не знаю только, хорошо ли, что он задавал нам сочинения не только в прозе, но и в стихах... Уроками Кошанского мы пользовались недолго, и я горько сожалел о том...“

⁴ К. Я. Грот. Пушкинский лицей, стр. 137.

⁵ Автограф в ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 281. Идилия была напечатана в „Вестнике Европы“ (1814, № 21, ноябрь); перепечатана К. Я. Гротом в книге „Пушкинский лицей“ (СПб., 1911, стр. 185—187).

Не только идея содействия благу света, но и самые слова шли из лекций адъюнкт-профессора А. П. Кунцидына. В его лекциях по энциклопедии права, основанных на теории естественного права и общественного договора, в главе „Право общественное“ читаем в записи А. М. Горчакова:

„Целию общества называется общее благо. Успехи в достижении общественного блага называются благополучием общества. Каждый член имеет право требовать от каждого из сочленов, чтоб он, соответственно принятой обязанности, содействовал к общему благу“.¹

Следовательно, стихотворение „Цель нашей жизни“ было создано в результате уроков Кошанского, у которого Пушкин учился с 23 октября 1811 года по апрель 1814 года,² и связано с кругом социальных идей Кунцидына, который уже в 1812 году, т. е. на втором году обучения первого приема лицеистов, „возжигал“ перед ними ту „чистую лампаду“, за которую впоследствии Пушкин платил учителю „данью сердца“: Кунцидын читал им курс нравственной философии.

Стихотворение „Цель нашей жизни“ связано также с латинским классом профессора Кошанского. Лицеисты учились латинскому языку по его учебнику: „Латинская грамматика с примерами для чтения. Изданная (по руководству Брёдера) Николаем Кошанским“ (Москва, 1811).

В противоположность последующей методике обучения латинскому и другим иностранным языкам, предусматривающей упражнения в чтении и переводах с первых шагов изучения языка, в учебнике Брёдера—Кошанского материал для чтения и перевода дается только после прохождения всей грамматики, причем, опять-таки несогласно с методикой латинского языка, принятой впоследствии, текст для связного чтения содержит не античный материал, а „Натуральную историю для детей“, в которой находятся такие фразы: „Terra cum ceteris elementis: igne, aëre et aqua, hominum causa facta est... Homines possident universam terram“ (стр. 142); „<Ratio> terram universam et, quae cunque in ea sunt, omnia in usum suum convertit... Ea <ratio> in ipsum coelum penetrat“ (стр. 349).³

В „Цели нашей жизни“ мы читаем как будто перевод стихами на русский язык этих латинских фраз:

... природа вся тебе приносит дань:
И суша, и моря, и огонь тебе послушны,
.....
Летаешь в пропасти воздушны.

¹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 372, л. 29.

² 2 мая 1814 года Кошанский на уроки не явился и болел до 25 сентября 1816 года.

³ Земля с прочими элементами: огнем, воздухом и водою создана для людей... Люди владеют всю землю... <Разум> обращает всю землю и всё, что на ней находится, в свою пользу... Он <разум> проникает в самое небо.

Анненков называет стихотворение „Цель нашей жизни“ „торжественным“. Иным оно и не могло быть в то время, когда в литературе еще бытовала торжественная классическая лирика, тем более, что стихотворение вышло из „российского класса“ Кошанского, собственная проза и стихи которого обладают сугубо торжественным характером. Языку своих учеников он также старался привить величавость. Так, например, в стихотворении Иличевского на летописный сюжет „Освобождение Белграда“ Кошанский исправил слова „колодцы выкопав“ на „изрывши кладези“, „напрасно“ на „тщетно“, „говорить“ на „вещать“.¹

Учащиеся любят находить комические стороны в преподавателях и посмеяться над ними. Поэтому Дельвиг в Лицее написал на торжественную элегию Кошанского „На смерть графини Ожаровской“, напечатанную в „Вестнике Европы“ (в 1814 году), пародию под названием „На смерть кучера Агафона“; но это не говорит о том, что Кошанский не имел авторитета среди своих слушателей. В 1814 году он был человеком молодым, 29 лет, обладавшим широкой, разносторонней эрудицией и мастерством художественного чтения, преподавателем с творческим началом, обогатившим школу ценными для своего времени учебниками. Несмотря на неустройство и дезорганизованность учебного дела в Лицее, Кошанский имел влияние на воспитанников. Н. К. Писанов признает это влияние положительным: „...его стремление, — говорит он, — возбудить в учениках литературную самодеятельность, отзывчивость его на проблески дарования в ученических опытах, его содержательные лекции и непринужденные беседы — имели свое хорошее влияние... этого влияния не остался чужд и Пушкин“.²

Ссылаются на стихотворение „Моему Аристарху“ как на свидетельство резкого расхождения Пушкина с Кошанским в литературных взглядах и неподчинения ученика авторитету учителя. Но ведь Пушкин защищает в этом стихотворении „плоды бродящих резвых дум“ и поэзию „веселых Граций“ против внушаемой преподавателем „поэзии трудолюбивой“. Кошанский, конечно, стремился привить юному поэту мысль, что поэзия есть труд, хотел придать его творчеству серьезное направление, и так поступил бы на месте Кошанского каждый педагог. А для поэта-юноши, полного веселым опьянением жизнью, преподаватель казался „трезвым Аристархом“, „цензором угрюмым“ и „скучным проповедником“.

Барон М. А. Корф дважды говорит о том, что Кошанский „всячески старался отвлечь и удержать Пушкина от писания стихов“, „жестoko преследовал“ его, как и других, „за всякую попытку в этом роде“, причем два раза приводит один и тот же мотив: зависть к таланту

¹ В. П. Гасевский. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. „Современник“, 1863, т. ХСVII, № 7, отд. I, стр. 133.

² Библиотека великих писателей. Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. I, СПб., 1907, стр. 258.

Пушкина.¹ Обвинение это надо решительно отвергнуть. Оно неправдоподобно потому, что такое выражение, как „жестоко преследовал“, совершенно несогласно, во-первых, с режимом, существовавшим в Лицее, и, во-вторых, с характером Кошанского, о котором Я. К. Грот сообщает, что „вся его внешность, необыкновенно мягкая и изящная в формах, вполне соответствовала его внутренним достоинствам...“.²

Обвинение Корфа вообще теряет достоверность, если учесть характеристики, данные им другим профессорам Лицея. О них всех — Кошанском, Куницыне, историке Кайданове и математике Карцове — Корф отзывался как о преподавателях с большими недостатками; все они в его изображении — чудачки, люди со странностями; но особенно он высмеивает их плохое французское произношение, в чем сказалось традиционное отношение аристократа к учителю-разночинцу.

Отметая свидетельство барона Корфа об отношении Кошанского к Пушкину, следует согласиться с сообщением другого товарища Пушкина по Лицею — С. Д. Комовского, который вспоминал, что „Кошанский, предвидя необыкновенный успех поэтического таланта Пушкина, старался всё достоинство оного приписывать отчасти себе...“.³ Это вполне согласно с психологией учителя: в достоинствах своих учеников он видит прежде всего самого себя.

Поэтому, когда впоследствии, по свидетельству лицеиста четвертого выпуска М. А. Белухи-Кохановского, окончившего Лицей в 1826 году, Кошанский, „быв страстным поклонником Пушкина, с особенным мастерством читал его произведения“;⁴ в этом чтении сказывалось не только мастерство, но и гордость учителя за своего ученика. Недаром, обращаясь в 1827 году к воспитанникам шестого курса, Кошанский назвал литературные опыты пушкинского выпуска „первыми песнями Лицея, звуками родины, голосами праотцев“.⁵

Л. Н. Майков в статье „Пушкин в изображении М. А. Корфа“ писал, что поэт-лицеист „не без уважения относился... и к Кошанскому, который рано угадал гениальные способности своего ученика“.⁶ Однако об отношении Пушкина к Кошанскому можно говорить не в таких умеренных выражениях.

Есть один автограф Пушкина, содержащий незаконченное стихотворение „Царское село“, начинающееся стихом: „Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений...“, в котором он с трогательной теплотой и глубокой задушевностью вспоминает свою юность. Автограф исчеркан и изобилует поправками, начатыми и недописанными стихами, — типиче-

¹ Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 1887, стр. 251, 257.

² Там же, стр. 59.

³ Там же, стр. 251.

⁴ „Русская старина“, 1890, т. 65, стр. 841.

⁵ Записка, присланная Кошанским в 1827 году воспитанникам VI курса при возвращении их поэтических опытов. ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 71; см.: К. Я. Грот. Пушкинский лицей. 1911, стр. 424.

⁶ „Русская старина“, 1899, т. 99, стр. 300.

ский пример „поэзии трудолюбивой“, в которой Кошанский наставлял когда-то своего ученика, автограф, показывающий, как поэт старался дать нечто адекватное эмоциям, вызванным воспоминаниями. В его уме теснились образы прошлого. Раздумывая о нем и воображая его, Пушкин не рисовал на полях рукописи, как делал это обычно, контурные портреты людей, с которыми ассоциировалась творческая мысль, а воспроизвел на полях две имитирующие подписи: одну — Александра I, который „взял Париж и создал наш Лицей“, и другую — Кошанского.¹

Хотя подпись Кошанского не представляет ничего характерного в графическом отношении, — это аккуратная, каллиграфически выведенная подпись, без росчерка, — однако ее имитация встречается также в других рукописях Пушкина. В одной черновой тетради имитация подписи Кошанского встречается четыре раза на одной странице; в другом месте той же тетради она идет на следующей странице после воспроизведенных Пушкиным школьных стихов, восхваляющих любовь, вино и лень:²

Любовь и вино
 Нам нужны равно.
 Без них человек
 Зевал бы вовек.
 К ним лень еще прибавим, —
 Лень с ними заодно.

В рукописях Пушкина известно воспроизведение подписи Кошанского в восьми случаях. Если бы с памятью о Кошанском у Пушкина соединялась отрицательная оценка, вряд ли бы он не один раз старательно выводил его подпись в книгах своего поэтического „бытия“.

Поэтому не случайно образ Кошанского возник перед ним, когда через пять-шесть лет по окончании Лицея, в 1822 или в 1823 году, Пушкин вспоминал свою юношескую царскоевельскую жизнь:

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений
 О ты, певцу дубрав давно знакомый Гений,
 Воспоминание, рисуй передо мной
 Волшебные места, где я живу душой,
 Леса, где я любил, где чувство развивалось,
 Где с первой юностью младенчество сливалось
 И где, взлелеянный природой и мечтой,
 Я знал поэзию, веселость и покой. . .
 („Царское село“).

В ранние годы, когда детство поэта сливалось с первой юностью, он, естественно, подчинился влиянию торжественного стиля профессора и указанных им литературных образцов.

Надо принять во внимание также непосредственно школьную цель, которую должен был преследовать Пушкин: выполнить задание так,

¹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 25.

² ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 829, лл. 51, 77 об. — 78. Имитации подписи Кошанского также см.: ф. 244, оп. 1, № 831, л. 38 об.

чтобы заслужить высшую оценку преподавателя, потому что, по наблюдениям Кошанского, Пушкин, „побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желал сравниться с первыми питомцами“, ¹ а для этого надо было удовлетворить требованиям преподавателя.

Товарищи Пушкина не сохранили воспоминаний обо всех его литературных успехах в российском классе Кошанского; но успехи эти, конечно, не были единичными и случайными, что дало Кошанскому основание постоянно характеризовать их как „блистательные“. ² Эта аттестация должна относиться только к поэтическому творчеству Пушкина, так как никто другой из его товарищей не заслужил ее. Успехи первых учеников, достигнутые прилежанием и твердым усвоением учебного материала, Кошанский характеризовал иначе: успехи Вальховского названы им „чрезвычайными“, Горчакова — „превосходными“. Эти аттестации говорят об учебных способностях и напряженном трудолюбии лучших учеников, а характеристика „блистательные“ — о чем-то возвышающемся над уровнем классной жизни, о поэтических успехах Пушкина. Стихотворение „Цель нашей жизни“ — случайно сохранившийся след „блистательных“ успехов Пушкина в классе русской словесности, на который надо смотреть как на факт биографический, характеризующий школьную жизнь поэта.

Анненков называет это стихотворение „пустословным“ — характеристика резкая и несправедливая. Пустословия в нем нет, и через всё стихотворение проходит определенная, ясно выраженная нравственная идея, не обладающая притом оригинальностью, так как стихотворение повторяет мотивы, встречавшиеся в предшествующей русской литературе, — что счастье не в обладании властью и богатством, а в добродетельной жизни среди благ природы. Почти все мотивы и образы „Цели нашей жизни“ встречаются, например, в „Послании к Александру Алексеевичу Плещееву“ Н. М. Карамзина. ³ Ученическое стихотворение должно было быть подражательным.

¹ Отчет Кошанского об успехах лицеистов за 1812 и 1813 годы. ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, №№ 33, 34, 36.

² Там же.

³ Приводим отрывки из „Послания к Александру Алексеевичу Плещееву“ Н. М. Карамзина:

Народов сильных победитель
И стран бесчисленных властитель
Под блеском светлого венца
В душевном мраке увывает,
И часто сам того не знает,
На что величия желал. . .
А сей вдыхающий скелет,
Который богом чтит стяжанье,
Среди богатств в тоске живет! . .
Кто малым может быть доволен, —
Не скрыва чувством, духом волен. . .
Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна,
И отдых в знойный час любезен;
Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом,

Несмотря на традиционность содержания „Цели нашей жизни“, вторая строфа стихотворения своими сильными словами, грозящими завоевателям, которые, „огнь и меч прияв в строптиву длань“, обгабрюют землю „кровавою рекою“, найдет живой отклик у наших современников; это немаловажный факт для оценки художественного достоинства произведения, если оно и через полтора десятка лет может быть воспринято в непосредственной жизненности своих идей.

В теоретическом плане стихотворение отвечало учению о дидактической поэзии, как развивал его адъюнкт П. Е. Георгиевский в лекциях, читанных для первого лицейского курса: „...поэт, — поучал он, — имеет много средств к изъявлению важных услуг в пользу человечества... Стройный звук слов, приятные картины воображения, живые впечатления чувствий суть те прелести, которые насильно, кажется, привлекают к добродетели, заставляя находить удовольствие в исполнении обязанностей...“¹

Обладая этими признаками дидактической поэзии, стихотворение „Цель нашей жизни“ отвечало также общему духу лицейского обучения: „всё сословие профессоров, — писал Кошанский как секретарь конференции Лицея, — заботилось единственно о том, чтобы не упустить из виду ничего, клонящегося... паче всего к насаждению добродетели...“²

Связь стихотворения „Цель нашей жизни“ с Лицеем пушкинского периода бесспорна. Кроме Пушкина, оно могло принадлежать одному из трех лицейских поэтов: А. Д. Илличевскому, который в начале лицейского курса обращал на себя внимание поэтическим творчеством даже более, чем Пушкин, В. К. Кюхельбекеру и, наконец, А. А. Дельвигу.

Илличевский на ту же тему написал прозаическое рассуждение. Если предположить, что он же написал еще на вопрос о цели жизни данное стихотворение, то вряд ли он умолчал бы об этом в своих откровенно детских письмах к Фуссу; а затем, какой смысл был для Илличевского писать по заданию преподавателя на одну и ту же тему и прозой, и стихами? Кюхельбекер создал свое стихотворение „Бесмертие есть цель жизни человеческой“. У Дельвига, среди его стихотворений лицейского периода, есть собственный ответ на вопрос о цели жизни. Это — стихотворение „Тихая жизнь“, повторяющее те же идиллические представления о безмятежной жизни среди природы как идеале, какие рисует автор „Цели нашей жизни“.

Блажен, кто за рубеж наследственных полей
Ногаю не шагнет, мечтой не унесется, —

Тот.....
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тьмим сном вяснет.
1794 год.

¹ Запись А. М. Горчакова. ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 361, л. 59. См.: Б. С. Мейлах. Лицейские лекции (По записям А. М. Горчакова). „Красный архив“, 1937, № 1, стр. 129—203.

² Отчеты конференций Лицея за 1812 и 1813 годы. ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, №№ 51—53.

так начинается это стихотворение Дельвига, родившееся в лицейских стенах и, всего вероятнее, в ответ на поставленный в классе вопрос.¹

Таким образом, для стихотворения „Цель нашей жизни“ как произведения лицейского можно предположить только авторство Пушкина.

К доказательствам принадлежности стихотворения Пушкину присоединяю еще стилистический анализ, имеющий значение только в ряду с другими соображениями.

По языку „Цель нашей жизни“ не отличается от стихотворений Пушкина, относящихся к 1814 году. Мы слышим в нем резко звучащий церковно-славянизм „дерн“, рифмующийся со словом „серн“, но такие же рифмы, режущие современный слух, имеются в лицейских стихотворениях Пушкина: в „Колье“—„стрежет—побед“, в „Осгаре“—„лет—полет“, в „Блаженстве“—„исчез—поднес“.

Старомодный язык второго стиха в начале стихотворения:

Вещай, о человек! почто ты в свет родился?—

напоминает подобный же стиль в „Эвлее“:

Кто ты?—спросил, почто ты здесь? Вещай. . .

Архаически-народное слово „почто“ не раз звучит в поэтическом языке молодого Пушкина: в оде „На возвращение императора Александра из Парижа в 1815 году“ поэт повторяет его три раза подряд, и всем оно памятно по стихотворению „Деревня“.

Характерным для юного Пушкина является то, что, изображая пейзаж, он почти всегда рисует ручей, обыкновенно в сентиментальной языковой окраске, употребляя уменьшительно-ласкательную форму слова; например, в „Блаженстве“ (1814):

. . . журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек. . .

В стихотворении „К Наташе“ (1814): „Хладен ручеек игривый“; в „Городке“ (1814—1815):

. . . быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.

В стихотворении из письма к П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 года рисуется блаженство того, кто видит „Долину с резвым ручейком“.

¹ Для точной датировки стихотворения „Тихая жизнь“ нет данных. Иличевский в письме к Фуссу в феврале 1816 года говорит о нем как о прошлом лицейского творчества Дельвига: „Иногда он позволял себе отступления от общего правила, т. е. писал ямбом: *Поляк* (баллада), *Тихую жизнь* (которую пришло тебе — мастерское произведение!) и писал опять прекрасно“ (К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 63).

Эту повторяющуюся деталь пушкинского пейзажа ранних лет творчества поэта видим также в „Цели нашей жизни“:

Таится под травой прохлада ручейка. . .

С другими произведениями Пушкина роднят стихотворение „Цель нашей жизни“ два оригинальных стилистических образа, обнаруживающих, в противоположность мнению Анненкова, яркие проблески поэтической мысли. Сюда принадлежит стих:

Для рыб изрылись вод пучины.

Возвратная форма глагола „изрыть“, вообще не употребительная в разговорной речи и потому не сопровождаемая в „Толковом словаре“ В. И. Даля примерами живого применения, создает картину действия стихийных сил. Ту же форму, обнаруживающую высоко творческое отношение к языку, встречаем у Пушкина в „Эвлее“:

Вдали ты зришь утес уединенный;
Пещеры в нем изрылась глубина. . .

Второй оригинальный стилистический образ „Цели нашей жизни“ — в стихах:

И тихо зыблемый прохладой ветерка
По нивам желтый клас струится.

Содержание, соединенное с глаголом „струиться“, ассоциируется с представлением о воде, как, например, в „Евгении Онегине“:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо.

(гл. 7, XV).

Но в „Цели нашей жизни“ это содержание перенесено на созревшую ниву, подобно тому как художественный опыт И. К. Айвазовского наравне с волнующимся морем включал в себя также картины волнующихся хлебных полей. Пушкинское происхождение этой метафоры подтверждается другим произведением поэта. В „Послании к Юдину“ (1815) читаем:

Уж сумрак тусклой пеленой
На холмы дальние ложится,
И завес рощицы струится
Над тихо спящею волной,
Осеребренною луной.

Струящиеся хлебные колосья и струящийся лиственный покров рощи — образы, возникшие в одной системе метафорического языка.

Остановлюсь еще на строфе:

На то ль во глубине сибирских снежных гор
И злато, и серебро рождаются покрыты,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Чтоб ими услаждал таинственный свой взор
Скупец, богатствами не сытый?

Не сытый богатствами скупец, услаждающий золотом и серебром свой „таинственный“ взор, т. е. делающий это тайно от всех, — ведь это художественная идея будущего „Скупого рыцаря“. А географический образ первого стиха этой строфы в измененной редакции будет повторен в начале послания декабристам:

Во глубине сибирских руд...

Точно так же образ, данный в стихе:

Алеет роза молодая —

в следующем году повторится в „Гробе Анакреона“ с заменой эпитета синонимом:

Розы юные алеют
Камня древнего кругом...

Изображение зари в той же строфе:

... солнца луч румянит небеса —

повторяется в „Фавне и Пастушке“, стихотворении лицейского периода:

Но вот ночей царица
Скатилась за леса,
И тихая девница
Румянит небеса...

У начинающего художника слова, поэта-мальчика, еще не богатого опытом языка и ограниченного нешироким кругом жизненных наблюдений, естественно, нет богатства красок на словесной палитре, и отсюда эти повторения слов и выражений.

Стихотворение „Цель нашей жизни“ соединяет с другими юношескими произведениями Пушкина его эпикурейски-горадианская настроенность, отчетливо выраженная в призыве:

... Срывай блаженством жизни цвет.

В эпикуреизме произведения растворяется и затушевывается религиозная идея в конце стихотворения, которая должна была быть заданием, поставленным преподавателем. Всё это характерно для юного Пушкина.

Не был чужд для него также идеал мирной жизни среди благ природы, проникающий „Цель нашей жизни“. Он не был навеян только литературой, но был отзвуком душевных влечений, к которым не раз возвращается поэтическая мысль Пушкина. Этот идеал высказан им в лицейских стихотворениях: „К Дельвигу“, „Городок“, „Мечтатель“, „Послание к Юдину“, „Сон“.

Спешите же под сельский мирный кров,
Там можно жить и праздно и беспечно,
Там прямо рай. . . —

говорит он в последнем стихотворении, и с этим по-юношески преувеличенным призывом резонирует зрелая мысль поэта в „Евгении Онегине“:

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины. . .

(Гл. I, LV).

Из двадцати пяти произведений Пушкина, относящихся к 1814 году и помещенных в академическом издании, автографы сохранились от десяти стихотворений, включая сюда списки, в которые Пушкин внес исправления. Из этих двадцати пяти произведений четырнадцать были напечатаны при жизни Пушкина. Но шесть и напечатаны не были, и автографы их до нас не дошли. Пушкин не ценил даже те стихотворения юношеских лет, которые были напечатаны, и ни одного из них не включил в собрания своих стихотворений 1826 и 1829 годов. Он отказывался при этом от авторства в отношении некоторых юношеских произведений. Так, например, в 1829 году О. М. Сомов объявил в „Северных цветах“, что Пушкин отказывается от „Фавна и Пастушки“ и „поручил. . . засвидетельствовать сие пред публикой“ (стр. 35—36).

Тем менее мог Пушкин ценить стихотворения, написанные в порядке классного сочинительства, по заданию преподавателя. Свое отношение к ним он еще в лицейское время определил в „Городке“.

Когда Пушкин читал П. А. Вяземскому „Цель нашей жизни“, то, без сомнения, не как плод творчества, которым хотел поделиться с другом, а как извлеченное из пыли прошлых лет воспоминание о школьных годах, всегда вызывавших у лицейстов первого выпуска трогательные переживания.

Резюмирую соображения о возможности принадлежности стихотворения „Цель нашей жизни“ Пушкину.¹

Доказывается связь стихотворения с Царскосельским лицеем, с российским и отчасти латинским классами профессора Кошанского и с лекциями адъюнкт-профессора Куницына.

Из четырех лицейских поэтов Илличевский, Кюхельбекер и Дельвиг отозвались каждый особо на тему о цели человеческой жизни, а автором стихотворения „Цель нашей жизни“ остается признать лишь Пушкина.

Традиция рукописных сборников утверждает авторство Пушкина, с постоянной датой. Из них сборник князя Н. А. Долгорукова, хотя

¹ Гипотеза, выдвинутая в настоящей статье не является бесспорной и требует дальнейшего обсуждения. (См. отчет о Третьей Пушкинской конференции в „Известиях АН СССР“. Отд. лит. и яз., 1951, т. X, вып. 5, стр. 521).

и дошедший в малограмотной копии, восходит ко времени жизни Пушкина.

Н. В. Гербель, сначала стоявший в отношении авторства Пушкина на отрицательной точке зрения Анненкова, впоследствии был убежден, как он пишет, „весьма компетентными людьми“, что это „один из первых стихотворных опытов великого поэта“.¹

Наконец, по поводу авторства Пушкина мы имеем прямое свидетельство П. А. Вяземского, авторитет которого в пушкинском наследии был так значителен, что только согласно с его указанием, — там же, на полях второго гербелевского берлинского издания стихотворений Пушкина, — эпиграмма „Холоп венчанного солдата“, направленная по традиции всех рукописных сборников на А. А. Аракчеева, стала считаться направленной на А. С. Стурдзу. Но почему-то на слова Вяземского относительно „Цели нашей жизни“ не было обращено внимания.

Язык стихотворения не стоит в противоречии с языком других юношеских произведений Пушкина. В его языке находим совершенно оригинальные изобразительные приемы, говорящие о задатках высокого словесного мастерства, которые встречаются также в других произведениях молодого поэта. Некоторые стихи „Цели нашей жизни“ в измененной форме или целиком повторяются в последующих стихотворениях Пушкина.

На основании этих соображений считаю, что отрицательное решение вопроса об авторстве Пушкина в отношении стихотворения „Цель нашей жизни“, впервые бездоказательно высказанное П. В. Анненковым и до сих пор не рассмотренное, было принято на веру, чему способствовало первое художественное впечатление, производимое стихотворением, в котором более чувствуется XVIII век, чем легкий, насыщенный жизнью пушкинский стих, и самая метрическая форма которого представляет воспроизведение формы „Жизни Званской“ Державина, близкой к „Цели нашей жизни“ также по основной идее.²

Поэтому, составляя суждение о „Цели нашей жизни“, следует смотреть не в поэтическое будущее Пушкина, а в прошедшее русской литературы (конец XVIII и начало XIX века), рассматривая стихотворение в одном плане с такими произведениями раннего периода творчества Пушкина, как, например, „Слеза“ („Вчера за чашей пуншевою“, 1815) или ода „Принцу Оранскому“ („Довольно битвы мчался гром“, 1816), в которых еще не предугадывается будущий создатель „Евгения Онегина“.

¹ В рукописном сборнике М. Н. Лонгинова, по любезному сообщению Т. Г. Зенгер-Цявловской, после текста стихотворения под № XXVIII имеется примечание: „Есть свидетельство, что пьеса эта написана в 1814 году, т. е. принадлежит к первым стихам Пушкина; она, точно, написана ученически и риторически, но, как один из его первых опытов, очень примечательна“.

² На метрическое сходство этих стихотворений указал мне Б. В. Томашевский

С. А. ГИНЗБУРГ

ПУШКИН И ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

(К истории создания стихотворения „Не пой, красавица, при мне“)

История создания стихотворения „Не пой, красавица, при мне“ давно привлекает внимание биографов Пушкина, а выдающаяся роль этого стихотворения в развитии русской вокальной лирики вызвала к нему живейший интерес и со стороны музыковедов. Однако до сих пор в изучении этого стихотворения не достигнуто даже единства в понимании сохранившихся фактических данных, не говоря уже о том, что остались нерешенными, а подчас и просто непоставленными основные творческие вопросы. Всё это не позволяет считать настоящую тему исчерпанной и побуждает вновь вернуться к ней, тем более, что мы имеем возможность дополнить документацию ранее не привлекавшимся материалом.

1

Основным источником наших сведений о тех обстоятельствах, при которых возникло стихотворение „Не пой, красавица, при мне“, служит рассказ М. И. Глинки.

Подводя на склоне дней итоги своей творческой жизни, Глинка с особой теплотой вспоминал о встречах с Пушкиным. По поводу лета 1828 года Глинка сделал исключительно важную запись: „Около этого же времени я часто встречался с известнейшим поэтом нашим Александром Сергеевичем Пушкиным, который хаживал и прежде того к нам в пансион к брату своему, воспитывавшемуся со мною в пансионе, и пользовался его знакомством до самой его кончины“. И далее: „Провел около целого дня с Грибоедовым (автором комедии «Горе от ума»). Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс «Не пой, волшебница, при мне»“.¹

¹ М. И. Глинка. Записки. Под редакцией А. Н. Римского-Корсакова, М.—Л., 1930, стр. 91.

Достоверность приведенной записи Глинки никогда и никем не оспаривалась. Единственно, что вызывало недоумение исследователей, это — слово „волшебница“ в заглавии стихотворения, которое обычно истолковывалось как результат описки или забывчивости стареющего композитора. После же того как М. А. Цявловский опубликовал автограф Пушкина, в котором начальная строка читается именно так, как и у Глинки,¹ последние сомнения должны были отпасть сами собой. Поэтому можно считать безусловными два вывода, вытекающие из записи Глинки: во-первых, стихотворение „Не пой, красавица, при мне“ было написано Пушкиным на услышанную им, т. е. уже существовавшую песенную мелодию; во-вторых, мелодия эта являлась подлинной грузинской народной песней.

К тем же самым выводам приводят и другие дошедшие до нас свидетельства о создании стихотворения „Не пой, красавица, при мне“. Таково прежде всего сделанное неизвестной рукой (возможно, В. П. Энгельгардта, как вполне закономерно предположил М. А. Цявловский) примечание в рукописной „Зеленой тетради“, где собраны ранние произведения Глинки. „Национальная эта грузинская мелодия, — говорится в данном примечании, — сообщена М. И. Глинке от А. С. Грибоедова; известные уже давно публике слова сей песни написаны А. С. Пушкиным под мелодию, которую он случайно услышал“. Первоначальным и сразу же зачеркнутым вариантом второй фразы примечания было: „А. С. Пушкин написал слова сей песни нарочно под самую мелодию“.² По сравнению с цитированной личной записью Глинки, следовательно, новыми здесь являются только малозначащее указание на „случайность“ знакомства Пушкина с грузинской мелодией да категорическое определение последней как „национальной“ (т. е. по терминологии той эпохи — народной).

Почти тождественно излагает обстоятельства сочинения Пушкиным стихотворения „Не пой, красавица, при мне“ П. В. Анненков. В его „Материалах“ читаем: „В другой раз знаменитый композитор, хорошо известный публике нашей (речь идет, конечно, о Глинке, — С. Г.), играл на фортепьяно грузинскую мелодию с свойственным ему выражением и искусством. На замечание присутствующих, что ей недостает стихов или романса для всеобщей известности, Пушкин написал стихотворение:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной“.³

Как видим, свидетельство Анненкова полностью соответствует рассказу Глинки. Новой у Анненкова является лишь подробность о том,

¹ М. Цявловский. Два автографа Пушкина. М., 1914, стр. 3—13.

² Рукописное отделение Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Архив М. И. Глинки, 10, лл. 56 об. и 57.

³ П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. Изд. 2-е, СПб., 1873, стр. 243.

10

Национальная Пушкинская тетрадь сообщена М. И. Глинке отъ А. С. Пушкина-дяди;
А. С. Пушкина-дяди тетрадь сообщена М. И. Глинке отъ А. С. Пушкина-дяди.
Музыкальн. упр. давае Мубининова съва съ отъ М. И. Глинки отъ А. С. Пушкина-дяди.
Модерн Мелодию, которую отъ Мубининова укажили!

Запись в "Зеленой тетради" М. И. Глинки, л. 56 об.
Государственная Публичная Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

Андальто 30

Грузинская песня 3

Кто ждал са-ваца жди-мим'облаки,
Груди на вьдуться,
мысли ми-а ма,
Груди жаркая в рел-высоки,
Груди-васы' non.

Удв. напевом какой-либо сурфиде, восточной мелодии и стилист. - и т.ч.м. колорит, суфов. Серия вокалов, имитация добби.

Уд. Мелодия Гима сообразна

Нотная запись „Грузинской песни“ в „Зеленой тетради“ М. И. Глилки, л. 57.
Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

что Пушкин услышал взволновавшую его песенную мелодию в фортепьянном исполнении Глинки. Подробность эта безусловно правдива. В самом деле, до сочинения Пушкиным русских слов мелодию можно было петь либо по-грузински, либо вообще без слов. Первое было доступно одному Грибоедову, но не от него Пушкин узнал (как явствует из рассказа Глинки) данный напев. Допустить же чье бы то ни было пение без слов в обстановке салонного музицирования мало вероятно, если только не иметь в виду напевание полюбившегося мотива самим же Глинкой под собственный аккомпанемент (как он обычно пел в окружении друзей и знакомых). Но тогда это ни в какой мере не колеблет свидетельства Анненкова. Потому оспаривание его достоверности М. А. Цявловским приходится признать недоказанным. Скорее можно согласиться с давней догадкой Н. О. Лернера, что источником рассказа Анненкова послужили личные слова Глинки.¹ И догадка эта тем более вероятна, что „Записки“ Глинки и „Материалы“ Анненкова писались буквально в одно и то же время.²

Наоборот, вовсе не заслуживающей обычно оказываемого ей доверия надлежит считать справку Н. В. Гербеля. „Происхождение этой пьесы, — передает он, — следующее: Грибоедов, возвратясь из Грузии, сообщил один грузинский мотив нашему известному композитору, покойному Глинке, который записал его — и сыграл его пришедшему к нему Пушкину. Тому так понравилась музыка, что он тут же написал к ней слова“.³ Со всей очевидностью, Гербель мог опираться лишь на чье-то чужое повествование (скорее всего, по смыслу всей его публикации, Анненкова). Но совершенно произвольно добавленные Гербелем детали не позволяют его справку серьезно принимать в расчет.

2

Когда произошли изложенные события? Хронология их в настоящий момент может быть установлена достаточно точно.

Как известно, точная дата написания Пушкиным стихотворения „Не пой, красавица, при мне“ долгое время оставалась невыясненной. Сам Пушкин, издавая в 1829 году собрание своих стихотворений, отнес „Не пой, красавица, при мне“ к 1828 году.⁴ Исходя из того, что впервые стихотворение это было напечатано в альманахе „Северные цветы на 1829 год“,⁵ биографы ориентировочно относили его

¹ Н. О. Лернер. Примечания к стихотворениям 1826—1828 годов. В книге: Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. IV, СПб., 1910, стр. LXVII—LXVIII.

² Начав писать свои „Записки“ в июне 1854 года, Глинка закончил их в 1855 году, а в том же 1855 году вышло в свет и первое издание „Материалов“ Анненкова (цитируемый рассказ см. здесь на стр. 249).

³ Н. Гербель. Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Изд. 2-е, Берлин, 1870, стр. 157.

⁴ Стихотворения Александра Пушкина, ч. II, СПб., 1829, стр. 136—137.

⁵ „Северные цветы на 1829 год“, СПб., 1828, „Поэзия“, стр. 148. Подпись: А. П.

создание к весне 1828 года. Такую приблизительную датировку вынужден был в свое время принять и Н. О. Лернер в составленной им летописи жизни и творчества Пушкина.¹ Опубликование М. А. Цявловским автографа Пушкина позволило конкретно установить месяц и день сочинения: 12 июня. Правда, на автографе год обозначен Пушкиным не вполне ясно, и последняя цифра скорее походит на 6, чем на 8. Но каковы бы ни были тому причины: описка или что-нибудь иное (кроме того, напомним, что на эту цифру в рукописи попало чернильное пятно, затрудняющее ее прочтение), — 1828 год остается непоколебленным.

Однако 12 июня 1828 года была написана лишь первая редакция стихотворения. Она состояла из четырех строф, причем четвертая представляла собой буквально повторение первой, а вторая была потом сразу же зачеркнута. В таком виде Пушкин свое стихотворение нигде и никогда не печатал. Поэтому его пометку в автографе: „Отослать куда следует“ можно, как и делает с полным основанием М. А. Цявловский, понять лишь в том смысле, что автограф предназначался Глинке. Эта именно редакция стихотворения была положена на музыку Глинкой. Сам же Пушкин вскоре вновь вернулся к своему стихотворению и, готовя его к изданию, внес в текст ряд изменений. Некоторые из них сводились к орфографическим и пунктуационным уточнениям. Существенными же были: иное обращение в начальной строке („красавица“ вместо „волшебница“), замена одного из эпитетов в конце второй строфы („бедной“ вместо „милой“) и добавление целой новой (теперь третьей) строфы. Изменения эти были сделаны во второй половине 1828 года и, во всяком случае, не позднее ноября, потому что 27 декабря 1828 года альманах „Северные цветы на 1829 год“ получил цензурное разрешение. Так появилась вторая и окончательная редакция стихотворения.

Что же касается романа Глинки, то он, со всей очевидностью, был написан до ее появления, т. е. именно летом 1828 года. Никак нельзя согласиться с предположением М. А. Цявловского, будто сочинение романа Глинки следует отнести не к 1828 году, а к более позднему времени, „так как первое издание его романа было лишь в 1831 г.“. М. А. Цявловский упустил из виду, что возможности нотопечатания в ту эпоху значительно отличались от книгоиздательских возможностей, а особенно — у начинающего композитора. В „Записках“ Глинки встречается немало печальных слов о его неудачных попытках, по примеру знакомых литераторов, самому заняться публикацией нот. Как раз в 1828 году Глинка предпринял, совместно с Сергеем Голицыным, издание нотного „Лирического альбома“, но, по его же собственному признанию, „дело долго не шло на лад“.² И даже после постановки „Ивана Сусанина“, когда имя Глинки стало достаточно

¹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е., СПб., 1910, стр. 172.

² М. И. Глинка. Записки, 1930, стр. 92.

широко известно в России, он был однажды вынужден буквально „плакать от досады“,¹ ибо ни один из столичных музыкальных издательств не пожелал издать составленный им нотный сборник. Поэтому большинство ранних произведений Глинки вообще осталось в рукописи. К моменту же выхода в свет данного романса сам композитор давно находился вне Петербурга.² Отсюда ясно, что в руках издателя мог быть только задолго до того сочиненный оригинал.

Факт создания романса летом 1828 года с полной очевидностью явствует и из его текстового анализа. В романсе использованы всего две строфы стихотворения Пушкина, причем именно те, которые наличествуют в автографе первой редакции. Глинка лишь снял предложенное Пушкиным повторение начальной строфы, так как иначе он был бы вынужден отказаться от подсказанной ему народным напевом простой куплетной формы и построить романс по трехчастному принципу (А—В—А), присочинив для средней части собственную мелодию. Чрезвычайно показательно, что и в рукописной „Зеленой тетради“ и в печатном издании 1831 года у Глинки присутствует в конце второго куплета первоначальный эпитет „милый“. И не случайно память стареющего Глинки, столь часто изменявшая ему в других случаях, здесь прочно удержала начальное написание первой строки: „Не пой, волшебница, при мне“.

Приходится повтому полагать, что к моменту опубликования окончательной редакции стихотворения Пушкина, т. е. к концу 1828 года, романс Глинки уже был написан. Никаких изменений в готовое произведение Глинка уже не смог внести, ибо это неизбежно привело бы к полной перестройке композиции романса.³ Интересно отметить, что именно в „сквозной“ (а не куплетной) форме был построен одноименный романс Н. С. Титова, опубликованный за два года до выхода в свет романса Глинки и действительно сочиненный на текст окончательной редакции стихотворения Пушкина.⁴ Единственное, что было сделано Глинкой в уступку всё возрастающей популярности стихотворения, которое при жизни поэта неоднократно попадало в анонимные песенники,⁵ это замена начального обращения на: „Не пой, красавица, при мне“.⁶

¹ М. И. Глянка. Записки, стр. 214.

² Цензурное разрешение на нотных досках первого издания романса помечено 12 мая 1831 года, а Глянка уехал за границу еще 25 апреля 1830 года и, к тому же, провел до того несколько месяцев (с октября 1829 года) в деревне.

³ Этого не понял И. Эйгес, уже знавший, что Глинка сочинил свой романс на первоначальную редакцию стихотворения, но при этом недоумевавший, почему же композитор дополнительно не „вставил“ (!) новую строфу. Ср. его книгу: Музыка в жизни и творчестве Пушкина, М., 1937, стр. 103.

⁴ Романс Титова имеет цензурное разрешение от 10 августа 1829 года. Он перепечатан в сборнике: Пушкин в романсах и песнях его современников. М., 1936, стр. 65—67.

⁵ Н. Синявский и М. Цявловский. Пушкин в печати. 1814—1837. Изд. 2-е, М., 1938, стр. 91, 101, 106, №№ 805, 915 (под названием „Романс“) и 950.

⁶ В таком измененном виде оно читается и в вышеупомянутой „Зеленой тетради“

Тем самым приходится отвергнуть и недавнюю попытку В. Васиной-Гроссман объяснить причину „отказа“ Глинки от третьей строфы окончательной редакции стихотворения: в момент сочинения романса эта строфа просто еще не существовала.¹

3

Несколько сложнее ответить на вопрос, в какой день и где именно имела место та знаменательная встреча Пушкина с Глинкой, которой мы обязаны созданием гениального стихотворения. Конечно, принципиального значения вопрос этот не имеет, но всё же его приходится коснуться, так как биографы поэта внесли сюда некоторую путаницу.

Тщательно сопоставив все сохранившиеся по этому поводу данные, М. А. Цявловский показал, что Пушкин мог услышать привезенную Грибоедовым мелодию не раньше середины мая и не позднее 12 июня. Действительно, Грибоедов в 1828 году провел в Петербурге около трех месяцев, от 14 марта до 6 июня. Но так как в марте Глинка уехал в деревню, а затем до 9 мая пробыл в Москве, то его свидание с Грибоедовым, о котором говорится в „Записках“, очевидно, произошло во второй половине мая или в самом начале июня. Автограф же Пушкина датирован 12 июня.

Более прямолинейно к определению даты встречи поэта и композитора подошел А. Н. Глумов. „Весьма значительным событием в истории русского искусства, — пишет он, — была встреча Пушкина и Глинки, состоявшаяся 12 июня 1828 года“.² Но серьезных оснований для подобной датировки нет. С ней можно было бы согласиться, только признав достоверным приведенное выше указание Гербеля, будто Пушкин, услышав наигранную ему мелодию, „тут же“ написал к ней слова. Однако недостоверность рассказа Н. В. Гербеля была уже отмечена. К тому же автограф Пушкина, на который несомненно опирался в своей датировке А. М. Глумов, — не черновой, а белой. И наличие на нем пометки Пушкина о необходимости „отослать куда следует“, равно как уничтожение целой перебеленной строфы подтверждают, что переписывалось стихотворение отнюдь не в горячей обстановке творческой встречи Пушкина с Глинкой.

Если М. А. Цявловский с достаточной (и вполне понятной для опытного исследователя) осторожностью определял время, когда Пушкин мог впервые услышать вызвавшую в нем поэтическое волнение грузин-

Глинки, куда композитор вписывал свои ранние сочинения значительно позднее их создания.

¹ В. Васина-Гроссман. Глинка и лирическая поэзия Пушкина. В книге: М. И. Глинка. Сборник материалов и статей. Под редакцией Т. Ливановой, М.—Л., 1950, стр. 100. Следует, впрочем, подчеркнуть, что по существу самый ход мыслей автора вполне правилен и надлежало лишь говорить не о том, почему Глинка „отбросил“ новую строфу, а о том, почему он не смог ее добавить.

² А. Глумов. Музыкальный мир Пушкина, М.—Л., 1950, стр. 154.

скую мелодию, то в выяснении других обстоятельств он проявил чрезмерную поспешность. Правда, сам Цявловский признавал, что в его домслах заключено „немало гипотетического“. Но всякая гипотеза должна базироваться на фактах. В догадках же М. А. Цявловского основное место заняли умозрительные предположения.

По мысли М. А. Цявловского, Пушкин услышал приведенную Грибоедовым грузинскую мелодию у Олениных. В пригородном имении Олениных „Приютино“, за Пороховыми, часто собирались представители всех искусств. „Между играми, — пишет П. М. Устимович, — тут же часто читали молодые писатели свои произведения, а М. И. Глинка разыгрывал свои романсы“.¹ Пушкин охотно посещал „Приютино“ летом 1828 года, так как был влюблен в А. А. Оленину. Таким образом, до сих пор в предположении Цявловского нет ничего невероятного. Однако с наименьшими основаниями можно было бы допустить, что Глинка познакомил Пушкина с грузинской мелодией в любом другом доме, где оба они тогда бывали.²

Та настойчивость, с которой обосновывал М. А. Цявловский мысль о даче Олениных как о месте зарождения стихотворения „Не пой, красавица, при мне“, была вызвана желанием объяснить его появление любовью Пушкина к А. А. Олениной. Для этой цели Цявловскому пришлось даже сделать допущение, что Пушкин услышал грузинский напев из уст любимой девушки. Но выше уже указывалось, что источником знакомства Пушкина с грузинской мелодией была или игра Глинки на фортепиано (что вероятнее всего), или пение самого же композитора. Тем самым отпадает и гипотеза М. А. Цявловского. Кроме того, против нее приходится выставить и другое — принципиальное — соображение, к которому я еще вернусь ниже.

4

Гораздо важнее другой вопрос: что же собой в действительности представляла грузинская мелодия, сообщенная Грибоедовым Глинке, а последним — Пушкину?

За сто двадцать прошедших лет этим по-настоящему заинтересовался один лишь Д. И. Аракишвили. Неумолимый собиратель и исследователь грузинского музыкального фольклора, не раз писавший о восточных мотивах в творчестве русских композиторов, он подтвердил подлинность обработанной Глинкой песни. Сперва Д. И. Аракишвили констатировал самый факт и воспроизвел народный напев в заметке „Пушкин в грузинской музыке“, напечатанной к столетию смерти поэта.³

¹ П. М. Устимович. Анна Алексеевна Андро, рожденная Оленина, „Русская старина“, 1890, т. 67, август, стр. 389.

² См. по этому поводу: Вас. Яковлев. Пушкин и музыка. М.—Л., 1949, стр. 18 и примечание 35; ср. также: А. Глумов, указ. соч., стр. 134 сл.

³ Дмитрий Аракишвили. А. С. Пушкини картул мუსикаши. Сборник „А. С. Пушкини Сакартвелოში“ (на грузинском языке), Тбилиси, 1938, стр. 162.

Затем он снова вернулся к той же теме в своей книге о грузинской городской песне, где сопоставил народный напев с мелодией романса Глинки и сопровождал их кратким пояснением.¹ „Эта песня, — отмечал здесь Д. И. Аракишвили, — является для нас очень ценным показателем того, как народилась она (имеется в виду грузинская городская музыка, — С. Г.) в начале прошлого столетия“.²

Но дважды выступив с подтверждением подлинности обработанной Глинкой мелодии (что само по себе чрезвычайно важно в устах столь авторитетного знатока), Д. И. Аракишвили вынужден был признать, что он опирается лишь на свою память. „Я эту мелодию, — читаем в его книге, — выписал из какого-то сборника и, к сожалению, утерял. В нотном приложении данного труда я привожу эту песню по памяти“. Отсюда становится понятным, почему напечатанные в обеих названных работах Д. И. Аракишвили напевы не вполне совпадают друг с другом и почему в них вовсе отсутствуют (за единичным исключением) слова.

Между тем мы имеем возможность более точно документировать данный вопрос.

Во второй четверти XIX века в числе русских чиновников, оказавшихся во вновь присоединенном Закавказье, был и некий П. Сияльский — любитель-музыкант. Сначала отпугнутый непривычной для „жителя столицы“ (как он сам себя называл) восточной музыкой, Сияльский постепенно к ней привык. Пожелав тогда „узнать корень туземной музыки“, он стал приглашать к себе местных певцов, а однажды даже совершил специальную поездку в горы. Так у любознательного чиновника появилось несколько записей народных песен, которые по возвращении в Россию он опубликовал в печати. Эта публикация Сияльского носит наименование: „Восемь песен азиатских и одна лезгинка, собранные и списанные с голосов и инструментов в Армянской области П. Сияльским, положенные для фортепиано А. Данилевским“.³ Ей предшествует вводная заметка Сияльского: „Нечто о песнях и музыке в Закавказском крае“.⁴

¹ Д. И. Аракишвили. Одноголосная и хоровая городская песня Восточной Грузии. Тбилиси, 1946, стр. 12 и нотные примеры 11—12.

² На материалах Аракишвили базировались и все позднейшие исследователи, писавшие о взаимоотношениях Пушкина и Глинки. См., например: И. Эйгес, указ. соч., стр. 102 и 280—281, или В. Васина-Гроссман, указ. соч., стр. 99.

³ „Иллюстрация“, 1861, № 193, стр. 284—285; № 194, стр. 300—301; № 196, стр. 332; № 197, стр. 348.

⁴ Там же, № 193, стр. 283. Вероятно, именно эту публикацию некогда видел, но потом забыл о ней Д. И. Аракишвили. Пользуюсь случаем указать, что у Сияльского имеется запись еще двух кавказских мелодий, встречающихся у Глинки. Одна из них — лезгинка (№ 8), первая половина которой весьма близка ко второй теме лезгинки из „Руслана и Людмилы“. Вторая — „Татарская песня“ (№ 9), вполне соответствующая теме „Персидского хора“ из той же оперы. Об этой последней Сияльский пишет, что ее „в Грузии все поют, и татары (т. е. азербайджанцы, — С. Г.), и армяне, и грузины. Это — любимая их песня“.

Живя постоянно в Ереване, Сияльский имел возможность слышать там песни многих народов. „Мне всегда пели песни татарские (т. е. азербайджанские, — С. Г.), куртинские (т. е. курдские, — С. Г.), лезгинские, грузинские“, — рассказывает он в названной заметке. Из слышанных Сияльским грузинских песен одна вошла в его публикацию. И песня эта как раз является той, что была сообщена Глинке Грибоедовым.

Хотя публикация Сияльского появилась лишь в 1861 году, его записи датируются гораздо более ранним временем, а именно — серединой 30-х годов. Добавленный же к напевам примитивный фортепианный аккомпанемент Данилевского легко может быть отброшен, хотя и собиратель и гармонизатор наивно полагали, что он сделан „в духе азиатском“ и придаст песням „разнообразие и занимательность“. Иначе говоря, запись Сияльского всего на пять-шесть лет отстоит от дня встречи Глинки с Грибоедовым. А это, конечно, может и вовсе не приниматься в расчет.

Интересующая нас песня помещена в публикации Сияльского под третьим номером.¹ Сам собиратель определил ее как „меланхолическую“ песню. Она представляет собой десятиактный напев в размере $\frac{6}{8}$ и в темпе *Andante*. Лирическая по характеру, песня обладает симметричной ритмикой явно танцевального происхождения. Песня вполне определена в тональном отношении, но не замкнута: первая ее половина (шесть тактов) очерчивается в мажоре, а вторая (четыре такта) — в параллельном миноре. Тональное единство нарушается лишь в пятом такте кратковременным отклонением вверх на секунду, но тотчас же опять восстанавливается.²

Привожу напев в записи Сияльского, опустив фортепианный аккомпанемент и исправив орфографию последнего такта:



¹ „Иллюстрация“, 1861, № 193, стр. 284.

² Вызывает удивление, что И. Эйгес (указ. соч., стр. 102) настаивал на том, будто весь напев „естественнее“ слышать в миноре, а не так, как он звучит в действительности и как он был гармонизирован Глинкой!

По всем своим отличительным признакам записанная Сияльским песня должна быть отнесена к тому типу сольных городских песен, который складывался в Грузии с начала XIX столетия. Бережно храня многовековое песенное достояние, грузинский народ вместе с тем стремился в своих песнях отразить и тот новый круг мыслей и чувств, который был связан с изменившимися условиями исторического существования Грузии после того, как произошло присоединение мужественной и многострадальной страны к России. Формировавшаяся в грузинских городах в XIX веке сольная песня сохраняла основные закономерности традиционной грузинской мелодики, но одновременно обогащала их выразительными средствами, способными более действенно воплотить новый круг жизненных образов. В частности, на передний план в ней стали выступать тональная определенность и ритмическая периодичность, т. е. именно те черты, которые столь явственно отличаются и только что приведенный напев.

Не удивительно, что напев этот привлек к себе Грибоедова. Страстный и тонкий музыкант, Грибоедов с пристальным вниманием знакомился с музыкой тех стран, куда его забрасывала судьба. Искренно любя ставшую ему близкой Грузию, Грибоедов резко отрицательно относился к цветистой иранизированной музыке, которая была еще достаточно популярна в грузинских городах среди знати и богачей. Так, в частности, и надлежит понимать известные слова Грибоедова в письме к издателю „Сына отечества“ из Тифлиса: „Вечером в порядочных домах танцуют, на *саклях* (террасах) звучат бубны и завывают песни, очень приятные для *поющих*“.¹ Но к настоящей — мягкой и душевной — грузинской песне Грибоедов, конечно, не мог остаться безразличным. Богатейшую песенную культуру грузинской деревни Грибоедов знал мало. В городской же грузинской музыке он разбирался отлично, и лучшим доказательством этого служит полюбившаяся ему песня.

Интересно подчеркнуть, что Д. И. Аракишвили считает эту песню настолько показательной для грузинской музыки первой четверти XIX века, что весь ранний период развития новой грузинской городской песни склонен прямо называть „грибоедовским“.² Нетрудно понять и то, почему она так скоро стала известной Сияльскому. Возникнув, надо полагать, в самом начале XIX века в быстро оживавшем от последствий недавнего варварского разгрома шахскими войсками Тифлисе, песня эта сразу же распространилась и по другим освобожденным городам Закавказья. Поэтому она легко попала и во впервые заживший новой жизнью после долгого и мучительного гнета захватчиков-кизилабашей город Эривань.

¹ А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений. Под редакцией Н. К. Писанова, т. III, Пгр., 1917, стр. 28.

² Д. И. Аракишвили. Одноголосная и хоровая городская песня Восточной Грузии. Тбилиси, 1946, стр. 14.

5

Почему столь простой, на первый взгляд, напев смог вдохновить Пушкина на создание одного из лучших его лирических стихотворений? Потому, что этот бесхитростный напев глубоко взволновал поэта, вызвав образ дорогого его сердцу Кавказа.

У Пушкина всегда образ страны и ее людей неразрывно связывался с их песнями. Так и образ свободолюбивого Кавказа был в представлении Пушкина неотрывен от песен его народов. Особо выделял среди них Пушкин грузинские песни.¹ И когда в „Кавказском пленнике“ юная черкешенка пытается отвлечь безутешного русского песнями, она

Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой.

Последнюю строку Пушкин, как известно, счел нужным сопроводить специальным примечанием. „Песни грузинские приятны, — писал он, — и по большей части заунывные“. И разъяснял: „Они славят мнущные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения“.² Эти слова показывают, что Пушкин имел в виду прежде всего сольную и особенно новую грузинскую песню. То же Пушкин впоследствии повторил и в „Путешествии в Арзрум“. Характерно, что один из черновых вариантов второй главы, воспроизводивший прежнюю формулировку: „Песни грузинские приятны“, был в окончательном тексте заменен более точным: „Голос песен грузинских приятен“.³ Следовательно, Пушкин хотел выделить именно напевы песен, причем опять-таки сольные (ибо хоровая грузинская песня, как правило, трехголосна).

„Мне перевели одну из них, — продолжал Пушкин, — слово в слово; она кажется сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она“. И дальше приводится прозаический перевод, начинающийся словами: „Душа, недавно рожденная в раю!“.⁴ Как установлено советским литературоведением, речь идет о популярной песне „Ахал агнаго суло“, текст которой принадлежал грузинскому поэту Дмитрию Туманишвили, действительно сочинившему его в первом десятилетии XIX века (кстати сказать, во время своего пребывания в Петербурге).⁵

¹ К сожалению, не всегда исследователи достаточно ясно отдают себе отчет в том, что прекрасно понимал Пушкин: каждый из народов Кавказа, как и любой другой части мира, имеет свою собственную музыку, отличную от музыки соседствующих народов. Так, например, А. Н. Глузов (указ. соч., стр. 69) в доказательство правильного положения, что Пушкин „с увлечением слушал грузинские песни“, приводит... „Черкесскую песню“ из „Кавказского пленника“!

² Пушкин, Полное собрание сочинений, Изд. Академии Наук СССР, т. IV, 1937, стр. 115.

³ То же, т. VIII, кн. 2, 1940, стр. 1009; т. VIII, кн. 1, 1940, стр. 457.

⁴ То же, т. VIII, кн. 1, стр. 457—458.

⁵ Впервые на это обратил внимание грузинский поэт-академик Георгий Лео-

Чрезвычайно важно отметить, что текст привезенной Грибоедовым песни представлял собой не что иное, как бытовой народный вариант стихотворения Туманишвили.

В публикации Сияльского текст песни дан в трояком виде: на грузинском языке, в подстрочном и вольном смысловом переводах. Воспроизвожу их дословно. Грузинский текст записан Сияльским русскими буквами:

Ахалухат Мосулай да (2 раза)
Эдем шига мор су ло да
Сицо цхлхса ган мовели
Цухда бега мор цхо вели.

Далее следует подстрочный перевод:

Пришел я только с архалуком,
В раю с ним я пребывал,
Жизни от вас ожидаю,
Беспокоялся в ожидании стыда.

Наконец, смысловой перевод уже дан без разбивки на стихотворные строки: „Желал бы я, хотя с одним архалуком, но в раю пребывать, и в жизни только о том и беспокоюсь, чтоб не дожидаться стыда“.

Согласно авторитетному разъяснению проф. В. Д. Дондуа, приведенный Сияльским грузинский текст является „плодом стихийной переделки во вкусе, очевидно, веселых исполнителей напева“.¹ Как указывает проф. Дондуа, в этой переделке первоначальный текст „искажен до неузнаваемости. В особенности последний стих не содержит в себе даже слов, пусть бы бессвязных“. Поэтому проф. Дондуа полагает, что текст был записан собирателем, не знавшим грузинского языка, а перевод был затем ему продиктован исполнителем песни. Единственный пример осмысления отдельных выражений песни проф. Дондуа улавливает в строке „Ахалухат Мосулай да“ (= „допелись“ до архалука). „Следует читать, — пишет проф. Дондуа — если здесь есть что читать, «Ахалухат Мосула», т. е. «Ты, пришедший (-шая) в архалуке»“.

Привожу произведенное В. Д. Дондуа транскрибирование первого куплета песни Туманишвили, показывающее путь ее изменения в народном быту. Слова отделены двоеточием и разбиты на слоги:

А-ха-л(о): Аг-на-го: Су-ло: да,
Э-дем-ши: Аг-мо-су-ло: да,
Чэмс: Этл-зэд: Да-ввр-гу-ло: да,
Си-цоцх-лэс: Шөп-ган: Мо-вв-ли,
Цив-да-вв-ба: Хар: Цхо-вв-ли.

нидзе („Картули мцэрлоба“, 1929, № 8—9, и „Заря Востока“, 1936, № 237). Ср. также: Л. Б. Модзалевский и В. Д. Дондуа. Запись грузинской песни в архиве Пушкина. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, вып. 2, М.—Л., 1936, стр. 297—301.

¹ Приному благодарность проф. В. Д. Дондуа за любезно предоставленный в мое распоряжение нижеприводимый текстовый анализ записи Сияльского.

Нас не должны, однако, смущать утрата стихотворением Туманишвили при исполнении народными певцами смыслового значения и сохранение лишь его приблизительной внешней звуковой оболочки. Как известно, в грузинском народном обиходе было весьма распространено исполнение даже целых песен с „бессловесными“ текстами вроде „одэлия“, „орира“ и т. п. Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что текстовой анализ опубликованной Сияльским песни, так же как и музыкальный анализ, явно доказывает ее принадлежность к числу сольных городских грузинских песен начала XIX века.¹

Нам известен и другой напев, на который грузинским народом распевалось стихотворение Туманишвили. Этот напев, однако, был зафиксирован нотами и гармонизован лишь в 1904 году классиком грузинской музыки Захарием Палиашвили.² Воспроизвожу записанный Палиашвили напев, с тогда же выполненным эквиритмическим переводом С. Амираджиби:³

Andantino

Юной по-лю-бви ду-шо-ю, О за-
-рив э-дем кра-со-ю, Ты мне
по-сла-на судь-бо-ю.
От те-бя жду на-слаж-де-ний,
Ты бес-смерт-на, о мой ге-ний!

¹ В нотной подтекстовке Сияльского имеются незначительные разночтения, но показательно, что в первой строке ясно выступает начальное „А-ха-ло“.

² Т. Куцья-Гваддзе. Библиография грузинских музыкальных произведений. 1872—1946. Тбилиси, 1947, стр. 14 (на грузинском языке).

³ Размещение тактовых черт в последней строке мною приведено в соответствии с предшествующей.

Анализ данного напева показывает его интонационную близость к записанной Сияльским песне. Зафиксированный Палиашвили напев состоит из пяти закругленных четырехтактов, т. е. тоже характеризуется четкой (но в данном случае не танцевальной) периодичностью ритма. Этот напев также отличается тональной определенностью, причем и в нем первая половина (12 тактов) изложена в мажоре, а вторая (8 тактов) — в параллельном миноре. Наличествует, наконец, и здесь (в 7—9 тактах) секундовый сдвиг, после которого немедленно же восстанавливается основная тональность.

Единственным отличием напева в записи Палиашвили является частое применение мелизматике. Она, конечно, связана с цветистостью словесного текста, и к ней в полной мере могла бы быть приложима перефразированная меткая оценка Пушкина („восточная бессмыслица, имеющая свое музыкальное достоинство“). Но вполне вероятно, что орнаментировалась в тогдашнем живом исполнении на Кавказе и слышанная Сияльским песня: ведь зафиксированный Палиашвили напев легко может быть представлен без украшающих мелизмов, как то:

3-й такт: или:

5-й такт: или:

7-й такт: или:

и т.п.

Очевидно, для исполнения стихотворения Туманишвили в народной практике пользовались любым известным напевом, если только он подходил по своему характеру и строю, равно как, обратно, слова этого стихотворения легко приспособлялись к любому подходящему напеву. Не углубляясь далее в интереснейшие вопросы формирования и бытования в Грузии сольной городской песни в начале XIX века, мы можем здесь ограничиться лишь констатацией несомненной национальной подлинности пленившего Пушкина напева. Надо полагать, всё сказанное достаточно ясно доказывает, что в сыгранной Глинкой песенной мелодии Пушкина поразила и взволновала та народная реалистическая основа, которую он сразу и (как всегда в таких случаях) остро ощутил.¹

¹ В этом контексте небезынтересно также напомнить известное свидетельство современника об исключительно живом и импульсивном восприятии Пушкиным на-

В эпилоге „Цыган“ Пушкин признавался:

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

Услышанная в далеком Петербурге грузинская мелодия мгновенно перенесла поэта мыслью и чувством на страстно любимый Кавказ.

6

В свете изложенного очевидно ошибочность взгляда, будто сообщенная Грибоедовым мелодия „малотипична“ по своему национальному облику. Наиболее откровенно такой взгляд был в свое время выражен С. К. Буличем. „Заслуга внедрения подлинного восточного элемента в нашу музыку, — писал Булич, сравнивая попытки в этой области русских композиторов конца XVIII и начала XIX столетия, — все-таки должна быть всецело приписана Глинке. Первым его произведением этого рода является романс «Грузинская песня: „Не пой, красавица“», на слова Пушкина. Композитор воспользовался здесь подлинным восточным напевом, сообщенным ему А. С. Грибоедовым. Но и самый напев, и его музыкальная обработка у Глинки не представляют ничего ярко характерного в смысле восточного колорита“.¹

Подобного рода антиисторический взгляд (отголоски которого, к сожалению, не вполне изжиты и поныне) опирается на ложное, абстрактное представление о будто бы существующем некоем „едином“ Востоке, к которому безоговорочно относится и Грузия. Между тем никакого общего для всех внеевропейских народов „ориентального“ колорита нет и быть не может. А специфический склад того нового типа грузинской песни, который сформировался в его дни, Глинка в основном воспринял и воплотил в своем творчестве. Но это, конечно, не означает, будто он в своем романсе дословно воспроизвел сообщенную Грибоедовым мелодию.

Говоря о последней, проф. Аракишвили однажды назвал ее песней, „записанной известным русским писателем А. С. Грибоедовым, бывшим тогда в Тбилиси“.² Вряд ли правильно думать, что Грибоедов действительно записал эту песню: во всяком случае, документальное основание для такого предположения (рукопись или свидетельство очевидца) отсут-

родной музыки на устроенном в его честь празднестве в Тифлисе. См.: А. Достоевский. Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пушкиным в 1829 и 1833 гг. „Пушкин и его современники“, вып. XXXVII, Л., 1928, стр. 144—151.

¹ С. К. Булич. Пушкин и русская музыка. СПб., 1900, стр. 13 (= „Записки историко-филологического факультета имп. С.-Петербургского университета“, ч. LVII, СПб., 1910, стр. 47).

² Д. И. Аракишвили. Одноголосная и хоровая городская песня Восточной Грузии. Тбилиси, 1946, стр. 12.

ствует. Вернее всего, Грибоедов запомнил понравившийся ему мотив на слух, а зафиксировал его нотами уже Глинка.¹

При сравнении мелодии романса Глинки с современной ей записью Сияльского бросается в глаза ряд расхождений. Для удобства сличения транспонирую последнюю из оригинальных Es-dur — c-moll в одноименные с романсом Глинки B-dur — g-moll:

Музыкальный фрагмент, состоящий из трех систем нот. Каждая система включает вокальную партию (верхняя линия) и фортепианную партию (нижняя линия). Под нотами напечатаны русские слова: «Не пой, краса- ви- ца, при мне Ты пе- сен Гру- сти- и пе- чальной. На- по- ми- на- ют мне о- не Дру- гу- ю жизнь и бе- рег даль- ной.»

Часть наблюдающихся расхождений незначительна и могла быть вызвана даже простой случайностью исполнения.² Но существенным отклонением у Глинки является сокращение напева на полтора такта, причем исключенным оказался как раз тот мелодический оборот, в котором наблюдается отмеченный выше тональный сдвиг. Трудно сказать, кто произвел это сокращение. Возможно, что оборот этот выпал из памяти самого Грибоедова.³ Но еще вернее полагать, что сократил напев в целях укрепления тонального единства именно Глинка, тем более, что композиционно у него эти полтора такта не просто отброшены, а заменены фортепианным отыгрешем. Кроме того, Глинка, со

¹ Так как дальше в этой книге сам Д. И. Аракишвили говорит уже о „записи Глинки“, то в отношении приведенных слов о Грибоедове следует допустить у него, скорее всего, только литературную неточность.

² Одно расхождение, впрочем, объясняется явным вмешательством А. Давилевского, из-за требований фортепианного изложения заменившего в последнем такте женское окончание („ве-ли“, что соответствует и глинкавскому „даль-ной“) — мужским.

³ Любопытно, что опустил его и Д. И. Аракишвили, помнивший напев лишь наизусть.

всей очевидностью, старался усилить лирическую выразительность напева путем его окончательного освобождения от налета танцевальности.¹

Всё это подтверждает, что Глинка ставил своей задачей не простейшую запись и гармонизацию сообщенной мелодии. Создание замечательной музыки романса Глинки „Не пой, красавица, при мне“ явилось таким же высоким творческим актом, как и создание Пушкиным его замечательного стихотворного текста.

7

Суммируя свои мысли об истории возникновения „Не пой, красавица, при мне“, М. А. Цявловский писал: „В этой истории, конечно, немало гипотетического, но мы будем вполне удовлетворены, если наша заметка вызовет дальнейшие разыскания пушкинистов, хотя бы и опровергающие наши догадки“.² Несомненно, пушкиноведение и в данном случае немалым обязано инициативе ученого, не только впервые обнаружившего автограф стихотворения, но и с несомненностью установившего ряд непоколебимых теперь фактов. Однако с тем основным, что Цявловский стремился доказать в своей работе, на мой взгляд, согласиться никак невозможно.

В истолковании стихотворения „Не пой, красавица, при мне“ М. А. Цявловский опирался (как, впрочем, и многие тогда пушкинисты) на методологически ложный принцип биографической эмпирики: „... в этих строфах, — утверждал он, — Пушкин ничего не сочиняет: волшебница-красавица так же реальна, как „Кавказа гордые вершины“ и „лихие чеченцы на коне“. Конечно, Пушкин слушал красавицу, певшую при нем песни Грузии, и под влиянием ее пения написал свое стихотворение“.³ Иначе говоря, Цявловский натуралистически (если можно так выразиться) подошел к процессу поэтического творчества.⁴

В первоначальной редакции стихотворения, на которую Глинка писал свой романс, нет ничего такого, что позволяло бы думать о производившемся Пушкиным конкретном сравнении двух женщин — Марии Раевской и Анны Олениной, как предполагал Цявловский.⁵ Но сказанное

¹ Поэтому неправильно категорически утверждать, будто Глинка „строго“ придерживался сообщенного ему народного напева, как это делает С. Шлифштейн в книге: Глинка и Пушкин. М.—Л., 1950, стр. 37.

² М. Цявловский. Два автографа Пушкина, 1914, стр. 13.

³ Там же, стр. 8.

⁴ Вряд ли нужно здесь останавливаться на опровержении другой ипостаси натурализма — формализма в литературоведении, цинично провозглашавшего в отношении того же стихотворения „Не пой, красавица, при мне“, будто „собственного содержания стихотворение не имеет“ и якобы „само по себе оно есть сплошная форма плюс голая мысль, довольно бедная и не оригинальная“ (Андрей Белый. Символизм. М., 1910, стр. 427).

⁵ В недавнее время И. К. Ениколопов тоже связал возникновение интересующего нас стихотворения с воспоминанием Пушкина о М. Н. Раевской, но уже совер-

отнюдь не означает, будто слово „волшебница“ Пушкин употребил здесь случайно. Словом этим он уже не в первый раз назвал свою „богиню тихих песнопений“ — музу.

Расставаясь с вызванными им к жизни образами „Кавказского пленника“, Пушкин в эпилоге писал:

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там...

Находя ряд недостатков в произведении своих молодых дней, Пушкин всё же продолжал любить его — за искренность и душевность, за правдивое отражение природы и людей Кавказа, наконец, за верное запечатление собственных чувств и дум. В 1828 году Пушкин переиздавал „Кавказского пленника“ и неизбежно должен был вторично пережить

... воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

Новое издание „Кавказского пленника“ вышло в свет 2 мая 1828 года.¹ А всего через какой-нибудь месяц (и, возможно, еще менее того) эмоциональное восприятие поэта неожиданно было потрясено одним из тех самых напевов, которые некогда его „волшебница-муза“ подслушивала в глухих аулах из уст „осиротелых дев“²

Так у Пушкина возникли и общий строй и отдельные образы под сказанного музыкой стихотворения. Когда же пришло время передать стихотворение в типографию, оно уже должно было в сознании поэта приобрести относительную самостоятельность. Тогда Пушкин внес в первоначальную редакцию некоторые изменения и дополнения, никак

шенно независимо от А. А. Олениной. См. его книгу: Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950, стр. 36—37.

¹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е, СПб., 1910, стр. 172.

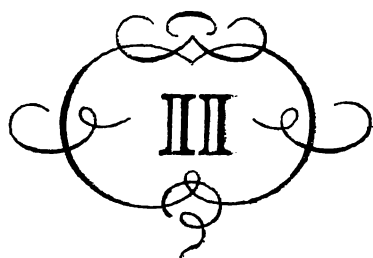
² На такое соотнесение стихотворения „Не пой, красавица, при мне“ с эпилогом „Кавказского пленника“ наталкивал еще П. И. Бартев. Однако и он отсюда делал неверный, как вытекает из сказанного, вывод, будто стихи эти „связаны с каким-нибудь действительным случаем“ и „в них, может быть, заключена какая-нибудь биографическая черта“ (Петр Бартев. Пушкин в Южной России. Материалы для его биографии. М., 1862, стр. 25).

не нарушившие, однако, идейного смысла стихотворения. В этом окончательном виде стихотворение „Не пой, красавица, при мне“ и получило непреходящую славу.¹

„Грузинская песня“ Грибоедова — Глинки — Пушкина явилась первым в истории нашей страны опытом претворения в песенной лирике подлинного грузинского народного напева. По этому именно пути впоследствии пошли лучшие представители грузинской национальной музыки. И советские люди никогда не забудут, что у колыбели нарождавшегося нового грузинского национального искусства стояли три гения культуры русского народа.



¹ В задачу настоящей работы не может войти выяснение попутно встающего и крайне серьезного вопроса, на который биографами до сих пор не было обращено должного внимания. В 1820 году Пушкин говорит о „песнях Грузии *счастливой*“, а в 1828 году — о „песнях Грузии *печальной*“. Чем объяснить такое резкое изменение? Позволю себе предложить сопоставить его со следующими историческими фактами. Узнав о восстании декабристов и возлагая надежды на ослабление России, шахский Иран в июле 1826 года, без объявления войны, напал на Закавказье. На некоторое время Грузия вновь стала ареной боевых действий, и ее города и села опять были обогреты кровью. А в марте 1827 года Николай I отстранил А. П. Ермолова, которого не без основания подозревал в покровительстве вольнолюбивому офицерству и которому, приписав военные неудачи, от занимаемых им на Кавказе командных постов. Управление Грузией тогда же было возложено на яркого реакционера, одного из членов верховного суда над декабристами, генерала Паскевича. Считаю объяснение И. К. Ениколопова (указ. соч., стр. 99—100), некритически следующего в общей оценке положения Грузии за проф. А. Хаханавили, менее приемлемым.



И. С. ИЛЬИНСКАЯ

О „СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПУШКИНА“

Известно, что идея составления „Словаря языка Пушкина“, являющаяся мечтой целого поколения русских филологов на протяжении почти полувека, получила возможность конкретного осуществления в нашей стране только после Великой Октябрьской социалистической революции.¹ Работа по составлению Словаря началась в конце 1938 года при Музее Пушкина Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии Наук СССР, под руководством профессора Г. О. Винокура. Прерванная в 1941 году военными событиями, работа эта была вновь начата летом 1945 года в Институте русского языка Академии Наук СССР, реорганизованном в 1950 году в Институт языкознания, где она продолжается до настоящего времени. Работа ведется в Секторе русского литературного языка, возглавляемом академиком В. В. Виноградовым, который принял на себя руководство по составлению Словаря после смерти профессора Г. О. Винокура в 1947 году.

До 1949 года группа сотрудников, работающих над Словарем Пушкина, состояла из трех человек, затем она постепенно увеличивалась, и в настоящее время в ней числится шесть научных сотрудников.

Что сделано за это время по составлению „Словаря языка Пушкина“? Ограничусь самыми общими указаниями. Создана картотека Словаря, включающая в себя около миллиона карточек, на которых зафиксированы все случаи употребления слов в произведениях Пушкина по основному тексту 16-томного академического издания. Каждый случай словоупотребления снабжен соответствующим контекстом. Эта картотека, представляя сама по себе большую ценность, часто используется для научных исследований работниками центра и периферии. Используя эту картотеку, сотрудники „Словаря языка Пушкина“ закончили в основном составление первого тома Словаря, включающего словарные статьи от А до И включительно (130 печатных листов). Второй том Словаря

¹ См.: Проект Словаря языка Пушкина. Изд. Академии Наук СССР, 1949, стр. 5—11.

(от К до О включительно) будет закончен в 1953 году и третий — в 1955 году.

Основная цель „Словаря языка Пушкина“ — „служить пособием по изучению русского языка в его истории“,¹ т. е. дать такой материал, в котором бы наиболее полно и верно был отражен словарный состав русского литературного языка первой трети XIX века, как он представлен в творчестве национального гения русской литературы — Пушкина. В настоящее время, после исторических трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, эта задача приобретает особое значение. Сравнивая современный русский язык с языком Пушкина, И. В. Сталин пишет:

„Что изменилось за это время в русском языке? Серьезно пополнился за это время словарный состав русского языка; выпало из словарного состава большое количество устаревших слов; изменилось смысловое значение значительного количества слов; улучшился грамматический строй языка. Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка“.²

И. В. Сталин намечает здесь широкую программу изучения истории русского литературного языка с момента его становления до наших дней, и „Словарь языка Пушкина“ в соответствии с этим, отражая словарный состав языка эпохи Пушкина, легший в основу современного русского языка, должен в то же время явиться тем материалом для научных исследований, на основании которого эта программа может быть в известной части выполнена. Историк русского литературного языка найдет в „Словаре языка Пушкина“ конкретный материал, характеризующий историю словарного состава русского языка в той его части, которая касается выпадения устаревших слов из языка и изменения смыслового значения многих слов, найдет также и некоторый материал, отражающий факты грамматической системы языка эпохи Пушкина, поскольку в Словаре фиксируются все морфологические формы слов и отдельные синтаксические конструкции.

Я не буду останавливаться на принципах подачи материала в словарной статье и на технике ее составления, поскольку они подробно изложены в „Проекте Словаря языка Пушкина“. Следует, однако, отметить, что, придерживаясь в основном этих принципов и пользуясь уже выработанными техническими приемами, составители Словаря в процессе работы над материалом внесли в них ряд изменений, позволяющих глубже, нагляднее отразить значение данного слова, выявить отдельные оттенки внутри значения, случаи особого применения слова, которые раньше оставались не раскрытыми, отметить характерные для слова синтаксические конструкции. Все эти изменения были рассмотрены

¹ Проект Словаря языка Пушкина. 1949, стр. 11.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 9—10.

и одобрены на специальном совещании лексикологов и пушкинистов весной 1949 года.

Позволю себе на отдельных примерах показать, как обрабатывается слово в словарной статье Словаря Пушкина.

Рассмотрим в основных чертах словарную статью *густой*. В этом слове Словарь выделяет четыре значения. Первое значение определяется так: „Состоящий из чего-нибудь тесно, плотно расположенного, тесно, часто растущего“. Например:¹

... С камня на камень
Звонкой струится дугой, пещерное дно затопляет
Резвый ручей. Он, пробив глубокое русло, вьется
Вдаль по роще *густой*,² веселя ее сладким журчаньем.

(„В роще карийской“).

Или:

Невольно волосы *густые*
Рукой небрежной заплела...

(„Руслан и Людмила“).

Внутри этого значения выделяются два оттенка, в которых основное значение прилагательного несколько модифицировано. Первый оттенок — „обильно, густо покрытый, поросший чем-нибудь“:

Да вновь увяжу я ковры *густых* лугов
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И злчных берегов знакомую картину...

(„Царское село“).

Второй оттенок — „имеющий обильную зелень“:

На склоне темных берегов
Какой-то речки безымянной,
В прохладном сумраке лесов,
Стоял поникшей хаты кров,
Густыми соснами венчаный.

(„Руслан и Людмила“).

Модификация основного значения в указанных оттенках объясняется тем, что прилагательное *густой* определяет существительное иного типа, чем в основном значении. В основном значении определяемыми существительными являются слова „роща“, „волосы“, т. е. такие слова, вещественное значение которых складывается из представления о множестве отдельных однородных предметов (роща состоит из деревьев, волосы из отдельных волос и т. п.), которые могут быть расположены друг к другу тесно или часто. В оттенках же определяемые существительные „луг“, „сосна“ по своему вещественному значению характери-

¹ Текст произведений Пушкина дается по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

² Курсив везде наш.

зуются в первую очередь не этим представлением, хотя оно и предполагается, а другими. Луг — это прежде всего место, площадь земли, сосна — это дерево, представление же о множестве однородных предметов, являющееся основным для слов типа „роща“, „волосы“, в них присутствует лишь как дополнительное, сопутствующее. Соединяясь с прилагательным *густой*, существительные этого типа несколько видоизменяют его основное значение, как бы приспособляя к своему, хотя представление об основном признаке — множестве однородных предметов — в нем всё же остается.

Не останавливаясь более на пояснении тех соображений, на основании которых составители Словаря выделяют тот или иной оттенок, то или иное значение (эти лексикологические разъяснения отняли бы слишком много времени), ограничусь перечнем остальных значений с указанием характерных примеров.

Второе значение слова *густой* — „вязкий, неожидкий“:

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолоу.

(„Анчар“).

Ср. также „густая грязь“, „густое вино“ и др.

Третье значение — „плотный, непрозрачный“:

Ты любишь звон стаканов
И трубки дым *густой*...

(„К Пушкину“).

... Кругом — *густая* мгла;
За ним — военный стан. . .

(„Полководец“).

Ср. также „густые туманы“, „серых туч густая полоса“ и т. п.

Четвертое значение, специализированное на выражении оттенков цвета и понятий, связанных с ним, можно охарактеризовать как „интенсивный, проявляющийся в полной мере, глубокий“:

Недвижим теплый воздух — ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на сивеве *густой* и темной...

(„Каменный гость“).

Ср. также „густая тень“, „густой мрак“, „густая тьма“.

Для удобства рассмотрения я остановилась на слове *густой*, имеющем всего 4 значения. Само собой разумеется, что многие слова по объему значений намного превышают это число. Так, например, глагол *идти*, слово основного словарного фонда, обросшее за длительную историю своего существования различными прямыми и переносными

значениями, представлен в творчестве Пушкина в 18 значениях, в которых в свою очередь имеются модифицирующие это значение оттенки.

Наряду с прямыми значениями, словарь отмечает также и переносные значения, характерные для языка пушкинской эпохи. Так, в слове *глава* отмечаются следующие переносы: глава — вершина горы, кургана:

Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые *главы*.

(„Руслан и Людмила“).

глава — крона, верхушка дерева:

Вновь зыблется пальма тенистой *главой* . . .

(„Подражания Корану“)

глава — в значении бутылочной головки в шутивно-ироническом употреблении:

„ . . . Не забудь и (говоря по Делилевски) витую сталь, пронзающую засмоленную [пробку] *главу* бутылки — т. е. штопер“.

(Л. С. Пушкину, около 20 декабря 1824 года; XIII, 130).

Словарь отмечает также случаи индивидуального переносного употребления того или иного слова у Пушкина. Например, в слове *изба* при основном значении указывается переносное употребление этого слова в письме к Соболевскому:

„Мой милый Соболевский — я снова в моей *избе*“.

(С. А. Соболевскому, 9 ноября 1826 года; XIII, 302).

Этот же перенос используется Пушкиным в перефразировке известной поговорки:

„Я решительно не хочу выносить сору из Михайловской *избы*“.

(Л. С. Пушкину, 1—10 ноября 1824 года; XIII, 118).

Словарь выделяет также случаи каламбурного и шутивно-иронического употребления, отмечая их соответствующей пометой и пояснениями. Например, при слове *идиллический* указывается ироническое его употребление в следующем контексте:

„Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ни чуть незабавно стоять в Инвалиде на ряду с *идиллическим* коллежским ассесором Панаевым“.

(Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 4 декабря 1824 года; XIII, 127).

Ср. также ироническое употребление слова *глубокий*:

„В Москве то ли дело? здесь жалеют о том, что я совсем, совсем упал; что моя трагедия подражание Кромвелю Виктора Гюго; что стихи без рифм не стихи; что Самозванец не [мог] должен был так неосто-

рожно открыть тайну свою Марине, что это с его стороны очень ветрено и не благоразумно — и тому подобные *глубокие* критические замечания“.

(П. А. Плетневу, 7 января 1831 года; XIV, 142).

Выделяется каламбурное употребление слова *гаснуть* внутри значения „терять силы, ослабевать“:

„Зеленая Лампа нагорела — кажется *гаснет* — а жаль — масло есть (т. е. шампанское нашего друга)“.

(П. Б. Мансурову, 27 октября 1819 года; XIII, 11).

Отмечаются также случаи каламбурно измененного названия, например:

„Беседа *зубителей* Российского Слова“ <о литературном обществе „Беседа любителей русского слова“>.

(П. А. Вяземскому, 27 марта 1816 года; XIII, 3).

При раскрытии значения того или иного слова Словарь отмечает также характерные для этого значения грамматические конструкции, в которых проявляется какой-либо смысловой оттенок. Так, при переносном значении слова *игрушка* — забава, развлечение — отмечается конструкция *игрушка чего*, т. е. характерное для него соединение с определяющим в родительном падеже:

„Истощенная поэзия превращается в мелочные *игрушки* остроумия...“.

(„О ничтожестве литературы русской“; XI, 272).

В Словаре приводятся устойчивые фразеологические сочетания, например, при слове *глаз* указывается *в глаза* в двух значениях — „в лицо, прямо“ (при глаголах речи):

„Назвать его *в глаза* обманщиком — было подвергнуть себя гибели...“.

(„Капитанская дочка“; VIII, 332)

и в значении „на глаза“ (при глаголе „попасться“):

„... Не худо нам знать его приметы, авось *в глаза* попадется, так не вывернется“.

(„Дубровский“; VIII, 195);

во все глаза (при глаголе „смотреть“):

„Я смотрел на него *во все глаза*“.

(„Русский Пелаг“; VIII, 416);

на глаза (кому или чьи; при глаголах „показаться“, „попасться“, „пускаться“, „являться“):

Подите: *на глаза* мои не смейте

Являться...

(„Скупой рыцарь“);

за глаза в значении „заочно, в отсутствии кого-нибудь“:

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город, — отвечал француз, — оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня *за глаза* в учителя;

(„Дубровский“; VIII, 200);

перед, пред глазами в двух значениях — „перед кем-нибудь, впереди кого-нибудь“:

Всечасно *пред* ее *глазами*
Пирьы сменяются пирами. . .

(„Мы проводили вечер на даче“)

и в значении „во мнении кого-нибудь“:

„Барклай. . . не успев оправдать себя *перед глазами* России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом“;

(„Объяснение“; XII, 134);

в глазах в трех значениях — „в представлении, во мнении чьем-нибудь или кого-нибудь“:

„Оправдай меня *в его глазах*“;

(А. А. Бестужеву, 12 января 1824 года; XIII, 84);

в значении „на глазах кого-нибудь, чьих-нибудь“:

В глазах родителей, она
Цвела как ландыш потаенный. . .

(„Евгений Онегин“)

и в значении „видеть что-нибудь“ (без глагола):

И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые *в глазах*. . .

(„Борис Годунов“);

при глазах (чьих-нибудь) в значении современного „на глазах“:

„Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место, некогда раненого *при его глазах*. . . офицера. . .“;

(„История Пугачева“; IX, 44);

для прекрасных глаз, куда глаза глядят, не сводить, не спускать глаз, взирать, смотреть чьими-нибудь глазами, взглянуть, глядеть, смотреть какими-нибудь глазами и др.

Уже сейчас, когда подготовлены материалы первого тома Словаря, можно с наглядностью убедиться в истинности положения И. В. Сталина о том, что структура пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом сохранилась во всем существенном до нашего времени как основа современного русского языка. Но наряду

с этим, располагая материалами Словаря, можно наблюдать также и те многочисленные изменения, которые характеризуют развитие русского литературного языка по пути его непрерывного и постепенного совершенствования. Находя в словаре такие слова, которые выпали из русского языка впоследствии, мы одновременно находим в нем богатый материал для наблюдений над изменением смыслового значения значительного количества слов. Приведу некоторые иллюстрации этого.

В языке Пушкина обращают на себя внимание многие сложные лексические образования, состоящие из двух основ. Наряду с теми значениями, которые имеются у них и в современном языке, они, кроме того, обнаруживают такие, которые непосредственно вытекают из их сложного морфологического состава и представляют собой и по смысловому значению сложные членимые образования, соотносимые с отдельными частями, их образующими. Так, например, сложные образования со вторым элементом *-душие*: *великодушие* и производные *великодушный*, *великодушно*; *малодушие* и производные *малодушный*, *малодушно*; *добродушие* и производное *добродушный*; *простодушие* и производное *простодушный* — обнаруживают в своем значении представление об определяемом „душа“ как совокупности морально-нравственных качеств и представление об определяющем признаке, качестве, выраженном в первой части сложного слова: великая, малая, добрая и т. д. Эти архаические значения отмечают также словарями XVIII и начала XIX века. Так, в „Словаре Академии Российской“ слово *малодушие* определяется как „свойство человека, который малого бедствия или напасти перенести не может, безрассудно печалится или радуется о безделице и оною прельщается“.

У Пушкина мы встречаем слово *великодушный* в архаичном значении в VII главе „Капитанской дочки“, в которой Пушкин устами Гринева характеризует защитников Белогорской крепости, отказавшихся присягнуть Пугачеву и за это повешенных им: „Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ *великодушных* моих товарищей“ (VIII, 325).

Само собой разумеется, что современное значение слова *великодушный* — „снисходительно-бескорыстный“ — было бы здесь неприменимо.

Ср. также:

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на берега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал...

(„К Овидию“).

Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный Гражданин!

(„Ф. Н. Глицке“).

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В соединении с неодушевленными существительными это значение несколько модифицируется, означая „внушенный великодушием“, „выражающий великодушие“, т. е. величие души:

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ.
(„Андрей Шенье“).

Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал. . .
(„Наполеон“).

Слова *малодушие*, *малодушный* как антонимы к предыдущим словам выступают в архаическом значении у Пушкина, например, в следующих контекстах:

„Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное *малодушие*“.

(„Отрывки из писем, мысли и замечания“; XI, 55).

„Судьба Иоанны д'Арк в отношении <к> ее отечеству по истине достойна изумления. Мы конечно должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может еще быть извинено предрассудками века. . . Спрашивается, чем извинить *малодушную* неблагодарность французов?“

(„Последний из свойственников Иоанны д'Арк“; XII, 155).

Да будет омрачен позором
Тот *малодушный*, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

(„Наполеон“).

Среди лукавых, *малодушных*,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
.

В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

(„Евгений Онегин“).

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он *малодушно* погружен. . .

(„Поэт“).

Ср. также *простодушный*:

Кто ж говорил Марии *простодушной*,
Кто ж это был? . .

(„Гавриилада“).

добродушие, добродушный:

„Едва заметим в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка, и средств оно, уже тотчас спешим приветствовать его титулом Гения. . . : *добродушие* смешное, но безвредное. . .“.

(„Бал» Баратынского“; XI, 74).

„Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с M^{de} de Staël, не смотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же *добродушной* как и гениальной“.

(„Рославлев“; VIII, 152).

Подобной членимостью, как бы разложимостью значения, обладали также и многие другие сложные образования. Например, целый ряд образований с „благо“ — *благонамеренный, благонамеренность*, в которых в пушкинскую эпоху было живо значение, отмечаемое словарями его времени, как „полезные, добрые намерения имеющий“, хотя нарождалось уже и другое, новое — „согласный с официально принятым образом мыслей“; *благотворительный*, в значении „склонный к совершению добра, блага“; *благородный, благодатный* и др.

Материалы Словаря Пушкина дают возможность обнаружить также большую глагольность целого ряда прилагательных глагольной основы, в частности, прилагательных на *-тельный*, которые по своему значению были близки к действительным и страдательным причастиям, выражая активные и пассивные глагольные признаки. Так, например, прилагательное „блистательный“ в следующих контекстах означает, собственно, „блистающий“.

В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы *блистательным* ковром.

(„Евгений Онегин“).

Она молчит: но вдруг не стало мочи,
Закрылися *блистательные* очи,
К лукавому склонив на грудь главу,
Вскричала: ах! . . и пала на траву. . .

(„Гавриилада“).

Ср. также *исключительный* в значении, близком к значению „исключающий что-либо другое“:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

„Упомянув об *исключительном* употреблении французского языка в образованном кругу наших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений“.

(„О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова“; XI, 33).

Ср. также *окончательный* в значении „последний“, т. е. в значении, близком к „оканчивающий“, „завершающий“.

„Поэму свою я кончил. И только последний, т. е. *окончательный*, стих ее принес мне истинное удовольствие“.

(П. А. Вяземскому, апрель 1820 года; XIII, 15).

„К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в *окончательном* курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться“.

(„О народном воспитании“; XI, 46).

Ср. также *решительный* в значении „решающий“:

„Накануне *решительного* дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь...“.

(„Мятель“; VIII, 78).

„...Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем *решительном* поступке, тем более находил в нем благоразумия“.

(„Барышня-крестьянка“; VIII, 123).

Ср. также *замечательный* в пассивно-процессуальном значении — „достойный быть замеченным, замечаемый“:

„Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего *замечательного*, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку“.

(„Капитанская дочка“; VIII, 347).

„Прошло несколько времени без всякого *замечательного* случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилы Петровича“.

(„Дубровский“; VIII, 207).

„Иное сочинение само по себе ничтожно, но *замечательно* по своему успеху или влиянию...“.

(„О журнальной критике“; XI, 89).

Большая глагольность значения наблюдается у прилагательных с другими суффиксами, в частности, с суффиксами глагольного происхождения, служившими для образования древнерусских причастий:

Кто, волны, вас оставил,
Кто оковал [ваш] бег могучий,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

(„Кто, волны, вас остановил“).

„Дремучий“ значит здесь „дремлющий“.
Ср. также *бывалый*:

„Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые“.

(„Кирджали“; VIII, 256).

Ср. также *охладелый* в значении „охладевший“:

Две ножики... Грустный, *охладелый*,
Я всё их помню...

(„Евгений Онегин“).

Ср. также *опьянелый*:

Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью *опьянелый*,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.

(„Полтава“).

На основании анализа всех случаев употребления того или иного слова Словарь позволяет вскрыть иное, несовременное значение отдельных слов у Пушкина. Так, например, сопоставляя все случаи употребления прилагательного *безопасный*, мы убеждаемся в том, что оно имело значение, которое можно определить словами „огражденный, защищенный от опасности“, в отличие от современного значения „не представляющий собой опасности, не несущий кому-нибудь опасности“.

„Мятежники, *безопасные* в десяти сажнях от крепости, и большую частью *гулебщики* (охотники) попадали даже в щели, из которых стреляли осажденные“.

(„История Пугачева“; IX, 37).

„Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол мог <быть> *безопасным* от нападения страшного зверя“.

(„Дубровский“; VIII, 188—189).

В том же значении следует понимать и „безопасные расселины“ в „Руслане и Людмиле“:

Во тьму расселин *безопасных*
Уносят бедную злодей.

Прилагательное *безобразный*, помимо современного значения, имело также значение „бесформенный“, „без определенных очертаний“, т. е. „не имеющий образа“:

„Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже река Терек и его *безобразные* водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания“.

(„Путешествие в Арарук“; VIII, 452).

В этом же смысле употреблено это слово и в „Бесах“:

Бесконечны, *безобразны*,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

Ср. также „безобразный сон“ в „Руслане и Людмиле“ (IV, 80) и „безобразные... видения“ в „Мятели“ (VIII, 78).

Существительное *сочувствие* употребляется Пушкиным в значении „одинаковое с кем-нибудь чувствование“, как его определяет Словарь церковно-славянского и русского языка 1847 года:

„Если г. Юго, будучи сам поэт (хотя и второстепенный), так худо понял поэта Мильтона, то всяк легко себе вообразит, что под его пером стало из лица Кромвеля, с которым не имел он уж ровно никакого *сочувствия!*“.

(„О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая!»; XII, 141).

Слово *шалость* имело, наряду с современным, значение отвлеченного качества от прилагательного *шалый*:

Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя. Здравья дар благой
Мне снова ниспослали боги,
А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной и *шалости* молодой.

(„Вяздорвление“).

Прилагательное *жадный* означало также „жаждущий чего-нибудь, стремящийся к чему-нибудь“, что выражается в наличии при нем дополнения в родительном падеже:

Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Молодой души, печали *жадной*...

(„Евгений Онегин“).

В соответствии с этим значением существительное *жадность* имело значение „жажда, желание чего-нибудь“:

„...Г-н Полевой уверяет, что не слава вела его в битвы; что он ее не знал, что недостаток пищи, одежды, *жадность* добычи были причинами его походов“.

(„История русского народа, сочинение Николая Полевого“; XI, 123).

Все указанные случаи значений слов, отличных от современного языка, позволяют правильное понять текст произведений Пушкина и в ряде случаев приводят к его иному, более точному толкованию. Помочь глубже понять, полностью раскрыть содержание произведений Пушкина является также одной из задач Словаря. В этом отношении любопытным примером является XLIV строфа из VIII главы „Евгения Онегина“:

„Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной Молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?“

Сочетание „соблазнительная честь“ следует понимать не в современном значении, как честь, соблазняющая Онегина, привлекательная для него, а как „честь соблазнителя женщины“. Такое понимание вытекает из сопоставления данного текста с другими подобными случаями употребления этого слова, например:

„Капитан Байрон, сын знаменитого адмирала и отец великого поэта, навлек на себя *соблазнительную* славу. Он увез супругу лорда Carmarthen и женился на ней тотчас после ее развода“.

(„Байрон“; XI, 275).

Ср. также:

„Он (т. е. Болховской) очень зло отзывается об одесской жизни, о гр. Воронцове, о его *соблазнительной* связи с О. Кармышкиной...“.

(„Дневник 1833—1835 годов“; XII, 325).

Таким образом, анализ значения данного слова у Пушкина приводит нас к новому пониманию этой строфы в „Евгении Онегине“: Татьяна бросает Онегину оскорбительный вызов, упрек, подозревая его в бесчестных намерениях, в отсутствии мужской порядочности.

В письме к В. А. Жуковскому из Михайловского Пушкин пишет:

„Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться монаршей милостью не почли за небрежение или *возмутительное* упрямство...“.

(В. А. Жуковскому, июль 1825 года; XIII, 187).

Сопоставляя прилагательное *возмутительный* со всеми прочими случаями употребления этого слова у Пушкина, а также с другими однокоренными образованиями (*возмутить* — *возмущать*, *возмущать* у

тяться — возмущаться, возмущение), мы убеждаемся, что оно характеризует упрямство Пушкина как его оппозиционное настроение по отношению к правительству — „возмутительный“ значит здесь „выражающий недовольство существующим положением вещей“.

Имея в своем распоряжении все случаи употребления того или иного слова, Словарь может оказать помощь при установлении правильной конъектуры. Так, например, в названии *Аничкин мост* допустимо только *Аничкин*, а не *Аничков*, как это дано в конъектуре Академического издания 1937—1949 годов (см. письмо Л. С. Пушкину, 25 августа 1823 года), так как *Аничков* употребляется только как название дворца.

Таково в основных чертах состояние работы по составлению „Словаря языка Пушкина“ и то общее направление, в котором она протекает.¹ Некоторые наблюдения, сделанные на основании материала первого тома, служили здесь лишь иллюстрацией того, что сможет извлечь из Словаря исследователь-лингвист и исследователь-литературовед, каждый в соответствии со своими научными целями.



¹ См. также: А. Д. Григорьева. Словарь языка Пушкина. „Вопросы языкознания“, 1952, № 3, стр. 150—159; Е. П. Ходакова и В. В. Пчёлкина. Обсуждение первого тома Словаря языка Пушкина. „Русский язык в школе“, 1952, № 3, стр. 85—86.

Т. Г. ЦЯВЛОВСКАЯ

О РАБОТЕ НАД „ЛЕТОПИСЬЮ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПУШКИНА“

Изучение жизни Пушкина началось сразу же после смерти поэта; тогда же его ближайшие друзья приступили к чтению его рукописей, постепенной публикации еще неизвестных его произведений, созданию первой биографии поэта. Вскоре в самых разнообразных изданиях стали появляться воспоминания о Пушкине, пояснения к отдельным его произведениям, комментарии к упоминающимся в них лицам и событиям и т. д. Спустя двадцать лет после смерти Пушкина созданы были и первые фундаментальные биографии великого русского поэта, написанные П. В. Анненковым и П. И. Бартеневым. Между тем количество печатных источников для истории жизни и творчества Пушкина, в том числе и таких, которые имели первоклассное историческое значение, возрастало непрерывно. Достаточно упомянуть здесь хотя бы о публикациях запрещенных стихотворений Пушкина в зарубежных изданиях (Герцена и Огарева), о появлении в печати таких ценнейших источников для его биографии, каковы воспоминания о нем И. И. Пущина или А. П. Керн. Чрезвычайное обилие печатных и архивных материалов о Пушкине, трудности их разработки в связи с многочисленными встречающимися в них противоречиями и неясностями, требующими особых дополнительных разысканий, еще в последней четверти XIX века привели исследователей к мысли о создании такой справочной книги, из которой можно было бы черпать точные, критически отобранные данные о различных событиях жизни и деятельности Пушкина, сопровождаемые столь же точными их датами.

В 80-х годах составлена была первая, еще краткая, но хорошо разработанная для того времени „Хронологическая канва для биографии Пушкина“ Я. К. Грота, выдержавшая три издания.¹

¹ Первоначально напечатана в книге Я. К. Грота: Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887; в следующем году переиздана с дополнениями; третье издание под редакцией К. Я. Грота вышло в свет в 1899 году.

На смену работе Грота пришла книга Н. О. Лернера „Труды и дни Пушкина“, вышедшая в свет в Москве в 1903 году. Н. О. Лернер включил в свою книгу указания на даты создания всех произведений поэта, почти полностью отсутствовавшие в „канве“ Грота, и учел все биографические и документальные материалы о Пушкине, появившиеся в печати за предшествующие годы.

В предисловии к книге Лернера (стр. V—VI) издатели писали, сопоставляя ее с указанным трудом Я. Грота: „«Канва» в последнем издании занимает 27½ страниц по 43 строки в странице, т. е. всего менее 1200 строк. В нашем издании материалами занятых свыше 8½ печатных листов, 134 страницы, по 44 строки, т. е. более 5800 строк! Под 1818 годом, например, у Грота сделано всего три указания и все без точных чисел месяца; у нас до 20 указаний и из них 13 с точными датами. Под 1819 годом у Грота опять-таки только три указания; у нас их около 30, т. е. в десять раз больше. В общем же издаваемые нами «Труды и Дни» дают приблизительно *впятеро* больше данных, чем «Канва» Грота“.

В 1910 году книга Н. О. Лернера „Труды и дни Пушкина“ вышла в свет вторым, исправленным и дополненным изданием (СПб., 577 страниц). Насколько эта книга оставяла позади издание 1903 года, легко представить себе с помощью таких же цифровых сопоставлений: „Труды и дни“ издания 1910 года занимали уже 30 печатных листов вместо 8 листов первого издания. На 20 указаний, относящихся к тому же 1818 году, во втором издании пришлось 55, т. е. почти втрое больше; на 30 указаний, относящихся к 1819 году, автор труда за семь лет работы собрал 60 указаний, т. е. вдвое больше прежнего.

Работа Н. О. Лернера получила широкое признание и распространение. На долгие годы она стала настольной справочной книгой для всех, кто изучал Пушкина с той или другой точки зрения. Однако пушкиноведение развивалось интенсивно. Особенно большие успехи сделало оно в нашу советскую эпоху. Огромное количество архивных материалов, таившихся в государственных хранилищах и в частных руках, ставшее доступным лишь после Великой Октябрьской социалистической революции, сразу расширило наши представления о жизни Пушкина. Особенно обильными оказались впервые обнаруженные в это время материалы, относящиеся к тайной слежке за Пушкиными агентов царского правительства еще с 1820 года. Через шесть лет следствие над декабристами (девять томов следственных дел о декабристах также опубликованы лишь в последние десятилетия, с 1925 года) показало, какую важную роль в формировании мировоззрения ряда деятелей декабрьского восстания сыграли политические, революционные стихотворения Пушкина.

Книг, статей, публикаций, материалов о Пушкине накапливалось такое огромное количество, что память не могла удерживать их. По разным отраслям пушкиноведения возникали библиографии, количество

которых в свою очередь потребовало даже составления особой библиографии пушкинских библиографий.¹ Из всего сказанного ясно, что в свое время очень полезная книга Н. О. Лернера „Труды и дни Пушкина“ к нашему времени уже значительно устарела.

Еще в 1925 году, отмечая, что книга Н. О. Лернера является „настоящим справочником для каждого, работающего над Пушкиным“, Б. В. Томашевский замечал: „К сожалению, книга эта уже устарела и не может служить безупречно-надежным источником сведений. Скорее это — отправной пункт для разысканий, которые необходимо каждый раз проделывать самостоятельно“.²

Изобилие накопленного материала требовало замены ее новой книгой, которая подвела бы итог более чем столетнему изучению жизни и деятельности великого русского поэта и могла бы удовлетворить всем подлинно научным требованиям, предъявляемым к такого рода изданиям в наше время.

1

Именно эту цель и поставил себе Мстислав Александрович Цявловский (1883—1947), автор „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“, первый том которой вышел в свет в 1951 году.³

Приступив в 1939 году к созданию картотеки для своего будущего труда, М. А. Цявловский определил его широкую программу: просмотреть страницу за страницей все основные исторические и литературные журналы и отдельные издания, в которых были, должны были быть или могли быть напечатаны материалы, являющиеся первоисточниками для биографии Пушкина.

Материал, подлежащий просмотру, регистрации, изучению, был огромен. Достаточно сказать, что в одном лишь первом томе „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“, т. е. в четвертой части труда, одних только первоисточников, на которые приходилось ссылаться неоднократно, иначе говоря, таких, которые заключают в себе особенно много фактов, вошедших в книгу, оказалось более 600 (см. перечень их в „Условных сокращениях“ на стр. 792—825). М. А. Цявловскому сразу стало ясно, что пойти путем Я. К. Грота и Н. О. Лернера, т. е. создавать свою „Летопись“ единолично, — непродуктивно и нецелесообразно: на это потребовались бы десятилетия; даже труд по первоначальному собиранию материала не мог бы им быть закончен. От такого способа составления справочного пособия пришлось сразу же отказаться. В наше время работа подобного типа могла быть осуществлена

¹ Л. М. Добровольский и В. М. Лавров. Библиография пушкинской библиографии. 1846—1950, М. — Л., 1951.

² Б. Томашевский. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, стр. 72—73.

³ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951 (876 страниц).

лишь специально подобранным коллективом. Подобное же по своей трудоемкости дело — составление „Словаря языка Пушкина“ — было организовано точно так же на коллективных началах.

Работа по осуществлению картотеки „Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина“ велась с организационной помощью Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии Наук СССР небольшой группой из восьми человек, к которой примыкали эпизодически и некоторые другие сотрудники. Работа шла три года (1939—1941). О системе работы по составлению картотеки рассказано в предисловии к первому тому „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“, где названы также имена ее постоянных деятельных участников.

„Задача картотеки, — как ее определял инициатор, главный деятель и руководитель работы, — собрать обширнейший биографический материал, накопившийся за десятилетия в периодических изданиях и в отдельных статьях и заметках. В картотеку введены в кратком пересказе также статьи, заметки и упоминания о поэте и его произведениях, появившиеся при его жизни в печати и имеющиеся в переписке его современников. Коллективом сотрудников, под руководством М. А. Цявловского, еще до войны было написано свыше двадцати тысяч карточек“.¹

Картотека эта, охватывающая всю жизнь Пушкина, составленная из этих карточек (удобочитаемых, как печатная книга), в настоящее время является собственностью Института мировой литературы имени А. М. Горького, где она и хранится, доступная любому исследователю.

При основной картотеке имеются две дополнительные: *контрольная картотека*, в которой зарегистрированы все расписанные первоисточники — книги и журнальные статьи, и *подсобная картотека итинерариев*² лиц, связанных личными отношениями с Пушкиным.

¹ М. А. Цявловский. Советское пушкиноведение. „Юбилейный сборник, посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции“, ч. II, Изд. Академии Наук СССР, 1947, стр. 801.

² Под итинерарием разумеется путь странствований того или иного лица, по возможности полный и точный указатель тех городов, местностей и т. п., где он жил и мимо которых он проезжал, сопровождаемый точными датами. Подобные справочные перечни составлялись иногда в приложениях к основному своду фактов и дат, относящихся к биографии того или иного деятеля (см., например, краткий „Итинерарий И. С. Тургенева“, составленный М. К. Клеманом в приложении к его „Летописи жизни и творчества И. С. Тургенева“, М.-Л., 1934, стр. 366—368). Отметим, впрочем, что подробный и документальный „Итинерарий А. С. Пушкина“ вне его „хронологической канвы“ не составлен еще, хотя в нем и ощущается нужда. Интересной выилась предпринятая П. П. Померанцевым попытка составить „Карту путешествий Пушкина“ (см. „Известия Всесоюзного географического общества“, 1949, т. LXXXI, № 5, стр. 453—458, с приложением карты), однако эта попытка имела особую цель — наглядно определить „географический кругозор великого поэта“. Задавшись целью установить, в частности, „сколько километров наездил Пушкин“, П. П. Померанцев расположил все пройденные им расстояния в хронологическом порядке, затем промерил их на карте со всей возможной точностью и получил интересные итоги: до ссылки — 2250 км, с 1820 по 1826 год — 9000 км, путешествие в Арзрум в 1829 году — 5200 км, поездка на восток для сбора материалов о Пуга-

Для выполнения этой последней работы всем участникам бригады были розданы составленные М. А. Цявловским списки ближайших друзей и знакомых Пушкина, за местопребыванием которых составителю карточек надлежало следить при сплошном просмотре огромного количества печатных источников. На карточке отмечались на основании точного документа (письма, дневника и т. д.) даты местопребывания тех или других лиц в определенный период времени.

Картотека итинерариев является важным пособием для датировки и проверки того или иного факта, взятого из каких-либо воспоминаний или иных первоисточников, и не только при изучении Пушкина, но и при изучении всех его современников.

Важное подсобное значение справочника такого рода покажем на следующем примере. Существует рисунок: „Встреча нового года у Одоевского“. Изображенные на рисунке сидящие за столом люди перечислены здесь же рукой В. Ф. Одоевского. Это — Жуковский, Кривцов, Пушкин, Соболевский, И. Киреевский, М. И. Глинка, Любимов.¹ Для того чтобы установить, какой именно новый год встречал Пушкин у Одоевского, нам пришлось обследовать итинерарии всех названных лиц. Оказалось, что длительные выезды из Петербурга Жуковского, М. И. Глинка и С. А. Соболевского исключают ряд лет, к которым можно было бы отнести указанный рисунок. Пока приходится остановиться на двух возможных датах: рисунок изображает встречу нового 1835, либо 1836 года.

В этой картотеке зафиксированы итинерарии четырехсот пятидесяти восьми лиц, размещенные на 4667 карточках. Так как итинерарии эти составлялись попутно, то полученные карточки не отражают полностью

чеве — 3300 км. Итого — 19 750 км. „Если к этому мы добавим еще около 20 поездок в Москву, в Болдино, в Боровичи, в Торжок, в Старицу, на Полотняный завод под Калугой и пр., скромно считая в среднем около 750 км на каждую из таких поездок, то это даст еще 15 000 км. Итого 34 750 км! Пусть будет даже 34 000 км. Цифра даже для профессионала-путешественника значительная, почти окружность земного шара, — замечает П. П. Померанцев и прибавляет: — Величайший путешественник всех времен и народов Пржевальский за свои центрально-азиатские странствования совершил около 30 000 км. Разве после этого мы не назовем нашего гениального поэта — путешественником? Он был действительно настоящим и замечательным путешественником“ (стр. 456). Вывод этот, разумеется, имеет свое значение для изучения творчества Пушкина, однако составление „Карты путешествий Пушкина“ не устраняет необходимости составления особого итинерария Пушкина для справочных целей. В своих пояснениях к „Карте путешествий Пушкина“ П. П. Померанцев отметил, что в основу этой карты была положена составленная им „сводка основных дат из жизни Пушкина, связанных с его путешествиями, поездками и местопребыванием“, только часть которой, относящаяся к 1833 году, напечатана в приложении к его статье (стр. 457—458). Полагаем, что опубликование всей указанной сводки было бы желательным. Участие в составлении итинерариев специалистов-географов, знатоков карты и географической номенклатуры могло бы значительно повысить качество итинерариев как справочных литературных пособий.

¹ Рисунок со списком имен воспроизведен в „Литературном наследстве“ (кн. 16—18, 1934, стр. 727).

всех дат и географических названий, сохранившихся в литературе, но еще не подобранных и не систематизированных соответствующим образом.

Тем не менее лица, жизнь и деятельность которых тесно соприкасалась с жизнью Пушкина, представлены в этой подсобной картотеке достаточно полно. Так, если Баратынский имеет 49 карточек, Батюшков — 30, А. А. Бестужев — 43, Д. В. Давыдов — 60, Н. М. Языков — 35, а Ф. И. Тютчев — всего 1, то к П. А. Вяземскому относится 371 карточка, к В. А. Жуковскому — 492, к Н. М. Карамзину — 155, к А. И. Тургеневу — 299.

Основная картотека, составлявшаяся для „Летописи“ и получившаяся в результате тщательного просмотра огромного количества первоисточников, состоит из следующих, слитых в хронологической последовательности элементов:

1. Творчество Пушкина.¹

2. Переписка его.²

3. Сведения о наиболее значительных рисунках Пушкина.³

Для I тома „Летописи“ это главным образом портреты; тут оказалось пятьдесят лиц, изображенных поэтом, не считая большого количества его превосходных автопортретов. В иных портретных зарисовках, сделанных Пушкиным, исследователям удалось определить тех или иных исторических деятелей, известных поэту лишь по их изображениям: Данте, Вольтер, Мирабо, Робеспьер, Лувель, К. Занд, Наполеон, Гете; в других мы видим изображения современников поэта: писателей, декабристов, деятелей театра, сослуживцев и других знакомых поэта.⁴

4. Публикации произведений поэта.⁵

¹ Карточки расписаны по Академическому изданию 1937—1949 годов, откуда взяты и датировки.

² Так же.

³ Все сведения о рисунках Пушкина извлечены из приготовленного к печати описания рисунков Пушкина (составленного М. Д. Беляевым и Т. Г. Цявловской-Зенгер). Книга эта будет сопровождать альбом всех рисунков Пушкина (более девяти-сот листов с рисунками), который явится одним из дополнительных томов к Академическому изданию Пушкина. Изучение рисунков Пушкина стало возможным благодаря двум изданиям книги А. М. Эфроса „Рисунки поэта“ (М., 1930 и 1933); искусствовед-пушкинист вывел графику поэта на подобающее ей место — на широкую дорогу изучения пушкинского наследия; до его трудов знакомство читателя с рисунками Пушкина зависело от случайных публикаций единичных рисунков. Специальных статей, посвященных рисункам Пушкина, до работ Эфроса, было две: Г. П. Георгиевского — „Семь рисунков А. С. Пушкина“ (в „Русском вестнике“, 1899, № 6, стр. 381—399) и И. К. Линдемана — „А. С. Пушкин как художник и рисовальщик“ (М., 1915, 8 стр.).

⁴ Список их см. в указателе рисунков Пушкина на стр. 837—838 „Летописи“.

⁵ Все первые прижизненные публикации и датировки выхода их в свет взяты из книги Н. Сиявского и М. Цявловского: Пушкин в печати. 1814—1837. Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни. Издание 2-е, исправленное, М., 1938 (первое издание вышло в Москве в 1914 году, к столе-

5. Печать о Пушкине при его жизни.

Сюда входят критические статьи о нем, стихи, ему посвященные, эпитаграммы, направленные против него, цитаты из его стихов в эпитафиях и в текстах беллетристических произведений пушкинской эпохи; упоминания Пушкина прямо или иносказательно в различных статьях; газетные заметки о выходе в свет или продаже печатных произведений Пушкина; сообщения о переводах его произведений на различные языки; упоминания Пушкина среди подписчиков на то или иное издание и т. д.¹

6. Записи о Пушкине в дневниках его современников и в их переписке, поскольку она опубликована, а отчасти и по архивным данным.

7. Показания декабристов о встречах с Пушкиным и о роли его вольнолюбивой поэзии в формировании их политических взглядов.

8. Материалы о слежке за Пушкиным агентами полиции и III Отделения.

9. Данные о путешествиях Пушкина, устанавливаемые на основании различного рода источников.

10. Сведения о встречах Пушкина с теми или иными его знакомыми, устанавливаемые по письмам и воспоминаниям.

тию выхода в свет первого напечатанного произведения Пушкина). В предисловии к „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“ мы уже указывали:

„Повторных публикаций произведений Пушкина автор «Летописи» решил не вводить, считая неуместным излишеством повторять полностью только что вышедшую вторым изданием свою работу «Пушкин в печати. 1814—1837...».

Таким образом, дополнением к «Летописи» по этому вопросу должна служить названная книга, где материал расположен в той же хронологической системе. Только в виде исключения указывались в «Летописи» повторные публикации произведений Пушкина, например в «Собрании новых русских стихотворений» (1824), так как последнее издание вызвало широкие отклики в печати, связанные с именем поэта“ (стр. VII).

Мы полагаем, что решение не вводить в книгу, посвященную летописи жизни и творчества Пушкина, указаний о повторных публикациях текстов поэта было неправильным. Книга Н. Снявского и М. Цявловского вышла (вторым изданием) в 1938 году. Первый же том „Летописи“, картотека которой начата работой в 1939 году, вышел в свет лишь в 1951 году, когда книга „Пушкин в печати“ давно стала библиографической редкостью.

Во II и III томы „Летописи“ мы введем все данные о появлении в печати произведений Пушкина, потому что эти явления литературной жизни поэта ни в какой мере не уступают по своему значению многим другим, включенным в книгу. Пропуски же повторных публикаций в I томе придется поместить в дополнениях к нему, которые безусловно появятся в разных изданиях, прежде всего в связи с опубликованием новых, до сих пор неизвестных архивных материалов о Пушкине.

¹ Вся эта часть материалов (по 1830 год, дальнейшая часть еще не сделана) была расписана по подготовленным к печати М. А. Цявловским (с коллективом сотрудников) двум томам труда „Печать о Пушкине при его жизни“. См. об этом в предисловии к „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“, стр. VIII. В известном сборнике В. Зелинского „Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина“ (вып. I—VII, 1887—1899), вышедшем в нескольких изданиях, помещены лишь критические статьи в собственном смысле слова; внутри года они датировок не имеют. Из поэзии же, включенной в „Печать о Пушкине“, до тех пор были собраны (трудами В. В. Каллаша и И. Н. Розанова) лишь стихи, прямо посвященные Пушкину, но тоже без точной их датировки.

Как пример можно указать на сведения о встречах Пушкина с будущим декабристом М. П. Бестужевым-Рюминым в доме Олениных в 1819 году (стр. 199)¹ — на основании показаний декабриста в 1826 году (стр. 696).

11. Данные о выходе в свет в России и за рубежом переводов произведений Пушкина.

12. Иностранная критика о Пушкине.

2

В чем же состояла работа М. А. Цявловского — при наличии карточки, зарегистрировавшей все разбросанные по бесконечному количеству первоисточников факты жизни Пушкина? Казалось, цель работы заключается в том, чтобы свести воедино все эти события жизни поэта. Допустим, что об одном и том же случае жизни вспоминают пять человек, — следовательно, необходимо все эти пять карточек соединить в одну, на которую требуется переписать ссылки на все пять первоисточников.

Но это — идеальный, сравнительно редкий случай. Как известно, при сличении разных показаний об одном и том же факте редко приходится наблюдать единогласие. Следовало прежде всего проверять правильность свидетельства каждого мемуариста.

Первой обязанностью автора книги было распутывать противоречия, постоянно встречавшиеся на пути исследования жизни Пушкина. Далее необходимо было освободиться от ложных, вымышленных мемуаров и всякого рода явно недостоверных, фантастических воспоминаний о жизни поэта.

Широко известны фальсификации мемуаров А. О. Смирновой, сочиненные ее дочерью, и А. Н. Павлищева, написанные им якобы со слов матери. Они давно разоблачены и перестали служить первоисточниками для биографов Пушкина, но долгое время они считались основными свидетельствами о его жизни.

Столь же ненадежным является целый ряд „апокрифических воспоминаний“ о Пушкине, в особенно большом количестве засорявших литературу, относящуюся к кишиневскому периоду его жизни. Вся эта сочиненная, псевдомемуарная литература исследователем отсеивалась.

Очень ответственное и важное дело — внесение в „Летопись“ наиболее значительных общественных, политических и литературных событий той эпохи, на фоне которой протекала жизнь поэта и которые волновали его, как и всех лучших его современников. Поэтому, наряду с хроникой личной и литературной жизни поэта, в „Летопись“ вводились указания на события Отечественной войны 1812 года, на такие факты, как заседания литературного общества „Арзамас“, открытие памятника

¹ Здесь и далее ссылки на „Летопись“.

Минину и Пожарскому в Москве, открытие Польского сейма, основные декабристских организаций, принятие в члены этих тайных союзов тех или иных знакомых Пушкина, наиболее ответственные моменты этих революционных обществ, заседания конгрессов Священного союза в Европе и т. д.

В I том „Летописи“ введены сведения об убийстве студентом Карлом Зандом реакционера Коцебу (стр. 178, 179), о восстании военных поселений в Чугуеве (стр. 183) и ужасной расправе с восставшими, учиненной лично Аракчеевым (стр. 187); последние события отразились в эпиграмме Пушкина „На Аракчеева“ („В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон...“); далее в книге отмечались сообщения о вспыхнувшей в Испании революции (стр. 202), вдохновившей Пушкина, по мнению исследователя, на стихи „Мне бой знаком — люблю я звук мечей“ (стр. 205), об убийстве в Париже герцога Беррийского (стр. 204); на портрете Лувеля, убийцы герцога, Пушкин написал: „Урок царям!“ и показывал этот лист в театре, рассказывая по рядам кресел (стр. 210); уже на юге, в год создания „Кинжала“, поэт вспомнил этого представителя „бессмертной Немезиды“ и зарисовал его портрет рядом с другими: „роковым избранником“ Карлом Зандом и Маратом (стр. 308).

Читатель встретит в „Летописи“ сведения о крестьянских волнениях в Екатеринославской губернии и в области Войска Донского и о связанных с ними „Замечаниях на черноморских и донских казаков“ Пушкина (стр. 221—222); о событиях революции в Неаполе (стр. 230, 231 и 283); о том конгрессе Священного союза в Троппау, который Пушкин вспомнил в едком двустиих десятой главы „Евгения Онегина“ („Я всех уйму с моим народом, Наш царь в конгрессе говорил“) (стр. 258); о конгрессе Священного союза в Вероне (стр. 360, 365); о событиях греческого восстания 1821 года (стр. 273, 279, 280, 290, 302, 303, 304, 313), волновавших Пушкина, ведшего беседы об этом движении с деятелями восстания — Дмитрием Ипсиланти (стр. 291), Михаилом Суццо (стр. 296, 298) (одна из бесед с Суццо протекала у Пушкина совместно с Пестелем; стр. 298), и в среде рядовых греков (стр. 289), и с чиновником, собиравшим сведения о восстании (стр. 308); поэт писал о греческом освободительном движении в письмах (стр. 283, 296), и в дневнике (стр. 289, 291, 297), и в специальных заметках о восстании (стр. 315, 322).

В книге отмечены смерть Наполеона, смерть Байрона, смерть Карамзина, по-разному взволновавшие Пушкина; упомянут известный приказ по армии будущего декабриста генерала М. Ф. Орлова, написанный им в Кишиневе, в пору тесного общения с Пушкиным; в этом единственном в своем роде документе генерал-декабрист предавал военному суду офицеров за „неисповестства“ по отношению к солдатам, другим объявлял строгий выговор „за битые из собственных рук“, низшим же чинам объявлял благодарность за прекращение побегов из части (стр. 325). Далее в „Летописи“ можно прочесть и о наказании кнутом четырех солдат в Кишиневе, приведшем к смерти всех этих несчастных; эта

жестокая казнь была осуществлена публично, после отъезда из города декабриста Орлова (стр. 330).

Можно также найти в „Летописи“ фактические справки о казни вождя испанской революции Риго (стр. 413), с которой связана эпиграмма Пушкина на М. С. Воронцова „Сказали раз царю...“ (стр. 471 и 551); известие о смерти Александра I (стр. 652), о принесении присяги Константину (стр. 653), о восстании 14 декабря (стр. 657), об учреждении Тайного комитета для следствия о тайных обществах (стр. 659), о восстании Черниговского полка (стр. 663); приведены сообщения из газет об этих событиях, о казни пяти декабристов; тут же (стр. 714) можно найти и перечень тех декабристов, с которыми Пушкин был знаком лично.

Большое количество показаний декабристов, сохранившихся в следственных делах о них, отражает ту роль, которую „вольные“ стихи Пушкина играли в формировании свободолюбивых настроений первых русских революционеров.

Упоминания Пушкина в следствии над декабристами входят в его биографию (хотя поэт и не мог знать, что его имя является одним из серьезных моментов следствия) так же органично, как и в историю русского освободительного движения.

Отметим впервые появившиеся в русской печати в данной книге подробности о допросе Николаем I Пущина. Нижеприведенный рассказ заимствован из многотомного труда Поля Лакруа „История жизни и царствования Николая I“. ¹ Фактические данные об этом допросе, вероятно, восходят непосредственно к Николаю I, так как среди информаторов Лакруа был один из самых близких к Николаю лиц, в особенности в период следствия над декабристами, Алексей Федорович Орлов, делившийся с Лакруа своими личными воспоминаниями, как этот последний прямо заявляет в предисловии к своей книге. ² Таким образом, точность передачи диалога между Николаем I и И. И. Пущиным на допросе декабриста царем не вызывает сомнений: Алексей Орлов был почти непосредственным свидетелем этих допросов.

¹ Paul Lacroix. Histoire de la vie et du règne de Nicolas I, t. II. Paris, 1865, стр. 68—69.

² Перечислив свои источники (печатные и архивные), Лакруа называет в предисловии к своему труду (т. I, 1864, стр. V—XVIII) лиц, которые оказывали ему содействие в работе. Это были П. Д. Киселев (стр. VIII), М. А. Корф (стр. IX—XIV), который предоставил французскому историографу царствования Николая I, между прочими материалами, отрывки из своих личных рукописных дневников, „воспроизводящих в некотором роде частную жизнь императора Николая“ (стр. XIV). В руках у Лакруа были также не предназначавшиеся для печати воспоминания современников (стр. XIV—XV); Лакруа разыскивал их повсюду, и они охотно отвечали ему на вопросы, открывая ему, так сказать, „шкатулку своих воспоминаний“. Лакруа записывал эти воспоминания рассказчиков „почти под диктовку“. Но особенно высоко ценил французский историк русского царствования рассказы А. Ф. Орлова и Нессельроде: „Двадцать томов официальных текстов, например, не дали бы мне того, что я черпал из простого разговора князя Орлова или графа Нессельроде“ (стр. XV).

Приведем его в переводе:

„Царь, обманутый сходством фамилий Пущина и Пушкина, спрашивает его,¹ писал ли он подобное письмо² своему родственнику, поэту Александру Пушкину, либеральные мнения которого известны всей России и дерзость речей и произведений которого заставила водворить его на жительство в его имении в окрестностях Пскова.

„— Я не родственник нашего великого национального поэта,— откровенно ответил Иван Пущин,— а товарищ его по царскосельскому лицу. Общеизвестно, что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращаются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки?“ (стр. 659).³

Эти скептические афоризмы, которые, по словам Пущина, принадлежат Пушкину, находятся в кричащем противоречии с целым рядом свидетельств по вопросу об отношении Пушкина к тайным революционным организациям и к возможности революции в России.

Мы располагаем такими яркими показаниями, как описанная Якушкиным сцена в Каменке в 1820 году (стр. 269), как записанные Павлом Долгоруковым высказывания Пушкина в Кишиневе в 1822 году (стр. 326, 338, 341, 348—349), как важнейшие непосредственные свидетельства — стихи самого поэта, послание к Чаадаеву 1818 года, с энергично выраженной формулой об „обломках самовластья“, на которых Пушкин с уверенностью предвидит написанным свое имя; или другие стихи того же периода „Мы добрых граждан позабавим“, также прямо говорящие о желательности насильственного переворота, или стихи 1825 года о неминуемой расправе над царем („Заступники кнута и плети“).

Всех этих свидетельств было бы более чем достаточно, чтобы убедиться, что рассудительные сентенции о „крысоловках“ и „скороспелых плодах“ ни в каком контексте не входят в цепь известных нам суждений Пушкина о желательности революции в России. Свидетельств, противоположных приведенным, нам не известно ни одного.

¹ Выше речь шла об Ив. Ив. Пущине.

² Лакруа сообщал о перехваченном письме Пущина к его родственнику, „советнику“ С. М. Семенову, с извещением адресата о ближайшем выступлении.

³ В подлинном тексте это место в „Истории“ Лакруа читается так: „L'empereur, trompé par l'analogie des noms de Poustchine et de Pouchkine, lui demanda s'il avait écrit une lettre semblable à son parent, le poète Alexandre Pouchkine, dont les opinions libérales étaient connues de toute la Russie, et que la hardiesse de ses discours et de ses ouvrages avait fait interner dans sa terre aux environs de Pskow.

— Je ne suis pas de la famille de notre grand poète national, répondit avec franchise Jean Poustchine; j'ai été seulement son condisciple au lycée de Tzarskoé-Sélo. Mais tout le monde sait que Pouchkine, l'auteur de *Rousslan et Lioudmila*, a toujours été opposé aux sociétés secrètes et aux conspirations. N'a-t-il pas dit, des premières, que ce sont des pièges à rats, et, des autres, qu'elles ressemblent à ces fruits hâtifs qu'on fait venir dans les serres et qui font mourir l'arbre en absorbant sa sève?“ (т. II, 1865, стр. 68—69).

Если же прибавить к этому свидетельства двух участников диалога 17 декабря — Николая и, главное, самого Пушкина, то мы увидим, что в данном случае честнейшему Пушкину верить не приходится.

В самом деле, царь рассказывал, что Пушкин заявил ему на аудиенции 8 сентября 1826 года, что, будь он 14 декабря в Петербурге, он был бы с мятежниками на Сенатской площади. А Пушкин в своих точнейших, изумительно рисующих образ Пушкина мемуарах упоминает о двух разговорах с поэтом, разделенных шестью годами, — у Н. И Тургенева в 1819 году (см. стр. 180) и в Михайловском, во время последнего с ним свидания Пушкина (см. стр. 553—554), когда поэт жадно и ревниво допытывался у друга признания, что тот состоит членом тайной организации.

Из всего сказанного можно сделать только один вывод: нет сомнения, что ответ Пушкина о Пушкине на допросе у царя был благороднейшей попыткой декабристов защитить любимого друга, великого поэта; для вящей убедительности Пушкин не остановился и перед прямым сочинительством, приписывая Пушкину придуманные им самим афоризмы — выразительные, запоминающиеся, которые должны были свидетельствовать о сознательном и, так сказать, активном нежелании поэта вступить в декабристскую тайную организацию.

Придя именно к такому решению вопроса, М. А. Цявловский заключил отсюда, что ответ Пушкина царю о Пушкине под соответствующей датой разговора должен быть помещен в „Летописи“; тем не менее так называемая „выносная“ заметка, в которой был бы отмечен разговор Пушкина с Пушкиным и приведены скептические сентенции поэта, отсутствует: такого разговора Пушкин не вел никогда.

При разработке биографии исторического лица нередко возникает необходимость точно установить, на какое время приходится его первые встречи с теми людьми, многолетнее общение с которыми в дальнейшие годы является общеизвестным фактом. Так, для того чтобы понять реальную основу стихов Пушкина, обращенных к Денису Давыдову:

Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею
Воспоминаям прежних дней —
(„Певец-гусар, ты пел биваки“, 1821)

следует установить, когда именно встречался Пушкин с поэтом, партизаном 1812 года. Удовлетвориться неопределенными сведениями о начале знакомства Пушкина с Давыдовым, до недавнего времени повторявшимися в специальной литературе, трудно.¹

¹ „Начало знакомства его <Д. Давыдова> с Пушкиным относится, вероятно, к 1817—1820 гг.“ (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Баргеновым, в 1851—1860 годах. Вступительная статья и примечания М. Цявловского, 1925, стр. 115). Или: „Начало личного знакомства Пушкина с Давыдовым относится если не к петер-

Знакомство и начало общения Пушкина с Денисом Давыдовым в „Летописи“ предположительно отнесено к следующим датам: 1818. Декабрь. 8(?) — 1819. Январь. 10(?) (стр. 166). Основания для такой датировки высказаны в особом примечании, где говорится: „Время пребывания Д. Давыдова в Петербурге определяется письмами А. И. Тургенева к Вяземскому от 18 декабря 1818 г. и 3 января 1819 г. (Остафьевский архив, т. I, стр. 171—172 и 185). Уточняется время его приезда в Петербург публикацией в «Санкт-Петербургских ведомостях», 1818, № 100, от 13 декабря: среди приехавших с 8 по 11 декабря значится приехавший «из Херсонии» «начальник штаба 7 пехотного корпуса генерал-майор Давыдов». О встречах с Давыдовым Пушкина свидетельствуют имеющиеся в рукописях Пушкина за это время портреты Давыдова» (стр. 745—746). К этому можно добавить, что вскоре, в 1819 году, Пушкиным начато стихотворение, вероятно послание к Денису Давыдову, с выразительной характеристикой его (стр. 175):

Красноречивый забияка,
Повеса, пламенный поэт.

„Недавние“ же встречи Пушкина с Давыдовым, отразившиеся в приведенных выше стихах послания 1821 года, относятся ко времени так называемых „контрактов“ (ежегодной зимней ярмарки) в Киеве. Встречи с Д. В. Давыдовым в Киеве в 1821 году отмечены в „Летописи“ под датами: Январь. 30 (?) — Февраль. 12 (?) (стр. 275 и примечание на стр. 757—758).

На основании приведенного примера видно, как упорно добивался М. А. Цявловский установления возможно точных датировок начала знакомства и последующих встреч Пушкина и с видными, и с менее значительными людьми его времени. См., например, данные о знакомстве Пушкина с А. С. Грибоедовым (стр. 124 и 738), К. Ф. Рылеевым (стр. 209), А. И. Якубовичем (стр. 124 и 738), П. П. Кавериним (там же), С. И. Муравьевым-Апостолом (стр. 126), М. Ф. Орловым (стр. 124 и 737—738), Ф. Ф. Вигелем (стр. 126 и 739), П. А. Катениным (стр. 134 и 741), В. А. Перовским (стр. 128 и 739), семьей Раевских (стр. 138 и 741) и др.

бургским годам жизни Пушкина (1817—1820), то самое позднее к началу 1821 года в Каменке или в Киеве“ (Т. Энгелер. Давыдов Денис Васильевич — в „Путеводителе по Пушкину“. М.—Л., 1931, стр. 110). Или: „Точных сведений о времени их знакомства мы не имеем; М. А. Цявловский относит его к 1817—1820 годам . . ., но весьма возможно, что Давыдов встречал Пушкина в 1815 году в Петербурге, куда приезжал в отпуск по возвращении из парижского похода“ (Денис Давыдов. Полное собрание стихотворений. Редакция и примечания В. Н. Орлова, „Библиотека поэта“, Л., 1933, стр. 283).

Для последнего утверждения приходится сделать оговорку, что Пушкин в 1815 году в Петербурге не был ни разу, но не лишено вероятности, что он встречался с Давыдовым в Царском селе, куда последний мог заехать для того, чтобы повидать своих прежних товарищей-гусар.

Эти нередко требовавшие значительных усилий, скрупулезные уточнения датировок, взятые сами по себе, вне связи с биографией Пушкина, могут на первый взгляд показаться мелочными, ненужными, крохоборческими. Ученому же, работающему в области исследования биографии и творчества писателя, хорошо известно, как часто возникает острая нужда именно в такого рода точно установленных данных.

Как ни выясненным казалось течение жизни великого поэта в ее основных моментах, однако детальная разработка первоисточников, привлечение материалов, ускользавших от биографов Пушкина или не сопоставлявшихся с другими данными, показала, что многие вопросы приходилось ставить совершенно заново. Даже путешествия Пушкина, представления о которых казались прочными, отстоявшимися, потребовали серьезного пересмотра, тех или иных изменений в датах и т. д. Всё это привело ко многим неожиданным результатам.

Некоторые из этих путешествий традиционно изображались биографами как состоявшиеся вовсе не по тем путям, по каким они были совершены в действительности; другие сведения о путешествиях, строившиеся на шатких основаниях, вызывали сомнения; иные, наконец, оставались вне всякого внимания исследователей. А между тем, путешествия являлись безусловно какими-то вехами в жизни, вокруг которых распределялся круг новых впечатлений, встреч, знакомств, событий в жизни Пушкина, а следовательно, и вытекающие из них отражения в его творчестве. Так, внимание автора „Летописи“ привлекло к себе одно свидетельство, появившееся в печати еще в 1824 году, но остававшееся не замеченным биографами Пушкина. В „Отрывке из путешествия“ В. Кюхельбекера, в письме XVII, от 22 октября/3 ноября 1820 года из Дрездена („Мнемозина“, 1824, ч. II, стр. 63) были напечатаны следующие строки: „В постоялом доме: «Hôtel de Pologne», где мы ныне живем, нашел я еще несколько человек русских: примечательнейший для меня полковник Давыдов, брат поэта: он говорил мне про Пушкина, с которым обедал в Киеве; я был чрезвычайно рад, что мог Давыдова познакомить с поэмой Руслан и Людмила“ („Летопись“, стр. 478). Итак, Пушкин был впервые в Киеве не на контрактах 1821 года, а до 22 октября 1820 года. Это могло быть только во время поездки его из Петербурга в Екатеринослав в мае 1820 года; следовательно, Пушкин ехал в Екатеринослав не прямой дорогой, а кружно — через Киев (стр. 220, 752). Такой вывод подтверждается и неправильно толковавшейся ранее припиской Е. Н. Раевской к ее брату Александру, посланному из Петербурга в Киев, на другой день после отъезда Пушкина на юг: „Мама забыла послать это письмо с Пушкиным“ (стр. 217).¹

¹ Текст выверен по подлиннику (на французском языке), хранящемуся в Рукописном отделе Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина (№ 3614).

Так, благодаря пристальному вниманию к свидетельству, долгое время остававшемуся в тени, привычное, не вызывавшее никаких сомнений представление о первом путешествии Пушкина на юг получило весьма существенную поправку.

Приведем другой пример. Биографами Пушкина уже давно отвергнута, как неправдоподобная, догадка о поездке поэта из Кишинева в Каменку в 1822 году;¹ эта догадка в свое время принята была Н. О. Лернером, который и отметил указанную поездку поэта в своей книге „Труды и дни Пушкина“ (1910, стр. 82). Приведя голословную догадку П. И. Бартенева (на которую ссылался Н. О. Лернер), что „кажется, что к ноябрю месяцу этого же <т. е. 1822> года следует отнести новую и последнюю поездку его в Чигиринский повет Киевской губернии, в село Каменку, к Давыдовым“, М. А. Цявловский писал: „Это утверждение основано на ошибочном понимании известного рассказа И. Д. Якушкина в его воспоминаниях о поездке с Орловым и Охотниковым в Каменку в ноябре 1820 года. Бартенев неверно датировал эту поездку 1822 годом. Кроме этого неверного осмысления рассказа Якушкина нет никаких ни прямых, ни косвенных указаний на то, что Пушкин в 1822 году ездил специально в Каменку или заезжал туда по дороге“ (стр. 759).

Однако уже после смерти М. А. Цявловского был обнаружен не известный до тех пор документ, который заставил нас пересмотреть этот вопрос. Имеем в виду письмо Александры Ивановны Давыдовой от 4 декабря 1838 года (Отдел рукописей Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве). Находившаяся при муже — в его сибирской ссылке — жена декабриста Василия Львовича Давыдова писала дочерям: „Мы тоже читали письмо Жуковского о смерти Пушкина; оно сильно взволновало вашего отца, который был хорошо знаком с нашим знаменитым поэтом, бывавшим несколько раз в Каменке и прожившим там однажды целых четыре месяца“ (стр. 764). Пребыванием Пушкина в Каменке в течение четырех месяцев следует, очевидно, считать его поездку туда в ноябре 1820—феврале 1821 года, которая, считая также выезд в Киев и Тульчин, действительно обнимает четыре месяца.

Какие же „несколько“ пребываний в Каменке имели в виду В. Л. Давыдов и его жена? Может быть, приезд 1820—1821 года в воспоминании В. Л. Давыдова раздвоился (Пушкин приезжал в Каменку в ноябре 1820 года из Кишинева и в феврале 1821 года из Киева)? Третий же приезд, в таком случае, может относиться лишь к ноябрю—декабрю 1822 года, к тем единственным месяцам,

¹ Эта предполагаемая поездка Пушкина не упоминается ни М. А. Цявловским в его „Хронологической канве биографии А. С. Пушкина“ — в издании: А. С. Пушкин и в. Полное собрание сочинений, т. VI, Путеводитель по Пушкину, 1931, стр. 9—23, ни Б. В. Томашевским в его биографическом очерке „Пушкин“ — в издании: А. Пушкин и в. Сочинения, изд. 2-е, Л., 1937, стр. XXV—LXIV.

за все годы пребывания Пушкина на юге, о которых мы не имеем никаких прямых указаний на его местопребывание. Если предположить, что Пушкин ездил в Каменку именно в ноябре—декабре 1822 года, то разрешается целый ряд недоумений: становится понятной датировка Пушкиным стихотворения „Адели“ 1822 годом, — дочь А. Л. Давыдова Пушкин мог встречать в 1822 году лишь в Киеве и в Каменке; естественное объяснение получает также письмо М. Ф. Орлова к П. А. Вяземскому из Киева от 9 ноября 1822 года: „При сем следует также большое письмо от Пушкина, разбраненного тобою. Я не знаю, что он к тебе пишет, но этот молодой человек сделает много чести русской словесности...“ (стр. 364). Очевидно, и Пушкин находился в Киеве (предположение, что Орлов привез письмо Пушкина из Кишинева, не может иметь места, так как Орлов после отъезда оттуда в январе 1822 года был смещен и в Кишинев не возвращался).

Пребыванием Пушкина в Киеве разъясняется и письмо Е. Н. Орловой от 8 декабря 1822 года из Киева к брату А. Н. Раевскому: „Посылаю тебе письмо, кажется, от Пушкина; его принесла г-жа Тихонова... Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончить...“ (стр. 367).

К этому можно добавить еще один аргумент. В письме, датированном 1—10 января 1823 года, Пушкин пишет брату: „Батюшкы в Крыму. Орлов с ним видался часто. Кажется мне, он из ума шутит“ (XIII, 54).¹ Если бы Пушкин не общался в Киеве или Каменке с Орловым, едва ли бы мог он написать эти строки: последние слова письма производят впечатление вывода, сделанного Пушкиным не из писем, а из живых рассказов Орлова.

Установление же факта поездки Пушкина в Киев и в Каменку в 1822 году очень существенно. Это путешествие Пушкина бесспорно было особенно важным для формирования его политических взглядов. И в Каменке, и в Киеве Пушкин встречался с виднейшими деятелями декабристского движения и много и откровенно беседовал с ними на важнейшие политические темы.

Мы знаем теперь, по дневнику П. И. Долгорукова именно этого 1822 года, как рвался Пушкин в это время к обсуждению всех зол монархического режима, как убежденно верил он в конечную победу народа. Где мог он найти лучших товарищей для обмена мнениями, как не в Киеве, гнезде декабристов, республиканцев южного общества? (Заметим в скобках, что в 1822 году Пушкин уже был лишен своих двух самых близких единомышленников в Кишиневе: Владимир Раевский за пропаганду свободомыслия среди солдат был арестован, а Михаил Орлов был снят с командования за тот его замечательный приказ по армии, о котором говорилось выше).

¹ Здесь и далее цитируется по изданию: Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

Однако, наряду с удачными решениями некоторых запутанных вопросов биографии Пушкина, перед исследователем возникали и новые, еще не ставившиеся биографами поэта вопросы, решение которых представлялось и затруднительным и порой, может быть, преждевременным. Так, например, появившееся в печати более сорока лет назад в „Щукинском сборнике“ письмо некоего Филимонова к сестре еще не обращало на себя внимания исследователей жизни Пушкина. А между тем Филимонов писал 15 сентября 1825 года следующие интригующие строки: „Ты пишешь еще, что Пушкин тебя очень занимает, то я скажу на это, что я не только что знаю наизусть все сочинения его, но даже познакомился с ним самим прошлого года, когда он проезжал через Бронницы в Петербург; он знаком с нашим Дороховым и пробыл у нас целый день и доказал, что он так же мил в обществе, как нравится по стихам своим“.¹

Автор „Летописи“, поместив приведенный отрывок из письма под 1825 годом (стр. 638), указал инициалы Филимонова (Н. И.) и сопроводил его текст следующим примечанием: „Напечатанное Щукиным письмо Филимонова ныне хранится в ЦГЛА (в Москве) в составе переписки его с сестрой. Текст письма, включая и дату, вполне исправно напечатан Щукиным. Трудно допустить, что Филимонов всё написанное о Пушкине сочинил. А если он не сочинил, то, следовательно, Пушкин тайно ездил в декабре <1824 года> в Бронницы близ Новгорода. В сообщении Филимонова неверно указание на поездку в Петербург, но, возможно, Пушкин так говорил. От Михайловского до Бронниц через Порхов — 353³/₄ в. Вся поездка могла занять 5—7 суток“ (стр. 781).

Новая, ничем другим не подкрепляемая и кажущаяся мало вероятной поездка Пушкина в Бронницы, разъясненная в примечании, из сугубой осторожности в текст книги, под декабрем 1824 года, автором „Летописи“ не внесена: она еще не может занять ясного места в биографии Пушкина.

3

Вопрос о распространении славы Пушкина за рубежом, о переводах его произведений на европейские языки, о критических статьях, посвященных творчеству поэта на Западе, поставленный в печати почти век назад (в 1859 году) особенно пристально стал разрабатываться в столетний пушкинский юбилей 1937 года, который отмечался во всем мире. В этом отношении сделано еще не очень много (имею в виду работы М. П. Алексеева, Б. В. Казанского, В. И. Нейштадта и др.): остаются не разысканными и не обследованными многие критические статьи о Пушкине, появившиеся в зарубежной прессе при его жизни; даже имеющиеся в нашем распоряжении библиографические перечни и обзоры зарубежной пушкинианы — по отдельным странам

¹ Щукинский сборник, вып. IX, М., 1910, стр. 158.

и языкам — имеют еще явные и досадные пропуски. Подобные зарубежные библиографии, впрочем, начинают появляться; особенно приятно отметить здесь, что такие работы интенсивно ведутся в странах народной демократии — в Венгрии, Румынии, Польше. В Кракове в 1950 году вышел вторым изданием ценный библиографический труд Мариана Топоровского „Пушкин в польской критике и переводах“.¹

Как показывают уже собранные материалы, известность Пушкина за рубежом из года в год быстро росла. В одном только I томе „Летописи“ за пять лет (с 1821 по 1826 год) зарегистрировано пятьдесят семь упоминаний о Пушкине в иноязычной печати: статей о нем и заметок, переводов его произведений и т. д. Кроме переводов из Пушкина и статей на различных языках о нем в Петербурге и Варшаве, Вильне, Риге и Або, произведения Пушкина и критику о нем в эти годы можно было видеть в печати Парижа, Львова, Геттингена, Лейпцига, Бреслава, Пешта, Галле. Статьи и заметки о Пушкине печатали в это время на французском, польском, английском, немецком, шведском и сербском языках; в последующие годы — на чешском и итальянском языках.

Крайне интересна и даже знаменательна судьба распространения стихотворения Пушкина „Кинжал“. Это важнейшее революционное стихотворение Пушкина, написанное им в ссылке, приобрело огромную известность, распространяясь подпольным путем в бесчисленных списках в передовых кругах русского общества.²

Декабрист И. Д. Якушкин утверждал, что в то время „не было сколько-нибудь грамотного прапорщика“, который бы не знал всех ненапечатанных сочинений Пушкина наизусть (среди них и „Кинжал“). Один из пяти казенных декабристов, М. П. Бестужев-Рюмин, читал наизусть пушкинский „Кинжал“ своим товарищам, давал им списывать эти стихи, в чем он открыто признавался на допросе следственному

¹ Marian Toporowski. Puszkini w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki, Kraków, 1950; первое издание этой работы опубликовано было в краковском пушкинском сборнике (Puszkini. 1837—1937, t. II. Kraków, 1939, стр. 225—331). Благодаря этой работе на страницах „Летописи“ появились указания на статьи о Пушкине в следующих периодических изданиях: „Gazeta Lwowska“ (стр. 281—282 и 539), „Dziennik Wileński“ (стр. 389, 436—437, 540, 556, 575, 597, 702), „Biblioteka Polska“ (стр. 648). Ко всем ранее собранным данным нам удалось добавить еще несколько заметок о Пушкине, в частности, из „Zeitung für die elegante Welt“ (стр. 534—535) и из следующих, еще не фигурировавших в пушкинские зарубежные журналы и газет: „Göttingische gelehrte Anzeigen“ (стр. 373, 422), „Journal général de la littérature étrangère“ (стр. 377, 569, 650—651, 684—685, 707), „Åbo Underrättelser“ (стр. 666), „Allgemeine Literatur-Zeitung“ (стр. 693 — под двумя датами). К сожалению, некоторые периодические издания, в которых указаны были статьи о Пушкине, отсутствуют в наших крупнейших книгохранилищах и выверить их de visu не удалось.

² О списках „Кинжала“ см.: М. А. Цявловский. Автограф стихотворения Пушкина „Кинжал“. „Голос минувшего“, 1923, № 1, стр. 21—25; Е. Ляцкий. Один из списков пушкинского стихотворения „Кинжал“ — в книге: Slovensky sbornik venovaný... prof. Frantisku Pastrnkovi, Praha, 1923, стр. 194—196; Пушкин, т. II, кн. 2, 1949, 648, 1090—1091.

комитету, добавляя, что „рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло“, что „вольнодумческие стихи Пушкина в рукописях распространились по всей армии“ (стр. 688, 696, 697).

Быть напечатанным в александровской и николаевской России „Кинжал“, конечно, не мог. Опубликован он был впервые лишь в 1856 году Герценом в Лондоне; в России это могло произойти лишь спустя еще двадцать лет.

Однако еще в 1827 году стихотворение появилось во французской печати, в прозаическом переводе. Именно в таком виде и без указания авторства Пушкина стихотворение увидело свет в книге французского писателя Ансло „Six mois en Russie“ („Шесть месяцев в „России“).¹ Вышедшая в 1827 году в Париже двумя изданиями книга была издана в том же году и в Брюсселе. И, недоступный для печати в России, „Кинжал“ доходил до читателя под заглавием „Le poignard“ (стр. 306—307 французского издания).

К последним словам „Кинжала“ Ансло сделал любопытное примечание: „трибунал (tribunal des francs-juges)² привязывал имя жертвы к оружию мщения; но здесь *кинжал без надписи*, он грозит всем тиранам, каковы бы они ни были!“ Существовало мнение, что Карл Занд был членом тайной организации, восходившей по своим традициям к этому средневековому суду. Во всяком случае, обычай прикреплять надписи к кинжалу еще был жив во время убийства Коцебу Карлом Зандом.

Спустя месяц после сообщения в русской печати об убийстве Коцебу Пушкин мог прочесть напечатанную в „Сыне отечества“ следующую заметку: „Из Праги пишут, что туда прибыли многие студенты из других университетов. Они хотели ехать в Вену, но, не получив паспортов, решились остаться в Праге, где взяли с них обязательство в повиновении законам и постановлениям университета и полиции. Чрез несколько времени приметили, что они ходят с *черными* тростями, носят под жилетами *черные* ленточки, что в их тростях находятся кинжалы с разными подозрительными надписями. Собрания их были весьма шумны“.³

Теперь становится понятным последний стих пушкинского стихотворения:

И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Кинжал без надписи — это оружие, приготовленное не против определенного, обозначенного надписью лица, а против любого тирана (как полагал Ансло) или, может быть, против основной „преступной силы“ —

¹ Подробнее об этой книге и реакции Пушкина на нее см. в статье М. П. Алексеева „Пушкин на Западе“ (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 3, М.—Л., 1937, стр. 112—113).

² Средневековый тайный суд, подвизавшийся в Германии.

³ „Сын отечества“, 1819, № 21, 24 мая, стр. 91—92.

монарха, имя которого нет нужды обозначать. Такое толкование последнего стиха „Кинжала“, если не ошибаюсь, в пушкинской литературе еще не появлялось.

То обстоятельство, что все фактические данные для биографии Пушкина введены в „Летопись“ на основании критически проверенных первоисточников и всегда после проверки *de visu* любого печатного издания, на которое делается ссылка, не раз давало в руки исследователя новые, ценные и зачастую не замеченные прежними исследователями сведения. Получены они были также в результате просмотра прижизненных переводов произведений Пушкина на различные языки. Сошлемся еще на один пример. С 1860 года в пушкиниане известен тот факт, что еще в 1825 году в городе Або был издан „Кавказский пленник“ Пушкина в переводе на шведский язык под заглавием „Minne af Kaukasien“ (т. е. „Воспоминания о Кавказе“). Непосредственное знакомство с этой книгой, экземпляр которой имеется в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (шифр: 13. VIII. 2. 974), позволило установить, что тексту перевода поэмы Пушкина (в стихах) здесь предпослано стихотворное посвящение анонимного переводчика: „А. Пушкину“ („Till A. Puschkin“) и что в конце книги имеется также послесловие (стр. 666); имя переводчика „Кавказского пленника“ вскрыто было в финской печати еще в 1882 году (стр. 786), а затем и в специальной статье А. Иенсена „Пушкин в шведской литературе“:¹ это был Фредрик Аугуст фон Платен (1790—1868), до 1821 года служивший в комитете по финским делам в Петербурге и несомненно знавший русский язык. Послесловие также заключает в себе несколько интересных сведений и критических замечаний о поэзии Пушкина. Так, здесь сообщается, например, что в газете, вышедшей на шведском языке в городе Або, „Åbo Underrättelser“ („Абоские известия“), в номере от 5/17 января 1824 года была помещена статья о русской литературе, в которой речь шла также о Пушкине.

Дальнейшие разыскания в иностранных книгах, журналах и газетах, несомненно, позволят установить еще целый ряд статей, заметок о Пушкине, упоминаний его имени, опытов переводов его произведений и т. д., появившихся до 1837 года.

¹ Alfred Jensen. Puschkin in der schwedischen Literatur. „Jagić-Festschrift. Zbornik u slavu Vastoslava Jagića“, Berlin, 1908, стр. 71—80. — „Посвящение“ шведского перевода „Кавказского пленника“ Пушкину не заключает в себе каких-либо интересных фактических данных; достойно внимания, однако, то, как высоко ценит переводчик поэзию Пушкина. В несколько высокопарных выражениях он признается, что „нельзя передать эти звуки, первожденные голосом поэта“ („Ej dessa toner återgifvas, de förstfödde af skaldens röst“), но просит все же позволения передать их на своем языке. „Подобно жемчугам небес, сверкающим в блеске утра на лугах, сияют твои мысли“, признается он далее:

Likt himlens pärlor som sig måla
på ängens duk i morgonglans,
så äfven dina tankar stråla. . .

4

Книга, столь насыщенная фактами, собранными с такой полнотой и так точно датированными, как „Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина“, безусловно может служить источником для ряда исследований на различные темы о поэте. Нет необходимости перечислять здесь все те возможности, которые она открывает как биографам Пушкина, так и исследователям его творчества. Ограничимся здесь лишь одним примером, представляющим значительный интерес.

В „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“ впервые собраны сведения обо всех утраченных произведениях поэта. Вопрос о не дошедших до нас произведениях и рукописях Пушкина не только не изучен, но и не был еще предметом специального внимания. Мы считаем необходимым прежде всего составить список этих утраченных произведений Пушкина, выявившихся благодаря появлению „Летописи“, в надежде на то, что этот список привлечет к себе внимание архивных работников и что они предпримут поиски недостающих произведений великого поэта.

Не будем говорить о творчестве раннего детства Пушкина: стихах, баснях, эпиграммах, импровизированных комедиях, от которых уцелело лишь название одной из них — „L'Escamoteur“ (стр. 11, 14, 15): эти произведения детской музы Пушкина едва ли были даже записаны. Оставим в стороне и ирои-комическую поэму „песнях в шести, под названием «Tolyade», которой героем был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием — война между карлами и карлицами“; уязвленный насмешками гувернера, десятилетний автор сюжет свое первое большое произведение (стр. 16).

Назовем прежде всего не дошедшие до нас лицейские произведения Пушкина. Таковы: написанная им в 1812 году „рыцарская баллада“, которую юный поэт сочинил, состязаясь с Илличевским, в подражание балладам Жуковского (стр. 31); восхитившие всех два четверостишия на заданную профессором Н. Ф. Кошанским тему — описания розы (стр. 33). Далее следуют: комедия, написанная Пушкиным совместно с его товарищем М. Л. Яковлевым, под названием „Так водится в свете“, предназначавшаяся для лицейского спектакля (стр. 48—49), роман в прозе „Цыган“ (стр. 49). Об этих ранних лицейских произведениях Пушкина его товарищи вспоминали много позднее. Едва ли остается какая-либо надежда разыскать их спустя столетие после опубликования этих воспоминаний. Но может случиться, что в каких-нибудь лежащих под спудом, может быть, даже находящихся еще в частных руках архива потомков лицейских товарищей или учителей Пушкина найдутся забытые рукописи — первые проблески еще детского творчества Пушкина.

Иначе, думается, обстоит дело с произведениями, которые сам поэт в юности числил среди своих лучших творений. Первое послание Жуков-

скому (1815) и стихотворения „Ринальдо“ и „Бонапарте“ предназначались Пушкиным для печати и внесены им в конце 1816 года в план первого проектировавшегося поэтом сборника его стихотворений (стр. 70 и 106). От стихотворений „Ринальдо“ и „Бонапарте“ до нас дошли только заглавия. Однако о послании Пушкина к Жуковскому мы в настоящее время имеем некоторое представление, благодаря опубликованному в 1949 году отрывку из письма Жуковского к П. А. Вяземскому от 19 сентября 1815 года. Письмо это рассказывает о первом знакомстве Жуковского „с нашим молодым чудотворцем Пушкиным“. Называя его „надеждой нашей словесности“, „будущим гигантом, который всех нас перерастет“, Жуковский сообщает Вяземскому: „Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук — прекрасное! Это лучшее его произведение“. Тут же Жуковский обещает прислать эти стихи Вяземскому (стр. 81). Речь, таким образом, идет о „лучшем произведении“ Пушкина, написанном к концу 1815 года, по мнению взыскательного художника, чуткого поэта Жуковского! Иными словами, о стихотворении, затмевающим уже напечатанные, прославившие Пушкина „Воспоминания в Царском селе“ и „К Лицинию“. Возможность утраты текста этого стихотворения представляется почти невероятной. Послание Пушкина к Жуковскому могло сохраниться прежде всего в архиве самого Жуковского: важнейшая его часть хранится в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, куда она поступила еще в 1884 году;¹ часть его — из парижского собрания А. Ф. Онегина — находится в настоящее время в Институте русской литературы Академии Наук СССР;² другая часть находится в Отделе рукописей Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве,³ а также в Центральном Государственном литературном архиве;⁴ могло сохраниться послание Пушкина в архиве кого-либо из друзей Жуковского: братьев Тургеневых и Д. В. Дашкова, — принимавшего участие в составлении не вышедшего в свет сборника „Аониды“, которому Жуковский рекомендовал Пушкина, еще лицеиста (стр. 113), как возможного участника этого издания, — и Батюшкова, и В. Л. Пушкина, и Блудова, и любого из арзамасцев, и Карамзина, а также во многих других архивах.

¹ И. А. Бычков. Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в имп. Публичную библиотеку в 1884 году, СПб., 1887. (Это описание в настоящее время не вполне отвечает требованиям, предъявляемым к научным описаниям подобного рода; кроме того, в нем не учтены бумаги Жуковского, хранящиеся в ряде других архивов той же библиотеки).

² См.: Бюллетени Рукописного отдела Института литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, вып. I, Л., 1947, стр. 21.

³ Е. Н. Кошicina. Обзор материалов В. А. Жуковского. — В книге: Записки Отдела рукописей Государственной ордена Ленина Библиотеки имени В. И. Ленина, вып. 14, М., 1952, стр. 35—48.

⁴ Центральный Государственный литературный архив. Путеводитель. М., 1951, стр. 110—111.

В огромном архиве П. А. Вяземского, сохранившемся очень полно (в Центральном Государственном литературном архиве в Москве) и обследованном до конца, послание Пушкина найдено не было (нами просмотрены также все папки стихотворений неизвестных авторов в этом архиве). Первое послание Пушкина к Жуковскому (1815) надо искать, и оно должно быть найдено.

О начале работы над комедией в стихах, в пяти действиях, под заглавием „Философ“ Пушкин сам сделал запись в своем дневнике 1815 года. Об этой комедии лицеист А. Д. Илличевский сообщал в письме к своему приятелю от 16 января 1816 года, что Пушкин уже написал первое действие, „обещающее нечто хорошее — стихи и говорить нечего, а острых слов — сколько хочешь“ (стр. 87, 91); однако из задуманных пяти действий комедии было написано лишь два, и вскоре охладевший к своему творению автор уничтожил рукопись.

Известно, что приблизительно в то же время Пушкин начал писать роман или восточную сказку „Фатам, или Разум человеческий“ (стр. 86 и 87). До недавнего времени мы знали немного об этом замысле Пушкина — на основании воспоминаний, удержавшихся в памяти его лицейских друзей.¹ Однако прошло почти сто лет после выхода в свет труда Анненкова с изложением „Фатама“, и в фондах Рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинского Дома) обнаружено было четверостишие из этого юношеского философского романа Пушкина в записи одного из его лицейских друзей, позволившее исследователю сделать вывод, что роман был написан прозой, с вставными в него стихотворными текстами.²

Следовательно, находки каких-либо следов лицейских произведений Пушкина, списков с них и т. д. всё еще возможны и в наше время.

Точно так же благодаря ведущемуся у нас систематическому изучению архивных материалов проясняется глухое известие об одной лицейской басне Пушкина, также не дошедшей до нас. Поводом к ее сочинению будто бы послужили частые перемены в управлении Лицеем после смерти в 1814 году его первого директора В. Ф. Малиновского.

Свое ироническое отношение к высшему лицейскому начальству, допустившему длительное „безначалие“ (по позднейшему выражению Пушкина), шестнадцатилетний вольнодумец выразил в сатирическом антиклерикальном произведении. Он написал басню „о мужике, заставившем попа служить несколько панихид по отце, душа которого сперва была спокойна, но от излишнего усердия пошла по рукам всех

¹ П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Сочинения Пушкина, изд. П. В. Анненкова, т. I, 1855, стр. 24; В. Гаевский. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. „Современник“, 1863, т. 97, № 7, стр. 158.

² См. публикацию Б. В. Томашевского: Лицейское четверостишие. „Литературный архив“. Под редакцией М. П. Алексеева, т. 3, М.—Л., 1951, стр. 11—12. — Сборник вышел после „Летописи“, так что эта находка в книге не могла быть отмечена.

чертей“ (стр. 90).¹ Не исключена возможность, что и этот плод еще незрелой музы Пушкина будет обнаружен в каком-либо из вышеуказанных архивов.

Годы 1817—1820, когда Пушкин создал ряд политических стихотворений, особенно зияют лакунами. В этом не может быть случайности. Мы недосчитываемся, например, нозлей Пушкина. О двух-трех нозлях Пушкина писал А. Г. Родзянко (стр. 382), сам поэт вспоминал о них в десятой главе „Евгения Онегина“: „Читал свои нозли Пушкин“, — говорит он, изображая встречи членов Союза благоденствия, которых он посетил (стр. 169). О тех же чтениях вспоминает декабрист И. Н. Горсткин: „...я был раза два-три у князя Ильи Долгорукова, который был кажется один из главных в то время; у него Пушкин читывал свои стихи. Все восхищались остротой...“.² Стихи Пушкина, восхищавшие своей остротой, были, конечно, политическими эпиграммами и нозлями, которые читал Пушкин „у осторожного Ильи“, т. е. у князя Ильи Долгорукова.

Между тем из ряда этих известных в то время разящих сатир поэта мы знаем лишь одну — знаменитый нозль 1818 года „Ура! в Россию скачет“, метко высмеивающий „кочующего деспота“ Александра I с его „обещанием“ конституции в Польше. Известно, что этот нозль распевался „чуть не на улице“ (по свидетельству декабриста И. Д. Якушкина) и распространялся в многочисленных рукописных копиях.

Когда же были написаны Пушкиным другие нозли? Трудно допустить, чтобы Пушкин не написал нозля, т. е. сатиры в форме рождественской песенки, в том самом декабре 1817 года, когда он в оде „Вольность“ декларативно отказывался от „изнеженной лиры“ и призывал „грозу царей, Свободы гордую певичу“. В „Летописи“, действительно, указан не отмечавшийся прежде нозль 1817 года, текст которого, впрочем, донные остается неизвестным (стр. 145). Нозль 1817 года был первым политическим нозлем Пушкина; нозль 1816 года — на лейб-гусарский полк („В конюшнях Левашова“), от которого до нас дошли лишь фрагменты, — был еще ограничен узкими интересами кружка офицеров и, конечно, был еще достаточно невинен в общественно-политическом смысле (стр. 106).

Бесспорно, конечно, что Пушкиным был написан также нозль и

¹ Первое сведение об этой басне сообщал В. Гаевский в такой форме: „По поводу этих беспрестанных перемен, Пушкин написал басню о душе, которая, вследствие излишнего усердия заботившихся о ней, пошла по рукам всех чертей...“ (Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. „Современник“, 1863, № 7, стр. 152). Многоточие в печатном тексте бесспорно обозначает цензурную купюру.

Исправлением приведенного выше текста мы обязаны В. Д. Бонч-Бруевичу, приобретшему в свое время для Центрального Государственного литературного музея черновую рукопись статьи Гаевского.

² М. В. Нечкина. Новое о Пушкине и декабристах. „Литературное наследство“, кн. 58, 1952, стр. 159.

к рождеству 1819 года. Существование его, подтверждаемое, повидимому, документально, также отмечено в „Летописи“ (стр. 198). Едва ли не этот не дошедший до нас ноэль имел в виду в своем дневнике К. С. Сербинович: „о... Пушкине — стихах — песнь младенца“ (стр. 260).¹

Не забудем, что Пушкин и сам высоко ценил какой-то из своих ноэлей (было бы интересно дознаться, который именно): желая убедить брата, что послание к Овидию выше всех дотоле лучших его произведений, Пушкин писал Льву Сергеевичу 30 января 1823 года: „Каковы стихи к Овидию? душа моя, и Руслан, и Пленник, и Ноëй, и всё дрянь в сравнении с ними“ (XIII, 56). Следовательно, ноэль, хотя теперь и превзойденный, ценился поэтом наряду с „Русланом и Людмилой“ и с „Кавказским пленником“.

Любопытно, что Пушкин вспомнил некогда любимый им жанр ноэлей в михайловской ссылке (о том, что ноэли он писал в южной ссылке, до нас никаких известий не дошло). В декабре 1824 года Пушкин сочинил новую „святочную песенку“ (стр. 541). Этот ноэль, несомненно, метил прямо в царя и должен был быть убийственным. Только так можно объяснить тревогу поэта за судьбу этого посланного им в Петербург с оказией стихотворения: „ничуть не забавно мне попасть в крепость *pour des chansons* <за песенки>“, — писал он брату (XIII, 130). Можно себе представить, как мастерски Пушкин воспользовался и на этот раз традиционной для сатир песенной формой и сколь злободневно было его утраченное для нас произведение.

Перечисляя не дошедшие до нас произведения Пушкина, мы не должны также забывать о его речи к арзамасцам: „Венец желаниям! Итак я вижу вас...“ (стр. 136), сохраненной в памяти слушателей лишь во фрагменте; об экспромте на отъезд Батюшкова в Италию, который, по лаконичному замечанию А. Тургенева, „послать нельзя“ (стр. 165); о стансах на Стурдзу „монархического“, которых Тургенев также не собирался посылать по почте на том основании, что „стены могут иметь глаза и даже уши!“² (стр. 189, 192—194, 749), — мы знаем лишь один куплет этих стансов; о написанном в те же дни послании к павловским фрейлинам о Жуковском (стр. 189); о послании Пушкина к друзьям, от которого сохранилось лишь два стиха („Что-то грезит Баратынский, Что-то думает Плетнев?“); о куплетах на одесских дам („Мадам Ризнич с римским носом...“).

¹ В. С. Нечаева в своей публикации „Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича“ („Литературное наследство“, т. 58, 1952, стр. 250) высказала иное предположение: „... «песнь младенца» не должна ли быть раскрыта как запись о «Сказках» (Noël, 1818) Пушкина?“. Однако песни младенца в „Сказках“ нет.

² М. А. Цявловский разъясняет, что указанные слова связаны именно с этим стихотворением, а не с „Вольностью“, как ошибочно комментировал их В. И. Саитов (стр. 749).

Но самой заманчивой, интересной и важной находкой была бы, конечно, тетрадь (целая тетрадь!) противоправительственных стихов Пушкина, собственноручно записанных поэтом у петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. Пушкин записал в эту тетрадь и приписываемые ему стихи, обозначив, какие из них ему не принадлежат (стр. 211—212).¹

Одно из произведений Пушкина, известное нам только по названию, представляло бы значительный интерес для исследователей его творчества. Мы узнаем о нем из письма Пушкина к брату от 24 сентября 1820 года. Описывая свое путешествие по югу, поэт писал: „Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь тебе не скажу об них ни слова“ (XIII, 18). Можно предположить, что „Замечания“ возникли в связи с крестьянскими волнениями в Екатеринославской губернии и на Дону, о которых Пушкин не мог не слышать, проезжая по этим местам (стр. 221—222). Эти „Замечания“, повидимому, были написаны, но в бумагах поэта они не сохранились. Не уничтожил ли он их?

Иное дело — записи Пушкиным молдавских преданий „Дука, молдавское предание XVII века“ и „Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года“ (стр. 309). Пушкин работал над ними длительно, усердно, считая их, по словам Липранди, своим первым опытом в прозе (стр. 399, 420). С них была снята копия, оставшаяся у Липранди; Бартевев имел ее в руках в 60-х годах. Только случайностью можно было бы объяснить ее исчезновение. Часть архива Липранди хранится в Ленинской библиотеке в Москве, часть находится в Историческом музее. Но ни здесь, ни там молдавских преданий в записи Пушкина или в копиях не обнаружено.² Их нужно продолжать искать! Бумаги Липранди могут быть рассеяны и по другим архивохранилищам.

¹ Тетрадь эту искал в свое время П. Е. Щеголев в архивных фондах Зимнего дворца в Ленинграде, искал ее М. А. Цявловский в фондах II Отделения в Архиве древних актов (в Москве). Искала тетрадь и я — среди части бумаг Милорадовича, именно за 1820 год, оказавшихся в фонде его адъютанта Муханова (в Отделе письменных источников в Историческом музее в Москве). Эти поиски не привели пока ни к каким результатам. Но на этом успокаиваться нельзя. Розыски надо продолжать.

² Более двадцати лет назад покойный Н. О. Лернер поднимал в печати вопрос о розысках находившихся у И. П. Липранди копий молдавских преданий, записанных Пушкиным. „Где теперь эти копии? — писал он. — Надо прежде всего обратиться к бумагам И. П. Липранди. М. И. Семеvский («Путевые очерки, заметки и наброски. Поездка по России в 1888 году». — «Русская старина», 1889, апрель, 231), рассказывая о посещении Румянцевского музея, сообщает: «При беглом просмотре новейших приобретений музея по части рукописей, мы заметили: „Записки Ив. Петр. Липранди (№ 2584)“. В Румянцевском музее, по имеющимся у нас сведениям, нет этих ранних прозаических опытов Пушкина, относящихся к 1823 году. Во всяком случае их следует искать, и для этого несленно обрыскать все известные хранилища, — может быть поиски окажутся небесплодными. Имея в виду возможность такой дорогой находки, стоит потрудиться“ (Н. О. Лернер. По следам Пушкина. Где две повести Пушкина? Где письма Н. Н. Пушкиной к Пушкину?

Но, конечно, больше всего потеряно пушкинских эпиграмм. Напомним хотя бы об одной из них, направленной против чиновника канцелярии Воронцова, Н. А. Артемьева, „с убийственными и верными выражениями“, по словам Липранди (стр. 437).

Особенно важным является, однако, признание самого Пушкина, который писал П. А. Вяземскому, посылая ему несколько эпиграмм: „у меня их пропасть, избираю невиннейших“ (XIII, 245). Эти слова написаны за несколько дней до получения известия о смерти Александра I; вспомним, что поэт, по собственному признанию, „подсвистывал ему до самого гроба“ (XIII, 258); напрашивается вывод, что среди множества далеко не невинных эпиграмм, из которых большинство, вероятно, написано было в 1825 году (все выбранные из них „невиннейшие“ эпиграммы написаны были именно в этом году), какая-то и, вероятно, немалая часть была направлена против Александра I. Надежда на то, что эти эпиграммы сохранились, была бы напрасной: вероятнее всего, Пушкин уничтожил их, менее чем через месяц после цитированного письма, под впечатлением поражения восстания декабристов.

Дважды говорит Пушкин об уничтожении им (в те же дни) автобиографических записок (стр. 660). В письме к П. А. Вяземскому от 14 августа 1826 года он пишет: „Из моих записок сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя“ (XIII, 291). Эти слова являются ответом на письмо Вяземского, в котором последний писал Пушкину: „Сестра твоя сказывала, что ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно Карамзина. Жду их с нетерпением“ (XIII, 289). Ясно, что это те самые страницы, которые хранятся среди автографов Пушкина и под заглавием „<Из автобиографических записок>“ (начало: „<...> линии печатью вольномыслия“) печатаются в собраниях сочинений Пушкина (XII, 305—307). В 30-х годах, приступая к автобиографии, Пушкин вновь говорил об уничтожении своих „Записок“:

„Несколько раз принимался я за ежедневные записки, и всегда отступался из лениности; в 1821 году начал я свою биографию, и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная(?) торжественность их окружает и,

„Стройка“, 1930, № 7, 5 мая, стр. 14). Предпринятые под руководством М. А. Цяловского поиски утраченных рукописей в фондах рукописного отделения Государственной Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве не увенчались успехом. Фонд Липранди, находящийся в Отделе письменных источников Исторического музея, пересмотрел покойный Л. Б. Модзалевский, обнаруживший там рукопись записок Липранди о Пушкине, напечатанных Бартеневым в „Русском архиве“ в 1866 году (ныне она хранится в Пушкинском Доме). Но молдавских преданий не было и там. Опыт раскрытия содержания этих преданий см. в данной книге в статьях Б. В. Томашевского и Г. Ф. Богача (стр. 193—202, 213—240).

вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей" (XII, 310). Пушкин, несомненно, прозрачно намекает на то, что „Записки“ его были посвящены декабристам.

Потеря, действительно, невознаграждаемая. Однако нельзя не обратить внимания на то, что еще через год эти записки, если не в полном своем составе, то в какой-то части были целы. В черновом тексте записки „О народном воспитании“, которую Пушкин писал в декабре 1826 года, он три раза ссылается на „Записки“, отрывки из которых он хотел внести в свою заказную статью: „Любопытно видеть etc — из записок 2 гл. <?>“ (XI, 311); „Александр (из записок)“ (XI, 313); „Патриархальное воспитание“ из записок“ (XI, 314). В белом тексте есть абзац о патриархальном воспитании, значит, записки бесспорно были целы в конце 1826 года. Но исследователям поэта они не известны. И из современников Пушкина никто никогда не писал о них.

Иначе обстоит дело со стихотворением Пушкина „Прощание“ или „Прощание с жизнью“. Перед нами непостижимый случай исчезновения широко известного в свое время и горячо принятого современниками стихотворения Пушкина. Полная утрата его столь же неправдоподобна, как потеря первого послания Жуковскому (см. выше). Приведем известные нам свидетельства об этом тексте.

19 мая 1823 года происходило в Петербурге последнее подготовительное собрание перед публичным заседанием Вольного общества любителей российской словесности. В список намеченного к публичному прочтению 22 мая внесено было четыре новых произведения, среди них и „«Прощание». Сочинение А. С. Пушкина (в стихах)“. Прочсть его поручено было А. А. Бестужеву¹ (стр. 383). 22 мая А. И. Тургенев писал из Петербурга в Москву П. А. Вяземскому: „Пошлю отрывок Пушкина сегодня, если возвратит Греч, коему отдал для прочтения сегодня в собрании“ (стр. 383). Значит, текст „Прощания“ Пушкина находился в руках Тургенева и должен был быть послан Вяземскому.

22 мая в зале дома Державиной в Петербурге происходило публичное заседание Вольного общества любителей российской словесности, на котором А. А. Бестужев читал „маленькую пиеску“ Пушкина „Прощание с жизнью“. Присутствовало более пятидесяти человек, в том числе выступавшие на заседании Греч, Булгарин, Туманский, Корнилович, Федоров, Измайлов, Лобанов.

Правдоподобно ли было бы предположить, что стихотворение Пушкина не осталось ни в чьих бумагах или что оно даже не было записано, хотя бы не полностью? На другой день после заседания Бестужев сообщил Вяземскому о своем чтении в Обществе и прямо указал на художественные достоинства читанного им произведения: „Пушкин — везде Пушкин“, — замечает он в этом письме (стр. 384). Еще через два

¹ В. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петро-заводск, 1949, стр. 267.

дня А. И. Тургенев послал Вяземскому „две крайности: Пушкина и Хвостова“ (стр. 384); несомненно, конечно, что он послал именно „Прощание с жизнью“; 31 мая Вяземский отвечает Тургеневу: „В «Прощании» Пушкина много чувства и предания. Отгадай, что я хотел сказать?“ (стр. 385).¹

Чтение этого стихотворения Пушкина вызвало и ряд печатных откликов. 29 мая в петербургской газете „Le Conservateur Imparial“ в заметке о заседании Общества, состоявшемся 22 мая, было названо и прочитанное там стихотворение Пушкина — „Les Adieux“ (стр. 384); то же отмечалось и в журналах „Соревнователь просвещения и благотворения“, „Сын отечества“, „Северный архив“ (стр. 386); упомянул об этом и „Dziennik Wileński“, назвавший стихи „Pożegnanie“ A. S. Puszkina“ (стр. 389). Сообщение „Северного архива“ сопровождалось краткой характеристикой „Прощания“, „исполненного ума и чувства“ (стр. 386).

Имея в виду все перечисленные факты, необходимо, думается нам, признать, что стихи ссыльного Пушкина, присланные в Петербург, читанные в людном заседании, переписывавшиеся и пересылавшиеся в Москву, получившие высокую оценку у друзей поэта и неоднократно названные в то время в печати, не могли исчезнуть бесследно. Отметим, кстати, что если они читались публично, то, следовательно, они не вызывали никаких сомнений и в цензурном отношении.

Исходя из предложенного выше истолкования слова „предание“ („резиньяция“), естественно было бы считать, что исчезнувшее стихотворение Пушкина имело форму элегии. Не следует ли в таком случае отождествить его со стихотворением „Я пережил свои желанья“? Хотя последнее и не имеет заглавия „Прощание“, однако оно по своему идейному содержанию и внешним признакам подходит полностью к тем данным, которые дошли до нас о стихотворении, так названном. Написанная в 1821 году элегия „Я пережил свои желанья“ была напечатана в конце 1823 года, т. е. именно в том году, когда еще весной разыскиваемые нами стихи читались в „Обществе любителей российской словесности“.

Не оставляя настойчивого обращения к архивным работникам — искать исчезнувшее „Прощание“ Пушкина, догадку об элегии 1821 года предлагаем только как временную рабочую гипотезу.²

¹ Не следует ли в слове „предание“ видеть попытку Вяземского перевести на русский язык французское понятие „résignation“ (гипотеза Н. В. Измайлова)? В словарях „résignation“ переводится: „предание себя на волю божию; покорность провидению; безропотность, благотерпеливость“ (Н. П. Макаров. Полный французско-русский словарь. Изд. 12-е, 1906); „покорность судьбе, безропотность, резиньяция“ (К. А. Ганшина. Французско-русский словарь. 1946). Эти переводы хорошо передают слово „résignation“, которое в „Dictionnaire de l'Académie française“ толкуется так: „Soumission à la Providence. Soumission à son sort, à son malheur“ (цитирую по: Abrégé du Dictionnaire de l'Académie française, d'après la dernière édition de 1878, Paris, 1883, стр. 830).

² Считаю нужным добавить к этому, что М. А. Цявловский учитывал и собирал

Список утраченных произведений Пушкина, выявившихся благодаря I тому „Летописи“, заканчивается „тремя стихотворениями противоправительственного содержания — о казенных декабристах“, под общим названием „Пророк“.¹ Предание донесло до нас лишь одно четверостишие из какого-то стихотворения этого цикла, но в безусловно искаженном виде: „Восстань, восстань, пророк России“ (стр. 718).²

Надеемся на то, что эти тексты не погибли безвозвратно, что случайная архивная находка воскресит эти столь важные в историческом отношении стихотворения, трудно. Вероятнее всего, что они были уничтожены самим Пушкиным.

Таким образом, I том „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“ позволил установить довольно большое количество утерянных к настоящему времени произведений поэта, созданных в период его творческой деятельности, продолжавшийся вплоть до возвращения его из ссылки. Не принимая во внимание его ранних поэтических опытов — басен, эпиграмм, импровизованных комедий (так как они в значительной своей части были еще, повидимому, плодами устного творчества поэта-ребенка), считая условно тетрадь противоправительственных стихотворений 1820 года (называемую обычно „тетрадь Милорадовича“) за один опус, обозначая условно „пропасть“ эпиграмм (1825 г.?) также за одно сочинение, — получаем довольно внушительную цифру: тридцать два произведения. На самом деле утерянных произведений Пушкина было значительно больше: не менее пятидесяти-шестидесяти. Из них по меньшей мере пятнадцать искать можно и должно.³

все тексты, хранившиеся под именем Пушкина в печати и в рукописных сборниках. Им было собрано свыше трехсот таких псевдопушкинских стихотворений; я тщетно искала среди этих текстов вышеназванные не дошедшие до нас стихотворения Пушкина; обнаружить их мне не удалось.

¹ См. догадки о них М. А. Цявловского в книге „Рассказы о Пушкине...“ (стр. 91—94), а также в его „Заметках о Пушкине“ в „Звеньях“, кн. 6, 1936, стр. 155.

² Попытки Д. Д. Благого доказать, что эти четыре стиха заканчивали знаменитого „Пророка“ Пушкина, не кажутся нам убедительными. Не вступая в полемику со всей его аргументацией, сделаем основное с нашей точки зрения возражение. Д. Д. Благой хочет заставить нас поверить в то, что пушкинский пророк, непосредственно после пребывания своего в „библейской“ по своему пейзажу воображаемой пустыне, попадает вдруг в определенные топографические условия, превращается в „пророка России“, облачается в одежду висельника и направляется в Зимний дворец к императору Николаю I для беседы! Убедить нас в том, что великий поэт мог создать такую картину, лишенную элементарного чувства художественного целого, не сможет даже большинство голосов, на которые ссылается исследователь (см.: Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М.—Л., 1950, стр. 535—540 и 579). Приходится, повидимому, признать, что в настоящее время находящиеся в вашем распоряжении данные об этом загадочном стихотворении Пушкина не дают еще возможности прийти к какому-либо согласованному решению.

³ Извлекая из I тома „Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина“ данные об утраченных произведениях поэта, мы не касались его писем. Это — особая тема, разработанная Б. Л. Модзалевским, который насчитывал пятьдесят двух корреспондентов Пушкина, не сохранивших — полностью или частично — адресованных к ним писем поэта; по мнению Б. Л. Модзалевского, заявленному в категорической

Не предвосхищая результатов общего подсчета утраченных произведений Пушкина, который можно будет произвести заново после выхода в свет II и III томов „Летописи“, назовем здесь лишь два произведения, напоминающие о которых нет нужды откладывать. Таковы стихотворение „Прощание с молодостью“, читанное поэтом на его „мальчишнике“ перед свадьбой, и восьмая глава „Евгения Онегина“.

О „Прощании с молодостью“ мы узнаем от П. И. Бартенева, который несколько раз делал записи об этом стихотворении на основании воспоминаний, сообщенных ему друзьями Пушкина. В записи Бартенева, сделанной со слов И. В. Киреевского, читаем: „Накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник. . . Собралось обедать человек 10, в том числе были Нащокин, Языков, Баратынский, Варламов, кажется, Елагин (Алексей Андреевич) и пасынок его Иван Васильевич Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям даже было неловко. Он читал свои стихи прощание с молодостью, которых после Киреевский не видал в печати“.¹

Другой раз Бартенов сказал несколько больше об этом утраченном произведении Пушкина: „Необходимо разыскать. . . прощание с молодостью и покаяние в грехах ее, которое Пушкин читал накануне своей свадьбы, на так называемом *мальчишнике* и про которые живо вспоминал один из слушателей, И. В. Киреевский“.²

Искать эти стихи можно и должно — прежде всего в архивах названных лиц, бывших участниками „мальчишника“ Пушкина.

Перейдем к важнейшей утрате — к восьмой главе „Евгения Онегина“ (по первоначальному счету глав), часть которой нам известна в виде „Путешествия Онегина“. В 1940 году обнаружен был исключительного значения документ,³ в котором мы находим важное и очень

форме, „не подлежит никакому сомнению, что из обширной переписки Пушкина дошла до нас, увы! лишь ничтожная часть“ (Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б. А. Модзалевского, т. I, М.—Л., 1926, стр. XXXVI—XL).

¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах. 1925, стр. 53. — В примечании к этому тексту М. А. Цявловский, на основании других источников, добавляет к названным гостям Пушкина — Вяземского, Дениса Давыдова и брата поэта, Льва Сергеевича Пушкина. Сомневаясь в знакомстве Пушкина с композитором Варламовым, комментатор высказывает предположение, что имя это следует заменить именем композитора А. Н. Верстовского.

² „Русский архив“, 1904, № 1, обложка, стр. 3. — И. В. Киреевский умер в 1856 году, поэтому приведенные строки, опубликованные Бартевым почти пятьдесят лет спустя по воспоминаниям, не могут иметь той документальной ценности, какую представляет собой запись 1853 года, сделанная, вероятно, непосредственно после беседы с Киреевским. Иначе говоря, свидетельство Бартенева о том, что „Прощание“ Пушкина содержало в себе также „покаяние в грехах молодости“, может быть, и прибавлено Бартевым от себя; как видно из первой его записи, И. В. Киреевский об этом не упоминал.

³ П. А. Попов. Новые материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина. „Литературный критик“, 1940, № 7—8, стр. 231.

авторитетное свидетельство об этой неизвестной главе пушкинского романа. Напомнить об этом документе приходится потому, что, несмотря на его публикацию в общем журнале и на двукратное воспроизведение его текста в печати,¹ он еще недостаточно известен читателям; даже книга справочного характера, специально посвященная итогам изучения „Евгения Онегина“,² прошла мимо этого документа, являющегося, без преувеличения, одним из ключей к пониманию центрального поэтического произведения поэта.

Речь идет о письме П. А. Катенина, написанном незадолго до его смерти к П. В. Анненкову по просьбе последнего, запрашивавшего у Катенина разъяснения относительно загадочных слов Пушкина, находящихся во вводной заметке к так называемым „Отрывкам из путешествия Онегина“.

Как известно, Пушкин поместил в этой своей вводной заметке следующие слова, в которых был упомянут П. А. Катенин:

„Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России...

„П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исклечение, может быть и выгодное для читателей, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. — Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики“ (VI, 197).

Последние слова в приведенной цитате заключают в себе важный намек (на причины исключения поэтом восьмой главы из полного текста „Евгения Онегина“), смысл которого Анненков разгадать не мог, но который заинтриговал его в сильной степени. К кому же, как не к самому П. А. Катенину, мог Анненков адресоваться за истолкованием загадочных слов Пушкина — о „важных причинах“, заставивших его отказаться от публикации восьмой главы „Онегина“? Упоминание Пушкиным Катенина в предшествующих строках давало повод предположить, что Катенин читал в рукописи впоследствии опущенные строфы романа или знал о них из уст самого Пушкина. К счастью, Катенин в это время был еще жив и откликнулся письмом к Анненкову.

¹ М. А. Цявловский. Пушкиниана в 1940 году. „Литературное обозрение“, 1941, № 5, стр. 7; М. А. Цявловский. Советское пушкиноведение. „Юбилейный сборник, посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции“, ч. II, Изд. Академии Наук СССР, 1947, стр. 802—803.

² Н. Л. Бродский. „Евгений Онегин“. Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы. Издание третье, переработанное, М., 1950. — Этот документ оказался так же вне внимания редакторов комментированного „Полного собрания сочинений А. С. Пушкина“ в шести томах (Общая редакция Д. Д. Благого и С. М. Петрова, Гослитиздат, М., 1949—1950. Том третий. Евгений Онегин. Сказки. Драматургия. 1950. Примечания к „Евгению Онегину“ С. М. Петрова).

Это письмо Катенина было написано 24 апреля 1853 года, за месяц до его смерти (умер 23 мая 1853 года). Вот что писал в нем Катенин:

„Об осьмой главе «Онегина» слышал я от покойного¹ в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани, Евгений видел *военные поселения*, заведенные гр. *Аракчеевым*, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую“.²

„В свете замечательного свидетельства Катенина, — писал М. А. Цявловский, — делается ясной связь восьмой главы с десятой, и только теперь, спустя более чем сто лет со времени выхода в свет главнейшего произведения великого поэта, мы узнаем, наконец, какой большой социальной значимости была развернутая им «даль свободного романа». Содержание этих глав существенным образом изменяло не только композицию романа, но и его жанр... в процессе создания он превратился в роман социальный и даже историко-социальный, трактующий такую важную тему, как декабризм. Но замечательно, что, несмотря на то, что, вследствие полной невозможности провести через цензуру эту запретную тему, Пушкин принужден был урезать и выхолостить свой роман, — он и в этом обезображенном виде остался одним из самых совершенных произведений мировой литературы“.³

С. М. Бонди писал впоследствии: „Можно думать, что первоначальный объем «Евгения Онегина» предполагался в двенадцать глав или около этого. По крайней мере, когда в 1828 году была выпущена в свет отдельной книжкой шестая глава «Евгения Онегина», в конце книги было напечатано «*Конец первой части*». Если шесть глав романа составляли его первую часть, то, очевидно, предполагалась еще вторая часть — приблизительно такого же размера, то есть еще глав пять-шесть. Что же могли содержать в себе эти главы? Некоторые сведения об этом у нас есть“.⁴

На основании сохранившихся отрывков десятой главы, свидетельств М. В. Юзефовича и П. А. Катенина исследователь восстанавливает первоначальный план «Евгения Онегина».

Напомним слова Юзефовича, который рассказывал со слов самого Пушкина: „Он объяснил нам довольно подробно всё, что входило в первоначальный замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов“.⁵

¹ Пушкина.

² „Литературный критик“, 1940, № 7—8, стр. 231.

³ М. А. Цявловский. Пушкиниана в 1940 году. „Литературное обозрение“, 1941, № 5, стр. 7.

⁴ С. М. Бонди. „Евгений Онегин“. Вступительная статья к отдельному изданию романа в школьной библиотеке, Детгиз, М.—Л., 1947, стр. 15.

⁵ Правильно исправляет текст Юзефовича Б. В. Томашевский: „Это писано

„На основании всех этих данных, — продолжает С. М. Бонди, — первоначальный план конца «Евгения Онегина» можно представить себе следующим образом. После убийства на поединке Ленского Онегин уехал из деревни и отправился путешествовать по России. Пушкин в печатном тексте романа говорит об «охоте к перемене мест», невольно овладевшей Онегиным, об угрызениях совести, об «окровавленной тени» друга, являвшейся ему каждый день. В рукописях бывшей восьмой главы приводится и другая причина странствий Онегина:

... Уж Русью только бредит он.
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой...

„Об этой внезапной вспышке патриотизма, интересе к России у Онегина Пушкин говорит сначала иронически, как о какой-то новой его причуде. Но затем на протяжении восьмой главы (путешествие Онегина) тон становится серьезнее, впечатления Онегина углубляются. Он проехал по всей России — видел Новгород, Москву, Нижний, всю Волгу до Астрахани, оттуда отправился на Кавказ, а затем в Крым и, наконец, в Одессу. Он видел волжских бурлаков, слушал их песни

Про тот разбойничий приют,
Про те разъезды удалые,
Как Стенька Разин встарину
Кровавил волжскую волну.

„Он видел новгородские военные поселения, и, надо думать, они произвели на него сильнейшее впечатление. Та тоска, которая сопровождала его во всё время путешествия, приобретает новый смысл: в ней начинают чувствоваться объективные причины социального и даже политического характера. Путешествие по России должно было очень много дать Онегину: он освободился от своей несколько романтической влюбленности в «святую Русь» и стал серьезнее и глубже. Нельзя еще сказать, чтобы общественные вопросы его захватили, чтобы он вышел за пределы своего личного эгоизма, но кое-что в его душе, очевидно, сдвинулось“.¹

Итак, не одна лишь сожженная десятая глава была бы для нас важнейшим приобретением! Восьмая глава была бы не менее важной

через 50 лет (в июле 1880 года) и слово «или» следует понимать как указание на неотчетливость воспоминаний Юзефовича. Пушкин, возможно, рассказывал, что Онегин в результате событий 1825 года попадает на Кавказ, где и погибает“ (Б. В. Томашевский. Примечания к „Евгению Онегину“. Полное собрание сочинений Пушкина в десяти томах, т. V, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1950, стр. 592).

¹ С. М. Бонди, указ. статья, стр. 16—18.

для понимания всего замысла Пушкина в целом. Пушкин заставил Онегина путешествовать по России для того, чтобы показать читателю (как когда-то в „Деревне“) „вечную красу“ русской природы и ужасы русской социальной действительности мрачайших времен царизма. „Тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования“. Эти строфы должны были быть бесценными сокровищами. Великий поэт, в зените своего творчества, клеймил страшные язвы николаевского режима в совершенных, точеных афоризмах четырехстиший и двустиший онегинской строфы.

Недаром добивался Погодин после смерти Пушкина в письме к Вяземскому от 11 марта 1837 года: „цела ли «Русалка»... «Пророк», 8 песнь «Онегина»“.¹

Мы имеем основания считать, что потеря восьмой главы „Евгения Онегина“ не безнадежна. Необходимо тщательно пересмотреть все рукописные копии „Евгения Онегина“ (они сохранились в огромном количестве) в архивах и в частных руках для того, чтобы установить, не найдется ли где-либо не обычный список, сделанный с печатного текста, а такой, который скопирован был с полного текста романа, как он был написан великим поэтом. Для того, чтобы обеспечить возможность счастливой находки, необходимо, думается нам, осуществить систематический просмотр всех дошедших до нас списков „Евгения Онегина“, находящихся в различных городах нашей страны, и помимо Москвы и Ленинграда. Вспомним по этому поводу, что поэма Пушкина „Вадим“ обнаружена в полном виде через 120 лет после ее написания — в Смоленском областном архиве. Уместно напомнить здесь также и о том, что в числе дошедших до нас рукописных копий „Бахчисарайского фонтана“, в большей своей части восходящих к общеизвестному печатному тексту поэмы, есть и такие списки, которые восходят к автографу Пушкина как к своему первоисточнику и удерживают, в частности, стих 66 в подлинном виде, без его цензурного искажения.

Особое значение придаем мы систематичности в поисках подобного рода, для которых у исследователей Пушкина имеются в настоящее время наилучшие возможности; в противном случае счастливых находок и открытий, — всё еще, повторяю, возможных, — придется ждать, может быть, еще долгие годы.

Кроме вышеуказанных произведений Пушкина, в далеко еще не полностью изученных государственных и частных хранилищах архивных документов могут открыться и другие ценнейшие памятники русской литературы и культуры.

¹ А. С. Пушкин. Сочинения и письма. Под редакцией П. О. Морозова, т. II, изд. „Просвещение“, СПб., 1903, стр. 500. Здесь напечатано — явно ошибочно — 8 песен „Онегина“. Исправлено по автографу ИРЛИ (Ф. 244, лп. 8, № 93, л. 6 об.).

Г. В. СТЕПАНОВА и Б. В. ШАПОШНИКОВ

СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ ЗА РУБЕЖОМ

Стопятидесятилетие со дня рождения величайшего русского поэта Пушкина торжественно праздновалось в 1949 году всем советским народом; вместе с тем пушкинский юбилей чрезвычайно широко отмечался во всем мире, стал праздником всего прогрессивного человечества. Подтвердились слова Белинского, сказанные им еще в 1843 году, что Пушкин не только „великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гений европейский, слава всемирная...“¹

Подготовка к пушкинским дням в зарубежных странах началась задолго до юбилея. Для этого были образованы специальные юбилейные комитеты. Память Пушкина была отмечена разнообразными мероприятиями.

В дни, предшествующие юбилею, и особенно во время пушкинских празднеств вышли многочисленные новые переводы произведений Пушкина. Так, в Чехословакии массовым тиражом были изданы избранные сочинения Пушкина, к юбилею развернулась подготовка издания полного собрания сочинений Пушкина в новых переводах. Иллюстрированное издание сказок Пушкина вышло в Чехословакии тиражом в 30 тысяч экземпляров. Многотысячными тиражами вышли издания произведений Пушкина в Польше. Конкурс на лучший перевод сочинений Пушкина был организован в Румынии. В этом конкурсе участвовало более ста поэтов и писателей. В 1949 году в Праге вышел сборник „Пушкин у нас“, в который включены статьи более двухсот современных общественных деятелей и представителей различных областей искусства. К многочисленным памятникам, воздвигнутым поэту в нашей стране, присоединились новые памятники Пушкину, установленные в зарубежных странах.

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, Под редакцией С. А. Венгера, т. XI, СПб., 1917, стр. 192.

С давних пор окружено любовью имя Пушкина в Китае. Пушкин дорог китайскому народу прежде всего как представитель великого русского народа. „Пушкин — великий мировой поэт потому, что он прежде всего глубоко национальный русский поэт“, — пишет Эми Сяо.¹

Еще в 1937 году в Шанхае был поставлен памятник Пушкину. Постановкой памятника общественность Китая отметила столетие со дня смерти поэта. Этот памятник был первым памятником иностранному писателю, поставленным в Китае. В годы оккупации японские захватчики разбили памятник. Но в 1947 году, после освобождения Шанхая, памятник Пушкину был восстановлен. Китайские поэты посвятили Пушкину новые стихи, радостно приветствовали в них открытие памятника поэту на китайской земле. Так, поэт Цзан Кэ-цзя в стихотворении „Памятник“ утверждает мысль о вечно живущем Пушкине:

Жизнь поэта, что за век до нас умер,
Теперь развернулась только.
Дух его отливают в металле,
И весь мир для него — пьедесталом.
Так стоять он будет повсюду.
Ты стоишь высоко-высоко, Пушкин,
Человечества чистая совесть;
С каждым днем поднимаясь все выше и выше,
Ты в тех высях, где солнце и месяц,
И как солнце и месяц светел.²

(Перевел с китайского Л. Эйдлин).

К Пушкинскому юбилею 1949 года в Китае вышло много новых переводов Пушкина, а также книги о нем. Еще в 1947 году в Китае был издан большой „Пушкинский сборник“, содержащий статьи о Пушкине и переводы его произведений. Сборник вышел под редакцией прогрессивного китайского писателя-публициста, много лет занимающегося популяризацией творчества Пушкина, Гэ Бао-цюаня и В. Н. Рогова. 6 июня 1949 года в Пекине состоялось собрание работников искусства и литературы, посвященное 150-летию со дня рождения Пушкина. Такие собрания состоялись и в других городах. Гэ Бао-цюань, приехавший в 1949 году в Советский Союз, рассказал читателям „Огонька“ о собрании в Шанхае: „Во время доклада о творчестве Пушкина Го Мо-жо, обращаясь к китайским писателям, бросил лозунг: «Равняйтесь по Пушкину!». Этими словами он призвал китайских писателей работать и служить своему народу так, как служил Пушкин России“.³

¹ Эми Сяо. Пушкин и Китай. „Правда“, 1949, № 160, 9 июня.

² „Огонек“, 1949, № 24, стр. 14.

³ Гэ Бао-цюань. Книги Пушкина в Китае. „Огонек“, 1949, № 24, стр. 14. См.: Вл. Рутман. Пушкин в Китае. „Новый мир“, 1949, № 6, стр. 227—233; Он же. Пушкин и Китай. „Дальний Восток“ (Хабаровск), 1949, № 3, стр. 111—116. Ср.: Л. Э. Эйдлин. Пушкин в Китае. „Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка“, 1949, т. VIII, вып. 5, стр. 479.

普希金文集

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

羅果夫主編

戈賓權負責編輯



時代書報出版社

一九四七年

Титульный лист „Пушкинского литературного сборника“, изд. „Эпоха“, Пекин, 1947.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский юбилей 1949 года отмечался и в Корейской народно-демократической республике. На предприятиях и в учреждениях Северной Кореи были проведены беседы и лекции о жизни и творчестве поэта. По радио передавались пушкинские тексты, в кино демонстрировался советский фильм „Юность поэта“. Торжественное юбилейное заседание состоялось 6 июня в Пхеньяне.

Подобными же мероприятиями был отмечен юбилей Пушкина в Монгольской народной республике. Газета „Унэн“ писала в дни юбилея: „Пушкин стал любимым поэтом и в нашей стране; наш народ горячо полюбил Пушкина. Недаром его произведения расходятся массовыми тиражами“.¹ 7 июня прошло торжественное пушкинское заседание Монгольского общества культурной связи с Советским Союзом и Союза писателей МНР совместно с интеллигенцией столицы. Большая выставка, посвященная жизни и творчеству Пушкина, была открыта в Государственном Музыкальном театре, в Улан-Баторе.

В особых условиях протекало празднование 150-летия со дня рождения Пушкина в Германской демократической республике. Немецкая демократическая общественность отметила пушкинские дни организацией юбилейных вечеров, выпуском в свет новых изданий переводов произведений поэта. Правлением общества по изучению культуры Советского Союза земли Саксонии—Ангальт был создан организационный комитет по проведению „недели Пушкина“.

С большой торжественностью праздновался юбилей Пушкина в Веймаре, городе великого немецкого поэта Гете. По решению собрания городских депутатов Веймара одна из центральных улиц города была названа именем Пушкина.

Выступая от имени прогрессивной Германии на торжественном заседании Общего собрания Академии Наук СССР в Колонном зале Дома Союзов, Йоганнес Бехер говорил: „В 1949 г., который является годом Пушкина и Гете, в Веймаре будет заложен первый камень памятника Пушкину, который будет первым памятником русскому поэту в Германии. Пусть имена величайших поэтов России и Германии станут символом дружбы народов и символом мира“.² 11 ноября 1949 года в Веймаре, в конце улицы Пушкина, этот памятник великому поэту был открыт.³ На высоком пьедестале установлен бюст Пушкина работы

¹ „Ленинградская правда“, 1949, № 132, 7 июня.

² А. С. Пушкин в. 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1951, стр. 58.

³ „Открытие памятника А. С. Пушкину в Веймаре“. „Известия“, 1949, № 286, 4 декабря, стр. 3. — Как сообщается в этой заметке, „на митинг, посвященный открытию памятника, собрались делегации трудящихся Тюрингии. На открытии присутствовал председатель ландтага, министры тюрингенского правительства, видные немецкие деятели науки и культуры, активисты производства, крестьяне, учащиеся, представители антифашистских партий“. Принимая памятник, обер-бургомистр города Веймара заявил: „Трудящиеся Веймара преисполнены гордостью, что первый памятник, который открыт великому русскому поэту в Германии, открыт именно в Веймаре“.

скульптора Рогге. В облике Пушкина скульптор подчеркнул выраженные силы, энергии. Поэт изображен с высоко поднятой головой — непреклонный, как бы противоборствующий силам тьмы, в гордом устремлении к солнцу, в будущее.

На территории земли Саксонии—Ангальт в домах культуры и библиотеках помещены бюсты и портреты Пушкина. В народной библиотеке города Козвиг установлен бюст Пушкина работы скульптора Карла Котэ, изготовленный им к 150-летию со дня рождения поэта. Скульптор довольно свободно передает внешний облик Пушкина. Котэ сосредоточил свое внимание не на точной передаче черт лица, а на выявлении образа Пушкина — гениального поэта, мыслителя. Пушкин изображен погруженным в глубокое раздумье. Котэ, как и Рогге, передает волевой характер лица Пушкина.

Восемьдесят бюстов Пушкина работы Беге находятся в местных и производственных группах Общества германо-советской дружбы. В Доме культуры в городе Галле имеется портрет Пушкина работы художника Фрица Бауста, в городе Дессау — работы художника Сцилат, в Доме культуры имени Маяковского в городе Бурге помещен портрет работы Нойе.

В обстановке огромного политического подъема проходили пушкинские дни 1949 года в славянских странах.

В любви к Пушкину находит свое выражение любовь к советскому народу, величайшая признательность ему. В чествовании памяти Пушкина в Болгарии принял участие весь болгарский народ. 4 июня 1949 года состоялась юбилейная сессия болгарской Академии наук. Вместе с болгарскими деятелями науки и литературы на ней выступали с докладами советские ученые, представители советской общественности. Вслед за этим состоялись собрания трудящихся Болгарии, посвященные пушкинскому юбилею. Они прошли в Габрове, Неврокопе, Хаскове, Димитровграде и других городах и селах страны. Пушкинские дни были ознаменованы открытием выставок в библиотеках и народных читальнях многих городов и сел. Выражая мысли и чувства своего народа, академик Людмил Стоянов, принимавший участие в юбилейных пушкинских торжествах в Советском Союзе, писал: „Болгарский народ склоняет голову перед великим гением Пушкина. Разбив с помощью Советской Армии-освободительницы цепи фашистского рабства, он отмечает пятидесятилетие со дня рождения Пушкина как свой праздник, праздник славянской и советской культуры. Пережив тяжелые испытания борьбы, войн и катастроф, болгарский народ с особенной признательностью принимает великое наследие поэта и гуманиста Пушкина, патриота и борца за счастье человечества“¹. Эти идеи патриотизма, гуманности и свободолюбия, —

¹ „Славяне“, 1949, № 6, стр. 28.

указывает Людмил Стоянов, — благодаря Пушкину утверждались в болгарской литературе.

В Болгарии также был воздвигнут памятник Пушкину. Он был торжественно установлен уже после юбилейных празднеств, 24 февраля 1952 года, на центральной улице имени Сталина в городе Бургасе, одном из крупнейших промышленных центров Болгарии. „В знак сердечной благодарности болгарского народа нашему освободителю великому русскому народу, давшему миру такого гения, как Пушкин, трудящиеся Бургаса воздвигли этот памятник“, — отмечалось выступавшими на многотысячном митинге трудящихся Бургаса.¹

Автор памятника Петро Задгорски изобразил Пушкина в рост с гордо поднятым спокойным лицом. Вся фигура поэта полна движения и хорошо передает образ жизнерадостного Пушкина. Памятник Пушкину высятся как символ нерушимой болгаро-советской дружбы. Вместе с тем это одно из выражений мировой славы Пушкина.

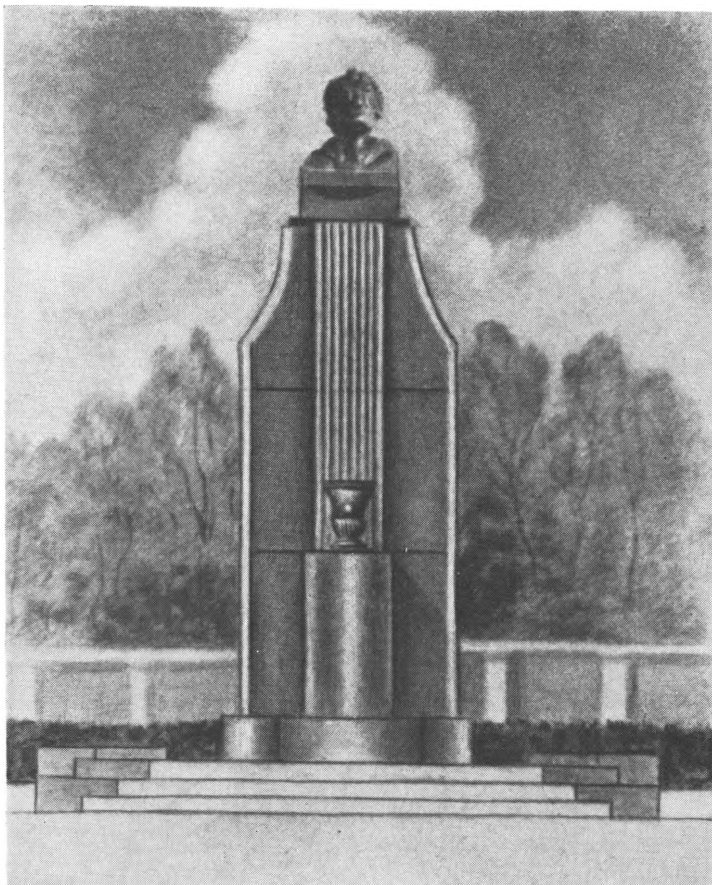
Торжественно прошли пушкинские дни в Польской народной республике. 10 мая 1949 года в Варшаве, в конференц-зале польского сейма, состоялось торжественное заседание, посвященное 150-й годовщине со дня рождения великого русского поэта. Был избран почетный юбилейный комитет, возглавлявшийся президентом республики Болеславом Берутом. Организацией юбилейных пушкинских торжеств в Польше занимались министерство культуры и искусства, Славянский комитет Польши и Общество польско-советской дружбы.

11 июня 1949 года в Варшаве состоялось торжественное заседание, посвященное 150-летию юбилею со дня рождения Пушкина. На нем присутствовали государственные и политические деятели во главе с президентом Польской республики Болеславом Берутом, писатели, деятели культуры и искусства, трудящиеся польской столицы. В польских газетах 6 июня было опубликовано множество статей о Пушкине. В статье, помещенной в органе Объединенной рабочей партии „Трибуна люду“, отмечалось, что пушкинский юбилей является событием международного значения. „Мы, поляки, — сказано в этой статье, — видим в Пушкине одно из прекрасных явлений национальной культуры братского народа, одного из гениальных передовых мыслителей, которые ведут мир по пути прогресса“.² Одной из распространенных форм празднования пушкинского юбилея являлись выставки. В июне 1949 года в Национальном музее Варшавы была торжественно открыта выставка, посвященная 150-й годовщине со дня рождения Пушкина и польскому национальному поэту Адаму Мицкевичу.

Задолго до юбилея началась в Чехословакии подготовка к пушкинским дням. В сентябре 1948 года был образован подготовительный комитет по празднованию юбилея Пушкина во главе с президентом

¹ „Правда“, 1952, № 57, 26 февраля.

² „Ленинградская правда“, 1949, № 132, 7 июня.



重建普希金紀念碑的圖樣

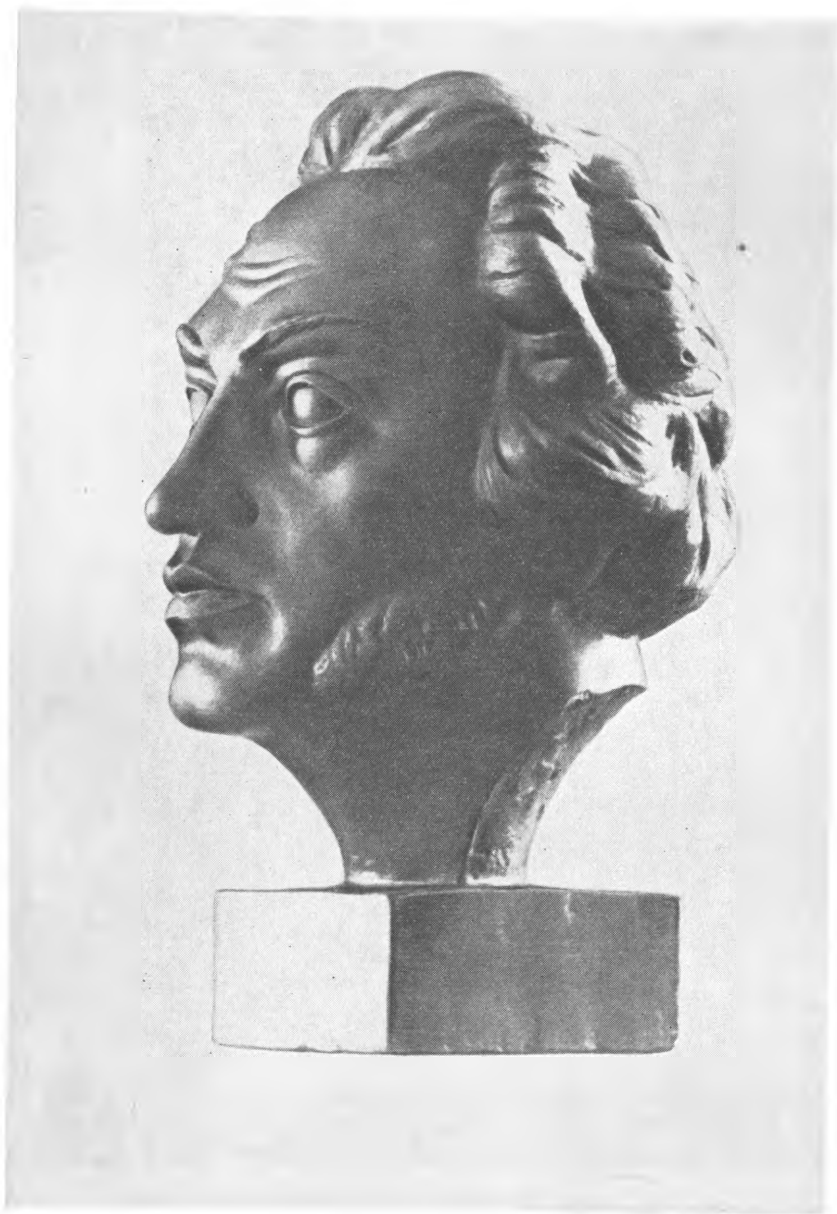
Б. 彼得羅夫作

Памятник А. С. Пушкину в Шанхае (проект).

Из Пушкинского литературного сборника / Пушкин. 1947.



Памятник А. С. Пушкину в Веймаре (Германская Демократическая Республика).
Работа скульптора Ронге.



**Бюст А. С. Пушкина в народной библиотеке г. Козвиг (Германская
Демократическая Республика).**

Работа скульптора Котъ.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

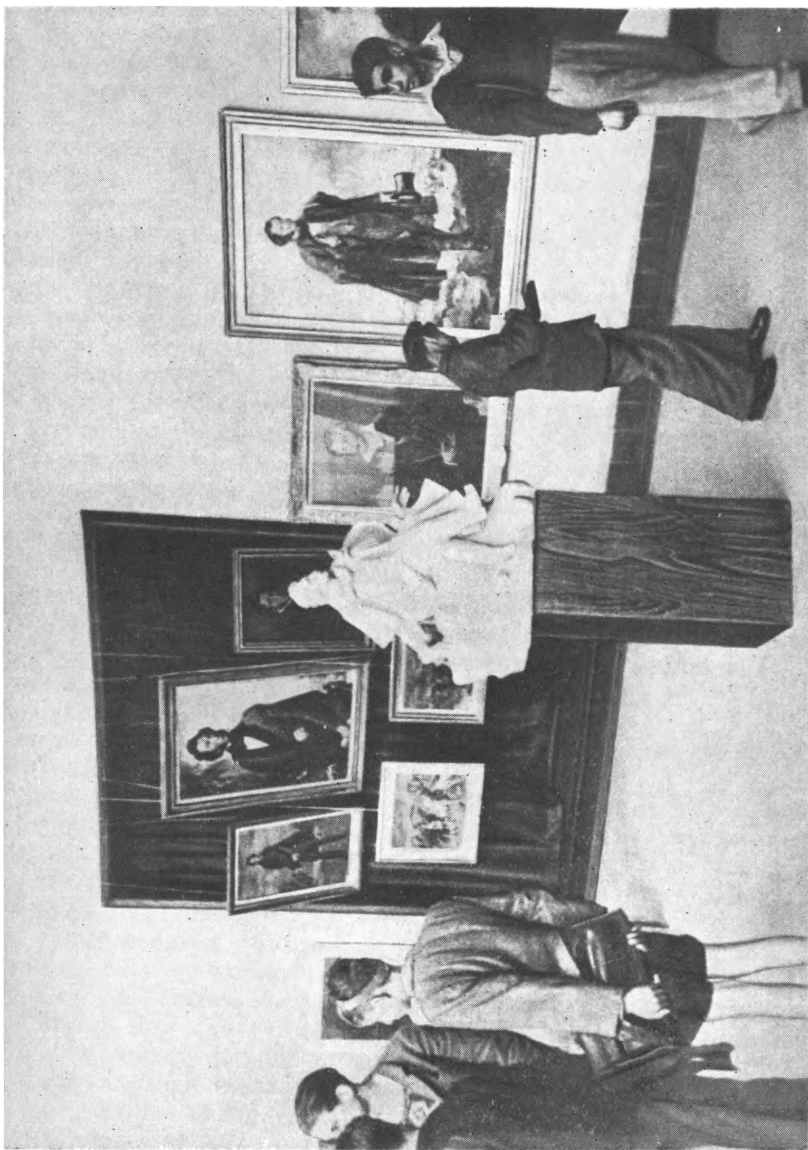


**Памятник А. С. Пушкину в г. Бургасе (Народная Республика Болгария).
Работа скульптора Петро Задгорски.**

Пушкинский кабинет ИРЛИ



Юбилейная Пушкинская выставка в г. Бухаресте, в Министерстве искусств (Румынская Народная Республика), 1949 г.



Выставка произведений румынских художников и скульпторов о Пушкине в г. Бухаресте, в зале Далесс (Румынская Народная Республика), 1949 г.

республики Клементом Готвальдом и премьер-министром Антонином Запотоцким. Комитет принял решение об ознаменовании юбилея Пушкина проведением „Недели Пушкина“ с 1 по 6 июня 1949 года по всей Чехословакии.

В торжественной обстановке прошло 4 июня юбилейное заседание в Праге, в зале Национального театра. О Пушкине, о его жизни и творчестве рассказывала трудящимся Чехословакии выставка, открытая в конце мая 1949 года в Зеркальном зале университетской национальной библиотеки в Праге „Клементинум“. Она была организована комитетом по проведению пушкинских торжеств при Союзе чехословацко-советской дружбы.

Как большой народный праздник прошел пушкинский юбилей в Румынской народной республике. Об этом очень ярко рассказывают румынские материалы о праздновании юбилея Пушкина (альбомы, фото, афиши, плакаты, пригласительные билеты), переданные в 1949 году Всесоюзным Обществом культурной связи Институту русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР и хранящиеся в фондах Литературного музея института. Чрезвычайно любовное и тщательное оформление этих материалов также говорит об огромном уважении к памяти поэта.

Для подготовки празднования в Румынии был образован юбилейный комитет. 30 мая 1949 года в Бухаресте состоялось торжественное юбилейное заседание Академии Наук Румынской народной республики. В последующие дни состоялись торжественное заседание Союза писателей Румынии и многочисленные торжественные собрания трудящихся Бухареста.

Румынским обществом по укреплению связи с СССР (АРЛЮС) совместно с Союзом писателей Румынской народной республики был организован ряд выставок, посвященных Пушкину.

28 мая 1949 года в Бухаресте, в Министерстве искусств, состоялось торжественное открытие пушкинской выставки. Разделы выставки были посвящены важнейшим темам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Были представлены разделы: „Поэзия Пушкина“, „Пушкин и декабристы“, „Пушкин — народный поэт“; одним из центральных разделов, украшенным большим барельефом Пушкина, был раздел „Пушкин — слава и гордость русского народа“. В витринах, в центре зала, были размещены издания произведений Пушкина на румынском языке, среди них много новых переводов.

В Доме культуры бухарестского филиала АРЛЮС также была открыта юбилейная пушкинская выставка.

Комитетом по проведению празднования юбилея Пушкина в Румынии был организован конкурс на лучшие произведения живописи и скульптуры, изображающие Пушкина. Румынскими художниками и скульпторами было представлено около 150 работ. Лучшие из этих работ были показаны на специальной выставке в зале Даллес. Это

бюсты Пушкина работы скульпторов Дему, Онофрея и других. На выставке были показаны и многочисленные новые портреты Пушкина работы румынских художников Аурел Стойческу, Александра Моску, Юстера, Ангелуца, А. Пападат, Эужена Попо и других.

В юбилейные дни по всей Румынии было прочитано большое количество лекций и докладов о Пушкине. 9 апреля в Бухаресте, в зале Даллес, открылся цикл публичных лекций о Пушкине, организованный Румынским обществом по укреплению связи с СССР совместно с Союзом писателей Румынской народной республики. В день торжественного открытия цикла лекций с докладом „Жизнь и творчество Пушкина“ выступил поэт А. Сурков. Затем в течение апреля и мая были прочитаны лекции: „Пушкин — воспитатель молодых поколений“, „Лирика Пушкина“ и другие.

Выступления деятелей румынской культуры с лекциями и докладами о Пушкине прошли во многих городах Румынии, в том числе в Констанце, Брашове, Галаце, Яссах.

Деятельное участие в проведении пушкинского юбилея приняли также и работники театрального искусства Румынии. С 15 по 22 мая была проведена „Пушкинская неделя“ в Государственной опере, в Бухаресте. Были осуществлены новые постановки опер на пушкинские сюжеты. Многие деятели румынского театра приняли участие в пушкинском фестивале, проведенном 2 июня в Бухаресте, в помещении Государственной оперы.

Популяризация творчества Пушкина имела в Румынии самые разнообразные формы. Так, в Бухаресте и других городах демонстрировался советский кинофильм „Юность поэта“. Специальные пушкинские передачи транслировались по радио. Многотысячными тиражами выпустили румынские издательства фотомонтажи „А. С. Пушкин“. В Бухаресте был выпущен плакат с портретом Пушкина, воспроизводящий знаменитый портрет работы В. А. Тропинина. Под портретом на румынском языке помещены слова Белинского о Пушкине — великом поэте всех народов и всех веков.

Юбилей Пушкина был отмечен и присвоением его имени домам культуры, театрам и улицам. Они выступают как своеобразные памятники поэту. В городе Тыргу-Жиу был открыт Дом культуры имени А. С. Пушкина. В нем собраны произведения поэта на русском и румынском языках, биографические материалы, фотографии, рисунки. Лишь в одном уезде Констанца в девяти местностях улицам было присвоено имя Пушкина. В Яссах есть и Пушкинская улица, и кинотеатр имени Пушкина.

Большой размах имели пушкинские торжества 1949 года и в Венгрии. В юбилейные дни на предприятиях, в учреждениях, институтах, школах и библиотеках были проведены вечера, посвященные Пушкину. Многолюдный пушкинский вечер был организован венгерскими писателями в Будапеште. Как и в Румынии, в демократической Венгрии имя

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкина было присвоено улицам ряда городов. Одна из центральных улиц (улица Эстерхази) столицы Венгрии Будапешта была переименована в улицу Пушкина. Для народа новой демократической Венгрии Пушкин дорог и близок. „Пушкин живет и будет жить в сердцах свободных венгров“, — говорит венгерский писатель Шандор Гергель.¹

Прогрессивная общественность почти всех стран мира отмечала 150-летие со дня рождения Пушкина. В Скандинавских странах прошли пушкинские заседания и вечера. На юбилейном собрании членов общества „Норвегия—СССР“ в Осло присутствовало свыше тысячи представителей норвежской общественности. Большинство шведских газет опубликовало статьи о Пушкине; в них отмечался глубоко национальный характер творчества Пушкина, указывалось на его всемирное значение. В датской королевской библиотеке в Копенгагене была открыта пушкинская выставка. Издания произведений Пушкина представлены на выставке на русском и датском языках.

В Голландии, Финляндии, Италии Австрии также состоялись пушкинские заседания и вечера. Торжественный вечер был проведен в столице Австрии Вене, в зале венского дворца Кобург. После доклада о Пушкине состоялся концерт. Концерт, в котором исполнялись произведения Рахманинова, Гречанинова и Глазунова на слова Пушкина, был организован в Лондоне Обществом культурной связи с СССР. Торжественное заседание состоялось в Бейруте, столице Ливана. На нем присутствовало свыше пятисот человек — политические деятели, видные деятели науки и культуры Ливана, студенты.

Этот необычайный размах празднования 150-летия со дня рождения Пушкина в зарубежных странах, и в первую очередь в странах народной демократии, свидетельствует о широчайшей и всё увеличивающейся известности Пушкина во всем мире. Такая известность — яркое свидетельство всемирного значения творчества великого русского поэта.



¹ „Правда“, 1949, № 157, 6 июня.

Б. П. ГОРОДЕЦКИИ

ИЗУЧЕНИЕ ПУШКИНА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Бесспорно исключительное воспитательное значение великого наследия Пушкина. Заканчивая свои знаменитые статьи о Пушкине, Белинский писал, что „к особнным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство *гуманности*, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека“.

„Придет время, — пророчески писал далее Белинский о Пушкине, — когда он будет в России поэтом *классическим*, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...“¹

Великие творения Пушкина уже оказали свое благотворное воздействие на ряд поколений лучших русских людей, воспитывая в них чувство гуманности, „бесконечное уважение к достоинству человека, как человека“.

Выписываю всем знакомые слова А. М. Горького о первом знакомстве с Пушкиным, чтобы показать, как велико может быть влияние Пушкина на воспитание ребенка.

„Это были поэмы Пушкина, — рассказывал Горький. — Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, — всегда стремишься обегать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.“

„Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 218–219.

желовко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сказав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей —

мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми прижата трава, еще не стряхнувшая капле росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично всё, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!¹

Эти воспоминания Горького о своем детском восприятии Пушкина глубоко знаменательны. Разумеется талант Горького в какой-то степени увеличивал его раннюю восприимчивость к прекрасному, но в этом его восторженном отношении к Пушкину нет ничего исключительного. Горький только сильнее, глубже и полнее чувствовал и ярче выразил то, что чувствовали и чувствуют многие дети — и раньше, и сейчас, — впервые знакомясь с чарующим миром поэзии Пушкина.

„Я открыл для себя Пушкина лет семи в глухой саратовской деревне, — вспоминает Федор Гладков. — Рос я в патриархальной, старообрядческой семье, где считалось страшным грехом держать в избе и читать «гражданские» книжки... Однажды летом я услышал распевный голос тряпичника и побежал навстречу ему с тряпками подмышкой... И вот в этот раз я почему-то сразу же схватил голубую книжку с портретом кудрявого человека. Он пристально смотрел на меня юношескими, жизнерадостными глазами. Я бросил тряпки продавцу и прижал к груди эту книжечку. И, убегая обратно, любовался обликом этого кудрявого и радостного человека и не мог оторвать от него глаз. Я прочел крупно напечатанные слова сверху обложки: «А. Пушкин. Сказки». И когда я начал, спотыкаясь, читать первые строки «Сказки о рыбаке и рыбке», я почувствовал что-то очень родное, близкое, потрясающе простое, но необычайное — ослепительное, народное. Я наслаждался музыкой стихов, ослеплялся солнечным светом каждой строки, и передо мною открывался новый мир — необъятный, фантастический, но очень реальный, близкий, понятный и чарующий. Море в грохочущих волнах, золотая волшебная рыбка, царевна-лебедь, тридцать три богатыря, сверкающий город на высоком берегу. Добро и правда сияют солнцем, а зло и кривда испепеляются“.²

¹ М. Горький, Собрание сочинений, т. 13, Гослитиздат, М., 1951, стр. 348—349.

² Федор Гладков. Тебя, как первую любовь, Россия сердце не забудет. Литературная газета, 1949, № 45, 4 июня.

О таком же раннем своем восприятии Пушкина вспоминает и поэт А. Твардовский. „Я узнал и полюбил Пушкина, — пишет он, — в том возрасте, когда гораздо слаще слушать чтение, чем читать самому. Со слуха я знал его «Сказку о царе Салтане», Полтавский бой из «Полтавы», сон Татьяны из «Евгения Онегина», «Жениха». Но «Капитанская дочка» явилась для меня первой в жизни самостоятельно прочитанной книгой. Я помню формат книги, ее запах, помню, как я был счастлив, что сам открыл эту не известную мне со слуха историю. Я был захвачен ею и засиделся у окна избы дотемна, и когда дошел до бурана в Оренбургской степи, то увидел, что за окном пошел снег, и это стало неизгладимым до сих пор впечатлением как бы магической силы, изошедшей от пушкинской страницы. С того вечера я стал читателем книг, и мне бесконечно дорого, что этим я обязан Пушкину. А кто не обязан ему радостью приобщения на самой заре жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь!»¹

Приведенные примеры исключительно сильного и благотворного воздействия пушкинской поэзии на сознание ребенка можно было бы значительно умножить. Нужно только всемерно помогать этому процессу „открытия“ Пушкина в раннем детском возрасте. И поэтому общая наша задача — деятелей литературоведческого фронта и, в первую очередь, преподавателей-словесников начальной и средней школы, которым непосредственно и ежедневно приходится иметь дело с детским восприятием, — сделать всё, чтобы знакомство с поэзией Пушкина в детском возрасте делало ребенка счастливым, жизнь его легкой и приятной, чтобы, прочитав и заучив наизусть стихотворение Пушкина, ребенок не испытывал бы досады на школу за то, что она заставляет его заучивать наизусть трудные и неинтересные для него вещи, а, подобно Горькому, воскликнул бы: „Какое это счастье — быть грамотным!“

Общеизвестно, что количество впечатлений, лежащих на душу ребенка, и жизненных навыков, получаемых им в первые периоды его жизни, намного превышают количество впечатлений и навыков, получаемых им за последующие периоды жизни, ибо именно в эти ранние годы формируется человек, его характер, определяются и выявляются его основные склонности и способности. Переучиваться и отвыкать от приобретенных навыков труднее, чем учиться вновь. Если обстановка и среда, окружающие ребенка, благоприятствуют его развитию, то способности ребенка проявляются рано и нормально развиваются в дальнейшем. Но если годы своего детства ребенок проводит в обстановке, которая не благоприятствует нормальному развитию заложенных в нем возможностей и способностей, то эти способности надолго заглушают или даже гибнут совсем.

¹ А. Твардовский. Праздник русской и мировой культуры. „Литературная газета“, 1949, № 45, 4 июня.

Няня Пушкина — Арина Родионовна — была тем человеком, который впервые показал мальчику-Пушкину красоту устной народной речи, красоту прекрасного и изумительного народного творчества, красоту замечательных русских сказок, былин и песен.

Бабушка Горького сыграла еще большую роль в жизни великого пролетарского писателя. Она была для него тем человеком, который впервые раскрыл перед мальчиком волшебный мир красоты, красоты человека, природы, народной речи, научил его понимать и любить эту красоту.

Еще тогда, когда бабушка везла внука на пароходе из Астрахани в Нижний-Новгород, она, переходя от борта к борту парохода, показывала ему красоту осенней природы, красоту расшитых золотом осенних волжских берегов. „Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены“.¹ И несомненно, что эти ранние детские впечатления помогли впоследствии Горькому оценить пушкинское:

В багрец и в золото одетые леса.

Засыпая и слушая размеренный шопот бабушки, рассказывающей ему чудесные русские сказки о Еруслане Лазаревиче, о царевне и семи богатырях, мальчик думал: как это бабушка умеет говорить так ладно — как речка льется, как ручеек журчит, — и в голове ребенка начинали складываться какие-то свои размеренные строчки о том, как дедушка больно бьет его, как нищие просят милостыню и никто не подает им. Это не были еще стихи, даже в самом отдаленном смысле этого слова, но это уже было свидетельством возможности словесного творчества, стимулом к которому явились сказки бабушки и чувство красоты родной русской речи, внушенное ею мальчику.

„Говорила она, — вспоминал Горький, — как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные... — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни“.²

Так велико воздействие воспитателя на ребенка!

Каждый преподаватель русской литературы и родного языка должен неизменно помнить об огромной воспитательной роли великого пушкинского наследия. И на каком же материале, как не на творчестве Пушкина, в первую очередь можно и должно воспитывать в учащих это чувство красоты и гуманности, высоты долга и служения народу и Родине, красоты человеческих отношений и переживаний, красоты природы, красоты родной русской речи?

Коммунистическая партия и советское правительство уделяют огромное внимание раннему обнаружению способностей и дарований еще в детском возрасте. Вот почему в нашей стране создаются

¹ М. Горький, Собрание сочинений, т. 13, Гослитиздат, М., 1951, стр. 16.

² Там же, стр. 15.

дворцы и дома пионеров, дома народного творчества и различные кружки, где любовно выращиваются художественные дарования, проявляющиеся в детском возрасте. Вот почему при консерваториях работают школы-десятилетки. Соответствующих школ-десятилеток, воспитывающих литературные дарования, у нас нет, да едва ли они и нужны, ибо эту функцию с успехом может выполнять нормальная школа, призванная не только давать знания, но и всесторонне воспитывать советского ребенка, создавая все возможности для выявления самых разнообразных склонностей и способностей, заложенных в нем.

В деле преподавания русской литературы советская средняя школа имеет уже несомненные и немалые достижения. Качество подготовки выпускников десятых классов год от года повышается всё более и более. Однако на этом не следует успокаиваться. Наша общая задача — и научных литературоведческих учреждений и самих школ — состоит в том, чтобы еще улучшить дело преподавания русской литературы в средней школе, а в связи с этим и ответить на вопрос: всё ли нами сделано для того, чтобы великая русская классическая литература и ее основоположник Пушкин воспринимались нашими школьниками так же, как они воспринимались Алешей Пешковым?

Следует сказать, что работа в этом направлении, несомненно, проводится. Педагогические журналы печатают статьи методического характера, в которых уделяется внимание изучению Пушкина. Ведется соответствующая работа и в Институте методов обучения Академии педагогических наук РСФСР. За последнее время в эту научно-исследовательскую работу вовлекаются и педагоги-практики. Но всего этого, конечно, далеко не достаточно.

В настоящем докладе я не собираюсь предлагать, вместо существующих, какие-либо новые программы по литературе, ибо для составления таких новых программ необходимо обсуждение и осмысление школьного опыта в республиканском масштабе. Также не собираюсь я предлагать и готовые рецепты изучения Пушкина в средней школе.

Моя задача заключается лишь в том, чтобы, основываясь на некоторых наблюдениях, поставить перед педагогической секцией нашей Всесоюзной Пушкинской конференции ряд вопросов, обсуждение которых могло бы принести известную пользу именно сейчас, когда идет работа по пересмотру учебных программ средней школы.

Решение вопроса о качестве и методах работы преподавателя, знакомящего учащихся с жизнью и творчеством Пушкина, очень сложно и очень трудно, ибо огромное и первоочередное значение в этом отношении приобретает *человек*, сам преподаватель с его *личным* пониманием и восприятием Пушкина.

Такие же трудности возникают и при попытках определения того арсенала средств, которыми может располагать преподаватель-словесник в своей педагогической работе над Пушкиным. Сюда входят и знания, приобретенные в вузе и сохраняющиеся в различного рода

записях и конспектах лекций, и вузовские учебники и программы, и книги и брошюры о Пушкине, и, наконец, утвержденные министерством школьные программы и учебники, обязательные как для школьников, так и для преподавателей. Именно поэтому на этих последних и следует остановиться подробнее.

При решении вопроса о роли и месте изучения Пушкина в программах средней школы и об объеме пушкинского материала в этих программах необходимо соблюдать известные пропорции и не допускать ошибки, которая могла бы привести на практике к переоценке значения классического наследия прошлого или недооценке значения современной социалистической культуры.

Изучение великого классического наследия прошлого, кроме своего познавательного значения, приобретает сейчас и совершенно новое воспитательное значение.

При решении сложнейшей проблемы соответствия и соотношения старого классического наследия с новыми воспитательными задачами, которым, в значительной своей части, и должно быть подчинено изучение этого наследия, целый ряд писателей прошлого отходит на второй план. И с тем большей гордостью за Пушкина мы должны констатировать, что его великое наследие и по сей день продолжает служить мощным оружием в нашей борьбе за нового человека и новые человеческие отношения. Тем с большим вниманием и сознанием своей ответственности перед народом мы должны подходить к проблемам изучения Пушкина в школе, чтобы не допустить превращения великого пушкинского наследия лишь в „предмет исторического изучения“, чтобы не допустить изучения произведений Пушкина лишь с точки зрения их „плана“ и „построения“, но всемерно стремясь к тому, чтобы довести Пушкина до сознания школьников как живого и действенного, глубоко созвучного нашей современности явления нашей великой национальной культуры. В „Программе по курсу «Русская литература XIX века» для факультетов русского языка и литературы педагогических институтов“, которые дают основной багаж учителям-словесникам, на изучение Пушкина отводится всего лишь восемь часов.¹ Легко представить себе, с какими скромными знаниями о жизни и творчестве величайшего русского поэта выходят будущие преподаватели литературы из стен педагогических институтов, где нет спецкурса по Пушкину.

Существующие школьные учебники и программы по русской литературе, несмотря на несомненный сдвиг к лучшему в деле их составления, всё еще далеко не совершенны. Узко и упрощенно понимаемый принцип единства формы и содержания зачастую приводит в них

¹ Министерство высшего образования СССР. Отдел педагогических высших учебных заведений. Программа по курсу „Русская литература XIX века“ для факультетов русского языка и литературы педагогических институтов. М., 1950, стр. 9.

к забвению художественной стороны и специфики поэтического произведения. Особенно это бросается в глаза на примерах разбора пушкинских лирических стихотворений в большинстве учебников по русской литературе для средних школ. Пользуясь этими данными и приемами, настоящего Пушкина до сознания школьников довести почти невозможно, или, во всяком случае, очень трудно.

Ориентируя учащихся и учащихся на раскрытие преимущественно смысловой, идейной, социально-политической стороны художественного произведения (что, конечно, необходимо в первую очередь), программы по русской литературе для средних школ почти полностью обходят художественную сторону произведения, без осмысления которой вообще нельзя оценить и понять произведение в целом. Эта тенденция характерна и для программных установок по фольклору: „В произведениях русского народного творчества отражены высокие качества ума и лучшие черты характера русских людей. В этих произведениях показаны: защита родины, борьба русского народа с врагами за свою свободу и независимость; взаимоотношения между крестьянами и «барами» при крепостном праве; бесправное положение женщины-крестьянки до Великой Октябрьской социалистической революции“.¹

Этим ограничиваются методические указания программы по русскому устному народному творчеству! О художественной стороне были и сказок не сказано ни слова. В том же духе забвения художественной стороны произведения до последнего времени составлялись вопросы и к изумительной по своей народности пушкинской „Сказке о рыбаке и рыбке“. В хрестоматии „Родная речь“ для третьего класса начальной школы школьникам предлагаются следующие вопросы: „1. Как изменялись и росли требования старухи? 2. Как изменилась жизнь старухи, когда она сделалась дворянкой? Царицей? 3. Прочитайте еще раз, какими словами старик осуждает старуху? 4. Прочитайте, как менялось море с каждым новым приходом старика. Выделите выражения, рисующие бурю на море. 5. Подберите к картинкам соответствующие слова из сказки. 6. Скажите, почему старуха оказалась у разбитого корыта? 7. Что правдивого о жизни людей рассказано в этой сказке и что в ней неправдоподобного? 9. Прочитайте сказку по ролям“.²

И вот, вспоминая ту роль, какую сыграли в детстве Горького сказки, услышанные им от бабушки, приходится пожалеть о том, что существующие учебные программы и учебники для средних школ почти полностью игнорируют именно эту сторону сказок, так сильно действующую на детское воображение. Несомненно, что лучшие, наиболее передовые преподаватели раскроют перед школьниками чудесный мир

¹ Программы средней школы. Русский язык и литературное чтение. V—VII классы. Учпедгиз, 1951, стр. 17.

² Е. Е. Соловьева, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, В. И. Вольнская, А. А. Канарская. Родная речь. Книга для чтения в III классе начальной школы. Изд. 5-е, Учпедгиз, М., 1949, стр. 123—124.

поэзии устного народного творчества и сказок Пушкина, но нужно думать, что, ориентируясь на программы и учебники для средних школ, сделать это довольно трудно.

В нашей печати уже указывалось на серьезные недостатки учебников по русской литературе для VIII и IX классов.¹ Пушкина, в основном, проходят в VIII классе, поэтому я остановлюсь на той части учебника для VIII класса Н. Поспелова, П. Шаблювского и А. Зерчанинова,² где говорится о Пушкине.

В разделе „Общественное движение и литература в первой четверти XIX века“ (стр. 144—146), имеющем самое прямое и непосредственное отношение к Пушкину, творчество которого разветвляется именно в этот период, чрезвычайно сужена социально-политическая характеристика эпохи. Движение декабристов рассматривается само по себе, без какого бы то ни было упоминания о росте антикрепостнических настроений в широчайших народных массах. Не упомянув ни словом о широком народном антикрепостническом движении, особенно интенсивно развивавшемся в России после окончания Отечественной войны 1812—1815 годов, учебник не создает предпосылок для понимания того процесса эволюции мировоззрения Пушкина, какой закономерный привел его к раскрытию образа народа и его роли в истории в „Борисе Годунове“. „Еще в 1812 году, в Пензенской губернии, — писал Н. К. Пиксанов в статье „Пушкин и народ“, — ополченцы, отнюдь не отказываясь от борьбы с Наполеоном, устранили, однако, офицеров и избрали полковника из своей среды. С 1813 по 1825 год произошло 540 крестьянских волнений. В 1818—1820 годах возникли волнения на Дону, в Екатеринославской губернии: ими было охвачено более 45 тысяч крестьян; Пушкин был свидетелем Екатеринославского восстания. В 1820 году в самой военной столице, в Петербурге, вспыхнуло восстание Семеновского полка. В прокламациях восставших солдат писалось о «всесильных и гордых дворянах», о них и о царе говорилось: «тиран тирана защищает», царя и дворян предлагалось взять «под крепкую стражу».

„И вот, когда мы хотим осмыслить закономерность развития народно-реалистического творчества Пушкина, надо учитывать... именно эти грозные сигналы глубокой социальной войны“.³

Крайне односторонне охарактеризован и период жизни и творчества Пушкина между Лицеем и ссылкой (1817—1820): „Впрочем, Пушкин мало внимания уделял службе. «Во дни веселий и желаний я был

¹ В. Новиков. Об учебниках по русской литературе. „Культура и жизнь“, 1951, № 2, 21 января.

² Н. Поспелов, П. Шаблювский, А. Зерчанинов. Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. Под общей редакцией Н. Л. Бродского, изд. 10-е, утвержден Министерством просвещения РСФСР, Учпедгиз, М., 1950. Дальше указываются страницы этого учебника.

³ „Вестник Ленинградского университета“, 1949, № 6, стр. 9—10.

от балов без ума», — пишет он о себе. Он увлекался театром, вел рассеянный, светский образ жизни“ (стр. 199). При конкретности детского мышления, эта характеристика должна привести к совершенно превратному и искаженному представлению об этом периоде творческого роста Пушкина. Акцент должно было сделать как раз на обратном: показать, как много Пушкин сделал за это время и как он постепенно превращался в поэтического глашатая идей декабризма. Искраженно трактуются и некоторые особенности политических взглядов Пушкина этого периода: „...Пушкин не скрывал своего сочувствия тем революционерам, которые совершали политические убийства: немецкому студенту Занду, убившему (в 1819 году) русского шпиона писателя Коцебу; французскому рабочему Пьеру Лувелю, который убил (в 1820 году) наследника французского престола, герцога Беррийского“ (стр. 201). Террор никогда не был программой как декабристов, так и Пушкина. Достаточно вспомнить о пушкинской оде „Вольность“, где дана резко отрицательная оценка действиям убийц Павла I. „Это отрицательное отношение, — пишет М. В. Нечкина, — вообще было свойственно декабристам. Они не пошли путем дворцового переворота — они вышли в главе войск на площадь столицы, перед лицом народа, — открыто, с оружием в руках. «Серальный переворот был для них противен», — метко схватил Герцен эту черту декабристов.¹ Вот что пишет о расправе с Павлом I один из самых левых декабристов, А. Поджио, в своих «Записках»: «Пьяная, буйная толпа заговорщиков врывается к нему и отвратительно, без малейшей гражданской цели, его таскает, душит, бьет... и убивает!.. Убийцы были награждены; за ними был легкий жалкий успех. Нет, они нам не пример»^{2, 3}

Совершенно неудовлетворительно в учебнике анализируются отдельные произведения Пушкина. Так, например, говоря о поэме „Цыганы“, авторы учебника ни одним словом не обмолвились об описательной стороне поэмы, которую так высоко ценил сам Пушкин. А здесь есть о чем говорить! Обратив всё свое внимание на смысловой анализ произведения (что, конечно, необходимо), авторы совершенно забыли поэтическую его сторону и тем самым обеднили поэму Пушкина.

Крайним упрощенчеством и рецидивом вульгарного социологизма является следующее толкование особенностей композиции „Медного всадника“: „Особенностью композиции «Медного всадника» является участие неодушевленных вещей в ходе событий. Таковыми персонажами являются статуя Петра I, новая столица и Нева. Петербург выступает как бы в защиту Петра I, полностью оправдывая его далеко идущие

¹ А. И. Герцен. Письмо к Александру II (По поводу книги барона Корфа). Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 32.

² А. В. Поджио. Записки. Сборник „Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов“, т. I, 1931, стр. 62.

³ М. В. Нечкина. Пушкин и декабристы. „Вестник Академии Наук СССР“, 1937, № 2—3, стр. 154.

планы, а Нева, наоборот, как бы сопротивляется делу Петра и дает повод для протеста Евгения" (стр. 270).

В учебнике наблюдается непростительная небрежность в воспроизведении общеизвестных пушкинских текстов. Например,

Равны мне писари, уланы,
Равны мне каски, кивера. . .
(Стр. 199)¹

вместо:

Равны законы, кивера. . .

Или:

Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, слово „плетн“ ненавида. . .
(Стр. 200).

Откуда взялась такая редакция этой последней строки? В шеститомнике ГИХЛ (т. IV, 1932, стр. 309) читаем:

Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, слово: рабство ненавида. . .

В одготомнике ГИХЛ (1936, стр. 167):

И плети рабства ненавида. . .

В Академическом юбилейном Полном собрании сочинений Пушкина (т. VI, 1937, стр. 524):

И слово: рабство ненавида. . .

В десятитомнике Академии Наук СССР (т. V, 1949, стр. 212):

И, плети рабства ненавида. . .

В высокой степени, конечно, здесь повинны и авторитетные издания с их совершенно непростительным разнбоем в воспроизведении пушкинского текста.

Одним из наиболее трудных вопросов, возникающих при изучении Пушкина в средней школе, является вопрос об ознакомлении учащихся с лирикой Пушкина. Какая величайшая ответственность ложится на преподавателя в процессе осмысления учащимися лирических произведений Пушкина! „В процессе чтения, — говорится в „Программе“ для V—VII классов, — учитель делает анализ данного произведения, помогая учащимся понять его смысл и художественные средства“,² т. е. надолго, может быть на всю жизнь учитель вкладывает в сознание ребенка понимание того или иного душевного переживания Пушкина!

¹ Здесь и дальше выделено мною, — Б. Г.

² Программы средней школы. Русский язык и литературное чтение. V—VII классы. 1951, стр. 23.

Как же помогает учебник в этой трудной и ответственной работе преподавателя?

О стихотворении „Деревня“ говорится: „Изобразив... мирную картину сельской природы... автор (т. е. Пушкин, — Б. Г.) говорит о благотворном влиянии деревни на его собственное настроение и его *трудопособность* (стр. 216). До какой степени эта попытка прозаического переложения стихов Пушкина мельчит весь пушкинский замысел!

В разделе „Природа в лирике Пушкина“ говорится:

„В дальнейшем творчестве Пушкина мы наблюдаем постепенный процесс освобождения от романтизма в изображении природы.

„Уже в «Евгении Онегине» мы находим ряд картин русской природы, нарисованных в стиле строгого реализма. Но полное торжество реализма в изображении природы наблюдается у Пушкина в стихотворениях 30-х годов...“ (стр. 220).

Уместен вопрос к авторам учебника: следовательно, они считают, что знаменитый пушкинский роман в стихах еще недостаточно реалистичен? Но обратимся к стихотворениям 30-х годов. Вот что говорится о стихотворении „Осень“:

„При описании зимы Пушкин останавливается сначала на ее раннем периоде, когда «дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей...». Здесь очень точно перечисляются те явления, которые характерны для этого переходного периода от осени к зиме. Пушкин, конечно, не стремится к исчерпывающей и систематической полноте описания времен года, но те картины, на которых он останавливается, даны во всей своей реалистической правдивости. Описывая «суровую зиму», Пушкин выделяет лишь некоторые типичные для нее эпизоды: легкий бег саней, катанье на коньках и зимние праздники.

„Отметим здесь реалистическое мастерство, с каким Пушкин изображает катанье на коньках: «как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек»“ (стр. 220). Основным достоинством этого стихотворения авторы считают „перечисление таких черт, которые характеризуют предмет с самой прозаической стороны. Например, про весну поэт пишет:

Скучна мне оттепель, вонь, грязь — весной я болен...

Про лето:

Ох, лето красно! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Про позднюю осень:

Здоровью моему полезен русский холод:
.....
Чредой слетает сон, чредой находит голод,
Легко и радостно играет в сердце кровь.
..... Таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм)“.

(Стр. 220—221).

Отметив, что в стихотворении наблюдается „стремление Пушкина к снижению поэтической речи... к приближению языка поэзии к языку прозы“, авторы замечают: „С таким же реализмом изображается в этом произведении самый процесс поэтического творчества“ (стр. 220, 221).

И это всё! Т. е., иными словами, сделано всё, чтобы в сознании восьмиклассников укоренилось и укрепилось на всю жизнь представление о том, что в *этом-то* и состоит главное достоинство стихотворения. Но разве *это* надо показать школьнику для того, чтобы заставить его полюбить Пушкина? Разве нет в этом изумительном стихотворении таких непревзойденных картин и образов, как, например:

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

Или:

Ведут ко мне коня; в раздолини открытом,
Махая гривой он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол, и трескается лед.

Две последние строки выделены мною. Но кто об этой *чарующей прелести* поэзии Пушкина расскажет школьникам, если преподаватели будут придерживаться только учебника?

О потрясающем по силе заключенного в нем чувства стихотворении „Вновь я посетил...“ сказано, буквально, следующее:

„Стихотворение «Вновь я посетил...» (1835) состоит из трех частей:

- 1) сопоставление двух посещений автором села Михайловского;
- 2) описание села Михайловского (домик, холм лесистый и вид с него на озеро и его берега, три сосны);
- 3) обращение автора к молодой роще.

„Сравнение этого стихотворения с разобранным ранее «Деревней» (1819) показывает, какой огромный шаг вперед сделал Пушкин на пути к реализму, простоте, сжатости и точности языка“ (стр. 221). И это всё!

Недостаточно четкое понимание принципов „романтического“ и „реалистического“ отношения к действительности, наблюдаемое в учебнике, способно породить — при анализе пушкинской лирики — путаницу в сознании школьников. Например, при разборе стихотворения „К морю“ (1824) говорится: „В... перенесении субъективных переживаний автора на внешний предмет и заключается сущность романтического подхода к нему“ (стр. 220). Однако, отметив тут же, что „полное торжество реализма в изображении природы наблюдается у Пушкина в стихотворениях 30-х годов: «Румяный критик мой...» (1830), «Осень» (1833), «Туча» (1835)...“, авторы учебника на следующей же странице пишут об этой реалистической „Туче“ буквально следующее: „... картина природы окрашивается живыми человеческими страстями и приобретает

символический характер, не теряя своего реалистического содержания и значения" (стр. 220, 221).

Как же растолковать школьнику эту разницу в отношении Пушкина к природе в стихотворениях „К морю“ и „Туча“? В стихотворении „К морю“ наблюдается, по словам авторов, „перенесение субъективных переживаний автора (т. е. Пушкина, — Б. Г.) на внешний предмет“, и поэтому данное стихотворение должно рассматриваться как „романтическое“. Однако в другом стихотворении „Туча“, которое авторами характеризуется как „полное торжество реализма в изображении природы...“, оказывается, „картина природы“ тоже „окрашивается живыми человеческими страстями“, да еще приобретает „символический характер“ — и все-таки не теряет „своего реалистического содержания“. Принесет ли хоть какую-нибудь пользу школьнику это запутанное определение „сущности“ „романтического подхода“ к действительности, заключающегося якобы в „перенесении... субъективных переживаний автора на внешний предмет“. По этому поводу А. М. Горький в свое время писал:

„Мы читаем и слышим: «ветер плачет», «стонет», «задумчиво светит луна»... мы замечаем, что человек придает всему, что видит, свои человеческие качества, — воображает, вносит их всюду — во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи. Есть люди, которым кажется, что антропоморфизм не уместен и даже вреден в искусстве словесном, но люди эти сами говорят: «мороз щипал уши», «солнце улыбалось», «наступил май», они не могут не говорить: «дождь идет», хотя дождь не обладает ногами, «погода подлая», хотя явления природы не подлежат нашим моральным оценкам“.¹

В программах по литературе для средних школ большое внимание уделяется заучиванию школьниками наизусть лучших лирических стихотворений наших великих поэтов. И это, конечно, правильно. Это обогащает школьника и помогает закреплению в его памяти пройденного. Однако и к этому важному и полезному делу необходимо подходить с большой осмотрительностью в отношении выбора стихотворений для заучивания наизусть. Решающее значение приобретает здесь соотношение возраста учащегося с содержанием заучиваемого произведения.

М. Горький рассказывает о том, как мать заставляла его учить наизусть стихотворения из книжки и какие затруднения он при этом испытывал, хотя еще ранее он легко запоминал на слух самые длинные сказки бабушки.

„Вскоре, — вспоминает Горький, — мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них — «Родному слову» —... предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.

¹ М. Горький. О литературе. Изд. 3-е, М., 1937, стр. 201, 202.

„Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берешь ты у бога.
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

„Я читал «простого» вместо «простора», «рубил» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту»... я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, — неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишились всякого смысла“.¹

Это происходило потому, что ребенка заставляли заучивать наизусть стихи, непонятные ему, ненужные ему и поэтому не доходящие до его сознания.

Как к этому выбору следует подходить осторожно, покажет хотя бы следующий пример. В программе для V класса, где учатся одиннадцатилетки, в числе других стихотворений для заучивания наизусть стоит „Осень“ (очевидно, в отрывках, хотя это и не оговорено в программе). Это очень серьезное стихотворение, написанное в сложном и довольно трудном ритме, едва ли будет понятно одиннадцатилетним ребятам, которым придется запоминать строки о „легком беге саней“, с подругой, которая „под сободем, согрета и свежа“, „вам руку жмет, пылая и дрожа“, об „Армидах молодых“, о „нелюбимом дитяти в семье родной“, о „чахоточной деве“, которая „порою нравится“, но которая „жива еще сегодня, завтра нет“. Основываясь на суждениях об этом стихотворении в учебнике для VIII класса, начинаешь испытывать беспокойство за одиннадцатилетних пятиклассников, которым придется заучивать наизусть то, что им еще трудно понять.

На практике наиболее передовые преподаватели зачастую принуждены поправлять данные программ и учебников. В частности, преподаватель почти ничего не найдет в существующих учебниках для средней школы относительно мастерства писателя. Затруднения, какие испытывают преподаватели средних школ, в значительной степени усугубляются еще и тем, что научно-исследовательские литературоведческие учреждения до сих пор очень мало занимались этим вопросом и мало жили интересами средней школы. В частности, наблюдается почти полное отсутствие научно-популярных работ о Пушкине, посвященных конкретному анализу отдельных пушкинских произведений. В связи с юбилеем 1949 года был выпущен ряд брошюр, которые принесли несомненную пользу, но позднее выпуск работ подобного рода почти совершенно прекратился.

¹ М. Горький, Собрание сочинений, т. 13, Гослитиздат, М., 1951, стр. 132—133.

Абсолютно необходима серия научно-популярных работ о русских классиках, отдельных их произведениях, и в первую очередь о Пушкине и его произведениях.

У нас даже нет ни одной биографии Пушкина, написанной для детей школьного возраста и имеющей серьезное воспитательное значение. Биографию Пушкина для детей школьного возраста следует написать совершенно особым образом. Она должна граничить с художественным повествованием, должна быть увлекательной, яркой, должна дать ребенку образ Пушкина в неискаженном виде и сообщить сумму необходимых сведений в доступной и интересной для детей форме.

Существующие и продолжающие еще издаваться так называемые „Наглядные пособия“ для изучения Пушкина (стандартные выставки) грешат уже приевшейся дурной стандартизацией и ни в какой мере не способны заинтересовать ребенка личностью поэта и особенностями его произведений.

Особое внимание уделяется средней школой изучению современного русского литературного языка. „Школа... — говорится в программе для V—VII классов, — должна раскрыть перед учащимися сокровища русского языка: богатство словаря, возможность с помощью его выражать самые тонкие оттенки мыслей и чувств, исключительные словообразовательные ресурсы русского языка, меткость, гибкость, силу образительных и выразительных средств его“.

Неисчерпаемым источником для изучения современного русского литературного языка является творчество наших великих писателей-классиков и, в первую очередь, Пушкина.

„Уместно будет напомнить, — писал М. Горький, — что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его“¹.

Между тем преподаватели средних школ испытывают серьезные затруднения в связи с почти полным отсутствием научно-популярных работ о языке отдельных писателей-классиков, в том числе и Пушкина. Создание подобных работ — первоочередная задача и лингвистов и литературоведов.

Недостаточное внимание к особенностям языка Пушкина нередко приводит к досадным неточностям, имеющимся в существующих учебных пособиях для начальной и средней школы. Так, например, в книге для чтения в третьем классе начальной школы „Родная речь“ (Учпедгиз, 1949) в примечании к слову „землянка“ („Сказка о рыбаке и рыбке“) говорится: „Землянка — избушка в земле“ (стр. 115). При конкретности детского мышления ребята вообразят себе настоящую деревянную

¹ М. Горький. О литературе. Изд. 3-е, М., 1937, стр. 220.

„избушку“, почему-то, однако, зарытую в землю. Между тем „землянка“ отнюдь не характеризуется тем, что она *вырыта в земле*: землянка у Пушкина — это жилье с земляными стенками, сходящимися вверх. У подобных строений имеются и оконца, и дверь, и входят в них, переступая порог, а не спускаясь по лесенке вниз. Отчасти в подобном толковании слова „землянка“ повинен и „Толковый словарь русского языка“ под редакцией проф. Д. Н. Ушакова, где о слове „землянка“ говорится: „землянка — жилье, вырытое в земле“ (т. I, 1935, стр. 1095). Гораздо более правильным является объяснение этого слова в „Толковом словаре живого великорусского языка“ В. Даля: „землянка, хижина, жилье, выкопанное отчасти в земле, вкопанное в землю, с битыми стенками, а иногда с дерновою кровлей“ (т. I, 1935, стр. 702).

В этой же книге для чтения „Родная речь“ для четвертого класса в строке из „Евгения Онегина“: „Лесов таинственная сень“ дается сноска: „Сень лесов — покров лиственных деревьев“ (стр. 34), т. е. листья. Но подобное толкование слова „сень“ противоречит уже самому смыслу пушкинских строк:

Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.¹

Если листья падают с деревьев на землю, то *обнажаются* уже не листья, а самые деревья, их ветви, кроны деревьев. Можно говорить о сени сосновых лесов. Пушкин говорил о сени кулис:

Там, там, под сению кулис
Младые дни мои неслись...

Изучение Пушкина в средней школе фактически завершается в VIII классе. В IX классе изучается русская литература второй половины XIX века, X класс целиком посвящен изучению советской литературы. Учащиеся, заканчивающие десятилетку, как правило, при выборе тем выпускного сочинения обходят Пушкина, так как IX и X классы не закрепляют полученных в VIII классе знаний о Пушкине и его эпохе. Неблагополучие в этом отношении явственно ощущается самими преподавателями. В некоторых школах проводятся конференции, посвященные творчеству Пушкина, как один из способов повторения его произведений в X классе.

Исключительно большую помощь преподавателю-историку могут оказать отдельные произведения Пушкина при прохождении в VIII и IX классах курса „Истории СССР“. Значение творчества Пушкина в этом плане еще недостаточно оценено, между тем, по глубоко верному замечанию М. Горького, произведения Пушкина — „драгоценное свидетельство умного, знающего и правдивого человека о нравах, обы-

¹ Выделено мною, — Б. Г.

чаях, понятиях известной эпохи; все они суть гениальные иллюстрации к русской истории“¹

В самом деле, при прохождении в VIII классе темы „Походы Олега и Игоря“ гениальной иллюстрацией может служить пушкинская „Песнь о вещем Олеге“. При прохождении темы „Крестьянская война и борьба с польской и шведской интервенцией в Русском государстве в конце XVII века“ благодарный и первоклассный материал для оживления темы может дать пушкинская трагедия „Борис Годунов“.

К курсу „Истории СССР“, проходимому в IX классе, может быть привлечен целый ряд произведений Пушкина, прямо относящихся к отдельным разделам курса: „Арап Петра Великого“ (раздел „Начало реформ Петра“); „Полтава“ (раздел „Победа русских под Полтавой“); „Капитанская дочка“ и „История Пугачева“ (раздел „Крестьянская война под предводительством Пугачева“); „Воспоминания о Царском селе“, „Рославлев“ (раздел „Отечественная война 1812 года“); X глава „Евгения Онегина“, „В Сибирь“, „Ответ“ А. И. Одоевского (раздел „Восстание в Петербурге 14 декабря 1825 года“) и пр.

К сожалению, приходится констатировать, что учебные программы по литературе и курсу истории СССР для VII, VIII и IX классов не согласованы между собой, а это вносит значительные затруднения при прохождении курса русской литературы в VII и VIII классах. Деятельность Петра I, восстание Пугачева, Отечественная война 1812 года и восстание декабристов 1825 года проходятся в курсе истории СССР в IX классе. Отсутствие у учащихся VIII класса представлений об этих исторических событиях затрудняет и усложняет их работу над такими значительными произведениями Пушкина, как „Арап Петра Великого“, „Полтава“, „Капитанская дочка“, X глава „Евгения Онегина“ и др. Преподавателю-словеснику, работающему в VIII классе, приходится зачастую в какой-то мере предвзвешивать и дублировать работу преподавателя-историка в IX классе, разъясняя учащимся, хотя бы в самой общей форме, историческое значение таких событий, как реформы Петра I, восстание Пугачева, Отечественная война 1812 года, движение декабристов, без понимания которых почти невозможно осмысление целого ряда значительнейших произведений Пушкина.

Это же несоответствие сказывается и на билетах для выпускных экзаменов за курс семилетней школы.²

В билетах для экзаменов за VIII класс средней школы на 1950—1951 учебный год имеется такой билет: „Значение А. С. Пушкина в русской и мировой литературе“. Учитывая, что основные знания о русской литературе после Пушкина учащиеся получают лишь в IX классе, а о мировой литературе они имеют пока еще самое общее представ-

¹ М. Горький. История русской литературы. Гослитиздат, 1939, стр. 104.

² Управление школ Министерства просвещения РСФСР. Билеты для выпускных экзаменов за курс семилетней школы на 1950/51 учебный год, Учпедгиз, 1951.

ление, нетрудно сделать вывод о том, что данный билет сознательно толкает учащегося на общие слова, затверженные им с чужого голоса. То же следует сказать и о билете „Значение Пушкина в истории русского литературного языка“.

В своем докладе я не был в состоянии коснуться всех вопросов, связанных с проблемой изучения Пушкина в средней школе. Преподаватели-словесники и научные сотрудники Института усовершенствования учителей и педагогических институтов, которые будут выступать на Секции по изучению Пушкина в средней школе, дополнят меня, ибо вопрос, обсуждаемый нами сейчас, является вопросом первостепенной важности.



К. П. ЛАХОСТСКИЙ

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ¹

Особенностью Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции была организация в составе ее педагогической секции, на заседании которой московские и ленинградские методисты и учителя средней школы выступили с рядом докладов, посвященных проблемам изучения наследия Пушкина в школе. Доклад проф. Б. П. Городецкого „Изучение Пушкина в средней школе“, прочитанный на пленарном заседании конференции, открыл работу педагогической секции. За ним, уже на заседаниях секции, последовали доклады по отдельным вопросам большой проблемы — „Пушкин в школе“.

Секция работала в конце первого учебного года после выхода в свет труда И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“. Это не могло не отразиться на характере работы секции. Уже первый доклад И. И. Савостьянова по теме и содержанию говорит о направленности педагогической мысли на разрешение проблем, возникших перед школой после опубликования трудов И. В. Сталина. В докладе, посвященном изучению в школе прозы Пушкина, вопросы изучения языка великого поэта и его художественного мастерства также заняли большое место.

Работа педагогической секции вызвала живой интерес среди учителей-словесников, и, несмотря на „горячее“ экзаменационное время, многие учителя ленинградских школ присутствовали на заседании секции, участвовали в обсуждении докладов. Институт русской литературы Академии Наук СССР организацией педагогической секции в рамках Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции ответил назревшей потребности встречи и совместной творческой работы ученых-литературоведов, с одной стороны, и практических работников средней школы — с другой, для совместного обсуждения важных вопросов, которые только и могут быть разрешены в плодотворном содружестве литературоведческой науки и школьной практики.

¹ Составлено по стенограмме докладов, прочитанных на заседаниях педагогической секции.

Ниже передается в сокращении содержание докладов, прочитанных на заседании педагогической секции, и выступлений ее участников.

И. И. Савостьянов (учитель 29-й Московской средней школы) — „Об изучении языка Пушкина в старших классах средней школы“.

После появления труда И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“ у многих учителей появилась потребность ответить на вопрос о том, как же вести преподавание литературы и освещать вопросы языка писателя, и в первую очередь — языка Пушкина, в старших классах. Докладчик сообщил о подготовленном им совместно с группой учителей Москвы и Ленинграда методическом сборнике, посвященном этой важнейшей проблеме, и дал краткий обзор содержания сборника.

В сборнике ставится вопрос о совершенно неудовлетворительной характеристике языка и стиля Пушкина в действующем учебнике для VIII класса Н. Поспелова, П. Шаблювского и А. Зерчанинова.

Для иллюстрации докладчик привел из этого учебника отрывок о языке „Евгения Онегина“: „Язык «Евгения Онегина», несмотря на свой стихотворный склад, не оторван от языка русского народа, а наоборот, пронизан элементами просторечия, заимствованными из фольклора и живого разговорного языка („Людская молвь и конский топ“, „Здесь барин сживал один“, „Здесь с ним обедал“, „Здесь почивал он“), а также отличается простотой синтаксического построения:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.

Отвечая критикам на их замечания о языке „Евгения Онегина“, Пушкин писал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка»¹.

Вот и всё, что авторы учебника нашли нужным сказать учащимся о языке бессмертного пушкинского романа. Докладчик отметил, что, наряду с таким низким уровнем освещения языка Пушкина в учебнике, многие учителя-практики превосходно освещают языковые проблемы пушкинского творчества в своих классных занятиях, но опыт их, к сожалению, изучается недостаточно.

Отдельные статьи сборника посвящены раскрытию значения Пушкина в создании русского литературного языка. Несколько статей рассматривают высказывания Пушкина о языке и свидетельствую современных поэтов об интересе его к народному языку. Ставится также вопрос о методике изучения языка Пушкина, и прежде всего о принципах отбора произведений Пушкина для языкового анализа.

¹ Н. Поспелов, П. Шаблювский, А. Зерчанинов. Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. М., 1950, стр. 242.

Какие произведения Пушкина следует отобрать для подробного анализа их языка и стиля, в значительной мере должен решать сам учитель.¹

При отборе для языкового анализа отдельных произведений из числа текстуально изучаемых в VIII классе должна быть поставлена ясно осознанная задача: дать учащимся возможно полное и отчетливое представление об историческом значении поэзии Пушкина в формировании современного русского литературного языка на народной основе.²

Бесспорно, что основным материалом для анализа языка Пушкина должны быть произведения, включенные в школьную программу.

И. И. Савостьянов познакомил со своим опытом подробного языкового анализа данного стихотворения „Осень“, значительно отличающимся от анализа, данного в учебнике.

Развитие языка Пушкина в лирических произведениях в сторону реализма, народности, демократизации может быть показано в VIII классе, а с большими подробностями — в X классе при повторении темы. Вопрос о повторении темы „А. С. Пушкин“ в X классе решается в школе плохо, и состояние этого раздела работы в настоящее время не может нас удовлетворять. Для более подробного языкового анализа рекомендуются трагедия „Борис Годунов“ и роман „Евгений Онегин“ как гениальные образцы пушкинского языка. Хорошим пособием при анализе языка „Бориса Годунова“ может служить книга Д. Д. Благого „Творческий путь Пушкина“.

Остановившаяся на статье сборника, посвященной вопросу о связи языка с мышлением, докладчик отмечает, что язык Пушкина служил и продолжает в наши дни служить могучим орудием борьбы и развития общества, отражая исторические пути и лучшие качества народа, творца и носителя этого языка.

Обобщая свое выступление, И. И. Савостьянов поставил задачей для преподавателей-словесников в X классе в результате изучения языка Пушкина привести учащихся к следующим выводам:

¹ Нам кажется, что И. И. Савостьянов недостаточно четко ставит вопрос, ибо при такой его постановке создается представление, что одни произведения Пушкина в классе анализируются с точки зрения их языка и стиля, а другие не должны подвергаться такому анализу. Более правильным будет положение о необходимости каждое из изучаемых в школе произведений поэта рассматривать в единстве содержания и формы (т. е. языка и стиля); следовательно, наблюдения над языком как средством выражения идеи, средством создания образа всегда должны быть в процессе анализа. Учитель же отбирает произведения Пушкина для подробного или для краткого разбора.

² И. И. Савостьянов совершенно прав, выдвигая эту задачу: при рассмотрении вопроса об изучении языка произведений Пушкина в школе необходимо иметь в виду как вопросы анализа языка каждого произведения со стороны его эстетической и идейной функции, так и анализ языка отдельных произведений, наиболее важных в этом отношении, с точки зрения проявления в них свойств и особенностей пушкинского языка как важнейшего этапа в развитии русского литературного языка.

1. Величайший народный поэт нашей Родины, основоположник новой русской литературы А. С. Пушкин в то же время сделал огромный вклад в дело создания современного русского литературного языка, гениально продолжая в этом традиции М. В. Ломоносова.

2. Единомысленник и вдохновитель дворянских революционеров — декабристов, Пушкин осознал свою задачу народного поэта — творить для народа и в его интересах. Так перед Пушкиным встал вопрос об общепонятности, общенародности литературного языка.

3. С детства приобщившись к чудесному миру народной сказки, Пушкин позднее расширил и углубил свой интерес к народу в его прошлом и настоящем. Это ярко отразилось уже на творчестве Пушкина 1817—1820 годов. В своих вольнолюбивых стихах этого периода Пушкин как патриот и гражданин обращался к широким кругам русского общества. „Руслан и Людмила“ представляет собой смелую попытку юноши-поэта создать сказочно-фантастическую народную поэму, о которой сам он в позднее написанном знаменитом прологе имел право сказать: „Там русский дух, там Русью пахнет“.

4. В южной ссылке, в обстановке крепнущих связей с членами Южного общества декабристов, горячего отклика на революционные и национально-освободительные движения в ряде зарубежных стран, Пушкин глубоко задумывается над вопросом о народности литературы, а следовательно, и ее языка. Отражением этого являются неподражаемая по своему народно-летописному стилю „Песнь о вещем Олеге“, поэмы „Цыганы“ и в особенности „Братья разбойники“.

5. В михайловской ссылке завершается формирование Пушкина как народного поэта. Народность в широком и глубоком историческом ее понимании становится отныне основой мировоззрения и творчества Пушкина. Изучение истории, памятников древней русской культуры и литературы, общение с народом и живое восприятие современной народной речи служат для Пушкина ключом к пониманию народного духа, источником раздумий над историческими судьбами Родины.

Замечательным образцом исторической народности является трагедия „Борис Годунов“. В этом произведении Пушкин раскрыл всё богатство общенародного русского языка отдаленной исторической эпохи.

Современная речь различных слоев русского общества звучит в романе „Евгений Онегин“, этой „энциклопедии русской жизни и в высшей степени народном произведении“.

Лирика Пушкина в этот период достигает предельной простоты, ясности и силы выражения глубоких мыслей и чувств. Пушкин становится в полном смысле „поэтом действительности“. Язык Пушкина полно и ярко отражает переход его к реализму, приобретая все черты того литературного языка, который мы называем *пушкинским*.

6. Пушкинский язык — это прежде всего язык мысли, выражающей свободолюбивые, патриотические и гуманистические стремления, язык

искренних и благородных чувств, твердой и стойкой воли. Пушкинский язык отражает мужественный, ясный, неотразимо обаятельный духовный облик великого сына великого русского народа, о котором „Правда“ писала: „В Пушкине сказались талантливость, сила, вдохновение, страсть великой страны, ее трудящихся масс“.¹

7. Дальнейший творческий путь Пушкина ведет его к углублению и расширению реалистических тенденций в тематике, стиле и языке его поэтических и прозаических произведений. В ряде своих прозаических произведений („Повести Белкина“, „Капитанская дочка“, „История села Горюхина“) Пушкин блестяще реализует установленные им для художественной прозы требования к языку: „Мыслей и мыслей“, „точности и краткости“, „нагой простоты“.

8. Язык и стиль Пушкина верно и гибко отражает реализм его творчества. В нем утверждаются и торжествуют демократизм и народность. Пушкин в зрелый период своего творчества пришел к выводу, что национальный язык должен быть верным и полным выражением национальной культуры народа во всем ее богатстве и многообразии, выражением мировоззрения народа.

9. Опираясь на плодотворные литературные традиции, Пушкин в своем творчестве достиг свободного и естественного слияния самых разнообразных исторически сложившихся и доказавших свою жизнеспособность языковых стилей в единый литературный стиль общенародного языка.

В произведениях Пушкина звучат выразительные и общепонятные славянизмы, древнерусская книжная и разговорная речь, языковые стили XVII—XVIII веков, современный поэту язык разных слоев общества, общепринятые, не противоречащие духу русского языка европеизмы и простонародный язык. Однако основой литературного языка Пушкин с изумительной слитностью и прозорливостью мыслителя и художника признал современный ему разговорный язык простого народа. Этим языком он гордился, этот язык он неустанно изучал, этим языком выражал самые заветные свои мысли, чувства, стремления, этот язык он обогатил и украсил дарами своего поэтического гения. Беречь и развивать этот язык, умножать „сокровища родного слова“ он завещал и последующим русским писателям. „Всё должно творить в этой России и в этом русском языке“ (XII, 178).²

Такое историческое понимание роли Пушкина поможет учащимся VIII и особенно X классов правильно понять сохранившуюся до наших дней структуру пушкинского языка. „Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фон-

¹ „Правда“, 1935, № 346, 17 декабря.

² Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

дом, то она сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка“.¹

М. Н. Салтыкова (научный сотрудник Ленинградского научно-исследовательского института педагогики) — „Изучение прозы Пушкина в VI—VII классах средней школы“.

М. Н. Салтыкова сделала несколько замечаний о программе по литературе. По ее мнению, следует включить в список для внеклассного чтения VI—VII классов роман „Арап Петра Великого“ и незаслуженно забытый рассказ „Кирджали“.

В „Арапе Петра Великого“ учащиеся познакомятся с пушкинским образом Петра-строителя, а „Кирджали“, прочитанный после „Капитанской дочки“, даст возможность почувствовать ненависть Пушкина к миру угнетения и рабства, его любовь к простым людям разных национальностей, сочувствие их протесту против насилия.

Задача, стоящая перед учителем при работе над прозой Пушкина в VI—VII классах, — раскрыть учащимся идейное и художественное богатство произведений путем вдумчивого анализа текста.

Трудность изучения классической литературы с учащимися 12—13 лет велика. В этом возрасте учащиеся воспринимают героев произведений как живых людей; они следят за их судьбой, как за судьбой своих близких, ненавидят одних, восхищаются другими. Очень важно сохранить в детях непосредственность впечатлений, направить на юного читателя силу воздействия художественного произведения. Требуется, чтобы учащиеся воспринимали события и героев произведения в связи с конкретной исторической обстановкой, чтобы они научились понимать довольно сложные вопросы: авторскую точку зрения, авторскую оценку изображаемых событий. Идейное содержание прозаических произведений Пушкина, при всей их гениальной простоте, очень сложно.

Затрудняет работу учителя и то обстоятельство, что до сих пор в советском литературоведении о некоторых прозаических произведениях Пушкина существуют различные мнения, противоречащие одно другому толкования. Это относится, например, к „Станционному зрителю“. Учитель литературы должен помочь учащимся понять и почувствовать замечательное мастерство Пушкина-прозаика, который „далее раздвинул ему (нашему языку) границы и более показал всё его пространство“.² Наша задача — показать учащимся, как Пушкин блестяще реализует и в прозаических произведениях один из своих основных принципов:

„Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности“ (XI, 52).

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Изд. „Правда“, М., 1950, стр. 7.

² Н. В. Гоголь, Собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, 1950, стр. 33.

М. Н. Салтыкова остановилась далее на анализе (в классной и внеклассной работе) текста пушкинской прозы, на анализе языка произведений в целях раскрытия их идейного содержания, пользуясь при этом примерами из опыта совместной работы с учителями 163-й и 181-й ленинградских школ.

Идейное содержание повести „Дубровский“ достаточно раскрыто в советском литературоведении. С „ужасающей верностью“ показан в повести крепостнически-бюрократический строй царской России начала XIX века и в то же время отражен растущий протест против этого строя. Вместе с тем в образах людей из народа раскрываются также прекрасные черты русского национального характера. Согласно этим основным темам и была построена работа по изучению повести.

В школах нередко недостаточное внимание уделялось изображению в „Дубровском“ народа. В указанных школах при изучении повести „Дубровский“ внимание учащихся останавливалось не только на Архипе, но и на кучере Антоне, няне Егоровне, слуге Грише и дворовом мальчике Мите. Заключение о большом природном уме, о ненависти к угнетателям и вместе с тем о душевной доброте этих людей из народа было выводом из наблюдений над текстом.

Посещение детьми демонстрируемого на экранах кинофильма „Дубровский“ (очень далекого от пушкинского текста, почему его не следует рекомендовать при изучении повести) было использовано для того, чтобы проверить, в какой степени учащиеся поняли идейный смысл повести.

Характер высказываний учащихся свидетельствовал о том, какое большое значение имел текстуальный анализ некоторых отрывков из повести. Так, одна из учениц пишет в своем сочинении об изображении крестьян в кинофильме: „Если авторы сценария на первом плане хотели показать крестьян, то почему же не взяли все черты их, которые так хорошо показаны у Пушкина. В фильме, например, не использованы самые острые пословицы (из разговоров Антона), которые показывают ум крестьян, их отношение к помещикам: «Было бы корыто, а свиньи найдутся» и другие“. Другая ученица огорчается: „...не показали поведения Егоровны во время пожара, и мы не слышали ее слов о приказных: «Спаси их, *окаянных*». Здесь видно, что Егоровна и добрая и что она в то же время ненавидит приказных“. Ученицы были недовольны тем, что в фильме нет Саши и что в него не введена сцена драки Мити и Саши: „У Пушкина в этой сцене показаны трусость барского сыночка и храбрость и стойкость дворового мальчика“. М. Н. Салтыкова привела еще ряд мнений учащихся, показывающих, что при должном внимании к анализу текста произведения учащиеся верно его понимают и способны противостоять сильным впечатлениям, которые уводят их от пушкинского текста. Одна из учениц пишет в сочинении: „Я хочу увидеть на экране повесть Пушкина «Дубровский» без всяких изменений“.

Изучаемая в VII классе повесть „Капитанская дочка“ еще более трудна, чем „Дубровский“. Надо, чтобы учащиеся поняли основную тему повести, чтобы им было ясно, говоря словами программы, „сочувствие великого поэта народной борьбе и понимание исторической неизбежности народного освободительного движения“.¹

Для этого необходимо показать учащимся, что точка зрения автора и точка зрения рассказчика — Гринева — в очень многом не совпадают. Пушкин рисует Пугачева не предводителем разбойничьей шайки, а руководителем народного восстания, одаренным, великодушным человеком. Ему противопоставлен в повести генерал Р.

Большую помощь оказывает анализ художественных деталей; существенное значение имеет работа над синонимами, сопоставление отдельных слов и выражений, сличение черновых рукописей с окончательным текстом и другие приемы.

Так, в сцене встречи Гринева с Пугачевым на постоялом дворе было обращено внимание на эпитет „замечательная“ о наружности Пугачева. (Эпитета „замечательная“ не было в черновике). Обращается внимание также на такие детали, как „казацкая шапка“ и „винтовка“ хозяина постоялого двора, которые углубляют впечатление от иносказательного разговора вожатого с хозяином: влечение в рядах казаков продолжается, они только внешне усмирены.

Сопоставление начала шестой главы „Капитанской дочки“, где Гринев приводит данные о восстании Пугачева, с отрывком из первой главы „Истории Пугачева“ (имеющимися в хрестоматии), где о восстании непосредственно говорит автор, позволило сделать вывод, что, когда Пушкин пишет от своего лица, он, несмотря на цензурный гнет, дает читателю понять, что причиной восстания было угнетение народа и что симпатии его находятся на стороне угнетенных. Для Гринева яицкие казаки — „неспокойные и опасные подданные“, „лукавые мятежники, злобствующие втайне“, а в „Истории Пугачева“ говорится о „справедливых жалобах яицких казаков“, о том, что местное начальство „новыми притеснениями мстило народу за его сопротивление“. Гринев вспоминает, что генерал Траубенберг „предпринимает строгие меры, чтобы привести войско к должному повиновению“. В „Истории Пугачева“ тот же Траубенберг „навлек на себя народное негодование“ (IX, кн. 1, 10). Наконец, смерть Траубенберга Гринев называет „варварским убийством“, Пушкин же в „Истории Пугачева“ без всяких комментариев пишет: „Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома“ (IX, кн. 1, 11). Учащиеся убеждаются в том, что Пушкин в „Капитанской дочке“ далеко не всегда передает свои мысли и чувства через Гринева.

Отвечая на вопрос о том, как же Пушкин изображает Пугачева, его войско и отношение народа к Пугачеву, учащиеся подобрали ряд

¹ Программы средней школы. Русский язык и литературное чтение. V—VII классы: Учпедгиз, 1951, стр. 48.

выразительных художественных деталей. Какое значение имеет, например, одно высказывание Гринева: „Шайка выступила в полном порядке!“ В этом выражении — и лицо дворянина Гринева, для которого восставший народ — шайка разбойников, и правда фактов, которая заключается в организованности войска Пугачева. Дети умеют самостоятельно раскрыть смысл этой детали. Сопоставление „колодников“, которые под руководством солдат-инвалидов готовили Оренбург к обороне, с мужиками в Бердской слободе, мимо которых не сумел незаметно проехать Гринев, также позволило учащимся сделать соответствующие выводы.

В анализе сцены разговора Гринева и Пугачева с его сподвижниками в Бердской слободе внимание учащихся было привлечено к глаголам-синонимам. Каждый из этих глаголов подчеркивает характерные черты участников беседы, в том числе и Пугачева (в данной ситуации).

М. Н. Салтыкова остановилась далее на работе над произведениями Пушкина в плане внеклассного чтения. Особенности внеклассной работы позволяют применять разнообразные методы. В 163-й и 181-й школах с учащимися было проведено обсуждение прочитанных повестей Белкина. На примере обсуждения повести „Станционный смотритель“ докладчик показал трудности этой работы, а также изменение методики анализа текста на внеклассных занятиях по сравнению с классными.

„Повести Белкина“ вызывают разноречивые толкования в советском литературоведении. Вопрос о соотношении „Издателя“ Пушкина и „Автора“ Белкина для работы с учащимися 12—13 лет не является актуальным, и его можно не касаться. Но идейный смысл повестей и их главных образов-персонажей — вопрос основной, а именно в этом отношении нет единства в толковании „Повестей Белкина“.

Это заставляет учителя прежде всего раскрыть „для себя“ идейное содержание анализируемого произведения, определить свою точку зрения.

Анализ текста „Станционного смотрителя“ приводит читателя к выводу, что Пушкин показал неразрешимость создавшегося конфликта в условиях самодержавно-крепостнической России, даже при сравнительно благополучной ситуации. Минский при всем своем легкомыслии не оказался бесчестным соблазнителем, Дуня не брошена и не погибла, но гибнет хороший человек Симеон Вырин, лишенный простых человеческих радостей, на которые он имел, казалось бы, все права. Из жизни Минского и Дуни он выброшен. Ему, „мученику 14-го класса“, нет в ней места. Дуня лишилась отца. В сущности, Пушкин отражает точку зрения народа на глубокую несправедливость такого положения и обличает социальные противоречия того времени.

Можно подумать, что эти вопросы слишком сложны для учащихся VI—VII классов, что с ними можно побеседовать о печальной судьбе Вырина, вызвать сочувствие к нему и этим ограничиться. Но вряд ли это целесообразно. Не этим путем мы будем воспитывать у наших детей навыки подлинно самостоятельного, сознательного чтения.

В беседе с учащимися VI классов 163-й школы после самостоятельного чтения „Станционного смотрителя“ учащимся было предложено самим поставить те вопросы, на которые им хотелось бы получить ответ. Ученицы поставили вопрос о том, *по своей ли воле* Дуня уехала с Минским. Беседа по этому вопросу привела учащихся к постановке более общего вопроса — о судьбе Дуни и о том, почему так печально сложилась жизнь смотрителя. Развернулась беседа, целью которой было дать детям понять и почувствовать хорошие человеческие качества Симеона Вырина, глубокую любовь его к Дуне, всю тяжесть горя, так несправедливо выпавшего на его долю, и вместе с тем раскрыть неспособность Симеона Вырина к борьбе и объяснить детям причину его гибели. В процессе этой беседы проводился анализ текста повести, шла работа над ее языком. Но учащимся, кроме того, уже после беседы, были предложены работы над языком повести.

Выполняя эти задания, учащиеся соприкасались с мастерством Пушкина, убеждались в том, что у Пушкина каждое слово необходимо, что язык является могучим орудием художника в раскрытии идейного содержания произведения. Так, чтобы показать любовь смотрителя к дочери, учащимся было предложено произнести вслух строки: „уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье?“ — и ответить на вопрос, что напоминают им эти строки.

Учащиеся безошибочно улавливают сходство отцовских слов о Дуне с народной песней. Дети понимают, что этим подчеркивается любовь отца к Дуне, а также его близость к народу. С помощью преподавателя они улавливают, в чем это сходство: в ритме, своеобразии синтаксиса (повторения) и в лексике („дитяти“, „лелеял“).

Были сопоставлены варианты обращения Симеона Вырина к Дуне перед ее отъездом: „«Чего ж ты, дурочка, боишься», — сказал ей отец“ (первый вариант) и „«Чего же ты боишься?» — сказал ей отец“ (окончательный текст).

Дети понимают целесообразность изменений, внесенных в первый вариант обращения отца к Дуне. Они говорят, что отец очень любил Дуню; слово „дурочка“ было грубое, и автор его выбросил. Поэтому же он написал вместо „смотритель“ — „отец“.

Одна из учениц 163-й школы огорчилась за смотрителя: на вопрос о том, зачем Пушкин приводит рассказ мальчика о смотрителе, о том, как Симеон Вырин „возился“ с ребятами, угощал их орешками и вырезал им дудочки, она ответила: „Как несправедливо получилось: он любил детей, с чужими возился, а своих внуков даже не знал“.

В этом детском высказывании — глубокая мысль. Действительно, реплика оборванного мальчика еще сильнее подчеркивает, как незаслуженно Симеон Вырин был лишен простых человеческих радостей, что естественно и вызывает возмущение наших юных читателей.

Подобного рода работа убеждает учащихся в силе пушкинского мастерства, дает им посильные навыки самостоятельного анализа

литературного произведения в единстве формы и содержания, способствует эстетическому воспитанию учащихся, играет большую роль в развитии мышления и речи учащихся.

Заканчивая свое сообщение, М. Н. Салтыкова подчеркнула громадное значение для преподавателя литературы трудов И. В. Сталина по языкознанию. В свете этих трудов учителя пытаются найти более совершенные методы изучения мастерства писателя.

Г. С. Шпет (учитель 29-й Московской школы) — „Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина“.

Г. С. Шпет отмечает, что действующая школьная программа не позволяет дать учащимся полное представление об исторической теме в творчестве Пушкина. Частью этой темы является тема Петра I у Пушкина, раскрытию которой и посвящен данный доклад.

Как и другие товарищи, выступавшие на конференции, Г. С. Шпет подчеркнул важность правильного разрешения вопроса об углубленном повторении творчества Пушкина в X классе.

Ознакомление учащихся средней школы с историческими взглядами Пушкина является серьезной проблемой, но школьная программа не дает достаточного материала для этого. Чтобы устранить этот недостаток, следует привлечь в порядке внеклассной работы внепрограммные произведения. Наблюдения на экзаменах в VII и даже в X классе показывают, что учащиеся часто очень примитивно объясняют, каковы были исторические взгляды Пушкина. Учащиеся не затрудняет ответ на такой вопрос, как обстоятельная характеристика Пугачева по „Капитанской дочке“, они подробно расскажут, как изображает Пушкин Петра I на страницах „Полтавы“ и „Медного всадника“, но если поставить вопрос общего порядка: какой герой русского прошлого привлекает внимание Пушкина, — ответ на этот вопрос вызывает большие затруднения. При изучении темы о Петре I следует прежде всего привлечь заметки Пушкина по русской истории XVIII века и некоторые произведения, не входящие в программу. Сюда, например, относятся „Стансы“, в которых учащиеся найдут одно из коротких, но наиболее полных определений значения Петра I, его характера и тех сторон, которые больше всего привлекали внимание Пушкина к этому герою прошлого.

Необходимо также обратиться и к „Арапу Петра Великого“, „Полтаве“, исключенной в последнее время из программы, и „Моей родословной“, к заметкам Пушкина по истории Петра I, к „Медному всаднику“, „Путешествию из Москвы в Петербург“, к стихотворению „Пир Петра Первого“. Ряд интересных высказываний учитель найдет в письмах поэта, начиная с знаменитого письма к Гнедичу, где Пушкин говорит, что „история народа принадлежит Поэту“ (XIII, 145), и кончая его же письмом к Л. С. Пушкину по поводу произведений Рылеева. Конечно, нельзя с учащимися изучать все эти материалы ввиду их большого объема, но надо выбрать наиболее значительное

и интересное, иногда — отдельные фразы и оценки. Первый вывод, к которому нужно подвести учащихся, — тот, что историей русского народа Пушкин интересовался с дней своей юности до самого последнего дня своей жизни и что тема Петра I была одной из самых значительных, самых любимых тем Пушкина. Необходимо привлечь внимание учащихся и к тому, как изображался Петр I в допушкинской литературе. Бесконечное количество од, поэм, стихотворений, которые появлялись в течение всего XVIII столетия, конечно, не может быть рассмотрено, но отдельные произведения, которые имеют общие черты с теми или иными произведениями Пушкина, следует привлечь.

Г. С. Шпет, отметив, что следует раскрыть перед учащимися необыкновенную способность Пушкина понимать дух того времени, которое он воспроизводит, остановился на необходимости показать учащимся причины, которые определили внимание Пушкина к Петру I; первым толчком к этому мог быть интерес юного еще Пушкина к своему прадеду, к тому, кто вырастил и воспитал „арипа Петра Великого“.

Образ Петра I для Пушкина сливался с величественным образом всей России. Именно этот момент слияния и определил прежде всего постоянное внимание Пушкина к образу Петра.

При изучении поэмы „Полтава“ Г. С. Шпет рекомендует прежде всего остановиться на истории создания поэмы. Интересные сведения найдет учитель в воспоминаниях Юзефовича, с которым Пушкин встречался осенью 1828 года, как раз в те дни, когда он работал над поэмой, и в записках А. П. Керн. Надо познакомить учащихся и с поэмой Рылеева „Войнаровский“. Сопоставление „Полтавы“ с этим произведением позволит показать правильность исторических суждений Пушкина, и если у Рылеева была тенденция изобразить Мазепу народным героем (хотя текст „Войнаровского“ дает возможность сделать и другие выводы), то у Пушкина дана более здравая, более правильная оценка предателя Мазепы. Следует коснуться и трактовки личности Мазепы Байроном, но, разумеется, нет никаких оснований говорить о влиянии „Мазепы“ Байрона на Пушкина. Пушкин писал в свое время, что, к сожалению, Байрон обратил внимание только на один исторический эпизод, который был им прочитан в мало достоверной истории Карла XII, написанной Вольтером.

После такого введения следует перейти к обстоятельному анализу „Полтавы“ с последовательным выделением моментов, которые позволяют раскрыть образ Петра I, с наблюдениями над сложной композицией поэмы.

Е. Ю. Мельникова (учительница 192-й школы Ленинграда) — „Школьные экскурсии по пушкинским местам в Ленинграде“.

Отметив в начале своего доклада важное значение экскурсий, обогащающих учащихся не только знаниями, но и эмоциональным

восприятием фактов, Е. Ю. Мельникова рассказала о разработанной ею и проводимой по микрорайону Ленинграда, где расположена 192-я школа, пушкинской экскурсии. Цель такой экскурсии — пополнить знания учащихся о жизненном и творческом пути поэта.

192-я школа находится на территории, богатой пушкинскими местами. На вводной беседе учащимся кратко рассказывается история района. „Из тьмы лесов, из топи блат“ трудом крепостных работных людей возносился „юный град“. Была прорыта река и названа Фонтанкой, так как из нее подавалась вода для фонтанов Летнего сада. Летний сад стал украшением новой столицы. Мраморные статуи среди зелени деревьев, павильоны, решетка, созданная при участии русского мастера Егорова, — чудо архитектурного искусства. Набережные обшиваются гранитом.

Начало экскурсии — у дома № 20 по Фонтанке (бывший особняк князя Голицына). Дается характеристика Голицына, министра просвещения — искоренителя „вольнодумства“, безбожия, революционных идей. Приводится эпиграмма Пушкина на князя Голицына. В особняке помещалась и квартира А. И. и Н. И. Тургеневых. Учитель напоминает о дружбе А. И. Тургенева с поэтом, о его заботах о Пушкине. В квартире Тургеневых собирался „Арзамас“: „Сверчок“ — Пушкин принимал участие в боях „Арзамаса“ с литературными староверами, заседавшими в „Беседе“.

Здесь Пушкин встречал многих членов тайного общества: Н. И. Тургенева, И. М. Муравьева, М. Ф. Орлова и других. Приводятся стихи из X главы „Евгения Онегина“, где упоминается Н. И. Тургенев.

Внимание учащихся обращается к Михайловскому замку, который Пушкин видел из окон квартиры Тургеневых. Даются краткие сведения о его создании. Учащиеся вспоминают знакомые строки из оды „Вольность“. „Пушкин дебютировал революционными стихами большой красоты“, — писал А. И. Герцен.¹

Экскурсия переходит к дому № 16 по Фонтанке — особняку князя В. П. Кочубея. Пушкин бывал в нем на балах и наблюдал нравы „большого света“. „Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. — Эти четыреста тысяч останутся в их карманах... В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубея будут балы...“ — записывает поэт в своем дневнике (XII, 317).

Мимо ярко освещенных окон особняка в 1826 году провезли направляемых в ссылку декабристов. Учитель цитирует стихи А. И. Одоевского, посвященные этому воспоминанию („Бал“).

В этом же особняке в 30-е годы XIX века помещалось III Отделение — оплот трона. Учащиеся вспоминают, что произведения Пушкина про-

¹ А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. VI, 1919, стр. 357.

ходили через три цензуры, и самой беспощадной была цензура Бенкендорфа.

Далее — остановка возле дома № 24 по Фонтанке. На этом месте был особняк И. Пестеля, отца декабриста, генерал-губернатора Сибири. От особняка остались только ворота. В доме отца во время своих приездов в Петербург останавливался П. И. Пестель, „душа тайного общества и главнейшая пружина его действия“. Вспоминается известная оценка, данная Пестелю А. С. Пушкиным. Пестель был одним из тех дворянских революционеров, о которых В. И. Ленин сказал: „лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ“.¹

Во дворе соседнего дома — № 26 — жил с 1823 по 1826 год Н. М. Карамзин. В это время он работал над X и XI томами „Истории государства Российского“. Учащиеся вспоминают, что „История“ Карамзина послужила Пушкину материалом для трагедии „Борис Годунов“. Но это не помешало поэту дать суровую оценку реакционной позиции Карамзина (приводится приписываемая Пушкину известная эпиграмма). В этом же доме в 30-е годы XIX века жил друг Пушкина, поэт и литератор П. А. Вяземский.

На этом участке, в доме, выходящем на Моховую улицу (№ 41), жила дочь фельдмаршала М. И. Кутузова — Е. М. Хитрово, друг Пушкина. В ее гостиной бывали писатели; Пушкин из ее рук получал новинки иностранной литературы, а также запрещенные в России книги о французской революции.

Рядом, в доме на Моховой, в 1834 году жили родители поэта. Дом этот не сохранился.

На противоположной стороне Фонтанки вблизи Аничкина моста находился дом № 25, принадлежавший семье Муравьевых (в настоящее время он надстроен). Братья Муравьевы были членами тайного общества. Здесь бывали собрания, здесь бывал и Пестель. Вспоминаем строчки из X главы „Евгения Онегина“ (VI, 523):

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты.

„Русская правда“ Пестеля и „Конституция“ Н. Муравьева обсуждались здесь декабристами; в кругу вольнодумных друзей „читал свои новьи Пушкин“. Учащиеся вспоминают новель „Ура, в Россию скачет Кочующий деспот“. Пушкин был политическим единомышленником будущих декабристов, первым певцом свободы в их среде. Позднее Жуковский писал ссыльному поэту: „Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои“ (XIII, 271).

Учащиеся узнают о трагической судьбе Муравьевых: Сергей Муравьев-Апостол повешен, Ипполит застрелился (в момент восстания Чер-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 295.

ниговского полка), Матвей, Никита и Александр сосланы на каторгу. В 1827 году жена Никиты Муравьева отправилась в Сибирь и отвезла послание Пушкина „В Сибирь“ его друзьям. Учащиеся вспоминают строки послания. Вспоминаются строки из Некрасова, посвященные А. Г. Муравьевой:

Пленителен образ отважной жены,
Явившей душевную силу,
И в снежных пустынях суровой страны
Сокрывшейся рано в могилу!¹

Дом Муравьевых часто посещал Орест Кипренский, художник, оставивший один из лучших портретов Пушкина.

Эта часть экскурсии, в которой учащиеся вспомнили о декабристах, заканчивается цитатой из статьи В. И. Ленина „Памяти Герцена“: „Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало“.²

Останавливаем внимание учащихся на доме № 34 по Фонтанке, бывшей усадьбе Шереметевых. Это прекрасный памятник дворянской культуры. Всё здесь создано руками крепостных: гранитные спуски к реке, кружево чугунной решетки, великолепный особняк. „Зефиры и амур“ крепостного театра Шереметевых дивили петербургскую знать и тешили барскую праздность своих владельцев. Вспоминаем строки из пушкинской „Деревни“, рисующие крепостное право. Вспоминаем и печальную историю крепостной актрисы Параши Ковалевой (по сцене — Жемчуговой). И поныне цел поставленный ей памятник — обелиск в саду этой усадьбы. После воспоминаний о декабристах рассказ о Параше Ковалевой даст характеристику другой части русского дворянства, реакционной, косной в своих убеждениях.

В доме Шереметевых жил О. Кипренский и здесь он в 1827 году закончил работу над портретом А. С. Пушкина. Современники писали, что это „живой Пушкин“. Сам поэт благодарил художника стихами:

Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз...
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

(„Любимец моды легкокрылой...“).

Остановка на углу Фонтанки и Невского около дома № 68. Здесь с 1842 по 1846 год жил В. Г. Белинский. Проводится беседа о желании Пушкина привлечь Белинского к участию в журнале „Современник“. Этот факт свидетельствует о направлении, намечаемом Пушкиным для своей дальнейшей работы. Смерть поэта помешала осуществиться

¹ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. III, М., 1949, стр. 70. Отметим, кстати, что Некрасов вкладывает эти слова в уста Пушкина.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.

знакомству великого поэта и будущего великого критика — революционного демократа.

На улице Пестеля, недалеко от Фонтанки, в доме № 5, в 1833—1834 годах жил А. С. Пушкин. В это время он работал над „Историей Пугачева“ и подготавливал материал для повести „Капитанская дочка“. Темы народного протеста, народного восстания настойчиво звучат в творчестве поэта. Поэт понимал значение народного восстания, и в исторической борьбе народных масс с самодержавно-крепостническим строем сочувствие его было на стороне народа. Его интересует образ того, за кем идет народ. „Весь черный народ был за Пугачева“, — пишет Пушкин в замечаниях к „Истории Пугачева“ (IX, кн. 1, 375). Он создает образ Пугачева как образ народного вождя, что резко противоречило официальной точке зрения на движение Пугачева.

И в этом же доме (теперь уже надстроенном) в конце января 1906 года поселился В. И. Ленин с Н. К. Крупской. В это время В. И. Ленин руководил большевистской организацией, ее деятельностью в связи с выборами в Государственную думу. Вспоминаем об отношении В. И. Ленина к Пушкину и цитируем известные строки из воспоминаний Н. К. Крупской.

В конце экскурсии внимание учащихся останавливается на домах, связанных с именами композиторов, которые в своем творчестве обращались к наследию Пушкина.

В особняке Кочубея на музыкальных вечерах бывал М. И. Глинка. Учащиеся вспоминают, что создал композитор на тексты Пушкина. К хорошо известным им произведениям — опере „Руслан и Людмила“, романсу „Я помню чудное мгновенье...“ — надо прибавить еще романс „Не пой, красавица, при мне...“. Грибоедов привез из Грузии мелодию народной песни и сообщил ее М. И. Глинке. Композитор в присутствии Пушкина как-то сыграл ее на фортепиано. Пушкин написал для этой мелодии стихотворение.

В доме № 25 по Фонтанке после отъезда Муравьевых жила известная певица Бегичева (в 1840—1850-х годах). На музыкальных вечерах ее часто бывал М. П. Мусоргский, создатель народной реалистической оперы, в основе которой лежит трагедия Пушкина „Борис Годунов“.

В доме № 4—6 по Фонтанке (угол улицы Чайковского) помещалось Училище правопедения, в котором учился П. И. Чайковский. С творчеством Чайковского знакомы все учащиеся. Вспоминаем об операх композитора на пушкинские темы: „Евгений Онегин“, „Пиковая дама“, „Мазепа“.

Моховая улица, дом № 32. Этот дом отмечен мемориальной доской: здесь жил А. С. Даргомыжский. Не все учащиеся знают, что на тексты Пушкина им написаны две оперы — „Русалка“ и „Каменный гость“ — и ряд романсов.

В доме № 26 по Моховой улице жил М. И. Глинка. Пушкин присутствовал на первом представлении „Ивана Сусанина“. Читаем строчки

из коллективного торжественно-шуточного гимна в честь композитора („Пой в восторге, русский хор...“):

Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.

Экскурсия заканчивается у дома № 3 по Моховой улице. Здесь в течение 35 лет жил И. А. Гончаров. Читаем отрывок из его воспоминаний, в котором писатель говорит о Пушкине, как своим учителем: „...я в то время был в чадуге обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери...“; „Пушкин... был наш учитель — и я воспитался... его поэзией“¹.

Экскурсия заканчивается краткой беседой о значении наследия Пушкина для дальнейшего развития русской литературы.

После сообщения о содержании экскурсии (значительно здесь сокращенного) Е. Ю. Мельникова остановилась на методах ведения экскурсии. Сама учительница давала материал, не знакомый учащимся. По некоторым вопросам делали краткие сообщения заранее подготовившиеся учащиеся-экскурсанты (например, сообщение об „Арзамасе“). Произведения поэта читались учащимся.

В маршруте встречается повторное прохождение уже знакомых мест. Этот момент используется для ответов на возникающие у учащихся вопросы, которых всегда задавалось много и самых разнообразных (Е. Ю. Мельникова привела и примеры подобных вопросов).

Знания и впечатления, полученные учащимися на экскурсии, необходимо было учесть в дальнейшей работе. Один из видов учета — творческие сочинения на темы, связанные с экскурсией. Вторым видом учета явился экзамен по литературе. В качестве дополнительного вопроса давался вопрос, связанный с материалом экскурсии. Учащиеся обнаружили хорошее знание „пушкинских мест“ своего района и связанных с ними моментов биографии и творчества поэта.

В заключение Е. Ю. Мельникова высказала пожелание, обращенное к учителям Ленинграда, использовать в своих районах опыт проведения подобных экскурсий. Почти в каждом районе нашего города можно найти интересный материал, отвечающий теме „Пушкин и его время“.

К. П. Лахостский (старший преподаватель Ленинградского городского института усовершенствования учителей) — „Изучение трагедии «Борис Годунов» в VIII классе средней школы“.

Над чем задумывается учитель, когда он готовится к тому, чтобы приступить к работе в классе над одним из величайших произведений нашей великой литературы? Какое место занимает „Борис Годунов“

¹ И. А. Гончаров, Полное собрание сочинений, т. IX, СПб., 1912, стр. 113; т. VIII, 1912, стр. 218.

в курсе VIII класса? Какие задачи ставит учитель при анализе трагедии и как он решает эти задачи?

Особенность „Бориса Годунова“ как программного произведения в курсе VIII класса определяется тем, что здесь перед учащимися возникает впервые *историческое* произведение драматического жанра, произведение большой сложности и по своей проблематике, и по своей исторической концепции. Эта сложность исключительна по сравнению с тем, что до сих пор учащиеся в курсе VIII класса встречали.

В „Слове о полку Игореве“ сложность заключается в том, что перед юным читателем предстает очень отдаленная во времени эпоха; труден для учащихся язык „Слова“. Но автор „Слова“ писал о своей современности, четко выразил идею, которая и сама по себе очень понятна, доступна учащимся. И когда преодолевается трудность языка и в объяснениях учителя встает перед учащимися Русь XII века, идейное содержание „Слова“ легко доходит до класса.

В „Путешествии из Петербурга в Москву“ Радищева, тоже изображающем жизнь отдаленной эпохи, тоже ставящем большие проблемы, современник писал о своем времени, очень просто рисовал картины тяжелой жизни крестьян и выдвигал понятную мысль о крестьянском восстании. Из „Путешествия“ школа отбирает несколько глав, и работа над ними не сложна.

В известном смысле каждое произведение программы VIII класса и до „Бориса Годунова“ уже ставило исторические вопросы. И „Недоросль“ Фонвизина ставил исторические вопросы, но „Недоросль“ несравненно легче, несравненно больше принадлежит к „школьным“ произведениям, чем трагедия Пушкина.

В „Борисе Годунове“ всё иначе: перед читателем-школьником Россия на пороге XVI и XVII столетий. Сложнейшая обстановка; трагическое сказание о древнем времени; острая политическая борьба многих социальных сил: царь, служилое дворянство, бояре, наконец, народ — определяющая историю сила. В то же время перед читателем Пушкин — величайший поэт, гениальный выразитель первого периода русского освободительного движения, воссоздающий Русь XVI—XVII веков, но думающий и о своем времени, откликающийся на злободневные вопросы.

Если при изучении „Слова о полку Игореве“ историческая локализация произведения и социально-бытовой комментарий к эпохе, воспроизводимой в произведении, совпадают, то здесь другое положение. В „Борисе Годунове“ перед школьниками возникают две эпохи: время Бориса Годунова — и преддекабрьская Россия, русские дворянские революционеры, размышляющие над сложнейшими вопросами своего времени.

Сложность заключается еще и в том, что впервые перед школьниками жанр исторической трагедии. В трагедии Пушкина — великое мастерство, большая сложность и вместе с тем большая простота.

Лаконизм „Бориса Годунова“ для нас понятен, но для восьмиклассника он труден, и это осложняет анализ трагедии.

В VIII классе — школьники 14—15 лет, надо знать их психологию. Она отличается большой конкретностью представлений и еще недостаточно развитой способностью к отвлеченному мышлению, к обобщению.

Тем не менее, несмотря на сложность „Бориса Годунова“, надо сказать, что школьники любят трагедию Пушкина, с интересом разбирают текст, при верном руководстве учителя понимают ее, прекрасно читают монолог Пимена, любят учить его наизусть, проникаются красотой пушкинского стиха, любят его цитировать. Они, может быть, не очень широко и не очень глубоко, но верно разбираются в том, что самозванец — враг русской земли, интервент и авантюрист, понимают, в чем трагедия Бориса, оказавшегося оторванным от народа, изолированным, одиноким. Они понимают, какую огромную силу в представлении Пушкина имеет народ в движении истории.

Конечно, известная элементарность в понимании „Бориса Годунова“ в VIII классе наличествует. „Борис Годунов“ и „Евгений Онегин“ должны *еще раз* включаться в курс в X классе, когда повторяются важные разделы программы в целом. Им надо отвести специальные часы, чтобы еще раз изучить их с большей глубиной. Но не может быть и речи о том, чтобы из-за сложности трагедию надо было исключить из программы VIII класса.

Основная задача, которую учитель решает в работе над „Борисом Годуновым“, — раскрыть учащимся идейный смысл трагедии, показать, какое место отводит Пушкин народу в истории, как он понимает самую историю — столкновение не лиц, а социальных сил, классов и групп. Надо показать, что содержание „Бориса Годунова“ отражает интересы и мысли передовых людей декабристской эпохи. Эти интересы глубоко волнуют автора трагедии. Пушкин в известном смысле идет вперед сравнительно с декабристами, остановившимися у той грани, за которую переступает мысль Пушкина в определении движущих сил истории.

Вторая задача состоит в том, чтобы в работе над трагедией духовно, морально и эстетически обогатить учащихся, обогатить их сознание прекрасными образами, которые они должны навсегда унести с собой, обогатить их внутренний мир. Надо сроднить учащихся с Пушкиным, с его мыслями, интересами, с его горячей любовью к Родине. Пусть откроется перед школьниками сила его гения, красота и богатство его языка, искусство реального изображения жизни. Пусть почувствуют они в изображаемых Пушкиным событиях величие истории родной земли.

Мы не говорим отдельно о задачах коммунистического воспитания, так как нет таких уроков, которые были бы как-то изолированно посвящены этим задачам. Именно раскрытие идейного содержания „Бориса Годунова“, стремление при этом внушить идею о значении

народа в истории, возбудить чувство прекрасного, восхищение силой русского гения, укрепить чувство живого патриотизма, — это и помогает коммунистическому воспитанию на уроках литературы.

Как учитель решает эти задачи? Прежде всего надо сказать, что в отношении „Бориса Годунова“ учитель довольно хорошо вооружен. Кроме текста трагедии — самого важного пособия, который сам учитель должен очень тщательно проанализировать, кроме учебника, есть монография Д. Д. Благого „Творческий путь Пушкина“, чрезвычайно полезная для учителя. Есть интересные работы Б. П. Городецкого; незаменимым пособием является и комментарий покойного Г. О. Винокура к трагедии. Наконец, нужен и Карамзин, главы „Истории“ которого следует прочитать (ведь сам Пушкин рекомендовал своим друзьям прочесть „Историю“ Карамзина при чтении „Бориса Годунова“).

Работа над „Борисом Годуновым“, как и работа над другими произведениями, складывается из вступительной беседы и анализа текста, который чаще всего проводится путем комментированного чтения если не всех, то отдельных сцен трагедии. При комментированном чтении учитель поднимает вопросы об образах-персонажах, об идеях автора, о языке, обращает внимание на реалистический метод изображения лиц и событий, останавливается на вопросах композиции трагедии. Затем идут уроки, посвященные главным действующим лицам трагедии: Борис, Самозванец, Пимен, народ. Наконец, заключительная беседа об идейном смысле трагедии, о ее значении — общественном и историко-литературном.

Во вступительной беседе учитель поднимает некоторые вопросы, связанные с биографией Пушкина, с состоянием русского театра и драматургии в этот период, с тем, как исторические интересы Пушкина в то время связываются теснейшим образом с вопросами, поставленными движением декабристов. Личные впечатления Пушкина в Михайловском (чтение, памятники далекой старины) питают его воображение и усиливают интерес к теме „Бориса Годунова“.

Докладчик останавливается на анализе текста трагедии и на объяснении главных носителей идей — образов-персонажей.

Учитель, естественно, обращается к учебнику, потому что по учебнику надо давать материал для подготовки к ответам, для обобщения и повторения. Приходится прежде всего сказать, что учебник в отношении „Бориса Годунова“ совершенно не удовлетворяет учителя.

Возьмем для примера образ Бориса. Что дает учебник? „Центральный образ трагедии — Борис Годунов“.¹ А мы говорим учащимся, что центральное место в трагедии занимает народ. Борис умирает — а в трагедии еще три сцены. Из двадцати трех сцен Борис появляется только в шести.

¹ Н. Поспелов, П. Шабликовский. Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. М., 1951, стр. 214.

Учебник пишет: „Изображая Бориса, Пушкин следовал народной легенде, использованной Карамзиным в «Истории Государства Российского»... Таким образом, влияние Карамзина сказалось в общей трактовке образа Бориса как убийцы, преступника“.¹

Мы знаем, что для Карамзина главным в несчастье Бориса было то, что он испытывает возмездие как царь, перешагнувший через труп для вступления на престол.

Сила же Пушкина заключается в том, что, почти точно следуя хронологии и фактам „Истории“ Карамзина, он переосмысляет события и создает совершенно иной образ Бориса Годунова.

Учебник не помогает учителю:

„Мудрый правитель, умный человек, нежный отец, Борис оказывается в то же время глубоко несчастным. Образ его полон истинного трагизма. Почему?“

„Борис когда-то проложил себе дорогу к власти убийством царевича Дмитрия. Это превратило всю его жизнь в мучительную трагедию, наполнив его душу тяжкими угрызениями совести“.²

А у Пушкина — не в этом дело. Борис несчастен потому, что он не смог, несмотря на ряд реформ, заслужить уважение и любовь народа. Народ при нем не чувствовал себя счастливым. Это одиночество, политическая изоляция и повлекли за собой трагедию Бориса-царя.

В учебнике это подано иначе, в учебнике самое главное — это „и мальчики кровавые в глазах“. Если же внимательно анализировать текст трагедии, мы обратим внимание на другую сторону дела: народ недоволен Борисом, народ недоволен уничтожением Юрьева дня (анахронизм и у Карамзина и у Пушкина). Хорошо ли народу жилось при Борисе? Борис „предчувствует «небесный гром и горе», т. е. неминуемое возмездие за преступление, и сознание обреченности преследует его на протяжении всего его царствования“. Так говорит учебник. И еще: „Изнемогая под тяжестью мрачной тайны своего преступления, Борис чувствует, что и отношение народа к нему изменилось. Народ, сначала поддерживавший Бориса, начинает относиться к нему с упорным недоверием“.³

Где же мы видим в трагедии Пушкина любовь народа к Борису? Нигде. Ничего не изменилось в отношении народа к Борису. Ведь это не у Пушкина, а у Карамзина сказано: „...молчание народа, служа для царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердцах россиян: они уже не любили Бориса!“.⁴

¹ Н. Поспелов, П. Шабликовский. Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. М., 1951, стр. 214.

² Там же, стр. 215.

³ Там же, стр. 216.

⁴ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. XI. СПб., 1835, стр. 100.

Учебник идет скорее за Карамзиным, чем за Пушкиным, учитель же в ходе занятий должен исправлять учебник. Конечно, не всё в учебнике плохо, целый ряд положений верен, отобраны хорошие цитаты из текста, но наряду с этим досаднейшие промахи, подобные уже отмеченным выше.

И о Самозванце учебник говорит не то, что следует. В разделе „Композиция трагедии“ в учебнике сказано: „Последние три сцены рисуют полное торжество Самозванца, служащее развязкой трагедии“.¹ Разве знаменитое „Народ безмолвствует“, заключающее трагедию, указывает на торжество Самозванца? Уже у Карамзина, как мы видели, молчание народа обозначало укоризну — только не Самозванцу, а Борису. Пушкин же придает своей концовке изумительную силу осуждения народом Самозванца.

Учебник выдвигает мысль об „избранничестве“ Григория Отрепьева, которое он будто бы ощущал. Сознание своего „избранничества“, исторической миссии будто бы присуще Самозванцу. Откуда это идет? — От поверхностного отношения к пушкинскому тексту, от того, что красиво звучат слова:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла. . .

Действительно, сильно звучат эти прекрасные строки, и на Марину они действуют так, как это надо Самозванцу. Но когда учитель работает над текстом, он обратит внимание учащихся на конец сцены. Марина уходит, и Самозванец остается один. Вот его размышления:

Нет — легче мне сражаться с Годуновым,
Или хитрить с придворным езуитом,
Чем с женщиной. . .

и т. д.

Для Самозванца формула: „Тень Грозного меня усыновила“ есть только проявление стремления как-то оправдать ту авантюру, которую он затеял. Главное для него — личный интерес, честолюбие, властолюбие.

Учебник, разбирая отдельные стороны образа Самозванца в трагедии, говорит, что „по своей увлекающейся натуре Самозванец близок к поэтам. Вот почему он их ценит и любит“, и цитирует:

Но мне знаком латинской Музы голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.

¹ Н. Поспелов, П. Шаблиовский. Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. М., 1951, стр. 214.

Но учитель, разбирая текст, обратит внимание учащихся на то, что у Пушкина поэт передает свои хвалебные вирши Самозванцу и получает от него золотой перстень. Ясны отношения; едва ли на основании этого эпизода можно говорить о любви Самозванца к поэзии.

Учебник говорит о Самозванце: „Пушкин рисует его человеком, любящим родину и привязанным к Русской земле“. Правда, дальше делается поправка: „Победило второе чувство <страсть к власти, честолюбие>, и Самозванец, предприимчивый авантюрист, ставленник врагов русского народа, вступил на родную землю во главе польских интервентов“.¹

Это верно. Это по Пушкину. Но при таком понимании вопроса можно ли говорить о подлинной любви к родине? В сцене „Литовская граница“ короткие размышления Самозванца — только мимолетные и неглубокие угрызения совести, черта, которой Пушкин усиливает реализм образа Самозванца. Настоящее отношение Самозванца к родине в трагедии Пушкина — безразличие. Пушкин вложил в уста монаха-бродяги Варлаама, которого больше всего интересуют деньги и возможность выпить, слова: „Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: всё нам равно, было бы вино“, — а через несколько страниц эти же слова звучат и в речи Самозванца в таком же сочетании: обращаясь к своим соратникам, т. е. к беглым с Руси, к польским шляхтичам, Самозванец говорит: „Товарищи!.. Литва и Русь, ... знамена поднявшие“.

Чем начинает Самозванец первую „польскую“ сцену трагедии? Он сообщает патеру Черниковскому, что готов принять католичество. Учащиеся поймут, что отказ от православия, переход в „чужую веру“ в ту эпоху обозначал более чем равнодушное отношение к своей земле, к родине.

Пушкин неоднократно говорит о тех силах, которые поддерживают Самозванца с начала его авантюры: „Латинские попы с ним заодно. Король его ласкает“.

Внимательное изучение текста помогает понять пушкинский образ Самозванца.

Учитель, раскрывая образ Самозванца, обращается и к известному письму Пушкина к Раевскому 1829 года:

„В Дмитрие много общего с Генрихом 4. Подобно ему он храбр, великодушен и хвастлив, подобно ему равнодушен к религии — оба они из политических соображений отрекаются от своей веры, оба любят удовольствия и войну, оба увлекаются несбыточными замыслами, оба являются жертвами заговоров“ (XIV, 48, 396). Вот таков Самозванец и в трагедии.

¹ Н. Поспелов, П. Шабликовский. Русская литература. Учебник для VIII класса средней школы. М., 1951, стр. 218, 219.

Таким образом, мы видим, что образ Самозванца в учебнике очерчен недостаточно четко, порой неверно, и учитель вносит необходимые поправки.

Несколько слов о Пимене. Учитель, дополняя учебник, должен сказать, что Пимен — вовсе не бесстрашный летописец. Пимен — борец, в молодые годы он „воевал под башнями Казани“, он „рать Литвы при Шуйском отражал“. Пимен стоит на совершенно определенной точке зрения: он против Бориса Годунова. В отношении его к царю, в значительной степени, — и отношение народа к Борису.

Надо поставить вопрос об идейно-композиционной функции образа Пимена при разборе трагедии. Пимен — вставной эпизод, непосредственно с развитием сюжета не связанный. У него другая задача. В сцене „Ночь. Келья в Чудовом монастыре“ Григорий, наблюдая за склонившимся над своим трудом летописцем, размышляет:

Я угадать хотел, о чем он пишет?
 О темном ли владычестве татар?
 О казнях ли свирепых Иоанна?
 О бурном ли новгородском Вече?..

Перед современным читателем (так было и с читателем пушкинского времени) этими строками и всем образом Пимена те события, которые поднимаются в трагедии, как бы вдвигаются, включаются в величественный ход русской истории. Этим воспоминанием о „владычестве татар“, о „новгородском вече“ Пушкин создает впечатление о движении событий 1596 и последующих лет в общем ходе русской истории.

Учитель развивает мысль о роли народа в трагедии, опираясь на пушкинский текст.

Начиная комментированное чтение, учитель обращает внимание на то, что нет почти ни одной сцены, в которой бы не участвовал народ или не говорилось бы о народе.

Наряжены мы вместе город ведать,
 Но, кажется, нам не за кем смотреть:
 Москва пуста; вослед за патриархом
 К монастырю пошел и весь народ.

Народ еще повоюет да поплачет.

Когда Борис хитрить не перестанет,
 Давай народ искусно волновать.

Народ отвык в нас видеть древню отрасль.

А он умел и страхом и любовью
 И славою народ очаровать.

Видишь,

Народ идет, рассыпавшись, назад... и т. д.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тема народа возникает в трагедии с первой же сцены и звучит всё сильнее и сильнее. Пушкин, давая в начале народ равнодушным и пассивным, показывает далее, каким народ может и должен стать. Начиная с бессловесных и безымянных фигур из народа, Пушкин доходит до знаменательного образа „мужика на амвоне“. Народ — сила, без которой нет движения истории. Такова мысль поэта, и ее надо довести до учащихся.

Мы не затронули целого ряда вопросов, о которых также нужно говорить в классе: „ниспровержение“ классицизма в трагедии, ее композиция, ее язык; вопрос о значении трагедии, о ее политической концепции, о том, какое значение она имела в пушкинскую эпоху; о том, как учитель использует статью Белинского о трагедии. Но невозможно говорить о многом в коротком сообщении.

Когда кончается в классе разбор „Бориса Годунова“, учитель подводит учащихся к выводу: величайший гений русской литературы, создавший реалистическую лирику, создавший первый реалистический роман, создал и первую гениальную реалистическую историческую трагедию в русской и мировой литературе.

После докладов, вызвавших большой интерес, развернулись прения.

Н. А. Францкевич (учительница 252-й Ленинградской школы) остановилась в своем выступлении на вопросах изучения биографии Пушкина в школе, на недостатках учебника для VIII класса и на вопросе о литературных экскурсиях в связи с прослушанным докладом Е. Ю. Мельниковой. Биография А. С. Пушкина изучается в средней школе трижды (в V, VII и VIII классах), но каждый раз неудовлетворительно. Большим недостатком является то обстоятельство, что курс истории сильно отстает от курса литературы. В VIII классе изучение биографии Пушкина лишено исторической базы. Да и в учебнике VIII класса биография поэта дана плохо. Правильнее было бы элементарную биографию Пушкина проходить в VII классе, а подробную, на более глубокой основе — в X классе при повторении темы о Пушкине. Говоря о недостатках учебника и экзаменационных билетов, Н. А. Францкевич приводит слишком трудные для учащихся даже X класса вопросы, например: „Значение Пушкина в русской и мировой литературе“. Что касается вопроса о литературных экскурсиях, то, по мнению Н. А. Францкевич, экскурсия, описанная в докладе Е. Ю. Мельниковой, страдает отсутствием единого тематического стержня, в ней даются сведения о различных домах Ленинграда, связанных так или иначе с Пушкиным вне какой-либо (хронологической или иной) последовательности.

Л. Н. Киселева (заведующая массовым отделом Литературного музея) посвятила свое выступление вопросу об экскурсиях. Институт русской литературы имеет четыре музея, из которых два — квартира и музей Пушкина — посвящены жизни и творчеству поэта. Литературные экскурсии занимают значительное место в работе школы. За два

года с момента открытия Всесоюзного музея А. С. Пушкина его посетили около 250 000 экскурсантов, в музее-квартире поэта было не менее 5000 посетителей, в большинстве своем — школьников. Некоторые школы провели по 19—20 экскурсий. Однако не все школы достаточно пользуются этими экскурсиями; необходимо установить большую связь между школами и Литературным музеем.

Л. А. Соколова, заслуженная учительница РСФСР (16-я школа, Ленинград), отметив в своем выступлении ненормальность такого построения школьной программы, когда курс истории отстает от курса литературы, остановилась на вопросе о комментированном чтении в классе наиболее сложных произведений Пушкина. По ее мнению, нет необходимости, например, читать в классе весь роман „Евгений Онегин“ (да и часов на это нет). Если кое-что остается непонятным из текста „Евгения Онегина“, то с этим приходится мириться. Можно обойтись без разъяснения таких выражений, как „вино кометы“ или „брегет“. Важнее дать объяснения вопросов, без которых учащимся будет непонятен сам образ Онегина. В этом отношении учителю очень помогают статьи В. Г. Белинского. Два положения Белинского очень важны: 1) о „самолюбивой посредственности“, с которой сравнивается Онегин, — он не знает, к чему стремиться, он не хочет быть тем, что представляет собой эта „самолюбивая посредственность“; 2) рассуждения Белинского о том, почему Онегин не занялся полезной деятельностью. Белинский отвечает на этот вопрос: „Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать“.¹ Белинский намекает на условия общественного строя, в котором такие незаурядные люди, как Онегин (а далее Печорин), не находят себе места. В сравнении с „самолюбивой посредственностью“ Онегин стоит, конечно, выше, но к самым „высоким“ людям эпохи, к декабристам, Онегин не примкнул. Воспитание его было „космополитичным“, он был далек от народа, и это определило его положение как положение человека, который „от одних отстал, а к другим не пристал“. Вот такого рода комментариям следует уделять больше внимания. Это приносит пользу. „Я считаю достижением, — сказала Л. А. Соколова, — когда после «Евгения Онегина» мы проходим в классе «Героя нашего времени» и учащиеся на вопрос: кто лучше, Максим Максимыч или Печорин, отвечают, что Печорин выше, потому что Максим Максимыч всем доволен, а Печорин не доволен положением вещей и ищет чего-то другого“. При разборе образа Татьяны исходным моментом является ее близость к народу, к сказкам няни, к тому, что Белинский называл „почвой“.

Как и другие участники сессии, Л. А. Соколова считает, что настоящее осмысленное восприятие таких сложных произведений Пушкина, как „Евгений Онегин“, возможно только в X классе.

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 100.

Б. П. Городецкий остановился на ряде вопросов, поставленных в докладах и выступлениях участников педагогической секции.

В докладе М. Н. Салтыковой было обращено внимание на серьезные проблемы, возникающие в связи с изучением „Повестей Белкина“, в частности „Станционного зрителя“, по существу очень сложных произведений Пушкина. Не следует из этого, что педагогу нужно вносить в самое преподавание всю сложность содержания произведения.

Для того он и педагог, чтобы знать, как и что можно сказать. Необходимо тщательно продумывать проблематику художественного произведения, не стремясь поставить всю сложность вопросов, но и не скатываясь к слишком наивному упрощению их. В отношении „Станционного зрителя“ замечается именно такое упрощение. Всё время говорят о „мученике 14-го класса“ — и дальше этого дело не идет. Очевидно, очень велика сила традиции.

Далее Б. П. Городецкий сделал ряд замечаний по докладу Г. С. Шпета об исторической теме в творчестве Пушкина. Г. С. Шпет правильно поставил вопрос о том, что при изучении произведений Пушкина, посвященных Петру I, надо в меру возможностей и времени подвести учащихся к пониманию исторических воззрений Пушкина. Однако следует быть осторожным при сопоставлении взглядов Пушкина на Петра I со взглядами декабристов. Нельзя забывать, что реформы Петра I декабристами считались ошибкой. Ведь и Герцен, как представитель дворянского периода освободительного движения (прежде чем он перешел к следующему этапу), отрицательно относился к реформам Петра. Правильнее ставить вопрос о преодолении Пушкиным исторического романтизма декабристов.

Г. С. Шпет, касаясь вопроса о теме Петра I у Пушкина, ограничил причины возникновения интереса к Петру у Пушкина моментами его личной биографии, его родословной. В действительности же образ Петра привлекает поэта только после восстания декабристов, и это не случайно: тема реформы в сознании русского общества встала очень серьезно именно после вступления на престол Николая I. Отсюда и „Стансы“ 1827 года, в которых поэт напоминает Николаю I о величественном образе Петра-реформатора и „приглашает“ его следовать за Петром. Кроме того, необходимо при анализе образа Петра в произведениях Пушкина каждый раз обращаться к условиям, в которых возникло данное произведение. Петр I „Полтавы“ не таков, например, как Петр I „Стансов“.

Б. П. Городецкий коснулся также вопроса о недостатках школьных учебников. Одним из них является небрежное отношение к текстам Пушкина.

Небрежен учебник и в форме изложения. Вот характеристика соотношения Пушкина и Байрона: „Но реализм художественного мышления

Пушкина сказались особенно в борьбе с героями Байрона". Пушкин боролся с героями Байрона!

Далее: „Пушкин отметил индивидуалистический характер их бунта и негодность их в деле реального преобразования современного общества“. Это верная мысль, но как она выражена! Или о няне: „Няня Арина Родионовна своими рассказами и сказками помогла своему взрослому питомцу по достоинству оценить роль устной народной поэзии для его литературного творчества“¹.

Б. П. Городецкий присоединяется к мнению выступавших о том, что программы V—X классов следует перестроить. Надо пересмотреть, в частности, и отбор произведений для изучения в классе и для внеклассного чтения. Например, едва ли следует рекомендовать 11—12-летним детям — учащимся V класса для чтения „Руслана и Людмилу“. Поэма, кроме вступления, не соответствует этому возрасту. Коверкать же поэму, печатая ее с купюрами, вещь бессмысленная.

Д. Д. Благый (председатель секции) в кратком заключительном слове подвел итоги работы секции. Встреча литературоведов и преподавателей школ — важное, значительное явление. Произведения классической литературы не только должны изучаться литературоведами, но результаты этого изучения должны излагаться в школе.

Д. Д. Благый напоминает слова Белинского о том, что творения Пушкина будут жить и развиваться вместе с развитием общества, и каждой последующей эпохе достанется сказать новое слово о них. Живут великие произведения классиков, и слова И. В. Сталина о том, что писатели являются „инженерами человеческих душ“, относятся не только к нашим современникам, но к великим писателям прошлого.

Встреча ученых и педагогов на конференции дала ряд плодотворных результатов. В частности, нужно считать установленным, что учебник по литературе для VIII класса является очень несовершенным и должен быть переработан.

Был поднят вопрос о включении ряда пушкинских материалов в школьную программу. В отношении „Арапа Петра Великого“, видимо, необходимо рекомендовать включение его в список для внеклассного чтения. Что касается „Кирджали“, то, при всем значении этой вещи, она находится всё же не в первом ряду пушкинских созданий. Поэма „Полтава“ должна изучаться в классе.

Д. Д. Благый, коснувшись доклада Г. С. Шпета, отметил, что не следует преувеличивать значения темы Петра у Пушкина в преподавании в школе. Не нужно усложнять и без того трудную программу. Кстати, при изучении темы Петра I в русской литературе (если уж говорить об этом) надо обращаться не только к Ломоносову и Державину, но в первую очередь привлечь „Письмо к другу“ Радищева, трактовка роли Петра в нем, несомненно, имеет общее с замечаниями

¹ Н. Поспелов, П. Шаблиовский. Русская литература. 1951, стр. 173.

Пушкина о русской истории XVIII века и с трактовкой Петра в „Медном всаднике“. Возникновение образа Петра во всей его сложности начинается у Пушкина со „Стансов“, а не объясняется семейными традициями.

Д. Д. Благой сделал еще ряд частных замечаний по докладам И. И. Савостьянова, М. Н. Салтыковой и К. П. Лахостского и остановился на вопросе об определении роли Пушкина в развитии русского литературного языка.

Закрывая заседание секции, Д. Д. Благой выразил пожелание, чтобы встречи литературоведов и преподавателей школы устраивались и впредь.

Работа педагогической секции подняла целый ряд важных вопросов, связанных не только с изучением творчества А. С. Пушкина в школе, но и с организацией курса литературы в целом; при этом в докладах и выступлениях участников секции было, в ряде случаев, намечено и направление, в котором следует искать правильное решение этих вопросов. После изучения результатов работы секции Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР обратился к вице-президенту Академии педагогических наук и министру народного просвещения РСФСР с письмом, в котором сообщалось о результатах работы педагогической секции.

В ответном письме вице-президента Академии педагогических наук РСФСР на имя директора Института русской литературы Академии Наук СССР сообщается, что вопросы, поднятые в работе педагогической секции Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, были поставлены на обсуждение Сектора методики литературы Академии педагогических наук. В записке Сектора методики литературы, приложенной к ответному письму Академии, сказано, в частности, следующее:

Курс истории СССР в VIII и отчасти в IX классах, действительно, сильно отстает от курса истории литературы, что вызывается тем, что история XI—XVIII веков изучается значительно подробнее, чем история литературы этого периода. Учащиеся приходят в VIII класс, не имея сколько-нибудь основательных знаний истории СССР, так как изучают ее лишь в IV классе. В средних (V—VII) классах изучается история зарубежных стран. Это совершенно ненормально. Поэтому проект новых программ по истории, составленный Институтом методов обучения, предусматривает изучение курса истории СССР (в объеме учебника Шестакова) во второй половине VI и в VII классах. Этот курс значительно облегчит усвоение учащимися курса истории литературы в VIII классе. Кроме того, по проекту новых программ истории СССР в VIII классе отводится большее количество часов, чем всеобщей истории, и, таким образом, уже в третьей четверти учебного года курс истории СССР „догонит“ курс истории литературы.

Нельзя без оговорок согласиться с утверждением, что биография Пушкина не усваивается учащимися VIII класса, но несомненно, что некоторые важнейшие вопросы, связанные с изучением творчества Пушкина (в частности, указанные в письме вопросы о значении Пушкина в русской и мировой литературе, в истории русского литературного языка), не могут быть достаточно глубоко поняты и усвоены учащимися VIII класса. В письме предлагается перенести более подробное изучение биографии Пушкина (очевидно, с включением в нее наиболее трудных проблем, как, например, указанные выше) в X класс. Но этот вопрос не может решаться вне рассмотрения вопроса курса старших классов в целом. В VIII классе изучается история литературы. Перенесение Пушкина в X класс нарушит систему историко-литературного курса. Кроме того, в VIII классе труден для учащихся не только Пушкин, но и Лермонтов, и Гоголь. Следовательно, нужно или отказаться от систематического историко-литературного курса в этом классе, или изучать Пушкина в VIII классе, а не в X. Конечно, в курсе средней школы нельзя ограничиться в изучении Пушкина теми знаниями, которые могут быть усвоены учащимися VIII класса. К Пушкину надо возвращаться путем систематического повторения и углубления проблематики творчества Пушкина при изучении последующих писателей, а не его биографии. В теме „Значение русской дореволюционной литературы“ должен быть поставлен вопрос о значении Пушкина в русской и мировой литературе; по проекту новой программы для VIII классов, составленному Институтом методов обучения, в X классе отводятся специальные часы для повторения курса литературы XIX века. Это повторение должно углублять, уточнять, расширять знания учащихся по тем проблемам, которые не были доступны им ранее. Только таким образом и можно решить вопрос об углублении изучения Пушкина, не нарушая систему курса VIII—X классов.

Что касается учебника по литературе для VIII класса, Сектор методики согласен с тем, что он не может удовлетворять школу. Учпедгизом издается новый учебник.

Первый опыт организации на ежегодной Пушкинской конференции педагогической секции показал, как много еще вопросов пушкиноведения требуют своего разрешения.

Секция поставила и обсудила ряд положений, касающихся изучения наследия великого русского поэта в школе, при этом в ряде случаев были затронуты и общие проблемы методического характера, как, например, вопрос о школьном учебнике литературы.

Регулярные встречи ученых-литературоведов и практических работников средней школы имеют первостепенное значение для плодотвор-

ного развития советской методики литературы. Такие встречи следует продолжать, и ежегодно собирающаяся Всесоюзная Пушкинская конференция дает широкую возможность сделать их целенаправленными, полезными и для науки, и для школы. Нам кажется, что было бы чрезвычайно важным уже заранее, на каждой Пушкинской конференции, определять круг тем, подлежащих разработке в дальнейшем. Это внесет необходимую целенаправленность в работу педагогической секции и обеспечит глубокую подготовку намечаемых докладов и сообщений.

До настоящего времени целый ряд важных тем, связанных с изучением Пушкина в средней школе, нельзя еще считать хорошо разработанными и правильно решенными в школьном преподавании. Сюда относятся изучение биографии поэта в курсе литературного чтения и в курсе истории литературы; изучение лирики Пушкина в средних классах школы и в VIII классе; изучение повестей „Дубровский“ и „Капитанская дочка“ в VI и VII классах, романа „Евгений Онегин“ и поэмы „Медный всадник“ в VIII классе; повторение произведений Пушкина в X классе; анализ языка Пушкина на различных этапах школьных занятий и ряд других вопросов. Педагогическая секция, с участием ученых-пушкинистов, может в течение ряда лет обсудить и наметить правильное решение целого круга важных и трудных вопросов изучения Пушкина в школе. Разработка их явится значительным вкладом в развитие советской методики литературы.



Т. П. ДЕН

РАБОТА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ СЕКЦИИ¹

Переводческая секция, организованная на Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, поставила перед собой многообразные задачи и прежде всего задачи изучения переводов произведений Пушкина на языки народов Советского Союза и стран народной демократии, анализа некоторых образцов этих переводов, историко-литературного их изучения. Подобные задачи стояли перед советским пушкиноведением и в прежние годы,² однако накопившийся материал настолько обширен и многообразен, изучение его требует координации усилий представителей столь разнородных специальностей, что все уже достигнутые результаты следует рассматривать лишь как начало большой работы, которая должна вестись и в будущем.

Известно, что в условиях советской действительности творческий труд переводчиков художественной литературы приобрел подлинно государственное значение и невиданный размах. Переводы произведений художественной литературы, в том числе и произведений русских писателей-классиков, содействуют укреплению братских связей между народами нашей Родины. Произведения русской классической литературы в советское время изданы на множестве языков народов СССР десятками миллионов экземпляров. Пушкина в нашем Отечестве, действительно, может теперь назвать, по слову поэта, „всяк сущий в ней язык“: произведения великого русского поэта изданы на 80 языках, тиражом свыше 56 миллионов экземпляров! Перед исследователями Пушкина открыто новое, обширное поле для исследований разного рода. Задачи велики и разнообразны; исследования эти должны вестись в самых различных направлениях.

Специальная переводческая секция Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, к участию в работах которой привлечены были литературоведы-пушкинисты, филологи-лингвисты, писатели и перевод-

¹ Составлено по стенограмме докладов, прочитанных на заседаниях переводческой секции.

² См.: Труды Первой и Второй Всесоюзных Пушкинских конференций, Изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1952.

чики, естественно, не могла еще претендовать на доклады обобщающего характера: это могла осуществить лишь особая научная сессия. На указанной конференции обсуждению подвергались лишь несколько докладов на специальные темы; однако и эти доклады, ограниченные то в языковом смысле, то историческими рамками, позволили всё же сделать некоторые предварительные обобщения и наметить дальнейшие пути изучения переводов произведений Пушкина на самые разнообразные языки.

М. П. Алексеев, член-корреспондент АН СССР, во вступительном слове указал на некоторые общие и частные задачи, стоящие перед пушкиноведами — исследователями переводов произведений великого русского поэта.¹

История переводов Пушкина на различные языки, в том числе и на языки народов Советского Союза, насчитывает уже свыше столетия; общее количество этих переводов, доходящее приблизительно до четырех тысяч, едва ли поддается пока точному библиографическому учету. Библиографические перечни переводов произведений того или иного писателя предваряют постановку более общих проблем о восприятии этих произведений в иноязычной среде. Для Пушкина такой сводный библиографический перечень еще составлен не был, несмотря на сравнительное обилие подготовительных для этого работ. Вместе с тем еще не систематизированы и недостаточно обработаны фактические данные о значении того вклада, который Пушкин внес в мировую литературу и культуру вообще, хотя конечные результаты такого исследования уже предвидимы и вполне ощутительны на основании данных, подвергнувшихся первичной обработке.

Если составление общего перечня всех переводов произведений писателя на различные языки составляет важную предварительную задачу, то она всё же, естественно, не может и не должна быть конечной целью исследования указанной проблемы. Следует сразу же подчеркнуть, что простейшие арифметические итоги, которые допускает такой библиографический свод, — подсчеты *общего числа* переводов, наличествующих на тех или иных языках, — не всегда предрешают ожидаемые в таких случаях выводы о действительной популярности писателя среди тех или иных иноязычных его читателей и ценителей. Собранные библиографические данные нуждаются в чрезвычайно сложной и многосторонней обработке для того, чтобы они могли привести нас к действительно бесспорным результатам; кроме того, на пути исследователя стоит здесь целый ряд других трудностей, вытекающих из особых качеств исследуемого материала.

Следует выделить здесь специфические проблемы, возникающие перед исследователями переводов произведений Пушкина на языки братских советских республик. Известно, что крупнейшие писатели и поэты братских республик создали — особенно за последнее десяти-

¹ Приводим это выступление в несколько сокращенном виде.

летие — ряд превосходных переводов из Пушкина и других классических русских писателей; тем не менее возросшие требования к качеству переводов со стороны многочисленных читателей этих республик, а также непрерывно совершенствующаяся переводческая техника в отдельных советских национальных литературах заставляют с особым вниманием подвергать стилистическому анализу уже выполненные переводы и предъявлять новые, более строгие требования к повторным переводам тех же произведений. Многие из переводов, пользующихся известностью и широким распространением, в том числе и произведений Пушкина, уже не отвечают предъявляемым к ним запросам.¹ В языках, близких по своему строю и по своему словарному составу к языку русскому, соблазн перевести „буквально“, удерживая слова русского текста или близкие им по звучанию, приводит порой к досадным ошибкам и курьезам. Об этом по отношению к переводам из Пушкина на украинский язык писал, например, выдающийся украинский поэт М. Ф. Рыльский. Неправильно, по его мнению, известные начальные строки из стихотворения Пушкина „Утопленник“ (1828)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
„Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца“ —

переводить:

Повбігали в хату діти,
Кличуть з галасом отца:
Тату, тату, наши сіті. . .

Дело в том, что „отец“ — по-украински слово высокого регистра. . ., а для обыденного значения этого понятия повсеместно употребляется *батько*; «тату, тату» — не передает и простонародного обращения: «тятя, тятя». По его же мнению, неправильно „луну“ переводить словом „місяць“, т. е. вводить в текст „слово мужского рода. . ., с которым в народном украинском творчестве ассоциируется понятие мужской красоты“. Сам М. Рыльский в соответствующем месте пушкинскую „луну“ перевел „рання зірка“ (т. е. „утренняя звезда“), однако это остроумное решение трудной задачи не представляется нам всё же безусловным и лучшим из возможных. Еще более трудным для решения является, например, вопрос о том, как передать на украинском языке слово „свет, светский“ в пушкинском его понимании; М. Ф. Рыльский воспользовался в своем переводе такими, уже существовавшими в украинской литературе терминами, как „великопанське коло“, „велике панство“, „великопанське товариство“, однако они могут иметь приметный польский колорит, совершенно излишний в данном случае.²

¹ См.: М. Кузнецов, К. Потапов. О переводах художественной литературы. „Правда“, 1951, № 229, 17 августа.

² См.: М. Рыльский. Слово переводчиков. „Советская литература“, Киев, 1937, № 1, стр. 164—166.

В молдавском языке существует слово „край“, и значит оно здесь „гулянка“, а не „местность, страна“. Неправильно поступил молдавский поэт Ю. Баржанский, когда, переводя стихи из „Полтавы“, оставил это слово в молдавском тексте ради рифмы.

У Пушкина:

Мазепа всюду взор кидает
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.

В молдавском переводе (при обратном дословном переводе на русский язык):

Мазепа всюду ищет,
Шлет письма, как гуляка (?).
Его хитрая угроза
Доходит до Бахчисарая (?).¹

В переводческой практике даже недавних лет можно встретить многочисленные примеры другого рода: речь идет не о сознательном употреблении того или иного русского слова в иноязычном тексте, что приводит к искажению смысла, как это указано в вышеприведенных случаях, но о смешении нескольких, сходно звучащих русских слов и о произвольной подмене переводчиком одного слова другим. Так, переводчик Пушкина на татарский язык смешал русские слова „сени“, „сень“ и „тень“; поэтому стих Пушкина:

...Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши —

получал в этом переводе следующий нелепый вид:

Прощай, тень моя и глухое место,
Где протекла моя жизнь.²

Приведенный случай — случай явного, хотя и досадного недоразумения. К сожалению, существуют в переводах также примеры недопустимых искажений смысла и идейной направленности оригинала, относительно которых можно заподозрить, что они представляют собой рецидивы всё еще не преодоленных до конца буржуазно-националистических тенденций. Как указывалось, например, на украинском совещании по вопросам перевода в городе Киеве в ноябре 1951 года, один из недавних украинских переводчиков пушкинской „Полтавы“ „беззастенчиво изменил пушкинскую трактовку образа предателя Мазепы“. Например, пушкинскую строку: „Спокойно ведал он Украину“ переводчик передал так: „Вів твердо він Україну рідну“, т. е. „Он

¹ Пример взят из рецензии на „Избранные произведения А. С. Пушкина“ в переводе на молдавский язык в журнале „Октябрь“ (Кишинев, 1950, № 5, стр. 86).

² См. передовую статью „Переводы русской литературы“ в „Литературной газете“ (1951, № 55, 10 мая).

твердо вел Украину родную"; стихи Пушкина: „Что далеко преступны виды Старик надменный простирал“ переданы были так: „Що в даль, лиш йому відому, він гордо думкою сягав“, т. е. „что в даль, только ему известную, он гордо мыслью проникал“.¹ Это — злонамеренные и тем более недопустимые искажения, с которыми следует вести самую решительную борьбу.

Таким образом, изучение переводов, в том числе и переводов произведений Пушкина, не узкая „техническая“ задача; оно имеет гораздо более общий принципиальный интерес и несомненное практическое значение для строительства советской социалистической культуры. Классические труды И. В. Сталина по вопросам языкознания, раскрыв перед советскими писателями и критиками новые пути для решения важнейших проблем художественного творчества, дали прочную, незабываемую основу как для подъема переводческого мастерства, так и для научного его изучения.

Вслед за вступительным словом на заседаниях переводческой секции были сделаны следующие доклады: кандидат филологических наук К. Н. Григорьян — „Пушкин и армянская поэзия“; М. Н. Троицкий — „Пушкин и узбекская литература“; Н. Г. Джусоев — „Пушкин на осетинском языке“; кандидат филологических наук С. С. Советов — „Пушкин в переводах Людвиг Кондратовича на польский язык“. Ниже приводится краткое содержание этих докладов.

К. Н. Григорьян — „Пушкин и армянская поэзия“.

Во вступительной части своего доклада К. Н. Григорьян отметил влияние русской передовой литературы на развитие новой армянской поэзии. Творчество русских поэтов Пушкина, Лермонтова и Некрасова — богатейший источник вдохновения для армянской поэзии.

Процесс освоения русской поэзии был сложен и многообразен. Знакомство представителей армянской поэзии с русской литературой не ограничивалось исключительно переводами русских классиков. Многие виднейшие поэты, не принимая непосредственного участия в переводческой деятельности, тем не менее вдохновлялись музой Пушкина. Оставаясь самобытными и оригинальными, они развивали на национальном материале тематику Пушкина, осваивали его художественное мастерство.

Интерес к творчеству Пушкина возник у армянской общности еще при жизни поэта. Первым переводчиком Пушкина и популяризатором его творчества был современник Пушкина, крупный впоследствии ученый-филолог Н. О. Эмин (1815—1890), профессор Лазаревского института восточных языков в Москве. Он перевел на армянский язык в стихах „Кавказский пленник“ и „Бахчисарайский фонтан“.²

¹ „Литературная газета“, 1951, № 133, 10 ноября.

² См.: Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. III, М., 1838, стр. 220.

К сожалению, эти переводы Эмина не были напечатаны и потому не получили широкого распространения.¹ В большей степени популяризации Пушкина способствовали лекции Н. О. Эмина, благодаря которым любовь и интерес к Пушкину стали, начиная с 30-х годов, прочной традицией в Лазаревском институте. Среди воспитанников этого института было немало переводчиков и популяризаторов Пушкина: Рафаэл Патканян, Смбат Шах-Азиз, Георг Додохян, Ованес Амазаспян и, наконец, Ованес Ованесян.

Первые печатные переводы Пушкина появились после смерти поэта. В 1843 году Ованес Амазаспян опубликовал в Москве сборник „Переводов в прозе и в стихах с русского на армянский язык из Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Баратынского и Гнедича“. В этом сборнике были помещены параллельно с русскими текстами переводы десяти стихотворений Пушкина; Амазаспян стремился к точности передачи оригинала, и его переводы не лишены художественных достоинств. К сожалению, эти переводы были недоступны массовому читателю, так как Амазаспян пользовался для перевода древнеармянским языком („грабар“).

В 50-е годы в армянском обществе усилился интерес к русской литературе. Большую работу в этом направлении вел пропагандист русской литературы, представитель революционно-демократической мысли в армянской литературе — Микаэл Налбандян. На формирование литературных воззрений этого писателя оказали большое влияние южные поэмы Пушкина и его гражданская лирика. Мотивы этих произведений встречаются как в юношеских, так и в зрелых произведениях Налбандяна. Налбандян перевел целый ряд стихов Пушкина. Большой интерес представляет его перевод двух стихотворений Пушкина — „Поэт“ и „Поэту“, которые он соединил в одно, развив основную тему обоих произведений — проблему независимости поэта.

Благотворное влияние творчества Пушкина испытал также армянский поэт Смбат Шах-Азиз. Многие стихи первого сборника Шах-Азиза „Часы досуга“ (1860) написаны под впечатлением пушкинской лирики. Среди этих стихов встречаются явные переводы произведений Пушкина, а также оригинальные произведения, написанные на пушкинские темы и мотивы. Но переводы Шах-Азиза не отличаются точностью. В них чувствуется стремление придать пушкинскому тексту местное, национальное армянское звучание. Такие свободные переводы, сознательно удаляющие от подлинника, представляют собой характерное явление для целого ряда армянских и грузинских переводчиков русских поэтов, в том числе Пушкина.² Ярким примером такого сво-

¹ См. о них: Ован Гурген. Первый перевод произведений Пушкина на армянский язык. „Известия Академии наук Армянской ССР. Общественные науки“, Ереван, 1950, № 4, стр. 55—60 (на армянском языке).

² См. подробнее в статье К. Дондуа „Пушкин в грузинской литературе“ (сборник „Пушкин в мировой литературе“, ГИЗ, Л., 1926, стр. 206—212) и в статье

бодного перевода является перевод „Памятника“ в журнале „Айкакан Ашхар“ (1872), приписываемый редактору-издателю журнала архимандриту Хорену Степане, который очень смело закончил это произведение обращением Пушкина к армянскому народу.

В 80-х годах поэт Ованес Ованесян, первый из переводчиков Пушкина на армянский язык, отметил большую ответственность переводческой работы и определил цели и задачи этой работы. Ованесян стремился использовать все художественные средства армянской речи, чтобы с возможной точностью передать оригинал. Но ему не всегда удавалось преодолеть трудности пушкинского текста, и его переводы порой грешат прозаизмами.

Новый этап в пропаганде пушкинской поэзии в Армении составили переводы выдающегося поэта конца XIX и начала XX века Александра Цатуряна. В 1905 году Цатурян предпринял издание антологии переводов из русской поэзии в двух выпусках, из которых первый был целиком посвящен Пушкину и Лермонтову. Цатурян ставил своей целью дать читателю по возможности правильное и полное впечатление о русской поэзии и, в частности, о лирике Пушкина. Цатурян перевел целый ряд стихотворений поэта, а также отрывок из поэмы „Бахчисарайский фонтан“. Благодаря Цатуряну на армянском языке впервые прозвучали такие стихи, как „Деревня“ и „Чаадаеву“.

Под мощным влиянием поэзии Пушкина и Лермонтова шло развитие поэзии Ованеса Туманяна. Туманян любил и хорошо знал Пушкина. Вдумчивому и глубокому пониманию Туманяном Пушкина много помогли статьи Белинского, которые поэт основательно изучил. К искусству перевода Туманян относился очень строго. Он требовал, чтобы перевод был верен мысли подлинника и понятен читателю. О. Туманян выбирал для перевода только те стихи, которые были близки ему самому, которые давали ему возможность всецело проникнуться духом подлинника. Некоторые его переводы хорошо передают легкость, изящество, мудрую простоту и музыкальные особенности русского оригинала. В юбилейный пушкинский 1899 год Туманян перевел из Пушкина „Утопленника“ и „Песнь о вещем Олеге“; в 1909 году появился сделанный Туманяном перевод одного из любимейших его произведений Пушкина — „Зимний вечер“; этот перевод следует считать одним из шедевров его переводческого мастерства.¹ В 1903 году Туманян, по просьбе известного революционера-большевика С. Шаумяна, перевел строфу из „Вольности“ для революционной листовки первомайской демонстрации. Стихотворения Пушкина, как и Лермонтова, Туманян воспринимал как свое национальное достояние. У Пушкина и Лермонтова армянский поэт находил то, чего ему недоставало

К. Н. Григорьяна „Пушкин и армянская поэзия“ („Вестник Ленинградского Государственного университета“, 1949, № 6, стр. 46—59).

¹ Ср.: Ованес Туманян. Избранные сочинения. Под редакцией Мариэтты Шагинян, Ереван—Москва, 1950, стр. 478—481.

у своих предшественников в армянской литературе, — правдивое изображение народной жизни и поэтическое описание родной природы. Тумаяна глубоко волновали истории жизни Пушкина и Лермонтова, ему казался знаменательным тот факт, что Пушкин и Лермонтов, в пору своего изгнания, нашли себе „пристанище“ на Кавказе, „были усыновлены и побратались с нами“.¹

Тем не менее, несмотря на то, что крупнейшие армянские писатели изучали, любили Пушкина и испытывали его влияние на своем творчестве, дореволюционный армянский массовый читатель плохо знал Пушкина. Только после Великой Октябрьской социалистической революции Пушкин стал близок широким массам армянского народа. В дни юбилеев Пушкина в 1937 и 1949 годах армянские писатели и литераторы выразили свое преклонение перед Пушкиным и отметили его огромное значение для армянской литературы и культуры.

М. Н. Троицкий (старший преподаватель Ташкентского Государственного педагогического института им. Низами) — „Пушкин и узбекская литература“.

Докладчик охарактеризовал переводы Пушкина, выполненные в Узбекистане до Великой Октябрьской революции и в советский период.

До Великой Октябрьской социалистической революции знакомство узбекского народа с Пушкиным было очень ограниченным. Русское правительство сознательно не поощряло распространения произведений Пушкина в Туркестане (нынешнем Узбекистане), приобретенном к России тридцать лет спустя после гибели великого русского поэта.

Пушкинские торжества в 1880 году, в связи с открытием памятника Пушкину в Москве, не были отмечены в Туркестане вовсе, не только в узбекской, но и в русской прессе. Пятидесятилетие со дня смерти Пушкина было отмечено в Ташкенте крайне скромно. В „Туркестанских ведомостях“ за 1887 год (№ 6) напечатана краткая корреспонденция из Петербурга с известием о праздновании юбилея в Москве. В № 27 „Туркестанских ведомостей“ 1887 года напечатан „Отчет об акте в гимназии за 1886—1887 год“; на этом акте преподаватель гимназии К. В. Аристов произнес речь „О значении Пушкина“, имевшую сугубо официальный характер: докладчик подчеркивал якобы присущие Пушкину „верноподданнические чувства“, говорил об его отношении к своим воспитателям-учителям, об идеалах семейной жизни у Пушкина, о том, какой он был чадолюбивый отец, как любил его простой народ, и т. д. Доклад этот заканчивался совершенно неожиданно: „Нет, весь я не умру... Узнает меня и узбек и киргиз!“. Не удивительно, что этот доклад вызвал большие похвалы со стороны главного начальника края генерала Н. О. фон Раденбаха.

¹ Подробнее об отношении О. Тумаяна к Пушкину см.: К. Н. Григорьян. Ованес Тумаян. Л., 1950, стр. 81—88.

Более широкое ознакомление узбекского народа с Пушкиным произошло в 1899 году, когда вся Россия праздновала столетие со дня рождения великого поэта. Впрочем, празднование столетия со дня рождения Пушкина в Туркестане носило казенный, официальный характер: естественно, что интерес ташкентского обывателя — как русского, так и узбекского — к творчеству Пушкина был незначителен.

Но именно в эти годы (столетний юбилей в 1899 года) узбекский читатель впервые познакомился и с творчеством Пушкина, благодаря нескольким переводам его произведений, выполненным в то время.

Иззат Султан в своей, к сожалению, очень краткой статье „Пушкин и узбекская литература“ пишет по этому поводу: „Переводы произведений Пушкина и других русских писателей, несмотря на свою многочисленность, всё же являются фактом большого культурного и политического значения... Именно с изучением русского языка и русской литературы связано появление в узбекской литературе таких замечательных произведений, как стихотворения поэта-демократа Фурката, воспевавшего великую русскую культуру...“.¹

В 1899 году в Туркестане была опубликована первая узбекская биография Пушкина и появились переводы его четырех произведений: „Сказка о рыбаке и рыбке“, стихотворения „Поэт“ и „Поэту“ и поэма „Бахчисарайский фонтан“. Биография Пушкина была напечатана в №№ 17, 18, 19 и 20 „Туркестанской областной газеты“ за 1899 год („Туркестан вилоят газета“). Интерес этой биографии заключается в том, что она была единственной биографией Пушкина на узбекском языке до Великой Октябрьской социалистической революции. Ею долго пользовались и журналисты и учителя, школьники и рядовые читатели, так как других сведений о Пушкине на узбекском языке не было. Это, конечно, не „творческая биография“ поэта; она ничего не говорит о творческой эволюции Пушкина. Произведения Пушкина не подвергаются разбору, почти ни одно из них и не названо; с похвалой говорится здесь о стихотворениях Пушкина, но она высказана в самой общей форме (отметим, что Онегин здесь превратился в Аникина — *آنيکين*). Тем не менее канва жизни Пушкина изложена, в общем, правильно и последовательно; попутно упоминаются многие современные Пушкину писатели — Жуковский, Батюшков, Катенин, Дельвиг и т. д. Эта биография не была „оригинальным“ произведением, как ошибочно предположил Иззат Султан в упомянутой статье. Автор биографии использовал листовку газеты „Тарджиман“, а также биографии Пушкина, написанные П. В. Анненковым и в особенности А. М. Скабичевским (изд. 1899 г.). Текст узбекской биографии зачастую является простым переводом вышеупомянутых источников. Замечательно, однако, что, несмотря на внимательную царскую цензуру,

¹ „Звезда Востока“, Ташкент, 1949, № 6, стр. 93.

всё же удалось сделать несколько, правда, робких, но самостоятельных выводов. Так, в конце биографии он пишет: „И хотя Пушкин прожил недолгую жизнь, он принес чрезвычайно много пользы русскому народу, потому что его глубочайшие по смыслу стихотворения и сочинения старые и молодые люди всей России читали, полюбили, получив великую пользу для своего ума и сердца. И такие хорошие произведения принесли пользу народам европейского континента и некоторым народам азиатского континента, так как они могли читать эти произведения на своих языках. Эти слова не должны удивлять уважаемых читателей газеты, так как европейские народы изучают сочинения не только своих писателей и поэтов, но также великих писателей других народов, как на их языках, так и переводы на своих языках... , великие поэты всех народов являются как бы пророками не только для своего народа, но также оказывают влияние на всё человечество своими мыслями и пишут свои стихи на пользу всех народов земли... Имя Пушкина всегда будет памятно среди народа“.

Перевод „Сказки о рыбаке и рыбке“ был помещен в „Туркестанской областной газете“ (1899, № 31). По всей вероятности, этот перевод был выполнен известным узбекским поэтом Закирджаном Фуркатом (1858—1909).¹ Фуркат, действительно, являлся сотрудником указанной узбекской газеты и отличался стихотворным талантом. Тем не менее, в этом переводе, при всех его достоинствах, много недостатков. Переводчик его хорошо знал русский язык и тонко уловил глубокий смысл сказки, но он не сумел передать национальный стиль и характер оригинала. Прежде всего он не передал народный нерифмованный стих сказки. Для передачи пушкинского тонического стиха переводчик использовал два узбекских стихотворных размера — *аруз*, приближающийся к метрическому стихосложению, и *бармак* — народный размер, близкий к силлабическому стихосложению. В результате такого скрещения получился очень своеобразный напевный стих с причудливыми интонациями и постоянными рифмами, который придал пушкинской сказке „восточное“ звучание. Вся сказка оказалась разбитой на 99 двустиший. Недостатком этого перевода являются также допущенные переводчиком, порой довольно значительные, изменения в описаниях и бытовых подробностях, которые под его пером и в его интерпретации приняли типичный „восточный колорит“.

В диалогах рыбки со стариком и в разговорах старухи со стариком выдерживаются, конечно, местные разговорные стилистические приемы. Так, в пушкинском тексте мы, например, читаем:

„Не печалься, иди себе с богом,
Будет вам новое корыто“.

¹ Фуркат (Закирджан Халмухаммедов) прибыл в Ташкент в 1889 году и принялся за изучение русского языка. В 1890 году он отправился на Дальний Восток. В 1894 году поселился в Кашгаре, где умер в 1909 году.

В узбекском переводе:

Идите себе домой, увидите знак истины;
Вы избавитесь от неприятности.

Старуха у Пушкина говорит:

В корыте много ли корысти? . .
. . . выпроси уж избу.

В переводе:

Старуха ему устроила скандал,
Что мне делать из корыта?
Нам нужно новое жилище!

И далее:

Сейчас же пойдн к золотой рыбке
И скажи мои слова: „Хочу быть царицей,
Разбирать прошения и заявления“.
Старик напомнил ей недавнее прошлое,
Тогда она разгневалась, вскочила и ударила его по лицу.

Вообще, стихи, рассказывающие о том, как старуха стала царицей, переданы с явной сатирической тенденцией: старик увидел высокий трон, старухе прислуживало много красавиц и черных рабов (сипаев). Она сидела, как „царь-царей“. Около цвели розы. Старик спрятался в уголке. Как только увидела его старуха, отдала приказ выгнать его. Его схватили за ворот, „дали внушение“, толкали, били по шее. Как смел ты, мужик, зайти в дом царицы?

Конечно, переводчик стоял перед значительными трудностями. Ему приходилось кое-что сокращать и убавлять поневоле. Так, например, арханчская русская обиходная бытовая терминология не могла бы быть понятной тогдашним узбекским читателям, в случае если бы даже она и была удержана в переводе. Пушкин так изображает старуху, когда она стала дворянкой:

В дорогой собольей душегрейке,
Парчевая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.

Переводчик сократил все эти подробности и передал эти стихи так:

Старуха сверкала, как жар,
Даже шаль на плечах струила золото.

Экспрессивность пушкинской сказки в указанном переводе в значительной степени снижена благодаря тому, что в переводе вовсе исключены описания моря, с его характерными и полными глубокого смысла изменениями („слегка разыгралось“, „помутилось синее море“, „на море черная буря“ и т. д.). Укажем также, что язык

перевода, изобилующий арабизмами и тяжеловесными книжными оборотами, далек от красочной народной речи оригинала.

Перевод „Сказки о рыбаке и рыбке“ положил начало целому ряду узбекских переводов этого произведения Пушкина. Но и этот и все последующие переводы имеют много существенных недостатков. Некоторые из них были прозаическими, с грубой морализующей тенденцией, другие вводили в сказку религиозные мотивы, третьи искажали текст всевозможными интерпретациями в стиле восточной поэзии. Хороший перевод сказки был сделан только в советское время узбекским писателем Миртемиром, которому удалось верно передать простоту языка сказки и ее поэтический смысл. Миртемир перевел сказку народным размером „бармак“. В стихе перевода, так же как и у Пушкина, отсутствует рифма и ощущается пушкинская трехударность строки. Перевод Миртемира пушкинской сказки очень популярен в узбекской советской школе; этот перевод может служить ярким образцом замечательных сдвигов и усовершенствований в узбекской поэтической речи и особенно улучшения поэтической техники в Узбекистане от Фурката до наших дней.

В той же „Туркестанской областной газете“ за 1899 год (№ 17) напечатан был также прозаический перевод двух стихотворений Пушкина: „Поэт“ (1827) и „Поэту“ (1830). Переводчик соединил два эти стихотворения („Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон“ и „Поэт! не дорожи любовью народной“) в одно целое, как бы пытаясь раскрыть принципы пушкинского творчества. Конечно, и выбор этих произведений и самый характер перевода свидетельствуют о глубоком интересе переводчика к Пушкину; тем не менее, ни скрытый политический смысл второго из этих стихотворений, ни данный Пушкиным глубокий анализ всякого творческого акта переводчиком не были поняты. Соответственно традиционному в то время толкованию борьба поэта со светской чернью изображена как его отрыв от народа; в духе суфийской поэзии подчеркивается в переводе избранничество, „божественная“ вдохновенность поэта, его одиночество, уход от людей.

„Бахчисарайский фонтан“ был переведен только в отрывке и при этом прозой (в той же газете, 1899, № 18). Переведено только начало поэмы, в котором рисуется жизнь женщины в мусульманском гареме. Сюжет поэмы не раскрыт, отсутствуют центральные образы Гирея, Марии, Заремы. В переводе сквозит даже мысль, что гаремная жизнь для женщины неизбежна; переводчик явно не хотел заметить сатирических ноток у Пушкина при изображении им печальной жизни красавиц-невольниц. У переводчика, несомненно, было стремление передать краски оригинала; тем не менее из этого перевода узбекский читатель не получил никакого представления о поэме Пушкина.

Итак, при царском режиме узбекский народ мало знал Пушкина. Переводы четырех произведений Пушкина и небольшая его биография

не давали представления о творчестве Пушкина во всем его многообразии. При этом следует отметить, что качество этих переводов заставляло желать многого. Переводчикам приходилось преодолевать немало трудностей. В Узбекистане не существовало в те времена научных русско-узбекских словарей. Переводчики плохо знали русский литературный язык. С другой стороны, литературный узбекский язык был засорен арабизмами и совершенно оторван от красочной народной речи. Художественные средства тяжеловесного книжного языка были мало пригодны для передачи прекрасных пушкинских текстов.

Великая Октябрьская социалистическая революция создала все условия для развития узбекской художественной литературы, социалистической по содержанию и национальной по форме.

Широкое распространение произведений Пушкина в Узбекистане связано с тремя историческими датами: с юбилеем Пушкина в 1937 году, с эпохой Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, с юбилеем Пушкина в 1949 году. Каждый из этих этапов способствовал проникновению творчества Пушкина в узбекскую школу, кино, театр, литературу, прессу, в народные массы.

Юбилей Пушкина 1937 года был началом серьезного изучения Пушкина в Узбекистане. Талантливые узбекские поэты Хамид Алимджан, Айбек, Миртемир и другие начали переводить лирику, прозу и драматургию Пушкина. Выдающееся место среди этих переводов Пушкина в 1937 году занимал первый узбекский перевод „Евгения Онегина“, сделанный повтом Айбеком.

В эпоху Великой Отечественной войны изучение творчества Пушкина значительно углубилось. Пушкин как национальный поэт России своим глубоким патриотизмом, демократизмом привлекал к себе узбекского писателя, узбека — воина, студента и школьника. Замечательно, что в эти годы были переведены героические поэмы Пушкина: „Полтава“, „Медный всадник“, „Цыганы“ и другие.

Юбилей Пушкина в 1949 году, посвященный 150-й годовщине со дня рождения великого поэта, прошел в Узбекистане очень торжественно. Реализм Пушкина, его высказывания о роли поэта, его публицистика, его проза особенно привлекали узбекских ученых в эти годы. Институт языка и литературы узбекской Академии наук получил имя Пушкина. Все крупнейшие узбекские писатели и литераторы приняли участие в изучении творчества Пушкина. Газета „Правда Востока“ (1949, № 110) писала: „Юбилейные пушкинские дни стали новой, яркой демонстрацией торжества ленинско-сталинской национальной политики, расцвета советской культуры“.

Ярким доказательством расцвета культуры в Узбекистане является первое издание избранных произведений Пушкина на узбекском языке в четырех томах. Первый том содержит лирические стихотворения и сказки поэта; второй том — драмы и роман „Евгений Онегин“; третий том — поэмы Пушкина; четвертый — избранную прозу.

Все четыре тома были напечатаны русским шрифтом, хорошо изданы и художественно оформлены. Недостатком издания является отсутствие пушкинского словаря и комментариев к трудным местам пушкинского текста. Некоторые возражения вызывает также биография Пушкина, предпосланная изданию, как не имевшая в виду узбекских читателей.

Крупным достижением культуры и литературы Узбекистана является полный перевод романа Пушкина „Евгений Онегин“, выполненный Айбеком. Перевод этот сделан еще в 1937 году и был напечатан латинским алфавитом. В 1949 году в четырехтомнике этот перевод появился в исправленном виде. Айбек считает, что этому переводу романа Пушкина он многим обязан в своем художественном развитии. Анализ перевода Айбека дает возможность поставить во всей полноте вопрос о принципах перевода с русского на узбекский. Айбеку пришлось преодолеть немало трудностей для того, чтобы при полном отсутствии словарей и справочников перевести на узбекский язык роман „Евгений Онегин“. Грамматический строй и словарный фонд русского и узбекского языков далеки друг от друга. Айбек очень напряженно работал над переводом. Он обратил свое внимание прежде всего на композицию романа, строфику, богатство ритма и разнообразие рифмы. В его переводе всё рассчитано. Онегинская строфа со своей перекрестной, парной, охватной рифмой всюду хорошо выдержана. Перевод дан народным размером „бармак“. Каждый стих состоит из одиннадцати слогов с цезурой после шестого слога. С трудом поддавались передаче на узбекский язык эпитеты, метафоры, синонимы и идиомы оригинала. Сплошь и рядом их приходилось переводить слово в слово, без раскрытия смысла. Так, например, эпитеты „ветренная Венера“, „гений величавый“, „вкус голодный“, „разочарованный лорнет“, „милые предметы“ скалькированы формально. Тем же способом переведены такие метафоры, как „бокалов жажда просит“, „утро дней“, „змея воспоминаний“, „рой желаний“ и т. д.

Айбеку не всегда удавалось творчески проникнуть в дух подлинника. Многие своеобразия пушкинской образной системы оказались для него непреодолимыми. Некоторые образы совсем не поддались переводу, как, например: „молодой повеса“, „ума холодных наблюдений“, „почетный гражданин кулис“ и т. д. При переводе романа Айбеку приходилось пользоваться и русскими и иностранными словами. Поэтому такие слова, как „франт“, „педант“, „талант“, „брегет“, „мода“, „боливар“, „ананас“, „пantalоны“, „фрак“, „жилет“, „биржа“, а также слова „кучер“, „извозчик“, „почтовый“, „шпора“, „пробка“, „фонарь“, — употребляются без изменения.

Перевод „Евгения Онегина“ имеет большое значение для узбекской литературы и культуры. Узбекскому читателю знакомство с „Евгением Онегиным“ открыло новый мир. Картины жизни русской дворянской усадьбы, русской деревни 20-х годов XIX века, — всё это было ново для читателя-узбека.

Айбек хорошо почувствовал все краски пушкинского языка, весь его стиль. Так, например, перевод сцены в театре верно и тонко передает образ Онегина с его разочарованием и скукой. Узбекский поэт сумел даже подметить юмор Пушкина в изображении зевающего Онегина. Удалась Айбеку и прощальная лирическая песнь Ленского, которая без изменения вошла в оперу „Евгений Онегин“ в исполнении узбекского театра.

Лирическая поэзия была почти полностью включена в первое узбекское издание сочинений Пушкина, начиная от „Воспоминаний в Царском селе“ до „Памятника“. Узбекские поэты-писатели Миртемир, Айбек, Мирмухсин, Шухрат, Хамид Алимджан много способствовали проникновению пушкинской лирической поэзии в массы трудящихся Узбекистана. Политическая лирика — „Вольность“, „Чаадаеву“, „Деревня“, „Послание в Сибирь“, „Арион“, „Анчар“ и „Памятник“ — счень популярна в Узбекистане, особенно в узбекской школе. Пушкинские поэмы, сказки, проза и драматургия Пушкина переведены удачно. „Каменный гость“ с большим успехом был поставлен в Узбекском театре имени Хамзы.

Таким образом, эти четыре тома пушкинских произведений на узбекском языке имеют огромное значение для культурной и литературной жизни Узбекистана. В переводах немало недочетов, многие принципы переводов нарушены. Некоторые переводчики подошли к тексту Пушкина формально и исказили язык и стиль оригинала.

Но это издание всё же говорит о том, что в Узбекистане растет знание русского языка.¹

Н. Г. Джусоев — „Пушкин на осетинском языке (Заметки переводчика)“.

Во вступительной части своего доклада Н. Г. Джусоев остановился на значении Пушкина для культуры братских народов. Пушкин не только русский национальный поэт, он также великий поэт многонациональной России. Он первый в русской литературе заговорил о дружбе и единении между народами. Он любил народы русского многонационального государства и глубоко интересовался судьбами этих народов. Гениальный русский поэт нашел в глубине своей души теплые слова и для осетинского народа, „самого бедного племени из народов, обитающих на Кавказе“ (VIII, кн. 1, 450).²

Эти слова были сказаны сто двадцать лет тому назад, но они и поныне вызывают чувств горячей признательности осетинского народа, который давно перестал быть „бедным племенем“ и консолидируется

¹ См.: М. Н. Троицкий. Наследие Пушкина в Узбекистане. „Известия Академии наук Узбекской ССР“, 1949, № 3, стр. 61—64.

² Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии Наук СССР, 1937—1949.

как социалистическая нация, развивая свою культуру. Молодая осетинская литература во многом обязана русской литературе. Основоположником этой литературы является Пушкин — вечно живой, вечно любимый и близкий.

Свободную возможность приобщения к русской культуре и тесно связанному с ней творчеству Пушкина осетинский народ получил только в годы советской власти. До Великой Октябрьской социалистической революции в Осетии только немногие читали Пушкина. Но Пушкина знал и любил основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров, он неоднократно цитирует его в своих письмах, он многому научился у него, перевел две строфы стихотворения „Ворон к ворону летит“. Были и другие попытки перевести некоторые стихи Пушкина на осетинский язык еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Но массовый осетинский читатель широко познакомился с Пушкиным на родном языке в связи с юбилеем поэта в 1937 году. С этого времени Пушкин прочно вошел в литературу Осетии. Стихи Пушкина украшают страницы школьных хрестоматий по осетинской литературе. Вместе с Коста Хетагуровым Пушкин учит и воспитывает осетинских детей, как неизменный, мудрый и любящий учитель. В 1949 году значительно увеличилось количество переводов произведений Пушкина на осетинский язык и заметно улучшилось их качество. Из прозаических произведений Пушкина были переведены „Повести Белкина“, „Капитанская дочка“, „Дубровский“, „Путешествие в Арзрум“, „Арап Петра Великого“, из драматургии — „Борис Годунов“, „Сцены из рыцарских времен“, „Каменный гость“, из поэм — „Медный всадник“, „Цыганы“, „Полтава“, „Братья разбойники“, „Тазит“. Кроме того, были переведены все сказки и 59 лирических стихотворений. Произведения Пушкина на осетинском языке в 1949 году вышли в трех сборниках, а также отдельными изданиями.¹ Из переводчиков Пушкина следует отметить прежде всего талантливого и вдумчивого переводчика Г. Плиева, лучшего переводчика прозы Пушкина — основоположника осетинской прозы Арсена Коцоева, а также Г. Дзугаева, Ф. Гаглыева, Р. Асаева, Д. Мамсурова, Х. Ардасенова, Якова Хозиева и др. Особого внимания заслуживает переводчик „Евгения Онегина“ — Георгий Кайтуков.

Переводы из Пушкина не только обогащают эстетический вкус народов СССР: переводить Пушкина — значит проходить великолепную школу мастерства.

Перевод Пушкина на осетинский язык сопряжен с серьезными трудностями. Особые затруднения вызывает у осетинских переводчиков

¹ А. С. Пушкин, Избранные произведения, Сталинир, 1949, 642 стр.; А. С. Пушкин, Сочинения. Проза, Дзауджикау, 1949, 341 стр.; А. С. Пушкин, Сочинения. Поэзия, Дзауджикау, 1949, 250 стр. Отдельным изданием вышли „Капитанская дочка“ и „Сказки“ в 1949 году.

воспроизведение лексики и стиля Пушкина на осетинском языке, который беднее русского по своему словарному составу и очень отличается от него по своему грамматическому строю. А перевод должен быть адекватен оригиналу, какие бы трудности ни стояли перед переводчиком.

Взять для примера стихотворение „Пророк“. Как передать на осетинский язык „шестикрылый серафим“? Подобного серафиму существа в осетинской мифологии нет, и серафим остается в осетинском тексте чем-то странным и непонятным. Трудно поддается переводу также торжественная лексика последней строфы, насыщенной славянизмами:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Осетинского переводчика до некоторой степени выручает слово „про-рок“, которое имеется в осетинском языке и которое придает всей строфе оттенок торжественности, и все-таки в передаче теряется многое.

С большим трудом поддается переводу на осетинский язык и ода „Вольность“. Но в этой оде патетика другого порядка, поэтому ее можно перевести точнее и ближе к оригиналу. Кроме мифологических образов и лексических средств высокого стиля, существует еще одна трудность — это перевод названий предметов, отсутствующих в быту осетинского народа. Так, в стихотворении „Арион“ не поддаются переводу такие на первый взгляд простые слова, как „парус“ и „весло“. Слово „парус“ на осетинский язык обычно переводят словом „кадтаг“, т. е. полотно. Но из полотна осетины шьют обычно бешметы и рубахи, а не паруса, и поэтому это слово не может означать „парус“. „Весло“ по традиции переводят словом „фийаг“, т. е. деревянная лопата. Но осетины этой лопатой убирают скотный двор, зимой ею убирают также снег со двора, осенью веют на гумне зерно, но этим „веслом“ нигде не пользуются, как веслом, поскольку по бурным горным рекам Осетии не плывут на лодках. Переводчик должен проявлять большую осторожность в поисках названий для предметов, которых нет в обиходе данного народа. Неудачные наименования чаще всего создают лишь досадные недоразумения. Думается, что в таких случаях надо сохранять за предметами их названия в оригинале. Со временем, когда эти предметы войдут в быт народа, они найдут себе названия. За такими предметами, как правило, сохраняются те названия, с которыми предметы попадают к народу.

При переводе Пушкина, помимо трудностей словарного порядка, встречаются трудности фразеологического характера. Все эти трудности неизбежны вследствие всё еще значительной разницы между уровнем развития русского и осетинского языков. У нас еще

слабо разработан „метафизический язык“ (Пушкин), язык политики, науки, техники, абстрактных понятий.

В стихах Пушкина очень часто встречаются абстрактные понятия, представления, не поддающиеся переводу на осетинский язык. Пушкинские строки: „Печаль моя светла“, „В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья“ и т. д. — почти непереводимы.

Формальный дословный перевод таких образов вызовет только одно недоумение. Как перевести следующие пушкинские строки:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток...

На осетинском языке образ воспоминания, которое разворачивает и свертывает свиток, является непонятным и вычурным, тем более, что слова „свиток“ на этом языке не существует. На осетинский язык эти строки переведены так:

Воспоминания мои идут одно за другим,
Словно разматывается бесконечный клубок.

Замена „свитка“ „клубком“ мотивирована, так как разматывание бесконечного „клубка“ ниток даст образ, близкий осетинскому читателю, и вызовет представление о длительном и томительном действии. Невозможно в такой же форме перевести и такие фразы, как „Несчастью верная сестра Надежда“, „свобода Вас примет радостно у входа“.

Подобного одушевления абстрактных понятий не знает осетинский литературный язык при всем своем богатстве средствами художественного изображения. Имеются и другие особенности русского языка, создающие трудности в работе переводчика. Так, в осетинском языке местоимение „вы“ всегда означает множественное число и никогда не употребляется в обращении к одному лицу. Стихотворение Пушкина „Ты и вы“, построенное на острой антитезе этих двух местоимений, обращенных к одному лицу, совершенно не поддается переводу на осетинский язык.

Перед переводчиком пушкинских стихов встают трудности и другого рода. Они тесно связаны с мастерством поэта, с изумительным, неразрывным единством формы и содержания, с его принципом „сообразности и соразмерности“, с его простотой.

Пушкинская простота — это особая „благородная простота“, требующая высокой „искренности и точности выражения“, рекомендуемая „не гнушаться просторечием“ и „не заменять его простомыслием“ (XI, 73, 159, 152). Передача пушкинской простоты дается переводчику с большим трудом. Она требует исключительной осторожности и художественного такта. Но, с другой стороны, эта простота окрыляет

переводчика, дает ему смелость и внушает стремление приблизиться к гениальному оригиналу. При переводе Пушкина переводчик всё время ощущает исключительную близость Пушкина нашей современности. Лирика Пушкина в своих высших образцах предполагает такое человеческое общество, в котором отношения людей строятся на глубочайшем уважении к человеческому достоинству, где каждый член общества ответственен перед всеми за свои дела и мысли и даже за „души прекрасные порывы“.

Лирика Пушкина и по сию пору является могучей силой, которая помогает нам, советским людям, говоря словами Белинского, „образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство“.¹

Творчество Пушкина давно уже стало неисчерпаемым фондом поэтического богатства для всех народов нашей страны. Творчество Пушкина — это богатая и неиссякаемая сокровищница поэзии. Она включает в себе неисчислимое множество поэтических золотых зерен. Все народы нашей страны черпают эти зерна, сеют их на благодатной ниве своих молодых, развивающихся культур. Эти пушкинские зерна дали сильные, полные жизни всходы и на почве молодой осетинской культуры. Представители советской осетинской литературы и искусства полны глубокой признательности пушкинскому гению и стремятся в своей художественной практике быть по-пушкински совершенными, по-пушкински смелыми и простыми, по-пушкински человеческими на новом, социалистическом этапе художественного развития человечества.

С. С. Советов, кандидат филологических наук — „Пушкин в переводах Людвиг Кондратовича на польский язык“.

Выдающийся польский поэт-демократ Людвиг Франтишек Кондратович (более известный под псевдонимом Владислав Сырокомля, 1823—1862) хорошо известен русской литературе. Его стихотворения привлекали к себе пристальное внимание русской прогрессивной общественности в 60—80-е годы, их усиленно переводили у нас в этот период (Л. Пальмин, Л. Н. Трефолов и др.); гораздо менее известен Кондратович как переводчик русских поэтов и знаток и ценитель русской литературы. Между тем в творчестве Кондратовича его стихотворные переводы с русского языка занимают значительное место. Он переводил Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Некрасова, Курочкина и Никитина. Художественные достоинства этих переводов, их идейно-демократическая направленность, наконец, их значение для развития его оригинального творчества еще не раскрыты с надлежащей полнотой.²

Кондратович с юношеских лет очень любил русский народ, русскую литературу, подчеркивал выдающуюся роль Пушкина в ее создании и

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, 1926, стр. 219.

² См. статьи С. С. Советова: Людвиг Кондратович (Владислав Сырокомля) как переводчик Некрасова. „Научный бюллетень Ленинградского Государственного

развитии.¹ Кондратович перевел три стихотворения Пушкина: „А в ненастные дни Собирались они“ (эпиграф к первой главе повести „Пиковая дама“), „Узник“, „Лицинию“. Первое из них Кондратович перевел еще в 1846 году и включил его в свою повесть „Старый кавалер“, являющуюся продолжением повести „Соперники“. Обе эти повести представляют собой злую сатиру на панов и шляхту; автор ярко показывает здесь безнаказанность и неограниченный произвол помещиков и бесправие крепостных. Стихотворение Пушкина также подчеркивает остро выраженный сатирический характер повести. Кондратович включил его текст в описание карточной игры у графа Юстина. Перевод Кондратовича не является подстрочным, точным переводом. С сюжетным материалом оригинала польский поэт обошелся очень свободно: он усилил местные польские бытовые черты, расширил объем стихотворения и превратил его в жанровую сценку.

Стихотворение „Узник“ было переведено Кондратовичем в 1847 году под названием „Орел“. Перевод этот также не отличался точностью. Пушкинский узник-человек у Кондратовича превратился в орла (притом не в „молодого“, который упомянут в „Узнике“ Пушкина, а в орла, состарившегося в неволе). При таких изменениях стихотворение Пушкина получило новый оттенок. Острый политический смысл порыва к воле и к свободе человека подменялся у Кондратовича отвлеченным стремлением к свободе всякого живого существа; тем не менее многие художественные особенности стихотворения Пушкина и его народно-песенный колорит Кондратович уловил очень тонко. В переводе Кондратовича „Узник“ напоминает народную песню, что характерно для польского поэта, который в это время изучал народное творчество и на основе его создавал оригинальные произведения.

Стихотворение „Лицинию“ переведено в 1854 году. В этом переводе, при всех его художественных достоинствах, много неточностей. Кондратович выдвинул на первый план противопоставление города и деревни, развратных богачей и простых бедных людей, но конкретного политического смысла всего стихотворения передать ему не удалось.

Несмотря на неточности переводов и произвольные изменения в указанных трех переводах и на малое их число, они представляют известный интерес. На основании целого ряда других данных мы должны говорить о хорошем знании Кондратовичем подлинных текстов произведений Пушкина, о понимании их особенностей и художественных средств.

Все упомянутые доклады, читанные на заседании переводческой секции, подверглись оживленному обсуждению.

ордена Ленина университета“, 1947, № 16—17, стр. 122—125; Людвиг Кондратович — Василий Курочкин — Беранже. „Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка“, 1948, т. VII, вып. 2, стр. 165—171.

¹ Кондратович. Школьные времена, гл. IX, стр. 333—343.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	Между стр.
Автограф записей Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“, л. 1. Институт Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС	104—105
Автограф записей Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“, л. 5. Институт Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС	120—121
Автограф записей Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“, л. 9. Институт Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС	128—129
Автограф записей Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“, л. 12. Институт Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС	144—145
Автограф записей Ф. Энгельса к „Медному всаднику“, л. 15. Институт Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС	152—153
Запись в „Зеленой тетради“ М. И. Глинки, л. 56 об. Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.	316
Нотная запись „Грузинской песни“ в „Зеленой тетради“ М. И. Глинки, л. 57. Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград	317
Титульный лист „Пушкинского литературного сборника“, изд. „Эпоха“, Пекин, 1947.	389
Памятник А. С. Пушкину в Шанхае (проект). Из „Пушкинского литературного сборника“, Пекин, 1947	392—393
Памятник А. С. Пушкину в Веймаре (Германская Демократическая Республика). Работа скульптора Рогге.	392—393
Бюст А. С. Пушкина в народной библиотеке г. Козвиг (Германская Демократическая Республика). Работа скульптора Котэ	392—393
Памятник А. С. Пушкину в г. Бургасе (Народная Республика Болгария). Работа скульптора Петро Задгорски	392—393
Юбилейная Пушкинская выставка в г. Бухаресте, в Министерстве искусств (Румынская Народная Республика), 1949 г.	392—393
Выставка произведений румынских художников и скульпторов о Пушкине в г. Бухаресте, в зале Далесс (Румынская Народная Республика), 1949 г.	392—393

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3

I

М. П. Алексеев. Словарные записи Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“	9
Н. К. Пиксанов. Пушкин и Горький	162
Б. В. Томашевский. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина.	171
Г. Ф. Богач. Молдавские предания, записанные Пушкиным	213
Д. Д. Благой. Историческая поэма Пушкина („Полтава“)	241
Н. В. Измайлов. Оренбургские материалы Пушкина для „Истории Пугачева“ и „Капитанской дочки“	266
В. В. Данилов. Стихотворение „Цель нашей жизни“, приписываемое Пушкину	298
С. Л. Гинзбург. Пушкин и грузинская песня (К истории создания стихотворения „Не пой, красавица, при мне“)	314

II

И. С. Ильинская. О „Словаре языка Пушкина“	337
Т. Г. Цявловская. О работе над „Летописью жизни и творчества А. С. Пушкина“	352
Г. В. Степанова и Б. В. Шапошников. Скульптурные памятники Пушкину за рубежом	387
Б. П. Городецкий. Изучение Пушкина в средней школе	396
К. П. Лахостский. Работа педагогической секции	414
Т. П. Ден. Работа переводческой секции	445
Список иллюстраций	465

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы (Пушкинским Домом)
Академии Наук СССР*

*

*Редактор Издательства А. И. Соболева
Технический редактор А. В. Смирнова
Корректоры О. Б. Билинкис и Л. А. Ратнер*

*

*РИСО АН СССР № 44—69Р.
М. 46789. Подписано к печати 28/ХІ
1953 г. Бумага 70×92¹/₁₆. Бум.
л. 14⁵/₈. Печ. л. 34.22. Уч.-изд.
л. 33.72.+11 вкл. (0.62 уч.-изд. л.)
Тираж 10 000. Зак. № 893. Номинал
по прејскуранту 1952 г. 22 р. 30 к.*

*1-я типография Издательства АН
СССР. Ленинград, В. О., 9 л., д. 12*